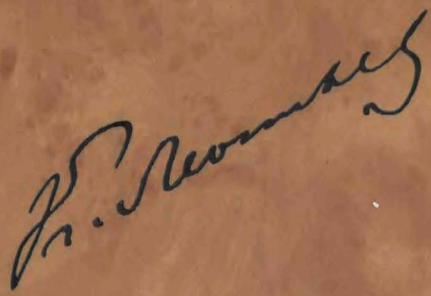
К. Леонтьев

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

1





К. Н. ЛЕОНТЬЕВ
Фотография 1880-х годов

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



К.Н. ЛЕОНТЬЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2000

К.Н. ЛЕОНТЬЕВ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1852–1861 ГОДОВ

ИЗ РАННИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»
САНКТ ПЕТЕРБУРГ
2000

УДК 8(47)82
ББК 84(05)
Л 47

Редакционная коллегия

С. Г. Бочаров, В. М. Камнев,
В. А. Котельников (главный редактор), Г. Б. Кремнев,
А. П. Мельников, О. В. Николаева, Н. Н. Скатов, А. Феррари,
О. Л. Фетисенко (заместитель главного редактора)

Тексты подготовили и комментарии составили

В. А. Котельников, О. Л. Фетисенко

При подготовке данного тома использованы материалы хранящиеся в Российском государственном архиве литературы и искусства

«Федеральная программа книгоиздания России»

© Издательство «Владимир Даль», 2000
© В. А. Котельников, О. Л. Фетисенко, подготовка текстов, составление комментариев, 2000
© А. П. Мельников, оформление, 2000
© П. Палей, дизайн, 2000

ISBN 5-93615-002-X (Т. 1)
ISBN 5-93615-011-9

ОТ РЕДАКЦИИ

Издание Полного собрания сочинений и писем К. Н. Леонтьева, предпринимаемое Институтом русской литературы (Пушкинским Домом) совместно с издательством «Владимiр Даль», обусловлено очевидной необходимостью ввести в научный оборот все наследие этого мыслителя и писателя.

В эпоху угасания великих традиций, вырождения больших культурно-исторических стилей Леонтьев надеялся привести в действие — пусть крайними средствами — природные и духовные ресурсы человека. Он побуждал ставить вопросы жизни и творчества на большой онтологической глубине, и это соответствует нашим сегодняшним измерениям бытия. Однако так понять Леонтьева можно лишь тогда, когда его чрезвычайно разнородная деятельность и поразительная «разнопородность состава» (выражение В. В. Розанова) охватываются в полном объеме и проясняются во всех внутренних и внешних связях. Основой для исследовательской работы в этом направлении должно стать собирание леонтьевского наследия, его критическое осмысление и издание.

После смерти Леонтьева (1891 г.) в течение 1890—1910-х годов были напечатаны некоторые прежде не опубликованные его произведения (статьи и заметки), письма (к К. А. Губастову, А. А. Фету, И. И. Фуделю, В. В. Розанову, А. А. Александрову и др.), кое-что переиздано. Это, однако, не способствовало ни популярности его, ни включению в новые культурные процессы (в противоположность Достоевскому, который в ту пору переживал «второе ро-

ждение»). К счастью, оставались люди, которые не только были близки ему при жизни, сумели сохранить его архив, но и оказались способны понять его действительное значение: племянница Константина Николаевича — М. В. Леонтьева, И. И. Фудель, А. А. Александров, позднее их преемником стал С. Н. Дурылин. Они привели в порядок архив, расшифровали и скопировали некоторые рукописи, частично документировали биографию и творчество по доступным им в ту пору источникам. Конечно, нашлись и другие энтузиасты, благодаря им в 1911 г. вышел сборник «Памяти К. Н. Леонтьева», содержащий весьма интересные материалы: письма Леонтьева, воспоминания о нем, характеристики его личности и деятельности.

Тогда же И. И. Фудель приступил к изданию первого (и единственного) собрания сочинений Леонтьева.[1] Предполагалось выпустить 12 томов, включающих беллетристику, публицистику, письма, однако вышло лишь 9 томов; письма остались неизданными. Фудель не включил в собрание ранние произведения, которые печатались в журналах в 1850-е годы («Благодарность», «Лето на хуторе», «Второй брак» и др.), вероятно, руководствуясь пожеланием самого писателя.[2] И по каким-то неясным причинам он не поместил в этом издании некоторые напечатанные (в том числе и посмертно) произведения: «Две избранницы», «Отшельничество, монастырь и мир...» и др.; не решился он обнародовать автобиографические тексты Леонтьева («Моя исповедь», «Моя литературная судьба» и пр.), хотя возможность такая у него была.

Большинство текстов, вошедших в «фуделевское» собрание сочинений, имеют расхождения с текстами журнальных публикаций, как правило незначительные и не

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Собр. соч.: В 9 т. М.; СПб., 1912—1914. В дальнейшем при ссылке на это издание после сокращенного названия (СС) указывается римской цифрой том и арабской страница.

[2] Он высказал его в заметке «Где разыскать мои сочинения после моей смерти?» (Русское обозрение. 1894. № 8).

приводящие к изменениям в сюжете и композиции произведения, не меняющие характеры персонажей. По словам Фуделя, в его распоряжении находились принадлежавшие Леонтьеву экземпляры журнальных публикаций с авторской правкой, которая и была учтена при подготовке собрания сочинений. Из таких экземпляров до нас дошли очень немногие, и приходится полагаться на то, что Фудель учел леонтьевскую правку полно и точно. Таким образом, при отсутствии автографов, авторизованных и просто надежных списков (копий) публикации Фуделя оказываются наиболее авторитетным источником текста.

В послереволюционные годы наследие Леонтьева, разумеется, не могло беспрепятственно издаваться и изучаться. Тем не менее о Леонтьеве удавалось так или иначе напоминать: то в текстологической заметке, то в историко-философском этюде, то даже в неожиданно крупной публикации архивного материала, сопровождаемой исследовательским комментарием.[3] За пределами Советской России о Леонтьеве писали свободно и довольно часто,[4] но писавшие практически не могли использовать находившиеся здесь рукописные и многие печатные источники. Литературоведы и философы советского периода подчас изыскивали способы говорить о Леонтьеве и цитировать его хотя бы по поводу литературно-критических его выступлений.[5]

---

[3] См.: *Лернер Н. О.* К «Собранию сочинений» К. Н. Леонтьева // Книга и революция. 1921. № 8—9; *Преображенский П. Ф.* Александр Герцен и Константин Леонтьев (сравнительная морфология творчества) // Печать и революция. 1922. Кн. 2. Апрель—июнь; *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба / Вст. статья Н. Мещерякова. Ком. С. Дурылина // *ЛН.* Т. 22—24. М., 1935.

[4] См. библиографию, составленную Ю. П. Иваском: *Иваск Ю. П.* Константин Леонтьев (1831—1891). Жизнь и творчество. Берн; Франкфурт/М, 1974.

[5] В частности: *Эйхенбаум Б. М.* Литература. Теория, критика, полемика. Л., 1927; *Розанова С. А.* Леонтьев // *КЛЭ.* Т. 4. М., 1967; *Янов А. Л.* Славянофилы и Константин Леонтьев // Вопросы философии. 1969. № 8; *Гайденко П. П.* Наперекор историческому

Устранение былых ограничений в научной и издательской сферах в конце 1980-х годов обнаружило, что интерес к Леонтьеву у многих историков, философов, филологов (да и у наиболее серьезной части общества) отнюдь не случаен, не зависит от конъюнктурных обстоятельств, а имеет достаточно глубокие корни и поэтому духовно продуктивен. За последнее десятилетие были переизданы некоторые сочинения (в основном публицистические) и письма Леонтьева, впервые опубликован ряд текстов и документов, извлеченных из архивов,[6] вышло немало работ о нем.

Настоящее собрание сочинений и писем включает все ныне известные и доступные нам тексты, которые создавались Леонтьевым как прямое выражение его личной мысли, чувства и опыта. Оговорить эту сторону дела мы считаем необходимым, поскольку в наследии Леонтьева вычленяются две количественно и качественно неравнозначные части. Одна, абсолютно преобладающая, являет собой обычный для большинства писателей и деятелей культуры корпус текстов: художественные произведения,

---

процессу (Леонтьев — литературный критик) // Вопросы литературы. 1974. № 5; *Бочаров С. Г.* «Эстетическое охранение» в литературной критике (Леонтьев о руской литературе) // Контекст-77. М., 1978.

[6] Укажем на некоторые публикации леонтьевских текстов в России: *Леонтьев К. Н.* Анализ, стиль и веяние / Публ. С. Г. Бочарова // Вопросы литературы. 1988. № 12; 1989. № 1; *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь / Сост., вст. ст. и примеч. В. А. Котельникова. М., 1991.; Письма К. Н. Леонтьева к кн. Д. Н. Цертелеву / Публ. и примеч. А. П. Козырева // Начала. 1992. № 2; *Леонтьев К.* Записки отшельника / Сост., вст. ст., примеч. В. Кочеткова. М., 1992; *Леонтьев К.* Избр. статьи. Цветущая сложность / Сост., вст. ст. и ком. Т. М. Глушковой. М., 1992; *Леонтьев К.* Избр. письма / Публ., предисл. и ком. Д. Соловьева. СПб., 1993; *Леонтьев К.* Избранное / Сост., вст. ст. И. Н. Смирнова. М., 1993; К. Леонтьев, наш современник / Сост. Б. Адрианов, Н. Мальчевский. СПб., 1993; *Леонтьев. К.* Восток, Россия и славянство. Философская и политическая публицистика. Духовная проза / Общ. ред., составл., подг. текста, коммент. Г. Б. Кремнева. Вст. ст. и ком. В. И. Косика. М., 1996.

статьи и сочинения на специальные темы, воспоминания, дневники, письма, заметки, наброски, планы, записные книжки, завещания, автобиографические тексты и материалы и т. п. Другая часть — тексты, составленные или инициированные Леонтьевым в ходе профессиональных его занятий и исполнения служебных обязанностей (учеба на медицинском факультете, служба в качестве лекаря, деятельность на дипломатическом поприще, служба в цензурном ведомстве). Таким текстом являются, например, «Заметки» 1852—1853 гг.,[7] где приведены почерпнутые из медицинской литературы и сообщенные студентам во время клинических практик врачом К. Я. Млодзеевским сведения о болезнях (СС, IX, 62). В фондах Архива внешней политики Российской Империи находятся документы, в которых наблюдения и мнения Леонтьева изложены консульским чиновником так, как того требовал тип и назначение данного документа. Наконец, ряд цензорских отзывов Леонтьева дошел до нас лишь в виде секретарской записи в журнале заседаний Цензурного Комитета. Не считая подобные тексты личным авторским высказыванием, мы не сочли возможным вводить их в собрание сочинений; они вполне могут быть даны в извлечениях или в пересказе в соответствующих местах научно-справочного аппарата.

Все входящие в собрание тексты сверены с существующими источниками — печатными и рукописными. Но нужно подчеркнуть, что автографы и авторизованные копии большинства художественных и мемуарных произведений отсутствуют, равно как отсутствуют черновики и подготовительные материалы к ним. Также немногочисленны рукописные источники литературно-критических и публицистических произведений; правда, здесь мы имеем несколько печатных текстов с авторской правкой. Рукописные же тексты названных произведений либо затерялись в недрах журнальных и издательских контор (ни

[7] РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 2. Ед. хр. 13.

Фудель, ни иные причастные к наследию Леонтьева лица о них уже не упоминают), либо были уничтожены Леонтьевым, как то произошло с рукописями неопубликованных романов, составлявших цикл «Река времен» и создававшихся в конце 1860-х годов.

Несравненно многочисленнее дошедшие до нас автографы (и аутентичные копии автографов) эпистолярных и автобиографических текстов.

Собрание сочинений будет состоять из двенадцати томов, в которых тексты располагаются по жанрово-хронологическому принципу. При отсутствии сведений о времени создания произведения его место среди других определяется временем первой публикации.

В 1—5-й тома войдут художественные произведения; при этом группа произведений, тяготеющая к тематическому циклу и объединенная самим Леонтьевым в отдельном издании под заглавием «Из жизни христиан в Турции», займет третий, четвертый и часть пятого тома со своей «внутренней хронологией». В 6-м томе печатаются мемуарные, автобиографические и очерковые тексты; в 7—10-м томах — публицистика, литературная критика, цензорские отзывы и тексты, связанные со служебной деятельностью Леонтьева и его деловыми отношениями. 11—12-й тома отводятся письмам.

Каждый том состоит из нескольких разделов — в зависимости от того, какие типы текстов и материалов должны быть в нем помещены. Первый раздел заключает в себе основные тексты произведений; второй — иные редакции данных текстов, варианты и разночтения, если таковые существуют; третий раздел содержит незавершенные тексты, наброски, планы и прочие материалы, опять-таки при наличии их в тот период творчества, который охватывается данным томом. В некоторых томах разделу «Варианты» предшествует раздел «Из ранних произведений».

При подаче разночтений и вариантов мы придерживаемся следующего порядка.

Приводится минимально необходимый фрагмент текста настоящего произведения (ПСС), при этом:

1) в угловых скобках вводится часть текста, отсутствующая в той редакции, по которой текст печатается в ПСС, но имевшаяся в сопоставляемой редакции;

2) если в редакции, избранной для ПСС, автором (или по воле автора другим лицом) были введены части текста, отсутствующие в сопоставляемой редакции, то они показаны в приводимом фрагменте полужирном шрифтом;

3) если существовало несколько прижизненных редакций текста и изменения, внесенные в текст при подготовке последней прижизненной редакции, переходят в текст ПСС, то такие случаи отмечаются звездочкой; если же текст последней прижизненной редакции отличается от текста ПСС, то значит, при подготовке последнего Фудель использовал не дошедшую до нас авторскую правку, и в этом случае части текста, отличающиеся как от предыдущей, так и от последующей редакций, приводятся в подстрочных примечаниях.

Местоположение фрагмента обозначается слева от него номером страницы и строки данного тома.

Завершается каждый том разделом «Комментарии». Учитывая неравномерность, а зачастую и недостаточность археографической и комментаторской разработки леонтьевского наследия, мы использовали имеющиеся на сегодняшний день сведения и результаты последних разысканий, надеясь, что выход собрания сочинений послужит стимулом и подспорьем для дальнейших исследований. В названном разделе даются текстологическая и историческая справки о тексте, объем и содержание которых зависят от характера текста, от степени его изученности в литературоведческом, философском, идеологическом аспектах.

Затем следует постраничный реальный комментарий, в котором читатель найдет переводы иноязычных слов и выражений; сведения об упомянутых Леонтьевым лицах, событиях, фактах, если они не общеизвестны. В коммента-

рий входят также раскрытие аллюзий, объяснение редких и устаревших слов, вышедших из обихода понятий и представлений, указания на источники цитат, парафраз и т. п.; развернуто комментируются те реалии, понятия, идеи, которые в жизни и творчестве Леонтьева приобрели особое значение.

Примечания в тексте, принадлежащие самому Леонтьеву, даются под строкой и отмечаются звездочками.

В томах 6—12-м будут помещены именные указатели к каждому тому, в 12-м томе — сводный указатель имен.

Решая вопросы передачи текстов Леонтьева в современном научном издании, мы сочли оправданным отступление от некоторых издавна принятых в эдиционной практике правил и обычаев. Мы исходили при этом из того, что повсюду заявлявшие о себе леонтьевские свобода и самобытность находили выражение не только в позиции, в смелых до дерзости суждениях, в крупных стилевых чертах творчества, но — не менее интенсивно — в речевом поведении, в фонетико-интонационном строе его речи, что ведь и сам Леонтьев настойчиво и разными средствами подчеркивал в своих текстах (достаточно вспомнить, как использовал он в них курсив и прочие выделения). Задача сохранения и воссоздания живой речевой личности автора — вплоть до особенностей не только написания, но и произношения, насколько оно может быть донесено до нас печатным, грамматически упорядоченным текстом, — такая задача представляется нам одной из важнейших.

Следует, однако, учитывать, что автор по-разному оформляет речевой акт в двух различных типических ситуациях.

Первая — взаимодействие речевой личности с сильной книжно-письменной традицией. Автор испытывает влияние ее образцов и норм, вместе с тем и сам влияет на нее, даже что-то в ней изменяя, — конечно, лишь со временем. Соотношение нормированности, колеблющегося написания и активного авторского сопротивления норме в

данной ситуации приходит в конце концов к определенной уравновешенности всех трех тенденций. При передаче такого текста, который автором воспринимался изначально (или на каком-то этапе) как предназначенный к обнародованию, к напечатанию, индивидуально-авторская орфография и пунктуация должны сочетаться с нормами того времени, когда текст создавался, и с нормами, обязательными для сегодняшнего издателя. Этому принципу мы следовали, готовя к публикации художественные, публицистические, мемуарные тексты и не избегая при этом весьма радикальных текстологических новаций, если они казались нам достаточно обоснованными. Таково, например, восстановление смыслоразличительной і в слове «мір» и родственных ему образованиях.

Другая ситуация — когда речевая личность остается наедине с собою (дневник, записные книжки, наброски) или обращается к близкой ей речевой личности (письмо к корреспонденту, имеющему такой же культурно-речевой статус). Здесь акт речи совершается вдали от авторитетных образцов и регулирующих инстанций, соответственно все особенности авторской речи, если они не затемняют и не искажают смысла высказывания, получают наибольшую свободу выражения и наибольшее право быть адекватно переданными при публикации такого текста.

Среди устойчивых тенденций речевого поведения Леонтьева заметно, в частности, стремление к интонационно-смысловой непрерывности высказывания на достаточно протяженных его отрезках. Такие отрезки могут включать в себя несколько самостоятельных синтагм, выделенность которых у Леонтьева минимальна. В его речевой динамике нередко придаточное предложение, деепричастия, деепричастные обороты, вводные конструкции и прочие синтаксические единицы, обычно обособленные, составляют слишком тесное единство с другими элементами высказывания; соответственно автором опускаются знаки препинания («и возвратясь недолго жил»; «Пусть сам кто хочет ее

переводит»). В иных же случаях, напротив, Леонтьев членит высказывание вопреки принятым схемам — чтобы подчеркнуть смысловую выделенность лексико-семантической группы, интонационный сдвиг и т. д.

Орфографические и произносительные особенности, свойственные самому Леонтьеву, его кругу и времени, по большей части отражались в прижизненных публикациях, хотя при этом приходится учитывать то обстоятельство, что в разных журналах и у разных издателей существовали свои «местные» предпочтения (так, нередко отличаются написания одного и того же слова в «Отечественных записках», «Московских ведомостях», «Русском вестнике»). Отделяя случайности, произвол переписчиков и корректоров, обращаясь к автографам и авторской правке, мы с большой степенью достоверности можем предположить, каких норм (обычаев) придерживался Леонтьев и каким он хотел видеть свой текст в печати. К числу характерных его черт несомненно относятся особенности звучания/написания гласных после шипящих и «ц» («танцовать», «поцаловать», «дельцо», «чорный» и т. д.), смягченье «н» («деньщик», «черниленька»), высокая частотность полногласных окончаний творительного падежа («откровенною беседою»). Поддерживают общий артикуляционно-фонетический и орфографический стиль и такие написания, как «запречь», «извощик», «провинцияльный», «возжи»; редкие в литературном языке формы — «приколона», «замужство» и т. п. — воспроизводятся не только там, где они обусловлены речевой индивидуальностью персонажа, но и как выражение подвижной грамматической ориентации автора и широко понимаемой языковой нормы.

Вместе с тем ряд употреблявшихся тогда форм, написаний, а также постановка знаков препинания входят в слишком резкое противоречие с орфографическими и пунктуационными установками нынешнего читателя, что создает затруднения в восприятии текста, разрушает речевое и художественное впечатление. Во избежание этого в бел-

летристических и мемуарных текстах устранены такие написания, как «потрести», «найдти», «Федорычь»; сняты тире, дополняющие точку в конце предложения, отменено сочетание двоеточия и тире после слов автора, введенных в прямую речь, и т. п.

Для интонационной характеристики речи весьма важны знаки ударений, поставленные самим Леонтьевым. В упорядоченном нами виде эти акцентные указания автора выглядят так: логическое ударение [`], тоническое ударение [´]. В словах иноязычного происхождения и в словах с нетрадиционным ударением, если они употребляются в тексте многократно, ударение ставится один раз — при первом употреблении слова.

Наконец, нужно сказать о небывалом «избытке курсива», за что Леонтьева «и словесно и печатно упрекали». Сам автор в письме В. А. Попырниковой от 26 апреля 1880 г. объяснял, что причина такого использования курсива вовсе не в «нервности» его манеры, не в «слишком дурном мнении об уме читателей», а в том, что русские читают «небрежно, рассеянно и через два дня все забыли. А многие и не понимают вовсе или совсем превратно» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 3 об.—4). Однако курсив у Леонтьева — это не только способ обратить внимание читателя на идеи, их оттенки и связь в публицистическом тексте. Курсивы многочисленны и в беллетристике; это одно из средств смысловой и интонационной организации высказывания, наряду со средствами логической и мелодической организации. Поэтому мы воспроизводим все курсивы Леонтьева, за исключением распространенного тогда курсивного написания названий книг, периодических изданий и т. п.

Пропущенные или недописанные Леонтьевым части слова восстанавливаются нами в угловых скобках. Слова и фрагменты текста, отсутствующие у Леонтьева, но необходимые по смыслу речи, а также редакционные пояснения даются в квадратных скобках.

Редколлегия Полного собрания сочинений и писем с благодарностью примет все замечания и дополнения, касающиеся нашего издания, а также сообщения о не известных нам рукописях и документах как самого Леонтьева, так и лиц, причастных к его наследию. Сообщения мы просим отправлять по адресу: 199034 Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4, ИРЛИ.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1852—1861 ГОДОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОВЕСТЬ

I

Жил в одном губернском городе очень добрый учитель немецкого языка, Федор Федорович Ангст. Ангсту было сорок семь лет, и он был холост. Всем известно, что немец осторожен и сбережет себя на чорный день скорее, нежели кто-нибудь из прочих наций. Если б не легкая проседь в светло-каштановых волосах его, многие дали бы ему только тридцать семь лет. Но свежая наружность его была дряхла сравнительно с его сердцем. Такое сердце вряд ли часто придется сохранить и быстрому французу, и итальянцу, у которого, говорят, огонь горит в жилах. Сам я не видал итальянцев.

Последнее время Федор Федорович оставил казенную квартиру, которую давала ему гимназия за то, что, кроме должности учителя, он правил еще и надзирательскую должность, — и поселился в своем коричневом домике, купленном за полторы тысячи серебром.

Эти деньги были частью того капитала, который получил он в наследство от старшего брата, скончавшегося в Гамбурге. Многие советовали Федору Федоровичу пустить эти деньги в обороты; другие уговаривали ехать в Москву и предпринять там преподавание в самых широких размерах, завесть пансион, или что-нибудь в этом роде. Федор Федорович упорно отстаивал свое мнение и находил лучшим просто положить капитал в ломбард, купив на некоторую сумму домик.

«И притом, — возражал он, потряхивая слегка правою ногой, — я так люблю этот город: я в нем жил пятнадцать лет!»

И эти слова говорил он всякому, хотя только немногие могли запомнить то время, когда Федора Федоровича еще не было в городе.

Один небогатый помещик, давным-давно совсем обрусевший лифляндец, который хорошо знал и любил Федора Федоровича, потому что коротким с ним людям нельзя было его не любить, сказал ему раз, убеждая его ехать в Москву, «что это он все пустяки возражает!» И прервав свою озабоченную ходьбу по комнате, вдруг остановился перед ним и вскрикнул ему почти в ухо: «Ты можешь быть профессором, чорт возьми!» Потом, слегка ткнув его концом чубука в грудь и откинувшись назад, посмотрел на него такими страшными глазами, что Ангст испугался. Федор Федорович поколебался, несмотря на всю твердость своего характера: так опасны для человека отвсюду сыплющиеся и громящие мнения и соблазны!

Наконец личные убеждения взяли верх над всем, и он остался. Самый лучший из его приятелей, русский старый чиновник, похвалил тогда его решение следующими словами:

— Так-то, брат, лучше. Доживай-ко с нами... или хоть до моей смерти побудь... Оно лучше, знаешь, у нас теплее; каково ни на есть, а все теплее... Это так! Да и метода твоя устарела... Куда тебе в столицу, там все молодежь, небось... забидит тебя вконец. А здесь и уроков у тебя с каждым годом все больше и больше... Теперь, если б ты был женат и за женой еще капиталец взял, так вместе с своим отчего ж бы пансион не затеять, хоть здесь, хоть в Москве... а то ведь метода твоя устарела!

После я вам скажу, отчего старый Васильев так желал, чтоб Федор Федорович остался.

Что касается до Ангста, то он долго думал, зачем Николай Николаевич дерзко отзывался об его методе. «Чем же моя метода, — говорил он, — устарела?»

Но способность задумываться по целым дням лежала в натуре Федора Федоровича. В нем было много странностей.

Домик был очень удобен. Все было близко от него: и учебное заведение, при котором он состоял, и рынок, и лавки, и самый частный пансион, где было самое доходное место Федора Федоровича. Но местоположение его было грустно, на конце глухого переулка, упиравшегося в крутой берег огромной лощины, где со всех сторон сближались огороды соседних мещан и купцов; за лощиной на далекое пространство громоздились перед глазами крыши лачужек и домов: только местами темная масса их разнообразилась или светло-зеленою крышей, или группой древесных верхушек, поднимавшихся с какого-нибудь палисадника, или наконец колокольней, то новою, с сверкающим шаром наверху и крестом, то живописно-дряхлою, покрытою мелкими окошечками.

Стены дома были темно-оранжевые, ставни белые. На этом цвете стен, удобном для грунта, резко выступали разные растения и кустики палисадника, разведенного недавно самим немцем, придавая необыкновенно пестрый вид и без того яркому домику. Самые мальвы, такие грубые вблизи, были очень кстати с своими теневыми цветами, восходившими от бледно-бланжевого до прелестного густо-малинового цвета.

Внутри все было чисто, начиная от жолтой залы и голубых ширмочек на ее окнах, до маленького кабинетца, в котором Федор Федорович клеил коробочки, баулы, рамки, лил из металлов разные вещи и золотил то к Святкам для детских елок орехи, то яйца к Святой неделе.

И никакие тревоги, казалось, не проникали ни в жолтую залу, ни в кабинет, где он клеил, золотил и лил. Везде он был один и тот же, высокого роста и немного полный, с широкою головою, белокурыми волосами, слегка посеревшими больше от головной боли, которою он часто страдал, длинным прямым носом, с улыбкой, имевшею луч саркасма, как будто озабоченными беглыми светло-голу-

быми глазами, молчаливостью и беспрестанно трясшеюся правою ногою.

Читал он вообще немного, хотя и любил сказать иногда ни с того, ни с сего: «Эти науки!... Удивительно! с тех пор, как я стал изучать науки, сейчас увидел, что все в жизни пустяки!» И долго после этого он с тонкостью смотрел на своего собеседника, желая прочесть на лице его тот страх, который может навести на всякого человека мысль, что все в жизни пустяки, даже самая философия, которая все это открыла.

В класс он никогда не опаздывал. Только раз пришел получасом позже, и этот случай так замечателен по своим последствиям, что нельзя прейти его молчанием; это еще было до покупки дома.

Федор Федорович, по обыкновению, услыхав звонок со двора частного пансиона, отправился в класс.

Он пришел уже в ту комнату, где стоит водоочистительная машина для воспитанников, не знающих урока, и сторож снял с него пальто.

— Ты повесь его! — заметил немец, подозрительно глядя на него.

Угрюмый сторож, который, по причине своих толстых подошв, совсем отвык употреблять пятки и, казалось, не ходил, а механически стремился вперед, — повесил пальто.

— Ты не замарай его, — присовокупил немец.

Сторож провел по одежде рукою, как бы заранее счищая с нее всякую дрянь.

Федор Федорович пошел было, но вдруг детский крик раздался в стороне столовой. Потом послышалось что-то вроде мольбы и рыданий. Потом все смолкло.

Поняв, в чем дело, и, повинуясь внутреннему влечению, Ангст пошел на голос, отворил дверь и увидел приготовления к известному всем процессу, так часто бывающему в школах.

Содержатель пансиона, заметив его, махнул сторожам, которые держали за руки белокурого и хорошенького мальчика лет тринадцати, и обратился к нему.

— А! — сказал он, — Федор Федорович! что вам угодно?

— Извините, вы хотели познакомиться с Лессингом, вы просили, чтоб я вам достал... Но я не мог. Я достал вам Бюргера.

— Очень, очень благодарен... Мы зайдем с вами наверх, а пока извините...

Потом прибавил по-немецки:

— Надо кончить эту печальную обязанность.

Федор Федорович взглянул на мальчика. По розовым щекам, до половины ушедшим в воротник, текли горькие слезы, слезы раскаяния и страха. В голубых глазах бедного ребенка Федору Федоровичу показалось столько страстной мольбы, столько отчаяния, что он, после минутной задумчивости, тряся ногой, начал следующим возгласом:

— Аа! это маленький Цветков. Вы его простите, Петр Петрович, он еще вчера обещал мне хорошо учиться.

— Помилуйте! у него пять единиц! Слышишь, Федор Федорович просит за тебя?!

— Федор... — начал было Цветков, но рыдания отняли у него голос.

Ангст попросил еще по-немецки, и инспектор, человек весьма мягкий, улыбаясь, взглянул на мальчика.

— Петр Петрович... Осокин меня толкнул. А я не виноват, ей-Богу, нет! Осокин меня толкнул, а я закричал...

— Довольно, довольно, — прервал содержатель, — ступай, глупенький, да смотри-и!...

После этого, не слушая благодарности Цветкова, он взял Ангста под руку, и они ушли, а мальчик с различными козлами бросился вон из комнаты так радостно, что солдаты разжалобились.

— Это жизнь-то их, право, господских детей! — сказал один, отодвигая скамью. — Ведь, что еще за беда, что дитя малое не выучилось?... Эх, право! и сечь напримерча нечего... Весь-то он сам, вот!

И он отмерил на огромном пальце такую часть, которая и вправду была немного менее Цветкова.

— Ну их! — отвечал другой, поласкав ус.

С этого дня незаметная, но несокрушимая связь связала Ангста с Цветковым. Немец не забывал спасенного им мальчика, да и трудно было его забыть. Каждый день караулил его Цветков где-нибудь на повороте коридора, или в дверях, или на лестнице, и кланялся ему, осведомляясь о здоровье.

Федор Федорович, в свою очередь, останавливался перед ним с доброю улыбкой, хитрым взглядом и, лукаво потряхивая ногой, говорил:

— Ну, что, Цветков?..

Когда мальчик еще подрос, учитель стал брать его к себе на праздники и воскресенья и кормил так, что он терял аппетит на весь следующий день.

Прошло пять лет. И много, много умудрилось убежать воды с этого дня спасения и новой дружбы. Доброго и худощавого содержателя пансиона не было уж в живых: на месте его воздвигался другой, пониже и потолще, несравненно ученейший.

Многих из приятелей Федора Федоровича тоже не стало. Энергический лифляндец не мог уж дружески стукать Ангста чубуком, потому что, продав именьишко, удалился в Москву доживать у замужней дочери свои бесцветные дни.

В самом же Федоре Федоровиче произошло мало перемены, только немножко прибавилось седин; и все же их было гораздо меньше, нежели белокурых волос.

Но никто не мог перемениться в эти пять лет, как переменился Ваня Цветков: из маленького и розового мальчика он стал высоким блондином, с крутою грудью, жестким кулаком и такими здоровыми мускулезными членами, что им, казалось, была тесна школьная одежда, они как будто вечно рвались наружу куда-то вширь, и выражали свое рвение то разорванным сукном под мышкою, то расползшимся рукавом; только лицо его осталось по-прежнему с мелкими, почти детскими чертами и ничего не умело выразить, кроме натянутой суровости и весьма не

похожей на нее боязливой конфузливости, которую, впрочем, совсем не сознавал в себе молодой человек, а напротив того, был убежден в неизменной мужественности своей физиономии. Это убеждение имело своим следствием то, что он постоянно мечтал о военной службе и готовил себя, во что бы то ни стало, к ней.

Часто говаривал он тем из товарищей, которые хотели его слушать:

— Возьму штык и пойду, и пойду! Грудь высокая, талия тоненькая, сила во-о-о... экой буду молодчина-то! Непременно буду воин! Только чувствую, — прибавил он со вздохом, — что головушку мне не сносить... что-то вот сердце щемит да и щемит, говорит мне, что немного погулять мне придется.

Или засучит обшлаг рукава, обнажит свою руку и, положив ее перед собою на стол, долго, долго сжимает и разжимает кулак, заставляя играть перед собой его мышцы.

Потом вскрикнет с улыбкой: «Эка махина!»

И, махнув рукой, встанет.

Однажды он чуть-чуть было не вызвал одного молодого человека на дуэль за то, что тот долго шептал другому на ухо. Что он шептал, Цветков не слыхал; но слышал их громкий смех, и когда шептун ушел, юноша постучал себя по воротнику и воскликнул:

— Ох, если б не эта форма...

— Что ж бы тогда было? — спросил его кто-то.

— Если б я был в свете?! Неужели вы сомневаетесь, что была бы дуэль?

— Сомневаюсь, — отвечал другой.

Но Цветков так презрительно взглянул на окно и так ловко припрыгнул, пшикнув на дерзкого, что тот уже никогда не сомневался после этого.

На последний год его курса Федор Федорович, совершенно привязавшийся к Цветкову и любивший его военные наклонности, взял совсем его к себе в коричневый домик, и там жили они тихо и мирно; вместе ходили на

гулянье, и Федор Федорович любил следить за юношей сам, чтоб такое сокровище было сохранено для вступления в жизнь в чистоте и свежести. Цветков же охотно подчинялся дружескому влиянию Федора Федоровича, который, в свою очередь, советовался с ним иногда, спрашивая:

— Как вы, Цветков, об этом думаете?

И Цветков отвечал:

— Да, я-с полагаю, Федор Федорыч, что вы очень хорошо придумали,

— Вы думаете это?

— Ей-Богу, право, хорошо!

И оба весело смеялись.

Иногда возникал у них разговор вроде следующего:

— Как вы думаете, Цветков, о вашей карьере?

— Я полагаю в военную.

— Почему же?

— Потому что я чувствую к этой службе большую страсть.

— Это хорошая дорога; но вы можете и в других местах успеть.

— Вот, извольте видеть, Федор Федорыч... я вам сейчас объясню... Я русский, я люблю свое отечество. Ну, а ведь вы знаете, в чем больше всего всякая страна нуждается? В защитниках... это известно из истории.

— Как в защитниках?

— В воинах, то есть, в защитниках от нападения других народов.

— Да.

И немец долго задумчиво качал ногой.

— Да, — прибавил он потом через несколько времени, — это правда.

И долго думал добряк после этого о Цветкове и любовался, как тот, подпустив руки под фалдочки, гордо носился по комнате.

Вообще же разговаривали они мало, потому что оба были не говорливы; Ангст по натуре, Цветков отчасти тоже по натуре, а еще больше по усвоенной им

привычке мало сообщаться с товарищами веселыми и ребячливыми, позволявшими себе безнаказанно смеяться над его павлиньею гордостью.

II

Но без женщины и у них, к несчастию, не обошлось.

Без околичностей скажу, что Николай Николаевич Васильев, тот самый секретарь, который так напал на методу Федора Федоровича, давно уж прочил дочку свою, Дашеньку, за Ангста. Мать Дашеньки была тоже немка. Девочка росла на глазах Федора Федоровича. Часто, когда она еще бегала в панталончиках и с двумя русыми косичками, болтавшимися по спине, Федор Федорович с нежною ласкою сажал ее к себе на колени или затеивал с ней какую-нибудь игру, большею частью тихую, потому что сам ребенок был грустен и тих. Ангст был тогда в полном цвете лет, красоты и сил. Когда Дашеньке пошел пятнадцатый год, отец стал посылать ее в пансион, где между прочими учителями преподавал и Федор Федорович. Ангст с той поры находился постоянно в молчаливом восторге перед чистым германским выговором Доротеи, ее скромностью и чорными, круглыми глазками, которые странно и мило выступали на природно-бледном и сентиментально-прозрачном личике.

Что касается до ее отца, то он давным-давно хотел, чтобы дочь его была со временем женой Федора Федоровича.

— Люблю немцев! — говорил он однажды, вздыхая и качая головой, — эх люблю... аккуратный народ! Слушай, Федор... скажи ты мне, брат, ведь у тебя на лице всегда какое-то довольство! отчего это, брат?

— Я часто грущу глубоко, Николай Николаич. Лицо обманчиво.

— Грусть! что грусть? Это так только тебе кажется, Федор! а впрочем, и вправду, может быть грустно под-

час. Это от холостой жизни. Тебе нужно жениться... эх, брат Федор, сказал бы я тебе штуку, да, пожалуй, и не понравится.

Ангст лукаво потряхивал ногой и ждал, чтоб он высказался.

— Или сказать? Ну, скажу. Кабы ты Дарью-то мою взял, как она выйдет из пансиона: спокойно бы тогда старик умер, ей-Богу, спокойно.

— Вы меня поразили, Николай Николаич! Признаюсь, это меня удивляет!.. я ужасно желал бы сам этого. Но Дарья Николаевна так молода, а я уж...

— В летах что ли? Эх, да кабы я в тридцать был таким, как ты теперь, то вот бы как спасибо сказал. Ну, теперь возьми ты меня, — продолжал он, махая руками, — что я? ну, что я?.. Хлам, чистый хлам; не понимаю, из чего жить хлопотал?.. Просто ни к чему. Что дом-то нажил? Да ты спроси, как я его нажил... это не то, что ты... ты благородный человек, Федор Федорыч.

— Но может быть, — задумчиво возражал Федор Федорович, — им кто-нибудь понравится... Против страстной любви, я полагаю, невозможно!..

— Вздор, — кричал Васильев, — вздор. Я сам женился по любви... еще когда? когда у меня ничего не было... а какое наслаждение — решительно никакого... Как пошла по ребенку в год отсчитывать Марья Карловна-то... как завизжали... Вот тебе и любовь! а к столу-то что? Щи, каша, каша, щи, щи... А там Бог убирать их стал! Опять, говорит жена, горе... и плакса сама была. О-о, плакса покойница... Только вот что хорошо: аккуратна была! На кухню, в погреб, на рынок, в город, к горшку — везде сама... Ну, а я, грешник, признаюсь, смерть, бывало, не люблю, как от нее чем-нибудь кухонным пахнет. Решительно никакой поэзии не было! Так и в гроб пойду!

— Но вы боролись, Николай Николаич! Вы победили жестокость рока...

— Боролся? С судьбою-то? С чего ж ты это взял? — воскликнул отставной секретарь, презрительно отворачива-

ясь от него. — Нет, не боролся, совсем не боролся, — отрывисто прибавил он.

Оба молчали.

— А как ты думаешь, брал я взятки, или нет? — спросил он, несколько погодя, Федора Федоровича.

Ангст не знал, что сказать.

— Молчи, молчи, брат... так и надо; сказал бы, что не брал, так я, у! как бы рассердился. Люблю правду! брал, брал, душа моя... как еще подчас и дурно брал... Этакая бесхарактерность какая-то была... а не то, чтоб я зол был, или совсем бесчестен. Кабы дома жить было покраснее, не брал бы...

И старик понурил свою седую голову...

— А теперь бок болит, да и болит... с тех пор, как от должности отставили. А ты знаешь, за что меня отставили?

— За что?

— За то, что я... Да вот, как дело было. Был процесс у помещика Лукутина с Поповой, помещицей, еще от мужа остался не кончен. Его-то статья была поправее... Да богат, негодяй, был... Ходит, рожа, с цепью, бывало, мародер этакой! Он мне тысячку в руку... Я и того... Вдруг, брат, от Поповой-то записка. Я к ней... Просит, говорит, я не пожалею денег, сколько могу. Дом в деревне маленький у нее, да все так чисто, хорошо, сама, знаешь — этакое что-то приятное в лице, а уж лет тридцать на лицо, бледная, в чорном шолковом капоте. Деток двое, просто ангелы. Я больше для детей... говорит, и повела меня в садик гулять. Я, признаться, забыл тогда, что есть Марья Карловна на свете. Кофеем прежде напоила и повела в сад. И заплакала, как стала о детях говорить. Я сейчас: не тревожьтесь, сударыня! Я за правым делом не постою, да в ее сторону и повернул оказию-то. Ну вот Лукутин в высшую инстанцию, да меня за неправости с места долой. Хорошо, что из-под суда-то избавили... А все-таки это значит, брат Федор, чувство у меня было! Вот ты, Федор, — продолжал Васильев после короткой задумчи-

вости; — ты как-то здоров, Бог с тобою... Лицо у тебя цветущее, сердце доброе... честный малый... Жена с тобою не пропадет; довольна будет, хоть бы даже совсем тебя не любила. Не в Москву же мне дочь везти! А здесь, что и есть на примете молодежи — все или дрянь, или богач. Куда мне с ней? Вот, хоть бы тот, Чикровский... знаешь Евлампия Иваныча сынишка-то? хвалят, что честен, на теплом местечке сидит, взяток не берет... не хочет грешить, зачем? честен... Да уж лучше бы он брал!.. Взятка взятке рознь... Взяток не берет, да и денег у него зато никогда нет. Все на перчатки и галстухи тратит; к начальнику ездит. Это, говорит, для карьеры полезно! а какая карьера? Видел я, как его у начальника-то принимают: с дверей, да со стенок пыль спиной сметает, шевельнуться не смеет... Так-то, брат Федор!

Незадолго перед смертью Николай Николаевич, лежа на диване, подозвал к себе дочь, которая тогда недавно только кончила пансионский курс.

— Дашенька, поди-ка сюда, — сказал он слабым голосом. — Надоел тебе старик, что ли? Все скрыпит, да скрыпит, а?

Даша заплакала и стала целовать руки у отца.

— А ведь и ты добрая, Дашечка? Добрая девчоночка... удружи-ка отцу!...

— Что прикажете, папенька?

— Что тут приказывать? знаешь, ведь я скоро умру, друг, так опекуном-то у тебя Федор Федорыч будет. Вы мой-то домишко продадите, а капиталец-то в банчик, не в тот банчик — в штосик, а в Опекунский, душа... Да и заживете. Будешь жить у Федора, Даша?

— Зачем вы это говорите...

— Затем... полно, что тут. Все мы смертны. Только я спрашиваю: будешь ли ты с ним жить и во всем ему повиноваться?

— Буду, папенька...

— Эка дочь-то! Ну и люби его... Я, Дашенька, не говорю — тебе замуж за него непременно, потому что

клятвой связывать тебя не хочу. А если б пошла за него, кости стариковские порадовались бы. Вышла бы за него... зажила бы чистенько, покойно. А старикашку в землю, в гроб... да хорошенько его землей, землей...

Дашенька вышла вся в слезах из комнаты и встретила в гостиной Федора Федоровича. Увидев ее слезы, Федор Федорович покраснел и взял ее за руку.

— О чем вы плачете, Дарья Николаевна?

— Подите к папеньке, — отвечала она.

— Федор, — сказал старик, — Даша-то будет у тебя жить... Ты ею займись, голубчик, за другого ли отдай, сам ли возьми, если друг другу понравитесь.

Немец затрепетал.

— Только ты... Ведь я, впрочем, на тебя надеюсь, ты благородный человек.

Через две недели Васильев скончался. Еще раз, перед смертью, он попросил дочь, чтоб вышла за Ангста. Федор Федорович сделал все так, как было угодно покойнику: продал дом его, положил деньги в Опекунский совет и взял Дашу к себе. Вот что он ей говорил в тот вечер, когда она перебралась к нему со всеми своими вещами:

— Дарья Николаевна, это будет все ваше... в моем доме!... Если вам не нравится мой кабинет, я вас переведу в гостиную, она в углу дома и имеет две двери...

— Мне все равно, Федор Федорыч; вы и так для меня слишком добры, — отвечала Дашенька, которую по временам мучило сознание своей холодности к этому человеку с тех пор, как просьба отца сделала его чем-то вроде жениха. Федор Федорович улыбнулся и молча покачал ногою.

— Дарья Николаевна, позвольте поцаловать вашу руку.

Дашенька подала руку, и немец крепко поцаловал ее.

— Вы знаете, — сказал он наконец, — желание вашего батюшки... о нашем соединении, о нашем браке; но желал бы знать мнение и ваше об этом... имеете ли вы ко мне какое-нибудь чувство?

— Я никогда не пойду против последней воли отца!

Федор Федорович еще потряс ногою.

— Но вы сами, Дарья Николаевна, что вы чувствуете?

— Я очень привязана к вам и полагаю, что буду с вами счастлива... вы были так дружны с отцом моим, вы так любили его и так добры ко мне...

— Я люблю вас! — сказал немец, и подбородок его дергался от душевной полноты и волнения.

Дашенька пожала ему руку и, почувствовав сама в эту минуту какое-то теплое движение в душе, смутилась, встала и хотела выйти вон.

Федор Федорович остановил ее.

— Дарья Николаевна, скажите мне прямо: угодно вам быть моею?

— Я буду вашею женой, Федор Федорыч... — отвечала она и поспешно ушла.

— Как она скрытна! — подумал Ангст, весело улыбаясь и глядя на дверь, за которой она скрылась; — в этом отношении я ее совсем понимаю; чувство так трудно высказать!

Вошедший Цветков вызвал его из задумчивости. Он был убежден в ее взаимности.

— А, это вы! — воскликнул немец.

— Что вы все задумавшись стоите, Федор Федорыч? — спросил Цветков.

Немец лукаво улыбнулся.

— Подите сюда, — сказал он, уводя Цветкова в залу, — я имею нечто вам сообщить.

— Что же-с?

— Я хочу жениться, Цветков, как вы об этом думаете?

— Что ж Федор Федорыч, ваши лета хорошие, в ваши лета приятно иметь семейство.

— Это вы умно говорите, Цветков, именно в мои лета!

— На ком же вы думаете жениться, Федор Федорыч?

— У меня уже есть невеста... только это между нами...

— Неужели Дарья Николаевна?..

— Она, Цветков, она. Мы были обручены еще отцом ее в час его смерти!

— Ну, поздравляю вас, Федор Федорыч. Позвольте вас поцаловать...

Они поцаловались.

— Только ни слова никому, Цветков, об этом... она до окончания траура, верно, не захочет сыграть свадьбу.

Месяца три после этого они жили все трое очень хорошо. Ангст был необыкновенно ласков с Дашенькой, позволял себе звать ее иногда полуименем; Дашенька была к нему внимательна и почтительна. Цветков был по временам даже до чрезвычайности светск и любезен с ними обоими.

— Ist er nicht ein flinker Bursch — he? — говорил немец своей невесте, любящим взором окидывая Цветкова.

— Ja, — довольно холодно отвечала Даша, которой Ваня казался несносным и глупым.

Вообще она начинала страшно скучать, Федор Федорович надоедал ей своим однообразием, и все у него в доме становилось ей противно.

III

Между радостными мечтаниями о браке с Дашенькой замешивались у Федора Федоровича и грустные минуты.

Прошло уже шесть месяцев со дня поселения Дашеньки в его доме.

Ученый содержатель пансиона давно уж был положительно недоволен им самим и его методой.

Наверное, впрочем, можно сказать, что содержатель долго бы терпел его, если б он был незаменим; но недавно приехал в город молодой немец, кончивший курс в Дерпте, довольно отчетливо знавший русский язык и говоривший немного даже по-французски. Он определился года на

полтора к одному из богатейших помещиков губернии в виде полу-гувернера или, скорее, компаньона при единственном сыне, который готовился в гвардию и имел уже лет восемнадцать.

Вильгельм Лилиенфельд был несколько мрачный мечтатель, с глубоким взглядом синих и подчас сверкающих глаз, с откинутыми назад темными волосами, с затаенной потребностью делить мечтания и чувства и с неправильными, но выразительными очертаниями лица... Он одевался со вкусом, любил бессознательно казаться интересным и невыразимо нежным голосом читал горячие стихи Шиллера о том пилигриме, который все рвался вдаль и никак не мог найти того, чего так жадно, так непрестанно искал... Но это не мешало ему усердно желать повышений и денег. Не успел он прожить и полугода в городе, как из списка уроков Федора Федоровича выбыло дома два-три.

А там содержатель пансиона побывал у Крутоярова (так звали богатого помещика), разговорился у него с Вильгельмом и пленился им так, что на другой же день сообщил свои мысли о нем одному из надзирателей.

— Очень, кажется, хороший молодой человек, очень, очень, — сказал он гордым и приятным голосом. Я очень люблю и уважаю Федора Федорыча, но согласитесь, добрейший мой Александр Александрыч, что он самый плохой педагог. Дети не умеют склонять у него; а в высших классах он читает такую галиматью, что я даже ничего не понял.

К несчастью, он был прав: Федор Федорович очень неудобно преподавал синтаксис и все высшее своего предмета; нельзя сказать, чтоб он лишен был знаний и понимания, но стиль его записок был странен и страшно труден для усвоения. Содержатель продолжал:

— Хотя я поклялся очистить заведение от всякого сора, но я ведь очень добр и буду ждать непременно причины, которая бы позволила мне, не шокируя никого, переменить учителя немецкого языка. Лилиенфельд не только ученый, но и прекрасно воспитанный малый.

Надзиратель ушел к себе и, увидав в своей комнате жену, задумчиво плюнул, и, не глядя на нее, как бы в рассеянии вскрикнул:

— Какой дар слова у этого человека!

Но жена закричала:

— Что у тебя за скверная привычка плевать везде!.. С тобой никогда опрятности не будет!.. Надел на нос свои очки и харкаешь... Марфа, а Марфа! поди щеткой подотри тут за барином, да и всегда ходи за ним со щеткой...

— Ну уж с тобой жизнь! Будет тут какое-нибудь благородство! — проговорил муж, скрежеща зубами.

Так был казнен надзиратель судьбою за ошибочное воззрение на вещи.

Слова содержателя дошли частью и до Федора Федоровича.

— Что ж делать! — сказал он сам себе. — Если б я уж был женат, а то будет очень скучно без занятий. Надо быть осторожнее! Конечно, рано или поздно... Впрочем, я не понимаю, что имеет против меня этот человек.

Между тем приближался акт, и Федор Федорович, по обыкновению, недели за две о том стал думать, какие бы немецкие стихи дать читать воспитанникам на этом собрании.

— Господа! — весело сказал он ученикам высшего класса, — кто будет нынешний год читать мои стихи, то есть из немецкого языка?

Все молчали.

Федор Федорович тихо обвел глазами всех мальчиков.

— Неужели никто?

Опять все молчали.

— Вам не угодно? — спросил он у одного.

— Я читаю свое русское сочинение об Эпаминонде, — холодно отвечал воспитанник.

— А вы?

— Я, право, Федор Федорыч не могу. — Я охрип...

— И вы не можете?

— У меня французские стихи уж давно.

Федор Федорович еще посмотрел на юношей и тихо вышел...

Других не стоило спрашивать: они дурно читали по-немецки, совершенно не владея произношением.

В первый раз в течение пятнадцати лет случилась с ним неудача такого рода.

Он уж шел к лестнице, как вдруг его кто-то позвал... Он обернулся, перед ним стоял раскрасневшийся Цветков.

— Позвольте мне-с, Федор Федорыч, — сказал он, конфузливо улыбаясь, — читать стихи из вашего предмета... на акте-с.

Федор Федорович поглядел на него, подумал и отвечал:

— Хорошо, Цветков. Мы дома увидим.

Отобедав, Ангст позвал к себе в комнату Цветкова и спросил: остается ли он при том же намерении.

Цветков отвечал, делая ловкий жест рукой, что он никогда не потерпит, чтоб Федора Федоровича предмет был забыт на акте...

Ангст поблагодарил его.

— Признаюсь, — сказал он, — что самолюбию моему это было очень больно, я ужасно страдал! Но этого мало. Вы знаете, что за это я мог бы лишиться места.

— Неужели?

— Клянусь вам всем святым! Это будет грустно, Цветков!

— Пансион без вас будет плох-с... Вы так хорошо знаете вашу словесность, вас бы в университет, а ведь мы что — пф, вот так! Не понимаем, что вы и говорите-то в классе, — возразил Цветков.

— Нет, Цветков, нет... я выйду, как только женюсь, тогда у меня будут другие цели, более высокие. Вот книжка, — продолжал он, достав ее из шкапа, — вы после спишите на бумажке, для виду... Die Grenadiere, гренадеры... Это, Цветков, гренадеры Наполеона.

— Знаю, знаю-с! — самоуверенно сказал Цветков.

Федор Федорович начал читать:

Nach Frankreich zogen zwei Grenadier',
Die waren im Norden gefangen;
Und als sie kamen in's deutsche Quartier'...

— Не правда ли, милые звуки?

— Очень милые!

— Кто-то перевел их по-русски, — заметил, развеселившись, немец:

Во Францию шли гренадеры
Из русского плена вдвоем:
И лишь добрались до немецкой квартеры,
Их весть поразила как гром.

Потом он задумался.

— А ваше произношение, Цветков?

— Я постараюсь, Федор Федорыч.

После этого Цветков ушел в гостиную с книгой и, схватив обеими руками себя за голову, начал прилежно учить стихи, несмотря на свою плохую память. От поры до времени, топал он ногами для такта и громко вскрикивал,

Nach Frankreich zogen zwei Grenadiere!...

Федор Федорович, до которого долетали эти слова, вдруг отворял дверь в гостиную и улыбаясь кричал:

Во Францию шли гренадеры
Из русского плена вдвоем...

— Ха, ха, ха! — отвечал ему Цветков.

— Ха, ха, ха! — откликался немец.

И долго еще хохотали они. Потом Цветков снова начинал зубрить с возраставшею энергией. На часах пробило семь, и Ангст тихо вошел в комнату, подкрался сзади к своему молодому другу, поставил перед ним стакан чаю и поцаловал его тихонько в голову.

Цветков, никак не ожидавший такого теплого выражения благодарности, быстро обернулся и чмокнул его в плечо.

Посмеявшись часов до десяти, они наконец пошли спать, и на следующий вечер Ваня гордо подал книгу Федору Федоровичу, прося его выслушать стихи, и готовился поразить его нежностью выговора и твердым знанием.

Он начал.

Федор Федорович с удивлением слушал. Чем дальше шел Цветков, тем печальнее становилось лицо доброго учителя. Цветков произносил ужасно, в азарте выговорил все «n» по-французски, в нос. Окончив, он взглянул на немца... и вдруг смутился, увидев, что тот задумался.

— Что же-с?

— Благодарю вас, Цветков, — сказал Федор Федорович, — что вы выучили немецкую поэзию; но вы не можете читать на акте стихи: у вас французское произношение.

Ваня страшно сконфузился.

— Это, верно, от того, — заметил он, притворно смеясь и повертываясь на одной ноге, — что моя маменька очень хорошо говорила по-французски?...

Но не слыша никакого возражения, поспешно прибавил:

— Впрочем, она давно умерла... скончалась от чахотки; у ней была чахотка.

— Ничего, ничего, Цветков, вы не виноваты! Благодарю вас; я никогда этого не забуду.

Акт был на другой день, и немецкие стихи читал какой-то ребенок из маленьких классов.

Содержатель сделал замечания Ангсту насчет этого обстоятельства, дружески попеняв ему за то, что он ленится и не занимается учениками.

Федор Федорович после этих слов решился сам оставить свое место. Он пришел домой, достал все свои тетради грамматики и синтаксиса, связал их в одну пачку, подержал их перед собой в совершенной рассеянности, потом спрятал их далеко, далеко в комод и написал прошение об отставке. Все были поражены... Дети плакали, прощаясь с

ним; большие ученики поднесли ему серебряную табакерку, и на всем пансионе лежал отпечаток какой-то грусти в день прощания немца с его обитателями.

Так эффектно кончил Федор Федорович свое педагогическое поприще!

Впрочем, Лилиенфельд отбивал не одни учительские места...

На роду ему было написано причинять все несчастия Ангсту, не зная его, без всякой к нему вражды.

Вильгельм, прожив полгода в городе, приобрел во многих домах прекрасную репутацию и, несмотря на то, что мало танцовал, был приглашаем на все вечеринки, которые давались чиновниками, педагогами и небогатыми лекарями. Там с успехом выставлял он свой стройный стан, германское лицо и жилет из чорно-синего бархата.

Скоро встретил он Дашеньку в одном нецеремонном сборище, куда она решилась пойти в первый раз после смерти отца. Как я уж заметил в конце второй главы, скука начинала одолевать ее у Федора Федоровича, и ничего нет удивительного, что она сдалась на увещания старой знакомки своего отца, Софьи Петровны Н***, которая нарочно приходила звать ее к себе и утверждала, что танцев у них не будет, а будет простой кружок знакомых, и траур ее нисколько не оскорбит никого.

Итак, Вильгельм встретил Дашеньку.

— Кто это молодая девица в глубоком трауре? — спросил он у одного из гостей.

— У столика-то? Неправда ли, интересна? Про нее ходят слухи, что она выходит замуж за своего опекуна — Ангста... Знаете — немецкого учителя... Впрочем, мать ее тоже была немка... У нас в городе много немцев!

— Я сейчас угадал, что в ней должно быть что-нибудь немецкое! — заметил гордый Лилиенфельд, сдерживая улыбку.

Его подвели к ней и разговор завязался... скоро поняли они друг друга и расстались уж приятелями.

Не стоит говорить теперь о Вертере, разбойниках, балладах и рыцарях, лунных ночах и бестелесных идеалах: все это крайне известно... Только читателям не мешает слегка вспомнить обо всем для того, чтоб рельефнее предстала перед их воображением быстрая и таинственная симпатия, возникшая между молодыми людьми. Они начали часто видаться у Софьи Петровны. Вильгельм стал мрачнее; Дашенька больше вздыхала, сидя дома, язвила Цветкова, который, по молодости, не мог иногда не поферлакурить ей с совершенным бескорыстием, и с холодною почтительностью отвечала Ангсту на его красноречивые объяснения.

— Не переменили ль вы намерений ваших, Дарья Николаевна? — спросил ее однажды Федор Федорович.

— Нет, нет, Федор Федорыч! — поспешно сказала Дашенька, вспыхнув и, вспомнив об умиравшем отце, задрожала.

Ангст постоял перед ней несколько минут молча и робко присовокупил:

— Не меняйте их, Дарья Николаевна... Я вас страстно люблю! Ваш отец, Дарья Никол.....

— Ах, да не говорите про отца!..

— Ну, так я желал бы поцаловать вашу руку.

Дашенька протянула ему руку и сама, движимая расстроенными нервами и благодарностью, крепко поцаловала его в лоб.

Ангст быстро вышел из комнаты. В сумерки этого дня он сообщил ей свои мысли.

— Теперь, Дарья Николаевна, после этой ласки... после первого поцалуя любви... после этой ласки, я сказал внутри души, что я не могу жить без этого создания... я скорей сойду с ума или погибну... но это создание будет моим! Я не уступлю никому этой женщины!

Потом он много смеялся и, желая позабавить ее, шутливо сказал, что в день свадьбы наденет жилет, который

он видел в рядах: на чорных полосках были изображены жолтым шолком охотники, ружья, собаки и птицы.

Дашенька, рассеянно слушая, вспомнила о бархатном жилете Вильгельма и снова нашла между Лилиенфельдом и Ангстом такую же разницу, какая была между жилетом первого и дурацкою материей, описанною вторым.

— Что я наделала! ах, что я наделала! — мысленно восклицала она.

Что касается до Вильгельма, то он разгорался с каждым часом и, вдобавок, нашелся человек, который, из эгоистического удовольствия, счел нужным подливать в его огонь масло. Этот человек был юноша — Полинька Крутояров, сын богатого помещика, готовившийся на службу.

IV

Сам помещик был мягкий нравом человек, сохранивший от свежих годов своих довольно беглые, сладенькие глазки, еще не совсем угасшее сластолюбие и большую степень светской любезности, которая делала его приятным для многих, особенно для приезжих из столиц. Притом он не был лишен здравого смысла и своего рода старческой образованности, букет которой несколько повыдохся от времени. Он умел быть округлен в своих разговорах с дамами, и перед лицом их очень быстро стряхалась с него тучная лень. Все эти качества, соединенные с большим состоянием, доставили ему значительный вес в городе и постоянный доступ в интимность строгого губернатора и его скучающей жены. Все знали, что у него есть, кроме имений, порядочный капитал, который он берег для сына, для милого Пашеньки, чтоб мальчик, поступив в гвардию, мог, не стесняя отца, погулять и поблистать вволю... Он страстно любил сына. В нежных чертах его смуглого лица, в отпечатке стройной грации и на лице, и на худеньком, высоком стане юноши, и, наконец, в самом способе выражаться, отец видел черты, стан и манеру покойной жены

своей, умершей спустя два года после замужства. Он женился рано на ней и принес ей в дань весь разгар своей молодости. Оттого-то скоро умершая оставила в душе его неизгладимо свежее воспоминание и вдобавок сына, похожего на это воспоминание. Конечно, несмотря на постоянную жизнь в провинции, Полинька получил блестящее воспитание и воспользовался им. Он делал, что хотел из отца, с четырнадцати лет начал читать какие угодно романы... Неумолкающий треск Дюма, Сю и бешеный тон его страниц, из которых, вопреки цели автора, юноша никак не хочет извлечь морали, были поглощены им в той поре, когда начинается собственно драма моей повести, то есть к девятнадцатому году его жизни и приезду Вильгельма. Бесцеремонность Польдекока также не ушла от него, и все это так пропитало ему память и ум, что он, не смысля сам жизни и тем более той, которая была около него, беспрестанно изумлял и отца, и других то резкостью фразы, то непринужденностью обращения с женщинами всех классов, то холодною точкой зрения, которая, в сущности, была та же тщеславная экзальтация. Многие осуждали Крутоярова за такое воспитание сына; много готовил он себе горя, а молодому человеку — несчастий, и часто стал задумываться в последнее время. Но Поль кокетничал пред ним, и все шло по-прежнему. По-прежнему таскались к нему товарищи и различные паразиты, по-прежнему запрягалась лучшая тройка по одному мановению Поля, по-прежнему бежали они оба вперед, один с своею ленивою слабостью, другой с ядовитым кипятком молодого воображения.

Приезд Вильгельма в их дом имел довольно хорошее влияние на нравственность Поля, тем более хорошее, что года подходили опасные. Лилиенфельд был экзальтирован, но чист во многих отношениях; и хотя, вместо наставника, он стал чрез неделю приятелем, а там и другом Поля, хотя он и сам ослепился в молодом человеке и не избежал обаяния его любезности, однако авторитет возраста все же взял свое и поправил многое. Со стороны Вильгельма не

было, впрочем, никаких предначертаний для достижения этой цели; все улучшение сделалось само собою и незаметно для действующих лиц... Так легко направить юношу с разбежавшимся вниманием к чему-либо лучшему, особливо когда юноша хочет нравиться, как хотел нравиться Поль.

Скоро развившаяся любовь Вильгельма к Дашеньке дала им случай сблизиться еще теснее и раскрывала новое поприще для Поля, который желал как-нибудь пошуметь, пока не пришла пора греметь саблей по Невскому и носить на себе золото кавалергардских лат.

Трудно было Вильгельму долго хранить молчание... И он однажды, в сумерки, открыл состояние своего сердца тому, кого часто вначале и за глаза звал ребенком.

— Друг мой, — сказал он, — холостому трудно жить!... Надо жениться.

— Вот вздор-то! — воскликнул Поль, — гораздо лучше холостому.

— Нет, Поль, холостому приходят все такие идеи...

После этих слов молодой немец взглянул в окно на месяц и мечтательно провел рукой по волосам.

— Жизнь пройдет, — продолжал он, — и не будет плодотворна... Семейная жизнь свята, и ты говоришь противное, потому что ты еще ребенок...

Поль хотел было рассердиться, но Вильгельм поспешил прибавить:

— Ты не обидься моими словами, мой друг!.. Как ты ни умен и ни начитан, но все я больше исчерпал жизнь, чем ты... и вижу, что чистая любовь не имеет в мире ничего себе подобного.

Поль заинтересовался разговором и через час он знал обо всем: о смерти Дашенькиного отца, о ее странных отношениях к Ангсту, ее красоте и страсти Вильгельма... Довольно было этого, чтоб возбудить участие молодого Крутоярова. Он решился всеми силами помогать Вильгельму и начал с того, что посоветовал ему подкупить кухарку Федора Федоровича и завесть с Дашей переписку

и свидания. На другой день он сам, пользуясь темным вечером, надел нагольный тулуп и таинственно пошел в глухой переулок подкупать кухарку, заранее изготовя оговорки и предлоги для посещения. Это удалось, а за этим удалась и переписка; на свидания же Дашенька не согласилась, отвечая, что они видеться могут очень часто у общих знакомых, что и то она много делает для него, не обращая внимания на святость траура и посещая различные вечеринки.

Лилиенфельд, увидев в Поле такого горячего и ловкого помощника и помня, что чрез него для материальных вещей и отец Крутояров может быть очень полезен, стал еще на более товарищескую ногу с своим воспитанником.

Одним словом, для Поля все шло прекрасно; для влюбленного, напротив, дурно, потому что надежд было мало; Ангст казался упорным и с виду, и по намекам молодой девушки, а сама Дашенька разделялась между памятью об отце и рождающейся любовью.

Между тем настало лето. Все шло по-старому. Любовь росла, росло участие Поля (особенно с тех пор, как он сам познакомился с Дашей); только бедный Ангст начинал сильнее тревожиться, видя, что траур кончился, а о свадьбе и помину нет. Частые выезды Дашеньки, которая с хитростью иногда предлагала ему сопровождать ее к знакомым барышням, тоже не очень ему нравились. Но отношения ее к Вильгельму были ему совершенно неизвестны, потому что при нем Лилиенфельд был осторожен и имел настолько такта, чтоб не скрывать своего знакомства с нею, как знакомства поверхностного.

К числу прошедших перемен надо отнести и выход Вани Цветкова из пансиона, выход законный, после окончания полного курса. Гордо стряхнул он с себя школьное иго, сделал себе, с помощью Ангстова кошелька, твиновое пальто, сюртук и еще кое-что, решился поотдохнуть от науки годик или полтора, а там, конечно, начать военную карьеру. Федор Федорович скрывал от него свои беспокойства, не имея для них достаточных оснований, но любил

его прежнею отцовскою любовью и содержал его у себя без всякой платы.

Однажды (это было в половине июня) к Федору Федоровичу заехал знакомый старичок, управитель одного подгородного села и страстный рыболов.

— Поедем же ко мне поудить, — сказал он Ангсту, — хоть дней на пять, на недельку... У меня в реке и в прудах рыбы бездна.

Ангст подумал и, будучи в грустном расположении духа, согласился. Он надеялся порассеять себя новым родом увеселения, тем более, что делать ему было почти нечего, а задумчивость его росла с каждым часом. Притом в душе его шевельнулась мысль, не подействует ли на Дашу благотворно эта неожиданная, хотя и короткая разлука, после целого года молчаливой жизни почти с глазу на глаз.

— Дарья Николаевна, я хочу ехать! — сказал он, накинув на плечи свою бледную альмавиву и покрыв голову серою шляпой.

— Куда? — задумчиво спросила молодая девушка.

— Я хочу ехать с Робертом Иванычем к нему, в деревню... на неделю, а, может быть, и более... там рыба...

— Так что же-с?

— Ничего, Дарья Николавна; я сообщил вам... как вы думаете?

— Что ж мне думать, Федор Федорыч? Я, право, не знаю, что вам угодно... Вероятно, вам будет весело там.

— А вам не будет скучно, Дарья Николавна?

— Не думаю, Федор Федорыч, я привыкла быть одна и даже очень люблю одиночество.

Этот разговор происходил в палисаднике. Ангст поцаловал грустно ее руку. Альмавива зашевелилась и вместе с шляпой скрылась за воротами.

Даша посмотрела ему вслед и заплакала. Тяжела была борьба сердечного чувства с чувством долга!

Через час Вильгельм узнал об отъезде Ангста, а через полтора, в ту минуту, как Цветков сошел с крыльца, чтоб совершить вечернюю прогулку на бульваре, из-за угла вы-

скочил какой-то незнакомец, осмотрелся и смело проник в коричневый дом.

Поль меж тем не дремал. Едва узнал он об отсутствии Ангста, как зачатки обширного плана начали расти в его голове. Пока Лилиенфельд забывал все у ног Доротеи, молодой друг его ходил с озабоченным видом по комнатам и замысел зрел.

«Ангст пробудет дней пять, может быть, и больше... Прекрасно! хотя Даша робка, но Вильгельм убедит ее. Любовь ей поможет решиться. Тогда надо спешить... Отец имеет связи, он будет щитом от скандала. Он даст лошадей в Белополье (так звали именье Крутояровых); лунною ночью будет свадьба... это превосходно! Мерцание лампад и свеч... Бледная невеста, стройный германский студент... И сам Поль, смелый и хитрый Поль... к тому же благородный и красивый собой...»

Весело было жить ему в этот миг, привольно было возиться с такими мыслями и предприятиями.

«Препятствия все к чорту! К чорту все препятствия!»

Тут он вспомнил о существовании Цветкова и о том, что он может быть помехой.

Но он знал, что Цветков жаждет его знакомства.

Цветкова он видел раза три у общих знакомых, перемолвил с ним слова два, и сын хозяина тогда же говорил ему, что Цветков очень желает с ним познакомиться. И надо сказать правду: Ваня, несмотря на свою осанистость, глубоко горевал, когда видел, что многие другие юноши, не имеющие авантажей, кутят у Крутоярова, обедают с его отцом и сидят в его санях, когда эти сани в праздничные дни летят по главным городским улицам, опережая всех и все, среди похвал, немых удивлений и комов снега, взметаемых рьяными пристяжными. Поль встречал в книжках много бездарных лиц с сильно развитыми наклонностями к роскоши и удачно на этот раз понял Ваню.

Он с особенным наслаждением заговаривал с ним всякий раз для того именно, чтобы помучить его неприглашением. Теперь же думал иначе.

«Я позову его сюда, или, еще лучше, в Белополье. А Вильгельм между тем уговорит Дашу бежать». Так решил он и жадно ждал возвращения Вильгельма.

Лилиенфельд вернулся с упадшим духом: молодая девушка была печальна, говорила, что ни за что ничего не предпримет, что надо ждать и долго ждать; на просьбу Вильгельма позволить ему открыто переговорить с Ангстом, махала руками и т. п.

— Она говорит, — прибавил Лилиенфельд, — что он добр, но с тех пор, как задумал на ней жениться, стал для нее страшен, особенно своею молчаливою скрытностью. Он говорил ей сам, что ни за что не уступит ее никому. Но я полагаю, что слушать ее в этом случае не надо!

— Что ты! что ты! — возразил Поль. — Она права! я сам слышал, что он ужасно упрям и угрюм... даже злобен...

— От кого же ты это слышал?

— От Цветкова, который живет у него, — отвечал находчивый Поль.

Без сомнения, он страшно солгал. Никогда не слыхал он ничего подобного об Ангсте, тем более от Цветкова, который, кроме похвал, подчас подкрашенных славянским слогом, ничего не распространял о своем благодетеле.

— Он же говорил сам, — присовокупил юноша, сгорая внутренне от стыда; — что никому ее не уступит... лучше выслушай мой план.

Поль изложил его. Вильгельм задумался.

На другое утро они встали рано и до обеда толковали и спорили, уничтожив в разгаре бесчисленное количество папирос. Лилиенфельд наконец сдался, несмотря на недоверие к летам своего помощника, несмотря на кажущуюся трудность исполнения.

Отец Крутояров после жирного обеда расположился в легком халате на оттоманке, с надеждой на сигару и усладительную дремоту.

Сигара его докурилась: темно-малиновые занавески окон и другие предметы комнаты уж начинали тупо и бес-

связно действовать на его полузакрытые глаза... Но вдруг заскрипела дверь, и явился Поль.

— Что тебе, мой друг? — не без досады спросил отец.

— Папа, я пришел поговорить с тобою о деле...

— Душа моя... Я хочу спать... поговорим после...

— Как после: дело важное, что ты и не ожидаешь.

Крутояров несколько встревожился, но лежа.

— Да лежите, лежите, — сказал сын. — Уж Бог с вами, только согласитесь.

После этих слов он присел на диванчик и поцаловал у отца руку. Крутояров нежно приласкал его.

— Что тебе, моя душка? Что тебе угодно? Разве я тебе в чем-нибудь отказываю... Все говорят, что я избаловал тебя...

— Пускай их говорят, папаша, что тебе! Ведь ты знаешь, что я тебя люблю и уважаю. А ты выслушай меня... Это, право, такое дело, что начать не знаю как... Прежде всего дай мне честное слово исполнить мою просьбу.

— Как же это можно! Finis, mon cher ami!.. Почем я знаю?.. Ну ты вдруг моей головы попросишь! — глухим и упрекающим басом возразил помещик.

— Хороша же твоя любовь! Вот уж отец-то! Неужели ты думаешь, что я попрошу невозможного?

— Так все равно, скажи прежде...

— Нет, папа... Дай слово исполнить!

— Finis, mon ange...

— Как, фини!? Нет, душенька папа!

Поль опустился на колени и припал к отцовским рукам.

— Полно, полно... хорошо! — воскликнул отец.

— Честное слово? — спросил сын.

— Хорошо. Разве ты мне не веришь, Паша?

— Честное слово?

— Ну, ну... честное!

— Руку дай... Вот так. Теперь слушай... мне нужно триста или по крайней мере двести целковых сейчас же.

— Помилуй, Паша... Это на что?.. Разве тебе мало жалованья, которое я тебе даю... кажется, ты всегда при-

ходишь ко мне за всяким вздором; что тебе нужно, то и берешь сверх жалованья — это ужасно!

— И тебе не совестно скупиться? Дело такое важное...

— Да какое же это дело? Что ж ты не скажешь.

— Видишь, один молодой человек здесь в городе проигрался страшно...

— Какой же это молодой человек?

— Имени его я поклялся не говорить...

— Так это ты ему хочешь отдать... нет, cher ami: на всех сорванцов не наготовишься.

— Как это будет благородно с моей стороны, — с жаром воскликнул Поль, — обещать вывести человека из беды и надуть... точно никто не знает, что у нас есть состояние... и куда эти деньги пошли бы, я желал бы знать... как это будет благородно!

— Это, дружок, не моя вина... вольно ж было обещать! ты знаешь сколько трат, а летом какие доходы... Точно дитя, не знаешь ничего. Ступай-ка лучше, душа моя, не мешай мне спать.

— Ведь все равно, папа́, я займу... Ты будешь принужден заплатить.

— Да что ж ты, Паша, стращаешь меня... Это странно! из-за какого-нибудь мерзавца!

Поль решился выдвинуть свой резерв и снова упал на колени.

— Слушай, папа́, — начал он вкрадчиво, — ты говорил мне не раз о матери... ты рассказывал, как ты безумно любил ее... что ты в моих чертах все видел ее... ну, смотри же на меня, папа... Видишь, как я на нее похож? Видишь, видишь! Вспомни: представь себе, что она бы просила тебя так, на коленях, о каком-нибудь добром деле... Ведь это доброе дело, папа! Он прекрасный молодой человек. Его проклянут родители, потому что они бедны... папа́-душка, папа́... сделай для сына, для Паши... для маменьки...

Недолго умолял он его такими словами. Глаза Крутоярева покрылись влагой; он прижал сына к груди своей, встал с дивана, достал из ящика деньги и отсчитал триста

целковых. Поль умудрился вытащить у него из-под руки, сверх этой суммы, двадцатипятирублевую ассигнацию и убежал, преследуемый добродушною бранью родителя.

Задача стостояла в том, чтоб выпросить у отца порядочную сумму денег, необходимую для дела. Поль знал, что отец в эту минуту был не слишком при деньгах, потому что три дня тому назад проиграл несколько тысяч в палки.

V

Обманув слабого отца, Полинька Крутояров решился действовать по возможности быстрее. Он знал, что робкий и нерешительный нрав Доротеи не позволит ей бежать из дома немца, когда он вернется. Надо было познакомиться с Цветковым и увести его; надо было дать ей знать о последнем решении, надо было, наконец, чтоб сам Вильгельм лично убедил ее своим пламенным красноречием.

— Слушай, Гильом, — сказал Поль, — давича я думал, что все трудности кончены, когда отец согласился... Ведь еще много нужно, а времени мало... того и гляди Ангст вернется!

— Друг мой! — отвечал Вильгельм, отняв руки от лица, которое он давно уж закрывал ими, и схватив стоявшего перед ним Поля за талию. — Друг мой, научи меня, что мне делать, — ты так быстр!

— А ты-то что ж, брандер?! где ж твоя дерптская отчаянность, брат... А?

— Я ничего не могу придумать, Поль, — отвечал немец, поникнув головой, — я только полагаю, что она ни за что не согласится.

Он махнул рукой, и глаза его сверкнули.

Поль засмеялся и велел подать себе трубку.

— Слушай же, — начал он, — ты ведь убежден, что записка твоя, как бы красноречива ни была, произведет небольшой эффект? Да? Надо тебе с ней видеться, Вильгельм... И чтоб этот Цветков не помешал тебе или не

послал тотчас же к Ангсту, за это возьмусь я. Завтра она будет одна целый день и целую ночь; слышишь, целую ночь... потому что я знаю, как это сделать.

— Как же ты удалишь этого мальчишку?

— Не твое дело, уж я знаю!

Но Вильгельм оживился и стал требовать объяснения.

— Я увезу его в деревню, — отвечал Поль.

— Да разве ты с ним знаком?

— Хм! Буду знаком!

Тут молодой Крутояров так ясно изложил свой план, что Вильгельм вскочил и обнял его.

— Милый Поль, — говорил он, — неужто это удастся нам?! Ты говоришь правду... Малые ручьи составляют реки... Да! Если этот Цветков будет там, она будет беспрестанно в ужасе, и я ничего не добьюсь от нее... А если она решится... быть ее мужем... послезавтра...

И, подавленный светлыми ощущениями, молодой человек опустился в кресло. Потом продолжал более тихим голосом, как бы томясь и млея:

— Но, послушай... не рискуешь ли ты много для меня? За это может быть история... конечно, добрый друг мой, если уж человеку суждено быть обязанным в своей жизни кому-нибудь, я желаю быть обязанным тебе и твоему отцу.

— Полно, немец, полно, — возразил юноша, — бери шляпу и пойдем на бульвар. Цветков верно будет там... Он каждый вечер таскается туда с тех пор, как кончил курс...

Цветков действительно уж рисовался в твиновом пальто и фуражке на губернском бульваре, который так красиво упирается в реку.

Походив и показав всем свой стан, то спереди, где раскрывался на белой и крепкой манишке чорный шолковый жилет с голубыми клетками, то сзади, где так плотно обливала серая материя его широкую спину, то, наконец, с боков... тогда резко выступал на бульварной зелени геройский очерк его груди; показав все это гуляющим, он сел на

скамью и закурил папиросу, нетерпеливо ожидая, чтоб стемнело и чтоб губернаторские девушки выбежали из задних ворот на бульвар погулять с молодыми кавалерами, пока господа кушают вечерний чай. Он уж стал насвистывать что-то, как вдруг увидел Поля Крутоярова и Вильгельма, выходящих из боковой аллеи. Цветков довольно гордо отвернулся, как бы не замечая их.

Но, к большому его стеснению, Поль сел около него на лавку. Вильгельм подошел к каким-то дамам.

Цветков стал суров лицом и перестал петь. Поль молчал и чертил тростью по песку. Потом Крутояров стал искать чего-то в карманах и прошептал:

— Чорт знает, папиросы забыл!

Цветков, уж тронутый тем, что Поль не имеет папирос, тогда как они у него есть, чуть было не подал ему своих, но удержался.

Поль зевнул и вдруг обратился к Цветкову.

— Скажите, пожалуйста, что же это так мало гуляют? Мало народа...

Цветков побагровел и, повернувшись к нему, отвечал!

— Да-с... это правда!

— Право, мало, — небрежно продолжал Поль. — И главное, что несносно, — ужасно мало порядочных людей!

Ваня, успевший несколько оправиться от первого натиска, одобрил его благосклонной улыбкой.

— Скажите, пожалуйста, — продолжал Поль, — я даже сбирался вас отыскивать... Меня очень интересует судьба этого молодого человека, у которого я имел удовольствие вас встретить; тогда еще вы были в пансионе... этого Сережи Кольцова... Я полагаю, что вы должны про него много знать.

— Да, мы с ним были дружны... Я могу вам рассказать все подробно.

Крутояров знал, как жаждал Цветков его знакомства, и потому, встав, предложил ему вместе пройтись, и взял его под руку.

Мускулистая рука будущего воина почти дрожала от стыдливого удовольствия, когда оперлась на нежное темно-коричневое трико аристократического рукава.

— Кольцов, — начал он, — Кольцов уехал в Москву и получил там место. Его притесняли здесь...

— У меня есть к нему очень важное письмо, — солгал Поль, — и потому-то, признаюсь, я отыскивал вас, чтоб узнать его адрес... Впрочем, я очень рад, что мы познакомились по этому случаю... я даже дивлюсь, как до сих пор... Нет ли у вас папирос?..

Цветков достал ему папиросу.

— Вы меня извините, — продолжал Крутояров, — что я так, без церемонии... Я полагаю, что молодым людям смешно употреблять разные штуки и увертки для сближения...

— Это истиннейшая правда... я сам тоже! Чем проще душа, тем она мне по сердцу, — с теплым взглядом возразил Цветков. — Ей-Богу! я вот какой человек... уж как понравится мне человек, так я весь на ладонке сам... я ведь солдат в душе! — присовокупил он со вздохом.

Он даже думал, что не будет ли лучше при этом ударить себя в грудь, да как-то оробел.

Словом, первый шаг был сделан, и оба они, крепко пожав друг другу руки и обменявшись взаимными приглашениями, ушли наконец домой, оба довольные: один активным, другой пассивным успехом.

Ободренный Цветков, прощаясь, сказал Полю следующие слова:

— Милости просим, ко мне! Вы не найдете у меня роскоши... роскоши вы у меня не найдете... но найдете радушие...

Во время ужина en tête-à-tête с Дашенькой он был очень любезен, хотя не без грустного оттенка в лице и словах (этот оттенок был, впрочем, выражением жизненной теплоты). Даша была особенно бледна, часто поднимала к потолку глаза, часто вздрагивала и долго и глубоко вздыхала. На другое утро Цветков сидел в своей горенке

на постеле и, аккомпанируя себе на гитаре, пел из «Аскольдовой могилы»: «В старину живали деды...»

Эту песню певал он часто с тех пор, как стал вольною птицей и начал чувствовать сильные побуждения к разным задушевным веселостям и разгулам, о которых так современно говорит эта песня, несмотря на слово «Аскольд» и на претензии самого Неизвестного.

Вдруг в стекло кто-то ударил тростью. Цветков бросился к окну, думая, что это вернувшийся Федор Федорович. Но каково было его удивление, когда он увидал под окошком Поля, в шляпе, с поднятым воротником пальто и веселою улыбкой. Цветков быстро раскрыл окно.

— Ах, извините! — воскликнул он, — я, право, и не мог придумать! Да войдите ко мне.

— Нет, — отвечал Поль, — теперь некогда... я спешу домой: сегодня мое рожденье...

— Честь имею вас поздравить...

— Ну, что тут за поздравления! Дело в том, что я зашел звать вас к себе сегодня вечером. У меня будут два приятеля... Славные ребята! Один очень даже образованный... он студент; не кончил курса... Вот, если вы любите серьезные разговоры...

— Как же-с... я все больше серьезные...

— Да мы поедем в Белополье. Вы знаете, оно ведь только пять верст от города.

— Знаю, знаю-с!... В котором же часу прикажете?

— Приходите ко мне в шесть часов... Вы любите в телеге кататься?

— Ужасно люблю!...

— Так мы в телеге поедем... Покутим как! Прощайте. Не хотите ли лучше, чтоб я за вами заехал прямо сюда?

— Я думаю, это будет лучше.

— Хорошо. Так в шесть часов. Прощайте, Цветков!

— Прощайте, Павел Васильич!

Поль ушел. Окно закрылось, и Цветков остался один с своим восторгом. Тотчас же достал он из комода новый

сюртук, тряхнул его и повесил на стул, спинкой кверху; потом вынул шолковый коричневый жилет, по которому были разбросаны матовые, шоколадного цвета листья. Жилет-то, собственно, не был безвкусен, но уж нисколько не имел в себе тайного шика, свойственного, как известно, модному предмету. Сапоги, новая фуражка были также вынуты. Все было хорошо; но над перчатками Цветков задумался: у него было две пары — жолтая и белая, еще не тронутые. Наконец, после долгих прений с самим собою, решил он надеть белые, зная, что это самый парадный цвет. «Еще, пожалуй, шельма-богач обидится, если к нему на рожденье в цветных приедешь!» — подумал он с плутоватой усмешкой. И, преисполненный веселых мыслей, вышел в сад с гитарой.

Он едет в Белополье... в Белополье, где такой чудесный каменный двухэтажный дом; где такой прекрасный сад, диво искусства; ряды елок и лип, стриженных так отчетливо: то обелисками с шарами наверху, то круглыми шапками, то целыми непроницаемыми стенами! Сад, в котором ему приходилось гулять с товарищами не раз, потому что старый Крутояров, любя толпу, разрешал гулянья в саду городским жителям, — куда в Троицын день съезжался и сходился весь город, несмотря на расстояние, где пели цыгане, плясали крестьянки, курились в зеленых закоулочках самовары.

И он, он, который только с почтительною завистью глядел на крайние окна верхнего этажа, за которыми, как ему было известно понаслышке, жил счастливый наследник всех этих волшебств, жил изящный Поль, считаемый им до вчерашнего дня недоступным гордецом... он будет кутить там! Каков же должен быть кутеж, общество? Каковы вина, каков разгул и раздолье? И громко звенели струны гитары под его могучими пальцами!

— Я еду к Крутоярову ныньче, — сообщил он Дашеньке, садясь с нею за стол. Его рожденье сегодня.

— Вы разве с ним познакомились?

— Совершенно неожиданно... Вчера на бульваре.

— Я очень рада за вас, — холодно промолвила Дашенька. — Вы, я думаю, будете веселиться там. Он очень добрый и умный мальчик...

— Разве вы его знаете? — спросил с удивлением Цветков.

Дашенька покраснела.

— Понаслышке, — отвечала она, спохватившись.

Цветков не обратил на это обстоятельство никакого внимания. А дело было вот в чем: Дашенька еще прежде Цветкова знала, что он будет целый вечер, а может случиться, и следующий день у Поля, хотя рожденья никакого не существовало. Еще утром получила она от Вильгельма записку, которой перевод представляю здесь.

«Душа моей души, сердце моего сердца! может быть... почти непременно я прижму вечером тебя к своему сердцу! Ты будешь одна. Цветков будет в деревне у доброго Поля, который так великодушно и благородно помогает мне во всем! Ты будешь одна, и в семь часов вечера я буду у ног твоих. Надеюсь, что мы что-нибудь решим».

Потому-то встревоженные мысли ее уносились Бог весть куда, и она в забытьи сделала промах, не замеченный ее собеседником.

VI

В семь часов вечера у ворот коричневого домика уже стояла красивая жолтая тележка с гнедою тройкой.

В ней сидели двое; а на облучке стройный кучерок, слегка избоченясь, изредка бодрил концом кнута коренную, которая то и дело вздрагивала и порывалась вперед; пристяжные кокетливо беспокоились. Ярко-красная рубашка кучера свободно и легко обрисовывала его жидкие молодые члены, синий кафтанчик давно спал с одного плеча, а шляпа-гречневик была уж так забубенно посажена на чорные волосы, что едва-едва держалась на них. Изящный кучер был сам юный Поль. Один из седоков в стат-

ском платье, с курчавыми каштановыми волосами и огромным мрачным лицом, был тот студент, не кончивший курса, о котором, как о человеке весьма образованном, отзывался Поль, стоя перед окном Цветкова. Другой был отставной пехотный прапорщик и небогатый помещик, очень свежий молодой человек, белокурый и бесцветный.

Напомаженный и разодетый Цветков бегом выбежал из ворот и снял фуражку тем, которые сидели в телеге. Молодые люди отвечали ему поклонами. Потом, узнав Поля, он вскрикнул:

— Это вы сами? Каково! ха, ха, ха!

— Садитесь, барин, — отвечал Поль, показывая кнутом на облучок и стараясь сделать свой голос ямщичьим.

— Не похоже, брат, не похоже! — закричал ему помещик, — не умеешь ты по-ямщицки-то говорить!

Поль не без горечи возразил ему:

— Ты что ли умеешь? Ну, сиди там, молчи! Полезайте, Цветков... Дайте руку.

Цветков весело взлез. Поль избоченился, подтянул возжи и залихватски крикнул. Тройка понеслась по мостовой, страшно стуча и обращая на себя всеобщее внимание. Цветков, которого так и подбрасывало на облучке, улыбался и беспрестанно хватался за Крутоярова. Отставной прапорщик выходил из себя, крича: «Тише, тише! Крутояров! Помилуй... весь бок избило... Полно! Крутояров!» — Но ничто не помогло: Поль шумел и махал кнутом.

Студент несколько времени терпел и молчал, потом вдруг вскочил, схватил Поля за плечи и загудел ему на ухо.

— Стой, стой! не то я сейчас выскочу вон!

Поль захохотал и приостановил лошадей. Легкою рысцой добрались они до заставы.

— Эх, вы доморощенные! — воскликнул он снова, когда под колесами стало мягко и в лицо им пахнуло вечерним ароматом полей.

— Ну, теперь пошел! — заревел отставной прапорщик так, что Цветков испугался.

«Соколики-и!»

И тройка неслась, подымая пыль и ветер.

— Экая жизнь! — думал Цветков.

— Не так кричишь, — тревожился помещик. — Не так кричишь... Надо с прибаутками... «Ветер дует преужасный, ах мой миленький несчастный!..» аха! Давай мне возжи!

— Пошел прочь! — возразил Поль сердито.

— Давай!...

— Не дам, пошел прочь!

И Поль ударил его по руке.

Отставной прапорщик отплатил ему толчком в спину.

Взбешенный Поль хотел продолжать сражение, но студент угрюмо остановил его, примолвив:

— Кажется, тебе есть о чем другом подумать.

Поль ограничился одним резким проклятием, которое как и вся остальная его грубость совсем не согласовались ни с голосом его, ни с его grassaiement, ни с целым типом его особы.

Скоро, впрочем, минутная ссора была забыта, и все думали только о том, чтоб наслаждаться быстротою езды и вечерним воздухом.

Солнце начинало садиться, свежесть росла с каждым мигом, тележка легко катилась по луговой дороге, коренник-иноходец мерно и часто стучал звонким копытом, пристяжные вились, словно птички, как бы не чувствуя никакой тяжести. Поль задумчиво поводил над ними кнутом, белокурый прапорщик и студент затянули простую русскую песню; Цветков игриво блаженствовал... Наконец они достигли стриженного сада и, обогнув его угол, Крутояров довершил свой подвиг диким воплем и пустил всю тройку вскачь, так что она пронесла их гораздо дальше крыльца. Сбежавшиеся кучера взяли у них лошадей.

— Ничего нет хорошего в твоем иноходце, Осип, — заметил белокурый прапорщик одному из кучеров.

— Напрасно позорите, ваше благородие, лошадка...

— Ну, что с ним толковать, Осип! — сказал Поль, — ступай, поводи их. Разве он смыслит в лошадях!

— Эх ты, чижик! — вскричал, заскрежетав зубами, отставной прапорщик, — ты что ли смыслишь?

— Да уж побольше твоего! Ты разве не видал, как он бежит-то...

— Бежит, бежит! Да ты хоть кого запряги — побежит, когда кнутом будешь то и дело, то и дело!

— Нет, ваше благородие, — сказал Осип, который уж не мог владеть собой, — уж если вас, например, запречь, так хоть кнутовищем...

Все хохотали. Поль торжествовал.

— Осел, мужик! — прошептал белокурый господин и направился к дому.

Поль с двумя гостями последовал его примеру.

На заднем балконе верхнего этажа, обращенном в сад, уж был накрыт стол для чая, и графинчик с ромом показывал, что Крутояров не был намерен вполовину праздновать мнимый день своего рожденья. Табак задымился, заклубился пар самовара, застучала посуда... После двух стаканов пунша, отставной прапорщик забыл свой урон и, дружески взяв Поля за руку, упрекал его в сквалыжничестве.

— Так-таки ничего и не поставишь? ни жженки, ни клико... ничего, таки ничего, Паша?

— Погоди еще! — лукаво отвечал хозяин. — Еще рано. Пойдем гулять на деревню, заставим баб плясать; а там уж за ужином...

Отставной студент, слыша это, повеселел и обратился к Цветкову.

— Вы давно, батюшка, кончили курс? — спросил он его.

— Нет-с, не так давно... месяца с два.

— Ага! Ну-с, это хорошо! А куда-ж вы, батюшка, полагаете?

— То есть, насчет карьеры? Я полагаю в военную.

— Ага! Да, да. Это славно! Имеете состояние?

Цветков ни под каким видом не ожидал такого вопроса и впопыхах счел нужным оцветить свою бедность.

— Нет... Видите ли... маменька моя, то есть матушка, имела сорок тысяч годового дохода, но я-с...

— Гм, — строго прервал студент, — мне нет дела до того, что имела ваша матушка, хотя я ее очень уважаю! Я спрашиваю о ваших собственных средствах... Видно, никаких нет! Бедность, отец мой, не порок; скорей добродетель. Я тоже ничего не имею.

Отставной прапорщик провозгласил, что пора идти в деревню, и хотел взять под руку Поля, но Поль схватил Цветкова и снова опозоренный прапорщик наступил за то ему два раза на пятку.

Не стану описывать, как бабы водили хороводы; как свистала молодица Матрена, плавно поводя платком над головой; как другая женщина, постарше, шевелила все тело свое и топталась крепкими подошвами на влажной траве; как расстилался кучер в упоении пляски... Скажу только, что Цветков еще никогда не бывал так счастлив, и стал совершенно свободно глядеть на своих собеседников: вначале, еще не войдя в азарт, он боялся то знатности Поля, то учености сумрачного студента, то военности отставного прапорщика, позволявшего себе так смело критиковать все, что ни попалось ему на зуб.

Благородные дары Бахуса, обильно пролитые за ужином, скоро победили юношей, малопривычных к ним.

Поль лежал на диване с сигарой и громко пел, глядя в потолок. Отставной прапорщик, с бокалом в руке без сюртука и галстука, то плясал по комнате, то делался нежным и жал крепко руку Полю, который братски ему улыбался и дружески гнал его прочь. Цветков был страстно влюблен во все его окружавшее и позволял себе изредка вскрикивать. Недоучившийся студент, не умолкая ни на минуту, болтал и, истощив все свои предметы, заговорил с Цветковым.

— Эге, батюшка, какое же ты чучело!.. Право, чучело, Цветков! Вы меня извините, душа моя, что я вам сказал ты.

— Ничего, ничего, — смеясь отвечал Цветков.

— Как тебя по имени-то зовут?

— Иван....

— Ну, Ваня! это хорошо! Ваня, Ваня! кабы ты знал, что ты такое? Ты думаешь, что ты человек?

— Конечно, человек.

— Хм! нет, ты не человек...

Тут ученый муж потыкал ему пальцем в нос и потом извинился.

Цветков так пошло засмеялся, что всякий зритель, не покоренный вином, отвернулся бы с болью в душе.

Во время этого разговора отставной прапорщик заснул. Поль кликнул слугу, велел подложить ему под голову подушки и, если можно, раздеть, а сам хотел уж удалиться в спальню; но студент, который спьяна возненавидел Цветкова и очень желал раззадорить или взбесить отуманенного героя, снова обратился к нему, запуская руки в карманы и неопределенно глядя ему в лицо.

— Так так-то, брат Цветков... вот мы с тобой и познакомились: я, брат, твою физиономию видел на бульваре... Ты живешь у Ангста что ли?

— Да, у него. Добрейший человек!

— Вот то-то и есть... кабы не он, да не она, так тебе бы здесь и не бывать... брат Цветков!

Поль, несмотря на собственный туман (который, впрочем, был умереннее и благороднее, чем у остальных), понял, что студент начинает врать.

— Что ты дичь порешь... ты совсем пьян, Михайло Иваныч, — сказал ему Крутояров, хватая его за руку.

Студент оттолкнул его.

— Поди ты прочь, матушкин сынок! с чего ты взял, что я пьян? А ты, батюшка, не верь ему... Ваня... он прикидывается, будто хочет твоей дружбы... он просто хитрый мальчишка, отец мой!

— Да молчи ты, ступай спать... Finis donc, mon cher; — tu es fou!..

— Вот видишь, Цветков, как он струсил? просит меня... Ты по-французски знаешь?

— Нет.

— Вот то-то и плохо, — грустно качнув головою, заметил упрямый Михайло Иванович. — Значит, у тебя общественности этой... то есть этакой светскости нет, светского образования, чорт возьми! Вот тебя и надувают: и Дашеньку у вас с немцем твоим увезут пока ты здесь!

Цветков что-то почуял и с удивлением вытаращил глаза.

Поль в эту минуту схватил Ваню за талию, увел к себе в спальню и запер за собой дверь на задвижку.

Студент стал стучаться, но никто не отворял ему, и он заблагорассудил уснуть на диване.

Крутояров, оставшись наедине с Цветковым, начал так:

— Ты меня любишь, Ваня?

— Ужасно, — отвечал Цветков.

Они обнялись.

— Слушай же, — продолжал Поль, — если ты мне друг, так дай честное слово, что завтра ты пробудешь целый день у меня... Ты слышал, что сказал этот дурак?... Он дурак набитый, этот Михайло Иваныч... Ты на его слова плюнь, душа моя...

— Я и то плюю! — отвечал Цветков, покачиваясь.

— И прекрасно... Если ты пробудешь у меня завтрашний день, я тебя возьму с собой в Петербург... Ты будешь гвардейцем... будешь ездить на балы... У меня есть там куча барышень и дам самых хорошеньких, самых знатных... ты их всех сведешь с ума, Ваня! Так останешься?...

— Останусь, Паша, останусь... провались все — останусь!...

— Так ты друг?

— Друг, Паша, друг!

Они обнялись снова.

Камердинер молодого Крутоярова раздел своего барина и Ваню, уложил их в постели и, раскрыв окошки для освежения их голов, вышел.

Оба стали дремать.

— Цветков! а Цветков! — прошептал Поль, — ты любишь меня?

Ваня не отвечал, и Поль не делал больше вопросов.

Скоро молчание распространилось по Белополью, и свежеблагоуханная ночь налегла на всю окрестность — на дом, деревню и сад своею святою тишиною и глубоким мраком. Все уснуло. Только в саду, под окном спальни, какая-то птичка-полуночница жалобным и невинным голосочком чирикала от поры до времени... да так грустно и одиноко, как будто ей было смотреть горько на разврат людей, забывших простую природу...

Поздно на следующий день пробудился Цветков. Поля уже не было в комнате, и постель его была оправлена. Сначала он ничего не понял, где Ваня и зачем... В голове еще стучали вчерашние стаканы; члены были полны томления; еще мерещились виденные во сне женские формы и поцалуи различных графинь...

Он стал весело вспоминать о проведенном вечере... Вдруг его как молнией озарило... «Увезут у вас Дашеньку, затем ты и здесь!» Взволнованный различными мыслями, Цветков поспешно встал. Вошел слуга, стал одевать и сообщил ему, что те господа уехали, а что Павел Васильевич дожидается внизу чай кушать.

Он сошел.

— Здравствуй, Цветков! — сказал Поль, дружески сжимая ему руку, — как ты почивал?

— Здравствуйте... здравствуй, — отвечал Ваня, смутившись. — Очень хорошо.

— Кушай чай... Вот тебе стакан.

Цветков стал пить и, не зная с чего начать, молчал.

— Эти господа уехали, — заметил Поль.

— Да.

Опять молчание.

Поль тоже был очень заметно смущен. Он также хорошо помнил слова студента и свои собственные, но не мог никак решить, помнит ли их обманутый им юноша. Как ни

смел был он от природы, как ни избалован всеобщею покорностью в доме, как ни считал себя опытным и пронырливым человеком, на основании всех похищенных им ухищрений французской литературы, однако, заметно даже для себя, начинал теряться... С минуты на минуту ждал он, что Ваня объявит ему свое желание ехать в город, вознегодовав на козни против того человека, у которого жил и ел хлеб. И что ж тогда? Все его труды пропадут даром; Цветков пошлет сказать немцу; Ангст воротится, история, шум. Оно бы и хорошо, что история и шум, да ведь рядом с ними идет решительная невозможность продолжать дело... Ожидания его сбылись. Не прошло и пяти минут, как Цветков, покраснев до ушей, попросил у него лошадь.

— Надо домой, — сказал он, — я-с ведь теперь понимаю все...

— Что ты понимаешь?

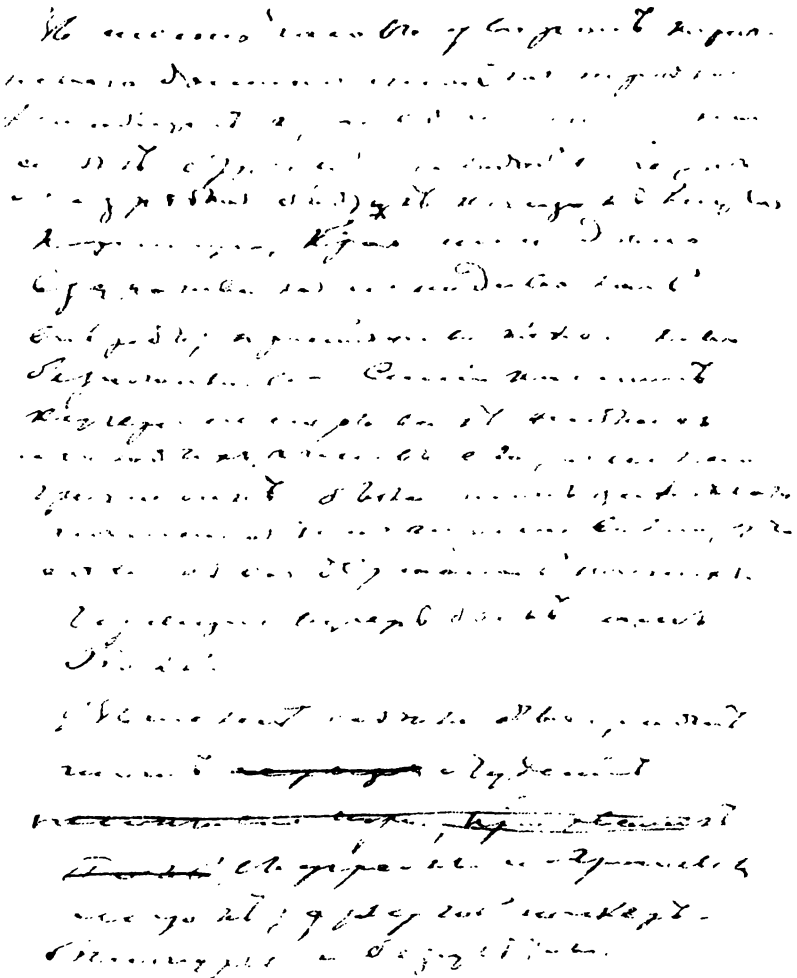
— Я не понимаю зачем я здесь, а знаю, что есть какой-то обман...

Тут Цветков гордо встал.

— Если вы мне не дадите лошади, я просто уйду.

— Полно, Ваня, — начал Поль, — полно, душа моя... Мало ли что врется в пьяном виде... (он взял руку Цветкова)... Я, ей-Богу, признаюсь тебе... Ты мне очень понравился; я от души полюбил тебя... я, может быть, начал с тобой знакомство так только, признаюсь. Только теперь я, право, люблю тебя. Я хорошо помню свои слова вчера в спальне... я от них не отрекаюсь, душа моя... И что тебе твой немец?... Во-первых, он Дашу не любит, а мой Вильгельм безумно влюблен в нее... Разве тебе не приятно быть причиной счастья двух любящих сердец? Твой Ангст старый дурак... Он не способен ценить ни ее, ни тебя... останься!

Цветков после этих речей постиг всю историю. Он задумчиво прошелся по комнате и вдруг остановился пред Полем, полный осанки, улыбаясь и горько покачивая головой.



Черновой автограф повести «Благодарность»

— Павел Васильевич! — воскликнул он, — я никогда не буду подлецом! Такой добродушнейший человек, как Федор Федорыч, наиблагороднейший. Нет-с, я этого не потерплю! Пожалуйте лошадь, не то я уйду!

Крутояров, несмотря ни на что, был еще очень молод; на этот раз он не совладел с собой; пылкость взяла верх.

— Ну, так пошел же к чорту! — закричал он на Ваню. Убирайся к своему колбаснику пешком... Пошел, пошел! Где твоя фуражка?! Не надо!... пошел без фуражки!

И вчерашний друг, кокетливый Поль, как бешеный лез на Цветкова. Ваня несколько оторопел, но вспомнил, что стоявший перед ним молодой человек не имеет и половины его силы, пшикнул по обыкновению и взял фуражку. Если б не воспоминание о дворне, которая могла сбежаться, он, может быть, и очень замахнулся бы на гордого богача, который теперь так безнаказанно толкал его в спину. Стыдно, очень стыдно было ему идти пешком через барский двор и деревню, видеть какими удивленными глазами провожали его люди, слышать уканья Поля, который, как совсем малый ребенок, выскочил на балкон и кричал ему вслед разные обидные слова.

К довершению зол и стыда на деревне повысыпали собаки, у Цветкова не было даже тросточки и он, совсем растерявшись, бросился бежать, преследуемый огромными и косматыми церберами. Встречные мужики останавливались и хохотали. Очутившись на открытом поле, он лег на траву и отдохнул. Перед ним была перспектива пяти верст пешком, под знойным солнцем...

К чести его надобно сказать, что среди всего он не забыл Федора Федоровича, и только немного поуспокоившись, продолжал путь, тяжело вздыхая. В эти минуты он был вполне достоин соболезнования и теплого сердечного участия. На половине дороги ему повстречался всадник в простом армяке, который во весь опор скакал к Белополью. Он вез записку от Вильгельма, известие о решении Дашеньки бежать.

Цветков не обратил на него внимания.

VII

Наконец он дотащился домой.

Отворив дверь в прихожую, он услыхал в столовой разговор, из которого до него долетали следующие слова:

— Das ist egoistisch!

— Да как же, мой друг?

— Это ужасно!!

— Не цалуй меня, право... не цалуй... кто-нибудь взойдет... Он вернется, или Цветков... уйди!

— Я и его, и дурака Цветкова из окошка выброшу...

— Вот... ей-Богу, кто-то стукнул в прихожей... Поди, посмотри...

Ване показалось лучшим выбежать опять на крыльцо и через ворота задними дверьми войти в дом.

В задних комнатах встретил он кухарку Федора Федоровича и поспешно сделал ей несколько вопросов.

— Кто ж это в столовой, Авдотья?

Авдотья очень перепугалась и пробормотала:

— В столовой?... Да кто ж там, кажется?... Дарья Николавна, должно быть... Я вот все в кухне была...

— Да ты, старая, не ври! Там с Дарьей Николавной кто-то. Вильгельм этот, что ли?

— А может быть, и он.

— Как же ты, дура, смотришь?

— А мне что смотреть! разве я мамзель за ними! Вижу пришел и сидит... Это дело господское... Я разве знаю, что надо!

Цветков поднял руку.

— Да ты, барин, не изволь драться! Ей-Богу, не дерись... Я отойду от вас! — во все горло закричала Авдотья.

На ее крик выбежала испуганная Дашенька.

Цветков грозно и развязно обратился к ней:

— Вы, сударыня... Вы очень гадко и подло поступаете!

Молодая девушка хотела возразить; но Цветков, не слыша Вильгельма и полагая, что он ушел, почувствовал желание выместить на ней все свои горести.

— Извольте молчать! — воскликнул он. — Вы даже просто низко поступаете!

В это мгновение дверь растворилась с шумом, и Вильгельм показался в ней, сверкая всем, чем только мог сверкать.

— Не смейте оскорблять эту девушку, — важно произнес он, скрестив на груди руки à la Napoleon.

— Какое вы имеете право здесь распоряжаться? — понижая голос, ответил Цветков.

Вильгельм двинулся вперед... Дашенька бросилась между ними и хотела увести своего милого друга из комнаты; Вильгельм отстранил ее.

— Если вы, — плавно начал он, — если вы хотели бы тиранить этого ангела, то вам нельзя будет этого... Она моя, и вы должны молчать... Иначе шпага или пистолет решат наш спор!

И взяв за руку избранную сердца, дерптский студент вышел вон.

Ваня поспешил в свой покой и наскоро написал записку к Федору Федоровичу, дал дворнику рубль серебром с приказанием на чем бы то ни было и как бы то ни было лететь к нему. При этом обещал он ему от имени Ангста еще награду, если известие доставлено будет скоро. Потом заперся у себя и наполнил весь дом смелыми звуками гитарных струн.

Между тем Дашенька увидела, что колебаться поздно, очень просто взяла все свои вещи в узел, взяла свой ломбардный билет из стола Федора Федоровича, и еще проще сев на извощика, уехала с Лилиенфельдом.

Неописанно было изумление Цветкова, когда он узнал о быстроте результата, не найдя нигде молодой девушки.

С трепетом ждал он Федора Федоровича. Часы длились для него ужасно.

Сапоги его как-то особенно скрипели среди гробовой тишины коричневого домика... Не было даже сил играть на гитаре!

Федор Федорович вернулся около шести часов вечера.

Он вошел спокойно; был только очень бледен и долго осматривал все углы. Цветков, дрожа и чуть не плача, встретил его в гостиной.

— Федор Федорыч, — прошептал он, — Федор Федорыч... я ничем не виноват... Я не был дома... Простите...

— Что с вами, Цветков? — отвечал немец, несколько трепетным голосом... — Это ничего. Где же?.. — спросил он немного погодя, как бы боясь произнести имя.

— Уж нет... Уж уехали... — был робкий ответ.

После этого ответа все по-прежнему смолкло. Федор Федорович заперся у себя в кабинете, а Ваня, успокоенный смиренным и почти равнодушным (на его глаз) видом своего благодетеля, потерял бóльшую часть своих страхов и начинал снова расти в собственном мнении.

Федор Федорович не вышел к чаю; Федор Федорович не вышел на следующее утро к завтраку, не вышел к обеду; кабинет его остался заперт изнутри и на вопросы, и на зов Цветкова он отвечал всякий раз: «не мешайте мне!»

К вечеру Ваня совсем растревожился и стал упорно стучать в дверь.

— Что вам угодно, Цветков?

Дверь отворилась, и перед ним предстал бледный немец в халате, со свечой в руке.

— Чаю вам опять не угодно?

— Нет, Цветков! А вы можете прийти ко мне сидеть и трудиться, если вам угодно.

Зная, что труда он никакого не имеет, Цветков был несколько удивлен этими словами; но, думая все-таки угодить Ангсту, взял книгу и сел у него в кабинете. Федор Федорович, поворотясь к нему спиной, начал что-то копошиться около своего стола. Так прошло около часа в совершенном молчании.

Вдруг Цветкову послышались сдержанные стоны, потом яснее, громче и наконец рыдания.

Цветков бросился к Ангсту.

— Что с вами, Федор Федорыч? Матушка, что с вами?

— Ничего, ничего, Цветков... Благодарю вас!

Слезы душили его; он закрылся руками; грудь его болезненно подымалась; правая нога судорожно дрожала.

— Выпейте водицы, Федор Федорыч, голубчик, выпейте водицы, глоточек.

Цветков схватил со стола графин, налил и подал ему воды.

— Глоточек, матушка, Федор Федорыч! один, два глоточка; вот так-с.

Выпив воды, немец взял его за руку и привел еще поближе к столу. Потом достал из-под кипы разноцветных бумажек какую-то штучку, завернутую весьма тщательно в обрывок газеты. Когда он развернул газету, Ваня увидал маленький гробик; но что за гробик! Никогда еще художественная рука Ангста не производила ничего подобного. Снаружи он был обит чорным, венецианским бархатом, и хотя длиною не доходил и до четверти аршина, однако был нежно изукрашен серебяными крестами и бордюрами. Внутри лежала белая атласная подушечка, а к ней булавкой была приколона маленькая записочка; на записке по-немецки и поспешным почерком было набросано:

«Здесь покоится в Боге душа Федора Ангста.

Он был честен.

Родился тогда-то — умер...»

Дальше, после слова «умер», было пустое место.

— Вот мой гроб, Цветков! Когда я умру, положите меня в него... Вы не бойтесь, что он мал! Душа моя стала тоже мала! Да, Цветков... а на памятнике напишите эти слова... Они имеют глубокое значение! Можно бы положить туда дочь мою Дашеньку... Но мало́ место... теперь дети ужасно растут! Она ведь скоро умрет, Цветков...

Тут Ангст замолчал.

В жизнь свою Ваня не испытал такого страха...

Полутемная комната, нагоревшая свеча, этот гробик и сам Федор Федорович в халате, с такою странною речью.

— Вот, — начал опять Федор Федорович... — на этом месте она мне клялась прахом отца. Я не мог, Цветков... я не мог любить другой женщины... Она была мое дитя... На руках моих, Цветков!

Он снова закрыл руками лицо.

— Благодарю вас... вы, по крайней мере, любите ее страстно... А он! я не знаю, как он! Вот ведь и она клялась отцу... Бог меня наказал... я хотел быть отцом и мужем вместе...

— Полноте, полноте, Федор Федорыч!

Но Ангст не умолкая рыдал. Ваня взял его руки, отвел их от лица и, увидев потоки слез, разразился сам горьким плачем...

Он понял, в чем дело!

При виде плачущего Вани, немец задумался, потом примолвил, тихо отталкивая его от себя:

— Ступайте, Цветков... Благодарю вас, благодарю вас, что вы выучили немецкую поэзию... но вы не можете мне быть полезным... Вы произносите по-французски!

— Матушка, Федор Федорыч, матушка, голубчик!.. выслушайте меня...

— Нет, Цветков... Благодарю вас... вы ничем... Вы любите ее, но я все-таки... благодарю вас...

Он крепко, крепко пожал руку Цветкова, настойчиво, несмотря на сопротивление, вывел его за дверь кабинета и снова заперся в нем.

Он сдержал слово: не забыл услуги Цветкова и его немецкой поэзии.

. . . . . .

И все содрогнулись, когда разбежалась весть, что он сошел с ума. Содрогнулся Вильгельм, содрогнулись легкомысленный Поль и ленивый отец его; — а Дашенька дней пять была совершенно холодна с молодым мужем, и на страстные объятия его отвечала слезами и отчаянными упреками самой себе. Губернатор сделал, говорят, строгий выговор самому Крутоярову, прямо заметив ему: «что

лучше бы сынка посечь; да и старичку не мешало бы поменьше вдаваться в молодые и залихватские предприятия!» Помещик клялся и оправдывался целый час; приехав же домой; сделал неслыханную вещь — разбранил сына страшнейшим образом, грозился услать его на Кавказ и выгнать Вильгельма с женой из деревни, куда они удалились до приискания места в другом каком-нибудь городе.

Поль все перенес очень кротко, — и молодые остались у них.

НОЧЬ НА ПЧЕЛЬНИКЕ

ОЧЕРК

Какой отрадой дышит маленький пчельник среди летнего зноя! Кажется, не простой мужик с бородой избрал это место среди липовой рощи для своих пчел, но какой-нибудь убеленный годами мудрец или добрый колдун обитал тут давным-давно и оставил тот уголок в память людям о временах, когда жили на земле мудрецы и волшебники!

Сочные липы очертили почти ровный круг около полянки мшистыми стволами; ветер сносит на нее с их вершин медовой аромат в жаркое время их цвета; возле самой избушки, кой-где подмазанной глиною, прижался к плетню шиповник и пахнет оттуда цветами так счастливо... (в менее диком месте его б и не заметил никто!)

А самые ульи — утеха доброго Пахома, для которых созданы тут и липы, и хижина, и шиповник, пестрят площадку, поросшую жирной травой... Эту траву не хотел потерять Пахом и сказал своей дочери, Параше:

— Ну, ты, девонька, смотри! мы с тобой завтра чем свет поедем косить на пчельник. Ведь четыре версты! Я покошу, покошу, а ты граблей-то и поскребешь... Вон дело-то и пойдет ладно.. Во как!

Сказав это, отец зашумел полушубком, повернулся к стене и заснул.

Параша проснулась рано. Отец уж пошел запрягать.

— Захвати кваску кувшинчик: ведь измаемся! — закричал он ей со двора.

Параша стала наливать квас.

— Вот постой, — сказала мать, — дай-ка я тряпочкой позаткну... Вот так! Хлеба возьми... огурчиков... не то постой, я те сама схожу нарву...

А Параше жутко было ехать на пчельник!

Дня два тому назад была в селе Кутаеве ярмарка, в день Казанской Божией Матери, как и всегда.

Много нашло народа со всех сторон: из Молчановки, из Печор, из Больших Вершин...

Когда отошла обедня, все вышли из церкви. Погода, сначала пасмурная, поразгулялась, а за ней и народ: кто на траву у паперти разлегся, краснеясь на солнце рубашкой; кто знай себе только сновал по самой ярмарке, где продавались смородина, пряники и орехи. Там продавец таких товаров, какими торгуют лукошники, устроил свою лавку под барским анбаром в тени, и толпа вымытых на этот раз детей теснится перед его тесемками и кушаками.

Простоволосая мордовка в ярко-ранжевом кафтане выставляет напоказ всем русским парням бесчисленные и хитро-заплетенные косички своего затылка, и парни не минуют стукнуть ее с любезностью кулаком, развалисто проходя мимо.

Между группами носится какой-то слуга, в белой жакетке, с лицом, похожим на портрет известного баснописца Лафонтена.

Пестрота, визг гоняющихся друг за другом детей, спор на телегах, обращенных в лавки, ржание лошадей, привязанных сзади телег, и мало ли что еще — Боже, как весело!..

Как не веселиться на таком торжестве мужику, целый год склоненному над работой?

Параша веселилась больше всех. Недаром же она надела шолковые синеватые рукава, новый сарафан и повязала на голову алый, только в одном месте полинявший матерчатый платок, который еще четыре года тому назад

подарил ей старый барин за ее детскую миловидность, когда встретил ее за садом стерегущую уток.

Да если б даже этот полинялый кончик не был спрятан ею со тщанием, если б вместо шолковых рукавов у нее были затрапезные, все бы она была лучше всех на многолюдной ярмарке. Недаром же многие из деревенских молодцов потряхивались около нее молча или разговаривали с нею без всякой видимой нужды.

Когда она вместе с подругами подошла к тому месту, где так скромно плясал белобрысый мордвин в темной ситцевой рубашке, то плясун никак не мог не подлететь всякий раз в ее сторону и непременно топотал лаптями без всякого шума у ее ног, как бы признавая ее царицей ярмарки, и, с достоинством взглянув на нее, продолжал печально тарантить по земле, под свирель покровского пастуха.

Сам Лафонтен-знаток совсем измарал себе панталоны, не уставая летать по грязи мимо колодезя, к которому она удалилась.

Оно и стоило измарать; особенно глаза ее были хороши: чорные, большие, подернутые много обещающей влагой. И напрасно винить крестьян в совершенном отсутствии вкуса относительно женской красоты.

Очень многие женатые люди, минуя ее белизну и румянец, столь ценимые в быту, где здоровье и крепость первое условие всего, говорили ей, кто с добродушием, кто с некоторой злобой:

— Э! эх, глазок! давно бы замуж пора.

— Ишь ты, — возражала Параша; — я еще во мла́дых летах. Некуды спешить-то!

С такой-то красотой, возвышенной в этот день алым платком, стояла она около колодезя в длинной тени, которую бросала на лужайку церковь.

Кругом на землю полегли и посели другие девки, забавляясь орехами и ягодами.

У самого колодезя беспрестанно толпился народ — кто для того, чтобы утолить жажду, кто для того, чтоб толпиться там, где толпятся другие.

Скоро и Параше захотелось пить. Она взяла ковшик и зачерпнула из бадьи.

— Дай-ка и мне напиться, красная девушка, алый платочек! — раздалось вдруг над головой ее.

Она обернулась и протянула ковшик.

За нею стоял высокий белокурый парень в зеленоватой нанковой поддевке и красной рубашке.

Он снял шляпу, расправил кудри и, должно быть, нечаянно положив руку ей на плечо, стал с жадностью пить из ковша.

Потом сказал, взглянув на нее ласковым взглядом:

— Ну, вот спасибо, — так спасибо! На душе отлегло!

И отошел прочь.

— Откелева этот малой-то? — спросила стоявшая около Параши баба с свежим еще, но несколько мрачным лицом.

— Наймист* из Больших Вершин, — сказал кто-то из лежавших на земле. — Он вот у Федосея у мордвина внаем идет, в некруты...

— Это у Федосея-та! Много, чай, денег взял?

— А то нет?! Федосей уж второго нанимает... Вот в тот набор за Леску за свого из городу нанял во какого гожего мужика!

— Мужика-а? — грустно спросила старуха, подошедшая в эту минуту и пригорюнившаяся у колодезя.

— Мужика, мужика-а? — сердито передразнил ее говоривший парень. — Это так к слову сказалось!... А он, то есть, наймист-та, из мещан был, да гульлив больно, израсходовался! Вот этот, должно, тоже... Того, сказывали, на Кавказе убили.

— Убили-и! Ах ты батюшки-Господи! — прошептала старуха еще грустнее.

---

* Так называются в Нижегородской губернии молодые люди, которые нанимаются за других в рекруты. Они берут у богатых крестьян более или менее хорошие деньги и часто прогуливают их до вступления на службу. Это то, что у нас, в Калуге, называется *сольный охотник*, или просто *охотник*.

— Известное дело, убили! — продолжал лежавший. — Зато как гулял-то! Рубахи какие были... Ситец все французский... В Печоры пришел на ярмарку, начал в деньги играть с мужиками, проиграл три рубля да как закричит вдруг: «Что, говорит, тут в деньги играть! Давайте нам браги да вина... всех угощу! залью, кричит, всех!..» Мужики, известно, рады! Ей-Богу! не знал, просто пес его знает, куда и деньги-то сунуть. Пряников, стручков покупал, малым робяткам бросал! А уж как напился — и пошел плакать... «Прощайте, добрые вы люди, я уж теперя на войну на лютую пойду... там и голову свою сложу!» Ей-Богу!

— Ништо, ништо! — твердила, качая головой, старуха.

Параша слышала только начало этого разговора; узнала, кто был этот красивый русый молодчик. Она давно сидела на паперти с молодой, но мрачной бабой, которая была солдатка и вела подчас довольно веселую жизнь, так что мать Параши не раз, при случае, укоряла ее за дружбу с Ульяной, хотя Ульяна была им близкая родственница.

Немного погодя наймист очутился около паперти.

— Вы откудова? — спросил он у мрачной родственницы, опускаясь на землю.

— Мы-то?

— Известно вы! а то кто ж? Эка!..

— А из Печорок. Вон церковь-то у лесочка видна...

— Вот как! Это выходит нам, то есть, по дороге идти. Эта девка тебе сестра или сродственница какая?

Параша отвернулась.

— Вишь, я за ее за дядей замужем была...

— Что ж, овдовела, видно?

— Не-ет... Он в полку!

— Во как! То-то ты, небойсь, гуляешь?

Ульяна ударила его кулаком в плечо.

— Ульяна, а Ульяна! — сказала вдруг Параша, — пойдем к тетушке Дарье Ивановне...

И с этими словами встала. Ульяна поднялась за нею, но едва подошли они к телеге, на которой Дарья Ивановна торговала пряниками, наймист оказался снова около них.

— Ты что ж опять подошел? — шопотом спросила у него Ульяна. Ведь, ей-Богу, не гожо так все... Наши печорские бабы вон смотрят.

Наймист ничего не отвечал ей, но красиво облокотившись на телегу и достав из кармана кожаный кошель с деньгами, обратился к старухе Дарье с следующими словами:

— Почтенная-с... изволь-ка отвесить нам фунтик товарцу-то вашего.

— Чево тебе, родной: пряничков, аль стручков, аль вот мятных?

— Давай и мятных... Все одно! Оно бы сладко было, а то ничего...

И позванивал деньгами.

Старуха отвесила фунт. Наймист подал несколько пряников Ульяне; та начала завязывать их в платок.

— Дай девке этой, — шепнула она ему в порыве родственного чувства (она принимала все эти любезности на свой счет).

Параша не отнекивалась; смеясь, приняла угощение и, только немного зарумянившись, спрятала стручки за сарафан на груди.

— Ну, топерь ступай себе... — начала было Ульяна.

— Вишь ты какая! — возразил ей наймист, — а провожать-то разве нельзя?

— Коли нельзя! Можно... Да ты топерь-то уйди... Ей-Богу, бабы смотрят. Ужо вон по тому порядку ступай, а мы пойдем по задам, на дороге и сойдемся... Не то еще подождем тебя у мельницы... А топерь ступай себе!

Наймист послушался и отошел. Параша, немного скосясь в сторону, долго следила за ним сквозь пеструю и шумную толпу, которая к полудню совсем разгулялась.

— Ну, а не ровен час, Ульяна, — сказала она потом, — как из наших кто увидит, как он с нами пойдет...

— Ну, чево ж ты робеешь? Ведь на тебя никто не подумает... Что ж нам с дороги гнать его? Человек волен идти — ну, и пристал, знамо дело, поговорить... Поди вон прогони его с дороги... не прогонишь ведь!

Параша успокоилась.

Несколько часов спустя наймист благополучно проводил их до деревни, но, к большому удивлению Ульяны, всю дорогу говорил с Парашей.

Они шли по большой дороге, за крестьянскими огородами, которые вплоть подступали к редкой в этом месте березовой аллейке. Вскоре солдатка, несколько огорченная, своротила в свой огород и скрылась на тропинке, протоптанной в густой и высокой конопле. Еще несколько шагов — и Параша увидала, как она отворила заднюю калитку на дворе своего свекра. Калитка затворилась со скрипом. Параша и наймист остались вдвоем. Отец Параши жил на самом западном конце деревни, так что им осталось пройти вместе пространство, равное дворам десяти.

Наймист подошел поближе к ней и опустил руку ей на плечо.

— Скажи ж ты мне: как тебя звать по имени?

— Прасковья...

— Эх, Параша, Параша! Уж какая ты пригожая да красивая!..

Параша улыбнулась.

— Ты еще гожее меня!

— Да что ты это?.. ты лицом уж больно хороша, Параша... Ведь вот впервые ноньче увидал тебя, а так словно приворожила к себе... Ей-Богу, ну! Давича, на торгу, вершинские мужики зовут в деньги играть, так куда-те! и охота вся отошла... так словно неволя какая к тебе все и волокет! Ну, дай-ка я те поцалую, Параша...

Параша отклонилась.

— Что ты это? — сказала она. — Что ты это? Бог с тобой... Ведь тут все наши ходят... Вон видишь — старухи идут... Пусти... надо домой! Ступай...

— Какие старухи? Старухи еще вон где! Они со старости-то и глазами не видят... Ах ты мое солнушко! не пущу я тебя! Посидим тут, у сарайчика... За конопельками не видать... Ей-Богу, вишь как тут гоже! Ничего, как есть, ничего не видать...

Параша старалась вырваться. Старухи приближались.

— Пусти ж ты! какой! пусти, голубчик.

— Ну, любо, — пущу... Смотри же, завтра выходи сюда супротив ночи, к зоре, что ль...

— Выйду — вот руки мои отсохни... выйду! Пусти...

Наймист пустил ее.

Параша сдержала слово, и он на следующий вечер нашел ее у сарая, за коноплями.

Параша полола, присевши на землю. Он опустился тоже на траву, для безопасности. Им было очень удобно тут: с большой дороги ничего не было видно за стеной конопли и за хмелем, который сетью забегал с ближней ветлы на сарай и стлался по соломенной крыше. Калитку на двор отца Параша притворила плотно, и старые скрипучие петли непременно бы известили их о приближающейся опасности.

Долго говорили они; о чем и как — я не берусь описывать — только под конец Параша перестала полоть и задумалась. Он, как водится, наобещал ей кучу всякого добра в будущем.

— Ты посмотри-ка, — сказал он ей, — какой я плечистый да рослый... меня, хоть об заклад сейчас, в гвардию! У меня в гвардии дядя унтером есть... Так тетка-то словно барыня ходит! Вот что! Я тебя тогда возьму за себя, так и ты так будешь ходить...

Словом, Параша склонялась все больше и больше и наконец, скрепя сердце, объявила ему, что завтра она с отцом будет убирать сено на пчельнике и останется там ночевать.

Наймист удовлетворился этим косвенным приглашением и кстати, потому что, тотчас после его ухода, мать заскрипела калиткой и вошла в огород.

Вот почему Параше было так жутко ехать на пчельник...

Солнце уж начинало заходить за деревья; тени толстых лип бесконечно длинными полосами легли на полянку, еще недавно покрытую высокой травой и мелкими луговыми цветами, а теперь так гладко подстриженную косою старика. Промежутки листьев, кустов и сучьев, озаренные прощальным светом, блистали еще ярче полдневного.

На лужайке высились две аккуратно насыпанные копенки. Параша докончила одну из них, когда отец сказал ей:

— Поди-ка у осинника сгреби маненечко! Я подкосил там давича... А я поотдохну пока.

Параша пошла к молодому осиннику, который был недалеко от пчельника, отыскала скрытый в самой чаще небольшой лужок и начала сгребать траву.

Скоро и на этом месте поднялась копна. Параша устала после знойного дня и прилегла на свежее сено. Незаметно заснула она под шопот осинника и под вечернее чириканье птиц, сбиравшихся на ночлег.

Настала ночь; и какая благоуханная, тихая, месячная ночь! На деревне один за другим гасли огни; уж и песня, долго тянувшаяся в поле так уныло — замолкла...

Освеженные росой поля ржи стояли недвижно, точно отдыхая от дневных набегов ветра.

В лесу была страшная тишина.

Окрыленный надеждой наймист скорыми шагами шел по большой дороге; уж видна была роща, где назначила ему свиданье черноглазая девушка.

Вот он своротил с большака на тропинку; перед ним чернел небольшой лесок, за леском глубокая лощина, за лощиной гора, на горе роща.

Бодро накинув поддевку на правое плечо, вошел он в лесок. Идет — ничего...

Вдруг направо хруснуло что-то. Он прислушался. Все замолкло опять... Опять хруснуло. Еще и еще. Потом просто послышались шаги и, шумя и раздвигая ветви, вышел на узкую дорогу какой-то человек.

Наймист продолжал, не останавливаясь, свой путь. Человек посторонился и пропустил его.

Они уж были шагах в двадцати один от другого, как вдруг встречный закричал:

— Эй! молодец! Почтенный мой! Как, почтенный, в Печоры пройти?

Наймист остановился и стал толковать ему. В это время по левую сторону дороги сильно зашумели. Опять затрещал орешник, и на этот раз вышло из чащи не один, а два мужика. Не останавливаясь ни на секунду, пошли они прямо на молодого парня, и в то же время, как бы переменив намерение идти в Печоры, вернулся и первый.

Наймист понял в чем дело. Сердце его на минуту замерло, но смелость взяла вверх над мимолетною робостью. Он приосанился и спросил у них звучным голосом:

— А что вам от меня надо?

— А то, что раскошеливайся! — отвечал самый высокий и плечистый из бродяг.

— Ну, а коли денег у меня нет?

— Коли нет! Должно быть, что есть! Разве глаз у нас нету?.. В Печорах на ярмарке мошну твою видели... Вчера, за коноплями, ты что̀ девке говорил?.. Мы с большака все слышали!.. Ну, ну, раскошеливайся!

— А вот как я-те раскошеливать начну! — крикнул наймист и с яростью ударил говорившего крепким кулаком в лицо.

Здоровяк пошатнулся.

— Вот, на тебе! — сказал он другому и наотмашь угостил его в грудь.

Тот грянулся оземь со стоном. Казалось, победа была на стороне моего героя; но тот, который до сих пор не принимал участия в бое, вдруг схватил его сзади под

силки. Началась страшная борьба. Лежавший вскочил и с злобой кинулся ему на грудь.

Наймист не уступал: жаль было отдать деньги. Шляпа с него свалилась, русые кудри были растрепаны; по лицу, бледному от усилий, катился пот; красная рубашка, которую он надел для Параши, висела клочьями на белой и крутой груди.

Месяц светил ясно на дорогу, и наймист хорошо различал озлобленные лица своих противников.

Вдруг среди немого боя ему послышался стук телеги по большой дороге. Он закричал караул. Близкий стук телеги умолк на мгновенье. Он хотел еще раз крикнуть, но удар дубиной по обнаженной голове лишил его голоса и чувств.

Прошлого года, летом, я опять был в этих странах и попал на ярмарку в Печоры.

Ярмарка была очень многолюдна и только к вечеру стала редеть. Мы болтались вдвоем с любезным помещиком этого села по большому лугу, на котором остальные посетители ярмарки рассеянными группами доканчивали веселый день. Большей частью это были печорские крестьяне.

Устав наконец, мы присели под навес какого-то амбара и молча смотрели.

— Хотите видеть Парашу? — спросил вдруг мой спутник.

Я изъявил желание. Он показал в ту сторону.

В самом деле, это была Параша. Ее все знали в окружности; она не пропускала ни одной соседней ярмарки и являлась на все праздники опрятно одетая и молчаливая; усердно молилась в церкви и потом, сидя где-нибудь в уголку, глядела на народ своими большими чорными глазами. Глаза эти сохранили свой блеск, да и вообще она мало переменилась в лице с того времени, как

я видел ее в последний раз. Но как бы ошибся тот, кто стал бы искать в ее взгляде прежней миловидной смышлености и той влаги, полной затрогивающего выраженья, за которыми я с таким молодым рвением любил следить лет пять тому назад. Взгляд ее был кроток, но тут бесцелен и дик. Впрочем, помешательство ее не имело в себе ничего особенного: она всегда, говорят, тиха, иногда работает и помогает родителям, но слова от нее добиться очень трудно, и еще, если увидит зеленую нанковую поддевку на красной рубашке, непременно укажет пальцем и засмеется так, что на душе станет неловко, а потом спрячется куда-нибудь и тихонько плачет.

— Отчего она помешалась? — спросил я у молодого помещика.

— Говорят разное, — отвечал он мне, — но я думаю, что все это можно соединить вместе. Помешательство ее было постепенное; оно оказалось ясным, говорят, только через два месяца. Сначала все его принимали просто за тоску. Она, во-первых, была испугана внезапным приездом на пчельник мужика, знакомого с ее отцом. Наймист опомнился и дотащился до опушки леса, но дальше идти не мог. Там и нашел его на земле этот мужик. Рассказывали мне даже, что стук его телеги разогнал мошенников и что они сами на следствии... (ведь их поймали). Они сами говорили, что не хотели его раздевать, из боязни попасться с вещами... да и не успели бы, потому что телега подъезжала к лесу... Уж я не знаю в подробностях, как это было, но только мужик принял его за пьяного, когда он просился к нему на телегу, и взял его. Наймист попросил завезти его в рощу на пчельник... Мужик верно бы бросил его, если б знал настоящее происшествие, однако тот молчал, из осторожности что ли, или от боли, только молчал. Мужик завез его на пчельник, тем более, что роща лежала на пути, и первый, кто попался им — была Параша. В темноте мужик немного запутался и сошел с телеги посмотреть место.

Вдруг ему навстречу Параша. Увидала его, да как закричит! Он назвал ее по имени и себя назвал... «А я, говорит, Семен, со сна прямо, за *домовитого* тебя приняла... просто ноги подкосились со страсти!» Он, не зная обстоятельств, на этот страх угостил ее еще большим, сказав, кто лежит у него на телеге. А тот, между тем, сам узнал Парашу и заговорил слабым голосом. Говорят, признавался ей, что обмануть ее хотел. Отец-старик вышел на голоса с фонарем. Лежит избитый. С тех пор и помешалась. Постойте, я ее сейчас спрошу.

— А что, Параша, — продолжал молодой человек, обращаясь к ней и указывая на меня, — нравится тебе этот барин?

Параша засмеялась, поглядела на нас своим странным взглядом и ушла.

Кто знает, может быть, она меня узнала, и я напомнил ей то время, когда она в первый раз встретила наймиста?

— Зачем вы подзывали ее! Мне стало больно от ее смеха! — сказал я, отворачиваясь.

— Мне самому жаль, что я с ней заговорил, — отвечал молодой помещик, тихонько вздохнув.

— Куда она пошла?

— Должно быть, за какой-нибудь сарай, плакать.

Я замолчал.

Между тем свечерело. Бабы, столпившись в кучу, допевали у амбара свою последнюю песню. Мужики все поразбрелись по домам, кроме двух-трех молодых любезников. Прямо перед моими глазами у священника в окошке тускло светилась лампада. На деревне была совершенная тишина. Бабы пели тихо. По темнеющему полю с громким ржаньем, звучно раздававшимся на свежем вечернем воздухе, неслась домой белая растреножившаяся лошадь.

Крестьянские ребятишки посели на траву в двух шагах от нас и вдруг подхватили довольно согласным, но пискливым хором свою оригинальную песню-скороговор-

ку, которая так меня удивила, когда я услыхал ее в первый раз:

...На острове родился,
Он французом проявился —

Тот наш Полион,
Тот наш Полион!!

Полионщик, барабанщик,
Всем жидам своим прикащик,

Прехитрый француз,
Прехитрый француз!!

Его жиды не узнали, и т. д.

9-го сентября 1853 г.

ЛЕТО НА ХУТОРЕ

ПОВЕСТЬ

(Д. Д. Высоцкой)

I

В том самом месте, где речка (сажен 20, впрочем, шириною), пробежав мимо села и капустников, разливается на два рукава, стоит тот хорошенький хуторок, на котором мне так хочется отвести глаза. И сто́ит на него посмотреть, особенно человеку, не избалованному картинностью природы. Противоположный берег очень крут, и на нем во всю вышину разрослись березы, а на верху обрыва прекрасный луг на несколько верст в ширину и длину. Из окон на хуторе все видно, когда кто-нибудь едет в телеге или верхом по противоположному берегу; только местах в пяти застят березки.

Рукав начинается на правом берегу, обросшем лозником и жирной травой, против самой тропинки, протоптанной на обрыве; тут выходит в реку песчаная коса, и над ней-то возвышается строение, в котором уж шестой год живет деревенский портной, Михайло Григорьев, и дочка его, Маша, с такими глазами, что и цвета их нельзя определить: днем кажутся они серыми, а когда придет вечер, они станут как чорный бархат. На хуторе скотником назначен муж родной племянницы Михайлы Григорьевича, Степан, черноволосый мужик, очень большого роста и весьма добродушный нравом. Он женат уж давно и прижил четырех детей; жена его, Алена, хотя и косит немного свои карие глаза, но свежа,

румяна и очень моложава. Степан, которого я не без основания назвал мужиком, был, однако ж, из дворовых, именно сын скотника, но ходил он совсем по-русски и по праздникам, летом, носил рубашки из красного ситца с белыми, дикими и чорными разводами, которые очень шли к его лицу, южному и цветом, и очертаниями.

Ему было тогда только двадцать лет, и он отличался высоким ростом, силой и имел очень легкомысленный и обольстительный вид, когда надевал свою красную рубашку, заламывал набок поярковую шляпу с бархатками и пряжками и выходил на торг, наигрывая на гармонии, покачиваясь и улыбаясь. Однако все его легкомыслие вполне удовлетворялось игрой на гармонии и притопываньем, когда молодые девки водили хоровод. Отцу он был очень послушен, набожен и несмел с женщинами. Только, видно, от судьбы своей и ему не удалось уйти. Алену никто не замечал на дворе; она находилась при низших должностях в хоромах и бóльшую часть своего молодого времени проводила в вязаньи чулок и карпеток. Но у нее был врожденный вкус, и она предпочла высокого черноволосого молодца всем худощавым и сладкоречивым ловласам в немецких платьях, которые наезжали к ним летом из Москвы и Петербурга. Степан ухмылялся, стыдился как будто; но, оставаясь наедине с нею под вечерок, вовсе не чувствовал никакого неудовольствия, когда Аленушка, слегка скосившись, брала тихонько его руку и примеряла ему свои кольца, или снимала с него шляпу и вертела ее долго в руках, что-то мурлыкая про себя.

Он обыкновенно говорил в таком случае, протягивая руку:

— Что ты шляпу сняла?.. нехорошо так, простоволосому... а? Алена? а? право слово, шляпу взяла...

Однако раз случилось, что они так-то сидели вечером при лунном свете и он потянулся за шляпой, да, вместо шляпы, попал рукой к ней на плечо, покрытое красивой холстинкой. И хотя рука его была довольно тяжела, однако Алена не пошевельнулась — и так они просидели с час, пока она, вздохнув, не сказала:

— Пойду в людскую; небось ужинать сели.

А он отвечал:

— Дай-ка шляпу-то... Ишь ты, пряжку-то куда сдвинула!..

Она пошла, а он стоял на одном месте и смотрел ей вслед, запустив одну руку за пояс, а другой поправляя на плече свой новый серый кафтан, и смотрел до тех пор ей вслед, пока она, взойдя на крыльцо людской и с размаху ударив обеими руками в тяжелую дверь, не вогнала ее вовнутрь и не скрылась за нею. Тогда он произнес, тряхнув кудрями: «Экая гладкая!» — и ушел домой.

Потом их женили. Потом барыня передала управление сыну; сын построил на мысу Петровский Хутор, по случаю хороших соседственных пустошей, и заблагорассудил назначить скотником туда Степана, как опытного человека в деле скотоводства и смирного, послушного малого. К тому же прикащик не без основания заметил, что и Алена едва ли будет не полезнее своего мужа на хуторе, потому что она очень любит скотину, работяща и даже подчас лечит коров. Последнее было справедливо только по видимым результатам. Правда, Алена дала однажды какой-то травы одной заскучавшей корове, но трава и предписание как действовать пришли к ней от родного дяди ее, Михайлы Григорьева, который за ремеслом портного скрывал еще и другие, более блестящие таланты. Никто почти не знал о его склонности к врачеванию до той поры, когда он, при удобном случае, открыл свое знание. Случай этот был вот какой. Сын их барыни, человек лет тридцати, приехал из Петербурга и цвел необыкновенным здоровьем; но здоровье это, видно, было излишнее, и однажды, после ужина, богатого мясом и винами, он почувствовал себя так плохо, что упал на кровать. Другие увидали тоже, что плохо, потому что он весь посинел, и послали за доктором, который жил в 20 верстах. Барыня приказала нестись во весь дух! Пока коляска неслась по большой дороге довольно грустно, благодаря обманчивому бегу лошадей и любви к ним кучера, мать и при-

ближенные обступили кровать с искренним ужасом. Барин был любим... В эту тяжелую минуту вошел в спальню Михайло, нетвердою поступью приблизился к больному и, два раза откашлянувшись за рукой, спросил у барыни позволения пустить кровь из руки у Петра Васильевича...

— А то ведь это удар, — прибавил он более тонким голосом, желая придать ему убедительность.

Мать была дама решительная и быстро произнесла:

— Пускай, Михайло, ради Бога, пускай!

Михайло сначала оробел барских слов, но потом ободрился, кашлянул опять в сторону и принялся пускать.

Вот как он пускал: сперва вынул из кармана настоящий ланцет и, завернув на мускулистой руке больного рукав рубашки, перекрестился; потом приложил ланцет, да как пустит — все так и ахнули! Мало того, что выпустил три чашки крови из руки, он еще приставил ему в самые ноздри двух пиявок, делал и еще что-то — и через полчаса Петр Васильевич задышал гораздо свободнее. Барыня тут же дала Михайле красную депозитку и сказала:

— Ну, Миша, Бог тебя наградит, а я уж не забуду!

К рассвету приехал доктор из уездного города и, поглядев на пациента, объявил, что он спасен, и похвалил Михайла за находчивость.

Михайло прищурился, поклонился ему и, загородясь, по обыкновению, рукой, кашлянул.

Доктор постоял, покачал головой, накушался кофе, взял пять рублей серебром и уехал.

Когда утром Михайло скромно проходил через прихожую, дворецкий не выдержал и, передернув плечами, воскликнул:

— Эй, ты, дохтур! а дохтур! приди-ко, брат, ко мне чай пить ужо... Вот что! у меня... у жены что-то все зубы болят, дохтур.

Потом дворецкий обратился к стоявшим тут людям и сказал им:

— Зубы!... уж который день. А он вон кровь пущает!

На это люди ничего не отвечали, а только один из них, махнув головой кверху, сделал: гхе! и остался минут на пять с раскрытым ртом.

Михайло пошел к дворецкому чай пить только по второму зову, дал жене его какой-то настойки и потом целый день, как ни в чем не бывал, стегал себе на своем катке.

Только через два дня обнаружились в нем припадки самолюбия. Раз, после обеда, он стал очень весел лицом, чаще кашлял и, явившись на большой двор без шапки, заложил руки за спину и долго ходил взад и вперед по двору, изредка поглядывая на окна хоро́м и улыбаясь.

Никто не мог уговорить его уйти спать, а строгих мер госпожа не приказала употреблять с ним; и он ходил до тех пор, пока Алена, его племянница, которая в то время только что стала женой Степана, не пришла на господский двор и не сказала дяде:

— Дядюшка, пойдите спать! Барыня вам велит идти спать...

— Барыня? — спросил Михайло, — врешь ты... Где ты барыню видела?

— Сейчас была у нее, полотно относила. А она и говорит: «Скажи дяде, чтоб он ушел; если он уйдет, я буду у тебя крестить»...

Михайло немедленно ушел.

Хитрая Алена и не думала носить полотна. Она знала, что дядя хочет, чтоб барыня крестила будущего ребенка, и потому солгала, чтоб спасти его от господского гнева.

Она принесла себе этим немало пользы: с одной стороны, приобрела окончательное уважение дяди; протрезвившийся Михайло, выпросив у барыни прощенье, поблагодарил ее за милость, которую она оказывает сироте, его племяннице, тем, что собирается крестить у нее перворожденного младенца.

Барыня знала уже про штуку Алены и обещала непременно крестить, присовокупив, что племянница у него прехитрая.

Михайло и сам узнал, в чем дело, и целый день твердил, сидя на катке:

— Эка баба! эко зелье! Вся в меня пошла!...

Другое благоволение было со стороны барыни, которой вовсе не хотелось, чтоб Михайло своим непослушанием извлек из сердца ее благодарность. И, наконец, третья выгода была со стороны мужа, Степана. Степан, который и тогда был сильно склонен к игре на гармонии и к красным рубашкам, даже гораздо более склонен к ним, чем к ходьбе за скотом, со всех сторон слыша про жену, предоставил ей совершенно бразды домашнего правления, и эта власть никогда, даже и после переселения на Петровский Хутор, не была нарушена.

Только раз случилась с ним оказия вроде михайловой. Он приехал домой из села не совсем приличный. Там, после долгой беседы с поваром Егором, который назвал его «зюзей» и «феклой», решился он потрясти влияние Алены. Возвратясь, он начал с того, что повесил на гвоздь кафтан и кушак, потом сел к столу и пригорюнился. Алена в это время снимала с полки пустые крынки. Обернувшись и увидев мужа таким угрюмым, она подошла к нему и спросила с некоторой нежностью, которой она понабралась еще в барском доме:

— А что, Степаша? Али неможется?..

Степан покачал головой и, не говоря ни слова, стукнул кулаком по столу.

— Э! — воскликнула Алена, — да ты, Степаша, подгулял!..

Степан произнес отрывисто:

— Нет! А зачем ты всем распоряжаешься? Повар говорит, что ты голова, а не я!

— Вот замолол! — заключила Алена и пошла себе доить, только сарафан сзади покачивается.

Степан еще раз стукнул кулаком вслед ей и сказал:

— Да! зачем распоряжаешься? на то разве ты баба? Да!

После этого он так крепко задумался над сказанным, что Алена с детьми отужинала без него. На другой же день с рассветом все пошло старым порядком.

Между тем подвиг Михайлы стал известен многим, и многие вспомнили, что он и прежде помогал кой-кому. Один рассказывал, что он в запрошлый великий пост давал каких-то капель старосте Акиму; другой говорил другое, и т. д. Помещица, разговаривая с сыном о его болезни и пособиях портного, вспомнила, что Михайло ходил в продолжении семи или восьми лет по оброку и жил, как тогда ей сказывали, у одного очень хорошего лекаря в довольно дальнем, но немалом городе: тогда все стало яснее; и когда сам Михайло был позван и расспрошен тщательно о прошедшем, доверие к нему в доме окончательно утвердилось. Он признался, что доктор был очень добрый старик и многое показал ему, давал читать лечебники, подарил ему несколько своих тетрадок и часто хвалил его сметливость. Барыня, страдавшая от времени до времени печенью и еще кой-какими мелочными недугами, совершенно доверилась Михайле, и он немало ее поддерживал.

Когда она умерла, сын и наследник ее призвал Михайла и сказал ему, что за тогдашнее спасение и за многое другое он отпускает его на волю вместе с малолетней дочерью и просит его назначить самому себе какую-нибудь награду, сообразную с здравым смыслом.

Михайло тотчас же попросил себе позволения построиться на его земле особым жильем, точно так, как отстроены все семейные дворовые люди. Барин подумал и согласился, спрашивая только: где же? Михайло изъявил желание жить на Петровском Хуторе вместе с племянницей и там же хотел иметь клочок земли для двора и огородика.

Так все и сделалось.

Между тем подрастала Маша: ей было уж тринадцать лет. Молодой барин, приехавший надолго в деревню, не забывал своего прежнего доктора. Часто, после обеда, ложился он на диван своего кабинета, закуривал сигару и посылал за Михайлой.

— Ну, что̀ скажешь? — говорил он, лениво отряхая пепел.

Михайло кашлял слегка, выражая этим свое почтение, и отвечал:

— Все слава Богу-с... Благодарение-с...

— Благодарение? — спрашивал барин. — Что ж? — лечил кого-нибудь?

— Нет, то есть сегодня-с никого не было. А вчерась приходила старуха из Подлипок... Рихматизмы сильнейшие! Пластырь дал.

— Ну, и хорошо! А знаешь ли что? Дочка у тебя растет красавица — а? Михайло?

— Что̀ это вы-с изволите говорить! Еще от полу-то недостаточно поднялась. Чувства, то есть, разума никакого нету.

— Что̀ ж, ты любишь ее небось?

— Известно, своя плоть.

— Ну, да̀... А подрастет, так и жених найдется.

— Дело далекое-с! Конечно, у всякого человека своя планита есть, и вот хошь так, для примера, и в болезнях планиты, то есть звезды небесные, имеют действие свое на человека. У всякого, то есть, свое... оттудова все-с... Как они там расположены, так и человеку...

— Да где ты все это повычитал?

Но Михайло только улыбался, храня в тайне источники своих познаний и бессвязных для постороннего уха речей.

Барин приказывал ему говорить яснее и требовал каких-нибудь новых подробностей, каких-нибудь анекдотов насчет его пациентов, потом засыпал под восторженный шопот чудака, и доктор на цыпочках удалялся.

Вскоре, однако, и для Маши звезда засветила поярче.

Приехали к Петру Васильевичу из Москвы родные: двоюродный брат с женой и детьми.

Молодая кузина была веселое существо, беспрестанно бегала всюду, все рассматривала и всем восхищалась в прекрасно устроенном имении Петра Васильевича.

— Quelle charmante enfant! — воскликнула она, встретив Машу в саду. — Пойди сюда, душенька... Какая ты хорошенькая! Хочешь ты ко мне служить? Я добрая.

— Хочу-с.
— Кто твой отец? чья ты?
— Михайлина-с.
— Так ты вольная?
— Да-с.
— Так хочешь ко мне?
— Хочу-с.

Позови ко мне своего отца, я с ним поговорю... Вот тебе конфетка...

Михайло с радостью согласился отпустить дочь в Москву, в богатый дом, и низко поклонился молодой даме.

Через две недели Маша покинула родину; и когда, через четыре года, летом она вернулась домой повидаться с отцом и погостить у своих месяца с два, никто ее не узнал — так была она высока, стройна, красива и так хорошо одевалась.

Не говоря уже о молодых людях женского слоя, считавших ее недоступною, хотя она вовсе не была горда, шутила, плясала и пела со всеми, помещики, встречавшие ее где-нибудь, заглядывались на ее красоту, и один молодой господин, Дмитрий Александрович Непреклонный, начал даже лечиться у Михайла для того только, чтоб чаще видеться с нею. Но Маша была себе на уме... Впрочем, об этом после.

Через два месяца Маша уехала в Москву, и через год отец выписал ее снова, с намерением выдать замуж и поселить около себя, для успокоения своих преклонных лет.

Прошло не более двух недель после Святой и месяц со дня возвращения Маши в отцовский дом, как на Петровский Хутор приехала из города старуха Аксинья, жившая в кухарках у одного учителя русского языка. Старуха была кума и родственница Михайле Григорьевичу.

— Добралась, добралась, родимый! — воскликнула она, помолившись на угловой образ. — Уж шла, шла... Как есть, все пешая шла от городу-то до самого, как есть, до Христовоздвиженья... Ей-Богу, право-ну! шла, шла!

Уж такой простой это управитель у них... Добрый, как есть добреющий человек... «На, возьми, старая ты этакая, говорит, да садись вон к мужику к нашему... он в Салапихино тоже...» Ну и довез. А то бы, без его милости, не дошла б; вот ти крест, не дошла б... Такая, друг, оказия!.. Ох, дай-ка, друг, присяду...

— Садись, кума... Маша, ты б чайку-то нам... — сказал Михайло.

— Уж самовар стоит давно, сейчас закипит, — отвечала дочь и вышла в сени.

— Ну, что, кума?

— Да что! мое дело старое, живу! А я вот все на девку, друг, на твою гляжу... Эка девка-то вышла какая! И то сказать, ведь мать-то какая, покойница, была из себя видная. Ну, да все не то... Эта-то не в пример красивее... И уж нежная она у тебя какая... Небось, и рук-то ни к чему не присунет.

— Ничего! то есть, чтоб пожаловаться, так нельзя... Девчонка во всем исправная... Да оно и видно, сейчас из Москвы... то есть из столицы. Дом богатый; во всем порядок идет.

— Знаю, знаю... Ох, друг, уморилась-то как я!.. Сестра Анфиска-то вчера, как в Салапихино-то я приехала с мужиком... «Ну, куда тебя на хутор несет?.. Успеешь, не за горами». — Нет, говорю, друг, уж дай пойду... Дельцо у меня есть до него бедовое. — «Да ты, дура, говорит, останься... Разве мы тебе не рады?» Это она мне... Нет, говорю, уж дай пойду лучше погощу у тебя... Только не гони, друг, сама после! Ей-Богу, кум, такая!..

— Какое ж это ты дельцо затеяла?.. Кажется, что бы это так? И в поре-то было, то есть в молодых летах, да дел-то у тебя немного бывало, а ныньче уж за делами стала ходить...

— Э, э! да ты все брехун какой был, такой и есть!.. А дело-то хорошее для тебя...

— Ну, говори, говори... Или лучше ужо, как отдохнешь да чайку напьешься...

— И то, друг, и то! А то и язык-то словно вместе с ногами по земле тащила: ничего и не скажешь путем... Больно много говорить-то надо...

Однако не успела болтливая кума выпить и двух чашек чая, как уже приступила прямо к объяснению дела.

— Вишь ты, хозяин-то мой... учитель-то... Знаешь небось, друг? Ведь ты сам его видел в запрошлом году против поста, как в городе был, ко мне заходил — а? Знаешь, что ль?

— Знаю, как не знать. Видел я учителя твоего.

— Ну, ну... Ох ты Маша, Маша! полно тебе чай-то лить: уж меня пот так и прошибает... Ну, давай, давай чашку-то... Э-эх!

Михайло начинал терять терпенье.

— Да ну, старуха, говорила бы давно... Что размазываешь все — экая какая!

— Говорю, друг, говорю... Так это учитель-то. Вот вишь ты, друг, прихожу я к нему: «Батюшка, дескать, Иван, говорю, Павлыч, отпусти к родным... всего на недельку... Я тебе другую кухарочку на это время приищу... Еще молоденькая есть у меня такая, не мне, старухе старой, чета — мордастенькая такая, белая». А он-то такой простой: «Ну, что за беда! ступай, говорит, не нужно мне твоей мордастенькой: я к Подушкину похожу пока обедать». Простой, как есть, самый простой человек. «Ну хорошо, говорю, дай Бог тебе здоровья, батюшка», да сама было и за дверь... Рада, известно... «Постой! кричит, нет ли у тебя из родных кого-нибудь... чтоб этак мне на лето поехать?» А мне сразу и невдомек... на кой пес, думаю, ему к нашим?.. «Я, говорит, понимаешь, нездоров, так хочу в деревню на лето... Узнай у своих, нельзя ли нанять у кого комнату... Да чтоб место хорошее было, веселое... чтоб гулять где было». Башка, кум, плохая, старая... «Не знаю, батюшка», да и вон из горницы... Уж это после... этак к сумеркам пришло мнение об тебе... Вот я докладываю... Есть у меня кум, Иван Павлыч, да не знаю, какое его на это будет согласие. Человек, гово-

рю, хороший, дом чистый... Все как есть... А он и давай расспрашивать... И кто такой, чем занимается, и реки есть ли, и рощи... того намолол, что и не перечтешь... А как сказала, что ты мол, лечишь, пользуешь... засмеялся этак потихоньку — понимаешь?.. «Ну, говорит, Аксинья, уж с леченьем-то его Бог с ним... Мне еще жить-то не надоело».

— Ну? а ты что ж? Так и смолчала? — прервал Михайло.

— Какой смолчала!.. Опять-таки ему стала хвалить тебя... «Ну, говорит, ступай себе». Ей-Богу, такой славный человек!..

— Ну, спасибо, старуха... Дай-ка я об эвтом подумаю, а после и ответ тебе дам. Да ты не забудь, смотри, все скажи, как поедешь.

Михайло думал дня два и решил сначала внутренно, что это дело неплохое — взять с молодого учителя рублей двадцать пять серебром за все лето.

Накануне своего отъезда в город Аксинья зашла на хутор проститься. Михайло предложил ей довезти ее в Салапихино на своей лошади и, сев с ней на телегу, обратился к ней с следующим вопросом:

— А что̀, ведь он, то есть барин-то твой, охаверник какой-нибудь... какие-нибудь прожекты любит небось?

— И, что̀ ты, что̀ ты!.. И такой-то смирный. Чтоб в карты или вино бы любил — и не подумает... Читает себе день-деньской да пишет; разве Подушкин этот, тоже учитель, забредет... так в шашки сядут... Да и то никакого буянства нет: сидят себе да свищут оба...

Михайло изложил ей все свои условия и, оставив старуху в Салапихине, вернулся домой.

— Ну, дочка, — сказал он Маше, — комнатку твою надо поопростать.

— Ну, что ж... я подмету хорошенько, платье свое вынесу.

— А где ты сама спать будешь?

— Где? да хоть к Алене пойду...

— Зачем? ты лучше в кладовой... Тра́вы я возьму, а то голова будет болеть... очень уж дух сильно сперся. А сам на сеннике буду ночевать...

— Вот уж я на сене не люблю, смерть, — возразила Маша, — пыль такая... козявка всякая...

— А по мне эта козявка ничего...

II

Солнце село необыкновенно красно за теми полями, которые оборвались к реке против хутора такой крутой и зеленой стеною. Незадолго до заката прошел сильный дождь и, размочив всю окрестность, вызвал из нее тысячи свежих и крепких запахов. Воздух был истинно благорастворенный. Мшистые и кривые стволы ракит, нагнутые над строениями, совсем почернели от сырости, и только стороны их, обращенные к заре, принимали чуть видный розовый колорит... Тусклые окна Михайлы стали совсем красные.

И Михайло ощутил некоторое влияние живописной и благоухающей окрестности. Будучи в добром расположении духа, он кликнул Машу, дошивавшую у окна отцовскую рубашку, и велел ей достать из старого шкапа довольно плохую сигару.

— А много их там осталось, Маша? — спросил он, закуривая сигару не без тщеславия.

— Пять... нет, шесть. Одна вон куда закатилась.

Михайло вздохнул и вышел на порог своего жилища.

— Эка благодать Господня! — произнес он, перекрестясь, и, прислонившись к притолке, долго стоял, прищуриваясь и улыбаясь.

Ка̀к он переменился в эти шесть лет! Белокурые волосы окончательно поседели везде — и на висках, и на затылке, и на усах; лицом и телом он пополнел, но мелких морщин поприбавилось много... Вообще же старость наложила на него печать своего достоинства: он стал лучше на вид.

Долго стоял он у дверей и покуривал молча, пока наконец Маша не вышла к нему.

— Ты куда ж это? — спросил отец.

— Пойду к Алене... Уж скотину никак пригнали.

— Что ж ты, доить помогать?

— Вот доить! Так пойду посмотрю...

— А ну, как подоишь?

— Ну, что ж, если и подою? Руки-то не отпадут!..

Маша убежала, а Михайло продолжал курить.

В этот день он ждал своего пациента, про которого столько наболтала кума, и голова его была так полна новостью положения, что он едва заметил, как мимо него, шагах в двадцати, прошли к реке все коровы, понукаемые звонким бичом маленького подпаска, как раздался грубый бас Степана, и как коровы, напившись, пошли опять к скотной. Одна из них, бурая, с белой головой и огромными рогами, даже очень долго стояла и смотрела на него, но была, как и другие, прогнана мальчиком, прежде нежели успела обратить на себя внимание озабоченного старца.

Ему бы теперь очень хотелось узнать повернее, который час, но белые стенные часы с лиловой розой на циферблате уж третий месяц показывали ровно двенадцать.

А между тем тот, кого он так ждал, давно катился по дороге от села к хутору, и молодой сын салапихинского управителя был осыпаем вопросами о стране и ее жителях.

— Говорят, у него есть дочь?

— Девчонка важная! — отвечал белокурый деревенский фат, — бедовая девчонка! Плясунья такая; гармонии эти пойдут, пляски, песни... Из себя высокая, — продолжал он, поднимая свободный от возжей кулак, — перехват здесь этак по-московски... улыбнется, знаете, и глазишками... ух-ты!

«Должно быть, потерянная как-нибудь», — подумал Васильков, вздохнув. Потом спросил опять: — А отец-то сам леченьем только и занимается?

— Михайло Григорьич-то? Нет-с, они портные, шьют всякое платье... Капиталец тоже имеют свой, как люди

говорят... Сам я не считал-с. Ну и лечит... по селам ездит, от всех болезней вылечивает. Человек умный! сам себя остромысленным человеком называет... сколько жителей на земле знает... Такая, говорит, есть наука: остромыслие, говорит...

— Неужели?

— Как же-с! Вот хуторок-с.

Телега, гремя, взъехала на мостик, перекинутый через рукав, и в то же самое время взорам путников предстала вся семья Михайлы, расположившаяся ужинать на открытом воздухе, у порога степановой избы.

Телега остановилась.

— Хлеб-соль! — воскликнул, приподнимая картуз, сын управителя. — Ешь щи, да только не пищи!

Степан загрохотал. Учитель слез с телеги. Все встали из-за стола.

— Все ли благополучно-с доехали? — спрашивал Михайло, кланяясь. — Где ваш чемоданчик-то? Эх, ты, братец Степан! Ну, что стоишь? Возьми-ка, поди сними вещи-то с телеги.

Степан, с детским любопытством погрузившийся в созерцание широкого и белого пальто приезжего господина, казалось, забыл все остальное, лениво подошел к телеге, закричал сам на себя: «ну, тащи... эх!», и взвалил чемодан на плеча.

— Неси ко мне! — сказал Михайло. — Небось, батюшка, устали? Это то есть с дороги-то-с, сейчас бы и лечь?

— Да̀, это правда, я таки-устал.

— Уж не побрезгайте нашим жильем: оно ведь хоть и новое, да все то есть самое простое.

— Я и сам человек простой, — отвечал учитель, — за многим не гонюсь... Было бы чисто.

— Ну насчет этой чистоты можете быть в надежде! Я-с даже ужасно беспокоился...

Разговаривая таким образом, они вошли в дом и достигли той комнаты, в которой жила прежде Маша.

— Не знаю, как вы то есть будете довольны помещением? Я ужасно беспокоился об вас...

— Помилуйте! Комната очень хорошенькая и просторная.

— Да-с, комнатка хорошая... Дочь жила... Вон и зеркало свое забыла на столе... Вам оно не требуется?

— Нет, возьмите, — отвечал Васильков.

— Постелька вам приготовлена — все как надо, — продолжал хозяин. — Сторку я вам повесил на окне; еще из старого барского дома сторка осталась, а то солнце поутру ударение делает... Чайку не угодно ли?

— Нет, благодарю вас... Дайте мне только огня; я сам разденусь... Я хочу спать.

Михайло зажег свечу, и через полчаса наш молодой путешественник спал крепким сном.

— А не хорош постоялец, — заметила Алена, оставшись вдвоем с Машей.

— Чем же не хорош? Кажется, что недурен...

— Нашла хорошего! Чорный какой!... Волоса предлинные...

— Вот еще какая! — возразила Маша. А твой муж не чорный? Уж черней его и нет никого.

— Так что ж? разве он хорош? Нашла хорошего!

— Ах ты Господи! А попроси-ка его у тебя — не отдашь.

— И-и-и! да еще в придачу зипунишко старый отдам! — воскликнула, смеясь, Алена.

Таковы были мнения женщин на хуторе об Иване Павловиче Василькове.

Когда на следующее утро он проснулся, первым движением его было посмотреть на окно; на окне была та старинная сторка с пейзажем, которую накануне он не успел

рассмотреть; теперь же она показалась так хороша, что он привстал на постели и долго не сводил с нее глаз. Среди сплошных масс яркой и не совсем естественного колорита зелени выступал маленький храм в греческом вкусе, довольно удачно осененный ветвями; у подножия его пастух, в костюме французского фермера, задумчиво пас стадо белых овец, а на более отдаленном плане женщина, с сосудом на голове, удалялась в чащу, за храм. На всем этом ландшафте, слегка колыхавшемся, — потому что окно было открыто, — на всем ландшафте весело играло утреннее летнее солнце; лучи его пробрались между ветками старой ракиты, развесившейся над окном, и падали светлыми пятнами на стору. Одно пятно упало, как нарочно, на то место, где весьма смелый, но не очень даровитый художник вздумал изобразить один из тех ярко зеленеющих просветов, которые попадаются в темных чащах лесов. Иван Павлович, рожденный в городе среди очень скромного класса людей, почти не знал обаяния старины... А стора была писана в наивные времена мадригалов и сладких пастушеских мечтаний, которым с такой мимолетной, но горячей отрадой предавались наши отцы и деды. На ней был изображен один из тех милых анахронизмов сборного идиллического блаженства, которые с такой любовью писались в век идиллий. Но не мысли о прошедшем шевелили Ивана Павловича при взгляде на стору. Он видел зелень, он видел солнце, рощу, греческий храм — он догадывался, каковò должно быть утро, слышал веселое, до ярости веселое чириканье воробьев и пение петухов, которые оканчивали свои возгласы с такой интонацией, как будто были рады исполнять свою обязанность перед лицом прекрасной природы. И вся живительная прелесть ясного летнего утра взывала к нему; и он, умывшись и накинув пальто, вышел в другую комнату.

Маша встретила его почти в дверях.

Иван Павлович поклонился, не поднимая глаз, и хотел вернуться.

— Что ж, чай прикажете к вам принести? — спросила Маша.

— Нет, — отвечал Иван Павлович, — стараясь сделать свой голос грубым и все не глядя на нее, — нет, я выйду сюда. Где же Михайло Григорьич?

— Он в огороде-с, — сказала Маша и пошла в сени за самоваром.

Маша напоила его чаем, Маша подмела и стала убирать его комнату. Все это его очень сконфузило, и он как можно скорее ушел в садик посмотреть на Михайлу, который, без сюртука и жилета, в розовой рубашке и затрапезных панталонах усердно полол на грядине всякую дрянную траву. Иван Павлович, не зная, что̀ делать из своей персоны, стал до поту лица помогать ему. Потом ушел в рощу и долго сидел там в совершенном онемении; наконец вернулся около полудня домой. Тут увидел он, что книги его подняты с полу и довольно порядочно разложены на маленьком крашеном столике... Он узнал этот столик, вспомнил, что на нем стояло вчера московское зеркальцо Маши и ее шкатулка. Это очень тронуло Ивана Павловича. Пощупав без всякой видимой цели ножку стола и побарабанив пальцами по всем книгам, он решился выйти на крыльцо, где работала Маша, и просить у нее дощечку и гвоздиков, чтоб устроить себе полку; потом прибавил, помолчав:

— И молоток... молоточек также... А то, знаете, прибить нечем...

— Кого прибить? — спросила Маша, откусывая нитку и собираясь встать.

— Гвоздики... — отвечал Иван Павлович скромно.

Она встала, и глаза их встретились. Маша рассмеялась, Иван Павлович внезапно улыбнулся тоже.

Маша принесла две доски, несколько огромных гвоздей и молоток к нему в комнату. Иван Павлович собрался лезть на стул, чтоб приколачивать, но она остановила его, сказав:

— Охота это вам беспокоиться! Дайте-ка я приколочу, а вы только подавайте гвоздики.

И, быстро вскочив на стул, она начала вбивать гвозди довольно сильной рукой.

— Зачем же мы так высоко прибиваем? — заметил Иван Павлович, вдруг опомнившись.

— Да ведь две полки... Какие же вы чудные! Уж если верхнюю низко прибьешь, куда ж будешь другую-то доску прибивать?

Иван Павлович кивнул потихоньку головой. Правду сказать, ему очень хотелось завесть разговор с Машей, да он никак не знал, с чего начать.

А она все вбивала гвозди, стоя на стуле, и при каждом движении руки выгибался немного назад стан ее, опрятно подтянутый поясом, и слегка морщилось от стука свежее лицо ее, которое казалось Ивану Павловичу особенно мило в том несколько зеленоватом полусвете, который бросала в комнату сторка, украшенная густой рощей. Правда, он находил Машу при свете слишком румяной; теперь он едва ли сознавал, что находил ее какою-нибудь, а только стоял как столб и следил за каждым движением природно-стройной и сильной девушки, присоединявшей к истинно простонародной свежести умеренную кокетливость. Конечно, для человека, который больше видал женщин на своем веку, не остались бы скрыты многие угловатости в словах и приемах Маши, хотя всякий человек со вкусом не отнял бы у нее ни пышности форм, ни жизни лица, ни естественной грации. Но для Ивана Павловича!.. Иван Павлович, как и всякий мужчина лет 25-ти, успел уже видеть хорошеньких и грациозных женщин, но все это вдалеке, в каретах или на гуляньях, большею частью во время своего пребывания в Москве; с тех же пор, как он продолжал свое тихое существованье в губернском городе, он постоянно встречал только жен и дочерей городских обывателей, жеманных и пискливых, которые были ему несносны, и он не знал почти моральных сношений с этим полом.

Итак, красивость Маши очень располагала его разговориться, к тому же побуждала его немало роль наблюдателя, которую он имел в виду и никак не мог начать, по причине своей медленности и еще потому, что судьба далеко не с избытком снабдила его даром практического на-

блюдения. Волнуемый своими нравственными идеями, он решился почти без труда молчать и ждать, чтоб она заговорила первая.

Ожидание его, довольно, впрочем, теплое, было нетщетно: Маша приделала уже одну подпорку доски к стене и, протянув руку к нему за гвоздем, сказала:

— Пожалуйте, Иван Павлыч, еще гвоздик!.. Какие вы, право, задумчивые!.. Задумаетесь, стоите — ничего и не видите.

Тут она раскрыла для улыбки губы, и темно-серые глаза ее взглянули через плечо так живо и вместе так задушевно на Ивана Павловича, что он отвернулся и отвечал, вздохнув:

— Так, что-то задумался... Я всегда так...

— И вздохнули так тяжко, словно у вас тоска какая...

— Я болен, — отвечал наудачу Иван Павлович, хотя на эту минуту не ощущал никакого беспокойства телесного.

— Вот я тоже... я тоже больна, — сказала Маша, и лицо ее сделалось серьезным, и она начала громко стучать молотком.

Другой бы на месте Ивана Павловича подумал — «ну, не похоже!», — но он прислонился к стене, чтоб ближе видеть ее в лицо и, движимый тою смелостью, которую придает участие застенчивым и добрым людям, произнес, прямо подняв глаза на нее:

— Вы больны, Марья Михайловна? право? Что ж у вас болит?

Маше очень понравилось, что он назвал ее Марьей Михайловной; за это она отвечала ему смехом и следующими словами:

— Голова болит... иногда ужас как разболится. Батюшка называет как-то этак по-своему... а я не помню...

После этого она сошла со стула, еще раз посмеялась, взяла молоток, накинула на чорные волосы свои красную косынку и ушла.

Ивану Павловичу взгрустнулось.

Он начал становить книги на полку, и Бог знает что̀ перебродило у него в голове. Между прочим, ему стало ужасно жалко Машу, особенно в том, что она так удачно уступила ему свой крашеный столик. Он даже сам себе показался крайне грубым на этом основании. Обедал он у себя в комнате без особенного аппетита, а вечером имел разговор с Михайлой насчет леченья...

— Вам надо пить декохт, — заметил Михайло.

— Из чего ж ты мне дашь декокт? У меня зимой один раз так разболелась грудь, что я ожидал смерти.

— Конечно, в животе нашем никто не властен, кроме что исключая Бога, а вы только не извольте беспокоиться... Это все соки худые.

— Худосочие? — с ужасом спросил Иван Павлович.

— Так-с... Это, понимаете, то есть больше от золотухи... А здесь вы купаться извольте два раза в день... Декохт будет из пырея; одуванчики будут, цикорий. Пищу сам я полегче вам буду готовить...

— А ты умеешь разве готовить?...

Михайло усмехнулся и кашлянул за рукой.

— Сготовим, не извольте тревожиться об этом. Движенья побольше, так, чтоб (тут он вышел из своей обычной увальчивости и злобно замахал руками перед грудью) разбивать соки, на грудь чтоб не падали... грудь-то у вас крепкая, высокая, только, видно, сидячую жизнь вели.

Современность последней фразы удостоверила Ивана Павловича в познаниях Михайлы, и он ушел спать с готовностью начать на другой день правильный образ жизни.

Между книгами на полке была у него чистая тетрадь, которую он достал и, надписав на ней «Дневник» и «26-го мая такого-то года», сделал на ее первых страницах несколько заметок, из которых мы приведем только самые любопытные:

«Наконец я в деревне! Перед лицом природы душа человека возвышается над мелочами жизни. Боже мой, как

человек мог бы быть счастлив среди этой природы, если б разврат не губил его! Я сам ощущаю глубокую отраду в этом убежище; я поставил божественного Гомера рядом с нежным Катуллом и остроумным Горацием на полку, и невольно думаю, сколько еще наслаждений невыразимых, умственных и сердечных, доставят они мне в этом скромном и тихом приюте. Впрочем, я и в городе нашем мог бы быть совершенно счастлив, если б злоба некоторых людей не отравила дней моих, и без того небогатых радостью. Что̀ сделал я, например, Ивану Сидоровичу? Он не любит меня за то, что Подушкин сказал мне у себя на вечере, будто у него кривое лицо... Но чем же виноват я в словах Подушкина? Я, может быть, и не заметил бы его лица, если б не Подушкин. С тех пор он меня ненавидит, но я от души прощаю ему».

Правильный образ жизни Василькову вести было нетрудно: самая обстановка была вообще благоприятна. Не говоря уже о деревенском воздухе, утреннем благоухании земли, которой довольно много осталось от старой рощи, бывшей прежде на том месте, где молодой салапихинский барин устроил хутор, самая комнатная жизнь его была недурна. Часто бранят нечистоплотность нашего народа, и хотя укоры эти отчасти заслужены, нельзя, однако ж, не сказать, что есть условия, при которых вовсе не скучно пробыть несколько времени под крышей русского простолюдина. Такие условия часто представляют городские, подгородные и сельские мещане: у них нередко встретишь какую-то приятную смесь купеческого и крестьянского колорита. Всегда большая, чистая комната, с образами и лампадой; старый шкап с чашками и другой посудой за стеклами верхней половины, с выступившим вперед комодом внизу; всегда стенные часы белые, с какими-нибудь рисунками; кровать, украшенная пестрым ситцевым занавесом; бо́льшею частью картины и гравюры на стенах, сцены из «Ермака», «Кавказского Пленника» и т. п. У Михайлы именно в таком вкусе было убранство в доме; сам он еще у старого лекаря, у которого прожил десять

лет в первой молодости, привык к опрятности и к порядку. Дом его был почти новый, тем более, что сам Михайло всю зиму прожил в избе у племянницы, из экономии, и только весной, когда уже решился выписать дочь из Москвы для приискания ей приличной партии, перешел в свое настоящее жилище. Приезд же Маши, которая три года была любимой девушкой богатой и хорошо жившей барыни, мог только еще улучшить быт его.

Итак, с этой стороны Ивану Павловичу было хорошо. Обед ему готовил сам Михайло — обед не обильный, но сытный, гораздо лучший его городского обеда. По воскресеньям сама Маша угощала его прекрасными пирогами, которые удивительно умела печь косая Алена.

Каждое утро, выкупавшись и подышав воздухом рощи, возвращался он к себе и брал Гомера, Горация или что-нибудь другое и садился читать у порога крыльца на лавочке, под ракитами, где ему в самый жаркий полдень было хорошо, потому что эта стена избы приходилась на запад. От времени до времени приходил к нему в комнату поутру Михайло и начинал беседовать с ним.

Михайло был странный старик... В нем как-то смешивались лукавство, тщеславие и горячие, чистосердечные речи, когда дело доходило до толков о врачевании. Какой удивительный разгул мистицизма и воображенья просвечивал в этих бессвязных речах, в которых как будто недостает слов для выражения внутренних убеждений! Иван Павлович от души грустил, чувствуя решительное неумение воспроизвести его беседу в своих мемуарах. Это не мешало ему радоваться и заранее напрягаться, если Михайло, улуча минуту, входил в его комнату и, покашляв, садился на кончик стула, упирал руки в колени и осведомлялся о состоянии его здоровья.

— Ну, ка̀к, то есть, вы себя сегодня чувствуете? Как здоровьем?..

— Ничего, хорошо... Свежее, все свежее, Михайло Григорьич.

— Ну и благодарение Господу Богу, если свежее! Наипаче на Него надежду питать нужно-с... От Него все нам, то есть все: и помощь, и пособие, и укрепление..

Михайло говорил тихо и качал головою. Иван Павлович почтительно слушал и, набожно вздыхая, дивился, сколько здравых и светлых мыслей, хотя и не новых, можно услышать иногда от простолюдина.

— Да вы, Михайло Григорьич, славный доктор...

— Я? что же-с? я, во-первых, что учености не имею... Натомии не знаю! Натомить тело человеческое, внутренности всякие права, то есть, не имею. А что лечу, так все с упованием; и какая есть мудрость, все как есть — все свыше!.. Теперича, извольте послушать, я вам скажу, как я думаю о травах всяких, какую, то есть, разницу нахожу осенью или весною, или летом...

Тут обыкновенно Михайло пускался в подробности, которым не будет места в нашем рассказе.

С Машей же Васильков долго перебрасывался незначительными фразами, несмотря на свое желание поговорить с ней.

Вообще она начинала сильно ему нравиться, и он боялся собственной склонности.

Только раз вечером, когда Михайлы не было дома, Иван Павлович воротился домой после вечерней прогулки в поле и застал Машу в таком положении, что счел себя даже обязанным заговорить с нею.

Молодая девушка сидела в большой комнате у стола, облокотясь на него и закрывая руками лицо.

Поза ее была так печальна, что сердце Василькова сжалось, и он, подойдя к столу, наклонился к Маше.

— Что с вами, Марья Михайловна?.. Отчего вы так грустны? Вы нездоровы?

— Голова ужасно болит!

— Что ж Михайло Григорьич вам не поможет? Он, кажется, все эти вещи хорошо знает...

— Нет, батюшка говорит, что против этого ничего нет... Спиртом только мочить дает...

— Где ж ваш спирт?

— Я хотела лечь — тогда помочу...

— Да вы бы теперь помочили. Где он?

— Он в том чуланчике... Постойте, я схожу.

— Нет, уж вы сидите, Марья Михайловна. Я лучше схожу.

— Помилуйте, Иван Павлыч, как это можно!

Но Иван Павлович уже шел, сам не зная куда.

Маша засмеялась, несмотря на головную боль, и остановила его.

— Вот ведь идете, а сами не знаете, где спирт. Он в том шкапу, направо, длинная такая бутылочка...

Васильков принес спирт, намочил им волосы Маши, и, несмотря на ее смущение, на ее просьбы оставить, держал ей очень долго голову руками, что значительно ее облегчило.

Когда она совестилась и просила его отдохнуть, он отвечал всякий раз:

— Я не знаю, зачем вы хотите лишить меня удовольствия...

И Маша успокаивалась.

«Какая милая девушка! Что̀ если б ее нравственность соответствовала ее наружности! — думал Васильков, уходя к себе. — Как приятно делать услугу ближнему, делать добро! Что̀ может быть выше таких минут» — восклицал он, не замечая, что его удовольствие было гораздо сложнее простого удовлетворения доброты и чувства долга.

А Маша, раздеваясь, не раз повторяла себе:

«Какой добрый господин! Вот хороший-то человек! ангельская душа!»

С этого вечера они стали вовсе без церемонии обходиться друг с другом.

Маша часто рассказывала различные случаи своей жизни, смеялась и делала ему глазки. Иван Павлович всегда со вниманием ее слушал и радовался, глядя на ее веселость.

Скоро он совсем ободрился и стал даже постоянно расспрашивать Машу, где она была и что̀ делала.

— Скажите, пожалуйста, куда это вы вчера ходили?

— В село, к сестре к двоюродной. У меня там сестра есть двоюродная. Она там замужем. Вот уж смеху-то было!

— Что ж такое?

— Просто смех! Антон этот, Федора-садовника сын, еще нос длинный... он ужасно в меня влюблен, та̀к сейчас и притащится, со всех ног прибежит, когда узнает, что я пришла. Только я так вот сижу у окна, тут сестра... и я, знаете, так просто была, просто, как есть, в старом холстинковом платье, потому что мы за грибами пошли в рощу, да уж оттуда, признаться, чаю очень захотелось, а село близко. Ну, мы с Аленой и пошли. Сейчас это Антон! «Здравствуйте, Марья Михайловна, мое почтение! Вот вы (это Антон-то мне) вы теперь на нас и смотреть не захотите... у вас теперича господа живут!..», — то есть это он про вас — такой дурак! Ну, я ему, конечно, так и отрезала: «Говорится русская пословица: слышишь звон, да не знаешь, откуда он. Я и завсегда на тебя не смотрела, потому что смотреть не на что. А этот барин, я говорю, что у нас живет... это такая глупость — что-нибудь подумать! Он даже из комнаты только гулять выходит, никогда ни слова со мной не говорит...»

Иван Павлович весело улыбнулся.

— И вам не жаль было его? Сказать молодому человеку прямо, что он не сто́ит, чтоб на него смотрели...

— А он зачем важничает? Думает, что отец его барские ранжереи обкрадывает, так уж в него все сейчас и влюбятся. Жилетки я его пестрой, что ли, не видала? Уж терпеть не могу, кто важничает да хвалится!

— Хвалиться, конечно, нехорошо, Марья Михайловна, зато вам, я думаю, очень скучно здесь с такими людьми.

— Нет, скуки-то большой нет. Я в село ходить люблю.

— А что, если б я в самом деле вздумал за вами поволочиться, как другие, что̀ б вы тогда сказали?...

— Что ж мне сказать? Я бы очень была рада.

— Рады? Чему ж вы были б рады?..

— Тому, что нравлюсь такому хорошему человеку, доброму...

После этого Маша вдруг засмеялась, выставляя напоказ свои белые зубы, и уходила, а Иван Павлович думал: «Какое странное существо!»

III

Все шло прекрасно. Но вот однажды утром Иван Павлович удалился от зноя в свою комнату, которой окна были на восток и где темная стора, мешая утреннему свету, разливала прохладу.

Он собрался переводить что-то с латинского и начал было уже чинить перо с большим тщанием.

В других комнатах никого не было слышно. Маша ушла к Алене, а Михайло еще с утра отправился в Салапихино, куда призывала его медицинская практика.

Белые часы с лиловой розой на циферблате, заведенные и исправленные по случаю приезда Ивана Павловича, резко стучали в соседней комнате. Восточный ветер, шевеливший расписную стору, приносил с собой далекое пение петухов, и от этих однообразных звуков только заметнее было глубокое полдневное молчание всего остального.

Так прошло около часа.

Вдруг послышался стук телеги и голоса с надворья. Иван Павлович прислушался. Дверь заскрипела, и раздались шаги.

— Да̀, рубликов двадцать серебром, — говорил голос Михайлы.

— Э-ге! — отвечал незнакомый голос, — ты вот какие куши стал брать! Да тебя уж скоро в Москве будут знать.

— Что̀ ж за куш за такой? Ведь харчи мои...

— Ничего, ничего!... Я ничего не говорю, — громогласно возразил незнакомец, — молодец да и только, Михайло Григорьич!

Тут послышался шопот сдержанный, и голос Маши произнес с быстротою:

— Что вы это? Экой шутник вы какой! Что это вы выдумаете только?

Михайло и незнакомец громко засмеялись. Иван Павлович совершенно был заинтригован.

«Кто ж это может быть?»

И он продолжал внимательно слушать.

— Да̀-с, да̀-с, — снова начал приезжий, — вот и мы опять приехали сюда... Я говорил, что долго не выживу в Москве — не могу: так и тянет сюда; здесь все как-то роднее!

— Ну уж понятное дело-с, — возразил Михайло, — что роднее: здесь родились, то есть, здесь и все, как есть, свое... Ну, и только что вот поскучнее-то, я думаю, не в пример против московского-то будет...

— Э-э! нет, Михайло Григорьич! Ты не поверишь, как я люблю деревню... Деревня мой рай, моя жизнь; здесь и люди-то добрее, и жизнь покойнее! Ты и судить об этом не можешь... Тебе небось Москва-то чудом каким-нибудь представляется.

— Отчего ж это так уж и чудом? Был я не раз в Москве, то есть этак годов двадцать назад; как барыня-покойница еще езжали туда, так и меня брали... Ведь я уж старец теперича... Ведь в Москву или Петербург какой-нибудь поедешь, если так, для примера, не на забавы на какие-нибудь... то есть в мои-то лета, Дмитрий Александрыч!

Несколько времени они помолчали.

— Пойти вашего коня-то поставить к месту, — сказал наконец Михайло и заскрипел дверью.

Тогда опять послышался ласковый голос Маши.

— Вот вы как зазнались, в Москве-то поживши; уж правду сказать, зазнались. Бывало, то и дело все рассказывают, как вы по ночам верхом здесь разъезжаете.

— Ты лучше мне скажи, в кого ты влюблена?

— Это ваше дело влюбляться, батюшка, а нам уж куда... Я не знаю, как это так и влюбляются-то.

— Ну уж верно есть какой-нибудь ферт?

— Еще я на ферта-то на вашего и смотреть, может быть, не захочу.

— Отчего ж, коли человек хороший? Замуж можно выйти...

— Очень нужно! Что̀ я сама себе лиходейка буду, что ли? ни с того, ни с сего, да вдруг и замуж. Еще какой-нибудь такой навяжется... За меня даже один в Москве...

— Ну, вот и значит, что зазнобил кто-нибудь сердечко. Ферт-то, значит, и завелся. Сам отец твой говорил, что выписал тебя сюда для этого.

— Отцу нужно очень все рассказывать. Говорлив уж больно.

— Ну так что̀ ж за беда, что отец мне сказал? Я ведь, ты знаешь, люблю тебя...

Иван Павлович подошел к дверям и прислонился к стене около них.

Слышно было, что незнакомец ходил взад и вперед по комнате, похлопывая арапником.

— Полноте вы кнутом-то вашим хлопать; того и гляди меня заденете, — заметила ему Маша...

Хлопанье прекратилось. Настало молчание.

— Маша, а ведь я тебя ужасно люблю! — внезапно произнес мужчина.

— Хоть бы вы не кричали так...

— Ах, да̀! я и забыл...

После этого опять послышалось шептанье, прерываемое от поры до времени сдержанным смехом Маши.

Иван Павлович стал раздумывать, хорошо ли будет с его стороны войти туда в эту минуту и прервать их разговор. Найдя, что непохвального тут нет ничего, и убедившись даже, что ему необходимо спросить себе молока, потому что подошло время завтрака, он, скрепя сердце, растворил дверь. Маша сидела на лавке боком к окну и шила. Незнакомец сидел на стуле около нее. Увидев Василькова, он встал. Господин этот был до-

вольно высок и худощав; по обеим сторонам бледного его лица спадали на плечи светло-каштановые кудри; мелкие, но довольно правильные черты лица, рыжеватая круглая бородка, широкие клетчатые шаровары, белая жакетка, распахнутая на рубашке, не прикрытой жилетом, и длинные концы пестрого носового фуляра на шее — все это давало ему весьма иностранный вид, который, как новизна, очень понравился нашему наблюдателю.

Он ответил на вежливый поклон незнакомца и хотел обратиться к Маше с просьбою прислать ему молока, но кудрявый молодой человек сказал звучным голосом:

— Позвольте мне рекомендовать себя как соседа...

— Очень приятно!

— Мне тоже... Встретить образованного человека в такой глуши — ничем неоценимая радость... Моя фамилия Непреклонный...

— Васильков Иван Павлыч...

— Знаю, знаю; мне уже сказано было о вас...

И он крепко пожал руку Ивана Павловича.

Васильков был очень смущен всем этим и хотел опять попросить молока у Маши, которая все время следила с улыбкою и любопытством за их разговором, но Непреклонный опять не дал ему исполнить это намерение.

— И надолго вы в наших парижах?

— В чем-с?

— Pardon! в наших странах, в этих грустных полях?

— Я полагаю пробыть весь вакант и даже, может быть, далее, смотря по здоровью...

Непреклонный снисходительно улыбнулся.

— Я думаю... я полагаю даже, что это ошибка.

— Что-с ошибка?

— Ваше мнение о здешнем климате. Климат пустой: от него перемены не будет.

— Все-таки, согласитесь, деревенский воздух...

— Иван Павлыч, — перебила Маша, — молоко пора кушать. Хлеба прикажете?

— Потрудитесь, пожалуйста.

— А-а! Молоко, хлеб! — воскликнул Непреклонный, — дайте нам молока и хлеба! Я готов целый день пить молоко и есть хлеб: это превосходно, пасторально! Маша, и я буду есть.

— Слушаю, слушаю-с, принесу всем. — С этими словами Маша ушла.

Непреклонный вздохнул...

— Вы учитель? — спросил он.

— Да-с, учитель. Преподаю русский язык...

— Были в университете?...

— Нет-с, я ограничился одним гимназическим курсом.

Непреклонный подвинулся к нему ближе и спросил вполголоса:

— Вы бедны?

— Да, я состояния не имею.

Непреклонный отвернулся, промолвив:

— Да, да я тоже был беден...

Потом вдруг воскликнул, сверкнув глазами прямо в лицо изумленного Василькова:

— Но это ничего!... Смелей вперед, вперед!

И, запев какой-то марш, он начал барабанить в стекло.

К завтраку пришел Михайло. Все были веселы, особенно Непреклонный; он выпил почти целый горлач молока, говорил без умолка самым простым языком, спросил у Ивана Павловича, наблюдает ли он нравы, и когда тот отвечал, что одно из искреннейших его желаний — желание изучить домашний быт русского народа, он засмеялся, пожал ему плечо и заметил, что это бездна и что в два месяца ее не исчерпаешь. Маше он говорил комплименты, рассказывал смешные московские анекдоты, подшучивал над медициною Михайла, и незаметно прошедший завтрак оставил в душе Ивана Павловича какое-то смутное чувство удивления, беспокойства и удовольствия, в котором он сам не мог себе дать отчета.

После обеда молодой человек куда-то исчез. Маши тоже не было видно, и Васильков заблагорассудил выйти к реке

и посидеть на камне, в тени. Проходя чрез сквозные сени, он увидел Машу, преспокойно разговаривавшую у задних дверей с Непреклонным. Иван Павлович покраснел и остановился; но, увидев, что Маша продолжает смеяться и что присутствие его не производит никакого эффекта ни на нее, ни на него, подумал, покачал головой и, уходя, обернулся еще раз. Глаза его встретили взгляд молодой девушки, которая скорчила небольшую гримаску и очень мило погрозила ему пальцом. Потом опять подняла глаза на Непреклонного, который в живописной позе, прислонясь к притолке, раскидывал перед нею свои кудри, широкие отвороты жакетки и пестрые концы носового фуляра.

Иван Павлович, начав подслушивать с утра, решился без труда продолжать начатое. Он сел у порога и напряг внимание.

Маша что-то прошептала.

— Ну, вот, дай Бог тебе здоровья, что не забыла старого друга! Поцалуй меня, — сказал ей в ответ Непреклонный.

— Ну вас с вашими поцалуями! Что ж обещали-то?

— Исполню, исполню.

— Ну, прощайте...

— Вот ты какая! А поцаловать?

Ивана Павловича била лихорадка; он привстал со скамьи — но все затихло, и через минуту Непреклонный, насвистывая польку, вышел из двери.

— А! это вы! — воскликнул он, увидев Ивана Павловича, который сидел неподвижно, прислонясь головой к раките.

— Я-с, — спокойно отвечал Васильков.

Непреклонный присел около него.

— Прекрасная вещь деревня! — сказал он вдруг, вынимая из кармана портсигар и закуривая папироску; потом он посмотрел с необыкновенною тонкостью на своего нового знакомца и, улыбнувшись полусострадательной, полунасмешливой улыбкой, которая делается опусканием углов губ книзу и которая вовсе к нему не шла, продолжал:

— Вижу, вижу, что изумил вас моим вступлением!.. Mais ne jugez pas l'arbre d'après l'écorce! Вы, вероятно, приняли меня за чрезвычайно светского человека... Как вы ошиблись!

— Я не знаю, на каком основании... — начал было скромно Васильков; но Непреклонный гордо прервал его, положив руку ему на колено и продолжая глядеть ему прямо в глаза:

— Полноте, полноте Иван Павлыч... pardon, вас, кажется, так зовут?

— Да-с, точно так. Но я все-таки не знаю...

— Нет-с позвольте, mon cher m-r Васильков. Поверьте вы мне, что умный человек сумеет всегда слить и то и другое — и природу, и общество. Это вовсе не так трудно даже. Я приведу вам тысячу примеров... не правда ли так?

Непреклонный с любезнейшей улыбкой склонил худощавое лицо свое к Ивану Павловичу, и русые волосы его, в самом деле густые и прекрасные, распались очень живописно на плече.

Иван Павлович решился во что̀ бы ни стало досказать свою три раза начатую фразу.

— Я совершенно с вами согласен; но позвольте вам заметить: удивляюсь, почему вы полагаете, что я принял вас за светского человека? Напротив...

Непреклонный заметно обиделся, но продолжал улыбаться с глубоким знанием света.

— Как? вы хотите сказать, что вы не приняли меня за светского человека?.. Это меня до невероятности изумляет. Это странно, очень странно! Но мне все-таки очень приятно, что вы меня постигли. Бо́льшая часть моих знакомых (тут Непреклонный стал разочарован всеми чертами лица), напротив, часто глаза мне колют излишним знанием приличий и света. Но я Протей: я умею быть холоден в столице и пылок, как самый пылкий юноша, в деревне, среди простых людей. Знаете ли, что̀ я вам скажу... ваша наружность внушает доверие.

Васильков поблагодарил от души; он начинал находить этого человека в высшей степени умным и замечательным. Да и немудрено: сосредоточенный от природы, Васильков жил так долго в отдалении от живых интересов, от живых личностей, владеющих новым языком не на бумаге, а говорящих им без труда, и от избытка новых понятий, что две-три фразы, сказанные Непреклонным, уже нашли отголосок в его свежей душе, готовой принять бесконечный запас извне, чтоб претворить его в себе с добросовестной любовью к мышлению.

Городские знакомые не удовлетворяли его. И как часто, гуляя вечером на бульваре, когда широкая река без движения блистала внизу зеленых уступов, идущих к ней от крайней аллеи; когда с одной стороны догорало багровое солнце и начиналась туманная лесистая даль, а с другой пестрела южная часть города, спускаясь к реке мелкими домиками, грудами напиленного леса и прибрежными шалашами; когда румянилась от заката соборная колокольня, подымаясь высоко над бульварными липами, и попеременно возрастал и слабел в отдалении уличный гул и треск — сколько раз в такие часы Васильков горячо жаждал встретить друга или товарища, которому он мог бы сказать, что вот кàк солнце садится и кàк гудит город, и почему он думает, что природа выше людей, и какую связь находит он в том, что̀ совершается перед ним в эту минуту, с тем, что̀ прочел он вчера в новом журнале... и тысячу тех старых вещей, которые, обновив сердечной теплотой, считает человек великолепными и таинственными открытиями!

Все это припомнил Васильков, слушая Непреклонного и думая встретить в нем тот идеал собеседника, которому было послано столько одиноких вздохов... забыл даже о давишней своей ревности.

Итак, он поблагодарил Непреклонного за доверие, которым тот хотел его подарить.

— Дà, — продолжал Непреклонный, закрыв на минуту рукою глаза, — дà... тяжело жить одному иногда; хотелось

бы раскрыть тайник своей души перед человеком, способным ценить нас. Поверите ли, Иван Павлыч... (Непреклонный взял его за руку) я очень обрадовался, когда мне сказали, что вы здесь проведете все лето; я был очень рад соседу... но это не то, это пустяки; а важно то, что я из давишнего вашего разговора понял вас, увидал, что вы человек образованный... Прощайте, однако, поговорим в другой раз, а сегодня мне что-то грустно. Ведь обыкновенно-то я весел!

Непреклонный встал и с извинением пожал руку молодого учителя, совершенно пораженного внезапным его решением уехать, не кончив дельной и откровенной беседы.

— Прощайте! — повторил Непреклонный, встряхнув волосами. — Очень рад, что познакомился с вами и понял вас. У меня странно проницательный взгляд; он мне даже много вредил, но на этот раз я ему благодарен...

Тут стройный молодой человек особенно приятно зашипел, потянув в себя воздух (движение, общее многим во время самолюбивых разговоров, но необъяснимое психологически), потом надел фуражку и, хлопая бичом, исчез за ракитами, оставив Василькова в глубоком недоумении не только насчет себя, но и насчет всех вещей в міре.

Когда стук копыт по мостику затих и Васильков догадался, что Непреклонный должен быть уже далеко от строения, он встал и решился немедля дополнить то, что̀ заметил в долговолосом Непреклонном, и то, что̀ от него слышал, мнениями простолюдинов. Прежде всего он хотел бы поговорить с Аленой, потому что из двух-трех разговоров с нею успел заметить ее смышленость.

Давишняя ревность, подкрепленная собственными впечатлениями, столь благоприятными для этой новой и блестящей в его глазах личности, проснулась в нем. На этот раз она была только грустнее и покорнее; в ней не было того негодования, которое вспыхивает в нас при виде предпочтения, оказанного ничтожному и недостойному человеку. Маша была исключена из списка способных подать голос в пользу или во вред Непреклонного.

На углу скотной он увидел Степана, который с большим вниманием смотрел вдаль. Иван Павлович подошел к нему и спросил, что̀ он такое высматривает.

— А вон храбрится! — отвечал могучий брюнет, показывая рукой на отдаленный пригорок.

Васильков последовал глазами за его рукой и узнал Непреклонного в ловком всаднике, несшемся во весь опор по дороге.

— Ишь поворотил! — с злобой воскликнул Степан, продолжая наблюдать.

— Что̀ он за человек? — спросил Васильков.

— А кто его знает! Это он из Москвы жеребца привез, а то на меринишке на куцом таскался...

— Давно он к вам ездит?

— Давно, кажется; о ту пору стал ездить, как Машка наша приехала...

И Степан загрохотал таким толстым хохотом, что Васильков с ненавистью отошел от него.

Вернувшись домой и увидев, что Михайло занимается в большой комнате связыванием в отдельные пучки какой-то травы, Иван Павлович присел около него и приступил прямо:

— А что, скажите мне, Михайло Григорьич, что̀ это за человек Непреклонный... хороший он человек или нет?

— Человек добрый, смирный; люди хвалят. Приволокнуться только любит...

Иван Павлович грустный ушел к себе и долго не мог заснуть.

Все происшествия дня, любезность Маши с молодым и красивым человеком, ее красота, мысли о нравственности в народе, две-три сатиры Горация, Гомер, ревность, мнение Михайлы, блестящий разговор самого Непреклонного, его арапник, кудри и бесконечные шаровары, между которыми у него на ходу не было никакого пространства — все это подняло совершенный гвалт в голове впечатлительного юноши, и сон бежал от него.

Но это было не последнее испытание, которому он подвергся в этот замечательный день. Ему предстоял еще сильный удар.

Около полуночи, только что первая дремота стала нападать на него, он был внезапно разбужен шумом у окна и, приподнявшись, заметил, что полоса лунного света, которую пропускала стора в его комнату, стала гораздо шире; вслед за этим, он услыхал слова: «Маша! а Маша!», произнесенные шопотом у окна.

Васильков бросился к окну, откинул стору; но говоривший успел уже отскочить за деревья, и угол избы дал только Ивану Павловичу возможность различить мелькнувшую мужскую тень.

Нельзя было оставаться. Он поспешно оделся, как попало, и осторожно вышел на крыльцо. Никого не было видно. Река спокойно блистала на месяце; из строений не слышалось звуков. Но через минуту до его напряженного уха долетел легкий шелест в сенях. Сени были сквозные, и Васильков очень хорошо понял, что легкие шаги направляются к той двери, которая отворялась в огород.

Дверь заскрипела. Васильков обогнул угол и присел за ракитой. Маша шла очень быстро около плетня, поспешно завязывая концы косынки, накинутой на голову. Васильков решился сделать еще несколько шагов.

В эту минуту Бог знает откуда взялся Непреклонный. Он подал Маше согнутый локоть, и оба побежали к роще. Иван Павлович не упускал их из вида. У края рощи стояла телега с привязанным к березе гнедым рысаком.

Непреклонный заботливо посадил Машу в телегу. Она взяла возжи; он отвязал лошадь, сел, и телега, хрустя сухими ветками, скрылась.

Васильков вернулся домой.

IV

«Грустно, очень грустно!..»

Так начал Иван Павлович свой дневник, забытый в прошедшие две недели, на другой день после появления описанного нами соседа.

«Печально видеть, что человек, вопреки высокому своему назначению, вопреки божественной искре, вдохнутой в него Творцом, непрестанно ищет праха самого презренного, самого ничтожного и неблагодарного праха!

Я сказал: „неблагодарного". Да̀, мелочь бытия нашего не вознаграждает нас за фимиам, которого облака воссылаем мы ежедневно к алтарю суетного блеска. Всего грустнее видеть людей, начинающих терять свою первобытную простоту! Я старался наблюдать все, что̀ меня окружает, и вот уже более трех недель не могу распутать многого. Особенно меня интересует эта молодая девушка... не потому, чтоб я любил женщин более всего остального на свете — о нет! могу сказать смело, что душа моя чиста и что я умею побеждать порочные ее наклонности. Меня сначала заинтересовала она просто как совершенно новое для меня лицо. Какая, в самом деле, привлекательная и опасная смесь добродушия, простоты, природного ума и... как жаль! по-видимому, самой испорченной нравственности! Особенно жаль мне старика-отца, который, кажется, так добр, что не подозревает ничего. Подумаю и, может быть, решусь, хотя исподволь, приготовить его к удару.

Сейчас пришел мне на память Подушкин. Ка̀к часто говаривал он мне, что я в высшей степени чудак, что я совершенно людей не знаю. „Да и откуда тебе их знать, — говаривал он, — где ты жил? кого ты видел? Был ты в гимназии — от товарищей удалялся, а с тех пор, как стал учителем, все сидишь дома над книгами. Этак, брат, жить не выучишься!" — „Может быть", — отвечал я всегда с грустной улыбкой, — но мне кажется, что наука жизни состоит в том, чтоб быть полезну по мере дарований и уметь быть счастливу для самого себя. Я тщательно исполняю свой долг, живу скромно и в тихой беседе с древними нахожу себе отраду.

Однако отчего же мне так грустно всегда? Отчего я беспрестанно жду чего-то тайного, далекого, точно какого-то ангела, посланного мне свыше, чтоб я мог с полной отрадой плакать на груди его? Отчего, особенно с тех пор,

как я здесь, в деревне, не сплю покойно? Отчего какая-то тоска овладевает мною, когда наступает ночная тишина?

Михайло Григорьич приписывает это волнению крови; не велел мне ужинать и даже смеялся этому очень лукаво, так лукаво, как я и не ожидал от такого почтенного старца. И все эта молодая девушка во сне!.. Боже мой, Боже! как душно и тяжко! не знаешь куда деть руки и ноги... Все ноет и рвется куда-то во мне... Неужели это простое брожение молодости?..»

Тут Иван Павлович бросил перо и, нечаянно взглянув в стоявшее на столе зеркало, увидел в нем себя.

«Нет, не присудила мне судьба красоты, — подумал он, — теперь бы она была вовсе не лишним даром...»

Правда, в карих глазах его теплилось глубокое добродушие; улыбка несколько толстоватых губ была приветлива; чорные волосы вовсе недурны, а смуглые щоки свежи без пошлой рыхлости. Чего бы, кажется? Но мы ведь очень редко умеем ценить в себе то, что̀ нравится в нас другим.

А Маша была здесь, непобедимо, перед его воображением. То рисовалась головка ее, грациозно и непринужденно склоненная на сторону над работой, то стан ее, весь выгнутый назад, то чорная коса из-под красной косынки, то заигрывающий взгляд бархатных темно-серых глаз ее.

«Боже мой, как она страшно хороша!» — думал он, изнывая.

И сам Непреклонный, которого уклончивая фигура, широкие шаровары, бородка и длинные кудри беспрестанно шевелились сзади всех мыслей Ивана Павловича во время записывания дневника, сам Непреклонный, разбивший своим появлением столько свежих и светлых мечтаний Ивана Павловича о Маше, которые он с гордой радостью сбирался блестящим слогом сообщить потомству, и самый этот Непреклонный был забыт на минуту.

С четверть часа качался Иван Павлович на стуле, закинув на затылок руки и не открывая глаз.

Вдруг послышался шорох под окном и сдержанный смех.

Иван Павлович слегка вздрогнул и взглянул на окно.

Приподняв угол сторки и смеясь всеми чертами лица, как самый веселый и милый ребенок, выглядывала с надворья Маша, повязанная на этот раз простым белым платком.

Васильков хотел было огорчиться, но, вместо грустного лица сделал такое радостное, что Маша это заметила.

— Вот и засмеялись! — сказала она. Так-то лучше, батюшка! а то все смиренные ходите, даже страшно...

— Что вам угодно? — спросил Иван Павлович ласково.

— Да так, ничего! Сгрустнулось без вас... Все сидите да читаете, а я по вас все тоскую...

Твоя краса меня сгубила,
Теперь мне Божий свет постыл...
Зачем, зачем обворожила,
Коль я душе твоей не мил?..

Тут Маша приложила руку к сердцу и сделала такую уморительную гримасу, желая выразить на цветущем и живом лице своем глубокое отчаяние, что Иван Павлович забыл все благозвучные фразы своего журнала и захохотал очень громко.

— А вы знаете, зачем я пришла?

— Вы уж сказали зачем: чтоб на меня посмотреть.

— Это одно-с, — возразила Маша с достоинством, — а еще-с, звать вас гулять. Батюшка все с эстим с зверобоем... «Поди, нарви побольше... зверобою мало!» Вот я и пришла за вами...

— Разве я зверобой, Марья Михайловна?

— Конечно, — протяжно отвечала Маша, видимо задумавшись и не слыша его слов.

Васильков несколько оскорбился. Он сделал этот ничтожный вопрос единственно с целью услышать какой-нибудь комплимент или вообще что-нибудь ласковое.

— О чем вы задумались? — спросил он ее, взяв фуражку.

— Думаю, в какую рощу идти. Если пойдем к Покровскому — далеко; полем — жарко будет. А в эту — и то все языки чешут... Ну, да чорт с ними!

Маша опустила сторку. Иван Павлович вышел на крыльцо.

Через несколько минут, миновав довольно редкий березник, часто служивший Ивану Павловичу убежищем в часы его тоски, вышли они на широкую межу, прямой и зеленой лентой пролегавшую через поля уже желтеющей ржи вплоть до песчаных холмов, усеянных бедным кустарником. За этими холмами была самая большая и густая роща во всей окрестности, небогатой лесами.

Маша шла с большой плетушкой в руке, напевая что-то, и глядела в землю. Иван Павлович глядел на Машу.

— Вот здесь на межниках какая-то мелкая трава все... ничего нет, — заметила Маша после долгого молчания, — а вот когда мы ездили с барыней в Нижегородскую губернюю, там все по межам полынь растет — ужасть какая! ходить даже нельзя.

— Полынь? — спросил Васильков.

— Да̀, — отвечала молодая девушка, совершенно серьезно взглянув на него. — Полынь... это трава полынь... серая такая. Батюшка ее много сбирает. — И, опять отвернувшись, она запела вполголоса прегрустную песню.

Так дошли они до самых холмов. Зверобоя тут не было, потому что он охотнее растет на сочных лужайках в рощах, но было много горной клубники.

Иван Павлович присел на сухую вершину самого высокого пригорка, и ему стало невыносимо неловко. Хотелось бы ему просто признаться Маше, что вот он как ее любит, от всей души, и какая жалость для него видеть, что такая милая и достойная девушка так дурно ведет себя, ездит по ночам в телеге с каким-то нахалом и шепчется с ним в темных сенях... что пропадет она даром, и не́кому будет отдать истинную цену тому богатству внешней красоты,которым одарил ее Бог. И ка̀к бы рад он был, если б мог, не говоря ни слова, хоть взглядом одним, дружеским взглядом упрека выказать ей всю внутреннюю полноту

свою, всю досаду, всю ревность, всю радость быть с нею вдвоем в таком пустынном месте!.. Между тем Маша нарвала для него целый пучок земляники и, смеясь, подала ему благоухающий букет ягод.

— Опять насупились! Экой человек! Я такого чудака и не видывала. Все ему скучно!.. Вот нате, скушайте-ка. И о чем это вам грустить?

— Благодарю вас, — вздохнув, отвечал Иван Павлович, принимаясь за землянику. — Много, много есть о чем мне грустить, Марья Михайловна!

Маша села около него на землю.

— Ну уж ей-Богу, мне кажется, это вы так только! Право! на что б лучше? Вы человек с состоянием...

— Какое у меня состояние!

— Ну все же... — важно продолжала она. — Совсем другое дело — нежели, например, наша сестра. Еще вот теперь ничего стало... Что вы смеетесь? Я знаю, на что̀ вы смеетесь. Вы думаете, что я всегда пошутить с каким-нибудь другим человеком люблю? Это правда. Я характер такой простой имею. Завсегда даже люблю пошутить, а один Бог знает, сколько слез пролила на своем веку... Что ж вы думаете, эти платья-то я хорошие стала давно носить — нет, батюшка мой Иван Павлыч, это только что, в Москве поживши, стала ходить ка̀к следует, а то прежде и в затрапезе да в крашенине не угодно ли... как девчонкой-то была... Барыня-покойница была добрая; это я иначе никогда не скажу; всегда даже молюсь за нее и помнить буду, потому что ласку от нее видела. А только вот вы небойсь слышали, управляющего жена в Салапихине... вот знаете, вы еще ехали оттуда; сын ее и вез-то вас... долговязый, сухой такой...

— Помню, — сказал Иван Павлович.

— Ну вот мать его у нас главной девушкой была. Так это такая скаредная женщина, то есть чистый скаред как есть! Обидчица и ругательница! На̀ руку, не поверите, какая дерзость. На мужчин даже, можно сказать, так и таращила глаза — ей-Богу! А я, бывало, как подросла,

еще ничего не понимала, а и то не давала спуску. Ведь я по десятому, не то по одиннадцатому году на волю-то пошла. Барин тогда батюшку отпустил вместе со мной. А то прежде-то толчков от нее и не оберешься: стук да стук, только и дела постукивает да пощипывает ходит... Как есть злущая самая женщина... и теперь, говорят, такая же. Да теперь-то мы и сами себе голова!..

Тут Маша бойко прищелкнула пальцами.

— Теперь, как придем в Салапихино, — продолжала она с шутливой важностью, — сейчас тут все: «Ах-с! Марья Михайловна! Не угодно ли к нам зайти-с? Чайку чашечку... не побрезгайте». Конторщик — это дурак толстый, Антон долгоносый... все притащутся... и она тоже, то есть управительница, зовет к себе... Обо всем расспрашивать станет... Сама осклабится... Смех просто!..

Маша так увлеклась этой лестной для ее тщеславия картиной, что совсем и забыла грустный тон своего вступления. Она весело встала и, схватив за руку Ивана Павловича, заставила и его подняться с земли.

— А по-мòему, знаете как? Скучно станет — гармонию да и плясать. Эх, завей горе веревочкой! Пойдемтека, что сидеть?.. Зверобой-то забыли...

Зверобоя набрали так много, что Маша не могла уместить его в плетушку: она наклала полный передник, а лукошко взялся нести Васильков, который очень досадовал, что разговор перед вступлением в рощу принял такой невыгодный для него оборот и заставлял теперь его самого прямо выразить свою досаду на Машу, или, лучше сказать, на ее ночную прогулку.

— Вот вы говорили, что мне нѐ от чего грустить. Хотите, я вам скажу, что вы много виноваты в моей грусти?

— Как-с?

— Я говорю, что вы заставляете меня грустить.

Маша улыбнулась и не отвечала ни слова.

— Вам все равно? — спросил изумленный Васильков.

— Как все равно? Нет-с, мне очень даже жаль, — весело отвечала Маша, — я очень вами благодарна, что вы по мне тоскуете.

— Вы меня не поняли, Марья Михайловна. Я вам прямо... Зачем вы ездили вчера ночью с Непреклонным? зачем вы меня обманывали?...

— Ах! — воскликнула молодая девушка, вспыхнув, — вы разве видели?

— Еще бы! — с негодованием продолжал Васильков. — Вы бы посоветовали ему вперед быть осторожнее. Он прежде всего меня разбудил, закричал у меня под окном, звал вас.

— Ах он длинный! Хорошо ж! я ему задам!

И она засмеялась.

Иван Павлович глубоко был возмущен этим смехом; он покраснел и дрожащим голосом начал:

— И вы можете смеяться! Впрочем, я сам виноват... Я справедливо наказан. Не надо было увлекаться несбыточными надеждами. Я думал встретить в вас любящее, деликатное, честное существо, с врожденным инстинктом доброго и высокого... Конечно, я понимал, что все это не обработано, но все же думал, что свежесть... Господи Боже мой, как вы меня обманули!

Маша с удивлением и боязнью смотрела на Василькова, который говорил с большой горячностью и не замечал, что употребляемый им в этом случае язык мало доступен его хорошенькой спутнице. Заметив ее недоумение, он замолчал и остановился (они в эту минуту были на том же самом пригорке, где сидели полчаса назад). Маша предложила отдохнуть. Васильков согласился.

— Чем же это я вас обманула, Иван Павлыч? — спросила она, опуская глаза в землю.

— Нет, не вы... конечно, не вы меня обманули: я сам обманулся, я и говорю, что я один виноват. Сказать ли вам все? С тех пор, как я здесь, я беспрестанно думаю о вас... Вы везде передо мною... Видите ли: вы редкая девушка. А всякая редкость дорога. Вы так добры ко мне и вни-

мательны, так мило смотрите и еще милее говорите посвòему... Ей-Богу, я к вам от души привязался. Божусь вам, что я многого не могу вам сказать, потому что многого вы не поймете! И вдруг видеть — чтò же? что такая девушка, как вы, ездит по ночам в деревню к такому франту...

Маша не поднимала глаз и молчала.

Иван Павлович ждал, чтоб она хоть слово сказала в свое оправданье. Пускай идеал чистой, простонародной девушки разбит — уж так и быть! лишь бы она сказала что-нибудь дельное; пускай признается даже, лишь бы кротостью и раскаяньем сумела она дать ему право перед собственной совестью продолжать с ней дружественные сношения под видом отеческого сострадания к падшему существу.

— Конечно, — начала наконец Маша, обратив к нему необыкновенно серьезное лицо, — конечно, вы можете думать что-нибудь такое... Только хотите вы, Иван Павлыч, верить, я вам по чистой по совести скажу: ничего такого нет и не будет никогда! Мало ли их было, которые за мной ухаживали! Даже можно сказать, что многие страстно влюблены были, не то что один Дмитрий Александрыч, а и то никогда ничего дурного я в уме не держала, потому что я знаю, какие они... «Душечка, миленькая!» — пока любит сначала... А наша слезная сестра, если решилась, полюбила человека, да после если случилось чтò — ну и плачь, сколько хочешь: он и знать тебя не знает! Уж сколько я этого видела! Так знаете ли, Иван Павлыч, я так боюсь после этого всего; надежды, то есть, ни на кого не полагаю. Да оно и лучше, без греха по совести жить. Никто и сказать ничего не может. Я вам это от всего сердца говорю; хотите — верьте, хотите — нет!

— Я готов вам верить, Марья Михайловна. Зачем же вы потихоньку ездили ночью и с человеком, который за вами ухаживает?.. Ведь он за вами ухаживает: вчера я из своей комнаты слышал, кàк он вам в любви объяснялся.

— Уж как не слыхать! — воскликнула Маша, махнув рукой, — У него голосище такой! Этакой скучный человек! Ничего не умеет сделать как надо...

— Вам досадно, что я узнал про ваше катанье?

— Конечно, досадно. Теперь вы будете беспокоиться в мнительности насчет меня. А то бы и еще покаталась в тележке. Я ведь смерть люблю кататься. Днем отец не отпустит, да и жарко, а ночью — отлично! Сено там скосили на покровском лугу — так хорошо пахнет!

— Если б вы знали, Маша, как мне больно слышать это!

— Ну, не буду, ей-Богу, не буду! Я не знала, право!

— И кататься не будете больше?

— Конечно, что без вас не буду больше...

Тут она засмеялась и лукаво заглянула в глаза учителю, нагнувшись немного вперед:

— А поцаловать какого-нибудь другого человека можно, если попросит позволения или будет обещать подарить что-нибудь?..

Васильков, не отвечая ни слова, встал. Маша схватила его за пальто.

— Постойте, постойте! Я шучу; вы видите, что я шучу... я нарочно вас посердить... Господи, какой ревнивый! Это просто ужас!

Глядя на нее, Васильков сам развеселился.

— Я не имею права вас ревновать, — возразил он, — потому что вы меня еще не любите...

— Я? Вас? Что вы это? Я вас люблю, Иван Павлыч; ей-Богу, я вас люблю от всей души.

— Маша, Маша! за что ж?

— Я почем знаю за что? Люблю вот...

И милая девушка кончила свою фразу движением руки. В ликующем настроении духа воротился Васильков домой: все сомнения его насчет нравственности Маши разлетелись в прах.

Стрелой пронеслись за этим днем веселые две недели, где каждый день, каждый час, каждый миг был наполнен чувством, только что пришедшим в сознание с обеих сторон.

Вот она, решенная задача... Вот лучшее объяснение всему, что волновало ум одинокого юноши и наполняло тоской по неизвестному его молодое сердце. Все слилось

в одну стройную гармонию: и зеленые рощи на полях живописного хутора, и старец Михайло с разноцветными душистыми травами, приносящими здравие, и легкий восточный ветер, колеблющий писаную стору, и яркий звук степанова рожка на рассвете, — все слилось в одно живое, веселое целое, сквозь которое прокрадывался один только звук, одна всеобъемлющая мысль...

Ничто не оскорбляло более Ивана Павловича; самая грубость Степана начала смешить его и доставляла лишний предмет для шуток и разговоров между влюбленным наблюдателем и словоохотливой Машей.

Непреклонный раза четыре был на хуторе в течение этого срока и бросал взоры на Машу, но она постоянно отворачивалась, улыбаясь только счастливому Василькову.

Добрый учитель, сознавая себя чем-то вроде победителя, старался развлекать Дмитрия Александровича, и Непреклонный принужден был ограничиться серьезными разговорами о деревне и поэзии. Впрочем, он был весел и не показывал ничего особенного.

Журнала своего Иван Павлович не забывал: он записывал каждый вечер, перед сном, все впечатления дня, восторгаясь Машей и природой, природой и Машей. Впрочем, он был так беспристрастен, что мнения своего о необразованном классе не изменял, очень тонко и здраво заметив однажды, что первое, более серьезное чувство его к этой девушке зашевелилось именно потому, что она показалась ему исключением. Он благодарил только судьбу тремя строками ниже за то, что не обманулся в Маше.

V

— Марья Михайловна, — сказал однажды, смеясь, Васильков, — я получил записку от Непреклонного. Вот его дрожки... Он зовет меня к себе.

— Что ж, вы поедете?

— Поеду. Отчего ж не ехать?

— Ну, поезжайте. Он вас угостит чем-нибудь...

— Угощение — вздор; а я надеюсь увидеть и узнать там много любопытного. Я хочу наконец постичь этого человека.

Маша на это не отвечала ни слова, потому что плохо поняла в чем дело, но улыбнулась очень мило, как и всегда, когда ей оставался только этот ресурс.

Васильков, слегка вздохнув, простился с ней и сказал, взяв ее за руки:

— Скажите, ради Бога, отчего это мне стало грустно с вами расставаться... даже когда знаю, что уезжаю всего на один вечер — как вы думаете? Думаете вы, что я вас люблю — а? Как вы думаете?..

— Я думаю, что я вас больше люблю, чем вы меня, Иван Павлыч...

— Вот странно! Это отчего?

— Опять-таки оттого ж!

— Отчего?

— Сама не знаю, отчего...

Иван Павлович быстро взял ее голову, поцаловал ее в лоб долгим поцалуем — и на сердце у него стало так свежо и чисто, как будто в самом деле какая-нибудь радость слетела к нему в душу. Весело пошел он одеваться и еще раз пробежал записку соседа, чтоб хорошенько проникнуться ее внутренним духом.

Вот что̀ писал Непреклонный:

«Милостивый государь
Иван Павлович.

(Я бы назвал вас иначе, но вы не дали мне на то никакого права).

Говорят, Наполеон верил в звезду, светившую ему на сверкающем пути его побед... Говорят, он счел ее угасшею, когда, сказав грустное „прости" берегам своей милой Франции, уносился вдаль по волнам, чтоб погибнуть от руки Альбиона. Говорят, наконец, что у всякого есть своя звезда... Верить ли или не верить этому груст-

ному преданию, этой эмблеме? Каюсь и тысячу раз каюсь, я суеверен: я верю в звезду; но моя звезда, конечно, бледна и ничтожна в сравнении с звездою великого генерала Бонапарте... Однако извините, что я заболтался об отвлеченностях. Я просто хотел вам сказать, что давно желал вас видеть, но эти три дня был болен и не мог приехать на хутор; а теперь препровождаю к вам беговые дорожки с покорнейшею и нижайшею просьбою осчастливить мой домишко — „ради рома и арака", — скаказал бы я кому-нибудь другому, но вам не смею этого сказать.

Мы поговорим побольше и пооткровеннее. Надеюсь вас видеть.

Ваш Непреклонный».

«Какие быстрые переходы! — подумал Иван Павлович, садясь на дрожки, — какой легкий язык! Совершенно литературный! Все тот же юмор!»

Деревня, в которой жил Непреклонный, была довольно скучная деревня; не стоит и описывать ее. Иван Павлович скоро приблизился к ней на беговых дрожках и, увидав соломенные крыши за седой зеленью развесистых ракит, обратился к кучеру с вопросом:

— Это ваша деревня?

— Эта-с Панфилки прозывается...

— Отчего ж она так называется? — спросил наблюдатель нравов.

— А кто ж их знает, зачем это они ее так назвали! Это еще их тятенька так назвали... Дмитрия Александрыча тятенька. Он чудак ведь был, старый барин!

В другое время Иван Павлович начал бы непременно расспрашивать об этом старом барине: слово «чудак» могло подвинуть на подобные расспросы хоть кого; но влияние, которое имел сын на состояние его души в течение последних дней, было так сильно, что заставило его забыть покойника-отца со всем интересом чудачества, ко-

торый он мог заключать в себе. Итак, Иван Павлович спросил о сыне:

— Ну, а ведь молодой-то ваш барин хороший?

— Хороший барин...

Подъехав к осевшему набок крыльцу, дрожки остановились. Иван Павлович сошел.

Никто не выходил к нему навстречу. Он задумался.

— Извольте идти, — закричал ему кучер, удаляясь на дрожках, — они там, должно быть, в доме.

Иван Павлович вошел в переднюю, вошел в другую комнату, почти пустую, с белыми штукатурными стенами и двумя акварельными картинами, которых он не успел рассмотреть. Увидев притворенную дверь, он постучался, но не получил ответа. Дверь не была заперта, и Васильков, толнув ее, очутился в спальне.

— А-а-а! — услыхал он вдруг сзади себя.

Он обернулся. Непреклонный лежал, совсем одетый, на кровати в клетке, сделанной из деревянных рам и обтянутой кой-где белой, кой-где пестрой кисеей.

Хозяин поднялся с кровати и, отворив дверь своего убежища, весело приветствовал Василькова.

— Думаю, — сказал он, — если б я не послал за вами, вы никогда бы не собрались приехать сами ко мне.

— Помилуйте, на чем же приехать! Разве прийти...

— Конечно, я такой жертвы не могу и требовать от вас. Однако вы, вероятно, хотите чаю. Человек!

— Нет, благодарю вас.

— Полноте... Удивляюсь этим церемониям! Знаете, что эти церемонии могут иногда оскорбить хозяина дома — право... Человек! Человек!! Чорт знает, колокольчика нет никогда... Это может даже оскорбить хозяина дома: точно вы боитесь отяготить его стаканом... Человек! человек!! О, Боже мой, что̀ это за народ! Извините, ради Бога, я пойду отыщу кого-нибудь.

Непреклонный надел феску с огромною кистью, падавшей ему на плечо, и вышел.

От нечего делать Васильков стал осматривать комнату. Довольно было двух-трех взглядов, чтоб характер жилья был ясен. Хозяин был не домосед и не отличался любовью к порядку.

Кроме алькова из пестрой кисеи и белой марли, в комнате был стол, первоначально письменный, но потом обращенный в туалет, вероятно, потому, что деревенский образ жизни Дмитрия Александровича гораздо больше давал повод украшать искусственно телесные дары, нежели утруждать себя головной работой или многосложной перепиской. На всем столе, на зеркале, на бумагах, щотках, журнальных книжках и помадных банках лежал целый слой пыли. У двух перекосившихся окон благоухали в больших горшках кусты ерани.

На стене висели распластанные кожи двух лисиц, одного волка и трех зайцев, двуствольное ружье, охотничий рог и очень хороший портрет Байрона. Когда хозяин возвратился, подали чай.

— Ну, как же вам нравится моя усадьба? — спросил Непреклонный. — Все довольно пусто и необработано... Да что ж делать! Не успел еще привести в порядок. А именье превосходное: это клад, а не именье.

— Да̀, это правда, что пустовато, — отвечал Васильков. — Впрочем, я полагаю, вы мало занимаетесь им, проводите зиму в Москве...

— О, нет! этого нельзя сказать, чтоб я не занимался. Но, чтоб эта деревня была тем, чем она может быть, для этого надо капитал, а у меня пока еще нет его. Другой, на моем месте, давно бы впал в уныние, но я... — Непреклонный усмехнулся не без скромности и, вздохнув, покачал головой.

— Не хотите ли пройтись немного по дороге?.. Вечер будет прекрасный.

— С удовольствием, — отвечал гость.

Они пошли.

— Вот, — начал Иван Павлович, окинув взором окрестность, — я только так говорю, что деревня ваша довольно пуста, а сам бы счел себя счастливейшим человеком, если б мог иметь такую, даже меньше втрое. У вас сто душ? Это

слишком уж много; с меня и тридцати каких-нибудь довольно, лишь бы жить в деревне спокойно и независимо. Настроение совсем другое: здесь городскому непривычному жителю откроется столько новых, животворных сторон...

Непреклонный улыбнулся.

— Вы, может быть, станете сердиться на меня, если я вас разочарую, но я все-таки скажу вам: это вам кажется только, потому что вы не привыкли. Я сам когда-то жаждал природы, поэзии, и не нашел ее тут...

— Ах, Дмитрий Александрыч! великая разница вы и я: вы избалованы судьбой несравненно больше моего; вы привыкли к безбедной жизни, к столице, к женщинам...

— Отчего вы это думаете? Вы думаете, что я повеса, Дон-Жуан какой-нибудь?

— Я полагаю, что вы любите ухаживать за женщинами и много успевали и успеваете.

— Вы думаете? Кто же вам это сказал?

Непреклонный пристально поглядел на своего спутника.

— Никто. Припишите эту догадку моей прозорливости. Впрочем, это видно по всем вашим приемам, по вашей наружности.

Дмитрий Александрович весело захохотал и дружелюбно пожал руку учителю, который продолжал, указывая на окружавшую их картину (они шли в эту минуту по деревне):

— Видите ли, оно и неживописно, но в этой бедной природе есть своя глубина, своя красота — конечно, не пластическая, а чисто идеальная. Видите, как разбросаны избы и овины по скату горы, эта огромная промоина, которой один бок освещен закатом, вся эта тишина, это благоухающее сено, белокурые, полунагие дети... Согласитесь, что это прекрасно, хотя и томит душу тоской. Мне даже кажется иногда, что этот недостаток пластики в природе западает глубже в душу и родит в ней такую горячую тоску по чему-то далекому, что силой чувства никогда не сравнится поэзия южных народов с поэзией северных.

Долго говорил с увлечением Иван Павлович о подобных общественных предметах, доказывая, как благотворна

сельская жизнь, пока наконец Непреклонный не спросил у него: может ли он надеяться когда-нибудь быть помещиком хоть крошечного имения.

— Едва ли, — отвечал Васильков. — Правда, у меня жив еще старик-отец; он скопил кое-как тысячи четыре серебром и доживает процентами с них; думать же когда-нибудь о его смерти я нахожу таким грехом, что не считаю этого капитала своим.

— Это делает вам честь; но все-таки капитал будет у вас; вот вам и деревенька; рублей с тысячу серебром наживете сами, и посмотри́те, ка̀к заживете: тогда и науку в сторону.

— Бог знает, когда это будет, а науку никогда не брошу. В науке одно спасение для поэзии. Я имею свои заветные мысли насчет этого...

Непреклонный просил Ивана Павловича открыть ему свои заветные мысли, но тот почувствовал в эту минуту вечернюю сырость и, взглянув на край неба, где уже оставалась только золотая полоса под нависшей тучей, объявил, что на этот раз довольно, и просил дрожек.

— Куда вы спешите? Помилуйте, всего десятый час...

— Пора, пора. Благодарю вас. Я лечусь, и мне в десять часов надо быть дома.

Непреклонный слегка улыбнулся в сторону и чуть-чуть было не сказал:

«Пора, пора! Знаю я, отчего тебе пора!»

Он был наблюдательнее Василькова. Однако, тотчас повернув домой, он велел подать дрожки.

Иван Павлович нашел Машу вместе с отцом на крыльце.

— Что ж, весело было? — спросила Маша.

— Да̀, он очень любезный хозяин...

Последняя, более откровенная беседа поставила Василькова относительно к Непреклонному в то положение, в которое попадает хорошенькая женщина, позволившая

поцаловать себя в первый раз. Воротить назад и хотелось бы, да нельзя; итак, за невозможностью, утешим себя дальнейшим развитием дела.

Постоянно шутливый тон Маши, когда разговор заходил про белокурого льва, против воли настроивал и Василькова на тон сомнения, заставлял его часто взглядывать на Дмитрия Александровича с более легкой точки, нежели собственная его натура была к этому расположена. В одну из минут подобного сомнения Иван Павлович пожалел было о своей откровенности, пожалел о том, что неосторожно, вопреки всегдашней скрытности, бросил на худую, может быть, почву семена, хранимые далеко от всех городских знакомых, но было поздно, и когда Дмитрий Александрович любезно и настойчиво потребовал подробного разъяснения задушевных идей, у Василькова не нашлось причины остановиться на полдороге и показать ему что-то вроде неудовольствия. Да и надо сказать правду, Непреклонный был вовсе не глуп, в самом деле, и возражал не топорно, как многие, любящие бросать грязью в самые заветные для другого предметы.

Итак, они чаще и чаще разговаривали между собою. Васильков, кстати, был очень рад случаю отдалять опасного молодца от Маши, и Непреклонный, казалось, охотно поддавался невинной хитрости.

Однажды Дмитрий Александрович приехал часов в девять вечера на хутор и, несмотря на бесцеремонное замечание Маши: «Кто ж об эту пору приезжает!» — преспокойно уселся с ней и с учителем на скамью у порога, сказав только лукаво:

— Извините, мой дружок; я не знал, что помешаю.

Последовавший за этими словами веселый смех убедил и Машу, и Василькова, что в нем нет ни искры соперничества или ревности. Маша скоро оставила их.

Слово за словом, благодаря стараниям помещика, они попали на толк о литературе и ее судьбах у разных народов. Дмитрий Александрович декламировал об идеализме

Шиллера, об Олимпе Гете, которого он, однако, совсем не знал и кончил тем, что спросил:

— Послушайте, вы наблюдали меня?

— Вас?

— Да, меня. Признайтесь откровенно, что наблюдали?

Непреклонный схватил Ивана Павловича за коленку и выразил на лице глубокое добродушие.

— Может быть, и пробовал; но согласитесь, что ваш вопрос странен.

— Полноте, полноте! — гордо, весело перебил Непреклонный, встряхнув кудрями. — Полноте, милый мой Иван Павлыч! Это смешно — церемониться! Я думал, что вы больше дитя природы и будете говорить откровенно. Вы наблюдали меня?

— К чему вы ведете все это, Дмитрий Александрович?

— К чему, к чему! О, хитрый человек! Послушайте, я вам сейчас скажу очень много откровенного, слишком даже.

(Здесь Непреклонный нахмурился, давая этим знать своему собеседнику, что внутри его шевелится борьба).

— Не думайте, — продолжал он, понижая голос и осматриваясь, — чтоб только одно тщеславие... О, если вы меня наблюдали, то должны понять, что у меня много страшной силы воли!

После этого он присовокупил таким же тонким голосом, каким Михайло некогда заметил, что «ведь это удар!»

— Сила воли у меня даже преобладающая черта в характере; но я должен оправдать перед вами целый класс людей, на который вы хотите наложить ваше клеймо. Разве вы не говорили мне, не дальше как третьего дня, что народ, потеряв патриархальность, теряет и поэзию в глазах образованного человека, что чистота и молодость должны идти вместе, а в женщинах простого сословия они нейдут вместе...

— Позвольте, — перебил Васильков, — я говорил, что редко...

— Нет, нет, вы говорили: никогда!

— Ей-Богу... — умолял Иван Павлович.

— Нет! Впрочем, постойте. В самые серьезные минуты нашей жизни не надо забывать практических предосторожностей. Надо посмотреть, не слушает ли нас кто-нибудь.

Непреклонный встал, посмотрел в сени: там не было никого; однако он затворил дверь.

Иван Павлович нетерпеливо ждал продолжения, но молодой помещик, сев на место, молчал несколько времени задумчиво, потом поднял вдруг взор на учителя и спросил отрывисто:

— Что̀ вы думаете о Маше?

Васильков покраснел и не сразу собрался ответить, боясь открыть голосом свое волнение.

— Что̀ я думаю о ней? Я думаю... Кажется, она весьма милая девушка...

— Да̀, вкус у вас недурен! — улыбаясь воскликнул Непреклонный, — она действительно очень мила наружностью. Но я вам расскажу про нее вещи, которые покажут вам ее душу. Тогда только вы поймете, сколько доброго и высокого может заключать в себе необразованное существо. Пусть мой рассказ послужит опровержением вашему мнению!

Тут Дмитрий Александрович остановился и, еще раз взглянув на Василькова, продолжал:

— Вижу, вижу, ка̀к это вас интригует. Ну, так погодите же, я вам расскажу с условием: вы должны мне дать честное слово, что никому моего рассказа не передадите.

— Зачем же? Будьте уверены...

— Нет, нет! Ка̀к вам угодно, а без честного слова я говорить не буду. И вы много потеряете... Сами согласитесь: компрометировать девушку — бессовестно, если нет какой-нибудь важной причины. В этом случае я решаюсь доверить вам тайну, но все-таки хочу оградить ее... И поверьте, только одно убеждение, что мои слова принесут пользу... Вы согласны?

— Извольте, извольте, если это необходимо, — поспешил сказать Васильков, трепеща, чтоб Маша, или кто другой не прервал своим появлением разговора. — Даю вам честное слово, что никому не передам вашего рассказа.

— И прекрасно! Слушайте же. Надо вам сказать, что я жил в Москве года два назад. Маше было семнадцать лет. Она уж и тогда была дивно хороша собой. Вы заметили, конечно, сколько души в ее взгляде, в ее улыбке, — все это было и тогда. Красота ее поразила меня; я не мог в нее не влюбиться. Я объяснился, но на первый раз она отвечала очень строго (после я узнал, что она с первого раза глубоко, сильною страстью полюбила меня). Трудность победы подстрекнула меня.

Мы разлучались, ссорились и сходились вновь. Наконец... она все-таки меня полюбила... Вы понимаете меня, Иван Павлыч? Ах, как она любила и любит меня до сих пор! Какая страсть, какая глубина и, вместе с тем, какая сткрытность!.. Вы, я думаю, и не подозревали ничего, а между нами такая долгая связь... И даже я, который...

Но здесь пламенный рассказчик принужден был остановиться, потому что сама героиня его повести внезапно появилась в дверях с таким откровенно веселым лицом, как будто она и по правде была демон коварства или скрытности.

Она предложила им напиться чаю. Никто не заметил лица Непреклонного в это мгновение, но он поспешно встал, на́скоро пожал руку Василькова, который и не отвечал своей рукой на это пожатие, не взглянул на Машу, сказал, что у него болит голова, и тотчас же уехал.

Маша поглядела ему вслед.

— Что̀ это с ним, Иван Павлыч? Вот сумасшедший-то человек... Приехал ночью... вдруг вскочит завсегда... Иван Павлыч! а Иван Павлыч!

Но Васильков в свою очередь поднялся со скамьи осторожно, молча, отодвинул Машу рукой от двери, которую она заслоняла, и бросился в рощу.

Изумленная Маша постояла в сенях, подумала, подумала и пошла одна пить чай, приготовленный ею с таким удовольствием для молодых людей, чтоб наградить одного за любовь, другого за тот веселый смех — признак удобного для нее равнодушия.

Так вот оно что̀! Вот к чему повели все эти беседы с глазу на глаз, эти улыбки, вся ласка, доброта и ум! Безумец! что̀ выдумал ты изо всех своих дум: влюбиться, в кого же? В необразованную женщину, бесстыдно наругавшуюся над искренней привязанностью честного человека... Стыд, стыд слепому глупцу!.. И что остается ему теперь? Что̀ делать? Одно, одно средство: бежать, бросить все — и декокт, и купанье, и деревенскую, развеселившую было его природу. Бог с тобой, грубая, коварно-грубая Маша!

VI

Следующий день был воскресный; утро ясное, и звон колоколов весело прилетал из села через луга и пустоши.

— Голубчик мой, Иван Павлыч, о чем это вы грустите? — ласковым голосом говорила Маша, стараясь отвести руку Василькова, которою он упорно закрывал лицо.

Но рука не повиновалась ее ласке.

— Видите, какие вы здоровенные: и руку ни за что̀ не оттащишь, а еще тоскуете...

Но и к шутке был глух Васильков. Маша села около него.

— Вы, может быть, тоскуете о том, что скоро ехать? Да ведь вы говорили, что недели две еще пробудете. Или вы на меня за что-нибудь сердитесь? Я, ей-Богу...

Васильков отвел руку, и Маша увидела бледное лицо его.

— Что̀ с вами, Иван Павлыч? Вы нездоровы?

— Оставьте меня! Бог с вами! оставьте меня!.. Я завтра еду отсюда. Вещи уложу сегодня с вечера. Мне здесь нечего делать!

Настало молчание.

— Конечно, — начала Маша, закинув назад голову довольно гордо (голос ее при этом стал немного потолще обыкновенного, для выражения мужественной решимости). Конечно, в деревне очень даже скучно; в городе... как можно! Там барышни хорошенькие, не то, что̀ мы, простые, деревенские. Как вам угодно... поезжайте. Я знаю, что вам все равно...

«Что это за женщина! — подумал Иван Павлович! — чего она хочет? Может быть, она сделала проступок по молодости, а теперь полюбила меня чистым чувством и хочет скрыть от меня только прежнее?»

— Послушайте, — продолжал он громко, — вы говорите как дитя... Я любил вас... Я, я даже и теперь простил бы вам, если б вы мне признались во всем... Я знаю все, но я хочу, я требую откровенности!

— Какую же я вам еще сделаю откровенность, Иван Павлыч? Я вам все говорила; говорила вам, ка̀к кто за мной волочился и кто влюблен был — все, как есть, говорила...

— Все? Полноте, Маша! Вспомните, что я завтра еду, и мне хотелось бы знать по крайней мере, что у вас благородное сердце. Когда я все знаю...

— Мудрости в этом нет, что вы знаете, когда я сама вам все говорила; а помимо этого вам и узнать не́чего, потому что могу перед Богом сказать, что совесть моя чиста (она покачала головой и на минуту задумалась). — Что̀ бы это за вещь такая была?.. Вы скажете мне, голубчик, правду, если я угадаю?

Откровенный взгляд и детская улыбка, озарившая вдруг прекрасное лицо, вместе с простодушным вопросом разбудили в душе учителя все надежды. Все встрепенулось в нем, и он, боясь нарушить слово, связавшее его, поскорее встал и промолвил:

— Нет, нет, я ничего не скажу!

Маша не тотчас пошла за ним; она посидела с минуту, подумала и, вскочив, бросилась в сени, по которым подви-

гался он медленно, соображая, как̀ бы поскорей увидеть Непреклонного и заставить его снять с него это проклятое слово.

— Погодите, погодите! — смеясь, говорила Маша. — Я теперича догадалась... Вам на меня насочинил что-нибудь такое этот длинный? Признайтесь. Он ведь и мне самой сколько раз говорил, что, должно быть, я нечестного поведения, потому что, говорит, перед ним очень уж скромничаю... Я это так, ей-Богу, полагаю, что он, потому что он сочинитель и выдумщик ужас какой! Одним только языком и живет... Он на одну из благородного звания даже раз в Москве выдумал... Но только вы поверьте мне, Иван Павлыч, что я честная, честная как есть девушка! Вот о́браза, жаль, нет... да Бог видит! Ну, послушайте: дай Бог, чтоб я умерла здесь, с места бы не сошла, если я лгу и коварные слова говорю... Я знаю, что вы сами думали часто, что я нехорошего поведения; только на вас я не сержусь, потому что вы добрый человек, и завсегда скажу...

Однако на этот раз она не сказала больше ни слова, потому что Васильков осыпал ее поцалуями.

Объясним же все, как̀ было в самом деле, чтоб читатель мог знать, кто̀ из действующих лиц прав и насколько. Действительно, Маша кой-что утаила от Василькова: она не сказала ему, что было время, когда Непреклонный немного ей нравился. Горничные любят внимание мужчин, как все женщины, которых судьба не баловала большим количеством услужливых и нежно-подобострастных поклонников; а Дмитрий Александрович был два года назад гораздо свежее и лучше лицом. Он жил тогда в Москве и, благодаря тому, что в столице охотно менял поэтическую размашистость шаровар, разговора, кудрей и арапника на весьма приличный и скромный тон, был довольно хорошо принят в дом Машиной барыни, как деревенский сосед

представительной наружности. Случилось так, что небольшая квартира Непреклонного была во флигеле дома, который нанимала эта госпожа. От молодого человека не ушла красивость Маши, не ушли от глаз его движенья, чуждые сельской увальчивости и тех ужимок, без которых редко обходится городская дева; не ушел от ушей его веселый смех ее и милая, простодушная болтовня. Непреклонный чаще стал проходить по двору мимо девичьего окна, чаще и в доме заходил в девичью, под предлогом спички и папиросы, несмотря на то, что у барыни в кабинете стояли кучи всяких зажигательных штук, несмотря на опасность попасться молодой хозяйке и заслужить название неприличного мовежанра.

При красивой наружности и способности балагурить он, может быть, успел бы, если б чувствовал хоть немного искренней нежности и выражал ее в словах и поступках: она затрогивает иногда доброе, хотя и неразвитое сердце. Золотом ослепить он, конечно, не мог, а терпения было мало; уезжал на день, на два куда-нибудь — и Маша была забыта; то надоедал ей излишней навязчивостью и баловал подобострастием, то сердился на нее за неуступчивость и, поклявшись накануне в вечной, грустной любви, предпочитал на глазах ее какую-нибудь легкую победу трудностям борьбы с нею. Скучать она без него не могла, когда он дулся, или изменял, потому что везде было много любезников, и самолюбие ее было спокойно. Раза три он пробовал разражаться страстными декларациями, но на них Маша отвечала сперва смехом, потом стихами, вроде следующих:

В понедельник я влюбился,
Весь авторник прострадал;
В середу в любви открылся,
А в четверк ответа ждал.
Пришло в пятницу решенье,
Чтоб не ждал я утешенья...
Во грусти, во досаде,
Всю субботу прострадал и т. д.

В третий же раз она просто рассердилась и сказала, что ей всего 17 лет, и глупо было бы ей жить не по чести, когда у нее есть старик-отец и много родных и когда она знает, что он все это вздор говорит...

Дмитрий Александрович взбесился, разбранил ее и отстал. Скоро уехала она с барыней в Нижегородскую губернию, а он отправился к себе в деревню.

Здесь они опять встретились через год, и новые неудачные попытки заставили Непреклонного обратить внимание на Алену, свести с нею дружбу, чтоб, посредством ее наставлений, покорить жестокосердную. Алена была снисходительна к молодым людям, живо сочувствовала страданию Дмитрия Александровича, особенно с тех пор, как, один за другим, явились к ней сперва кусок розового ситца, потом кусок пунцового и наконец большой шерстяной платок, и потому тотчас же приступила к Маше с добрыми советами. Часто говаривала Маше Алена (еще до приезда учителя):

— Чего тебе еще? Человек добрый, из себя молодчинище! Зажила б припеваючи.

— Ну, убирайся ты с своим молодчинищей! Шла бы сама к нему, коли так глаза твои прельстил. Надоела, ей-Богу! Как это тебе не стыдно!

Васильков встревожил Алену. Она стала присматривать за ним и без труда заметила его частые беседы с Машей, особенно, когда Михайло уезжал к больным. Иван Павлович, хотя и подходил к Маше с совершенно чистой душой; но все-таки присутствие старика, которого маленькие глаза так и бегали, наблюдая лукаво за всем, несколько стесняло его.

— Плохи мои дела! — воскликнул раз Непреклонный, войдя в избу к Алене и с досадой разваливаясь на скамью.

— И-и-и! Что вы это? Как вам не грех? — возразила Алена, — Такой молодой кавалер и говорит: «дела плохи». Чем же плохи? Слава Богу: живы, здоровы; рожь я намедни видела у вас сама: во-о-о какая! Стоямши схоронишься...

Непреклонный улыбнулся.

— Полно вздор молоть... Такая досада! хлопочешь, хлопочешь два года! Готов и денег больших не пожалеть... Право!

Тут он встал и начал быстро ходить по избе, заложив руки за спину.

— Да, — говорил он, — я, матушка, так пристрастился, что беда. Не знаю, кàк и быть...

— А вы бы за этим за молодцом-то приглядывали: он что-то уж больно подъезжает. Разговоры такие, нежности пойдут...

— Ты думаешь? Он, кажется, малой смирный, такой тихий человек. Я и сам сначала побеспокоился, да потом... Где ему!

— Ну, это как вам угодно! Это дело ваше. А я смекаю по своему по глупому разуму, что это так-с.

— А если это правда, — задумчиво сказал Непреклонный, — так мы увидим!

Он бодро встал, простился с Аленой и, весело насвистывая вальс, вышел из избы.

Через два дня план его был готов, а через три, убитый неожиданным разочарованием, Васильков с тоскою внимал поэтическому рассказу Непреклонного о страстной любви, благородстве и небывалом такте невоспитанной героини. Не подозревая в Василькове серьезных намерений, молодой волокита решился на такую хитрость без труда, зная хорошо, что Маша для него пропадет, если Васильков не сдержит того слова, которое он намеревался взять с него предварительно, и никак не воображая, чтоб молчание и удаление от нее были для Ивана Павловича труднее, нежели для него самого. Значит, можно надеяться, что он будет строг к себе и, натолковав кучи вещей об убеждениях, честности и философии, не захочет ударить себя лицом в грязь из-за пустой интрижки.

Вот как было все это дело.

Когда Маша увидела, что Иван Павлович тронут ее клятвами и так жарко благодарит ее, то спешила воспользоваться смягчением его духа и настойчиво приставала к

нему, выпытывая секрет. Но Васильков был шутлив и непоколебим.

— Ну, намекните хоть крошечку, — говорила Маша, — я сейчас угадаю... Кто вам на меня насказал? Дмитрий Александрыч? Я знаю, знаю, что это он, потому что это сейчас даже видно... потому что вы вчера с ним разговаривали, а после не стали говорить со мной... Он, он, уж я знаю... Вот вы улыбнулись...

— Дитя вы, дитя! Я улыбнулся потому, что меня смешит ваше любопытство; смешно тоже, что вы по пустому вините бедного Дмитрия Александрыча. Это я сам комедию разыграл, чтоб вас помучить.

— Ну, Бог же с вами, если так! А я все-таки его попытаю, спрошу у него при вас, не говорил ли он чего.

— Как хотите! пожалуй! — схитрил было Васильков, — только вы этим наделаете мне неприятностей.

— Не бойтесь, он вам ничего не смеет сделать. Посмотрела бы я, как он вас тронет!

Иван Павлович засмеялся.

— Я не боюсь его, а не хочу, чтоб вы его чем-нибудь обидели, когда он не виноват. Послушайте, — прибавил он, как мог убедительнее, — поверьте же мне, что Дмитрий Александрыч не виноват. Впрочем, скажите мне, что̀ вы думаете?

— Я вам скажу, что̀ я в уме в своем держу. Мне, вот видите, как сдается... Вы этак громко разговаривали... Может быть, спросили у него что-нибудь про меня, потому что вы очень мнительны насчет меня; он вот вам и сказал, что я нечестна... Он разве мне этого не говорил? Сколько раз твердил, что у меня ферт есть. Ей-Богу! он такой!

— Какой вздор! Мы с ним говорили вчера об охоте: оттого он так и горячился, — возразил учитель, делая себе внутренно различные комплименты насчет своей увертливости.

Разговаривая таким образом, они и не заметили, что у огородных дверей стоит кто-то в розовой рубашке, надетой

по-русски сверх плисовых шаровар, в суконном чорном жилете и фуражке. Владетель этого щегольского наряда долго стоял неподвижно у дверей и, только заметив движение Василькова, собиравшегося уйти, отошел с поспешностью от крыльца.

Иван Павлович направился к реке и не встретил его; но Маша вышла к огороду и тотчас же узнала Антона, сына садовника из села Салапихина.

Поставив на завалинку корзинку с ягодами, Антон снял фуражку.

— Здравствуйте, Марья Михайловна, здравствуйте.

— Здравствуй, — сказала Маша и села.

Антон надел фуражку и подперся.

— Здравствуй, Марья Михайловна. Ишь вы ноньче как закурили!

— Как закурила?

— Закурили больно-с, вот что! загуляли! с господами загуляли!

— Ведь что̀ это твой нос-то выдумает! Как это даже не стыдно говорить это!

— Да, так-с. Нос-то мой ничего не выдумывал, а глаза видят, и люди говорят.

— Язык твой без костей , — строго возразила Маша, — я дивлюсь, ка̀к это он не отсохнет у тебя врамши! Ну скажи: где ж я загуляла?

— Где, Марья Михайловна? Да везде-с!

Маша засмеялась.

— Видишь, какой твой нос бесстыжий... (Я забыл сказать, что у Антона нос был довольно римский).

— Нос мой всем известно какой длинный, — вздохнув и отворотившись, продолжал Антон, — а вот ваш-то носик, на что уж махонький, ну а все же равно вы грешите, да еще и запираетесь, а других бесстыдными зовете!

— Да, что с тобой?.. (тут Маша стала снова серьезна лицом) Я даже просто не понимаю!

— Вот вы как непонятны стали!.. То-то и есть, пошел кувшин по воду ходить, тут ему и головушку по-

ложить, говорится пословица, Марья Михайловна! Разве вас не видали, как вы день-деньской гуляете с этим с барином... учитель он, что ли, у вас?.. А вот, что про вас молва идет худая, эвто даже очень больно и прискорбно слышать... Вчера прихожу к управительнице с вишнями, а она с первого-таки с самого разу и огорошила: «Ну, что, говорит, хваленая ваша умница московская да франтиха?».. Я и ума не приложу на первый случай, о чем это старуха брешет. Ан оно и вышло, что про вас... и и-и-их!

— Большая мне нужда, что̀ твоя управительница говорит! Я даже очень мало обращаю внимания на ее глупые слова. Она, можно прямо сказать, только языком ехидническим своим и живет! Кабы не язык ее гадкий, чем бы ей кормиться-то было? А по мне знаешь ли что̀? По мне вы все хоть зубы поскусайте себе злимшись — мне все равно... Я на вас на всех внимания на салапихинских не обращаю.

— Это так, Марья Михайловна, — грустно скрестив руки на груди, начал Антон, — точно, что она злоязычница, а все-таки, пока не́чего было сказать и не говорила. Вот про Непреклонного, про Дмитрия Александрыча, говорили тоже, да веру никто не прилагает к этим к словам пустым... А почему это? Потому никто вас с ним не видал, никто и не может истинную правду, то есть, знать. Говорит один, говорит другой, сказал да и к стороне. А оно, может, и правда! Вот мальчишки на ночной были, на запрошлой неделе, али с месяц — божатся, говорят, видели вас с Дмитрий Александрычем в телеге. Да то мальчишки; а это я сам видел, ка̀к пальтище его белое раздувается по кустам... Да и кто он, Господь его знает! Это и я, коли по совести безо всякой похвальбы сказать, лучше его хожу...

(Антон погладил рукой сукно жилета).

— Большая мне необходимость, — возразила Маша, вставая, — ка̀к ты ходишь! Ты думаешь, я за тебя замуж пойду? Это вздор! Ты этого и не думай! Кабы ты был

тихий человек или добрый, еще бы ничего, а ты что? Что смотришь? Глаза по плошке, не видят ни крошки.

— Глаза-то-с? — спросил Антон хладнокровно, — я еще не хочу рассказывать все... стыдить вас, срамить не хочется, а глаза много видели.

— Ступай, ступай, скучный ты человек! Надоел... И ягод твоих не хочу! Возьми плетушку, ступай...

Антон наконец рассердился.

— Ну, Бог же с вами, коли так! Стыда-то у вас нет... Другая бы сгорела давно! Цаловаться в сенях, в темных — одно только это и знаете!

— Ступай, ступай! — воскликнула Маша, покраснев до ушей, и глаза ее даже наполнились слезами, — ступай и не смей никогда со мною говорить, рта не смей...

— Эх, погодите маненечко! еще поклонитесь, как заговорю...

В эту минуту Дмитрий Александрович подъехал к огороду на своем красивом жеребце. Он попросил Антона взять лошадь, а сам, серьезно и небрежно кивнув головой в сторону Маши, направился к крыльцу.

Васильков, гулявший до тех пор по берегу, услыхал шаги лошади и, боясь расспросов, которыми грозилась Маша, спешил встретить задумчивого всадника.

— Пойдемте куда-нибудь... Хоть сюда, в рощу, — сказал Иван Павлович, с несвойственной ему быстротой схватив его под руку.

Непреклонный повиновался молча и пасмурно.

— Вам ничего не говорила Маша? Не спрашивала вас?.. Впрочем, я не нарушил слова.

— О, понимаю, понимаю!.. Признаюсь, это была воинская хитрость... Вы вполне были бы правы, нарушив слово... Но я никак не ожидал, чтоб намерения ваши были так серьезны.

Васильков слушал его с изумлением.

— Позвольте, — продолжал Непреклонный, вынимая руку из-под руки учителя, — я уйду теперь; я вам объ-

ясню все после подробнее. Скажите только, таковы ли в самом деле ваши намерения? Вы не прочь жениться на ней?

Говоря это, Дмитрий Александрович не смотрел на Ивана Павловича и хлопал бичом; Иван Павлович смотрел на березу и старался с большим вниманием оторвать от коры кустик серого мха.

— Иван Павлыч, что ж вы молчите?

— Да̀, — отвечал Васильков, — хоть я и не знаю, захочу ли привести эту мысль в исполнение, но знаю, по крайней мере, что, кроме этой мысли, я на эту девушку никаких намерений не имею.

Дмитрий Александрович наклонил голову.

— Только я и хотел знать. Простите меня и прощайте... Я напишу вам.

Он пошел было, но Васильков (который наконец оторвал мох так аккуратно, как будто сбирался его послать в ботанический кабинет в виде редкости) остановил его, вдруг обернувшись с словами: «дайте же руку!»

Руки были крепко сжаты с обеих сторон. Васильков произнес тихо: «право, я не нарушал слова»; а Непреклонный только усмехнулся не без горечи.

Он расстались, и минуты через три страшный на этот раз стук копыт возвестил всем жителям хутора, что Дмитрий Александрович не остается обедать.

Теперь вопрос: ка̀к узнал Непреклонный о том, что намерения Василькова несравненно серьезнее его победоносных планов?

Предусмотрительная Алена не захотела терять времени и тотчас же придумала, что отеческая власть Михайлы может разом положить конец излишней близости учителя с дочерью. Она, при первом удобном случае, начала толковать дяде о своем беспокойстве за судьбу Маши и изъявлять опасения насчет постояльца.

Михайло усмехнулся и отвечал:

— Эвто ничего; я в эвтом ничего такого не вижу, как есть ничего!

— Вона какой! еще лекарь... Да ты бы себя полечил, себя самого! У тебя днем куриная слепота. Глаза у тебя завсегда маленькие были, а уж со старости и вовсе не глядят.

— Хорошо, хорошо! любо! Бреши, что̀ знаешь... А он мне совсем другое предвещает. Он мне даже ужасно много хорошего предвещает! Не такой человек. Человек самый натуральный, как есть. Намедни пришел, то есть, ко мне и говорит-таки мне самому в глаза: «А как, говорит, вы думаете, то есть, Михайло Григорьич, насчет этого, когда, говорит, мужчина любит простую девушку и с ней законным браком соединится?» А я ему сейчас и говорю: «Ну, что ж, батюшка, Иван Павлыч, счастье разное бывает людям; бывает, что и хорошо живут», — и пошли толковать! Так он, что ты думаешь? «Вы поверьте, говорит, моему мнению; я хоша и молодой человек, то есть, еще жизть не искусил, потому и люблю, говорит, с вами посоветываться, то есть, что вы человек почтенный...» Ей-Богу, право! Я сам насчет его имею свое пронырство!

В утро, на котором прервался наш настоящий рассказ, Алена, возвращаясь от обедни, встретила всадника, спозаранку спешившего насладиться первыми плодами своих трудов и утонченного плана. Она тут же передала ему слова дяди.

Искреннее, нестерпимое угрызение проникло в душу молодого помещика. Что̀, если в самом деле несчастный Васильков хотел жениться, и теперь, связанный честным словом, не смеет сообщить ей то, что̀ терзает его? Да нет, нет, он как дважды два не утерпел и рассказал!

Однако ведь и то нельзя забывать, что он так рыцарски на все смотрит...

Напрасно старался Непреклонный убедить себя, что это к лучшему, что это может спасти юношу от неравного брака, который ему казался все-таки чем то диким и едва ли способным принести хорошие плоды, тихую и по крайней мере дюжинно счастливую жизнь. Он было и решил уже, подъезжая к огороду, что все к лучшему,

но вдруг увидел Машу... Душа его стеснилась и ощутила такой стыд, что он хотел было ей самой тотчас покаяться в своем гадком поступке. Присутствие Антона удержало его; дальше мы знаем, что̀ было.

Между тем Иван Павлович, проводив соперника, вернулся домой, и Маша тут же излила всю свою досаду на человечество, на Антона, на салапихинских, даже на отца, который, по наговорам садовника, успел ее побранить. Васильков понял, что он любовью и предварительными прогулками с наблюдательной целью умудрился компрометировать ее гораздо больше, нежели Непреклонный всем своим лживым пафосом. Кой-как добился он до того, что навел улыбку ей на лицо.

VII

После всего этого Василькову надо было сообразить внимательно следующее:

Он компрометировал Машу. Компрометировать женщину, которая многим нравится, повредить на минуту ее доброй славе, когда имеешь в руках возможность все поправить одним только словом — дело лестное для новичка, ка̀к бы деликатен он ни был!

И наш мыслитель немного гордился, чувствуя свою силу. Что̀ удерживало его от последнего решения? Ведь оно не раз ужѐ уяснялось для него; не раз видел он, что Маша может быть его женою. Маша добра и редкого природного ума девушка.

«Разве я не в силах — думал молодой человек, — развить ее и довершить начатое природой? Разве я не могу слить в себе учителя с мужем? Кто потребует у меня отчета? Я один на свете... Мне обещали на будущий год место: жалованья будет довольно при таком счастье... Да̀,

это счастье (продолжал он), счастье высокое — следить за первыми проблесками просвещения в таком милом создании... Притом же, если расчесть даже эгоистически, чего мне бояться? Она добра и привязчива; она будет всю жизнь благодарна мне за то, что̀ я ей доставлю...»

И не раз, однако, такое решение умирало в нем от неуверенности в одном — в нравственности Маши.

Но последние происшествия совсем покорили его; врожденная осмотрительность замолчала, и Васильков положил крайним сроком завтрашний день для окончательных переговоров.

Вечером, запершись у себя, он долго писал, потом усердно помолился Богу и спокойно заснул.

Маша шила, сидя на пороге и, думая обо всем случившемся, сохраняла еще некоторую суровость в выражении лица. Иван Павлович начал с того, что заметил ей насчет этой суровости.

— Да ей-Богу, досадно, — возразила Маша, — ну, что я их трогала, что ли?.. Пристали, зачем с вами гуляю... насочинили Бог знает что̀... Вот уж гадкий какой народ здесь! так и норовят сочинить про человека или выдумать еще что-нибудь... Я думаю, теперь салапихинская прикащица рада как! Господи!.. Этой только скажи: она уж задаст...

— Да что̀ вам до этого?

— Вам легко, Иван Павлыч!

— Позвольте, это вы напрасно думаете, что мне легко. Мне, может быть, труднее вашего слышать, ка̀к про вас злословят... Мне это очень, очень больно. Я говорю только, нельзя ли как-нибудь это поправить; напрасно вы уж слишком близко к сердцу принимаете...

— Я и поправлять ничего не хочу. Бог с ними совсем, пущай себе говорят!.. Я еще и вниманья своего не хочу обращать...

Васильков улыбнулся.

— Ну, вот, так-то лучше. Однако я пришел спросить у вас кой о чем поважнее...

Маша поглядела на него уже развеселившимся лицом и ждала.

— Марья Михайловна... Маша! — начал Васильков, невольно опуская глаза, — если б я за вас посватался, пошли бы вы за меня?

Маша вся вспыхнула и не отвечала.

— Пожалуйста, не спешите отвечать, совсем не нужно. Подумайте и скажите мне откровенно, хоть завтра, я буду ждать; мне это ничего.

Маша опять не сказала ни слова, но только поднялась с места, хотела идти и вдруг, закрывшись фартуком, заплакала.

Васильков вскочил быстро и начал отводить руки ее от лица, приговаривая:

— Маша, о чем вы плачете? Полноте; неужто я вас обидел? Марья Михайловна!.. Маша!..

Маша грустно покачала головой и отняла фартук от глаз.

— Вот уж, можно сказать, я несчастная. Ну, да пускай Божья воля надо мной исполняется! Он дал — Он и возьмет.

— Да что̀ с вами?

— Как что̀ со мной, и вам не грех надо мной смеяться?.. Разве затем я вам все свои таинства и секреты открывала, чтоб вы надо мной насмешничали? Грех вам такими вещами шутить, Иван Павлыч! Я хоть и простая, дура даже какая-нибудь, может быть, а все-таки я знаю, чего один человек супротив другого сто́ит. Я знаю, что я от вас насмешек не заслужила; тут и без того отец бранится, в селе Бог знает что̀ говорят... думала с вами душу отвести, а вы...

— Да что̀ вы? что̀ вы? Я нисколько не шутил, я говорю очень серьезно. Садитесь, послушайте, я уже давно хотел вам это сказать, но, сами согласитесь, нельзя же вдруг, не обдумав ничего. Еще как только я приехал, вы мне понравились вашей наружностью, а после я стал наблюдать за вами, увидал, что у вас доброе сердце, что вы

умная девушка. Всего не расскажешь, что̀ я передумал... Одним словом, я решился жениться на вас, если вы согласитесь; батюшка ваш, я полагаю, согласится.

— Если б... — сказала Маша, засмеявшись; потом задумалась так, что даже темные глаза ее немного скосились, уставившись на камень, который, в забытьи, она катала перед собой концом ноги.

Васильков с нетерпением ждал ее ответа. Ка̀к ни был он скромен, все-таки не мог ожидать ничего, кроме согласия и притом довольно радостного. Здравого смысла у него доставало настолько, чтоб Маша не упала в его глазах, если б выразила свое согласие с непритворным удовольствием. Надо иметь очень избалованное сердце, чтоб уважать и любить только отталкивающих нас женщин...

— Очень вами благодарна, — начала наконец Маша, — то есть даже так благодарна, как я вам даже не могу и сказать, потому что я знаю, что вы добрую душу имеете и любите меня ужасно. Только вот что... (тут она опустила глаза и покраснела) вы теперь это так говорите...

— Вы полагаете, что я способен вас обмануть? — с негодованием воскликнул учитель.

— Нет-с, не то̀; а то̀, что вы после жалеть будете. Все равно, как наша сестра влюбится, согласится на все, что̀ угодно, а после и плачется на свою долю. Вы можете завсегда взять за себя богатую, добрую...

— Помилуйте, ведь я вас люблю!..

— Я знаю, Иван Павлыч, что вы меня любите теперь... только я боюсь...

— О, нет, нет! Будьте уверены, Маша, что это плод глубокого размышления... то есть, я долго, Маша, об этом думал. Я знаю, что̀ я делаю; я вас прошу, ради Бога, не противоречьте мне больше; скажите, что вы согласны, что вы верите моей вечной, вечной любви...

— Верю, верю!

— Вы согласны?

— Согласна...

— Благодарю, благодарю вас, Маша! Я пойду к вашему батюшке.

Васильков поспешил встать; но Маша, к которой в эту минуту вдруг вернулась ее ребячливость, схватила его за пальто, говоря:

— Ах, нет, постойте, не ходите, постойте, постойте... я вам что-нибудь скажу.

— Что̀ такое?

— Не ходите. Зачем теперь рассказывать? Я лучше после сама... а то будут смеяться.

— Перестаньте, Маша, шалить, пустите. Я хочу поскорее кончить дело.

Маша выпустила из руки пальто, засмеялась и закрыла лицо руками.

— Господи, что̀ это за смех! Ни с того, ни с сего невеста; просто все смеяться будут.

Но Васильков летел к отцу.

Михайло после этого вдруг закурил сигару, забежал на минуту к Алене, пожурил ее за недоверие к Василькову, сказал, что он даром никогда ничего себе не предвещает, и еще раз сообщил ей, что пронырства у него не оберешься (все это он говорил, почти не изменяясь в лице), запрег лошадь и загремел в село.

Когда вечером стадо вернулось с поля, Алена вынесла на двор подойник и, сев на скамейку, сказала мужу:

— Степаша, а Степаша!

— Ну что̀? — спросил тот, почесывая под ложечкой.

— Маша-то в гору пошла: учитель берет за себя.

— Ну, врешь!..

— Ну, врешь! — передразнила жена. — Ты вот только врешь да брешешь, а я говорю дело: ей-Богу, женится.

— Ишь ты! — воскликнул Степан хладнокровно; потом, обратясь к пегой корове, которая слишком близко замычала около него, и, закричав на нее со злобой: «ну, ты живоот!», попер ее очень сильно собственным боком.

Вечером пришла записка от Непреклонного. Иван Павлович читал ее Маше, объясняя темные для нее места (он

уже успел описать ей проделку Дмитрия Александровича, убеждая ее не сердиться за прошлое, которое никакого вреда теперь принести не может):

«Прежде всего — простите! Простите, если, увлеченный пылким темпераментом, я хотел увлечь в сети ту женщину, которая была вашим идеалом. Верьте, Иван Павлович, что маска легкомыслия, которую я надеваю при женщинах — только маска: под нею таится родник души моей, никому не известный. Я бы рассказал вам всю мою жизнь, всю исповедь мою, но, зная доброту вашу, боюсь, чтоб грустный рассказ мой не расстроил вас в такие радостные дни, какие, вероятно, вас ждут. Вы теперь покойны насчет *ее*, и я, чтоб еще более утвердить вас в ваших убеждениях, повторю, что все сказанное мною под ракитами, была ложь и заранее придуманная уловка, чтоб удалить соперника, в котором я не подозревал таких благородных намерений... Я ничего не говорю о данном вами слове: вы вполне были бы правы, если б в самом деле нарушили его... Дай Бог вам счастья с нею, Иван Павлович. И если когда-нибудь будет такая деревенька, как вы мечтаете, и в ней Маша с дорогим для сердца потомством, вспомните когда-нибудь, гуляя прекрасным вечером, о том грустном товарище, который, полюбив вас с первого раза, часто, однако ж, волновал вашу душу ревностью. Прощайте, прощайте, дорогой мой Иван Павлович. Не забывайте меня; а я снова повлеку мои печальные дни с отчаяньем в душе и легкой насмешкой на лице... Надо иметь волю... Поцалуйте Машу и скажите ей, что я нисколько не желал ей зла...

Ваш Непреклонный.

P. S. Если у вас родится сын, назовите его Дмитрием. Еще раз прощайте».

Под влиянием угрызений совести и некоторой степени самоуничижения, явившегося за ними, Дмитрий Александ-

рович написал все это с искренним чувством теплоты, как бы умоляя сам себя о пощаде не без достоинства.

Васильков был глубоко тронут письмом.

«Бедный Непреклонный! — подумал он, — в самом деле он, может быть, много страдал и немудрено, что решился на все смотреть так легко... Самая бледность лица его говорит, что он много жил».

И, задумчиво вздохнув, учитель обрадовался, что заря его собственной жизни была так чиста и спокойна, как бывает чиста заря на небе в утра красных июньских дней.

— Что ж это он прощается? — спросила Маша, прослушав письмо, — разве он едет в Москву? У них еще хлеб не убрали...

Через неделю Иван Павлович уехал в город и, обделав там кой-какие дела, вернулся в конце августа, на 28[-й] день. Маша только что проснулась; жмурясь от солнца и с неописанной веселостью на лице вышла она под ракитки навстречу молодому учителю и, обняв его, сказала:

— Здравствуйте, милый вы мой голубчик... Здравствуйте, голубчик вы мой...

— Ах, Маша, Маша!.. — сумел только сказать Иван Павлович...

— Вы, верно, устали, голубчик мой; пойдемте. Я вас чайком напою... Батюшка в селе... Я одна здесь гуляю...

Васильков молча глядел на нее.

— Пойдемте, — сказала Маша, сияя радостью. — Будет стоять... сам устал небойсь! А я думала, что вы и не вернетесь; вчера даже как всплакнулось... Ей-Богу, думала, что вы только так посмеялись...

— Грех тебе, Маша! стыдно!.. Да куда ты идешь? Дай же еще с тобой поздороваться получше.

— Господи, да я сама рада с вами хоть десять раз еще поздороваться...

И, смеясь, она снова обняла Ивана Павловича.

— Что ж? вещицы-то, барин, изволите, что ли, снять?.. — спросил мужик, который привез Василькова.

— Что̀ тебе?

— Чемоданчик-то, да вот узелок?..

— Да ну, положи их тут; все возьмем. Ступай себе...

— Прощай, батюшка. Дай Бог тебе здоровья, — сказал мужик, удаляясь на своей телеге.

— Прощай, — ласково отвечал Иван Павлович, следуя за Машей в комнату.

На крыльце он был встречен запахом закипающего самовара, особенно приятным на летнем воздухе.

Маша начала суетиться и готовить ему чай, а он сел на стул у стола, к которому она беспрестанно подходила то с стаканом, то с сахарницей, то с салфеткой, и всякий раз успевала подарить его или ласковым словом, или шуткой, или улыбкой, или поцалуем на лету.

Иван Павлович сидел, и в душе его воцарялось такое чистое, благородное спокойствие, такое блаженство, что он и сам не знал, ка̀к это так он живет в эту минуту, и почему его так наградила судьба. Целое утро пробыли они вдвоем, и разговорам у них конца не было. Только к обеду вернулся Михайло с самолюбивою радостью в глазах и не знал, ка̀к выразить свое почтение и свою любовь будущему зятю.

В следующее воскресенье, дня через три после приезда Ивана Павловича, была свадьба. День был прохладный, ясный, осенний. Непреклонный прислал им свою коляску. Иван Павлович упросил Михайла, чтоб не было никаких церемоний, никаких родственников, никаких празднеств.

Перед обедней Маша в простом белом кисейном платье, накинув на волосы шолковый алый платочек, вышла на крыльцо, чтоб сесть в коляску, у которой уже ждал ее Иван Павлович в новом коричневом сюртуке и пестром летнем галстуке.

Маша была простая девушка — и нарядом, и разговором простая, но в это свежее утро, когда она вышла к счастливому жениху на крыльцо, она была и стройнее

всегдашнего, и цветущее лицо ее, и взор темно-серых глаз еще были лучше, потому что белое платье к ней шло, и никогда еще так мило не играл ветер концом ее алой косынки на густой чорной косе. Легкое смущение при виде знакомого кучера, который молча и серьезно снял шляпу, когда она подошла к коляске, сделало ее еще привлекательнее. До конца обедни просидели они у попадьи, ожидая, чтоб народ разошелся из церкви. Их обвенчали только в присутствии двух-трех человек. Непреклонный поздравил их на паперти. Он опоздал к венцу, хотя добрая верховая лошадь его была вся взмылена, и сам он, запыхавшись, стоял перед новобрачными; но он решился не жалеть своей лошади в этот день.

На возвратном пути, приглашенный обедать на хутор, он недолго галопировал около коляски. Как будто не желая стеснять молодых и вместе с тем думая внушить им, что ему необходимо закружиться в это утро, он пустился во весь опор по ровной дороге, которая извилисто бежала по пустошам, поросшим кустами, к Петровскому Хутору. Длинные волосы его летели назад, лицо было мрачно; но молодые ничего не замечали. Маша не видала, потому что ей почти все время застил кучер (пользуясь пустотою полей, она прилегала на плечо Ивана Павловича), а Иван Павлович, если б и видел что-нибудь, то, верно бы, ничего не понял.

Зато были сильно испуганы бабы, которые шли гуськом по стороне дороги. Одна из них врезалась в канаву и упала навзничь.

Я недавно видел Ивана Павловича. Он купил земельку около того города, где занимается преподаванием латинского языка, отпускает на вакационное время длинные кудри и кончает теперь трилогию во вкусе XVIII-го столетия. В ней рассуждают: Агрикола, пасущий стадо, ос-

троумный Урбан и милая Арета с кувшином молока на гречески обточенной головке. Мы узнаем знакомую сторку в декорациях трилогии: густая зелень леса, полдень с просветами листвы, храм с колоннадой, и даже Арета не забыла кувшина. Дело между ними идет о природной поэзии и нравственности. Маша немного побледнела, но я не нахожу, чтоб это ее портило. Иван Павлович, кажется, вполне согласен со мной, а маленький первенец — Митя (очень похожий на отца) пока доказывает только, что звезда Дмитрия Александровича Непреклонного не устала еще повиноваться его фантазиям.

ТРУДНЫЕ ДНИ

КОМЕДИЯ В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Сергей Дмитриевич Непрядов, богатый помещик, служащий в губернском городе (30-ти лет).
Настасья Ильинична, его бабушка (65-ти лет).
Ольга, сестра его, воспитанница бабушки (20-ти лет).
Александра Петровна Синевская, молодая вдова (22-х лет), дальняя родственница Непрядовых.
Шебаршин, отец, помещик, старый знакомый бабушки (50-ти лет).
Алексис, Надя, Соня } его дети.
Владимір Юрьевич Зарайский, приезжий из Петербурга (25-ти лет).
Скорохватов, Повалишин } штатские молодые люди.
Гость-офицер.
1-я девица, 2-я девица } на вечере Непрядовых.
Слуга.

Между первым и вторым действиями расстояние более месяца; между вторым и третьим несколько дней; между третьим и четвертым менее суток; между четвертым и пятым несколько часов. Действие происходит в губернском городе.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Со вкусом убранная комната; много мёбели, цветов; пылающий камин налево; около него диван; у дивана столик с прибором для кофе. Полдень.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Александра Петровна, в утренней траурной блузе, на диване курит папироску.
Непрядов у стола пьет кофе. Молчание.

Александра Петровна (*приподнимаясь немного, заглядывает в лицо Непрядову*). Сергей Дмитрич, вы на меня сегодня не смотрите...

Непрядов. Да зачем же я на тебя буду смотреть? Если Бог приведет быть твоим мужем, так и тогда буду смотреть на тебя только по вечерам. А то ведь бесплодное ожидание покажется слишком тяжелым... Шуточка это — с первого часа утра жить одним будущим! Это ужасно, посуди сама!

Александра Петровна. Отчего это у мужчин такие дурные мысли всегда? Я часто вот так тут лежу одна и думаю... Отчего же у женщин нет таких мыслей? Долж-

но быть, au fond, женщины гораздо серьезнее созданы... Это когда-нибудь там прежде случилось, что вышло так...

Непрядов. Ну, мой друг, последняя фраза твоя так глубока, что я ровно ничего не понял. (*Садится с небрежным видом на диван*). А на тебе ныньче мой любимый чепчик. Чему приписать это?

Александра Петровна. Я было надела для вас, да вы не сто́ите...

Непрядов. Отчего? (*Как бы нечаянно придвигается к ней и хочет взять ее руку*).

Александра Петровна. Сидите смирно... Скажите мне лучше, что̀ ваш protégé, будет он сегодня?

Непрядов. Мой protégé очень приятно поразил меня вчера... Когда я получил его записку и приехал к нему в гостиницу, застал его за чаем. Я думал, что он порядочно стеснен в своих делах, однако, напротив, у него много вещей и даже хороших... Знаешь, можно судить по некоторым замашкам, что человек не без денег. Правда, отец его, быть может, и оставил ему несколько тысяч, которые он спешит прожить на хорошую обстановку для облегчения хода вперед... Он очень рад тому месту, которое я ему доставил.

Александра Петровна. Я уже давно удивляюсь вам... Налейте мне еще чашку кофе. (*Непрядов наливает*). Вы, право, добродетельный человек! Надо будет постараться сделать вас счастливым за это, когда мы женимся... Нет, не шутя! Вы все хорошие дела делаете... Вот, например, вы бабушку с сестрой выписали сюда...

Непрядов (*встает, с полудосадой*). Разве в том смысле, что ты могла сюда при них гостить приехать. А то лучше бы я им помогал заочно... Признаться, полагая прожить здесь года два, я из этой квартиры думал сделать что-то хорошее для души, и ты не можешь себе представить, ка̀к выводит из терпения этот элемент споров, зависти, кислоты, который они привезли... В Ольге очень неприятная смесь детского ума с какой-то преждевременной резкостью... Притом провинциальное кокетст-

во... Конечно, жаль ее. Она... ты знаешь подробности ее романа?

Александра Петровна (*улыбаясь*). Давно; она на другой день моего приезда рассказывала мне...

Непрядов. Ну, вот! Она не знает, что̀ выдумать. Спешит предупредить задушевным рассказом дурное мнение! Это не беда; а вот вчера так я спас известную тебе Аксютку... Вообрази: два лакея и форейтор тащат ее с заднего крыльца в полицию, по приказанию бабушки: чепец не заштопала...

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Ольга почти вбегает с нотами в руке.

Непрядов. Что с тобой?

Александра Петровна. Что ты так бежишь? *Вместе*

Ольга (*запыхавшись*). Я думаю, будешь бежать. Старуха сегодня с ума сошла. Она хотела меня ударить, и Бог знает, что̀ было бы, если б я не убежала со всех ног сюда... (*Бросается в кресло*). Это невозможная жизнь! Я готова уйти в монастырь... Убегу, убегу! Боже мой!

Александра Петровна. Ну, перестань, перестань... успокойся, выпей воды (*наливает стакан и подает ей*). На, кушай... Как можно сердиться! Посмотри, какая ты сегодня хорошенькая в этом пу-де-суа.

Ольга (*пьет с жадностью и, улыбаясь, отдает ей стакан*). Alexandrine! моя душечка... ты одна моя утешительница! (*целуются*).

Непрядов. Да с чего это вышло?

Ольга. Она хотела, чтоб я непременно играла на рояле; я начала спорить...

Непрядов. Вот видишь: ты всегда сама...

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и Бабушка.
Александра Петровна идет к ней навстречу
и делает движение, чтоб поздороваться с ней.

Бабушка (*молча, слегка отстраняет ее и, остановившись между Непрядовым и Ольгой, обращается к последней иронически*). Что̀, матушка? жаловаться пришла? жаловаться на родную бабку свою! Убежала, негодная! Ка̀к можно! эта старуха ведьма, а не женщина! Это изверг рода человеческого... бедную девушку съела совсем. (*Разгорячась*). Ну, ну, говори, говори! Что ж ты не продолжаешь? Неблагодарная! Infame!

Непрядов. Успокойтесь, бабушка; охота вам раздражаться (*придвигает ей кресло*). Между прочим, однако, здравствуйте... (*целует ее руку*).

Бабушка (*садится, не обращая внимания на поцелуй*). Уж и ты хорош! (*махнув рукой*). Наставил горшков с цветами у самой лестницы! Я за этой негодницей погналась, да прямо и наткнулась на них... Куда как хорошо, если б женщина в мои лета загремела на горшки!

Непрядов (*закуривая сигару*). Садовник, верно, не рассчитал, что с вашей стороны будет атака. (*Ольга улыбается. До этой минуты она спокойно сидела в кресле*).

Бабушка. Посмотрите! полюбуйтесь! Ей смешно! Ей смешно, что родная бабка чуть-чуть не разбилась до смерти!

Ольга (*невольно рассмеявшись*). Я рада, что вы избавились от опасности... я даже...

Александра Петровна (*удерживая Ольгу*). Ольга! Ах, какая ты...

Бабушка (*взмахнув руками*). Вообразите: она еще смеет иронические мины строить!.. Да я... да я знаешь ли что̀!.. (*Встает*). Знаешь ли ты, какую я иронию тебе

покажу?.. Ты думаешь, я посмотрю на приличия? Большая мне нужда до приличий... Я женщина старинного века, ни на m-me Alexandrine, ни на его гаванскую сигару не посмотрю. (*Ольга презрительно улыбается*). Что?! (*делает шаг вперед*).

Ольга (*испуганная, бросается к брату*). Сережа, Сережа! она меня убьет!

Александра Петровна (*бабушке*). Ma tante, ma tante!..

Непрядов (*к ней же, удерживая ее*). Бабушка! позвольте, позвольте; на этот раз я буду хозяином этой комнаты... Сядьте, сядьте; оставьте ее! (*Усаживает ее на диван. Ольга, отойдя в сторону, плачет*).

Вместе

Бабушка (*утомленным голосом*). Все, все против меня! Господи, за что̀ такое гонение? Все я виновата...

Непрядов. Ольга виновата больше вас; она моложе...

Ольга. Я! я! опять я! Ну, что ж мне делать, если я не могу терпеть?.. Сколько раз пробовала — не могу, не могу!.. Каждый час, каждую минуту она меня мучит. Все нехорошо, все не так... То я не занимаюсь музыкой, то я непочтительна, то я женихов привлекать не умею... Еще этого Зарайского не видали, а уж она прочит меня за него. Если я немножко возражу, она начинает браниться... и ка̀к! ка̀к она бранится! ни одна торговка не слыхала таких слов!.. И после вдруг по-французски еще начнет говорить, что я не distingué, что дурным манерам Александрина меня учит... все виноваты! Да нет, нет, эта жизнь невыносима! (*Рыдает*).

Александра Петровна (*бросаясь к ней, целует ее*). Ольга, душенька, Ольга... не плачь...

Ольга. Ах, не знаете вы... никто не знает, какая она безжалостная... Она не стыдится попрекать мне беспрестанно, и чем же попрекает! чем?.. как будто я не довольно наказана, Боже мой! как будто у меня совести вовсе нет! Будущность моя... все, все!.. Нет, это ужасно... (*умоляющим голосом Непрядову*). Сережа, избавь меня от нее... ты ведь брат мне...

Непрядов (*обняв сестру за стан*). Полно, полно! Ты как дитя рыдаешь. Саша, у тебя был какой-то спирт: дай ей понюхать.

Александра Петровна. Сейчас. (*Бабушка смотрит на них с угрюмым спокойствием утомления*).

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Слуга.

Слуга. Шебаршины приехали...

Непрядов. Проси! (*С досадой пожимает плечами. Слуга уходит*).

Непрядов. Вечно некстати этот человек! Позвал его обедать, чтоб смешил за столом для пищеварения, вроде старого Bourgogne... а он с утра!

Бабушка (*Ольге*). Уйди, уйди! Что̀ подумают!.. красные глаза!

Ольга (*взяв под руку Александру Петровну*). Не беспокойтесь... Саша, пойдем, mon ange, наверх.

Александра Петровна. Пойдем, пойдем... (*Бабушке*). Ma tante, вы уж простите ее...

Бабушка (*нетерпеливо*). Хорошо, батюшки мои, хорошо!.. Что̀, вы хотите на весь город чтоб в набат били?

Ольга. Идем, идем-с! (*Идут вместе к дверям*).

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Шебаршины, отец и сын (Алексис).

Шебаршин-отец (*Ольге*). Куда, куда? От меня! От нас!.. (*с выражением любезнейшего упрека*) За что̀? скажите... Ха! ха! (*Жмет Ольге руку*) Madame... (*Низко поклонившись Александре Петровне, улыбается*). Впрочем, я не смею вас удерживать...

Алексис (*выглядывает на Ольгу из-за отца*). Здравствуйте, m-lle Olga. Здравствуйте, Александра Петровна. (*Ольга кивает ему головой и уходит с Александрой Петровной*).

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же, кроме Ольги и Александры Петровны. Шебаршин-отец быстро идет к авансцене, мимоходом касается руки Непрядова и подходит к бабушке. Алексис везде следует за ним.

Шебаршин-отец (*целуя у бабушки руку, тихо*). Настасья Ильинична! (*громко*) Здоровье ваше?

Бабушка (*рассеянно*). Здравствуй; слава Богу. (*Алексису, который выходит из-за отца*). Здравствуй, Алексис, мой дружок.

Шебаршин-отец (*Непрядову*). Ты, может быть, думаешь, что я приехал к тебе с визитом или с утра забрался есть?..

Непрядов. Я, право, ничего не думал... думал только, что надо извиниться перед тобой. (*Берет со стола шляпу и встает*).

Шебаршин-отец. Постой, постой... Я тебе нарочно новость привез... Наш новый петербургский чиновник приехал... Помилуй, да он вовсе еще юноша, двадцать второй, даже двадцать первый год!

Непрядов. Кому?

Шебаршин-отец. Да твоему Зарайскому, предмету твоего ожидания, Бог ты мой!.. (*Переменяя тон упрека на игривый*). Идем мы с Алексеем по коридору в Петербургской гостинице, к Чумакову зайти — вчера тоже приехал; вдруг из третьего нумера дверь растворилась, и вышел молодой человек звать коридорного... Халат такой! charmant garçon... белье!.. Молодец собой... Я к доске... Смотрю — Зарайский...

Алексис (*Непрядову вполголоса нежно*). Дикенький халат такой, отвороты бархатные у него или плюшевые, синие...

Непрядов (*подавая им руку*). Вот новость!.. Да я за ним-то и еду... Извини, пожалуйста (*уходя*). Надеюсь, ты обедаешь здесь? Вот и познакомишься, если он тебе понравился. (*Уходит*).

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же, без Непрядова.

Шебаршин (*садясь около бабушки*). Скажите, пожалуйста, Настасья Ильинична... Извините, что тревожу... Неужели Сергей хочет взять этого молодого человека в дом?

Бабушка. А Бог его знает! Я доверием внука не пользуюсь... Ну, что ж если б и взял?

Шебаршин (*горловым голосом*). Конечно! Я сторонний человек, но надеюсь, Настасья Ильинична, двадцать пять лет знакомства, дружба вашего покойного супруга — все это... (*с улыбкой*). Ведь я насчет нашей кумушки-провинции. Языки, зависть и тому подобное... сейчас пожалуют женихом.

Бабушка. Знаешь русскую пословицу? она хоть не так-то деликатна... на всякое чиханье...

Шебаршин (*шаркнув*). Не наздравствуешься... Но Сергей так способен увлекаться добром! Впрочем, какая причина этой дружеской связи?

Бабушка. Старик-то Зарайский учителем Сергея был, помогал ему, когда тот мальчишкой нуждался в Петербурге... Они ведь с Ольгой круглыми сиротами остались. Я Ольгу взяла еще при жизни дочери, а его вот тот самый дядя, который ему наследство оставил, да в чорном теле, как говорится, ребенка держал. Учитель семейный был человек, брал его к себе и утешал кой-чем...

Шебаршин (*прислушиваясь к звуку фамилии*). Зарайский, Зарайский...

Бабушка (*вдруг рассмеявшись*). Ах ты старый хитрец! Vieux mauvais sujet! Да я тебе уши надеру; все твои мысли я знаю...

Шебаршин (*подставляет ухо*). Сколько угодно, только объяснитесь... ваши слова загадочны... (*Бабушка встает, Шебаршины оба тоже*).

Бабушка (*махнув рукой*). Я не сфинкс! Alexis! твой отец-то — а? не плут разве?..

Алексис (*подбегает, поглядывая на отца с нерешительным смехом*). Да-с!.. (*Шебаршин дает ему знать глазами, чтоб он поцаловал ему руку; Алексис целует*).

Бабушка (*треплет его по щеке*). Он у тебя славный малый выровнялся... Ну что, танцуешь много?

Алексис. Много-с!

Шабаршин. Вчера у Грибовых дошел до исступления. (*Нюхает табак и подает табакерку бабушке*).

Бабушка. Э-э! да у тебя ведь раппé проклятый; я его терпеть не могу... (*Шебаршин поспешно отнимает руку с табакеркой*). Ну, давай, давай (*нюхает*). Где это ты пятьдесят душ-то прикупил? На реке, говорят?

Шебаршин. Там, где впадает ручей — помните? за бором вот таким изгибом. Мельница, строевой лес. Это я Алексею, в случае женитьбы его, и, конечно, кроме того...

Бабушка (*улыбаясь, Алексису*). Видишь, как тебя отец любит! А чин скоро получишь?

Алексис. Осип Осипыч обещал к Светлому Христову Воскресенью.

Шабаршин. Хабаров сказал — к Святой. } *Вместе*

Бабушка. Хорошо-о! Однако я пойду велю подать что-нибудь закусить... Обед в четыре часа; приходите туда. (*Шебаршин предлагает ей, молча, согнутый локоть*). Что это? руку? Нет, батюшка, ты еще меня с ног собьешь... Ты вечно как угорелый несешься... Приходи-ка лучше закусить после. (*Шебаршин кланяется; бабушка уходит*).

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Шебаршин-отец и Алексис.

Шебаршин-отец (*возвращается, проводив бабушку, и останавливается перед сыном*). Ну, что̀ ты скажешь — а?

Алексис. Что-с?

Шебаршин (*отворачивается от него, покачивая головой, с видом удивления*). Голова! ведь это чисто свищ, а не голова! (*Минутное молчание. Алексис крутит в руках шляпу*).

Шебаршин (*с дружеским упреком*). Ну, полно же, Алексей, будь молодец... Больше savoir-vivre, знаешь. А то ты какой-то вохлак — чорт тебя знает! Вот бы теперь... ну ведь ты слышал наш разговор; старуха чуть не в рот кладет; ей бы только сбыть...

Алексис (*грустно*). Знаю-с!.. Да она-то, m-lle Ольга меня не полюбит.

Шебаршин. Пустое!

Алексис. Нет, она вот и третьего дня спросила у меня: «зачем это вы, m-r Alexis, все манишки носите?» — А я прежде еще говорил Наде, просил Надю, чтоб она вас попросила голландские рубашки мне сшить.

Шебаршин. Как же это она заметила, что у тебя манишка?.. Ты бы аккуратнее надевал.

Алексис. Да ка̀к ее наденешь? она выскакивает все...

Шебаршин. Так ты под жилет засунь хорошенько... Вот постой (*засовывает ему*).

Алексис. Соловцов говорил тоже, что это mauvais-genre.

Шебаршин (*продолжая оправлять сына*). Соловцов болван. А рубашки можно... Завтра посмотрим, купим. Ну, вот теперь хорошо. Только смотри ж, не будь таким неуклюжим. Ты, Бог тебя знает, и вертляв, а ловкости нет. (*Выпрямляясь*). Больше смелости, энергии! Смотри, вот я в твои лета... (*проходит мимо Алексиса с развяз-*

ной грацией, кивая головой, прищуриваясь и играя табакеркой, потом, остановившись, откашливается). Вот!

Алексис (*бодро*). Хорошо-с... и я так буду. Да еще я хотел...

Шебаршин. Что?

Алексис. Ну, вот вы как взглянете на меня, так я и не могу говорить; оттого я и такой...

Шебаршин. Ну, ну...

Алексис. Я все, знаете, насчет рубашек. Соловцов...

Шебаршин. Дуралей! не веришь отцу? Куплю, сказал тебе! Моли Бога, чтоб только петербургский проходе́ц не отбил. Сама-то рада, я думаю, за кого попало! Пойду, взгляну в кабинет, не привезли ли франта. (*Уходя, встречается в дверях с Ольгой, учтиво пропускает ее и из-за спины ее подает сыну ободряющий знак*).

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Алексис и Ольга.

Ольга (*небрежно*). Ах, Алексис! c'est vous?

Алексис. Ха-ха-ха! c'est moi! ха-ха-ха! (*игривым движением хочет взять ее руку*).

Ольга. Убирайтесь!.. Вы не знаете... Как его зовут?.. Приехал он?.. Как это? Зарайский, что ли? он приехал?

Алексис. Уж я знал, что вы в него влюбитесь. (*Грустно*) Вы всегда та̀к вот!..

Ольга. Как вы глупы! Когда вы перестанете говорить глупости? Подите от меня прочь — слышите? (*Алексис, вздохнув, отходит*).

Ольга (*про себя*). Какой смирный! (*Громко*) Alexis! подите сюда... (*Подает ему руку*). Вы меня любите?..

Алексис (*целуя руку*). Ха-ха-ха! Ах какие вы, m-lle Ольга!..

Ольга (*ласково*). Что это ваша сестра, Надя, никогда ко мне не зайдет?.. Если б вы знали, Alexis, ка̀к мне грустно...

Алексис. Сестры хотели сегодня быть... по правде сказать вам, зачем — а? ну... скажу по правде, знаете... они этого Зарайского хотели посмотреть...

Ольга. Подите, пожалуйста, к брату в кабинет, узнайте, не приехал ли он... пожалуйста... Вы не ревнуйте; мне, право, нужно... После придите сказать.

Алексис. Хорошо-с... Дайте ручку.

Ольга. Нате. (*Алексис снова целует и, похохотав еще, уходит*).

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Ольга одна (*подходит к трюмо*).

Неужели я никогда не буду замужем? Это ужасно! Чем я, например, хуже Саши? Все эти дни я готова была за Алексиса пойти. Он добрый, недурен собой... Имения у него будет душ сто, говорят. Я буду им повелевать. Да вот пришла мысль об этом Зарайском. Какой он? Говорят, очень хорош (*старается высмотреть свой профиль*). Нет, если по правде сказать, чем я хуже Саши? У меня какие черты! греческий нос! Что это за счастье ей такое — не понимаю! Вышла сперва за богатого старика, овдовела и теперь выходит по любви. Уж надеюсь, Сережа ее любит... Просто иногда ненавижу ее за это... (*За дверьми слышен смутный говор; Ольга отбегает от зеркала*).

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Ольга, Надя, Соня, Скорохватов и Повалишин.

Ольга. Ах, mesdames!.. (*Здороваются*).

Надя (*снимая шляпку*). Хороши вы, хороши, душка! вовсе забыли уж нас...

Соня. Уж будто и времени не найдете?..

Ольга (*небрежно*). Право, mesdames, как-то не приходилось все... Кузина Саша приехала эту зиму; мы проводили вечера семейно.

Надя. А теперь уж еще хуже не дождемся вас — а? Угадала я?.. (*Жмет ей руку и упорно смотрит ей в глаза*).

Ольга (*слегка смутясь*). Нет... не знаю... А я вот знаю, что я обязана вашим посещением не себе...

Скорохватов. Браво! Правда, правда...

Повалишин. Хе-хе! попались... что-с?.

Надя. Сочиняют, сочиняют! (*Скорохватову*). Постойте вы, изверг!

Соня. Какой бессовестный!

Надя. Вот слушайте... Пошли мы пешком с Соней к вам... Выходим; Платошка за нами идет и говорит: «вот барышни, Скорохватов-барин едет»...

Соня. Неправда, это я первая...

Надя. Постой, дай мне кончить, постой...

Скорохватов. Все не так, все не так... Этот m-r Зарайский причиной всему... Вы сами...

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Алексис, почти вбегает.

Алексис. Идет, идет сюда Зарайский... Все идут...

Надя. Ну, что ж? Ах, ты какой!... Чего кричишь?...

Соня. Куда? сюда идет?

Ольга. Смотрите, как Соня рада!

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Входят Бабушка, Александра Петровна, Зарайский, Шебаршин-отец и Непрядов. Непрядов подводит Зарайского к сестре.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

(*Спустя месяц*).

Приемная. Вечер. Направо отпертая дверь на балкон.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Ольга у рояля. Зарайский стоит за ее стулом. Александра Петровна в стороне читает у стола; на столе лампа.

Ольга. Нет! Я не могу, право, не могу! Я сегодня не в состоянии ни играть, ни петь. (*Перестает играть*).

Зарайский. Кажется, нетрудно... (*Наклоняясь к ней, сам пробует одною рукой мотив*). Романс этот совершенно в моем вкусе:

Пью за здравие Мери,
Милой Мери моей!
Тихо запер я двери
И один, без гостей,
Пью за здравие Мери,
Милой Мери моей!

Ольга (*вполголоса*). Мери в вашем вкусе?

Зарайский (*тоже тихо*). Мери? что̀ такое Мери? Это имя — а имя ничего не значит...

Ольга. Неправда, имя много значит.

Зарайский. Пушкин уже давно доказал противное: назвал героиню свою Татьяной. А ведь она обворожительна! Ольга гораздо звучнее, однако Ольга была непостоянная кокетка... (*Александра Петровна оставляет чтение и слегка прислушивается*).

Ольга (*смеется*). В наказанье вам, надо бы подражать ей. Только так уж, не хочется тревожиться...

Зарайский (*тихо̀*). Милый, милый ангел! (*Громко*). Что̀ ж вы не поете? Давайте петь что-нибудь старинное; новое хуже. Споемте: «Там, где море вечно плещет».

Ольга (*задумчиво*). Нет, пойдемте лучше на балкон... Я что-то не в голосе сегодня. (*Встает. Александра Петровна поспешно опускает глаза на книгу. Зарайский и Ольга идут на балкон*).

Ольга (*мимоходом целуя Александру Петровну*). Ах, душенька, Саша, как я тебя сегодня люблю! (*Уходят*).

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Александра Петровна одна. (*Она провожает их глазами, потом задумчиво встает*). Что он нашел в ней такого особенного? Или он блондинок любит? Ах, невыносимая тоска! Чего я хочу — сама не знаю... не знаю... (*Садится снова и закрывает лицо руками*).

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Александра Петровна и Бабушка.

Бабушка (*садясь у стола*). Где ж Ольга, ma chère amie? Вечно запропастится!

Александра Петровна (*поспешно открывая лицо*). Она пошла в сад с Зарайским, ma tante.

Бабушка (*радостно*). А-а! Ну, пусть, пусть их! По правде тебе сказать, ma chère, меня любовь эта радует. Только одно... (*улыбается приветливо*). Ты ведь, я знаю, женщина не дура, воспитана хорошо... С тобой, мой друг, можно говорить откровенно... Как ты думаешь: состоится эта партия?

Александра Петровна. Отчего же? Они нравятся друг другу.

Бабушка. Не то, мой друг, не то!.. Как ты еще неопытна! (*Таинственно*) Знаешь ли, какой разговор был у нас с Сергеем?..

Александра Петровна. Нет...

Бабушка. Вот то-то и дело. Ты знаешь, у Ольги своего нет ничего. Я стала говорить ему вчера о тех десяти тысячах, которые он обещал... Так что ж ты думаешь? прямо так и говорит: «я не хочу, чтоб Зарайского проводили; пусть Ольга поступит честно», — а? каково? Есть ли в нем кровь? есть ли, есть ли в нем душа? Родной сестрой хочет жертвовать для каких-то дурацких идей! Каково мое-то положение? (*Вздыхает*). Вся моя надежда на тебя: ты имеешь на него большое влияние; объясни, внуши, втолкуй ему в голову, что это низко — препятствовать сестре... Мало разве ему, что она сделала проступок — надо еще потерять совесть, признаваться в этом... Ведь Зарайский тогда, пожалуй, и на попятный двор. Постарайся же, мой друг... (*берет ее руку и крепко жмет*).

Александра Петровна. Не знаю, почему вы думаете, что Сергей Дмитрич слушает меня. У него все мнения свои; он и опытнее меня, и все как-то лучше моего умеет рассудить.

Бабушка (*нетерпеливо*). Несносно слышать! Пора бы, матушка, знать, что возлюбленный твой самый пристрастный и недальновидный человек. Впрочем, ты сама не видишь ничего: ты влюблена в него как кошка! (*Александра Петровна молчит. Бабушка, озабоченно постукивая табакеркой*). Да, девчонка эта наделала мне столько хлопот! Как всучу ее доброму человеку, так гора с плеч свалится!..

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Зарайский и Ольга входят под руку. Увидав бабушку, Ольга оставляет его и, с торжественно-скромным видом подойдя к ней, становится на колени.

Ольга. Благословите меня, grande maman: я невеста.

Бабушка (*в волнении, торопливо*). Что ты, мой дружок? Так это вдруг? Боже мой! Впрочем, я, с моей стороны, очень рада; я согласна. Будь счастлива, дитя мое

(*обнимая, приподнимает ее. Зарайскому любезно*). Надеюсь иметь в вас сына?

Зарайский (*с жаром*). Поверьте, Настасья Ильинична, вся жизнь моя...

Бабушка. Я уж давно желала отдать вам мою Ольгу... (*Смеясь, подает ему руку, которую тот поспешно целует*). Ведь надобно за Сергеем Дмитричем послать, ведь без него нельзя (*звонит*); надо знать, что̀ он скажет... без него никак нельзя... (*Входит слуга*). Проси поскорее сюда ко мне Сергея Дмитрича; доложи, дескать, вот все желают их видеть...

Ольга. Скажи, очень нужное. (*Слуга уходит*).

Зарайский (*весело подходя к Александре Петровне*). Надеюсь, что вы мне сделаете честь: будете моим адвокатом?

Александра Петровна. Я очень рада, если вы думаете, что я могу что-нибудь...

Зарайский. Я уверен.

Бабушка. Может, может!

Ольга. Serge ее обожает.

Зарайский. Вот видите... все против вас! (*Садясь около нее*). Я тоже уверен, что такой адвокат, как вы...

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Непрядов. Общее молчание.

Непрядов (*смотрит на всех с недоумением. Бабушка налево, на кресле. За спинкой кресла Ольга. Зарайский и Александра Петровна на диване по правую сторону*). Что̀ это у вас у всех за странные лица? Что-то торжественное... Сяду и я... что-то будет? (*садится. Зарайский хочет говорить, но бабушка делает ему знак*).

Бабушка (*Непрядову несколько шутливо*). Я призвала тебя, мой друг; дело важное: видишь, надо решать

семейно... Мсьё Зарайский делает нам честь, просит руку твоей сестры...

Зарайский. Да̀, Непрядов, от тебя зависит все... Ольга Дмитриевна так уважает тебя, что без твоего согласия не хочет дать окончательного слова.

Непрядов (*удивленный*). Право? mercì за уважение... Так за чем же дело стало? Я тут сторона; я сделаю только то̀ (*смотрит на бабушку*), что̀ заставляет меня обязанность.

Бабушка. Нет, нет!.. Я хочу знать твое мнение, мой дружок, твое мнение... без тебя я не могу...

Непрядов. Если так, так вот мое мнение: оставим этот разговор до завтра. Напрасно вы говорите, что надо сбирать всех: у каждого всегда есть своя тайная мысль, и гораздо будет лучше, если я потолкую особо и с вами, и с ним, и с Ольгой...

Ольга (*перебивая*) Со мной толковать не́чего; мое слово...

Бабушка (*тихо и злобно*). Молчи, молчи, дура... (*показывает из-за кресла ей кулак. В сторону*). Ничего не вобьешь в эту голову! (*Непрядову*) Не знаю, зачем откладывать, мучить молодых людей... Впрочем, как тебе угодно, так и будет... Ты наш патриарх (*принужденно смеется и встает*). Вольдемар! подите со мной, проводите меня наверх... Я утомилась до смерти. (*В сторону*) Не могу терпеть больше! разорвала бы его! (*Зарайский подает ей руку; Ольга идет за ним. Уходят*).

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Непрядов и Александра Петровна.

Непрядов. Поди сюда, Саша, садись около меня. Скажи, что̀ делать с ними?..

Александра Петровна (*садясь около него*). Что? Жени их поскорей. У меня болят уши от их просьб.

Непрядов. — Легко на словах, chère enfant. Ведь едва ли Ольга призналась ему. Ты разве не видала, как бабушка волнуется... она намекала мне об этой свадьбе еще неделю назад, и я сказал, что Зарайского проводить не позволю...

Александра Петровна (*с досадой*). Да что за беда? Жени их, пожалуйста, если ты меня любишь... пожалуйста: они так просили!... Он свыкнется — ничего, простит... (*Нежно*) Ведь ты бы простил, если б я...

Непрядов (*с восторгом целуя ее руку*). Саша!..

Александра Петровна (*отнимая руку*). Оставь! Не стою я, чтоб ты целовал мою руку...

Непрядов. Отчего? что с тобой? Я сейчас только заметил... Что с тобой, дитя мое?

Александра Петровна. Не гляди на меня так! Когда ты глядишь на меня, так глядишь и назовешь меня «дитя мое» — ты мне вредишь ужасно... ты не знаешь этого... Я не могу тогда тебя не любить. Не знаю, друг мой, мне хочется... как-то... не умею сказать... туда в душу к тебе взойти! У тебя, мне все кажется, душа так хороша, так там светло, покойно все, вот точно так, как утро было, когда я сюда к вам приехала... Ни тебя не было дома, ни бабушки, ни сестры, такая тишина была; все так со вкусом убрано, цветы... Солнышко, Сережа, в окна светило ярко, ярко! Ах, Сережа! я тогда была счастлива! А теперь мне не живется, как-то не по себе, нехорошо, больно душе, скучно! Жить, веселиться, мучиться хочу страшно, страшно хочу! Так, так, вот здесь! (*Указывает на сердце и закрывает лицо руками*).

Непрядов (*берет ее за руку*). Саша! Саша!

Александра Петровна. Ах, да не мучь же меня! Ты не знаешь...

Непрядов. Напротив, я знаю, я догадываюсь... Любишь, что ли? (*Александра Петровна молчит*). Да скажи же прямо: ты любишь Зарайского, что ли, ревнуешь его?

Александра Петровна (*вдруг открывая лицо, умоляющим голосом*). Сережа! друг мой Сережа! mon

petit frère, прости мне... Клянусь Богом, я сама не знаю, что̀ чувствую! Видишь ли что̀, я тебе сейчас объясню. Вот теперь... я бы не ушла от тебя, я бы умерла у ног твоих за твою доброту, за дружбу твою, за все... Но я не увлечена тобой, Сережа. Я жить хочу! (*Непрядов молчит. Александра Петровна встает, плача*). Прости мне. Я пустая женщина; я знаю... Брось меня, не женись на мне... (*Непрядов молчит*). Прощай... Я пойду к себе... Прощай (*продолжая плакать, идет к дверям*).

Непрядов (*встает*). Так ты идешь? Постой, поди сюда! (*Александра Петровна покорно подходит*).

Непрядов. Покажи мне лицо свое. (*Александра Петровна открывает лицо. Непрядов, несколько минут молча, рассматривает ее, потом целует ее в лоб*). Ну, ступай себе, дитя мое. (*Александра Петровна уходит; Непрядов следит за нею глазами до дверей*).

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Непрядов один. (*Он с быстротою идет к авансцене, как бы пробудясь от апатии, и, подойдя к столу, сильно звонит*). Нет! надо поскорее их обвенчать, как можно скорее! Не могу же я быть в этом положении... и кто бы задумался на моем месте, желал бы я знать? (*Звонит еще раз. Входит слуга*). Попроси сюда Владимíра Юрьича, скорее... Он должен быть наверху, у бабушки. (*Слуга уходит. Непрядов подходит к авансцене*). Если б еще это была какая-нибудь легкая страсть; но отдать женщину, которой последний волос в кудрях, последняя жилка на руке были мне знакомы и до́роги, еще когда ей было пятнадцать лет. Сумеет ли он ценить это? Да и в ней-то движение, быть может, мимолетное, от скуки, долгого траура, провинциальной жизни... (*Задумывается*). И как вспомнишь ужины вдвоем с нею у камина, катанья в санях по темным улицам, когда я, веселый, как мальчишка, за спиной кучера целовал ее столько раз сквозь вуаль, намокший от дыхания... Да и

смешно же, наконец!.. Разве я обязан знать секреты сестры? Если б не проклятая болтливость бабушки, я бы спокойно повел их в церковь... Скажу ему, что давича было препятствие в деньгах, что я нашел их.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Непрядов и Зарайский.

Непрядов. А! это ты? Пойдем сюда, сядем: нам надобно поговорить основательно (*Придвигает стул к авансцене*).

Зарайский (*садится*). Слава Богу, если так... Я сидел у твоей бабушки, наверху, в таком тревожном состоянии, что не слыхал даже и половины ее слов: все думал о тебе... Признаюсь, в тебе-то я никак не ожидал встретить препятствия... (*Непрядов садится тоже*).

Непрядов. Ты, как видно, перетолковал мои давишние слова в какую-то оскорбительную для себя сторону...

Зарайский (*с быстротою*). Погоди, я скажу тебе все, что̀ я думал и думаю теперь. Я буду прост, Непрядов, буду так откровенен с тобой, как девять лет назад, когда ты приходил из правоведения в отпуск к бедному отцу моему на Петербургскую сторону и раскрашивал мне картинки — помнишь? Видишь: я думаю, что в тебе шевелится небольшая борьба. Ты помнишь прежнее, помнишь старика, который учил нас с тобой жить по чести, по утонченной чести, наперекор всему... Что в душе у тебя не высохли эти воспоминания — я уверен. Ведь всего дней пять назад, когда мы ездили за город и вышли погулять в саду, ты услыхал запах только что расцветшей резеды... ты стал говорить о нашей прошлой жизни, о моем детстве, о нашей дачке, где всегда точно так же пахло, потому что отец любил резеду... А? Непрядов, Непрядов! знаешь ли, какую дружбу пробудил ты во

мне? Мигом воскресла вся прелесть этой бедной детской жизни... Больной отец, наши тесные комнаты, мир семейной жизни, твое появление у нас, когда твой дядя привез тебя учиться к нам, и ты, сидя в углу в синей курточке, рыдал целый вечер, а у нас был тогда танцкласс, и все кругом тебя прыгали и радовались... Поверь мне, не знаю, кàк для тебя, а в моем сердце мысль о тебе шла всегда вместе с памятью о самых невинных, отрадных днях... Да что̀ говорить! и ты это помнишь... Разве, ты думаешь, я не заметил во время этой последней прогулки в голосе, в словах твоих, в лице не то̀, чтоб веселое что-нибудь... а так, какую-то счастливую грусть...

Непрядов (*не глядя на него, в глубоком раздумьи*). Знаю, знаю, Зарайский, помню все хорошо.

Зарайский (*берет его за обе руки*). Ну за чем же дело стало? Неужели за тем, что замужство это — mèsalliance для твоей сестры? Без тебя они обе или, лучше сказать, бабушка твоя не хочет ничего начинать... И видишь, кàк я тебя уважаю: ты богач передо мной, играешь для меня роль благодетеля, и я, я не стыжусь просить тебя... я прошу тебя...

Непрядов (*встает*). Подожди. Поверь мне, что ты ошибаешься... (*сухо*) потому-то, что я помню твоего отца, я и советую тебе обдумать дело получше... Оба вы очень молоды, небогаты... Подумай... А пока извини, у меня есть нужные бумаги... (*жмет ему руку и поспешно уходит*).

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Зарайский (*один*). И кàк спешит уйти! Или я не ошибся: богатство испортило его... Больше что ж может быть? не́чему, решительно не́чему... Разве поговорить как можно откровеннее с m-me Alexandrine: она должна хорошо его знать... А еще чуть не клялся отцу беречь и любить меня!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Декорация та же, что и во втором действии. Вечер.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Ольга, Надя, Соня, еще две девицы, Алексис, Зарайский, Скорохватов, Повалишин и офицер играют посреди комнаты в жгуты. Ольга ходит с жгутом и подает его Скорохватову, который тотчас же изо всех сил начинает бить Алексиса.

Ольга (*Скорохватову*). Пожалуйства, отдайте опять, чтоб его... Ах, какой смешной! (*Алексис конфузно бегает вокруг. Все хохочут. Скорохватов отдает жгут офицеру; Алексиса бьют опять*).

Зарайский. К чему это?

Повалишин. Ну! довольно... Ну! Э-э!

Ольга. (*Повалишину*). Он уморительный!

Алексис (*вышед из себя, Скорохватову*). Что ж вы это, в самом деле, бьете-с так?... Что̀ вы это, ей-Богу... Вы это... Как это? Ведь вы, знаете, изо всех сил...

Скорохватов (*кланяясь*). Mille pardons! (*Новый смех*).

Надя (*брату*) Я бы, на месте твоем, не позволила бы... не позволила бы всякому... Вот еще!

Соня (*Скорохватову*) Уж вы всегда злой такой! Я вас знаю, вы всегда...

Вместе

Алексис (*Ольге*). Я знаю, кто это. Это вы все научаете, m-lle Ольга. (*Вдруг ободряясь*). Что̀ это за шутки!

Ольга. Ах, отстаньте от меня! Я чем виновата? Странная вещь! Это игра. В жгутах мужчины всегда...

Повалишин (*Скорохватову*). Конечно, надо и в игре знать меру.

Скорохватов. Я не слишком...

Повалишин. Э! пустое! Давайте-ка опять станем (*хлопает по плечу Алексиса*) в жгутки, в жгутки! (*По-*

тирая руки). Кому теперь достанется? Алексей Степаныч, ну-ка, ну-ка вы теперь хорошенько!

Ольга (*к барышням*). Mesdames, давайте!

Надя и Соня (*переминувшись между собой.*) — Нет, уж извините, я не буду. Мы не будем; пожалуй, еще и нас прибьют.

Ольга (*с досадой*). Перестаньте!

Все. Перестаньте! полноте! что̀ за пустяки! M-r Alexis! э, да ну, что̀ за пустяки!.. портить удовольствие.

Одна девица. Пойдемте лучше в сад à la guêrre играть.

Все. Хорошо, хорошо! Идем! À la guêrre, так à la guêrre!..

Надя (*сестре*). Ты, Софи, не пойдешь?

Соня. Нет, не пойду...

Надя (*гордо*). И я не пойду! И Алеша не пойдет.

Зарайский (*хочет взять их под руки*). Довольно, довольно ссориться. M-lle Ольга не виновата.

Соня (*затыкая уши*). Нет, нет, нет!

Надя. Мы уж домой. Соня! домой!

Соня. Что̀ ты командуешь? Я и без тебя знаю.

Ольга (*пожимая плечами*). Странно! (*Другим*) Пойдемте же в сад. (*Проходя мимо Зарайского, тихо*). Ка̀к они глупы — не правда ли?

Зарайский (*сухо*). Они правы... (*Все уходят в сад, исключая Алексиса, который грустно сел в стороне, и двух сестер*).

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Сонечка, Наденька, Алексис.

Надя (*подбегая к брату*). Что̀ сидишь ты, Алеша? Идем, идем домой.

Соня. Бедненький, право! Ты нас проводишь? Мы не хотим здесь больше быть. Видишь, какие у тебя сестрицы: лучше тебя. Ты такой...

Надя. Да̀, уж всякий его может этак (*показывает рукой, ка̀к*).

Алексис (*вставая*). Ах, оставь, Надя! Пойдемте... Бог с ней.

Надя. Я тебе говорила — сам виноват. Я тебе говорила: она дряннушка, гордячка, зла... ты...

Соня. Да ну, душечка, оставь его! Видишь, он бедненький! Ты, ты... уж и ты тоже, глупая даже... Что̀ пристаешь?

Алексис. Что ж? Ну!

Соня (*целуя его*). О, мой голубчик такой! Обидели бедного?

Надя (*надевая шляпку*). Идемте скорее, пока не видали. А я этой Ольге Дмитриевне заплачу когда-нибудь... Постой она! (*Идут все трое к дверям*).

Соня. Ты заплатишь? Чем? Ишь какая!

Надя. Уж я знаю!

Соня. Ничего не знаешь.

Надя. Знаю; вот увидишь!.. (*В дверях встречаются с бабушкой и отцом Шебаршиным*).

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Бабушка, Шебаршин-отец и прежние.

Бабушка. Куда вы?

Шебаршин-отец. Что̀ это вы, домой?

Надя. Домой.

Соня. Нельзя-с, надо домой.

Шебаршин. Пустое!.. Зачем?

Бабушка. А танцовать?

Надя (*делая политичное лицо*). Ей-Богу, нельзя, папаша... никак нельзя.

Соня. Да скажи, скажи, сестрица. Что̀ ты, с ума ты сошла, глупенькая, что не скажешь...

Бабушка. Ах, батюшки! да что̀ с вами?..

Соня. Как что̀ с нами? Мы сестры; это наш брат.

Надя. Конечно, он глупенький такой, дурачок, что себя обижать позволяет, а все-таки мы сестры.

Шебаршин-отец (*Алексису*). Тебя оскорбили?

Алексис. Нет, папаша, я ничего, так, жгутом m-lle Ольга...

Бабушка. Что ж, это она тебя больно жгутом прибила?

Шебаршин-отец. Расскажи обстоятельно. Полно, брат, мямлить...

Соня. Я, я расскажу... Ольга Дмитриевна пошла...

Надя. Ольга Дмитриевна пошла с жгутом... Постой, Соня, постой... Ольга Дмитриевна пошла...

Шебаршин-отец. Пусть Алексей сам расскажет. (*В зале раздается полька*).

Алексис (*навострил уши и оживился*). Не сто́ит, папа́, и говорить! Это они обе с чего-то обиделись. Известно, в жгуты когда играют, какая обида? Ольга Дмитриевна дала Скорохватову, а тот из всех сил.

Бабушка. Ну, уж мужчины всегда так! Один перед другим.

Шебаршин-отец (*закрывая глаза и слегка кланяясь*). Конечно!.. Извините, Настасья Ильинична; но вот изволите видеть... извините (*быстро открывает глаза*), это неделикатно.

Бабушка. Конечно, это ветренность со стороны ее. Она хозяйка и не должна допускать. (*Подходит к дверям залы*). Ольга! (*Делает туда знаки*).

Шебаршин-отец. Ну, да они сочтутся... молодость!.. (*Тихо детям*). Не ходите домой... танцы...

Надя (*тихо*). Пусть гордячка извинится...

Шебаршин-отец (*тихо*). Врешь, молчи! дурка, дурка!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Ольга. Музыка продолжает играть.

Бабушка. Что̀ это, мой дружок, у вас здесь вышло? Зачем это они хотят идти домой?

Ольга. Не знаю. Nadine?

Надя. Нет-с, душечка, вы знаете, знаете очень хорошо... Бог с вами! Я ничего не говорю...

Ольга. Разве я могу отвечать за мсьё Скорохватова? Странно!

Алексис. Вот уж это зачем же, Ольга Дмитриевна? Я разве не видал, как вы жгут сунули ему, а потом Текоцкому...

Бабушка. Э! Боже мой, их не разберешь! (*Шебаршину-отцу*). Пойдем посмотреть в залу, как танцуют. Сегодня, так и быть, уж под руку! (*берет его под руку*). Не пускай своих домой; что за глупости! Мы еще потолкуем с тобой. (*Шебаршин-отец, бросая значительный взгляд на дочерей, уходит под руку с бабушкой*).

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Ольга, Надя, Соня, Алексис.

Ольга. Не знаю, mesdames, за что вы на меня в претензии.

Соня (*глядя на сестру*). Мы не в претензии.

Надя. Мы очень горды! Мы не в претензии, а только зачем так вдруг меняться, душечка? Это нехорошо... Мы помним, как вы были прежде... прежде... Алеша, душка, иди, танцуй; нам надо по секрету...

Соня. Иди, иди!

Алексис. Что? танцовать? Ну, хорошо. Только приходите скорее... M-lle Ольга, позвольте вас просить на кадриль?

Ольга. Хорошо. Сейчас?

Надя. Нет, ты теперь, Алеша, душка... поди; а мы по секрету поговорим. И ты, Соня, иди.

Соня. Я зачем...

Надя. Иди, иди! (*Алексис берет Соню под руку и убегает вприпрыжку под такт польки*).

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Ольга и Надя.

Надя. Душечка, Ольга Дмитриевна... вам не стыдно?

Ольга. (*берет ее за руку*). Ах, Надя, мне так грустно! Я не знаю сама, что̀ делаю... Чем-нибудь рассеяться. Не говори, что я к тебе переменилась.

Надя. Уж не говори, уж не говори! Я тебя знаю давно: ты такая! Когда лучше нас никого не было, и мы были хороши. Мне все говорили, все! Помнишь, в саду мы с тобой сидели — помнишь? Видишь, какая ты непостоянная! Что̀ ты мне тогда открывала? А теперь? Я все знаю, душка, знаю, что ты влюблена в Зарайского: это все говорят. Зачем же ты нас совсем забыла и даже Алешу обижаешь?

Ольга. Ей-Богу, Надя, это я так... грустно!.. Да я и не виновата...

Надя. Не лги, не лги... лгушка скверная! Я ничего никому не сказала даже... Я знаю, папаша хотел... Видишь, я всю правду... Папаша хочет, чтоб Алеша на тебе женился, а я молчу... Ну, пускай... он глупенький, так ему надо быть счастливым, иметь такую невесту; а ты гордячка стала... Я даже Соне сестре ни словечка...

Ольга. Ах, Надя, прости...

Надя. Смотри же, душка! (*Обнимаются*).

Ольга. Я не скрою от тебя, Надя, ничего. Положение мое ужасно теперь: я люблю его страстно...

Надя. Вот видишь, я сейчас угадала. Оттого-то ты Алешу и обижаешь.

Ольга. Ей-Богу, нет. Слушай. Ты знаешь характер бабушки? Брат, не знаю почему, не хочет, чтоб я была за Зарайским. Александрина в него влюблена и ревнует меня. Все меня мучат, все терзают, все вооружились против меня; а я, бедная, одна-одинешенька! Надя, Надя, голубчик! неужели я всегда такая несчастная буду? хоть бы ты пожалела меня! (*Бросается к ней на шею*).

Надя. Вот видишь, душка, зачем ты Алешей пренебрегаешь? Лучше ты оставь это дело. Брат твой не хочет, чтоб ты была за Зарайским...

Ольга. Я его люблю, Надя! Надя, душечка, Надя, прости меня, не сердись! Я твоего брата очень жалею... только, ей-Богу, я не могу быть его женой. Я убегу с Зарайским на край света! (*Слышен вальс*).

Надя. Видишь! Что̀ в нем особенного? что он comme-il-faut — это правда. Глаза у него неприятные... Это оттого, что он из Петербурга, что он comme-il-faut; а ты гордячка.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и Скорохватов.

Скорохватов (*Наде*). M-lle (подает ей руку).

Надя (*Ольге*). Мы кончим после... (*Улетают галопом*).

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Ольга *одна (садится на диван)*. Где найду помощь? где я найду помощь? Боже мой, где я найду помощь?

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Ольга и Непрядов из боковых дверей. Музыка продолжает играть.

Непрядов. Что̀ это, Ольга, ты одна?

Ольга. Ах, Сережа! Я всегда сама наделаю глупостей. Я тебе не могу сказать всего...

Непрядов. Что̀ еще?

Ольга. Сережа! не препятствуй мне выйти за него замуж. Чем скорей, тем лучше... Я сегодня сделала боль-

шую неосторожность... Все семейство Шебаршиных против меня, а я ведь... Ну, да что!

Непрядов. Говори же...

Ольга. Я боюсь, чтоб не наклеветали на меня как-нибудь...

Непрядов. Да! это скверно; однако... (*прохаживается в волнении по комнате*). Надо тебе поскорее признаться... Я думал вчера и сегодня утром и нахожу это единственным средством помирить все... Надо признаться! Что ж делать! Я сам бы этого не хотел, да нельзя же, нельзя никак. Чорт знает, какие иногда штуки в жизни выходят!

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же и Бабушка.

Бабушка (*Непрядову*). Вообрази себе, мой друг, она опять наглупила! Шебаршины теперь на стену лезут. Везде себе взбалмашным и скверным нравом врагов сделает. И что ты тут сидишь? Иди танцовать. Это смешно...

Непрядов. Конечно, теперь не время толковать. Иди туда. (*Бабушке*). А мы с вами обстоятельно поговорим.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Алексис (*вбегает*). Ольга Дмитриевна, позвольте вас просить на тур. (*Ольга подает ему руку и они уходят*).

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Бабушка и Непрядов

Непрядов. Садитесь, бабушка...

Бабушка (*садится*). Ну, села...

Непрядов (*стоя*). Что ж это будет?

Бабушка. Я почем знаю? Ведь ты затруднения делаешь...

Непрядов. Кто ж вам мешает без меня все кончить?

Бабушка. Полно езуитничать, Сергей Дмитрич. Ты нас держишь. Ты знаешь, я не могу ей дать ни гроша... Домишко мой им будет не под стать: он привык жить в Петербурге; она любит увеселения. Ты сам сказал в письме своем. Оно, батюшка, у меня цело. Я ведь не во сне видела... Приглашает сюда человека, десять тысяч серебром по крайней мере обещает на приданое; а если можно, так и Троицкое за ней дам... Что?

Непрядов. Разве я отрекаюсь? Да войдите и в мое положение: разве я могу участвовать в деле, которое моей совести противно? Слушайте, бабушка (*садится*): характер у нее скверный... Вы сегодня видели новый пример?

Бабушка. Мерзкий! А сердце доброе.

Непрядов. Доброта как раз на собак и кошек обратится, а людям будет плохо. Ума у нее мало.

Бабушка. Она хорошо воспитана. Я употребила все усилия...

Непрядов. Нет, уж если хотите, чтоб я был откровенен... Воспитана она гадко — вы сами это знаете... (*Бабушка делает нетерпеливое движение*). Позвольте!..

Бабушка. Ну, ну!..

Непрядов. Десять тысяч и даже с Троицким, в котором сто душ, не Бог знает что; однако, прибавьте службу — с этим можно быть счастливым, если живешь душа в душу...

Бабушка. Он ее страстно любит, и она его...

Непрядов. Она — быть может, не знаю... А он? Не говорит ли в нем чувственность? Он подвижен, сангвиничен, молод... Она мила собой, белокура, иногда наивна и всегда ребячлива — а? как вам кажется? Быть может, он думает встретить в ней идеал непорочности, да и кто знает... быть может, надеется на связи, на протекцию! Протекция может, не сегодня завтра лопнуть, особенно при моей неспособности к интриге. Приданое небольшое, а

в характере нет ни глубины, ни чистоты, ни твердости. Он малый, вдобавок, с воображением, сколько я мог заметить, и, значит, небольшим не удовлетворится — а? Что̀ вы скажете?

Бабушка. Куда уж ка̀к скупость ты наследовал от матери твоей!

Непрядов. Оставим мать.

Бабушка. Денег жаль — признайся?

Непрядов. Не жаль, а не дам! Призна́ется, сумеет женить его на себе честно — ничего не пожалею! Вы знаете сами, что в скорейшем соединении их у меня есть свой расчет... (*Музыка играет медленное колено гроссфатера*).

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Входят танцующие. 1-я пара: Шебаршин-отец и Ольга; 2-я пара: Повалишин и Надя; 3-я пара: Офицер и 1-я девица; 4-я пара: Скорохватов и Надя; 5-я пара: Алексис и 2-я девица; 6-я пара: Зарайский и Александра Петровна. Все проходят мимо Бабушки и Непрядова, потом по авансцене и делают зигзаги по комнате.

Шебаршин-отец (*проходя мимо бабушки*). Настасья Ильинична, вы не ревнуете?

Бабушка. Attends, vieux roué!..

Шебаршин (*проходя по авансцене, Ольге*). Сердце ваше, я знаю, уже принадлежит не нам...

Ольга. Вы ошибаетесь. (*Отходят. Повалишин идет молча*).

Надя. Я молчу; я жалею ее... Все знают, что я добра... (*Отходят*).

Девица офицера. Из мужчины стать женщиной — это удивительно! Но родиться женщиной — о! это другое дело?

Офицер. Но, послушайте... (*Отходят*).

Скорохватов. Она и мне у Грибовых чуть-чуть не объяснилась в любви, в мазурке...

Соня. Гордячка, злюшка, бесстыдница!.. (*Отходят. Алексис, молча и рисуясь, проходит с своей дамой*).

Зарайский (*Александре Петровне*). Ведь это история с жгутом — вполне отсутствие такта. Я не могу простить. К чему это? Что̀ за манеры?.. (*Скорый темп. Все уходят в залу*).

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Бабушка и Непрядов.

Бабушка (*показывая Непрядову на Зарайского и Александру Петровну*). Посмотри, твоя-то, твоя-то! Рада-радехонька, что траур сняла, и не скрывает, что он ей нравится (*Смотрит на Непрядова с укоризной и состраданием*). Слабый и слепой человек! хоть бы из этого похлопотал, если она тебе так вскружила голову, поспешил бы сестру отдать... Слеп и слаб, слаб и слеп!

Непрядов. Напрасно вы думаете...

Бабушка (*всплеснув руками*). И ты еще колеблешься! Так у тебя, после этого, чувства ни одного прочного нет! Скупость превозмогает и любовь. (*Берет его за руку*). Сережа, дружок мой! быть может, это не скупость. Если это в самом деле те идеи, о которых ты говорил... оставь это, мой друг... поверь старухе опытной. Он уже взрослый человек, разум свой есть. Зачем рисковать? Ты же сам вполне разрешил ему возможность отказаться... Ну, если вдруг? И все мечты твои разлетятся в прах!.. (*Музыка играет медленный темп гроссфатера*).

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Танцующие входят снова.

1-я пара. Ольга (*Шебаршину-отцу на авансцене*). Послушайте, сердце женщины узнать нельзя...

Шербашин-отец. Однако седины...

2-я пара. Надя. Я знаю все ее секреты, божусь вам...
Скорохватов. Охота вам!
3-я пара. Девица офицера. Я вам говорю, родиться женщиной...
Офицер. Мужчина имеет больше силы воли.
4-я пара. Скорохватов. Конечно, меня руководил рассчет... Я увидал тотчас, что она пустая девушка...
Соня. О! вы злодей!...
5-я пара. Алексис проходит молча с 2-й девицей.
6-я пара. Александра Петровна (*Зарайскому*). У нее сердце прекрасное, мсьё Woldemar... И если вы думаете, что легкость характера может помешать счастью — напрасно. Такую женщину вам легче будет покорить себе. (*Скорый темп. Все уносятся снова*).

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Бабушка и Непрядов.

Бабушка. Видишь, с каким жаром? Так руками и рассуждает...

Непрядов. Удивительное дело! Кто просит вас заботиться о моем сердце? Поверьте, я вас никогда бы не избрал в поверенные моих тайн. Вы умеете вашими словами замарать все, что̀ есть лучшего в человеке... (*Встает в гневе*). Вы столько же меня не знаете, сколько я вас знаю...

Бабушка (*тоже встает*). Где же мне постичь такого глубокомысленного человека? А уж в этом, брат, не отвертишься! Влюблен и влюблен, и не знаешь, что̀ делать: хочется и рыцаря разыграть, и кокетку эту не упустить. Эй, не хитри, Сергей, не хитри... Попомни мое слово — пожалеешь! Отдай-ка лучше мне деньги; я мигом скручу все дело... (*Уходит*).

Непрядов (*один*). Разыграть рыцаря! Ведь как скажет! Так скажет, что сейчас бы, кажется, неперекор себе поступил, чтоб только не быть похожим на ее выражения! Разыграть рыцаря! Да и что за беда?.. Ведь важен конец... влияние на дела других важно... А что я перед самим собой буду важничать — большая нужда! Конечно, хотелось бы достичь до того, чтоб иметь право вглубь собственной души заглянуть гордо и спокойно... А она-то? Той ли я стороной предстану ей? Так ли она понимает вещи? Как довести до ее сведения всю мою борьбу... Ну, положим... (*садится и, развалившись, рассчитывает по пальцам, глядя на потолок*) завтра подам в отпуск — разрешат, конечно... А пока... Сегодня ночью пишу к ней и описываю ей все свои страдания... Оно стыдно как-то... Ну, да что ж делать! Завтра заставляю сестру признаться... Хорошо, положим, Зарайский прочь — она свободна, да ведь не сейчас же... Она успеет прочесть письмо, поймет, будет тронута... Положим, заманчивости, новизны во мне для нее мало... Но дружба, страстность ее натуры, общие интересы супружеской жизни... Дети... Еще как полюбит меня!.. (*Встает*). Когда она приехала сюда и я повез ее осенью за город смотреть окрестности, мы вернулись вдвоем вечером в карете. Я ей сказал: «Саша! женимся», а она отвечала мне: «Что ж, если нужно выходить другой раз замуж, так лучше всего за тебя! Ты знаешь, сколько я перенесла с этим больным стариком! Я хочу жизни и свободы страстно. Я не знала молодости; но я хочу, чтоб новый муж мой умел уважать память этого человека, которому я обязана всем своим состоянием... Он ведь любил меня...» И как сказала, как сказала, обратясь ко мне!.. Я помню, мы скакали шибко, и фонари, мелькая, озаряли милое лицо... «Он любил меня по-своему, старик... Друг мой, ты сумеешь это понять... Мы воспитаем хорошенько наших детей, которые будут, и разделим

вместе нашу старость»... Потом прибавила: «только позволь иногда пококетничать, только так, на балах». Боже мой, Боже! (*Поспешно уходит. Несколько минут сцена пуста*).

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Зарайский и Ольга.

Ольга. Пожалуйста, не говорите мне о ней. Если вам моего слова недостаточно...

Зарайский. Послушайте, Ольга Дмитриевна.

Ольга. Слушаю, слушаю...

Зарайский. Не так, как надо, с недоверием.

Ольга. С тех пор, как вы с нею стали проводить целые часы, я вижу в вас большую перемену.

Зарайский. Пустые подозрения! Наши отношения совсем другого рода... Я уверяю, мы говорим о вас.

Ольга. Никто вас не просит. Говорите обо мне со мной.

Зарайский. Я надеялся, что она может подвинуть наше дело. Она имеет влияние на вашего брата... Я признаюсь вам, что положение мое вовсе не приятное. Что̀ это такое? жених не жених. Брат ваш избегает встречаться со мною с глазу на глаз... Бабушка ваша вздыхает и говорит, что без денег нельзя кончить, что деньги у него... Ведь он не скуп? Александра Петровна говорит, что она ничему непричастна и что Сергей Дмитрич не всегда с ней откровенен. Объясните мне все это... На всех лицах недоумение какое-то. Я просто голову себе ломаю...

Ольга (*кокетливо*). Woldemar, неужели деньги нужны для нашего счастья?

Зарайский (*холодно*). Однако без них нельзя. Вы первая пожалеете. Куда мы денемся?

Ольга (*пристально смотрит на него*). А-га! Вы отворачиваетесь от меня? Я для вас не то̀, что̀ была прежде?

Зарайский. Я не ребенок; я знаю, что и моя привязанность к вам, быть может, не устоит против нищеты. Ваши роскошные привычки, ваш нетерпеливый характер... Даже Александра Петровна сказала мне, что вы не умеете владеть собою...

Ольга (*гневно*). Опять она? опять? Нет, я вижу, вижу, вы влюблены по уши... Если так, я сама вас знать не хочу. Но ей-то я отомщу — я все открою брату. Вы думаете, она равнодушна к вам? Что̀? Вы беседуете с нею... Она умная женщина, она владеет собой; а я ничтожна, ветрена... Еще бы! Ей не быть хорошей! Ей все везет, все удается. Вот любил ее брат; ей мало было этого; приехали вы — и тут удача... Я забыта, брошена, а ей принадлежит ваше сердце. Ну, да пускай, пускай!.. Придет время! (*Плачет*). Впрочем, я все это так; я знаю, она лучше меня... Ей-Богу, не шутя, лучше... У нее больше характера. Да я-то чем же виновата?.. (*Зарайский стоит молча и нетерпеливо постукивает ногой*). Не бросайте меня, не бросайте! прошу вас. Я буду для вас доброй женой, я буду рабой вашей... Что̀ вы велите, буду исполнять как раба — слышите ли, как раба!.. Неужели я и для этого не гожусь?..

Зарайский (*тронутый*). Перестаньте! Ну, дайте руку. Какая прекрасная рука!.. Разве может устоять мужчина против рабы, у которой такие руки? (*Целует руку*). Надо быть, однако, благоразумнее...

Ольга. Только?

Зарайский. Что?

Ольга. Только руку?

Зарайский (*целуя ее в лоб довольно сухо*). Вы дитя!

Ольга (*отталкивая его*). Подите прочь! У вас одно сострадание ко мне.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Те же и Александра Петровна.

Александра Петровна (*подходя*). Что̀ ж помирились?

Ольга. Тебя, кажется, слишком уж интересует моя судьба! Напрасно ты стараешься заступаться за меня; я вовсе не нуждаюсь ни в чьем сострадании — я для этого слишком горда. Прощайте. Желаю вам весело провести время. (*Уходит, не без гордости*).

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Александра Петровна и Зарайский.

Зарайский. Вот видите, где эта хваленая доброта? Ах, проклятая поспешность! Конечно, если б я знал...

Александра Петровна. Она измучена. Жени́тесь поскорее — все успокоится.

Зарайский. Легко вам говорить; а средства?

Александра Петровна. Я постараюсь, чтоб они были.

Зарайский (*задумчиво*). Конечно, раз посватаешься, не́чего делать; надо особые причины, чтоб не сочли подлостью со стороны мужчины... и отказаться. Уж не знаю, быть ли мне откровенным? Ну, все равно, я бы желал найти в жене своей друга, а не игрушку.

Александра Петровна. Теперь все стали так говорить, только не всякий в самом деле это чувствует... Вы ведь не знали ее нисколько, влюбились в ее личико. А теперь...

Зарайский (*смотрит на нее пристально*). Я раскаяваюсь.

Александра Петровна. Напрасно; она по вас (*смеется*).

Зарайский. Благодарю за комплимент.

Александра Петровна (*с удивлением*). Неужто уж вы до того охладели вдруг, что вам стыдно равняться с ней? Ведь она говорит вам, что любит вас?

Зарайский. Слишком много говорит. Она называет себя моей рабой: я не люблю такой навязчивости.

Александра Петровна (*качая головой*). А! как все, как все. Такие-то вы все!

Зарайский. Это закон природы. Трудность победы завлекает...

Александра Петровна. Это так хорошо... Ну, если вы уже любите? Как бы мне это вам объяснить... ну, например, я вас люблю, и вы меня... я говорю вам разные такие вещи... Нет нужды вам бросаться на колени, вы можете курить сигару или развалиться на диване, или там как-нибудь небрежно смотреть. Поверьте мне, что я сумею увидать сквозь самую небрежность вашу истинное чувство — так ли?.. Подите лучше, помиритесь с ней поскорее; она еще, верно, с бабушкой сидит наверху. Подите, подите; уж я знаю... я вам говорю.

Зарайский. Ну, хорошо, пойду, пойду. Конечно, надобно это чем-нибудь кончить. (*Уходя*) Ах, какое фальшивое положение! (*Уходит*).

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Александра Петровна (*одна*). Такой он? Такой, как все! Вот что значит снять траур! Сегодня я как танцовала, словно ожила. Зарайский стал мне как-то ненужен вдруг. И как это все глупо! Зачем я была так откровенна с Сергеем Дмитричем? Все бы это так и кончилось, и он бы, бедный, не тревожился по-пустому. Я вижу, что я могу отбить Зарайского, если захочу. И сейчас, как увидала, так он и ненужен стал... Какое гадкое самолюбие! Ведь и я, значит, ничем не лучше других; немножко только поскрытнее других — редко попадаюсь; а сама точно такая, как и все. Вот он, Сережа, так нет! То есть внутри

как-нибудь, может быть, да какое мне до этого дело? Вот если б я теперь пошла к нему. (*Подходит к окошку в сад и отворяет его*). У него в кабинете огонь... не спит, бедный, и верно, верно, обо мне... Пойти разве к нему? Он с ума сойдет от радости. А если нет, если он раз навсегда обиделся? Лучше завтра. Подумаю еще; завтра надену дикое платье и тот маленький, утренний чепчик, в котором... даже надобно будет косички круглые заплести: он их больше всего любит.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

(Утро. Кабинет Непрядова. свеча горит на столе. Сторы опущены).

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Непрядов, совсем одетый, пишет. Входит Слуга.

Непрядов. Это ты, Яков? что̀ тебе?

Яков. Ничего-с. Девять часов. Все встали. Александра Петровна спрашивали о вашем здоровье.

Непрядов. Ступай. Я позвоню, когда будет нужно. Ступай! (*Яков уходит*).

Непрядов (*встает и потягивается*). Будь что̀ будет, письмо готово. Пусть Ольга сегодня решится. Если мы с ней оба останемся не при чем, я тотчас же увезу ее за границу, а бабушке приличное содержание... Да не может быть, чтоб он отказался! Это грубо... (*Звонит. Входит Яков*). Где бабушка и сестра?

Яков. Здесь, в столовой, чай кушают.

Непрядов. Как кончат, попроси их сюда. (*Яков уходит*). Все-таки письмо... Не так же вдруг она за него замуж выйдет... Стыдно будет... А пока прочтет письмо, будет тронута. (*Пересматривая письмо*). «Мне не стыдно сказать тебе, что я даже и от сострадания твоего не отка-

зался бы. С тобой я узнал, какая бездна может существовать для любящего человека между одной женщиной и всеми другими. Разве, при твердой скрытности твоей, ты не сумеешь сладко обмануть, если и не уважаешь меня. Да и за что̀ не уважать? Я знаю, ты уважаешь меня рассудком и любишь дружбой, но обаяния во мне для тебя нет... Пусть и не будет его, лишь бы ты знала, ка̀к я страдал...» Довольно! (*Запечатывает письмо*). Ну!..

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Бабушка и Ольга входят и здороваются.

Бабушка (*любезно*). Ка̀к ты спал, мой друг?

Непрядов. Ничего. Садитесь, пожалуйста. Сегодня надо все решить.

Бабушка. Ну, слава Богу!

Непрядов. Я даю сестре, сверх десяти тысяч, Троицкое и отделаю в нем дом на свой счет. Только я требую, чтоб сегодня же утром она все открыла Зарайскому; иначе, не прогневайтесь, я и сам скажу. Откажется он — все ее; не откажется — тоже ее...

Бабушка. Не знаю, что̀ из этого выйдет! Ка̀к хотите, так и делайте.

Непрядов (*бабушке*). Урезоньте ее.

Бабушка (*расставляя руки*). Нет, нет! я решилась молчать! Пусть повеса эта делает, ка̀к ей угодно... Хоть я и знаю, что это пустяки, какие-то идеи — больше ничего! Признание... Жили же другие по пятидесяти лет вместе без признаний (*Разгорячаясь*). И что̀ за срам, что̀ за срам старухе, в мои лета, слышать подобные разговоры! Где знание света? Где приличия? В какой семье, позвольте узнать, слыха-ли подобную неблагопристойность? Сделала девушка проступок — родные знают и кончено — ни гугу! А это, это... (*поднимает взгляд к небу, потом, обращаясь к Ольге*). А в какое положение ты меня поставила, дорогая внучка — а?

Ольга (*в изнеможении, опуская руки*). Теперь конца не будет!

Бабушка. Молчи!

Ольга. Молчу, молчу-с...

Непрядов (*в сторону*). Господи!.. (*Громко*) Ольга, друг мой, послушай... два слова... (*хочет взять ее руку*).

Ольга (*отталкивая его*). Не хочу, не хочу! Вы родные мне что ль? Где у вас жалость? И какое ты имеешь право, желала бы я знать, вмешиваться в мои дела? Что ты можешь знать про мой секрет? Ты думаешь, я пленюсь этой деревней, которую ты мне даришь?.. Не нужно мне твоих сосновых лесов, твоей мельницы... Я пойду за Зарайского без приданого! Хочу — скажу ему все, не хочу — не скажу; хочу — буду гадкой женой, буду мучить его, ревновать... На тебя скажу, что ты научил меня хитрить, смеялся над его отцом — слышишь? Знаешь теперь мой характер?

Непрядов (*сухо*). Давным-давно! Бабушка, а вы что скажете?

Бабушка. Я? Я? Я боюсь рот раскрыть! Для ее же пользы отсрочила свадьбу, чтоб тебе не вздумалось лишить ее десяти тысяч, которые ты давно обещал. Все думала: быть может, образумится человек... Ждала, ждала — вот и дождалась! «Говори сейчас, а не то сама скажу!» Тиранический человек... (*Махнув рукой*). Иду, иду отсюда! делайте, как знаете... У меня в голове уж помутилось... Еще опять повредишь, пожалуй. (*Уходя, оборачивается*). Смотри, Ольга Дмитриевна, помощи моей после не проси!

Ольга. Не беспокойтесь. (*Бабушка уходит, продолжая ворчать, в середнюю дверь*).

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Непрядов и Ольга. (Ольга показывает, будто хочет тоже уйти. Непрядов берет со стола шляпу).

Ольга (*останавливаясь*). Куда ты?

Непрядов. К Зарайскому.

Ольга (*поспешно*). Постой! (*С притворной шутливостью*). Мне хочется знать, кàк ты скажешь. Братья никогда об этом не говорят: они всегда вызывают на дуэль...

Непрядов. Я скажу ему так: «Зарайский! у нас в семье есть тайна; в городе о ней знают многие; она касается прошедшего моей сестры: поговори с ней. Я не знаю твоего образа мыслей насчет женской репутации и не могу молчать, потому что обещал твоему отцу заплатить тебе за его добро...» Вот в этом роде...

Ольга (*отворачиваясь*). В этом роде! Обещал! Думает, что он похож на рыцаря... Chevalier de la triste figure...

Непрядов. Вот какую старую штуку сказала!.. (*Надевает шляпу*).

Ольга (*глядя вслед*). Ты поди в сад: он, верно, там с твоей Александриной... верно, цалуются там... Она давно уж влюбилась в него... (*Непрядов приближается к дверям, Ольга, проследив за ним несколько времени*). Сережа, Сережа! постой!..

Непрядов. Чтò?

Ольга (*берет его за руку и приводит назад*). Ты, значит, вовсе не жалеешь меня, не жалеешь?.. (*Заплакав*). Ты презираешь меня?..

Непрядов (*с жаром сжимая ее руку*). Ольга, помилуй! за чтò? Ты, стало быть, считаешь меня глупым подлецом... Разве можно презирать за ошибку, за любовь?.. Ради Бога, ты этого и думать не смей!.. (*Внушительно*) Да чтò ж делать-то? ты скажи, чтò делать!.. Я не могу представить себе, что он после скажет: «ловко надули они меня!», или кто-нибудь другой, всякий негодяй: «Непрядов устроил-таки сестру». И все Непрядов, Непрядов! Никто не скажет: «бабушка». И в его презрении я буду на первом плане... дà, в презрении. Ты думаешь, он не будет презирать тебя за твою хитрость?.. Надо же выйти нам всем из этого положения... тàк нельзя! Ты чего боишься? что он откажется после твоего признания? А я-то разве не боюсь, что он освободится?..

Ольга. В том-то и дело! Он стал очень много говорить с Сашей — я это давно увидала... И ты даже поху-

дел в эти дни; вот щоки какие у тебя... (*трогает рукой его щоку*).

Непрядов (*льстиво*). Знаю, знаю, что от женского глаза подобные вещи не уходят. (*Ольга улыбается самоуверенно*). Ну, Ольга! будь же честной девушкой. Поверь, ему не позволит отказаться самое великодушие нашей семьи, которая так откровенно предоставляет ему это право. Ну, что ж? решайся. Посмотри, как будет хорошо: совесть покойна, будешь обеспечена, красивая молодая дама... В Троицком дом отделаю я тебе на свой счет, так и быть. В приемную обои подарю — знаешь, те гладкие gris-de-fêr, как сукно; мебель гранатового бархата... Поживем еще, не бойся! А если откажется, поедем вместе с тобой за границу горе забывать, найдем там какого-нибудь транстеверинца... (*принужденно смеется*).

Ольга (*которая все время задумчиво слушала, вдруг торопливо*). Подожди! Знаешь ли что? Твоя правда... Я вдруг сейчас вспомнила одну вещь! (*замявшись*) Видишь... я... правда... была очень откровенна с одной девицей здесь, в городе... Если до него дойдет?

Непрядов. Кому же это ты?..

Ольга. Ну, этой Наде Шебаршиной.

Непрядов. Господи! Вот видишь (*берет со стола шляпу*), мне надо ехать. Смотри же, кончай скорей... Пойдем, поговорим... проводи меня... (*Уходят вместе, продолжая разговаривать*).

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Александра Петровна (*входит из дверей направо*). Где же он? Всю ночь у него горел огонь... Вот и бумаги набросал. Что он такое делает? (*осматривает стол*) Не пошел ли он одеваться? (*Входит Яков из средних дверей с щоткой*).

Александра Петровна. Здравствуй, Яков. Барин где?

Яков. Оделись и уехали.

Александра Петровна. Куда? Не знаешь?

Яков. Не знаю-с.

Александра Петровна. Отчего у него всю ночь горел огонь?

Яков. Не почивали очень долго, что-то писали. В шесть часов опять встали... И что-то вещи сбирать приказали. Так бы думать надо, что хотят ехать в дорогу куда...

Александра Петровна. Право? А что̀ это он писал такое, ты не видел?.. Письма или бумаги какие?

Яков. Конвертов пять запечатали.

Александра Петровна. Покажи. (*Яков открывает портфёль на столе; Александра Петровна, пересматривая надпись*). А! одно ко мне. Я его возьму. Только ты не говори, пожалуйста, что я взяла... пожалуйста, Яков — слышишь?

Яков (*смеется*). Слушаю-с. (*Александра Петровна поспешно уходит, Яков за нею*).

Перемена декорации. (Дом Шебаршиных).

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Надя и Соня, шьют.

Соня. Удивляюсь, какая у тебя охота гоняться за ее дружбой? Я все их семейство терпеть не могу: противные... ужасно много о себе воображают...

Надя. Ты глупенькая; я тебе говорю, что ты глупенькая! Я разве ищу ее дружбы? — Нисколько. Я не хочу спускать ей. Не хочу, чтоб она нос подымала. Помнишь, прошлого года, бывало, каждый вечер то я у нее, то она у нас. Все свои секреты мне поверяла...

Соня. Хороша уж и ты! Сестре своей ничего не скажешь: скрытница! Важничаешь, что с дурацкой Ольгушкой Непрядовой дружна и форсишь...

Надя. Ты все ругаешься! Вот я хотела сказать — теперь не скажу.

Соня (*ласкаясь к ней*). Душка, Надя, прости! Скажи, голубчик, что̀ такое? Скажи, скажи... Вот ты какая!.. Скажи...

Надя Зачем?

Соня. Голубчик, душка, ангел небесный!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Алексис.

Соня. Ангел, душка... Она вот секрета не хочет сказать об Ольге. Ты влюблен в нее — попроси, чтоб сказала...

Алексис (оживляясь). Скажи, голубчик Надя, что̀ такое? ну, ну?..

Соня. Ну, Надя! (*Надя молчит и смотрит вверх*).

Алексис. Надя!

Надя. А что̀ сделаешь?

Алексис. Что̀ тебе сделать? Что̀ хочешь — все сделаю.

Надя (*подумав*). Выпроси у папаши лошадь и свези меня сегодня к Грибовым...

Алексис. Поди-ка сама попроси! Нет, уж это нет... Папаша!..

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и Шебаршин-отец.

Шебаршин-отец. Кто это мое имя всуе поминает — а?

Надя. Очень нужно — всуе! Скажите, страшный какой! Это только вот Алеша вас боится.

Соня. Папаша, велите ей сказать секрет...

Шебаршин-отец. Какой?

Соня
Алексис } Про Ольгу Непрядову.

Шебаршин-отец. Хорош секрет! Весь город его знает... что она за Зарайского замуж выходит — это, что̀ ли?

Надя (*значительно улыбается*). Получше!

Шебаршин-отец. Что ж это? Про Неверовского, что ли?

Надя. А! вы знаете?

Шебаршин-отец. Кто это не знает?

Надя. Да, по слухам! А мне она сама все рассказывала, как они сидели в беседке... как что...

Шебаршин-отец. Какой же результат? Чему ты рада?

Надя. А вот тому, что она меня боится...

Шебаршин-отец. Самолюбие! Лестно! Глупая, дурочка ты... Существенная польза где? результат? Послушай, добро и зло распространены, изволишь видеть...

Соня. Ах, Боже мой! (*затыкает уши*).

Надя. Что это? опять проповедь начали...Избавьте!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же, Скорохватов и Повалишин.

Скорохватов. Vôtre très-humble serviteur, mesdames.

Повалишин. Здравствуйте... (*Все здороваются*).

Скорохватов. Мы были сейчас у Непрядовых, не застали его дома, а дамы не приняли.

Надя. Мы сейчас говорили об Ольге... Я говорю, что она меня боится.

Скорохватов. Право? Почему ж? Это любопытно.

Надя. Вот боится — ничего не смеет!

Скорохватов. Скажите!

Шабаршин-отец. Дичь порет! Что ее слушать! Вся штука в том, что та ей наделала различные конфиденции, а эта вообразила, что Ольга боится... до жениха, дескать, дойдет... Точно кто станет доносами заниматься... Ясно... молодость... вранье...

Скорохватов. А знаете ли, она ведь неприятная девушка? она очень способна забываться... Намедни у Грибовых на вечере я из одного чувства рыцарства, относительно женщин, удержался, чтоб не наговорить ей дерзостей... Вообразите, приглашаю ее на мазурку: «avec plaisir», а после

подходит и извиняется, что она Зарайскому еще накануне обещала... «Я так рассеяна! хочу, говорит, записную книжку завести». Какая смелость! Это не в бровь, а прямо в глаз.

Надя. Видите, какая она! Я ей простить не могу ее гордости.

Скорохватов. Нет, но это... это, сами согласитесь... это чорт знает что̀ такое!

Шебаршин-отец. Явный...

Алексис. Она всегда так.

Повалишин. И вы то же? Вы ведь влюблены в нее?

Алексис. Прежде был, а теперь уж что̀ ж!..

Повалишин. Э-эх, господа! Охота вам на девчонку обращать внимание, точно она одна на свете, точно у Непрядовых в доме свет клином сошелся!

Шебаршин-отец. Не говорите этого, Семен Васильич. Непрядовы играют во всех отношениях одну из первых ролей в городе, и потому...

Скорохватов. Должны показывать пример общежития... Девушка должна возбуждать мужчину, увлекать, а не отталкивать.

Надя. Надо ее проучить.

Соня. Да ка̀к ее проучишь?

Алексис. Она смеется над нами. Соловцов сказывал мне: «что̀, говорит, ты думаешь, ты ей нравишься?» Это Соловцов мне...

Шебаршин-отец. Слышишь, слышишь? Соловцов...

Алексис. Она с ним танцовала кадриль и говорит: «какая, говорит, вам охота так часто у Шебаршиных бывать?.. Они такие mauvais genre. Старик — это на папашу — старик, говорит... Уж я не знаю, папаша...

Шебаршин-отец. Говори!

Алексис. «Старик, говорит, несносный такой, противный; а барышни, говорит, и говорить о них не сто́ит» — ей-Богу, папаша, ей-Богу! Соловцов...

Шебаршин-отец. Какова? Гм! это выходит, подлец она!

Скорохватов. Я говорю: дерзкая...

Надя. Злюшка негодная!

Повалишин. Это уж скверно! Злословие, выходит, с ее стороны.

Соня. Ах, Надя, отплати ей... Ты такая...

Скорохватов. Знаете ли, мне даже жаль Зарайского: он такой прекрасный малый!

Повалишин. Человек с образованием...

Скорохватов. Знаете ли что̀? Я предлагаю кабаль. Проучить ее! Открыть глаза Зарайскому на все. Они хотят всей семьей его окрутить — а? ка̀к вы находите?

Надя. Правда, правда!

Соня (*прыгая*). Та̀к. та̀к, ей-Богу!

Шебаршин-отец. Постойте; надо зрело... Алексей, ты не сочинил? Впрочем, где тебе!

Скорохватов. Я предлагаю призвать сюда Зарайского и открыть ему дружески все...

Повалишин. Могут выйти неприятности...

Шебаршин-отец. Гораздо лучше анонимное письмо... Поверьте, я знаю свет...

Повалишин. Конечно, это безопаснее. Да бросьте вы это дело!

Скорохватов. Пожалуй, письмо. Ну-с, большинство голосов. Я: письмо.

Надя. И я!

Соня. Письмо!

Все. Письмо, письмо!

Скорохватов. Прекрасно! Пожалуйте чернила и перо... (*Садится к столу*).

Соня (*подвигает ему все, что нужно*). Пишите, пишите скорее...

Скорохватов (*громко*). Monsieur!

Шебаршин-отец. Во-на! Кто ж пишет анонимные письма так? (*Другим голосом*). «Человек искренно интересующийся вами, желает предупредить вас...» Или: «Зарайский, вы обмануты!»

Скорохватов. Пожалуй так... (*пишет*).

Повалишин (*хохочет*). Эка! Не́чего делать... Ничего, ну-ка, ну-ка! Хе-хе-хе!

Алексис. А кто понесет?

Надя. Я пошлю горничную.

Шебаршин-отец. Вздор! Надо неизвестного, кучера или дворника какого-нибудь. У Зарайского окно всегда почти в сад открыто: можно и подбросить...

Алексис. Папа́, позвольте мне бросить письмо.

Шебаршин-отец. Напутаешь. Впрочем, и то правда, зачем мужику зайти в сад. Бросай хоть ты; смотри только, окно с правой стороны второе. Будет темно. На углу пролетка будет ждать... Вошел в калитку, нет никого... осторожно на окно... Встретился кто — не конфузиться, смело в дом и будто в гости — слышишь? Привыкай, привыкай быть человеком, действуй!

Скорохватов. Позвольте... (*встает и читает громко*). «Зарайский, вы обмануты, грубо обмануты! Мне жаль вас, добрый Зарайский. Вы жертвуете всею жизнью вашей, вы связываете себя неразрывно с существом недостойным. Девушка эта запятнана в прошедшем, имеет дурной характер, и семейство заманивает вас в сети. Берегитесь, берегитесь! Таинственный друг следит за вами, бедный молодой человек!..» Я подписал X, Y, Z.

Все. Браво, браво, браво!

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Комната та же, в доме Непрядова, что́ во втором и третьем действии. Вечер. Дверь на балконе отворена.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Александра Петровна (*входит и зажигает свечу на столе, потом вынимает письмо*). Еще раз посмотрю... Он совсем испугался, думает, что я его уж совсем разлюбила... (*Читает*).

«Ты знаешь, Саша, любовь без воображения, точно цветок без запаха. Воображения я не умел возбудить в тебе... Пусть будет так; но узнай же, Саша, на прощанье, что из мысли о тебе я почерпнул всю силу, которая мне была нужна, чтоб не остаться праздным зрителем в деле бедной Ольги и Зарайского, к которому сердцем я охладел теперь вовсе»...

Так и знала, что он это скажет!.. (*Нюхает письмо*). Какая душистая бумажка!.. Куда это он хочет ехать? (*Задумывается*).

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Александра Петровна и Зарайский. (Александра Петровна поспешно гасит свечу и прячет письмо).

Зарайский (*ставит шляпу на рояль*). Здравствуйте. Я везде вас ищу... Все утро я не был дома... Я не могу быть ни минуты на месте... Мое фальшивое положение... Вчерашний вечер и поведение Ольги Дмитриевны... Я раскаялся, что послушался вас... Насилу, насилу она согласилась, что виновата! Удивительное дело... И мягка некстати, и упряма некстати. Ну, что ж вы мне ничего не скажите, не ободрите меня? Войдите в мое положение...

Александра Петровна. А вы войдете в мое? Прощайте. Я пойду в сад, а вы останьтесь здесь... Ольга опять...

Зарайский. Что за ребячество! Я знаю, что она ревнует. Здесь не место ревности... Конечно, вы предстали мне в новом свете со вчерашнего вечера...

Александра Петровна. Она даже не простилась со мной, когда пошла спать, за то, что вы со мной говорили целый час... Я не могла уверить ее, что разговор был о ней. Прощайте. Я пойду в сад. (*Ласково*) Не ходите за мной, m-r Woldemar. (*Идет к дверям балкона*).

Зарайский (*следуя за нею*). Куда вы бежите? Я сочту себя опасным человеком... Вы сделаете меня самоуверенным!..

Александра Петровна. Для этого мне не нужно стараться! Вы и без того...

Зарайский. Объяснимтесь. Это лучше.

Александра Петровна. Ах, не надо! все очень ясно. Мы даже с вами похожи друг на друга: любим создавать себе впечатления, без которых очень можно прожить... Пожалуйста, останьтесь... (*Зарайский делает движение вперед*).

Александра Петровна (*останавливаясь, с выражением упрека*). M-r Woldemar! я вас прошу...

Зарайский. Нейду, нейду... (*Александра Петровна спускается с балкона*).

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Зарайский (*один, провожает ее глазами*). — «Мы любим создавать себе впечатления!» Да. Это решительный картель! Она решительно кокетничает со мной. Чего она от меня хочет? (*Весело*). Дорого бы я дал, чтоб знать, что̀ делается в душе за этими чорными глазами! (*Садится*). Вчера я не мог добиться от нее ничего насчет препятствий к моей свадьбе: ничего не сказала. Какая умная, хитрая женщина! Я сначала, за красотой Ольги, и не заметил ее... Ольга клянется, что она в меня влюблена... В иную минуту я просто боюсь сделаться мужем Ольги. Вчера она себя так дурно выставила: до грубости была ревнива — и ничего не умеет скрыть... А если мое чувство остынет, какая будет выгода в этом браке? Нет, надо кончить чем-нибудь... Уж эта мне m-me Alexandrine! Целую неделю стараюсь выпытать что-нибудь... (*Берет шляпу*). Пойду к ней... уж ка̀к она там хочет, а я пойду. (*Идет к балкону, но в дверях сталкивается с Алексисом, который с хохотом хватает его за талию*).

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Зарайский и Алексис.

Алексис (*с выражением живейшей радости жмет руку Зарайскому и увлекает его на середину комнаты*). А-а! Ха-ха-ха! Вот встреча! Я уж думал, что дом пустой... Был у вас во флигеле — нету... Вы все здесь... Ха-ха-ха... (*снова жмет ему руку*). Вас никогда не застанешь...

Зарайский. Я и теперь намерен уйти на бульвар.

Алексис. Ну вот отлично! И я пойду: вдвоем веселее — ей-Богу! Вот мы с Соловцовым всегда ходим вместе. Знаете, тоже как стемнеет... Ха-ха-ха! Погодите, я вот Ольге Дмитриевне скажу, что вы поздно ходите на бульвар... Что? (*снова хватает его за талию*). А! какое трико! (*Озабоченно*). Где вы покупали это трико?

Зарайский (*с досадой садится*). Это еще петербургское...

Алексис. А! (*Игриво*). Знаете, Владимір Юрьич, я с вами ужасно люблю на бульваре... У вас все знакомые такие comme-il-faut... (*Убедительно*). Послушайте: скажите мне по правде, Владимір Юрьич, вы сватаетесь за m-lle Ольгу? Я — ей-Богу, честный, благородный человек — никому не скажу...

Зарайский. Какой вздор! Во-первых, ее за нас с вами никогда не отдадут...

Алексис (*серьезно*). Вот видите! А я слышал, что она в вас влюблена и вы в нее. (*Вздыхает*). Я сам тоже в нее влюблен — ей-Богу! давно уж. Да если за вас не отдадут, за меня и подавно. А папаша говорит, что это вздор,что отдадут... (*Озирается*). Подите сюда, подальше, встаньте... Я вам, знаете, такую штуку скажу... секрет; только вы, смотрите, честное слово: никому... честное слово?

Зарайский (*нехотя встает*). Ну, хорошо, честное слово... (*подает ему руку и смеется*). Что̀ за штука?

Алексис (*озираясь снова, вполголоса*). Ей-Богу... Такой секрет! Вы, может быть, лучше знаете... Знаете — папаша... это я вам откровенно... очень желает, чтоб я женился на ней... Они даже часто говорят об этом с сестрицами... Только папаша говорит, что это невозможно, потому что у меня чина еще нет. Прокурор в среду...

Зарайский. Да вы короче.

Алексис. Ну, хорошо. Вот только папаша сейчас и говорит, что Настасья Ильинична рада, говорит, за кого-нибудь ее выдать, потому что, вот видите... Ха-ха-ха! Ну, знаете?..

Зарайский (*беспокойно*). Право, не знаю. Говорите!

Алексис (*с увлечением*). Честный, благородный человек — все это говорят. Я думал, вы лучше знаете, как в доме так дружны... Все, все! Даже сестрица Надя... она прежде часто сюда прошлого года ездила... сестрица божится, что Ольга Дмитриевна сама признавалась ей об этом чиновнике из Петербурга... князь Неверовский, когда еще они жили вдвоем с бабушкой в том городе, приезжал, говорит, правовед... châtain такой, худощавый, с бакенбардами; воротнички, говорит, à l'anglaise... Тогда еще их у нас никто не носил... Как они в беседке сидели...

Зарайский. Вы понимаете ли, что̀ вы говорите?

Алексис (*опять хватая его за руку*). Ха-ха-ха! Влюблены вы — а? Покраснели, ей-Богу, покраснели! (*Серьезно и понижая голос*). Нет, честный человек, так... Все, все говорят, что она... (*наивно*). А я женюсь, право женюсь! Ну, что ж за беда? Какие связи!.. какой...

Зарайский (*прерывая его*). Послушайте, однако, слова эти воротить нельзя... Хоть я и не жених, но... смотрите... Непрядову я обязан... Прощайте. (*Отходит к дверям*).

Алексис (*про себя*). Господи, что̀ ж это я сделал!.. Ну, как он меня... (*Спешит за ним*). Владимір Юрьич, позвольте, позвольте!..

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Шебаршин-отец.

Зарайский. А! вы очень кстати. Заметьте вашему сыну, что скверно сплетничать про дом Непрядовых, где вы хорошо приняты... Я хоть и чужой человек, а все-таки не хочу...

Шебаршин-отец (*подавая ему руку*). Как? как? Pardon, pardon! повторите...

Зарайский. Я вам говорю: ваш сын сплетничает про девушку, марает ее репутацию...

Шебаршин-отец (*смотрит на сына*). Пссс... пссс... (*Алексис, молча, вертит в руке шляпу*).

Зарайский. Это гадко, очень гадко. До свиданья.

Шебаршин-отец. Пссс!... (*Зарайский быстро уходит в сад*).

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Шебаршин-отец и Алексис.

Шебаршин-отец (*продолжая наблюдать сына*). Про Неверовского, что̀ ли, хватил? (*Нюхает табак, не спуская с него глаз*).

Алексис. Да я... он влюблен, ей-Богу!... Я ему так начал...

Шебаршин-отец. Говори: про Неверовского?

Алексис (*вздохнув*). Да-с! Да я...

Шебаршин-отец. Стой! Чего ж ты струсил — ну? А письмо?

Аленксис. Я было пошел... окно было заперто...

Шебаршин-отец (*улыбается*) Молодчина!... Цель достигнута... Ты исполнил. Видишь, освирепел как?... Жених!.. Пойдем, однако. Не было бы каши здесь... Ничего, ничего! Идем, идем!.. (*Идет к садовым дверям*).

Алексис (*следуя за ним*). Ну, а как он на дуэль?

Шебаршин-отец (*останавливаясь, с сожалением смотрит на сына*). В твои лета я стрелялся... Майор-соперник прицелился... «Шебаршин, говорит, ты молод, ты побледнел, тебе хочется жить!» — и опустил пистолет... (*гордо*). Не бойся — вот ответчик! (*указывает на свою грудь*). Идем! (*Уходят в сад*).

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Непрядов и Ольга.
(Он ведет ее под руку; оба смущены).

Непрядов. Постой, поправь волоса. Что̀ ты так растрепалась?.. Дай я тебе поправлю — вот так. Иди, душа моя... Ах, Ольга, Ольга! Дай Бог, чтоб наше дело кончилось хорошо для нас обоих!

Ольга. Едва ли! Сердце у меня что-то ноет, Сережа...

Непрядов. Я думаю, будет ныть! Разве легко? Да и мне тоже нелегко, Ольга... Ну, иди... Он должен быть здесь, в саду... Да смелей, прямее к делу... Ну, Бог с тобой... (*целует ее в лоб*).

Ольга (*крепко жмет его руку*). Смотри, Сережа... Не брось меня после... если...

Непрядов. Ну, ну! (*Ольга скрывается на балконе*).

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Непрядов (*один*). Чего ж больше. Что̀ я могу еще? Ведь и у этой девушки есть женский стыд, и ей мечтать хочется... (*Положив руки в карманы, прохаживается по комнате несколько раз молча; потом подходит к садовым дверям*). Ничего не слыхать. Я бы, на его месте, не то, чтоб не отказался... Ведь он не знает, что я Ольгу заставлял... Добровольное признание так мило! Если б Саша, например... Господи Боже мой! рад бы радехонек был иметь

случай простить, да вот нет... (*Помолчав, еще раз подходит к дверям*). Гм! Пустота, пустота в душе... Устал, так устал, что и любви как будто нет следа... Не спишь ночью, и беспрестанно старик как живой... Живого вижу: седой хохол и бакенбарды, халат с красными цветками, чубук с перышком... Кабинет маленький, душный. Он толкует, а я слушаю... «Побереги, смотри, моего Володю, когда поправишься, побогатеешь; не нужно лишнего... люби его хоть столько, сколько я тебя, Сергей». Полюбишь тут!... Хоть бы минутное, хоть бы легкое дыханье гордости, полной гордости на один час!.. Где тут! Все видишь щелку эгоизма и расчета... Видно, не сочинишь себе обстоятельств для подвига, если нет судьбы — да! (*Вдохнув, лениво садится*). И к чему это письмо? Хорош идеал!... Удалось раз пострадать в пользу чести... да и то расхвастался! Как можно без проклятой щелки... (*Махнув рукой*). Нет, разорву пойду его... что будет — будет! (*Встает*).

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Ольга поспешно входит с балкона.

Непрядов (*быстро*). Что? (*берет ее руку*).

Ольга (*вырывая руку и хватаясь за голову*). Оставь, оставь меня... Поди...

Непрядов. Что-о?

Ольга. Оставь, говорят... Господи... (*Закрывает лицо руками и бежит в среднюю дверь*).

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Александра Петровна и Зарайский входят, разговаривая, с балкона.

Зарайский (*не замечая Непрядова*). Нет, нет... Это невозможно. Какой-нибудь Шебаршин, и тот... (*Увидев*

Непрядова, останавливается на минуту, потом поспешно идет к роялю и берет свою шляпу. Александра Петровна подходит к столу и, повернувшись спиной к Зарайскому и Непрядову, очень долго зажигает спички и свечу, переставляет вещи, свертывает свои перчатки, словом, показывает будто занята. Зарайский хочет идти).

Непрядов (*который все время следил за ним, глухим голосом*). Ты уходишь?..

Зарайский (*не оборачиваясь, также неясным голосом*). Иду... А что?

Непрядов. Идешь?.. А что ж с Ольгой? Ведь я знал...

Зарайский (*поспешно оборачиваясь*). Чего ты хочешь от меня?.. Я готов на все... Выгони меня из дома... Влепи мне пулю в лоб... Как хочешь, я готов; мне все равно...

Непрядов. Да ты скажи, в чем дело... правду...

Зарайский. Как тебе не совестно спрашивать? Я напишу тебе обо всем... Теперь оставь меня в покое... (*Скорыми шагами уходит на балкон*).

Непрядов (*смотрит на Александру Петровну*). Что такое Шебаршин?..

Александра Петровна (*не оборачиваясь к нему*). Шебаршин Алексис ему прежде сказал...

Непрядов. И тут не удалось! Нет, я так оставаться не могу! (*В сад*) Зарайский! Зарайский!

Александра Петровна (*бросаясь к нему*). Сережа, зачем? Что ты? Бреттером хочешь быть... Ведь ты сам ему позволил...

Непрядов. Не тревожься; крови не будет... Зарайский! на минуту!.. (*ей, не без злобы*) Любопытно бы знать, за кого это ты так трепещешь...

Александра Петровна. Конечно, за тебя...

Непрядов. О, да... конечно! (*Зарайский показывается в дверях*). На минуту, на минуту... важный вопрос...

Александра Петровна. Мне уйти?

Непрядов. Как можно! Без вас нельзя... (*Берет Зарайского за руку и почти насильно подводит к ней*). Ну, вот он, свободен...

Зарайский. Это что̀ еще?

Непрядов. Он свободен, Саша... (*Все молчат*).

Непрядов. Что̀? приличия? Есть когда думать о приличиях! Неделя назад, я сам их любил... Я не мучу, Саша... (*Спокойно*). Будем просты... Он тебе нравится — скажи, и все кончено... Умоляю тебя, не оставляй меня еще в проклятом недоумении... Зарайский, спроси ты...

Зарайский (*стараясь освободиться*). Помилуй, что̀ с тобой, Непрядов?..

Александра Петровна (*смеется*). Кто вам дал право распоряжаться моей судьбой?.. Быть может, я ни того, ни другого не хочу...

Непрядов (*берет ее руку*). Саша! говори... Хоть раз пожертвуй мне несносною скрытностью... Скажешь, что я твой избранник — поцалую эту милую руку... (*Словно развеселившись*). Да, впрочем, я и без того... (*Цалует ее руку*).

Зарайский. Да на каком основании, послушай ты... (*За сценой слышится крик; все прислушиваются. Голос бабушки за дверьми*). Пусти, пусти!.. Нет, нет! Буду кричать! Пусти сейчас... (*Средняя дверь отворяется с шумом, и бабушка вбегает, за нею Ольга, стараясь ее удержать*).

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Те же, бабушка и Ольга.

Бабушка (*к Непрядову с яростью*). Что̀, что̀, злодей?.. доволен ты? Погубил сестру! погубил ее карьёру, репутацию — а? — Рад, рад? Говори же: рад, что ли? Бессовестный клеветник!..

Ольга (*к нему же, с умоляющим видом*). Сережа! не слушай ее... Я говорю: Шебаршин — не верит! Я ее не пускала, да не могла...

Вместе

Непрядов. К чему такой шум?

Бабушка (*подступая к нему*). Ты думаешь, что ты сел на важное место, так я буду церемониться, побоюсь тебя? Гм! Да я выше найду дорогу... Я бумажную штуку получше твоего знаю, батюшка мой! Я заставлю тебя отдать деньги сестре... (*Зарайскому*). И вы верите ему, ей? (*Указывая на Александру Петровну*). Вы верите их клеветам? Вы не сумели понять, что это все десять тысяч? — Надо дать их... А где эти... где десять тысяч, что̀ сестре своей родной, бедной, беззащитной девушке, обещал, где?.. (*отступая шаг назад и указывая снова на Александру Петровну, которая, стоя, облокотилась на спинку кресла позади Непрядова*). Вот на нее, на нее все просажено... На эту хитровку, на эту...

Непрядов. Бабушка! что̀ угодно, а кузину у меня в доме не трогать!

Бабушка (*с остервенением делая книксен*). Извините, pardon, что обидела такую прекрасную даму... Mille pardons! (*Переменяя голос на самый толстый*). Глупый, глупый ты человек, дальше носа своего не видишь ничего, а туда же хитришь... Я сама хитра и чужие штуки от моего глаза не уйдут. Ты, по ее наущениям, наклеветал на сестру; а она любит тебя, что̀ ли? Шуточка ли! Шебаршин наговорил! Ах, он негодный! Да смотри (*указывая на Александру Петровну и Зарайского*) — вот, вот интрига-то! Ты не видишь, что это все придумано заранее, чтоб тебя провести?.. Она ему сказала (*на Непрядова и Ольгу*), а вы оба, мои голубчики, умные, и поверили...

Зарайский. Настасья Ильинична, поверьте, что Шебаршин причиною этой (*ударяя*) клеветы... Я обязан...

Бабушка. Молчите! я и вас теперь знаю...

Непрядов (*вне себя*). Довольно! Наверх, наверх! С умалишенными надо силу... (*Подходит к ней*).

Бабушка. Что-о-о? чудовище! Я твою мать родила!

Зарайский (*выступая вперед*). Позвольте, позвольте, ради Бога... Я вижу, что это все одна клевета... одна клевета... Если я причиной таких раздоров, я не хочу...

Ольга Дмитриевна, простите... Я прошу вас забыть мои слова... умоляю вас... позвольте опять быть... (*Все ждут. Бабушка с нетерпением глядит на Ольгу*).

Ольга (*взволнованным голосом, проходя между Непрядовым и бабушкой*). Благодарю вас, мсьё Зарайский... Мне сострадание не нужно... Какая клевета? (*С удивлением*). Перед Богом говорю, что все правда, что̀ сказал Шебаршин! Но женой вашей я не хочу быть и не буду! (*Заплакав, отходит*).

Бабушка (*подняв руки к небу*). Господи! думала ли я дожить до такого скандала? (*Закрывает лицо руками*).

Непрядов (*сестре, с теплотою*). Ольга! браво!..

Зарайский (*про себя*). После этого, что̀ мне еще сделать? (*Незамеченный, удаляется через балкон. Молчание*).

Бабушка. Послушайте... (*Открывает лицо и вдруг обращается в сторону, где был Зарайский*). Ушел! каково? (*Непрядову*) Чему же ты рад? — скажи мне. Ее не любишь — сестру, так хоть бы меня, старуху, которая твою мать девять месяцев, родную твою мать, носила... меня бы пожалел хоть немного... (*плачет*). Ты еще не знаешь, что̀ такое старость... сам не был... Куда, куда я денусь с нею... Стара, без силы, без денег... и характеры наши с ней! Хоть подумал бы обо мне: ведь я до гроба близкого отдохнуть бы рада, отдохнуть... (*Махнув рукой, встает*). Бог с тобою, Бог с тобою... куда я денусь с ней, куда?.. (*Хочет уйти*).

Непрядов. Бабушка, поверьте, если только в деньгах дело... завтра же...

Бабушка (*продолжая тихо плакать*). Как хочешь, это твое дело... Прощайте... поеду опять в свой немощеный переулок доживать дни... Прощай и ты, Ольга Дмитриевна! Я тебя не держу... оставайся у брата, коли хочешь... Вспомни иногда злую старуху, сварливую... Прощайте... Завтра же, завтра уеду!.. (*Уходит*).

Ольга (*утирая слезы*). Нет, я с вами, с вами уж... (*подходит к брату*). Прощай...

Непрядов. Останься, Ольга, если хочешь... Дом мой к твоим услугам... Троицкое твое...

Ольга. А она как же, бабушка?.. Нет, уж и я с ней... Видно, так судьба... Прощай, Сережа... (*Уходя, оборачивается*). Прощай, Сережа!..

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Непрядов и Александра Петровна.

Непрядов (*опускается на кресло, не замечая ее*). Уф! (*Как бы отдыхая, проводит рукой по лицу*).

Александра Петровна (*наклоняясь к нему*). Поедемте кататься; вам нужен свежий воздух. Поедем за город.

Непрядов (*поспешно вставая*). Вы здесь?

Александра Петровна (*как ни в чем не бывало*). Здесь. Поедемте. Я велю заложить коляску. Посмотрите, луна какая!

Непрядов (*застегивая пальто с озабоченным видом*). Отчего ж, если вы хотите... (*Вынимая часы*). Однако уж десятый час... скоро ночь... Вы не боитесь?

Александра Петровна (*берет его под руку*). Чего бояться? Что в городе говорить будут? Это ничего. Ведь вы на мне женитесь — не правда ли?.. (*Посмотрев друг на друга, смеются весело*).

1856.

СУТКИ В АУЛЕ БИЮК-ДОРТЭ

До названия, впрочем, нам нет особенной нужды. Быть может, деревенька называлась как-нибудь иначе — Кучук-Кой, или Кипчак-Элли; нужно нам знать только, что стояла она у подножья большого голого холма, какие часто попадаются в волнообразных частях крымской степи, что домиков мазаных было в ней, я думаю, до сорока, если не больше, с черепичными и земляными, поросшими лебедой кровлями, что не было никакой сильной растительности кругом, кроме полудесятка широких ветл на берегу ручья, бежавшего по грязному оврагу, да огромных колючих волчцов с пушистыми розовыми головками, покрывавшими печальную окрестность аула на целые десятины. Не мешает знать также, что была бедная, небольшая, восьмиугольная мечеть с окнами, заваленными камнем, с запертою дверью; минарета у нее не было никакого, а была круглая груда из больших каменных плит, на которую аккуратно, в известные часы, лазил мулла с седой расщепленной бородой, в бараньей шапке, увенчанной белым полотенцем; кругом мечети было, как и у нас около церквей, кладбище, только очень унылое... трава на нем мелкая, подстриженная какая-то, и по зелени ее рассыпаны были лежа, стоймя, вдоль и поперек, безобразные белые камни, пожелтелые от наросших на них лишаев, так что издали было видно. Только избранник-хаджи (бывший в Мекке) украсил свой покрывшийся каменный столбик грубым подобием чалмы и непонятны-

ми для нас надписями — вот и все... да̀, почти все. Надо бы сказать что-нибудь о татарах, жителях аула; но к той поре, как пришлось проходить чрез него ополченцам, их почти всех повыгнали. Офицеры и другие власти заняли бо́льшую часть хат; в других помещались больные разных команд, составляя массой своей деревенское госпитальное отделение, о котором своим порядком писались отчеты и т. п. — так что, кроме атамана да еще трех-четырех татарских семейств, мусульман не было: видно, разъехались на волах и верблюдах по родственникам в другие дальние деревни и увезли с собою марушек своих, детей, сундуки, своеобразную посуду, войлоки и даже те разноцветные длинные подушки, которые они любят класть у очага на полу и на которых они так долго и спокойно кейфовали с коротенькими чубучками в лениво разинутых ртах! Зато войско, войско сверкало везде!

Чего тут не было! И гарнизонный полубатальон, и артиллерийский парк, и госпитальное отделение с двумя докторами и смотрителем, и склады какие-то и при них провиантский офицер из греков. Гусары и казаки приезжали покупать сено. Какой-то делец перебрался сюда из дальнего города для продажи скупленных им стогов; у него была прекрасная карета, рояль в хате, два прикащика и пять породистых собак. Движение было везде видно с утра. Лекаря с разных концов спешили на помощь больным солдатам, размещенным в трех палатках и двух татарских домах. Солдаты, балагуря, толпились кучами, всякий с своими, около костров или печек, вырытых в боках холма; горнисты и барабанщики учились, трубя и барабаня с ранних часов, когда еще вся деревушка была одета туманом... Ночи наступали свежие, хотя дело было еще в августе. Однажды, часов в девять вечера, вступили в Биюк-Дортэ густыми колоннами ополченцы. Люди других команд, кто был свободен, бежали смотреть. Скомандовав вольно своим взводам, офицеры составили кружок и беседовали, пока дружина шумно собиралась варить себе ужин.

— Эй, Никитка! — закричал один дородный поручик. — подай-ка балыку сюда, да сыру... ковер возьми с повозки, расстели вот тут... Да и водки не забудь.

— Ишь, — заметил другой, — водку на самый конец... А она у него первая на уме... Вот что̀ значит нечистая совесть... Погоди — вот я жене сообщу по почте о твоем поведении: будет тебе в Ефремовке, как вернемся!

— Ах, полно, ради Христа, говорить про жену! — вздохнувши, сказал толстяк. — Тебе, конечно, смешно, а я о сю пору в себя не приду, на чьих руках она останется... Если, чего Боже упаси!.. Ведь здесь не Ефремовка!.. Знаешь, неприятель не за горами.

— Вот что̀ правда, то̀ правда: это не Ефремовка ваша, Осип Григорьич! — воскликнул, пожимаясь от холода и усталости, худощавый и курносый юноша в чорном бурнусе. То ли дело-то у вас бы: теперь самовар на столе... булки свежие, масло... жинка молодая... постель мягкая...

— Полно, полно! — перебил еще кто-то, — нельзя ли без поэзии! Он и то болен, а ты его дразнишь, право... Человек, разве не видишь, обременен семейством и преждевременной тучностью?

Все захохотали.

Постлали ковер поближе к костру, над которым висел котел, и офицеры расположились закусывать, когда к ним подошел еще один товарищ, закутанный в теплую шинель. Ему предложили закусить, но он отказался и, отошед от кучки так же равнодушно, как и подошел, отправился по берегу оврага, сам не зная зачем.

Кто ж был этот задумчивый ополченец? Спешу сказать, что он был молодой человек и человек честный; без этого ведь он не будет иметь права ни мечтать, ни грустить по родине. Вкус ныньче стал недоверчив, и когда нам представляется Рославлев, Леонид или другой задумчивый воитель, давнишний идеал, мы все, и даже самые независимые из нас, сейчас же спрашиваем себя: «Да̀; а каков он

был с деньщиком своим, этот худощавый брюнет? не бил ли он по зубам его за то, что погончики и петлички были не в порядке, когда ему нужно было говорить графине речи, полные пламенной патриотической грусти? Хорошо ли кормил он свою роту?» и т. п. Муратова изобразить, признаюсь, нелегко... Сказать, что он был белокур, высок ростом и немного флегматичен, сказать, что он был добр и мыслил на досуге... Мало ли, кажется, таких людей! Нельзя ему было и не быть честным: имел он душ восемьсот и женился по любви. Деревня у него была отличная, на порядочной реке. По ту сторону стояла славная белая церковь (на иконостас ее отец-покойник положил немало забот и денег). Издали, среди сплошного леса, давно обращенного в парк, виднелся дикий бельведер старинного дома. Стекла длинных оранжерей сверкали и грелись на полуденном солнце, и под ними назревали персики, сливы и виноград, поднимались, вились и расцветали южные цветы. Если б мне нужно было выставить человека, полного коренных тревог, поднимающих всю душу со дна, или бедняка, жаждущего двух-трех часов светлого отдыха в день, я бы повел его в деревню Муратова и заставил бы с непривычной отрадой смотреть на мирную молодую чету, на ряды служеб, в которых протекала не чуждая страстей дворовая жизнь под сенью умеренной снисходительности, заставил бы его пить чай на террасе, убитой щебнем, где, снизу до верху, вились по натянутым веревочкам belles de nuits. Муратов повел бы его смотреть на вновь насаженные им самим тополи, не превосходившие вышиною кустиков обыкновенной клубники, и непременно сказал бы, желая шуткой ободрить гостя: «А каковы мои тополи? Шапка валится!» — и, нагнувшись к ним, непременно бы сронил с головы фуражку.

Какой бы гордейший пролетарий не улыбнулся ему в эту минуту?

Но для Муратова это все было нипочем.

Новыми и новыми осложнениями богатеет душа человека в разнообразной борьбе. А для молодой четы Мурато-

вых борьба существовала одна — хозяйственная, придававшая легкую, крепительную горечь мягкому и утучняющему пиву их вседневного быта.

Кончив курс в высшем учебном заведении, Муратов женился, уехал в деревню, решился отпустить бороду, надел красную канаусовую рубашку и поддевку, которая очень шла к его сановитой особе, и предался агрономии, заводил заводы... да винокуренный сгорел, а на сахарном немец попался какого-то теоретического склада человек...

Прежде меня и прекрасно говорили другие о забавных иногда и иногда трогательных разочарованиях благонамеренных помещиков... Прошу с небольшими видоизменениями дополнить этот пропуск воображеньем.

Милая жена была благоразумна, как говорили знакомые. Еще нимало не успела поблекнуть ее наружность с тех пор, как впервые увидал ее Муратов, а уже из танцующей и светской девушки стала она рачительной помещицей и доброй домохозяйкой. Во всем старалась она вторить мужу, и хотя в нраве ее недоставало иногда чувства меры, хотя эта охота вечно пересолить бросала некоторую тень на кроткое мерцание их очага, однако читатель, конечно, не захочет отнять сочувствия своего ни от нее, ни от мужа за то, что я чертой осязательного недостатка постараюсь по возможности кратко низвести личность ее с высоты эмблематической добродетели до простого оживления. Например, узнала она, что какой-то прежний писатель находил несомненным признаком d'un bon gentilhomme склонность ходить пешком, что только купец какой-нибудь, как поправился в делах, так и сел на пролетку. Узнав это (а ей еще и прежде советовал доктор, да она все не слушалась), стала она везде с мужем ходить пешком — и на молотьбу, и на жатву, и на завод. Он идет в славянском платье, она — в общепринятом, и с любовью опирается на его руку; он идет широкими шагами (быть может, отчасти с целью отбить у нее охоту), а она еще пуще за ним. Он читает Апостол по праздникам в церкви, и она не отстала:

завела у себя общие молитвы по вечерам, на которые с ропотом спешили дворовые люди в назначенный час. К вечеру посещал его конторщик, а ее птичница. Он в кабинете толковал о чем нужно, а она, покуда, в пестрой угловой комнате, утопая в бархатном кресле, подозрительно и пристально глядя в лицо птичнице, спрашивала у нее неясным, утомленным голосом:

— А сколько у тебя яиц теперь, Аксинья?

Иной раз мужу и мешала она; но она была так наивна, темно-серые глаза ее были так велики и томны, так старалась она поддержать в муже память их первого сближенья, на ней все было так мило, от чепчика до вышитой рубашки, что слово укоризны облекалось, выходя из уст мужа, только теплотой полуотеческой любви.

Так как у них было довольно много разных должностных лиц в имении, то она и требовала, чтоб все эти лица не иначе являлись в дикий дом с бельведером, как во фраках. Муж было начал говорить:

— Душа моя, это лишнее... Стеснять...

Но она надулась и не говорила с ним до тех пор, пока он не объявил приказанья. Тогда поцаловала она его руку, и обрадованный муж с глазу на глаз (даже затворивши дверь, чтоб не сконфузиться перед каким-нибудь нечаянно вошедшим слугою) представил ей, как индюшки разговаривают между собой. Начиналось так, слегка в нос:

Дождик идет, дождик идет!
Пойдем в огород, пойдем в огород!

Потом являлся садовник и гнал их вон. Индюшки, прыгая, бежали и кричали в ужасе:

Федорыч! Федорыч!

Наконец являлся сам петух и, зашумев напряженными крыльями, восклицал: «Что вы здесь делаете?»

Мир был окончательно заключен, и должностные лица ходили во фраках до самого его отъезда на войну, хотя жену давно уже глодало раскаянье.

Однако, хотя Лиза и старалась соединить в себе столько анахронизмов, все-таки на нее не жаловались те, на которых сильнее всего могла отозваться ее напряженность, хотя она желала быть разом всем на свете: в поле и кладовой — Руфью Вооза, сбирающей колосья, в доме и в саду — придворной западной дамой, а в ласках, расточаемых мужу, искала напомнить страстные берега Средиземного моря, хотя, наконец, какой-нибудь недовольный и мог потрунить над ее изречениями: «Les enfans et les pauvres sont mes amis!» Но люди крепостные, для которых, конечно, все эти оттенки не существовали, любили ее. Она щедро дарила платки, кички и серьги бабам и девушкам на хороводах; первая подала мысль мужу об устройстве хорошей больницы, сама разносила больным сладкое и кислое питье, щипала корпию сама, если было нужно. Ни одна невеста не была насильно отдана замуж, ни один нищий не отходил от порога с пустой рукой; старухи слепые и искалеченные лежали на чистых постелях и кормились прекрасно в маленькой опрятной богадельне. Детей всех дворовых она знала по имени, и если, с одной стороны, эти дети слегка негодовали на нее за строгие экзамены в школе, то, с другой стороны, пряники и т. п. возвращали ей сердца их. Мы, у которых при взгляде на нее не возбуждалось ничего настоятельного, у которых желудок не видел в ней утолителя, кожа — согревателя, слезы — утешителя, мы имели право справляться с законами прекрасного и сожалеть, что многое выходило *неловко и негармонично*; но для тех-то, для близких, она была добрая барыня и любящая, хорошенькая жена!

Времени у Муратова все-таки много было свободного. Еще задолго до войны озлобился он на французов и англичан. Каждый листок газеты серьезно раздражал его. Он говорил, что французы и англичане отжили и сузились, что их надо освежить, окропить живой водою, и грозился при этих словах кулаком. Начались первые неудовольствия в Европе. Князь Меншиков поехал в Константинополь. Ненависть Муратова стала переменять характер отвлеченнос-

ти на более живой. Своекорыстная Англия, мозаичная, непрочная Австрия не сходили у него с языка. Турция для него не существовала, конечно; а Наполеон, разумеется, потому только держался, что подданные его, исхитрившись, стали никуда не годны. Он стал поговаривать, пугая жену, о военной службе, напоминал, что чин его слишком уж невелик, а года идут... Могут родиться дети... На беду случилось так, что один гвардеец, его приятель, прослуживший несколько лет на Кавказе, заехал к нему и, за стаканом чая, толкуя о южной природе, о восточных племенах, сообщил ему, между прочим, что у донцов есть поверье, будто когда китаец поднимается, тогда уж никто не устоит против него, что Гоги и Магоги Апокалипсиса именно и есть китайцы.

«Восток, — сказал он сам себе, — призван освежать; вспомним средневековые нашествия» и т. д.

Он долго ходил по большой зале, изредка поглядывая на благородное лицо какого-то деда, висевшего на стене, обремененного крестами и провожавшего его, казалось, ободряющим взором.

Потом пойди он гулять один, в волнении, набреди на давно знакомый ему ключ в берегу речки. Ключ был всегда очень холодный, быстрый и не замерзал зимой; к тому же он окрашивал валявшиеся кругом кости в красноватый цвет и покрывал соседнюю глину блестящими металлическими осадками. Муратов часто навещал этот берег и все собирался свезти воду в Москву, для разложения, и после завести, если окажется в ней что-нибудь, заведение минеральных вод на широкой ноге.

«Теперь не до того уже!»

«Вот, — подумал он, — не предзнаменование ли это также? Холодный, крепкий ключ; он не нагревается летом вровень с другой водой; он постоянен в своей силе, зато и не стынет он, и течение его не останавливается! Не таков ли Восток? Конечно, восток востоку рознь: есть южный восток и северный. Да что там, на юге? Одно саморастление неги...»

Это заняло его до того, что он ходить больше не мог, вернулся домой, развалился на широкий сафьянный диван и, закурив сигару, задумал ехать на войну.

Около этого времени узнал он, что Сент-Арно рискнул не шутя высадить на крымский берег свои *духовно-гнилые* войска. Казалось бы, куда им? Здесь могучий чорный хлеб, Волга, сосна, луга на тысячу верст — есть где и мышцам и духу окрепнуть, и нервам не избаловаться. А там что?

Мне хочется сказать великому народу:
«Ты жалкий и пустой народ!..»

Слух о тяжкой битве при Альме окончательно и искренно потряс его (читатель, конечно, убедился, что Муратов хороший человек). Тогда ни слезы милой Лизы, которая обнимала его и целовала его руки, умоляя остаться, ни прелесть чувственной привычки к губам ее, плечам, рукам, одежде — словом, ко всему, еще так недавно чуждому и полному обаяния недоступности (женаты они были всего полтора года!), ни агрономия, ни оранжереи, ни диван — ничто не могло удержать его.

И вот он ополченец!

Лиза сначала горько, много плакала, осиротевши в деревне, и до того тосковала, что даже стала ходить через день к жене управителя, и даже раз, заставши ее мужа за утренним кофе в шлафроке, упросила его остаться без церемонии при ней и прибавила:

— Я зашла на минуту звать Машу погулять со мной... Такая тоска. Пожалуйста, не стесняйтесь... Теперь времена такие тяжелые!

Потом, успокоившись немного, поехала она в Москву и говорила одной своей приятельнице, девушке, упрашивавшей меньшего брата не ехать на эту войну:

— Ах, Додо́! разве можно... Бери пример с меня... Я сама послала мужа. Ты знаешь меня? В хозяйстве я старалась всегда быть подпорой ему... Что ж делать! В этих случаях надо быть спартанкой!

Начинало уже сильно темнеть, и Муратов, глядя на массу чорных хат, толпившихся перед ним, на огоньки, светившиеся там и сям в окнах, где постусклее, сквозь татарскую бумагу, а где ярко, чрез стекло, вставленное постояльцем, на далекий мрак пустынной степи и месяц, изредка выдиравшийся из облаков. Слыша смутный гул и говор военного народа, сильно встосковался Муратов по родине. Бродя в темноте по берегу оврага, он и не заметил, как с ним поравнялись два человека; только тогда и оглянулся, когда один из настигавших его закричал с особым выражением в голосе, передразнивая что-то вроде купеческих сидельцев:

— Эх-с! Дружина-ополчение! матушка Россея! Бородку-с поглаживают... Эка досада, ей-Богу — видно, до завтра отложить — не найду вот никак человека... беда, да и только!

— Кого?

— Муратова. Спрашивал у офицеров, говорят: был да отошел сейчас... товарищ: важный малый... Я слышал, что он в наше ополчение поступил. Нашего уезда помещик молоденький...

Муратов обернулся и подошел к незнакомцу, произносившему его имя; они пристально всмотрелись друг в друга.

— Я Муратов, — сказал ополченец, — а вы?

— Марков...

— Вот, — сказал Муратов, не скрывая радости, — это романическая встреча! Здравствуй, Марков!

— Это ты, голубчик?.. Здравствуй, радость моя, здравствуй...

Старые знакомцы с искренностью обнялись.

— Ну, что? Ну, как, брат? Я слышал, ты женился? Пойдем-ка лучше в хату нашу... тепло, отлично. Вот, рекомендую тебе моего хозяина: мсьё Житомірский... смотритель здешнего отделения... то есть госпитального. Это Муратов, голубчик! мой однокорытник по гимназии. Прошу любить и уважать его...

Муратов мог, при слабом свете месяца, разобрать только высокий рост Житомірского, густые бакенбарды и

меховой воротник военного пальто. Они пожали друг другу руки и пошли на квартиру Маркова и Житомірского.

Муратов так обрадовался хате, что дорогой разговорился очень откровенно, против своего обыкновения; рассказал, как он мечтал о теплом жилье в этот вечер, как оставил дом свой, жену, как они много шли и устали и как он рад видеть Маркова. Они уж стали спускаться по узкой тропинке в ров, когда увидели в глубине его, в том самом месте, где бежал ручей, две чорные тени, шагавшие по грязи.

— Стой! — закричала одна, шатаясь — чего ты, скотина, хватаешься?.. Ты думаешь, что я, как ты? Уж выпил, так и ног нет... Скотина!

— Помилуйте, ваше высокоблагородие! Ведь я вам пособить хотел... Грязно очень теперь-с, ваше высокоблагородие!

— Грязно! грязно! голос-то какой! Ах ты червоточина!

Первая тень, говоря это, вдруг остановилась и прошептала:

— А в зубы хочешь?

— Помилуйте, ваше высокоблагородие! За что же в зубы... Обидеть человека не долго-с.

— Ну то-то! Молчи, скот! Веди меня... Марш вперед... Грязь какая, будь она неладна, шельмовская!.. Э-э! Гаврила... стой... стой, держи... вода! держи... где рука твоя, чорт...

— Здесь, здесь, ваше высокоблагородие!

Простая тень пошла дальше; высокоблагородная за ней, придерживаясь за полу вожатого.

— Ведь это эскулап ваш налимонился так, — сказал Марков Житомірскому. — Где это он хватил? У полковника, верно, хлопнул. Во-во! смотри, ишь как его колышет в обе стороны...

— Кто это? — спросил Муратов.

— Доктор-старик... главный лекарь... Его прислали посмотреть за холерными... предупреждать дальнейшее развитие болезни. Вот он и предупреждает.

— Да уж теперь нет никакой холеры, — заметил Житомірский, — это фальшивая тревога...

— Нет, — сказал Муратов, — у наших ратников показалось что-то вроде холеры... Я слышал, что их здесь оставят в этом лазарете... Это скверно, что такой доктор нетрезвый.

— Ну, это он сегодня так, сердечный, оплошал, — возразил гусар, — а то он крепок на вино; да он только отпиской больше и занимается. А вот другой тут есть медик, молоденький — вот уж доктор, так доктор: молодчинище! маленький такой, да молодец; дело свое знает — и bon vivant такой бедовый, славный малый! Вот вчера у пана Житомірского была середа...

— Я думаю, середа вчера была у всех, — сострил Житомірский.

— Ну, ну, не острите! У них здесь, видишь, душа моя, вечера бывают: вот у него в среду, у Федорова — это молодой доктор — в четверк; завтра у провиантского Тангалаки... вот тоже антик; когда хочешь — познакомишься!

— Да как я познакомлюсь? Ведь мы завтра выступаем.

— Нет, уж это шалишь! Пока я здесь, я тебя не пущу, а после подвезу тебя в своем тарантасе. Дня три-четыре погости здесь: ей-Богу, не будет скучно. Что̀ там, у ваших!

— Да как же можно?

— Да так же. Вот завтра сведи меня к своему командиру: я уже берусь упросить его — что̀ такое три дня?.. Ты ведь не ротный командир: без тебя одного обойдутся...

— Попробуй. Я согласен немного отдохнуть, но не более трех дней. Здесь, кажется, лежать на боку не место.

— Лежи на чем хочешь, хоть на животе... Я стою у г. Житомірского и надеюсь, что он позволит мне принять товарища на три денька.

— Странные вы вещи, mon cher, говорите! — воскликнул Житомірский, — я уступил вам боковую хату, и вы в ней полный хозяин. Разве вы меня не знаете до сих пор? Вы меня обижаете даже.

— Знаю, знаю, голубчик Ромуальд Петрович. Если б не боялся уронить вас в грязь, обнял бы вас.

Разговаривая так, добрались они до конца оврага и готовы были завернуть за одну одиноко стоявшую хату, в которой сквозь бумажное окно слабо светился огонь, как вдруг гусар остановился.

— А что, Ромуальд Петрович, послушаем сегодня?

— Будьте осторожнее: увидит деньщик, как-нибудь выскочит... знаете, какие могут быть неприятности! Пойдемте лучше. Это бесчестно, если рассмотреть дело строго.

— Ах, не могу, голубчик! — детски содрогаясь от веселого любопытства, возразил гусар, — надо послушать... Нельзя, нельзя... Муратов, пойдем.

— Что̀ такое?

— А вот услышишь что-нибудь, тогда узнаешь.

Сказав это, гусар, согнувшись, подобрался к окошку и приложил ухо.

Скоро и два другие спутника, движимые любопытством — один потому, что знал в чем дело, а другой потому, что не знал — припали тоже около окна.

Сначала ничего не было слышно; теней тоже не было видно. Вероятно, свеча стояла ближе людей к окну.

Наконец послышался легкий вздох и потом слова:

— Слушай, Митя... — сказал нежный голос.

— Что, душка? — отозвался другой, немного погуще.

— Слушай: ты завтра лежи, а я тебе кофе сама сварю... пойду в сени и, вместе с Карповым, сварю тебе кофе.

— Нельзя лежать, Катя; завтра надо рано к полковнику...

— Рано-рано проснись и лежи, а я пойду в сени, надену на голову голубой платочек и пойду варить кофе. Карпов сказал мне, что этот платочек очень ко мне идет.

— Так ты и Карпова хочешь с ума свести? Да перестань масло руками брать... Разве нет ножа, Катя? Как тебе не стыдно!

— Ну, вот, тебе противно? Мне от тебя ничего не противно! Такой ты! такой! Хорошо!

— Катя! душка моя, Катя! Я только так... стыдно руками... Если хочешь, хоть ножку поставь в масло, я съем его!

Послышался звонкий и продолжительный поцалуй.

— Карпов! Поди, посмотри на дворе, темно или нет...

Слушавшие бросились со всех ног прочь, шагах в двадцати приостановились, посмотрели друг на друга в темноте и пошли дальше.

— Что это за идиллия? — не без досады спросил Муратов, — который не интересовался в эту минуту ничем, кроме удобного ночлега, и, конечно, одна учтивость воздержала его от громкого ропота на остановку.

— Это, видишь, — сказал гусар, — квартира одного подпоручика... Митя Деянов зовут его. Отличнейший малый был, да вот запутался... влюблен. И представь, никто здесь не может решить, откуда она! Живет у него с неделю и выходит даже в поле с ним гулять... Хата на краю самом: так оно через деревню и идти нет нужды; всегда чорным вуалем покрыта... Деньщик-осел только хохочет, как спросишь, а сказать, кто она, не скажет... «не знаю» да и только!

— Уж и я, — заметил Житомірский, — пробовал один раз без него отворить дверь... В дверях есть такая дирочка, и в нее продета веревочка... верно, изнутри гвоздиком засунуто... Я палец совал, думал, что достану гвоздик — нет, никак не мог! Он сам, впрочем, такой юноша... Всего двадцать один год!

Муратову было по-прежнему все равно.

Пришли на квартиру Житомірского.

Комната, принадлежавшая смотрителю, была низка, как и все татарские комнаты. Потолка не было, но трехугольный навес крыши был подложен (должно быть, для тепла) лубками. Большие поперечные перекладины и полочки, обходившие стены наверху, были оклеены полосами пестрой бумаги, подобной тем клочкам рассеребренных и раззолоченных обоев, которые лепит русский крестьянин около образов; войлоки по всему полу; железная кровать с хорошим вязаным одеялом и дорогой ковер в букетах на белой

стене; складные стулья, бездна туалетных и других мелочей, обличавших человека с изящными привычками — все это сильно веселило взгляд вошедшего впервые в походное жилище смотрителя.

Теперь Муратов, при свете двух стеариновых свечей, очень хорошо мог разобрать его наружность.

Житомірский был чрезвычайно представителен, высок и строен, в широком сером пальто; с аристократической усталостью снимал и бросал он на стол перчатки с обработанной руки, с томным достоинством глядел карими глазами, а прическа à l'anglaise, бархат каштановых бакенбард и сухой, горбатый нос, поднимавшийся среди овального лица, до такой степени были полны гармонии, что Муратову и представить его себе смотрителем было трудно... Вот ныньче какие стали!

Посмотрел он и на Маркова. Ну, этот не то: все такое же открытое, смеющееся, белокурое лицо, как было и у гимназиста в Москве; только усы висят длинные...

Посмотрели и хозяева на гостя.

Марков еще раз обнял Муратова с видом искренней приязни.

— Ну, душа! и у тебя баки выросли, — сказал он. — Повернись-ка... ишь, у вас серые кафтаны; это лучше чорных... Право, к тебе идет... очень идет... Да ты пополнел... ей-Богу, возмужал чертовски. Вот что̀ значит быть женатым-то! Ну, садись же, голубчик, скажи... ка̀к тебя это Господь умудрил... Brune ou blonde?

— Blonde!

— Ну, это напрасно! И ты blond и она тоже: проку не будет... Уж это ты мне поверь... ей-Богу... Да расскажи же, как это ты... и что̀ тебя дернуло это сюда?

Между тем и самовар зашипел. Согретый чаем, москвич ободрился и, отделавшись кой-как от настойчивых требований гусара передать ему картину своего семейного быта, спросил про войну.

— Да что̀, душа моя... Ничего нет толку. Странная война какая-то! Бьют, бьют, а толку нет. Через пень ко-

лоду переваливают — скука страшная, просто зеленая скука! как говаривал покойный отец мой. Пробовали они штурм, так отбили ловко. Приезжал сюда из Севастополя донец-офицер, так он говорит, с холма, что ли, какого, как на ладони все видел. Поле, говорит, красное было от их брюк!

— Донец, вероятно, любил риторическую иперболу, — с глубоким взглядом произнес Житомірский.

Гусар косвенно посмотрел на него.

— Ромуальд! Ромуальд Петрович, нехорошо! ей-ей, нехорошо!

— Что̀ такое нехорошо?

— Ничего, ничего, голубчик. Я знаю, что вы хороший человек... только прошу вас, об этом молчите... молчите, прошу вас! Ну, так видишь ли, — продолжал Марков, обращаясь снова к Муратову, — пошли они колоннами, а наши из бухты пароходы и выручили. Как хватят, та̀к ряды и валятся! Отчесали ловко их. Ну и Хрулев тут вернул рабочих...

— Ну, слава Богу! — сказал Муратов.

Житомірский молча улыбнулся и, позвав деньщика, стал раздеваться.

Товарищи тоже отправились через сени спать на другую половину, уступленную хозяином Маркову на время его жительства в Биюк-Дортэ.

В ауле, казалось, все уже притихло, и, кроме крика слетевшихся сов, не было ничего слышно.

— Что̀ это они, проклятые, разорались? — спросил у деньщика гусар, печально протягивая ему ноги с сапогами.

— Кувикуют, — отвечад деньщик.

— Знаю, что кувикают, да зачем это они, проклятые, раскувикались? К покойнику, что ли?

— Никак нет; это значит девка беременная есть...

— Вот как! Да какая же это несчастная? Разве Деянова любовница — а? как ты думаешь, Иванов? Эх-эх! жизнь проклятая, когда ты похужеешь?

Сказав это, гусар зарылся в одеяло, и скоро они с Муратовым не слыхали даже и сов.

На другой день, однако, все оживилось, благодаря ярко вставшему солнцу. Веселее звучали с зори горнисты и барабанщики; веселее разговаривая, шли солдаты варить свой ранний обед; степь стала дальше видна, и небо безоблачно. Самые хаты песочного цвета, низенькие ограды из камней, наваленных один на другой, облепленные кружками кизика; пустые дворы, на которых не было ничего, кроме голодной шершавой и злой собаки, да какого-нибудь изломанного колеса, вместо калитки, при входе... Все это желтоватое и сероватое безлесного аула, сливавшееся на расстоянии верст двух с общей желтизною еще с июля поблекшей степи... все это вблизи немного прояснилось и повеселело. Маркова уже не было, когда Муратов проснулся.

Хотя, по природе своей, Муратов был всегда расположен полежать и покурить, не торопясь, в постели, сигару; но возбужденный мыслью, что он близок к театру таких действий, которые, со временем одевшись неясным величием прошедшего, будут соперничать с громаднейшими битвами древности... проникнутый этой мыслью с утра до ночи, он быстро вскочил и, за недостатком халата, оставленного при дружине, накинул шинель, вышел в сени и попросил умыться у деньщика. Его, по правде сказать, слегка озаботило неприятное представление чужого мыла и нечистого полотенца, но ничего — вперед, вперед!..

«Надобно начать утро дельно: сходить Филиппа посмотреть, жив ли он, несчастный? Проклятые эпидемии эти на войне в тысячу раз ужаснее самого страшного кровопролития... Там, по крайней мере, есть увлечение, блеск, возбуждающий гром, а тут не известным никому страдальцем сгнить на жосткой кровати...

Филипп был молодой ратник, принадлежавший Муратову. Помещик, не замечавший его прежде среди сотен своих крестьян, привязался к нему на походе, благодаря чувствам собственности и общей судьбы. Филипп, к тому

же, был славный мужичок, кроткий, разговорчивый, услужливый, и при каждой встрече с правдивым и ласковым барином на цветущем деревенском лице его разверзалась такая искренняя улыбка, что нельзя было его не жалеть. Один раз Муратов спросил его, не скучает ли он по своим, а Филипп, простодушно засмеявшись и вздохнув, сказал:

— Ведь и ты, небойсь, Алексей Петрович, по барыне иной раз тоскуешь?

Два дня назад, Филипп что-то разнемогся, а вчера ему сделалось уже так дурно, что надо было счесть за особое счастье близость Биюк-Дортэ с госпитальным отделением.

Деньщик Житомірского принес мыло; но какое мыло! В пестрой коробочке, не хуже того, которым Лиза мыла свои безукоризненные руки. Полотенце также вполне выдержало критику.

— Однако этот Житомірский весьма порядочный человек! Порядочные привычки открывают доступ порядочным чувствам... Как Гоголь-то устарел!

Невольно сверкнувшая мысль, под влиянием чувства комфорта, стала переходить в более оправданную и смелую при разговоре за стаканом кофе, в отсутствии Маркова.

— Извините смелость мою, — сказал Житомірский, — мне бы хотелось знать, зачем вы вступили в ополченье?

— Я искал какой-нибудь полезной деятельности...

— Было время, когда и я искал ее, но... видите ли что: мы так связаны по рукам и по ногам здесь, что вы там, в Москве или Петербурге, и представить себе не можете! Все действия так парализованы... Единства ровно никакого... Нас беспрестанно бьют...

— Без этого нельзя... И Петра сначала били... Помните слова Пушкина:

Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат!..

— Но, впрочем, это хорошо, что мы терпим уроны... Это научит нас знать, в чем дело...

— Я думаю, много вредят ходу злоупотребления разные? Вы должны это ближе знать.

— Еще бы! Это просто общее sauve qui peut, или chacun pour soi et Dieu pour tous...

— Это очень грустно!

— Привыкаешь. Видите ли, есть кое-какие выгоды... Например, если печку топят антрацитом, залить половину, когда уже тепло истопилось; или, если полагается десять полен на печь, взять одно... Почувствует ли это тот, кто должен греться в комнате, кому назначены дрова?..

Житомірский взглянул вопросительно на Муратова, но, встретив, вместо одобрения, одну задумчивость, встал и, подойдя к печке, достал с татарской полки, на которой прежде ничего, кроме глиняных и жестяных кувшинчиков, не стаивало, достал несколько французских томов в приличном переплете. Пересмотрев корешки, он положил на место «Lelia» и «Le Lys dans la Vallée», а одну небольшую книжку раскрыл перед собеседником.

— Это Théophile Lavallée. В этой части XVIII век. Вы, конечно, читали что-нибудь подобное, хоть бы «Жирондистов» Ламартина... Были ли они правы, или нет — не в том дело; но я говорю, что материальные средства давали, вероятно, большую возможность служить своим убеждениям... Здесь, в ауле, есть старый гарнизонный офицер Киценко. Он женат, имеет четырех детей; у жены его есть две сестры-девушки, вдобавок вовсе некрасивые... Разумеется, их пристроить надежд мало... а жалованья в месяц он имеет девять рублей серебром... или немного более... А жизнь? Считайте: здесь, в ауле, курица стоит 30 коп⟨еек⟩ сер⟨ебром⟩; неужели у него менее 30 коп⟨еек⟩ сер⟨ебром⟩ выйдет в день на такое семейство?..

Муратов молчал. Душа его сжалась от стыда; ему казалось, что за словами благообразного смотрителя слышался упрек: «Что̀, батюшка, приехал сюда осуждать? Хорошо тебе от десяти тысяч годового дохода!»

В эту минуту вошел Марков.

— Что, встал? Ну, здравствуй, голубчик. Дай-ка мне еще разик на тебя взглянуть при дневном свете. Ничего, ничего!.. Молодец ты, ей-Богу, в этой форме. Дорого бы я дал, чтоб ваших в схватке видеть. Ведь, небось, как пойдут топориками чесать!.. Только раззадорь, и allons, courage — все к чорту.

— Рекомендую вам пламенного патриота! — сказал Житомірский.

— Ну, ну! — воскликнул Марков, — довольно! Что́ ж? идем к твоему командиру, Муратов?

— Пойдем... Только, я не знаю... зачем ты непременно хочешь удержать меня...

— Дня на три, дня на три... Я сам довезу тебя. И тарантаса своего не оставляй.

Сходили в лагерь, и Муратов отпросился, но тарантас оставил, думая: «посмотрю; если будет скучно, сейчас же в путь!»

Из лагеря направились они к тем хатам, куда были свезены заболевшие ратники, миновали землянки, из которых выглядывали усатые лица гарнизонных офицеров и солдат, спустились в ров, поворотили за крайнюю хату, скрывавшую под кровлей своей молодую чету, и не успели пройти еще и десяти шагов, как Марков воскликнул:

— А! вот наш Деянов с своей прелестной!.. Эх, шельмовская девчонка, закрылась!

Высокий Деянов шел, потупив глаза в землю; вероятно, спутница его, накинувшая быстро на лицо сверх чорного вуаля пестрый фуляр, толкнула его. Он поспешно взглянул на встречных, слегка коснулся козырька и тотчас же, повернувшись, спустился с Катей в ров, отделявший квартиру его от чистой степи. Как дети, с разбега, поднялись они на ту сторону, побежали по степи все под руку и влезли в закрытый татарский фургон, ждавший их у подножия небольшого кургана. Татарин ударил, и пара понеслась во весь опор. Муратов успел разглядеть только, что она стройна, что бурнус ее дикого цвета, а на голове синий

платочек — вероятно, тот самый, что нравился Карпову. Муратову что-то вздохнулось.

— Да̀, — сказал Марков, покачав головой в ответ на этот вздох, — пропадет, запутается малый!.. Молодая такая еще юно́ша! Ну да ничего; люби кататься, люби и саночки возить! Не всякому такая красотка даром достанется. Наш брат, отцветающий, три года будет стоять в одном месте, ничего не добьется!

— Зато, в твои года, больше успеха между женщинами образованного класса. Я думаю, ты тоже пожил — а?

— Прошли, прошли те времена... А здесь что̀!.. Вот, в начале лета, проходили тут керченские жители, спасались. Так я было одну майоршу отставную пригласил на чашку чая, у Семи Колодцев; очень благоприятно все было... покинутый трактир... Что ж ты думаешь! Вынимает, шельма, табакерку... и сама чувствует, что скверность делает: «Это я, говорит, стала нюхать с тех пор, как затмение было, испугалась». Ну я, конечно... чорт знает, что такое!

Ратников скоро нашли. Их свезли в нарочно очищенные хаты, и так как кроватей в Биюк-Дортэ не было, то положили пока одетых вповалку на тюфяки. Около них хлопотал хваленый накануне гусаром молодой врач. Роста он был очень небольшого, зато мясист лицом и пронырлив взглядом маленьких зеленоватых глаз. На деятельность его нельзя было не любоваться. Он аккуратно расспрашивал, щупал, стучал, выслушивал, что̀ и где нужно было, у каждого, и все согнувшись, или на коленях, между тесно сложенными бородачами. Воздух в хате уже успел отяжелеть, а вздохи, стоны и словесные жалобы, которым иной русский крестьянин умеет придать такую раздирающую слезливость, слышны были со всех сторон.

— Ну, что̀? как тебе теперь? — спросил доктор у одного пожилого человека, сухого, сморщенного и с мочальной бородой до полугруди.

— Плохо!

— Дай руку.

Мочальная борода протянул красную, заскорузлую руку, а сам закрыл поскорее глаза и весь съежился.

— Чего ж плохо? Тебе сегодня гораздо лучше. Да ты, брат, того и гляди, еще трех турок убьешь!

Врач увидал тогда посетителей.

— А! мсьё Марков! здравствуйте.

— Да вот, товарищ мой, ополченский офицер, желает видеть своего крестьянина.

— Моего здесь нет. Это все незнакомые физиономии.

— Так, верно, в другой хате. Сходим туда.

— Послушай, ты! как тебя?

Подскочил служитель.

— Скажи сейчас смотрителю, — продолжал врач, — чтоб халаты роздали скорее. Разве можно людей так долго в амуниции держать? Смотри же, через четверть часа я зайду, чтоб в чистом белье и под одеялами были. Смотри! Ты меня знаешь? Я воображаю, каково холерному больному лежать в платье и в старом белье. Ну, живо же! Пойдемте, господа.

— Так у них действительно холера? — спросил вполголоса Муратов.

— Нет, вроде спорадической, то есть не эпидемической. Это зависит от точки зрения. Другой, пожалуй, и не назовет это холерой. Быть может, простуда живота или космические условия иного климата. Было, однако, двое-трое трудных. Тех двух, Бог даст, поправим, а один вот...

Дело было в сенях и, сказав это, маленький доктор, улыбаясь, поднял полотно, закрывшее в углу что-то длинное. Офицеры увидали тогда бледный, свежеостывший труп молодого ратника с закаченными глазами и полураскрытым ртом.

— Боже мой! да это мой Филипп!.. — воскликнул Муратов, поспешно наклоняясь. — Нет, слава Богу, не он. Мой такой же белокурый и безбородый.

— Знаю! Пойдемте в другую хату. Он у меня один только и опасен.

Филиппу, как самому трудному из больных, лежавших в другой хате, более просторной, подмостили поближе к свету доски на камни, вроде кровати, чтоб легче было на него действовать.

Красивый и щегольски одетый фельдшер стоял около него. Больной лежал навзничь, посинелый и закрыв глаза; однако Муратова узнал и на вопрос его чуть слышно прошептал:

— Плохо, батюшка, плохо, кормилец мой!

— Ничего, ничего, — сказал маленький доктор, — смотри же, Авдеев (это обращалось к щоголю), чтоб каждые полчаса капли — слышишь? Не отходи от этого больного; другие ничего. Требование и рецепт Афанасьев отнесет в аптеку. Надеюсь на тебя.

Доктор уверил Муратова, что реакция восстановится скоро, и пошел с гусаром в сени, а помещик попросил фельдшера постараться, обещая немедленную благодарность.

— Помилуйте-с! Это долг человеческий есть, — воскликнул красивый франт; но согнутая, в виде сосуда, кисть руки, скромно выставлявшаяся из-за складки шинели, не отказывалась от награды.

Муратов сунул ему целковый и поспешил выйти на чистый воздух.

Доктор был видимо утомлен работой; он потягивался, и на лице его была написана радость человека, кончившего трудную обязанность.

— Ну, — сказал он, — пойду домой закусить. Теперь, после работы, все будет сладко; к тому же и погода такая славная... как французы говорят, un air piquant! Ах, да! еще в аптеку нужно. Зайдемте со мной, господа. Вот вы, прибывшие на войну, должны интересоваться всем.

Действительно, Муратов жадно любопытствовал видеть все военное и охотно пошел в аптеку, с уважением глядя на маленького человека, который так весело и умно мирился с своим печальным ремеслом.

Доктор, не умолкая, болтал и смеялся всю дорогу.

Пришли в аптеку, находившуюся в третьей хате, и застали там главного лекаря, пересматривавшего с писарем статистические отчеты о состоянии лазарета. Он сидел спиною ко входу, и в ту самую минуту, когда молодые люди переступили за порог, закричал, не поворачивая головы:

— Голубков!

— Чего изволите-с, ваше высокоблагородие? — отозвалось ему из глубины хаты.

— Есть то... бишь, как его... Crematum... Посуды нет, что ли? В мензурку...

— Унца четыре?

— Эка! хватил, будь тебе неладно!.. Унца три с половиной, что ли — так...

Три унца с половиной Cremati simplicis налито и доктор хлопнул.

— Здравствуйте, Григорий Иваныч!

— А! мое почтенье, господа! — сказал, сильно смутившись, главный лекарь и даже встал, обнаружив во всей полноте дородность свою и благообразие почтенно-скромного лица.

— Ну, что̀ вы? — продолжал он. — Мое почтение... А! ну, что̀ вы? Извините, коллега, я вас обеспокоил. Видите, у вас тут не означено в билетике, отчего это гарниза старый помер... Помните: мордастый старик такой?

— У него были гидатиды в печени... Напишите: acephaloeystes...

— Вона! Пиши его, Голубков, в линию тифозных, так дело-то глаже будет... А то еще а-се-pha... куда! Написал, что̀ ли? Катай! Еще двух-трех в число тифозных складывай... будь они неладны!

— Вы только за этим меня требовали? — спросил молодой врач.

— Нет-с, нет-с... Зачем (тут главный лекарь выразил на лице дружеский упрек), зачем вы это так много хинина даете? Пожалуйста, если можно, рвотных побольше... Ей-

Богу, невозможно! Они только пишут разрешения требовать, а поди-ка! того и гляди начет... Пожалуйста...

— Как вам угодно! — холодно отвечал подчиненный. Я старался только предупреждать завалы и водянку...

Главный лекарь взял его за руку и нежно склонил голову набок:

— Напротив... он производит завалы... Во-о! до сих пор все брюхо займет... печень, ей-Богу, да!.. Вы бы им рвотных почаще. Русский человек, здоров.

— Как вам угодно...

— Извините, извините... Прощайте, коллега!

Вышли опять на улицу.

— Какова у нас статистика, видели, господа? Впрочем, слава Богу для науки, ей никто не верит. Он еще при вас мало высказался. А то просто все это делается приблизительно. Тифозная горячка — положим, семь умерших, дизентерия — три и т. д. Общую сумму, понимаете, так разбивают. До свидания, господа. За обедом у Житомірского увидимся.

Марков и Муратов опять остались вдвоем.

— Кажется, этот медик отличный человек? — заметил помещик.

— Я тебе говорил, отличный малый, и оператор какой лихой. Я ходил смотреть, как он ампутацию одному делал...

— Раненому?

— Нет, какие здесь раненые! Так, какая-то чертовщина на ноге завелась. Засучил рукава и начал... то есть минута — и отлетела нога пониже колена. Взяли да и швырнули в угол. А тот-то, старина, ходит вокруг да кричит... «Во-о-о... во-о-о!.. так, так, так, сюда, сюда, сюда!» Они там жилки какие-то перевязывают. Так Федоров ему полатини, а он и назвать эту жилку не умеет, а все: «вот она, вот она свищет»; это значит, кровь брызнула. Мне Федоров после сказывал, что он ни одной жилки назвать не умеет. Он, впрочем, добряк; всех, потруднее больных, Федорову отделил, а сам легоньких и выздоравливающих взял,

да отчеты пишет. Федорову не здесь бы служить... Он, бедняжка, и то жалуется... какая ему тут польза? Только что смотрительский стол, да что-нибудь от подрядчика. Прежде он служил в ***ском госпитале, я с ним там и познакомился... так там больных была куча. Выгоды...

— А разве он берет?

— Еще бы! Что̀ он, дурак что̀ ли? Все берут, а он будет смотреть. Пойдем-ка обедать; у Житомірского отлично готовят обед. Да̀, вот он и поправился за войну. Прежде просто куска хлеба не было; жалость, ей-Богу, брала! Мать старуха, сестрица чудо хорошенькая... В бедности большой были; а теперь он их содержит. Видим, ка̀к живет: ковры, часы с брелоками, голландские рубашки... Молодчина! И игру серьезную ведет, меньше, как по пяти к⟨опеек⟩ сер⟨ебром⟩ и не сядет в преферанс. А иногда и направо, налево... Раз проиграл в один вечер 400 руб⟨лей⟩ сер⟨ебром⟩ — тут же вынул; только жилы на лбу налились и глаза забегали. Молодец! Одно нехорошо только... напустил на себя дурь, ругает все свое... Севастополю пророчит гибель. Я, того и гляди, с ним за это повздорю.

— Он мне не нравится, — сказал Муратов, — я не обманулся в предчувствии. Удивляюсь, ка̀к это ты, который всегда мечтал еще с детства быть военным и гордился патриотизмом... Помнишь, как ты подойдешь, бывало, к карте и сейчас: «эх, матушка, Россия, как раскинулась!»

— Помню, помню... Эх, времена! А помнишь, голубчик, как Ястрембицкий за мной гонялся, когда я ему из риторики: «бледнеет галл, дрожит сармат»... Здоровая, шельма! колотил-таки меня... Не знаю, куда он делся. Я и теперь все тот же, голубчик...

— При твоем направлении я бы счел за обязанность осадить его на первом шагу... Ты, я вижу, в убеждениях шаток... Какой же ты русский?

— Я уже давно до него добираюсь!

К обеду явился деятельный доктор и оживил компанию.

— Поздравляю вас, — сказал он, обращаясь к Муратову, — ваш ополченец в улучшенном состоянии... Через

два-три часа я надеюсь отвечать за него... Вот мы как, мсьё Житомірский! Что̀ вы скажете? Возбудили реакцию, восстановили дыхание, кровообращение в волосной системе, возвысили температуру кожи, словом... — Тут он улыбаясь, махнул рукой.

Житомірский обнял его.

— Да вы известный докторище; что тут толковать! В вашем присутствии я и голову не побоялся бы потерять.

— Ой ли? — спросил плут.

Доктор придавал каждому обыкновенному слову своему какую-то двусмысленную глубину посредством хитрых и пристальных взглядов, улыбок, телодвижений и т. п.

Потом, обратясь снова к Муратову, он присовокупил с серьезным видом:

— Быть может, у него разовьется тифозный переход, но это ничего! Главный вопрос: прекратить альгидный период...

— Эх, доктор! мало вам всех ваших альгидных, там, в госпитальной вони... Здесь что-нибудь повеселее надо!.. — воскликнул Марков, снимая со стены гитару, и тотчас ударил по струнам.

— Эх, душечка ты моя! — сказал докторчик, взяв за подбородок Маркова, — что̀ ж я тебе спою? Разве это...

Ах! тетушка Сидоровна,
Да высоко ноги закидывала! и т. д.

Все захохотали, потому что Федоров с мясистым и большим лицом своим на маленьком теле был действительно забавен.

Но он вдруг состроил сладкое лицо, принял изящную позу, которая, по правде сказать, к его маленькой, сутуловатой фигурке мало шла, и запел глухо:

La donna immobile...

— Ну, нельзя ли от итальянского избавить? — сказал Марков.

Доктор избавил от пения, но заговорил об опере, о Петербурге, об Излере. Видно было по всему, что он хотел блеснуть своей многосторонностью перед богатым ополченцем. Упомянул Житомірский об отъезде Деянова с подругой, о разговоре, слышанном под окном: доктор сейчас же заметил вообще, что женщины есть очень чувственные, что его любила одна генеральша, которая даже укусила его в правое плечо, и предлагал показать рубец, если не поверят; потом, что его любила одна француженка, которая ему ужасно надоела тем, что целовала его ноги.

Сказали, что Деянов очень увлечен, что он почти никого не посещает и даже мало говорит. Доктор заметил вообще, покачивая головой, что ныньче смешно так увлекаться, что ныньче-де век положительный, практический, батюшка, скептический. Кто ныньче увлекается?

Вдавался он в растянутые и вовсе не характеристические подробности и говорил без умолка битых часа три, пока смерклось. В рассказах своих он являлся попеременно то обольстителем женщин, то спасителем жизни и здоровья, то добрым, разбитным малым, там расстроивал неравный брак, в который хотел вступить добрый, но слабый идеалист-товарищ; там уничтожал одним появлением своим льва, вздумавшего толковать в гостиной о физиологии; там вправлял вывих, там спасал жизнь богатому графу и бедняку-писарю, обремененному семейством, декламировал стихи, представлял в лицах — словом, сверкал со всех боков, как искусно обточенное стекло, подражая алмазу.

Муратову наконец он опротивел вовсе, а главное, надоел; да и два другие собеседника под конец стали сумрачны.

— Пора к Тангалаки, — заметил Житомірский, вынув часы.

— Идите, — сказал Федоров, — а я еще на минутку заверну посмотреть на своего больного... До свидания.

Марков уговорил Муратова не отказываться от предстоявшего вечера.

— Я тебя представлю. Там будет куча народа сегодня.

Пошли.

— А каков наш докторчик? — спросил доро́гой Марков.

— Много болтает и хвалится... А ума мало.

— Ума мало, — воскликнул Житомірский, — он чрезвычайно умен, находчив, приятен в обществе, деятелен, словом, я мало встречал подобных людей. Вы еще не успели понять его...

— Конечно, — присовокупил Марков, — он очень умен; одного только не люблю: подобострастен шельмовски! Уж он не даст маху, найдет лазейку... Что-то я не люблю таких людей. Генерал Желтухин приезжал осматривать ***ский госпиталь, когда я там лежал. Ну, кто пальто с него снимал? — Федоров; кто стул подал? — Федоров. Я такому человеку пальца в рот не положу. Я не мастер, признаюсь, узнавать людей, а это видно! Но для кружка — золото.

У провиантского офицера нашли уже порядочную компанию.

Хозяин был из греков и звался Ламбро Панаиотович Тангалаки. Хотя в поправке его дел с началом войны не было той трогательной стороны, которая заставляла всякого радоваться на Житомірского, имевшего престарелую мать и красавицу-сестру, но и он был ничего... Было верстах в пяти от Биюк-Дортэ имение одного немца Христиана Христиановича Крэгенауге, и четыре дочки его, Элие, Эсперанс, Китти и Шушу, находили Ламбро Тангалаки чрезвычайно любезным, милым и находчивым остряком.

И точно, он обладал удивительным свойством говорить самые смешные вещи, нисколько не улыбаясь.

— Да̀, ma chère, и не улыбнется даже!.. А мы просто умираем со смеха! Невозможно слушать его. Представь себе: у Шушу в церкви вчера снурок на корсете лопнул оттого, что она надувалась, чтоб от смеха удержаться...

Особенно мило умел он склонять и спрягать русские слова на французский лад.

Подсиживал ли кто в картах, медлил ли опуститься в воду на купанье, изобличал ли большую осторожность в верховой езде, он говорил сейчас:

— А, ву трусе боку́!

И когда тот раздражался, он прибавлял:

— Ну, а если не трусе, так, может быть, дроже боку́!

Остроумие выкупало невзрачность его наружности; он был, к несчастью, мал ростом и до войны был зачичкан, худ и желчен, но теперь, слава Богу, поправился, подобрел, побелел и принужден был отдавать почти все свое платье портному для выпущения запаса. Чорные, как угли, фальшиво бегающие глаза, сверкали на довольно белом лице; точно как у морской свинки. В нем текла истинная эллинская кровь, потому что он сам говорил, что когда есть у него тонкое белье, цветы, куренье для комнаты и женщина (особенно рослая и полная), ему ничего больше не нужно.

Жилище его в Биюк-Дортэ было просторно и чисто, потому что дом принадлежал атаману и состоял из нескольких комнат, туда и сюда отворявшихся в низкие и темные сени. В самой большой собирались по четверка́м часто на преферанс.

Народу было уже много, когда явились Муратов, Марков и Житомірский: гарнизонный старик Киценко, худенький помещик из французов, Шаркютье, молодой чиновник с соляных озер, любимый всеми за простодушие и отвагу, и пр. Немного позже других явился многосторонний доктор.

Преферанс шел как преферанс; перебрасывались словами, дружески трунили, острили «трусе боку́», «дроже боку́»; Марков даже раз в ответ сказал «глупе боку́». Все играли, как водится; только молодой чиновник говорил вместо «семь червей» «семь преферанс!»

Сыгравши две пульки, обратились к закуске, водке и вину; освежились и заговорили все разом. Естественно, сейчас же разговор зашел про войну.

— Я удивляюсь, — сказал молодой чиновник, крепко прижимая руку к сердцу и кокетничая глазами, — я удив-

ляюсь... Я всегда говорю, что мне удивительны англичане... Ну, французы, это народ легкомысленный; они и начали эту войну; но англичане... Ведь им нельзя простить... Россия, по моему мнению, права...

Тангалаки взглянул на него отечески.

— Я вам говорил уже, — сказал он, — что̀ такое Англия. Я называю ее глупым селезнем, который может действовать только на воде, а Россия — петух. Вообразите себе, что они дерутся... Конечно, петух не может достать селезня на воде; но всякий раз, как подплывет селезень к берегу, петух клюет в башку, и тот опять бежит...

— Да̀, сказывали, — перебил старик Киценко, — важно их отшпарили на штурме; как хватят с парохода — и ряда нет... Вот, ей-Богу!..

— Это пустое! — возразил Тангалаки, — что̀ такое значит бить их из пушек? Пускай на рукопашную пойдет, тогда русский себя покажет. Никогда они ничего против нас не могут!..

Шаркютье улыбнулся.

— Послушайте, — заметил он с нежным акцентом и, как бы робея, углубился подальше в большое кресло, — зачем такое пристрастие? Вам, конечно, может, неприятно будет слышать, что я, который француз по фамилии, говорю против вас. Но вы знаете мой патриотизм... Я люблю Россию... я хочу только справедливости... Иногда поединок даже случался... Один пленный француз в Симферополе рассказывал мне, что его брат родной, зуав, надел однажды костюм пластуна и пополз ночью к русским батареям и, увидев вдруг другую тень, остановился... Эта тень тоже ползла и остановилась... Это был казак, одетый зуавом. И тот и другой думали встретить товарища. Подползли друг к другу и не могли объясняться. Они боролись в темноте среди молчания, и зуав обезоружил и привел в свой лагерь переодетого казака. Конечно, могло случиться и наоборот; но... неужели и этот пленный хвалился?

Тангалаки встал и, сделав грациозный жест рукой, скромно опустил глаза.

— Тàк, тàк! — сказал он. — Франц Адольфыч, я готов с вами согласиться, что этот зуав взял казака; но ведь это исключение... Не думайте, ради Бога, чтоб мы не верили вашему патриотизму; мы верим ему; но ведь это исключение, исключительный случай... Он не составляет общего правила; общего правила один исключительный случай не составляет... Я всегда беспристрастен и скажу, что француз-солдат выше нашего, как гражданин, как человек, но не как солдат... Он, может быть, ловчее нашего... я даже допущу, что он ударит два раза штыком, а наш русачок всего один раз, но зато кàк!..

— Ну, — перебил Житомірский холодно, наливая себе полстакана хересу, — это тоже вопрос. Я говорил с одним дезертёром-французом — молодчик был такой... славный солдат — так он прямо говорит, что русские не умеют колоть, слишком, этак, выставляют вперед ружье прежде нанесения удара... А надо сзади... вот так, а надо вот так!.. Удивительный был малый! Марков, вы его помните?

— Э! — сказал Марков, — пустомеля! Одно слово: дезертёр... Этого довольно.

— Нет, согласитесь...

— Не соглашусь! — воскликнул Марков, успевший, пока другие спорили, сильно разогреться у столика с закуской, — вы, Ромуальд, лучше молчите; я с вами поссорюсь... Вы тогда, извините, непристойны были... Все-таки он солдат, хотя и мог быть ловок, как француз... и, вдобавок, дезертёр, изменник. А вы с ним пили брудершафт в палатке!. Стыдно!..

— Ну, чтò ж такое? И другие офицеры делали то же... не я один...

— Чтò ж такое? А зачем вы покраснели? Вот то-то и есть. И другие офицеры были глупы... Чтò ж такое? Нет, батюшка, мне ваши слова, как нож в сердце — дà-с! Я русский в душе. Вот свел бы я вас с ротмистром Бардамовым... он вам показал бы! Вот удалецкая голова! Как врезался в ряды английских драгун... Ведь это чтò за войско было! гиганты, а не войско! Красавцы... Он: «вперед, ре-

бята, вперед!..» А тут из задних рядов какой-то выходец по-русски, как нельзя чище: «Сюда, сюда, скотина русская, — сюда!.. Я тебе размозжу дурацкую голову... Скорей!..» — «Сейчас!» — кричит, да как махнул по сторонам, пробился до него... Раз его по груди — не берет; другой раз по ляжке — рассек... тот его ранил в руку, а он разозлился, да как хватит его в лицо — до ушей рассек!.. Вот бы я его на вас напустил... Ведь вы, душа моя, все-таки штафирка, чинищев — больше ничего; вы в военном деле не судья.

— Ну, — отвечал Житомірский с сдержанным гневом, — а все-таки урон будет на нашей стороне, как вы ни кипите тут за стаканом пунша!

— Позвольте, позвольте! — вмешался Тангалаки, — я оскорблять нашу общую отчизну у себя в доме не позволю... Мы живем щедротами...

— Э,э, господа! полно, полно вздорить из пустого! — перебил старик Киценко, — эх-эх-эх! Ну, какое нам дело о политике говорить? Сидите да ждите! Вот и до нас дойдет очередь, тогда и храбрость будет видна. Пока, благодаря Творцу-Создателю, не трогают нас... Мы ведь, господа, тоже служили... Еще как — солдатиками начинали. Горя тоже не оберемся, бывало. А вам что? Да в наше время и не говорили много так офицеры-то... Сказал отец-командир: «марш, Киценко, растакой-ты!» — «Слушаюсь, ваше высокоблагородие!» Ей-Богу, право. Стойте-ка; я вам лучше спою песенку:

Ты моя душка, моя красотка...
На чем играешь — не понимаешь!
Ах, я играю на кларнете,
Трю, трю, трю-рю-рю.
Ты моя душка, моя красотка,
На чем играешь — не понимаешь,
Ах, играю я на флейте!
Фю-фю-фю.

Все, однако, были недовольны вмешательством старика и не дали ему кончить.

— Нет, позвольте, позвольте, позвольте! — снова затарантил Тангалаки, опуская глаза и отскакивая шаг назад, — позвольте, господа! Россия должна быть священна для каждого из нас... щедроты, которыми...

— Но, послушайте... — перебил Шаркютье.

Тангалаки отклонился от него с досадой.

— Я прошу немногого, прошу выслушать меня... Россия должна быть для всех нас священна... Все русское... мы русские...

Марков схватил полный стакан лафита и, подняв его, громко воскликнул:

— За здоровье матушки нашей, святой Руси! Да здравствует она, голубушка, на многие и многие лета на погибель врагам! Трррах! Пей, душа-Муратов, пей...

— Брудершафт! — подхватил маленький доктор, выскакивая вперед с своим стаканом.

Киценко взял его под руку, а Тангалаки отошел в сторону с досадой и холодностью в очах.

— Никак не дадут кончить!

Все крикнули «ура!»

— Я убежден, — возобновил Тангалаки, — что каждый из нас умеет ценить щедроты правительства... Я, например, всем обязан службе моей, моему правительству, моему монарху... Положительно скажу: обязан всем и не позволю никому оскорблять отечество — да!

При этом взгляд его обратился к Житомірскому.

Житомірский встал.

— Стойте! — воскликнул Марков, — стойте! Я русский; слышите, господин Житомірский? я русский... И тоже не позволю никому... Вы видите эту саблю?

И он выхватил из ножен стоявшую в углу новенькую тульскую саблю, на лезвее которой было написано церковными буквами: «На, Тя, Господи, уповахом, да не постыдимся во веки!»

И, выхватив, махнул с остервенением в обе стороны.

— Полноте! — с презрением сказал Житомірский, — вы первый струсите в деле...

— Что? подлец!

— Господа, господа! что это? Помилуйте! Как вам не совестно!... Марков! Ну вот! Эх-ма! — загремело со всех сторон.

Житомірский побледнел.

— Хорошо, — сказал он глухо, — вы можете меня оскорблять: вы при оружии...

Марков бросил саблю на землю.

— Оскорбите меня теперь: я без оружия.

Житомірский отвернулся, молча взял фуражку и, несмотря на удерживавшие его руки, бросился к дверям, не рассчитал высоты, сильно ударился лбом о притолку, застонал и присел.

— Вот что значит отступление без перестрелки! — послал ему вслед с хохотом Марков.

Житомірский ушел. Дверь захлопнулась за ним, и все вдруг заспорили и зашумели страшно. Тангалаки доказывал, что Марков прав, хотя увлекся; Шаркютье, напротив, заметил Муратову: что «du chocе des opinions jaillit la verité!»

Киценко ужасно соболезновал и говорил:

— Эх, за что? Он важный парень, Ромуальд Петрович!

Чиновник с соляных озер расправил мышцы правой руки и заметил, что не всякий спустит, что, если б сказали ему так — так он всех бы по одному повыкидал вон. Молодой чиновник был радостно взволнован (видно, любил игру страстей настолько же, насколько политику), а докторчик, которого совсем не было и видно за спиной соляного чиновника, вдруг выскочил и объявил, что он молчит, потому что всякий врач космополит!

Марков был пьян; он сидел, покачиваясь, на стуле и, улыбаясь, курил. Все стали убеждать его помириться. Он молчал и курил.

Мало-помалу все разбрелись по домам; к Житомірскому возвращаться было нельзя, и потому послали за постелями, решившись ночевать у любезного Тангалаки. Марков дремал, а Муратов, лежа на постели и закрыв глаза, с

стесненным сердцем внимал крику сов и увещаниям хозяина, обращенным к пересолившему гусару.

Тангалаки шептал: «надо помириться с ним...»

— Он скоро передастся... Я уверен...

— Хорошо. Но в моем доме! Я разделяю вполне вашу горячность...

— Наворовал сколько!...

— Кто себе враг, кто себе враг? добрейший мой, мсьё Марков!.. Смотря с какой точки... Надо быть только благородным в этих делах. Совесть моя, и т. д. Нет, вам надо помириться...

— Хорошо, хорошо! спать пора!

И Марков лег.

На следующее утро рано покинул Муратов гостеприимный аул. Марков, провожая его, был очень печален...

— Ты помиришься? — спросил Муратов...

— Чорт с ним! Ведь я его обругал... Уж извиняться, конечно, не буду... а так объяснимся.

— Конечно, если так... А согласись, все это скверно?

Марков взял его за руку.

— Ах, голубчик! — сказал он с жаром, — скверно, скверно... особенно, когда там льется наша кровь!... Увидишь, я скоро перейду в пехоту, и ты будешь читать в реляции: «храбрый ротмистр Марков шел впереди всех! Батарея была взята, но он был убит навылет в грудь пулей!» Я буду носить солдатскую шинель нараспашку поверх венгерки и в дело буду брать всегда ружье с штыком... Прощай, голубчик, будь здоров!..

Скоро отъехал Муратов версты с две, и хаты аула стали уже сливаться с подножием обнаженной горы.

Муратов с глубокой тоской и досадой на себя за то, что покинул тишину домашней жизни, скакал вперед... Перед ним впервые даже явился страх... Он боялся погибнуть ни за́ что, ни про что, где-нибудь в глуши, как погиб тот оцепенелый молодой крестьянин, которого труп показывал ему в сенях лазарета блестящий молодой практик.

Волнистая степь лежала кругом; наверху свод неба; а впереди без конца вилась черноватая дорога.

Тошно стало ему думать, что сила, которая взывала в нем во все время долгого похода, начинала меркнуть, как болезненный и вовсе ни на что̀ порядочное не потребный идеал! Где тот холодный и крепкий ключ? Уж не нас ли надо кропить живой водой?

Насколько был он прав и не подействовала ли на него через меру чуждая привычкам картина печального аула — увидим при дальнейших встречах, и потому лучше бы не заключать ничего из сказанного...

15 января 1858.

ВТОРОЙ БРАК

ПОВЕСТЬ

I

Авдотью Петровну Бобруйскую многие из ее близких звали с детства Додо́.

Хотя это нерусское сокращение справедливо может не понравиться тем, кто любят одно величавое, однако и мы будем звать ее так для краткости.

Вышедши замуж 18 лет, она овдовела в 23 года, прожила около 4-х лет за границей, провела шесть зимних месяцев в деревне и приехала в Москву в начале мая.

Она очень любила Москву, несмотря на то, что ни первое вступление ее в общество, ни время замужества, протекшее большею частию в той же Москве — не были счастливы. Эта привязанность к городу, дремлющему под колокольный звон, заставила ее врача согласиться на искусственные железные воды, которые она хотела пить, отказываясь от новой поездки за границу.

Незнающие люди полагали, что у нее чахотка, потому что она заметно стала худеть еще при жизни мужа, а зимою иногда кашляла; — но опытный врач ее не только не разделял мнения профанов, но считал ее даже вовсе не расположенной к этой болезни.

Действительно, очень многое в здоровье этой молодой женщины зависело от настроения ее духа, и доктор не глупо говорил, что у нее страдание больше количественное, нежели качественное.

Обстоятельства последних лет несколько отвратили Додо́ от большей части родных, давно отяжелевших в Москве, и она была рада, что май изгнал их из города.

Несколько приятельниц, еще молодых, как она, были тоже в отсутствии. Об их отсутствии она нерешительно пожалела. Но у нее был в Москве один знакомый, производивший на нее всегда приятное впечатление. Он был одних лет с нею и служил в палате. Мать его, старушка Степанова, была соседка Додо́ по деревне и когда-то носила ее на руках. Додо́ находила, что лицо Степановой очень похоже на старую хижину или избушку, или на какую-нибудь покачнувшуюся посреди огорода крестьянскую баньку, теплую внутри; — но когда она говорила о старой соседке, глаза ее и улыбка, и выражения речи обличали столько преданности и уважения, что сама старуха, вероятно, не обиделась бы, узнав о сравнении, если бы передававший мог бы передать и чувства Додо́. Еще в детстве Додо́, подобно многим детям, воспитанным в однообразной роскоши, нередко предпочитала скромное и даже неюютное жилище Степановых отцовскому дому. Она любила ездить в гости к старушке и к Мише, с которым она играла в лошадки и качалась на качелях в небольшом и нетенистом саду.

Старуха до сих пор звала ее Дунюшкой, так звал ее и покойный отец. Русское ласкательное имя напоминало, таким образом, молодой женщине предметы, времена и лица, более проникнутые полнотою надежд.

Когда Додо́ приезжала к старухе, та приказывала приготовить отличный кофе и, наливая ей сама, говорила, вздохнув: «Кушай, Дунюшка-матушка» или «Дуня-голубчик!» — К детским воспоминаниям впоследствии прибавилось уважение более зрелого рассудка, потому что всякому думающему отрадно убедиться явным примером, соседним, близким, в том, что в самом деле простота не исключает нравственной высоты.

Случай, в первый раз заставивший Додо́ поверить, что набожная и необразованная помещица, может быть, не шутя

нравственна, был очень несложен. Миша, еще будучи студентом, позволил себе привязаться к семнадцатилетней, белокурой и часто босой швее. У них родился сын. Старушка потосковала, но дала вольную швее, а мальчика выпросила у нее и держала как законного внука.

— Ну вот поди, Дунюшка-голубчик! Не могу! как погляжу на младенца... Миша мой, да и Миша! Ведь не щенок, кровь-то все одна, мой голубчик, Дуня!

Белокурая мать этого ребенка была очень ветрена и, рассердившись раз на своего друга и барина, оставила их дом, оставила ребенка, из уездного города уехала с офицером и пропала без вести. — Я не могу говорить подробно о других примерах доброты, которые легко открыла Додо́ в старухе, потому что старуха имеет очень мало отношения к моему рассказу; но Додо́ знала про нее все.

Старушка, зная простодушие соседки, дала ей при ее отъезде небольшой мешок с зеленой крупою и просила доставить сыну, который очень любил зеленую кашу. — Додо́ хотела послать крупу Степанову и велеть звать его к себе, но он дня через два после ее приезда встретил вечером в трактире ее управляющего и сам приехал на другое утро к ней.

Еще накануне своего визита он много говорил о ней с одним коротким приятелем своим Герсфельдом, молодым чиновником по необходимости и музыкантом по призванию.

Они вместе гуляли на бульваре в несколько грустном настроении. — Теплый майский дождь только что прошел над столицей; воздух был томителен, и везде пахло березками, когда они пошли гулять. — Герсфельд был молчалив и задумчив, но Степанов скоро начал ему говорить о том, что приехала Дуня Бобруйская и что «такая скверность! Молодость проходит! а толку нет!»

— Что же ты, — спросил артист, — от этой Бобруйской толку для молодости хочешь?

— Эка! — возразил Степанов, — вовсе нет... Вместе росли, вместе вот и стареем...

— Да что ты с этой дамой все носишься? — Я уж раз двадцать слыхал от тебя, — Додо́, Дуня, Бобруйская. — Она для тебя, кажется, какая-то эссенция знатности, блеска, что ли...

— Сам ты эссенция злобы! Вот что!... я люблю ее. Не знаю, что из нее теперь вышло. Может быть, погордела, испортилась. Мать мне писала из деревни, что она все такая же. Помилуй, я ее с детства знаю. Бывало приедешь к ним, она выскочит — руки грязные, все в чернилах. И мы с ней были на ты; и лихая была... В лошадки мы с ней игрывали, — как начнет на пристяжке завиваться... Просто ахти-мне! И, казалось, здоровенькая была, а вышла — швах. Муж, сволочь, ее много испортил. Цыганки, вино, карты, актрисы. Соки не те. И сама теперь страдает спинною костью. Я читал, помню, в какой-то чертовской книге насчет вреда от сожительства...

— Хороша она собою?

— Так себе... Нет не хороша. Душа ее милая в глазах видна...

— У этих госпож, — сказал Герсфельд, — дешевые качества... Я думаю... Я мало бывал сам в светском обществе. Ты, конечно, гораздо лучше меня это знаешь...

— Так, так! без язвы нельзя! А сам аристократ в душе! Гордость-то у тебя изо всех пор...

— Ну, Бог с ним, с по́рами, — перебил снова музыкант, — что же ты не женишься на ней, если она так мила и не горда?

— Не пойдет за меня... Не тот покрой у меня, я ведь знаю сам, батюшка! — А знаешь ли что, Николай...

— Что?

— Попытай-ка ты счастья. Я тебя познакомлю. Рожа у тебя не то, что у нас... Все есть, что нужно. Даже тип эдак не русский. Германское что-то, воздушное, и стан, и все с шиком... Право! А? что скажешь?

— Ну вот пристал... Познакомь прежде, а там посмотрим. Во-первых, ее ни германским, ни всем тем, о чем ты

говоришь, верно нельзя удивить. Мне кажется, надо знать прежде всего, как она жила с мужем. Была ли она с ним счастлива...

— Едва ли! — отвечал Степанов, вздохнувши. Я еще гимназистом был, когда встретил его у нашего вице-губернатора. Он вице-губернаторше двоюродный брат... Красивый был мальчик лет 18-ти, белокурый, жидкий, стройный. У вице-губернатора был детский вечер. И мы нашу казеную кашу потащили туда!

— Какую кашу?

— Казенную. Я ведь казенный был. Вот меня с 4-мя товарищами выбрали туда. Тех троих за ловкость и за parler-français, а я сам навязался... По-французски-то, ты знаешь, я и теперь как начну, так кишки на рожен ворочаю, а тогда что и говорить! Пришел я к инспектору и говорю: «Семен Иваныч! моя маменька с ними знакома». А какой чорт знакома! Был один из наших, Садовский — славный мальчик, уездного предводителя сын; танцовал хорошо; да потом еще один на Святках в отпуску правовед был... Так куда! перед Бобруйским все спасовали. Сапоги не те, ловкость не та, мундир не тот. Он был паж с золотыми нашивками на рукавах. Боже мой! Боже мой! Так все и дышало Петербургом. А мы Петербурга-то и не видали ни разу. Подумаешь, Бог знает что... Скверный, гнилой город! А он восемь в вальсе писал около двух стульев с самою вице-губернаторшею! Всех наших мальчуганов затмил. А я!.. И говорить нечего! Рук не знал куда деть. Тогда мать моя, старушоночка, была тоже в городе. В кибитке в своей рогоженой притащилась тоже, на скверной тройке к Святкам. Эдак мне ее жаль было! Еще Садовский, подлый мальчишка, пришел в класс и говорит при всех: «А я, говорит, Степанов, видел вчера как твоя маменька, в обратном смысле, неслась во весь опор по Московской улице». Нужны мне перчатки; она мне сама заштопала свои серые и дала, старушка... Очки надела. Ну какая же тут возможность в серых перчатках действовать? Согласись. Танцуешь. Тут люстра

переливается радугой, тут духи от девчонки, плечи голые... хоть и не развито еще, а все чувствуешь, что не свой брат! Вице-губернатор и губернатор сам. Шампанское за ужином. Полька с фигурами. Я было начал стараться, да невольно — вот ты что хочешь! все язык между зубов высовываю от старательности; — а Садовский мне: «Что ты, шепчет, Степанов! язык!» — вот брат, какая штука. Домой я приехал. Моя старушка ждет меня, бедная. Чай приготовила с лимоном... Совсем другой мір! Приехал я домой; — насилу дотащился. Кучером с матерью приехал наш башмачник сухорукий и рябой. Я, забывшись, не отослал его домой, и он так промерз, что насилу липовым цветом отпоили. А лошадь у нас большая, старая, кострецы торчат. Хозяином звали ее. Нет, нет да и загалопирует! Одно к одному. Совсем был стерт с лица земли. Еще в танцах как вспомню о матери, да на перчатки взгляну, так и заноет, заноет душа!

Наивность этого рассказа, казалось, завлекала Герсфельда, потому что он спросил: «А хорош он был собою этот паж?»

— Очень был хорош, — отвечал Степанов. — Нос слегка загнут, рот приятный, полураскрытый, глаза большие, голубые. И на всех языках, конечно, говорил. — После я их увидал вместе в деревне Дунюшкиной, когда он на ней женился. — Она смотрит, не насмотрится на него... а он, как водится, с небрежностью. — Ноги на диване, чуть не кверху. — Ну! это не беда, положим. — Беда в том, что и в доме через месяц завел всякий вздор с горничными. — А она и не видит ничего. Впрочем, он скоро захирел и умер. Кутила-мученик был! Однако с нею при чужих всегда вежлив. В церкви, здесь в Москве, они причащались раз вместе, я видел, она стояла в зеленом бархатном салопе, а он в мундире, и как заметил, что ей трудно пробраться на ступеньки к причастию — с любовью словно помогал ей. Славная женщина! Подумай-ка, Николай. Мне куда! Видишь?.. — Степанов указал на свой

преждевременно полнеющий живот; — но Герсфельд не отвечал ни слова.

Толпа на бульваре давно уменьшилась; — они молча и задумчиво сделали еще один конец. Тогда Степанов вдруг вскрикнул, сжав кулаки.

— Эка погодища-то! погодища-то! Так бы и съел ее! Рук, ног не знаешь куда деть! Слушай, Николай, пойдем к Анюте... Напьемся чайку... душа моя... У нее отличный чай...

Анюта была молодая цветочница, которая жила недалеко от бульвара, в мезонине небольшого дома, и Степанов около года тому назад познакомился с нею.

— Ты меня не люби, — сказал он ей, — куда тут! А будем жить, знаешь, мирно, да и баста!

— Хорошо-с, — отвечала Анюта.

И точно, они никогда не ссорились и не надоедали друг другу.

На приглашение пойти к Анюте, Герсфельд отвечал, что Анюта точно хорошо делает чай и вообще она молодец, но что он расположен сегодня к одиночеству.

— Эх, век с тобой не сойтиться! А она все еще жалеет тебя. Говорит, что он с Луизой не познакомится? Он немец, она немочка — так бы и жили!

Герсфельд немного посмеялся, велел кланяться Анюте и благодарить ее, прибавивши, что он предпочитает русских, подобных ей, и подал руку Степанову.

Степанов вздохнул, крепко сжав поданную руку и сказавши грустно: «Эх! Николай, Николай!...», — ушел с бульвара по боковой тропинке.

Оставшись на темном уже бульваре почти один, Герсфельд сел на скамью и, облокотившись на колена, закрыл руками лицо.

Из всего рассказанного Степановым он гораздо яснее видел покойного мужа госпожи Бобруйской, нежели ее самое, но непроизвольно озарившиеся в душе его картины богатой жизни, навели его на тягостные размышления.

II

Степанов и Герсфельд в детстве товарищами не были.

Встретились они случайно, лет за 5 до начала нашего рассказа.

Степанов, еще будучи студентом, приехал погостить летом недели на две в одно семейство, жившее всего верстах в трех от деревни отца Герсфельда. Семью, в которой Степанов провел эти две недели, пригласила тоже семейная соседка на званый обед, и студента повез туда старший сын к вечеру. Три девицы и мать, женщина образованная, но надменная и тщеславная, отправились еще прежде к обеду.

Степанов, прокатившийся не без дендизма в покойной коляске, четверней в ряд, готовился повеселиться и показать свою ловкость в танцах, к которым он был очень способен, пока не растолстел слишком годам к двадцати семи.

Изящество семейства, в котором он теперь был как бы временным членом, — поздний приезд с молодым человеком, относительно внешности более чем безукоризненным — и то и другое обещало ему успех.

Однако ему суждено было побледнеть вместе с спутником своим и спутницами перед изысканной скромностью другой семьи, снабженной блистательным княжеским именем.

Остальное все было ниже их. Между прочими гостями он заметил сухого старика среднего роста, в форменном вицмундире без эполет и с несколькими крестами на груди.

С ним были: сестра, девушка лет сорока, две девицы восемнадцати, семнадцати лет, одетые недурно, собою недурные, хотя слегка жеманные — и бледный, белокурый студент, сидевший в углу.

Хозяйка, женщина толстая и глупая, казалось, была чем-то расстроена и, несмотря на многочисленность, общество было невесело.

Девицы, знакомые Степанову, объяснили ему и брату, что за обедом случилась небольшая история, наложившая печать неловкости на всех. Они сказали, что сухой старик привез с собою двух воспитанниц, которых происхождение так двусмысленно, что порядочным людям нехорошо быть в одном месте с ними.

— Он никогда не привезет их к нам, — сказала одна из этих девиц, — он слишком уважает наш дом. Maman хвалит его ум и говорит, что ее нога не была бы у него, если бы он позволил себе привезти к нам этих девчонок!

Степанову часто случалось быть недогадливым, — случилось и на этот раз. Он находил этих девушек довольно милыми и не мог постичь, почему их нельзя принять.

— Vous êtes chose! — сказала ему одна из гордых барышень, показывая ему на лоб.

Щоголь, привезший его, отвел его в сторону и растолковал, что скромные девушки побочные дочери сухого старика,что мать их умерла, но что бабушка до сих пор скотница.

— А этот студент его законный сын. Отличный музыкант. Фамилия их Герсфельд, — прибавил франт; — они живут всего верстах в трех от нас. Старик молодчина и очень не глуп, но вот слабость возить везде дочерей!..

Тогда Степанову рассказали, что хозяйка дома, которая в обыкновенное время принимала двух немочек как нельзя лучше, теперь сочла обязанностью взволноваться в присутствии княжеской семьи и за обедом, когда дочери Герсфельда сели за общий стол, торжественно взяла их за руки и отвела на другой, маленький стол, где сидели дети. Никто не выразил тогда негодованья, но двое-трое из мужчин хотели удалиться от большого стола вместо оскорбленных девушек; — хозяйка-же удержала их, сказавши: «Сидите; сидите! Всякий должен знать свое место!»

Девицы, рассказывая все это, смеялись над бесхарактерностью глупой хозяйки, но в словах их было заметно, что они не жалели ни дочерей, ни отца, который после обеда не выходил из угла. Суровое, худое и красивое лицо его было

задумчиво и злобно; — а рядом с ним, тоже молча, сидел бледный сын, едва перешедший за 20-й год. Добрый Степанов собрался с духом и подошел к последнему.

— Позвольте иметь удовольствие, — сказал он, — мы оба студенты.

Молодой Герсфельд, вставши, подал ему руку, но на холодном юношеском лице не выразилось ничего. Старик зато взглянул на Степанова с чувством и поспешно отодвинулся, чтобы дать ему место на диване около сына. Степанов сел и старался быть любезным, но, хотя оказалось, что они оба были из Москвы, — Герсфельд-сын едва отвечал ему.

Старик, видимо недовольный сухостью сына, вмешался в разговор, засыпал Степанова вопросами о науках, звал к себе, хвалил студентов и делал, оживляясь, такие гримасы, что Степанов стал смущаться за сына.

Старик, говоря, расширял глаза, сверкал ими зверски, вдруг отодвигался назад. При всяком замечательном слове высовывал язык или щолкал им во рту, или вскрикивал.

— Люблю студентов, — заключил он, — молодец народ! Наука до всего дойдет. Все трын-трава! Вздор и баста!!

И опять щолкал, ел Степанова глазами и дразнил его языком.

Между тем собрались танцовать кадриль. С княжеской семьей приехал один петербургский чиновник, человек дельный и желавший жениться на одной из княжен. Танцующих кавалеров было мало, и он подошел звать молодого Герсфельда на визави. Студент хотел отказаться, но отец грозно взглянул на него и указал на сестер.

— Возьми сестру, — сказал он вполголоса. — Герсфельд взял сестру и стал на свое место. Тогда произошла путаница, которую надо объяснить подробно.

Княжна, за которую сватался петербургский делец, была девушка хорошая и ничуть не гордая; — она всегда подходила сама к дочерям Герсфельда и недавно даже приглашала их к себе, с разрешения матери.

Но осторожный делец, несмотря на блестящее течение его службы и даже на близкое камер-юнкерство, был человек имени до того незнатного, что в начале его знакомства с княжеским домом один из двоюродных братьев княгини спросил у нее с негодованием: «Что *это такое* Васильев? зачем он здесь?»

Ставя чрезвычайно высоко предмет своих искательств или любви, Васильев испугался, увидав, что молодой Герсфельд танцует против него с незаконной сестрой, дочерью служанки. Не сказавши ни слова своей добродушной даме, он поспешил к одному из ее братьев, задумчивому и смирному моряку, и попросил его поменяться с ним местами. Моряку было все равно и он пошел с своей дамой и стал против удивленного Герсфельда и его сестры; — он танцовал с той девицей, которая назвала Степанова — «Chose».

Эта перемена мест не ускользнула ни от самолюбивой дамы моряка, ни от брата ее, ни от старого Герсфельда.

Кадриль кончилась. Старик подошел к Васильеву и ядовито спросил у него: «Вы что хотели сказать этой переменой?» Шутить с ним было опасно; всем в околодке было известно, как он поступил еще недавно с одним богатым откупщиком из купцов. На мужской, помещичьей пирушке откупщик, разгорячась, толкнул слегка в грудь одного небогатого помещика. Тот пошатнулся и сел на диван. «Что? — закричал Герсфельд — Дворянина?! Дворянина?!» — и схватив за горло высокого и дородного купца, грянул его оземь, прежде нежели успели их разнять. За стариком и брат-щоголь подошел к дельцу и сказал ему так: «Да! Ваш поступок очень странен и невежлив!»

Делец оправдывался перед стариком тем, что это случайность, что он не считал необходимым на таком маленьком вечере держаться строгих правил. Старик хотел возразить еще; но щоголь, рассерженный еще прежде тем, что чиновник будет скоро камер-юнкером, а он нет, перебил его:

— Я полагаю, — сказал он, — что княжна может танцовать везде, где танцует моя сестра. И если что-нибудь

не унизительно для моей сестры, так и для княжны тоже! Слышите?

Степанов подошел; подошел и князь-моряк. Оба вмешались, один, обвиняя чиновника, другой, оправдывая его, и оба старались всех смягчить. Кончилось тем, что чиновник подошел к молодому Герсфельду, севшему опять в угол и стал извиняться, повторяя, что это была простая фантазия, случайность...

Студент посмотрел на него холодно и надменно и отвечал, не вставая и не шевелясь:

— Мне решительно все равно. Вы ли против меня, или кто другой. Напрасно вы беспокоитесь. Я и не заметил бы.

— Молодец! — подумал Степанов.

— Молодчинище! — подумал отец, — тонко обрезал!

Между тем брат-щоголь предложил Степанову отомстить и хозяйке, и княжеской семье.

— Покажем этой сволочи, — сказал он, — что не мы в них нуждаемся, а они в нас. Велим играть польку и не будем танцовать ни с княжнами, ни с хозяйскими толпегами! Немочки очень порядочно полькируют, а сестры мои отлично.

Пусть посидят!

Степанов охотно согласился. В то время он был завидный кавалер, а про сообщника его и говорить нечего; он везде был бы из первых танцоров. Беспрестанно меняя избранных дам, которые нимало не уступали кавалерам своим в легкости и ловкости, мстители привлекли внимание всех матерей и теток, сидевших до той минуты в гостиной.

Проезжие жиды играли прекрасно; Степанов танцовал с восторгом, сознавая, что совершает доброе дело, а бедные сиротки порхали за ним, с легким жеманством склоняясь на его твердую руку.

— Посмотрите на старуху, как она пыхтит, — шептал ему франт, указывая на хозяйку, — а княгиня, — продолжал он, — какая презрительная мина!

Степанову было очень жаль кротких княжон; они были так просты, изящны; его начинала грызть совесть, и ему еще ни разу не приходилось обвивать стан девушек, бывавших даже и при дворе. Невинные княжны грустили, потому что кроме Степанова и франта польки никто не умел танцовать, и одна из них решилась пойти с братом своим. Но моряк прошелся так вяло, что возбудил только грустное чувство в зрителях.

Однако Степанов выдержал роль и с милыми княжнами не танцовал; старый Герсфельд таял, глядя на танцующих дочерей. Прощаясь, он подошел к Степанову и, сжав ему руку, вперил в него ласковый взор.

— Ко мне! — тихо начал он, помолчав, — ко мне! вот сын — один мундир... прошу, прошу,... я полюбил вас...

Через два дня Степанов поехал к Герсфельдам. Старик встретил Степанова в зале, схватил его за руку и посмотрел на него молча, с нежностью склонив набок голову. Потом закричал:

— Рад! рад вас видеть! В гостиную! Я полюбил вас! Констанция! lass uns Tee geben! Geschwind!

Вошел слуга.

— Дайте нам чаю, хорошего чаю, — певучим голосом сказала сестра.

Но чай был нехорош; Степанов с трудом выпил другой стакан.

Пришли дочери.

— Вот ваш танцор, — сказал отец, — а что, Наташа, как он живо танцует, лихач! ловчак! А? молодец, молодец! — продолжал он, оглядывая дружески Степанова и пожимая ему ляжку: — молодец! и душа есть. Эй, человек, наливки, вишневки! Constanzia, lass uns наливка geben!

— Человек, подайте здесь наливку, вишневку, — пропела Констанция.

Подали наливку.

— Вам было весело на бале? — спросила Констанция у Степанова.

— Очень было весело; благодарю вас.

— Общество всегда приятно!.. танцовать, играть. Здесь у нас часто танцы, играют много... Schenken und logiren; — вы знаете это — Schenken und logiren...

— Что ему это! — перебил старик, — он москвич. Привык не к тому. А княжны, княжны-то, брат, очень милы, напрасно ты, брат, пренебрег ими. Напрасно! А где же Николай? Эй, позовите Николая. Он у меня дикарь, чудак! но голова! музыка, музыка! Ах, Боже, какая душа в игре! Души, души океан! чорт знает что! — Степанов был в волнении; его утомляло напряжение такой энергической речи, беспрестанные переходы от крика к шопоту, от томных глаз к сверкающим.

— Констанция, позови Николая!

Сестра встала и скоро вернулась с Николаем, который, пожав руку Степанова, сел в стороне на кресле и молчал, пока отец расспрашивал гостя о Москве, о его служебных намерениях и об имении его матери. Степанов, освободившись от отца, обратился к сыну и сделал ему несколько скромных вопросов, на которые тот отвечал учтиво, но без веселости. Отец велел ему играть на фортепиано, и он играл; опять спрашивали у него что-нибудь — он отвечал как следует, но сам не сделал ни одного вопроса; отец приказывал ему аккомпанировать сестре, когда она пела, он аккомпанировал; но как только отец опять занялся гостем сам, молодой человек ушел через балкон в лес, так что его уже не могли найти, когда во второй раз послали за ним.

— Чудак! — заметил старик, — а души море.

Разогревшись наливкой, он советовал Степанову по окончании учения ехать на Кавказ и рубиться там до тех пор, пока выйдет в люди. Он говорил ему также о своей молодости, о походах, о переправе через Березину, о том, как он был ранен.

— Пустое все! Наполеон притиснут. Река, мост, батарея, треск, пальба! Сам Наполеон наводит пушки. У меня был товарищ, Семен Фредовский... Чудо, что за малый... Сюда... в ляжку бац!... «Ничего, — кричит, — сам Наполеон навел по крайней мере...» — сюда!

Сказав это, старик еще раз закрыл глаза и как бы замер на минуту; потом раскрыл глаза мало-помалу, вкрадчиво стал вглядываться в собеседника, ударил его по плечу и, подморгнув на рюмку, сказал:

— Еще! жизнь наша дрянь... умрешь... все пропало! и следов нет. Все это вздор, понимаешь... там! все это бредни, дрязги, выпей!!

Степанов насилу вырвался от него. Через два дня молодой Герсфельд приехал отдать визит Степанову в дом той помещицы, у которой он гостил. Герсфельда все приняли очень радушно; мать упрекала его за нелюдимость, девицы умоляли его сыграть что-нибудь. Он исполнил превосходно все, что ему ни предлагали, но говорил немного, неразвязно и скоро уехал.

В Москве молодые люди сблизились. Искренность Степанова и доброта его, доходившая иногда до навязчивости, победили наконец упорство музыканта. Степанова он занимал, Степанов ухаживал за ним, как за женщиной, сносил его причуды с тех пор, как Герсфельд сказал ему раз или два, что только с ним он может быть откровенным. Степанов принял это за комплимент, за признак умственной высоты, которую открыл в нем жолчный юноша, но Герсфельду было только легко с ним. К тому же, Герсфельд был обязан Степанову, и так как он помнил добро холодно, но крепко, то не смел быть неснисходителен к этому любящему человеку.

Старику Герсфельду дочери были дороже сына, в котором видел он сильного противника своему деспотизму и, гордясь им, боялся его суда.

Николай не мог забыть всех жестоких побоев, перенесенных им в детстве, не мог забыть выдранных волос, вечно плохой еды, грозных слов: «молчи! я говорю тебе! слушай!» А что слушать? где же правда? Едва семнадцать лет ему, а он уж знает, что для того, чья кровь зачала его, не писаны законы крови; что у этого сорокалетнего человека была крестница, обольщенная им мимоходом и выданная замуж за слугу. Что дочь этой крестницы, свою собст-

венную дочь, потребовал он к себе и, когда мать с воплями противилась ему, он велел кучерам высечь эту крестницу свою, свою любовницу и мать своей дочери! А мужик в железной рукавице? Пьяные пирушки соседей, с которых, подобен грозе, возвращался жестокий немец? А преждевременная смерть матери? Кто знает, как она умерла?

Девочки, внушившие в известную минуту сострадание Степанову, были дома избалованы и капризны. Робкая тетка, из почтения к брату, по часам сидевшая над ними в детстве с немецкой азбукой, немало настрадалась от них и от брата. В сущности же старик был прав, и воспитание этих девушек было одним из немногих его добрых дел. Сын напрасно подозревал его в неверности покойной жене и в жестоком обращении с нею. Они женаты были недолго, и немец любил тогда смирную и полную мать Николая. Но по смерти ее, помещик обратил внимание на одну девушку во дворне, которая была немного калмычка лицом, но привлекательна и свежа. После первого сближения молодой помещик пристрастился и дал ей благородное слово воспитать и устроить детей ее не хуже законных. Родились две дочери одна за другой; рожая третью, смуглая девушка умерла вместе с ребенком, а немец трое суток не выходил из своей комнаты.

Как ни увлекался он донельзя всеми соблазнами русского быта, как ни сливалась в нем на горе ближним русская обстановка с немецкой настойчивостью, однако дух рыцарства, принесенный им с берегов Балтийского моря, не выдохся в нем, и он поклялся еще раз сделать все, что мог, для беспомощных девушек. К несчастью, он подозревал всегда сына в ненависти к сестрам, в преждевременном понимании разницы между им и ними; бил его, когда он ссорился с девочками, и упрямства его принимал за преднамеренность. Отношения эти смягчились много, когда сына отдали в гимназию, и не раз проходили дни и месяцы отпуска без ссор, притеснений и упреков. Сын учился отлично, имя его или свое старик сам видел с восторгом на синей доске золотыми буквами, а музыкальное дарование

мальчика было так ясно, что инспектор представил его на акте губернатору. Через месяц получил отец от Николая письмо, в котором он просил позволения ходить к одному богатому помещику, страстному артисту, желавшему выработать дарование бедного мальчика с отрицательными глазами. Отец млел от гордости, читал письмо сестре, экономке, дочерям, соседям, прикащику и не только позволил ему ходить к этому помещику, но через неделю поехал сам в город, в отставном мундире явился к нему и благодарил его энергически. Но помещик отвечал:

— Напрасно вы беспокоились. Я делаю это для себя. Ваш сын мне очень нравится.

Вообще он был сух и не приглашал его повторять визиты.

Покровитель этот был человек женатый, никуда почти не ездил и музыку предпочитал всему. Так как имение его было недалеко от города, то он и проводил зимы в доме своем, который стоял на Садовой улице за прекрасным палисадником. В большие праздники делал он, по настоянию жены, визиты губернатору и двум-трем родственным семьям; остальное же время у него шло правильно в одиночестве. Жена его, не имея детей, воспитывала племянниц, которым хотела оставить все свое имение; иногда внизу танцовали, но муж редко и ненадолго сходил вниз. Не надо воображать его в халате. Он был когда-то гвардеец, молодость провел в Германии и Париже и там, говорят, утратил здоровье. Ежедневно зимою гулял он от 3-х до 4-х часов, в щегольском пальто с бобром и в круглой шляпе, по расчищенным дорожкам бульвара, а потом возвращался к обеду в санях, уносимых великолепным серым рысаком, которым правил красавец-кучер, роскошно одетый. Такая жизнь, казалось, не отягощала его.

Когда он вздумал пригласить Герсфельда и стал давать ему уроки на скрипке и рояле, он ничем не изменил себе в течении 3-х лет пред мальчиком; ни разу высокая мысль не озарила его таинственности, и Герсфельд, впоследствии, размышляя о нем, заключил, что содержания в нем было

мало, помимо музыки и причудливой необщительности, подававшей надежды на особую глубину.

Однако молодой человек сохранил признательность к своему добровольному наставнику. Прощаясь с Герсфельдом перед отъездом последнего в Москву, мизантроп сказал ему: «Жаль мне, Коля, что я раззнакомился со многими. Впрочем жена даст письмо тебе к родным в Москве. Прощай, голубчик... дай Бог тебе!» Он грустно простился с юношей; но не просил ни писать, ни даже помнить себя. Письмо жены его доставило Герсфельду возможность давать уроки музыки в двух домах детям, а потом и случай играть в четыре руки с одной сорокалетней генеральшей, которая платила щедро и располагала к себе студента искренней любовью к искусству и знаниям как механизма, так и поэзии дела. Несмотря на эти уроки, Герсфельд часто нуждался, особенно на последнем курсе. Отец тогда не присылал ему денег, потому что они поссорились.

III

Степанов был, конечно, прав, когда, исполненный сострадания, решился принести в жертву свое тщеславие и княжон, танцуя с сестрами Герсфельда. Но отвлеченные идеи незаконности, угнетения и кротости, которым он тогда служил, имели дома не всегда привлекательную форму. Меньшая была проста, старшая вспыльчива и злопамятна. Вечно скучая, осуждали они отца, который с ними был уступчив и нежен, а теткой помыкали как нельзя хуже. Брату, видавшему девицу другого разбора в доме покровителя, не нравились их немецкие жеманства, привычка склонять голову набок при чужих мужчинах. Он не мог не разделять их негодования на предрассудки соседей, на их непоследовательность, или на гордость, но недовольный сам собою, медленным ходом успехов и холодом домашнего быта, он иногда с удовольствием раздражал их и даже доходил до той степени жолчности, при которой приятно

несправедливое подозрение в неблагородных, презренных чувствах.

Таким образом, раз сестры его оделись очень нарядно, на праздник венков в Троицын день, который праздновался у них в лесу и на который приходили все соседние крестьяне. Брат слышал, что улан, недавно приехавший в свое имение, верстах в 6-ти от них, — будет на венках. Он заметил сестрам, что, вероятно, улан за них не посватается и что гораздо было бы благоразумнее приберечь шолковые платья для какого-нибудь обеда, вроде того, на котором они с Степановым уничтожили всех и даже двух фрейлин.

Старшая отвечала на это, что она не желает улану вовсе нравиться и не знала, что он будет на венках.

— Поверьте мне, — сказал брат, — что он гораздо больше думает о крестьянках, чем об вас.

Меньшая спросила, почему же улан не может на одной из них жениться? Брат засмеялся.

Герсфельд, конечно, презирал скорее улана за то, что он не способен к подобному браку, а не сестер, но так как он говорил с ними всегда коротко и не трудился разъяснять свои слова, то старшая заплакала и сказала:

— Я знаю, что ты ненавидишь нас за то, что мы тебе сестры. Ведь это не наша вина. Брани за это отца, а не нас... я знаю, что ты думаешь, что отец грабит тебя из-за нас.

В это время взошел отец. Оскорбившаяся девушка повторила то же при нем еще жестче и сказала, что старая экономка внушает эти мысли брату, и будто недавно говорила она, что пора бы сыну передать дела и что грешно обирать сына для них, что деньги на их приданое взяты с имения покойной барыни.

Старик стоял и слушал потупя глаза; сын, побледнев от гнева и отчасти от боязни, отошел в сторону и прислонился к печке. Когда Наташа кончила, отец повернулся к сыну и посмотрел на него зверски, потом вдруг подбежал к нему и начал бить его. Сын стоял молча. Старик бил его по лицу, душил его, рвал ему волосы... Сын стоял молча.

— Каналья! железо — каналья! — сказал старик; изнеможенный бросился на стул и тут же, припавши к столу, заплакал навзрыд.

Что было делать уничтоженному сыну? Он сначала пошел наверх и постоял в немом безумии у закрытого окна, глядя на ракитовую дорожку и на поля. Потом пришла потихоньку тетка Констанция и тоже, не говоря ни слова, стала плакать. Он попросил ее уйти. Тетка ушла. Он пошел в конюшню, взял седло и оседлал сам старую при-
10 стяжную. Надо было бежать в Москву, а денег не было ни у него, ни у тетки. Бодрые соображения, как немые молнии, сверкали в его душе одно за другим.

Оседлавши лошадь, он поехал к той помещице, у которой два года тому назад гостил Степанов, чтоб занять денег.

— Теперь скоро стемнеет, — думал он, причесываясь гребнем по больным местам и повязывая на щоку платок, — летом поздно подают огонь. Быть может, не увидят пятен.

20 Он приехал и, сказавши, что желает по очень важному делу видеть мать семейства, был приглашен в ее кабинет.

— Извините, — сказал он. — Я объясню вам после... мне крайне нужны деньги... если вам угодно расписку... все что угодно.

Он попросил у изумленной женщины 30 рублей серебром, которые она тотчас же дала ему без всякой расписки и, несмотря на приглашение отужинать, немедленно уехал.

К несчастью, при выезде из деревни на него бросились собаки; старая лошадь испугалась, кинулась и, споткнув-
30 шись на мостике, упала со всего размаха на грудь; Герсфельд полетел через голову ее и лицом, и грудью проехал по бревнам. Когда он поднялся, кровь ручьем лилась у него из носа, а лошадь стояла смирно около него. Кой-как унимая кровь, доехал он домой и прошел в комнату экономки, которая со слезами дала ему холодной воды и обмыла его.

Старик после сцены выпил рюмок шесть наливки и в минуту приезда сына еще спал.

Не простившись ни с кем, ушел сын на заре в соседнюю деревню и отнес туда узел с вещами; из людей никто бы не решился идти в таком случае нанимать для него лошадей. Он нанял телегу до уездного города, а там взял подорожную, и был таков.

Слух о падении Герсфельда дошел до семейства помещицы, у которой он занял деньги, и один гость сочинил про него белые стихи.

Бежала юница из дома родного,
И пала сраженная
Зверями нехищными
На пажитях бора покровского.

Все однако раскаялись в том, что смеялись над молодым человеком, когда узнали, как его отец избил.

Старик сначала был в исступлении, потом начал тосковать и заставил сестру Констанцию звать Николая домой, писать к нему и вложил в письмо 100 рублей серебром. Николай отвечал тетке, что он все забыл, но что домой он не приедет, желает, чтоб его совсем забыли, и деньги возвратил отцу.

По приезде в Москву, он месяца два не имел уроков, потому что все его ученики были по деревням. Кроме того, знаки на лице в первое время были слишком заметны и он не мог выходить из комнаты от стыда. Он послал сказать Степанову, что желает его видеть, решился сознаться ему в безденежьи своем и был принужден объяснить ему всю катастрофу. Степанов немедленно с увлечением предложил ему деньги, на которые Герсфельд жил от июня до сентября, сильно мучаясь обязательством.

По выходе из университета, имея очень мало знакомых и много самолюбия, Герсфельд жил почти один, видаясь чаще всех с уступчивым Степановым, который, отечески грубя ему, благоговел перед ним.

Он жил один, а для начинающей души художника это много, пока ее еще удовлетворяет лиризм и то наивное самосозерцание, которому не только поэзия, но, вероятно,

и музыка обязана многим. Большой усладой ему была также отрешенность его искусства от жизни; но что за скука была нести разом утреннюю службу в палате, давать уроки после обеда и вести копеечные рассчеты. Тем более стало тяжко ему это, когда он задумал писать оперу, которой либретто должен был быть «Тарас Бульба». Однажды осенью, пообедавши у генеральши, с которой он играл в четыре руки, возвращался он домой. В этот ясный и прохладый день генеральша заплатила ему за месяц и он бодро шел... Вдруг ударил около него густой колокол голубой церкви, стоявшей недалеко от его переулка. Скоро во всех других московских церквах заблаговестили ко всенощной. Легкий и ясно задумчивый пришел Герсфельд домой, спустил зеленые сторы на окнах, запер дверь и сел за рояль. Он уже слышал смутный, общий гул зверского рева казаков за стенами осажденного города, густые звуки католического органа; самый зеленый луч, проникавший на пол сквозь сторы, напоминал ему «чудо, совершенное светом», в разноцветных стеклах... Он слышал шопот голодных мужчин, молящихся за спасение драгоценной жизни. И все временно покрывалось кроткими переливами колокольного призыва. Не сознавая еще тогда цели, не думая об опере, он отдавался минуте. Но с этого вечера задумал он дело, и в редкий миг досуга снова слышались на его квартире — то отвага мазурки, то степная тоска, то гик удальцов, то колокола, переходившие в нечто подобное тихому водному падению, из него в журчание, из журчания в шопот и восторг молитв. При этом плане еще тяжелее стало ему служить и вспоминать, что ему уже 25 лет.

Авдотья Петровна приняла Степанова как нельзя лучше, рассказывала ему про свое путешествие и расспрашивала его о его жизни. Несмотря на то, что у Степанова не выходила из головы близость их в детстве, он чувствовал себя не совсем свободным в присутствии Додо́. Непривычка к тому обществу, к которому она принадлежала, смущала его и заставляла быть осмотрительным в выборе выражений и предметов разговора. Поэтому, упомянув слу-

чайно о Герсфельде, как о лучшем из своих приятелей, он с радостию распространился о нем как о предмете, достойном занять место в беседе с дамой, которая хотя и играла с ним в лошадки когда-то, но тем не менее давно уже стала графиней, проводила зимы в Париже и ездила на балы к тосканскому герцогу.

Он объяснил, что Герсфельд превосходно играет на фортепиано и недурно на скрипке, и (что гораздо важнее) он композитор.

Определить род дарования, намекнуть на характер направления было свыше его сил, и он хвалил общими фразами, оживляя их только чувством. Додо́ заметила, что приятель его должен быть интересен, и Степанов тотчас же перешел к хвалебному описанию его нрава.

— Это человек энергический, страстный, с непреклонной волей. Он хорош собой. Он страдал много от отца. Он великодушен. Он служит, потому что не хочет покориться отцу, который кругом против него виноват.

Из подобной характеристики, внушившей недоверие, Додо́ заключила немногое. Визит Степанова стал уже утомлять ее, и она сказала ему:

— Вы не будете на меня сердиться, если я пойду теперь отдохнуть. Я встаю рано на воды и мне ужасно хочется полежать. Приезжайте почаще — просто, и привезите мне вашего энергического друга.

Степанов уехал довольный; а Додо́ легла на диван, не велела тревожить себя до обеда и сперва потосковала лежа, а потом заснула.

О зеленой крупе она забыла на этот раз.

Собираясь на другой день в магазин, она вспомнила о крупе и, положивши около себя мешочек в фаэтон, вздумала заслать его мимоездом с человеком к Степанову. Ей приходилось ехать мимо его квартиры. Не успела она, однако, отъехать и четверти версты от своего порога, как вдруг, на углу одной большой улицы и переулка, увидела она одноэтажный небольшой дом на дворе, перед ним ракиты, а у ворот Степанова и с ним другого молодого чело-

века, довольно высокого. Она догадалась, что это Герсфельд. Степанов едва успел коснуться шляпы. Ездила она всегда очень шибко, и кучер остановил лошадей, уже проехав два дома. Человек хотел бежать к Степанову с мешочком, но Степанов уже был близко. Он сообщил ей тотчас, что это Герсфельд и что он живет в этом доме за ракитами. Они поговорили еще немного, мешок был отдан растроганному владельцу его, и вороные лошади подхватили опять под гору легкую коляску. На возвратном пути Додо́ велела ехать по этой улице тихо, чтоб рассмотреть получше жилище артиста. Домик был белый, с обыкновенной зеленой крышей; за забором стояли ракиты. Она сочла их и насчитала также шесть окон и одно седьмое в середине фальшивое.

Когда Степанов пришел к ней дня через два, она опять просила его привести к ней Герсфельда. Степанов обещался постараться, но прибавил из осторожности, что не ручается, что Герсфельд очень горд и с ним не всегда легко сладить.

— Разве мне надобно первой к нему приехать? — спросила Додо́.

— Нет, а все... вы его не знаете. Он вовсе не привык к свету.

Герсфельду молодая графиня вовсе не понравилась лицом, когда мелькнула перед его воротами. Она показалась ему желта и он похвалил Степанову и лошадей, и бурнус, и бархат коляски, но об ней не сказал ни слова. Однако предложение жениться все мелькало перед ним и когда, вернувшись с работы, садился он импровизировать к роялю (единственно ценной вещи в его жилище), то им овладевал три дня сряду обыкновенно редкий посетитель — дух незлобного ободрения и смеющейся отваги, и игралось все что-нибудь легкое, танцующее, почти танцовальное, как будто становилось ему беззаботнее; как будто и Палата государственных имуществ, и мелочь уроков, и сомнение о возможности выработаться должны были скоро пасть в прах пред жизнию иных размеров.

IV

Степанову много настаивать не пришлось, потому что Герсфельд охотно согласился ехать к вдове.

— Отчего же, — думал он, — не посмотреть эту молодую женщину. Быть может, сама судьба ведет его к ней. Пора наконец быть свободным! Ему уже 26[-й] год. Всего две недели тому назад, оставшись один в кабинете своей генеральши, начал он снимать с этажерки и пересматривать статьи французского энциклопедического словаря. Тревога любимых мыслей, скоро пробудясь, навела его на биографию музыкантов и великих композиторов. Куда не оглянется, почти везде видит ранее проявление таланта в искусстве, мало связанном с жизненным опытом. Гайдн семи лет органист германской церкви; Моцарт пяти лет сочиняет концерты для фортепиано; Россини десяти лет управляет оркестром... Положим, время приносит строгую оценку, и из многих произведений остается немного великих и даже просто замечательных не для одной истории развития. Многое, конечно, утешительно. Итальянец Чимароза, пишут здесь, был трезвее других итальянцев, только 30 лет сочинил он первую свою оперу, а 40 — «Тайный брак». Герсфельд не слыхал об этом прежде... Это хорошо. «Танкреда» поставил Россини 21 года, но «Вильгельма Телля» только 37. Посмотрел Вебера, — кажется, «Волшебный стрелок», «Оберон» написан не рано. Точно, около 36 лет. Смотрел он и других. Все это так, конечно, немного осталось произведений, равно милых и наивному слушателю, и судье. Но сколько живых успехов в настоящем! Какая обстановка с детства! Родители, готовые развить, покровители живые, знающие, с весом в своем деле, деньги, климат... а у нас и наука, и музыка, и живопись живут себе отдельно, не приготовленные жизнию и не сростаясь с нею обратным влиянием, живут в честном, но скучном одиночестве — везде, — и в обманчивом Петербурге, который горд механической деятельностью, и в Москве, которая, нет

спора, щедрее на мысль и душу, но дремотна и безлюдна. Никогда не приходило ему ясно в голову, что у нас надо стараться создавать себе обстоятельства, надо искать людей. Никогда не думал он обратиться к *такому-то* или к *такой-то*, не знал путей. Он думал долго, что создает себя сам, и на отдаление свое смотрел, как на залог оригинальности. Хотя Додо́ ему не понравилась в минуту их встречи на улице, но, вспоминая быстроту, с которой лошади пронесли коляску, он утешал себя мыслью, что дома она будет лучше.

Степанова он ждал недолго. В первом часу Михайла Иваныч взошел в его комнату, надушенный и во фраке. Он подошел к зеркалу, обдернул фрак, взъерошил волосы, пожался, как будто дело было зимой, и откашлялся так простонародно, как будто хотел сказать Герсфельду: «Ты не думай, смотри, голова, голова ты эдакая, что я уж вовсе хочу разыграть светского человека!»

Нельзя пропустить и того, что Герсфельд, который сам в это время чрезвычайно старательно повязывал галстух, не сделал ему никакого злого замечания. Они молча сели в пролетку и поехали.

Авдотья Петровна имела большой дом недалеко от вод, но занимала небольшой красивый флигель, в котором все было устроено на скорую руку. Герсфельду у нее понравилось; что-то зажиточное, изящное и уважающее себя нашел он и в просторной прихожей, где читал газеты гладко выбритый старик в серебряных очках с гербами на пуговицах, и в небрежной пестроте во второй комнате, почему-то разгороженной пополам боковыми лестницами цветов и зеленым штофным занавесом на кольцах, и в не новом сукне, выстилавшем пол.

Степанов вошел, и прежде всего бросились ему в глаза мужские ноги в ботинках и летних полосатых панталонах, висевшие через край большой кушетки; лица мужчины не было видно за листом газеты.

Больше никого в комнате не было. Впрочем, лежавший приподнялся, услышав их, опустил газету и показал им

цветущее, но строгое лицо с густыми, темными бакенбардами. Движение его в ответ на поклон Степанова показалось Герсфельду слишком поспешным для простой вежливости, поэтому он поглядел на него не кланяясь и прошел мимо. Он сел, и Степанов тоже сел. Но Степанов не был спокоен; то ерошил волоса, то с досадой глядел на какой-то столик, встал, вынул часы, вздохнул нетерпеливо, подошел к окну и стал осматривать висячую глиняную корзину с вьющимся растением.

— Это лианы! — сказал он глухо, не обращаясь ни к кому.

Незнакомец опустил газету и слегка взглянул в их сторону. Герсфельду захотелось бежать, он с негодованием поглядел на Степанова; он бы хотел удавить его этой лианой и, должно быть, глаза его были гневны, потому что Михайло Иваныч, взглянув на него для ободрения, покраснел. Однако тревога была напрасна. Авдотья Петровна вскоре после этого вышла, извинилась тем, что спит немного в полдень, после раннего вставания для вод, была любезна и пригласила их обедать послезавтра. Незнакомец принял более вежливую позу, как только хозяйка дома вошла, но в разговор не вмешивался.

Выходя в переднюю, обрадованный Степанов обратился к старику в серебряных очках:

— А, бедовая голова! как поживаешь? Помнишь, мы с тобой на дупелей ходили? Бедокур ты этакой!

Старик усмехнулся, повел бровями и сказал:

— Вы давно у себя не были. — А я матушку вашу видел нынешней весной. Стареньки, стареньки становятся! Графиня наша у них были. В церкви я их видел, кланяюсь, они не узнают меня.

— Да, стара, стара! — отвечал Степанов вздохнув, и задумчиво оперся на трость. — А кто это с бакенбардами — верзила такой? — прибавил он тихо.

Старик приподнял голову, и взгляд его помрачился. Недовольный Степановым за слово «верзила», он накинул ему на плечи пальто и сказал:

— Разве не знаете, Киселевка, имение около нас? Это его... Тоже Бобруйский, нашему покойному графу троюродный брат.

— Я уезжаю, — сухо сказал Герсфельд, который давно уже, накинув сам пальто, стоял на подъезде.

Они сели в пролетку.

— Ну прощай, бедокур! — закричал Степанов дворецкому.

Послезавтрашний день настал.

Герсфельд не ожидал посторонней встречи за обедом у молодой вдовы. Она пригласила их в той надежде, что Герсфельд согласится сыграть что-нибудь при них, и, не довольствуясь одним обыкновенным наслаждением, не надеясь на свою критику, она хотела узнать, что скажут об его игре более строгие ценители. К таким ценителям принадлежал особенно один полный, женатый адъютант, который любил и знал музыку по крайней мере не хуже отшельника, учившего Герсфельда. Хвалилась любовью к ней старуха, тетка Додо́ по отцу, бывшая чем-то вроде паразита высшего разбора. Овдовевши и расстроив небольшое имение свое так, что должна была отдать его на попечение родному брату, она жила на сумму, которую отпускал ей в год этот брат, и очень редко обедала у себя. Брат служил губернатором в другом городе, и потому она его домом не могла пользоваться в Москве, но зато у нее много было кузин, племянниц и женатых родных мужчин, все привыкли видеть ее у себя.

Она иногда писала:

«Je dine aujourd'hui chez vous!»

Или:

«Chère Marie, кормишь ли ты меня завтра? Пришли карету...»

Или, если погода хороша, придет пешком с человеком в ливрее; ест много и гастрономически, никому не мешает, сидит развалившись, щурится, лорнирует и так занята собой и разговором, что не наблюдает ни за кем, не догадывается ни о чем, не сплетничает никогда. Когда Додо́ была

девушкою, она возила ее в свет, и хотя Додо́ знала, что старуха находит большое наслаждение в этой езде, она помнила, однако, с благодарностью об этом и предпочитала ее многим родным. Тетка сбиралась переехать на дачу, но до переезда оставалсь еще неделя, и потому, узнавши от Додо́, что она познакомилась с неизвестным молодым музыкантом, много обещающим, сказала ей: «Дай мне знать, когда он будет у тебя. Ты знаешь, — я обожаю серьезную музыку».

Проезжавший случайно в деревню из Петербурга родственник Додо́, служивший по Министерству внутренних дел, был также приглашен ею, но только так, кстати. Он не только в музыке, но вообще в искусствах понимал мало.

Наконец, в числе приглашенных был пожилой и худой граф из Остзейских губерний. Герсфельд, увидав его, думал, что он старый roué; тонкие икры, панталоны в обтяжку, парик с хохлом, приглаженные бакенбарды, лицо все в морщинах, предупредительность с женщинами и такое выражение лица, как будто он всем подносил букет... Все признаки. Однако Герсфельд ошибся. Граф был добрый отец семейства, примерный муж и скромный любитель музыки. Они с адъютантом, (особенно последний), могли настоящим образом оценить то, что было серьезного в способностях Герсфельда. Тетка смотрела также обманчиво как и граф. Вот видите — она берет лорнет, она щурится, лицо ее гордо, но и благодушно, она пронзила вас насквозь. Она говорит вам: «Не бойся! я вижу и знаю тебя. Но я добра. Не бойся!» Так говорила наружность тетки, но так как она гораздо больше думала о впечатлении, которое сама производит, чем о том, какое производит на нее другой, то опасности было немного. Герсфельд напрасно приготовил какие-то внутренние зубы и против нее, и против старого графа, против хозяйки и против сухого дипломата, который умел только моргать щекой, и то с тех пор, как познакомился с одним чрезвычайно блестящим молодым человеком, которому непроизвольные легкие судороги в правом глазу и щеке, придавали

много характерного. Народ все был не опасный. Но наш артист был все наготове, и наготове!

За обедом расположились так около круглого стола: по правую руку около хозяйки сидела тетка, по левую Герсфельд, потому что привел Додо́ к столу; около Герсфельда граф, за графом Степанов, за Степановым сухой родственник, за ним, около старушки, адъютант. Кушанье подавали сперва тетке, потом Додо́, потом Герсфельду и так далее. Замечательно, что в столе даже не было углов, которые бы намекали на вершину, откуда все идет понижаясь. Герсфельду стало совестно перед старым графом, и он, садясь, упрекнул себя за притеснение старика, но было уже поздно, и roué, казалось, не грустил нимало.

Сначала больше ели, чем говорили, но за вторым блюдом граф обратился к Додо́:

— Знаете, — сказал он, — что мне очень нравится выдумка Свечина. Он купил машину и каждый год намерен прикупать валы. Она играет у него за обедом.

— Это отзывается трактиром, — заметил родственник.

— Что же за беда, — возразила Додо́, — разве в трактирах не может быть ничего хорошего?

— Она очень недурно играет, — сказал граф.

— Музыка за обедом! — воскликнула тетка. — У меня аппетит от музыки все больше. Додо́! помнишь обед наш в твоей деревне, при муже еще твоем... это отличная выдумка — музыка за обедом.

— Музыка служит дополнением еде! — сказал граф. — Одно самое материальное, другое идеальное... Все основано на законе polarité. Добро и зло; любовь и ненависть, жар и холод...

— Mais savez vous, qu'il a raison! — с удивлением заметила тетка, обращаясь к адъютанту.

Граф поставил указательные пальцы свои один против другого, сводил и разводил их.

— Добро и зло, — продолжал он, — мужчина и женщина, день и ночь... Не правда ли?

Он обратился к Степанову и, надо заметить, обратился по-французски.

— Не правда ли, все основано на законе polarité?

Степанов, который до тех пор угрюмо ел, не собрался вдруг с духом. Мысль его была сдавлена праздничным беспокойством, действовала несвободно, французский ответ замер внутри его. Он помолчал и вдруг сказал гораздо громче, чем следовало: «Oui, monsieur!»

Герсфельд с негодованием посмотрел на него и, чтобы отмстить *за своего брата*, на французский вопрос Додо́, которая хотела знать, давно ли он оставил университет, отвечал по-русски:

— Недавно. Всего два года тому назад.

Додо́ нагнулась к тарелке.

— Нехорошо, — подумал Герсфельд, — явно, грубо. Ну, ничего! Все лучше, чем уступка.

К концу обеда разразилась туча, давно гремевшая вдали; пошел проливной дождь, и гости не спешили разъезжаться. Герсфельда попросили сыграть что-нибудь свое. Он сел за рояль и играл сначала вещи полегче; потом, немного подумав, решился он начать свою католическую обедню из «Тараса Бульбы» и играл с одушевлением. Дождик прошел, но гром еще раза два глухо грянул, удаляясь и не заглушая вполне звуков рояля, сообщил им торжественность, потрясавшую слушателей. Успех был полный.

— Прекрасно! — сказал тетка.

Граф, улыбаясь, качал головой; они с петербургским cousin обменялись выразительными взглядами, и последний, подойдя к графу, заметил, что ведь в самом деле хорошо.

— Великолепно! — отвечал граф.

Граф подошел к Степанову и расспрашивал у него, где учился Герсфельд, где занимался первоначально музыкой. Приятнее же всего было Герсфельду видеть участие молодой хозяйки дома и полного адъютанта, который тотчас же сел около него и проговорил с ним дельно около часа. Они говорили бы и долее, но туча, задерживавшая гостей, про-

шла давно, музыку они слышали, еще заставлять играть молодого человека совестились и один за другим брали шляпы.

— Ну что, ретивое? — спросил Степанов, садясь с Герсфельдом в пролетку.

— В отношении хозяйки дома, или в отношении музыкального самолюбия?

— И в том и в другом...

— Додо́ твоя была сегодня лучше, свежее... платье к ней шло. А в отношении музыки я очень доволен... очень! Адъютант этот очень порядочный человек и не профан. Что мы будем сегодня делать? домой не хочется. Давай цвести душою!

Ничто не могло так пробудить Степанова, как веселость его друга.

Он был готов на все, и они весь вечер были вместе; читали газеты и журналы в кондитерской, потом поехали на дачу к одним знакомым Степанова, не принадлежавшим к тому кругу, в котором обедали они, но по крайней мере не скучным.

V

После этого обеда прошло с месяц. Герсфельд серьезно обдумал план своих поступков в отношении Додо́. Конечно, он думал, что она не могла никаким образом подозревать того практического оттенка, которой был в его намерениях. И она точно ничего не подозревала до той минуты, когда Степанов, как мы увидим впоследствии, внушил ей своим разговором различные подозрения.

Герсфельд, обдумавши, решился продолжать знакомство, начавшееся для него почти триумфом, и полагал, что он не неприятен ей. Поэтому, и потому что они жили близко друг от друга, он приходил к ней раза четыре в 7 или 8 часов вечера, и последний раз застал ее сидящею у окошка, в больших креслах; она была скучна, жаловалась

на большую усталость и на жар сухих дней. Герсфельд сначала боялся, что разговор их не возвысится над подобными предметами. Однако скоро шарманщик, вошедший на двор, подал повод к беседе о музыке и об искусстве вообще. Додо́ имела немного забавную привычку говорить при всяком случае, что она в критическом отношении судить не может, но полагается на свой инстинкт; судила же всегда умно, а иногда поразительно. Герсфельд просил ее оставить раз навсегда эту оговорку критической неспособности, и они так познакомились после шуток, которые замешались в разговор, что Герсфельд не раз подумал о ней с теплотою и посмотрел на нее со вниманием. Он не погнушался даже поделиться с ней своими мыслями о предметах для него весьма важных.

— Мне кажется, — сказал он, — что музыка и архитектура могут назваться искусствами по преимуществу. Живописец, поэт, ваятель берут содержание готовое из природы, а те искусства созданы совершенно самим человеком, по самым неуловимым, чуть мелькающим намекам...

Она слушала со вниманием все, что ни говорил он.

Я упоминаю об этом нарочно для того, чтобы показать, какие быстрые успехи сделала Додо́ в его доверии; о женщинах светских он имел не слишком выгодные мнения; ему противна была их самоуверенность, благодаря красивой наружности, привычке к многолюдству, богатству и т. д. Он знал их больше по Бальзаку и другим французским авторам, которые, быть может, совершенно правы для своего отечества и своего времени, и с первого разу ему бросились в глаза те черты, с которыми свыклось воображение. Вышедши на улицу, где темнота благоприятствовала сосредоточенности, мой музыкант уже раскаивался в собственной естественности, которую он назвал тогда слабостью.

Только люди, не умевшие никогда ничего кончить, могут думать, что приводящие свои планы к концу приводят их всегда без запинок и недоумений, или что настойчивые души ежеминутно настойчивы.

Его также тревожило немного воспоминание о том, что Степанов может позволить себе разные шутки насчет его независимой ходьбы к Додо́. Отчего же не с ним? Но с ним лучше не ходить!

Но Степанов давно уже собирался съездить к матери. Он зашел сперва к Герсфельду и поговорил с ним о Додо́, потом, прощаясь с Додо́, поговорил с ней о Герсфельде.

Герсфельд сам начал разговор о молодой вдове.

— Ну что, ты прощался с своей графиней?

— Нет, пойду еще к ней.

— А ведь она некрасива, признайся.

— Тебе надо камею...

— Вот камею! Она должна быть очень худа. В лице она, впрочем, довольно полна. Так что ж... как ты посоветуешь?

— Что?

— Ухаживать?

— Еще бы! Где ты найдешь такую жену?

— Она, кажется, кокетка и, должно быть, избалована... впрочем, — прибавил он смеясь, — я постараюсь покороче изучить ее.

— Эге, — сказал Степанов, — значит намерен ходить!

— Отчего же не ходить?

Герсфельд проводил Степанова на крыльцо. У Степанова достало догадки не спросить ничего решительного. «Пусть думает, что я принимаю все это так, слегка».

Додо́ очень рада была Степанову. Спросила, долго ли он пробудет в деревне, пожалела, что до осени, велела поцаловать старушку, вспомнила старые годы, когда она играла с ним в лошадки, а он все кричал: «Эх вы, Дунюшка, больно шибко бегаете!»

— Помните, как вы стыдились мне признаться, что играете в бабки на деревне? Я помню, один раз мы у вас были, и я нашла у вас старую куклу в ящике под одеялом. Я все хотела снять с нее одеяло, а вы не давали... И все уверяли, что ей будет холодно. А там под одеялом были бабки. У вас было немного хороших игрушек, вы все вы-

нимали из какого-то мешочка горлышки, гусиные, кажется? с горохом... так мне вас было жалко, просто ужас!

Растроганный молодой человек поцаловал ее руку и вздохнувши сказал:

— Не того бы надо было для вас ожидать, Авдотья Петровна!

— Как не того?

— Кажется... извините... вам бы было нужно другого мужа, такого, который бы умел вас понимать и любил бы вас, а то Бог знает что...

— Уж он умер, Михайло Иванович. Да ведь я сама виновата была. Я любила его. То есть по-тогдашнему. Я не знаю откуда взяли, что девочки очень молодые чисты воображением. Я по крайней мере не была чиста! Мужчины мне нравились тогда одной наружностью... Любовь девочки всегда чувственная...

— Едва ли это вообще, Авдотья Петровна! Я слыхал, что страсть развивается в женщинах позднее, годам к 25-ти. Прежде они любят воображением за comme-il-faut или за что-нибудь эдакое, за экипаж хороший...

— Меня экипажами удивить было трудно. Эти у меня у самой были не хуже других. Фамилия скорей на меня действовала... я была такая пустая! Отец мой был вовсе не знатен родом, а муж мой хорош был собою и знатен. И он был такой любезный! Он сам был тогда немного влюблен в меня... а я... я просто с ума сходила. Ах, Михайло Иваныч, есть столько маленьких вещей, которые я не могу вам сказать...

Степанов еще раз вздохнул.

— А теперь бы вы пошли замуж...

— Пошла бы, только по серьезному чувству, чтоб я могла после сказать моей дочери, зачем я пошла, чтобы она могла меня извинить, чтобы у нее была к этому симпатия.

— Даже и за бедного бы пошли?

— Я уже просто любить не могу, что ж делать!

— Как это — просто?

— Когда сама не знаешь, за что. Может быть, это наивнее, только я бы не желала, чтоб меня так наивно любили. Я бы хотела найти человека, которого бы я уважала всеми силами души... и чтобы он — молодой, однако...

Додо́ слегка покраснела. Степанов отворотился.

Додо́ продолжала:

— Я бы очень рада была пойти за бедного человека. За бедного я и хочу... что моя жизнь... Дочь я воспитывать не умею; мисс Дигби ей нужнее, чем я с своею характерностию. Я бы пригодилась ей, когда ей будет 17-18 лет... между нами могла бы быть дружба... Тогда уж, вероятно, меня и на свете не будет.

— Вот еще!

— Ах, скучные фразы! конечно не будет.. Видите, ведь у меня 10 или 12 лет ровно никакой цели нет. Что за бесцветная жизнь! Кому я полезна? Послушайте, а если я умру? Ведь это не шутка, если я умру. Разве наша жизнь в самом деле только то, чтобы жить на Никитской, или съездить в Ниццу полечиться, или одеваться... Ведь надо же что-нибудь сказать там. А что я скажу? я даже постного никогда не ем... ну, право... надо чем-нибудь! А если б я (при этих словах лицо ее одушевилось) могла бы найти человека, которому бы я доставила состояние... тогда бы другое дело! я бы и дочери могла это сказать. Я бы сказала ей прямо, — что же такое? — что я была еще молода, что я хотела быть замужем... у меня вещи не грубы, я от души! от всей души хочу им дать благородную форму!

Они стали прощаться. Мальпост, который должен был увезти Степанова из душной столицы, отходил скоро. Вдруг у Степанова блеснула мысль подвинуть дело Герсфельда разом вперед; к тому же откровенный жар Додо́ расширил его сердце, так что оно рвалось наружу.

— Позвольте, Авдотья Петровна, я еще вам одну штуку скажу... Герсфельд желал бы продолжать знакомство с вами... вы позволите?

Додо́ погрозилась ему; но она уже не могла остановить поток искренности:

— Это вы к нашему разговору?

Степанов смутился.

— Что же за беда? — сказал он стыдливо.

— Ничего. Нет, он не по мне... Артисты все слишком любят себя и свое искусство, а я хочу, чтобы любили меня, мою дочь, мои вещи, мои комнаты... А все-таки пусть он ездит ко мне... я буду очень рада... даже можно и пококетничать с ним... он мил. Скажите, что он про меня говорит?

Степанов перепугался.

— Ничего... Он... ничего особенного...

— Верно, что-нибудь нехорошее? Что-нибудь нехорошее, признайтесь... я знаю, что. Я ему лицом не нравлюсь? (У Додо́ сжалось сердце). Скажите, прошу вас!.. мне право ничего. Что он вам сказал? Если вы меня немного любите! Скажите... он говорил, что нехороша?

— Говорил... только в последний раз вы ему больше понравились.

Степанов взглянул на нее и прочел страдание в ее глазах.

Додо́ засмеялась неверным голосом и отошла к окну. Степанов проклял свою веру в исключительность, позволившую ему сказать женщине такую истину, и ушел недовольный, сконфуженный.

Герсфельд провожал его в мальпост, был довольно весел и сказал, смеясь:

— А что если я на твоей Додо́ женюсь без тебя? мне она начинает нравиться.

— Она зовет тебя ходить почаще, — сказал Степанов и не прибавил больше ни слова.

Труба затрубила, карета двинулась, и стройный артист в белом парусинном пальто на ступенях станции стал скоро не видим Степанову.

Герсфельд по отъезде Степанова продолжал раза два-три бывать у Додо́. Сухое намерение его изучить молодую женщину для того, чтобы сделать ее подножием своему

развитию, продолжало быть настороже в уме его, но он стал скоро находить простую отраду в беседах с нею. Выпадали даже минуты, в которые он предпочел бы жить с нею всегда, как приятель. Она так интересовалась его делами, так мило, быстро и утонченно понимала все поэтическое, что нельзя было одинокому человеку не наслаждаться ее обществом.

Он еще не успел уловить в ней некоторые родные черты, которые бы тотчас понравились ему; — но уже одно явное внимание к его таланту и уму, внимание, которое просвечивало в словах ее постоянно, способно было много расположить его к ней. Этим она много выиграла в его глазах.

Значит, она начинала его ценить, увидала все огромное расстояние нравственной высоты между глубокомысленным художником и суетной женщиной, вероятно, способной быть хорошей хозяйкой и матерью только пока есть в доме экономка и мисс Дигби для дочери!

Что делать однако с ней?

Предложить руку? Опасно. Если вдруг откажет? хотя она и любезна, и внимательна, но быть может, она такова со всеми. Сколько раз читал он в книгах, что светские женщины со всеми любезны. Ch. de Bernard в прекрасном романе своем «Жерфо» говорил даже, что женщина в свете подобна солдату на приступе: она должна умирать с улыбкой. Личного опыта, как я сказал уже, у него не было. И сама она как-то неосторожно обмолвилась.

— Вы очень мало жили в обществе, — сказала она. — Вы как-то не просты. Вы так держитесь, как будто кто-нибудь на вас сейчас нападет.

— Да, — отвечал он сухо, — я точно дальше Москвы нигде не бывал. — Он не понял, что она говорила о чуть заметном оттенке; он не мог догадаться, что она не договорила. Ей бы хотелось еще сказать: «Это мне очень нравится!», — но удержалась. Он не понял, что она любуется на черту, которая кажется ей наивною и что ей нравится именно неготовое в нем, нравится легкая книжность его

воззрения на жизнь и женщин. Напрасно он не доверял ей и тревожился разными подобными бойкими заметками, которые она иногда делала ему; напрасно думал о тосканском герцоге, об изящном и блестящем муже, о графе Бобруйском и невыгодных для него сравнениях.

Додо́ с самого начала полюбила его холодность... Она к нему очень шла. Стройный, худой стан его, выгиб губ, выражавший всегда непроизвольное презрение или каприз, — отрицательный взгляд спокойных серых глаз, прическа пепельных волос, твердая походка и даже самый жест его, несколько театральный (хотя и медленный), когда́ он говорил о высоком, остроумие его речей, самая злоба, слышная иной раз в них... — все это нравилось ей. Она принимала злобу и каприз за нетерпение ненасыщенной жажды славолюбия. Так и жили они пока хорошо, видаясь часто.

Герсфельд был искренен: он не говорил о любви, ему не нужно было и страсти ее. Что бы он стал с ней делать? — ему нужна была хозяйка милая, жена богатая, любовница покойная и добрая, и страсть только сбивала бы его со строго начертанной дороги.

Однажды сказал он ей очень изящный комплимент.

Додо́ жаловалась на то, что она собой нехороша, что успеха у нее было мало в свете; что, когда она выезжала с теткой своей и другой кузиной, далеко не красавицей тоже, то тетка не раз шутя упрекала их за удивительную охоту faire tapisserie... и выражалась так: «Что вам за охота ездить на балы? вот приехали вы и сели около меня, одна одесную, другая ошую... и только!» Даже добрый отец ее, когда еще ей было не более 14 лет, подозвал ее раз и, лаская ее с тоскующей нежностью отжившего человека, просил ее знать заранее, что она некрасива и не сокрушаться, если другим будет больше удач.

— Дуня моя, Дунинька, — сказал он ей тогда, — голубчик мой! Если бы Бог помог мне дожить до той минуты, когда я выдам тебя замуж! Лучше бы, если бы так осталась.

На это печальное воспоминание Герсфельд отвечал ей очень кстати, что она напоминает ему прелестное стихотворение Гете, где воспевается девушка, долго не замечаемая никем; она сравнена с некрасивым виноградным цветком, который, созрев, восхищает и богов, и людей.

Сказано это было ровно, весело, без напряжения.

От времени до времени приходила ему мысль обольстить ее для того, чтобы принудить ее к браку.

— Сам по себе, — думал он не раз, — такой поступок не низок и не высок. Если я узнаю, что она в самом деле способна удовлетворить мой ум и мое воображение свóими душевными качествами, своим умом, если я все это узнаю, так отчего мне не позволить себе подобной уловки? Кому повредит это? Если она меня полюбит, так она будет счастлива... Ведь я не намерен обмануть ее!

Оставаясь так часто с нею наедине, он обводил смелым взором с ног до головы ее изнеженное тело, размышляя о том, до какой степени способна она на роль чувственной любовницы. Округленный профиль, очеркнутый с славянским добродушием, редко встречаемое соединение довольно смуглой кожи с светло-каштановыми волосами, немного беспокойный, не уверенный в себе взгляд синих, цветом точно прекрасных глаз... да худые руки под густым кружевом широких рукавов... Что тут поразительного? Но по мере того, как она становилась дружелюбнее с ним в обращении и с видимым уважением слушала его речи — и наружность ее выигрывала в его мнении. Ведь полюбил у Стерна добрый Трим оттого, что у него сильно чесалась заживающая рана.

Герсфельд не слишком полагался на слова Степанова, когда тот говорил о душевных качествах Додó. Доброта без живого русского содержания! Что это такое? Где она? Я ее не слышу. Какая однозвучная струна отвечает ей в моем сердце! Не хочу я знать этой доброты, без страдания, без ошибок, эту нравственность детских повестей и комедий вроде Berquin!

Тосканский герцог! Муж!... Как ей легка жизнь! И почем знает Степанов, что она была несчастлива с мужем? Он видел ее раза два-три с ним и хочет судить, увлекаясь своей привязанностью к их семье, памятью об общих играх, отчасти слабостью перед знатностью!

Герсфельд носил немецкую фамилию, но еще в гимназии любил он говорить, что мать его русская, что отец давно обрусел; сердился, когда его звали немцем. Все это прошло давно, конечно; он стал ценить немецкую мысль и был знаком с нею, он знал, что ей почти вся наша мысль обязана возрождением; но Россию он искренно любил той *странною* любовью Лермонтова, которая давно уже не стала странна, а нашла оправдание в общественных немощах наших.

Кроме этого случая, были и другие, приведшие к тому же. Говорили о Степанове.

— Он вас очень любит, — сказала Додо́, — он очень добр.

— Вы полагаете, — отвечал Герсфельд шутя, — что надо много доброты, чтобы выносить меня?

— Вы должны быть капризны и упрямы.

— Это он вам сказал?

— Он не сказал прямо, а рассказывал про вас...

«Лишь бы не представил меня смешным», — подумал Герсфельд и вспомнил о Жерфо. — Что же он вам сказал?

— Все.

— Все? Да он всего про меня не знает. Я откровенен с ним только в деле фактов; мысли и чувства берегу для себя. Они мне дороже всяких фактов. А он не всегда способен их понимать...

— Он про эти факты и говорил... сказать про какие?

— Скажите, пожалуйста.

— Про вашу ссору с отцом. Знаете что, — продолжала она, — помиритесь с отцом. Простите его... Он отец... Я не понимаю, чтоб можно было не прощать отцу.

— Я простил ему.

— Поезжайте к нему.

— Зачем?

— Затем, чтобы помириться. А что если он вдруг умрет, не простивши вам?

— Ему нечего мне не прощать... А я ему довольно прощал и прежде.

— Неужели вы ничего такого не чувствуете? Например — вещь его какую-нибудь вы видите... чтоб жалко стало и вещи, и его самого... Так... об болезни его подумать...

— Было прежде, и то не сильно. Не знаю, моя ли холодность виновата, или его жестокость...

— Да, мне Степанов говорил, — сказала она. — Если бы он только для вас был жесток, вы бы простили. А он был сердит и для людей, и для всех.

Они помолчали.

— Мой отец был не такой, — продолжала она и, встав, принесла портрет отца.

— Доброе лицо, — сказал Герсфельд.

— Ах! какой он был добрый... У нас в доме был большой беспорядок от его доброты... и, знаете, люди такие всегда стыдятся этого, а он сам говорил, что это ничего...

— Он не бил людей? — спросил Герсфельд.

— Один раз он ударил при мне человека. Тот очень нагрубил ему. Только сам после этого так был расстроен, что мне его было жалко, а не этого человека.

— Это портит все дело, — сказал Герсфельд, — я бы все помнил это...

— И я не забыла. Только зато он столько раз был добр, столько раз прощал, так ласков был. Вот посмотрите его глаза, — продолжала она, — рассматривая портрет.

— Это ваши глаза, — сказал Герсфельд, — только вы на него не похожи...

— Да! — отвечала Додо́, — он был хорош собой... Мать была как я; а он очень любил ее. Он был очень храбр, и у него были три раны.

Додо́ рассказывала также о детстве своем, о том, как она часто была замарана, как даже Миша Степанов сказал

ей раз, когда она вздумала схватить его за нос, что руки у нее все в чернилах и чтоб она его не трогала. Говорила, что она была худа и бледна, когда настали отроческие года, и отец звал ее «Лазарево воскресение».

Но только что Герсфельд забывал Флоренцию, Париж и графа Бобруйского, все это, пленявшее своей шириною и пугавшее его, едва только становилось все это пустыми звуками, вдруг какое-нибудь воспоминание, и не в бровь, а прямо в глаз, как будто с намерением.

— Вы хорошо ездите верхом?

— Нет. Я, кроме пристяжных отцовских, ни на какую лошадь не садился.

— Бежала юница из дома отцовского? — сказала, смеясь, Додо́.

— Степанов и это вам рассказал, — возразил, не смущаясь по-видимому, Герсфельд.

— Как вы однако хорошо владеете собой, — заметила Додо́ с прозорливым и веселым выражением лица, — я уверена, что это вам неприятно, а у вас в глазах не показалось ничего. Вы, должно быть, очень самолюбивы и боитесь быть смешным при всякой женщине.

— Мне кажется, — отвечал Герсфельд, досадуя, — что сказать это все равно, что сказать — у человека есть уши и глаза. Стоит ли говорить об аксиомах!

— Что такое аксиом?

Герсфельд смягчился.

— Аксиома, — сказал он, — это истина, о которой говорить не стоит; напр⟨имер⟩ дважды два — четыре,человек смертен и тому под⟨обное⟩.

— Vous êtes très savant, — сказала она.

Он не мог не засмеяться от души. Додо́, помолчав, продолжала:

— Если хотите, когда я в июле перееду на дачу, мы будем ездить верхом. Я хорошо езжу и очень люблю. Я с отцом всегда ездила и после с мужем. Мой муж так хорошо ездил! Он был очень красив в военном платье, верхом... Мы с ним через рвы и плетни перескакивали.

Она погрузилась в прошедшее, а он думал:

«Зачем она это сказала? Если это только кокетство, так это хорошо. А если она, уже отведав сладкое, не захочет горького?.. Едва ли вкус ее освободился совершенно от рутины. Ведь она сказала мне, что я держу себя не просто, не как светский человек... И откуда взяла она это? Где она видела во мне педанта? Если бы овладеть ею совсем, тогда бы все разъяснилось. Но как это сделать? Нельзя же сказать ей, как сказал Степанов Анюте: „Нечего толковать о любви! Давайте жить!!" Если бы можно было так сказать, кажется бы, и любовь явилась сейчас. А прикидываться влюбленным... какая низость! Этого я не могу. Надо бы довести ее искусно до того, чтоб могла она понять, что к счастью и даже к такому, которое не стыдно показать другим, т. е. к изящному счастью дорога не одна! Не одна внезапная страстная любовь, и не давнишняя дружба, и не тихая склонность — одни пути. Есть путь любящего разума, или разумного сердца. Брак прежде, а любовь после, сам Гегель, кажется, это хвалит. Надо приучить ее к этой мысли исподволь».

Но пока он так рассуждал и, соображаясь с этим, действовал осторожно и говорил не зря, сладкая привычка начинала одолевать его, и стали ему родственны — частный дом с каланчой, который скрывал изгибом кривой улицы жилище Додó, вся улица, мисс Дигби, гувернантка маленькой дочери, молодая еще, рыжая девушка с железной силой воли, судя по рассказам Додó. Так как Додó предложила посещать ее когда вздумается, то ему часто приходилось удерживать себя с большими усилиями дома или уезжать куда-нибудь, в парк или в Сокольники, или проводить вечер в кондитерской за журналом, чтоб не вдруг избаловать ее.

Однажды зашел он поутру. Додó была в магазинах, а дочка, игравшая в зале, сказала ему, что мамка скоро будет: «подождите».

Он стал с ней говорить, упросил ее сесть около себя на диван; расспрашивал ее, чему она учится и, когда узнал, что она даже римскую историю кратко знает, спросил у нее как звали первых царей. Она сказала.

— А какой император вам больше нравится?

— Vitelliùs, — отвечала она с французским произношением, потому что о римлянах читала с французом, который давал ей уроки.

— Отчего Vitelliùs?,.. Marc-Aurèle лучше.

— Ну, что!... Philosophe!... А Vitelliùs любил есть и я люблю...

— Что ж вы любите есть?

Так завязался разговор и длился около часа, после чего они стали на «ты», и Наташа целовала его крепко.

Когда мать вернулась, Герсфельд расхвалил ей познания дочери, и Додо́ была очень рада.

— Да, она очень хорошо учится. И все так твердо. Я рада, что у нее мало воображения... Cela sera une nature saine! Только очень упряма, я всегда ей уступаю. Это будет здоровая натура, — повторила она с любовью.

— Что ж тут хорошего, если мало воображения? — возразил Герсфельд. — И что хорошего в этих здоровых натурах! Я их предпочитаю вялым или слишком изменчивым, но не уважаю вполне человека, который никогда не болел душой; выздоровевший выше, потому что у него остается навсегда что-то такое... я не могу вам сразу сказать что... вот как трава растет гуще, где прежде теснились люди... или постойте... вам случалось наливать на платок духи... Пока сильно пахнет — нехорошо; а после, когда немного выдохнется — разве не лучше запаха утюга и простого мыла, которым мыли платок?

Она оставила его обедать, оставила пить чай; они читали, спорили, играли на рояле и смеялись с девочкой; когда он уходил, она сказала ему дружески, крепко и долго сжимая ему руку: «Приходите чаще... скучно!»

В этот вечер Герсфельд был влюблен. Цветы на родной почве казались обворожительными, и не раз думал он в течение вечера — не сказать ли ей просто: «Давайте жить!» — как сказад Степанов Анюте.

Однако он не сказал ничего такого.

VI

После переезда Додо́ на дачу они продолжали часто видаться и склонность их друг к другу усиливалась понемногу в течение двух месяцев.

Додо́ была женщина не занятая ничем. В подробности воспитания дочери она, по слабости своей, мало вмешивалась, довольствуясь общим руководством. Дитя не брало у нее много времени: ласка утром и вечером, аккуратно, изредка игра с ней во что-нибудь, легкое замечание и теплая просьба не шалить... Вот и все.

Всю деятельность мысли обратила она на себя. Что она, и на что, в каком ряду душевной высоты стоит она? Она, по смерти мужа, с удовольствием и гордостью начала заниматься этим делом, не слыша отголоска в подругах. Да и где они эти подруги?

Одну она встречает иногда. Раз или два в месяц обменяются они посещениями и всякий раз говорят о прошедшем; в настоящем Додо́ далеко ушла в своем горьком и сладком одиночестве!

Додо́ всегда была очень самолюбива, а общество, в которое ездила она девицей и с мужем, в России и за границей, удивить все-таки нужно было не малым. А чем ей было удивить? Именем? Были и погромче ее, красоты не было вовсе, танцовала она не легко, а некоторые домашние влияния убили в ней смелость, к которой напрасно взывал тонкий, сильный и самолюбивый ум. Эта же подруга была одарена воздушным станом, прозрачной белой кожей, которая на вечерах покрывалась чуть розовым румянцем; походка ее была всегда красива и горда, коса белокурая тянула голову назад, и еще милее и нежнее становился от этого нежный объемами, но строгий выражением профиль. Танцовала она до дурноты, потому что мужчины не могли достаточно насладиться ее воздушностью. Смела, красива и спокойна! После случилось этой подруге полюбить одного из тех брюнетов с обманчивой энергией в смуглом лице, которых как нарочно посылает судьба навстречу русским девушкам, чтобы ра-

зочарованием доказать им как неверен идеал их русской жизни.

Эфирная подруга любила брюнета, брюнет, казалось, любил ее; но мать брюнета (Боже, как казалось лицо его мужественным!) посоветовала ему жениться на другой, на девушке богатой, с самой неблагозвучной фамилией, страдательно доброй, веселой и с вечным изумлением глупости в глазах. Напрасно прекрасное лицо его дышало такою силою! Напрасно напоминал он всех неотразимых героев!... Он был легок, слаб, корыстолюбив, боязлив и узок!

Однако эфирная подруга все любила его. Однажды у родных за столом так горячо говорил он с ней, что жена его вышла из-за стола и уехала. Другой раз привез он ей к балу великолепный букет; жена спросила у нее сдуру: «Кто это ей дал?» — а она отвечала, нимало не смутясь: «Это муж ваш». С недогадливой женщиной сделался обморок.

Все похоронила в себе гордая и бледная подруга. Но вот — прошло два-три года: Додо́ — вдова, а подруга замужем за скромным человеком. Детей нет. Они видятся; Додо́ хочет говорить с своим прежним идеалом, хочет снова почерпнуть из беседы ее мужество и скрытность... И что же? Как проста эта беседа, как однообразно застыли все представления еще молодого ума! Нет, мы не так понимаем жизнь в нашем одиночестве; пускай она ядовита и горька, наша одинокая жизнь, пускай упрекнут нас в неуменьи наполнить день материнскими заботами, так! Пусть так, но мы не миримся на малом! И вздумалось же ей мыслить, вздумалось разбирать по ниткам, что относится к уму, а что к обстоятельствам воспитания, а что к побуждениям нрава! После различных размышлений и соображений с читанным и слышанным вывелось, что у эфирной подруги мало ума, а есть характер. Несколько времени беспокоилась Додо́ еще о том, что такое характер, можно ли приобрести его; думала одно время, что скупые очень нравны, ученые специалисты, суровые люди... Потом поняла, что это вздор и что если ей, конечно, надо

было бы принуждать себя и к труду, и к скупости, и к строгому обращению, так это только потому, что она не скупа, не учена и не сурова. Ей хотелось добросовестно додуматься до всего, уяснить себе, почему она такая, а не иная. Ей казалось удивительно, наконец, что она, которая все это понимает, не может быть так сильна, как эфирная подруга, понимающая меньше... «Если упрямство нехорошо, потому что глупо, так как же различить ум с характером? Может быть, только человеческая низость причина и тому, что крепче напирающий уважаем... Люди с характером боятся унизить себя; они не понимают христианского духа; а христианин, не понимающий христианского духа — глуп. Я понимаю, значит я умна; я умна, значит — у меня есть характер!»

Потом все это оставлялось или рушилось в прах при первой настойчивости маленькой дочери. Она видела, что иногда нужно бы построже, но мысль одна не давала силы! Итак, опять вопрос: «Кто выше: я или эфирная подруга?»

Была у нее другая подруга — молодая родственница. Та не была ни горда поступью, ни эфирна. Та была умна, и милое лицо ее дышало благородной кротостью. Цельная, как говорят теперь, умная, добрая и скромная с тактом, как говорили родные во время общей их юности, — Катя нравилась всем без исключения, и даже один родственник их, человек искренно Мефистофель, жалуясь на ее бесцветность, как он выражался в те дни, когда у него болела грудь, в другие дни громко признавал, что она проста снаружи и бесконечна внутри, как создание художника-мастера, как свежая вода (последнее сравнение он похитил у одного немецкого автора, но не признавался в том никому)... Век нельзя перестать удивляться, как понимают люди, подобные этой Кате, страдание, не страдая сами! Ее и хвалить за большую оконченность было трудно. Однако и на ее долю выпала мечта о блестящем человеке. Додо́ находила, что этот был гораздо лучше брюнета, которого обожала Лиза, эфирная подруга. Общества они были оба одного и воспитания близкого, и по всем крупным чертам

были люди одного рода. Оба начали службу в гвардейской кавалерии, оба годам к 28-ми оставили ее и стали жить то в деревне, то в Москве, то в Петербурге, то за границей, ловя минуты наслаждения.

Оба с первого взгляда, казалось, водевильно смотрели на замужних женщин и не стыдились эгоизма; но при внимательном осмотре начинали выясняться черты особенностей, которых не могли привести в общий уровень, ни общий век, ни сходный в главной нити образ мыслей, ни приблизительно равное состояние. Брюнет, любимый Лизой, был жаден, скуп, женился на такой ничтожной женщине, что года два смотреть спокойно на нее не мог, потом позорно привык; Додо́ узнала также, что он и с людьми дома дурно обращается, строг к ним, а слаб к себе и, воображая все это, не могла понять, как можно его любить. К тому же он был так жолчен, без прав на жолчь, так хорошо устроил свои дела, что его нельзя было не ненавидеть, узнавши его покороче. И энергия вся его была не его, а создана неопытностью встречных женщин. Сверкающие чорные глаза не мешали ему быть часто робким. Покойный муж Додо́, ленивый сибарит, ходил вдвоем с мужиком в лес на медведя; звал и его однажды, но он пошел только с большой облавой и с 10-ю стрелками.

Несравненно умнее и мягче душою и этого брюнета, и мужа Додо́ был лев, любимый Катей. Он в самом деле был поэтичен; он был, во-первых, гораздо серьезнее их образован, находчив и остроумен донельзя, а что сердце у него было доброе, так это было известно всем его товарищам, и люди дома хвалили его, не нахваливались. Он не хотел домашнего скандала, и молодая француженка с прекрасными льняными локонами, которую случайно раза два видела сама Додо́, исполняла у него обязанности хозяйки. У них был даже сын лет двух к тому времени, как Катя начала думать о нем, и мальчика этого он очень любил. Но он по временам сильно играл, и близость француженки довольно основательно тревожила родных цветущей Кати.

Молодой человек сам стал заметно более и более привязываться к девушке, которую он видал и прежде часто, а после замужества Додо́ встречал почти через день в ее доме.

Додо́, с которою он стал очень откровенен, увидела скоро с искренним удовольствием, что он питает к Кате то чувство почти робкого уважения, с каким часто предстают перед невинными девушками люди, проведшие буйно и бессердечно первую свою молодость.

Ко всем этим проблескам дремлющих высоких качеств, готовых пробудиться от прикосновения к нетронутой девичьей душе, прибавлялась тень умершей, чрезвычайно симпатичной матери-красавицы, которой последние годы он невольно отравил своей страстной связью с белокурой француженкой. Казалось, эта благородная, любящая тень парила всюду над ним, озаряя его прошедшее!

Додо́ была свидетельницей первых слез подруги и его тоски, когда он должен был сказать, что обречен жениться на француженке, что когда еще 23-летним человеком он взял Адольфину и в первый раз почувствовал себя отцом — он дал ей слово жениться на ней.

— Самое честное слово! — говорил он Додо́, — мать моя знала это и знала, что Адольфина очень капризна. Но что ж мне было делать! Скажите! Адольфина была в этот день бледна и в белом платье, и мы были одни на даче. Ах! Авдотья Петровна! С каким бешенством я ее любил тогда... теперь — Скажите... могу ли я отступиться от слова, о котором знает не одна она, а многие! Если бы еще никто не знал... признаюсь, может быть, я для того, чтобы быть мужем Кати, взял бы бесчестие на душу... она бы очистила ее. А самолюбие? И Адольфина меня любит по-своему, и дитя растет без имени!

Так и расстроилась свадьба. И через год вышла Катя за другого, потому что ее чувство не успело созреть до страсти. Но, что это за муж! лучше и не будем говорить о нем!.. Она часто родит детей теперь и объездила все монастыри и пустыни. Она нехуда, говорит по-прежнему

умно, но недавно сокрушила Додó, сказавши, что Занд хотела разрушить семейство и общественный порядок!

Была еще и третья, и четвертая подруга, и много других.

Перебирая таким образом прежних приятельниц и освежая живыми лицами свои собственные мысли, Додó впала в глубокую тоску.

— Если такая хорошая женщина, как Катя, не заслужила лучшей судьбы, — то что же должна ждать она, некрасивая и недостойная, всегда слабая, ненадежная, ленивая, не владеющая собой, бедная, бедная духом!

Нелегко обсудить, что страшнее открыть (а всякому в этом свой черед!), — то ли, что существует приблизительное счастие, но не для нас, или, что оно и приблизительно не существует, а заменится гнусным подобием вялого, общепринятого примирения. По нашему вкусу последнее хуже, и героиня моя была того же мнения. Она надеялась заслужить приблизительное счастие если не прошедшим, то будущим своим. С искренним ужасом, оставаясь одна, спрашивала она себя — точно ли чиста она и той облегченной чистотою, которую она требовала от людей: «будь добр для других, а сам себе вреди сколько хочешь, ленись и делай ошибки!»

А тысяча человек, пахавших ее землю? А хитрость и гордость управителя? О! как он с нею был мягок! Как успокоительно было слушать, когда он, привозя деньги, говорил так много о благосостоянии деревень и когда практичность его в полевом деле изумляла ее! Но что там, за всем этим? Спросила ли она хоть одного из этих людей: довольны ли они ею, довольны ли управляющим?

А дочь? В ней явные черты мужниного нрава: легкомыслие и упрямство. Что сделано для направления этого настойчивого детского самолюбия? Что сделано? Вот и Герсфельда за все эти упущения не заслужит она!

Еще, еще немного! Два-три месяца, и она покорит, привяжет, купит, наконец, его... Тогда она скажет ему:

— Ты мой супруг, ты мой милый муж! Вот тебе люди мои, дом мой, сад и поля. Поправься, поправься и отдохни! Я раба твоя, но узнай все, что надо, и загладь перед Богом мои вины твоим строгим надзором. Ты ведь справедлив, а строгость мне мила! Будь даже ко мне строг, мой милый, — я раба твоя навсегда! Вот тебе также дочь моя. Научи, что делать с ребенком, чтобы не вышло из него существо больное душою и телом, как была до свадьбы с тобою ее несчастная мать... И чтобы не вышло из нее слишком здоровое, пустое творение, подобное тем красавицам, от которых много терпела жена твоя, пока ты не лишил ее возможности понимать чувство зависти!

Додо́ радовалась, думая так... или нет — она ликовала, она ходила легче, все тело ее проникалось бодростью, и забота о здоровье и цвете лица стала для нее жизнью и обязанностью с утра.

К пяти часам, едва отобедав, становилась она тревожна и сходила в сад, где ждала его, гуляя и прислушиваясь не шумят ли тихо по щебню дрожки. Особенно же любила она дождливые дни. Они тогда рано зажигали огонь, и пока мелкий дождь низал в окно или другой раз покрупнее лился по ним недолгими потоками, они сидели и читали в угловой комнате; или Герсфельд играл, а она сидела, слушала и смотрела на него, не сводя глаз. Наташа играла в зале, и ее шум не мешал им нисколько; напротив, — он придавал особый смысл их произвольному одиночеству.

Герсфельд в несколько приемов и в разное время рассказал Додо́ новые подробности своей биографии, а она рассказала ему многое про себя. Оба они утаили кой-что (особливо Герсфельд), стараясь оба придать привлекательность своему прошедшему, своим неудачам и своим ошибкам. Об ошибках больше говорила она; он о суровой жизни дома и о пустоте своего детства. Впрочем, чего никак Додо́ не ожидала, он способен был иногда посмеяться над собою; но редкость и осторожность этих насмешек не укрылись от проницательной женщины. Она не только прощала ему такое обращение с собственным самолюбием,

но даже ей оно очень понравилось. «Оно гораздо естественнее и наивнее, — думала она, — он имеет право поступать так, а нам, вечно виноватым перед собою и неспособным пленять силой, остается одно убежище — откровенность! жалкое средство бессилия!»

Говоря о своем прошлом, она охотно передавала ему светские, не зависевшие от нее неудачи, не находила опасным упоминать о том, что она, живши в одном доме с эфирной Лизой, всегда уступала ей и только недавно с удивлением открыла, что Лиза чаще ее была неправа.

— Она была такая энергическая, — сказала Додо́, — посмотрит так... и у нее тут между глазами было широко, как у статуй. Я слушалась ее во всем. Когда она была влюблена в своего Александра, я раз простудилась, — ездила с ней в санях на свиданье с ним. Она опоздала, сама была виновата; мы начали торопиться, и я не успела надеть теплые ботинки. Я думала, что она будет благодарить меня или плакать, когда я занемогла, а она и не думает совсем. Читала мне громко, ходила за мной; а когда уж я не вытерпела и сказала ей — неужели она ничего не может мне сказать об этом?.. Она, знаете, что мне отвечала? «Ты сделала свой долг и я бы тоже на твоем месте сделала; я много чувствую, говорю только мало!» А я не могла, не могла смолчать, все сейчас разболтаю! Когда мы ссорились, я всегда первая подходила. Один раз мы две недели не говорили между собою. Я работала после обеда в одной комнате; она пришла и начала ходить взад и вперед. Никого больше не было в комнате. Теперь она замужем и признавалась мне, что она нарочно пришла, что ей хотелось помириться. Только она не говорила ни слова, и одна ботинка у нее скрипела все время... Я не знаю, что такое эта ботинка со мной сделала! Я не могла слышать и подошла к ней... А виновата была она, потому что назвала меня завистливой две недели тому назад при других за обедом. Видите, какая она была?

— Вижу, — отвечал тронутый Герсфельд. — Я вижу также вас, и мне очень весело!

«Не рассказать ли ему кстати и про мужа? — подумала Додо́. — Нет, нет ни за что!»

Точно про мужа неловко было рассказывать, и она всегда упоминала только о нем самом, иногда о блестящей его внешности, о смелости его, возбуждая досаду Герсфельда; иногда же говорила о своем охлаждении к нему еще при жизни его и о том, что он очень мало стоил любви. Последнее,впрочем,не слишком обеспечивало Герсфельда; он боялся больше за свои легкие стороны, он желал бы особенно нравиться ими, полагая не без основания, что внутреннего міра его всегда достанет на обновление притупляющегося чувства, если только оно началось с обоготворения внешности. Но она не говорила о своей первоначальной преданности мужу, о своей слабости перед ним, или, лучше сказать, перед его наружностью. Как стыдно было ей вспоминать об этом! Как хороша казалась ей ее новая любовь, проникнутая желанием осчастливить человека одинокого, небогатого, окружить его всем тем, что дают ей деньги! Она любит гордую, раздражительную душу его; она готова пройти весь остаток жизни своей как сестра его, лишь бы он знал и чувствовал это. Какой новый мір знаний и неясной поэзии мерцал после бесед его там и сям из-за обыкновенных явлений ее жизни! Часто не могла она повторить того, что излагал он ей прилежно.

«Как это он говорил? — вспоминала она: „Тело живет в пространстве, а душа во времени". Кажется... не так... Зачем это он показал тогда на часы? Он говорил, что-то меряется, и потом о музыке...»

Но несмотря на то, что она не могла повторить, жизнь казалась ей многозначительнее, когда она вспоминала о том, что он ей говорил. Часто радовалась она, когда замечала, что у Герсфельда руки не так хороши, как у покойного мужа, в движениях нет того изящного сибаритизма, глаза не так живы, волоса реже; замечала, что он делает ошибки во французском языке. В эти минуты она уважала себя, а подруги ее все до одной бледнели и бледнели, все больше и больше.

А с мужем что помнит она?

Когда прошел первый пыл его порывов, он почти не жил дома; но она с рабской благодарностью принимала, проплакав иной раз весь вечер, его мимоходную ласку, ласку, в которой всякий увидал бы — даже в самую теплую минуту ее — чувственную привычку, в добрый час с тенью сожаления. И только! А она ждет пустого и неумного человека и трепещет, и молит его бросить ей остаток огня, истраченного с недостойными! Не видит он в ней никакой прелести, не слышит ничего родного в мечтах ее, в ее детских воспоминаниях, во всей особе ее.

Когда чрез полтора года после брака она, в припадке ревности и горя, сказала ему: «Значит, ты никогда не любил меня?» Он подвел ее к зеркалу и ответил ей: «Что ты это говоришь? Посмотрись!»

И не вздор ли был это! Разве не говорили ей другие, не говорил ли Герсфельд, что лицо ее полно выражения, что оно дышет мягкостью и глубиною сердца, что черты ее нежны и неженственного, грубого нет в них ничего? И довольно бы для нравственного человека, довольно для умного! Не таков был ее муж. И если бы она всегда обожала его, если бы была ослеплена им, — тогда бы так! Но она через год уже начала охладевать душевно, она уже не нуждалась в беспрестанном присутствии его, она презирала его, а все-таки нечаянная ласка повергала ее в прежнее рабство. Слабость ее доходила до низости (по ее мнению, конечно, а не по мнению здравого судьи). Однажды она решилась оставить его, разъехаться с ним. В собственной служанке она нашла соперницу и не могла вынести этого; упрекала его, а он, уверенный в своей власти над нею, шутил и смеялся над нею. Додо́ оставила Петербург, где они жили тогда; озлобившись наконец, она низошла до мелочности и позволила себе, зная его зависимость от ее денежных средств, взять все лучшее из дома, чтобы хоть вещественно наказать его. Тогда приехала она в Москву к той тетке, которая ее вывозила

прежде и вместе с Герсфельдом обедала у нее, и стала жить независимо. Прошло полгода. Она скучала, тосковала, но не ехала к нему; Лиза поддерживала ее силу. Вдруг однажды утром подали ей записку на французском языке. Записка эта была от мужа. Он называл ее: «Madame!»

«Я нисколько не обвиняю вас. Женщина не раба и я умею уважать вашу волю. Позвольте мне приехать к вам и к тетушке вашей. Останемся добрыми приятелями. Я знаю, что я виноват перед вами, но желал бы ограничиться обыкновенными дружескими сношениями.»

Ему нужны были деньги; свое небольшое имение он почти все прожил; а она думала, что в словах его слышна робость и скромность искреннего раскаяния! Повинуясь непобедимому влечению кокетства, она послала сказать, что ждет его; надела платье, которое к ней шло, бархатную мантилью с горностаем и чепчик, похожий формою на другой, в котором она была один раз вечером в Петербурге, когда он, приехав не совсем трезвый, целовал ее крепко и называл ее своим кротким ангелом. Он приехал, поцаловал у нее руку, был весел, любезен, учтив, привел тетку в восхищение; белая, прекрасная, большая рука его лежала на бархате кресла... Она смотрела на него изредка, сохраняя еще вид того равнодушия и той веселости, которых пример подавал он ей. Но когда тетка, желавшая их помирить, оставила их одних, и он, не надеясь на скорую победу, продолжал говорить о посторонних предметах, она встала с замирающим сердцем, слабыми ногами подошла к нему и села на колена.

Ах! Если бы она могла забыть все это! Или не лучше ли не забывать, чтобы наслаждаться теперь своим очищением, выросшей с годами силой отпора и характером своего чувства к человеку не безукоризненному, быть может, но совсем иного разбора! Об этих отношениях к мужу она не сказала ничего, давши себе слово бороться до конца, если бы Герсфельд вздумал выражать надежды на безбрачную, но полную любовь. Но Герсфельд молчал, был

робок или горд, и она успокоивалась, хотя и боялась иногда потерять его из-за необходимости ждать его предложения и не делать самой первого шага.

VII

Степанов еще не возвращался. На дворе пахло осенью. Уж которое утро Додо́ находила запотевшим то окно, у которого все лето мелькали перед нею березовые ветки и где сиживал белокурый избранник ее сердца.

Молодая женщина пополнела за лето. Воды ли железные, радость ли... Но она вставала свежая и ложилась веселая. Надежда росла до крайнего предела. Давно ли... (ах, как недавно!) кисло казалось взглянуть в зеркало; все былые невзгоды пробуждались в нем: вот то длинное лицо, над которым смеялся легкомысленный муж, подводя ее к трюмо, вот глаза — беспокойные обличители душевных смут, бессильные и непокорные глаза; вот руки красивые, но слишком худые... Болезнь и одиночество, бездушная вереница неумолимых прошлых дней, больная, бесплодная мечта, да разве еще тоскливая ласка маленькой дочери!!!

— Нет, я могу, видно, еще нравиться, — думала она теперь.

И если, недовольная чем-либо поблекшим, вспоминала она прошлое, то разве затем, чтобы роптать на судьбу, лишившую ее возможности отдать этому то, что отдалось глупо, бессознательно и дюжинно неблагодарному мужу.

Герсфельд также находил, что она поправилась; но чувственность по-прежнему слабо говорила в нем при взгляде на нее. Не хочу сказать, что он вовсе был холоден к ней; тогда бы неизвинителен стал его расчет. Расчет его был легок сердцу, глубок и не груб. Расчет неизящный не был его делом.

Вот видите ли, как выходило у него: «Я могу с нею сладко и ровно прожить, если я не ошибся в ней. С ней я отдыхаю. Зачем я испорчу все грубым, преждевременным

волокитством, в котором непременно будет звучать фальшивая струна преувеличенной страсти. Ведь не могу же я подобной женщине сказать: «Будьте моей любовницей...» так же спокойно, как я сказал бы Степанову: «Зайдем-ка в кондитерскую!» Таков дух, движущий моим телом при взгляде на нее. Как же начну я прикидываться нежным и настойчивым? Боже! какая гадость! Другое дело в супружестве; чувственное удовольствие будет роскошью, или обязанностью, которую с такой милой женщиной вовсе недурно строго исполнять. Она мила... только зачем эта бойкость речей? Ну, если она?... Нет — она и теперь покорна. Да и вовсе не хороша она настолько, чтобы быть опасной женой».

Они часто ездили верхом. Додо́ хотела постоянным упражнением укрепить себя к суровой зиме еще получше. Эти прогулки по крепительным, молчаливым сентябрьским полдням были неизъяснимо приятны. Они еще более сблизили их, в ней убили последнюю, усилиями приобретенную осторожность разума, в нем гордое недоверие небогатого юноши, ухаживающего за богатой женщиной с громким именем.

Додо́ была отличная наездница. Еще покойный отец ребенком посадил ее на маленькую лошадку и вместе с нею катался по рощам и соседним селениям, где бабы и дети бежали гурьбами за ней и спорили — кто это мальчик или девочка.

Теперь, надевши чорную бархатную фуражку без козырька, чорную суконную амазонку и синий или пестрый галстук, поднимавший ей воротничек до лица, выходила она ободренная на крыльцо, где ждал ее кучер с серой в яблоках заводской кобылой. Герсфельд, напротив, был только посредственный ездок, и когда она предложила ему эти parties de plaisir, он испугался комизма, но, испугавшись еще больше, чтобы она не заметила его боязни уронить себя, спокойно объявил ей, чтобы она, во-первых, брала непременно кучера, потому что он мундштука от уздечки отличить не умеет и ни в каком случае полезен ей

быть не может, а во-вторых, чтобы его лошадь была смирна.

— Вам же будет стыдно перед встречными, если я буду Бог знает на что похож... да я и сам вовсе не хочу, чтобы вы надо мной смеялись.

— Разве нельзя пошутить?

— Лучше не надо. Откровенно говоря, я вовсе не bon enfant и не люблю дружеских насмешек. Жизнь и без того довольно гадка.

— А разве я не могу вообразить вас заранее в самом смешном виде на лошади?

— Все не то что видеть. Впрочем, я буду ездить с удовольствием, если вы непременно хотите.

Лошадь, приличная вкусу Герсфельда, нашлась. Она была не слишком молода и не горяча; она имела отличный шаг, не отставала от рьяной Паллады, ростом была не меньше ее, масти рыжей и не пуглива. К удивлению и радости Додо́, Герсфельд оказался слишком скромным: недостаток долгого навыка и отсутствие правил он заменял смелостью и спокойствием. Он бы не унизился в ее глазах, если б даже свалился при первом движении, она бы даже непременно постаралась тогда быть милее к нему... Нет! Она не девчонка ничтожная, умеющая ценить только ловкость да силу или поверхностную, обманчивую отвагу навыка! Но все-таки приятно открыть еще что-нибудь хорошее в человеке уже любимом; да и прогулки приятнее, не отуманенные озабоченным лицом робкого наездника.

Проехали версты с три, разговаривая.

— Вы можете скакать? — спросила Додо́ и испугалась. (Кучер ехал сзади близко; ну, как он улыбнется или что-нибудь, а этот рассердится? Что тогда делать?)

— Ах, не сердитесь! — сказала она ему поскорее по-французски и, если бы не поводья, сжала бы руки.

Герсфельд засмеялся.

— Я очень хорошо вас понимаю, — отвечал он... — Чего вы испугались? Разве я не знаю, что если бы я хотел

даже влюбить вас в себя, так бы мне не пришлось брать уроки в манеже. Пустите вашу Палладу.

Проскакали благополучно, и даже очень хорошо. Паллада немного обогнала.

Настало блаженное время беззаботной полноты.

Додо́ однажды вышла к нему такая свежая (сравнительно, конечно, с прошедшим, — переродиться не могла ж она!), такая молодая, к лицу одетая, душистая. Они пообедали вместе; девочка смешила их за столом; мисс Дигби была не так непреклонна. Но над веселостью и шутками артиста проносилось легкое, далекое облако тревоги, и он мало ел.

Дочь ушла с гувернанткой к себе. Герсфельду не нужно было настроивать себя, и они дали полную волю тому, что вечно будет лучшим украшением молодых дней.

Герсфельду она стала вдруг дорога после этого. Он не был близок еще ни разу женщине, от души и не только по страсти отдавшейся ему, но и просто по одной бескорыстной телесной склонности. Давно ждал он, сравнивая себя с другими, правдивой оценки, и Додо́ показалась ему в этот победоносный день прелестной жрицей, умевшей найти достойный алтарь в душе самолюбивого художника. Нет! Герсфельд был не идеал! в наше время нашлись бы сердца гораздо полнее этого бесстрастного юноши... Но что ж? Он знал, что он умен, что он владеет силой звуков, что он собой, быть может, лучше многих, по крайней мере искренен с нею, и со всякой другой был бы искренен, прост и добросовестен.

— А! ты поняла меня. Я докажу тебе, если ты будешь послушна, что я не похож на тех презренных и гнусных мужчин, которым даже красота одна и та же приедается, которые не сумеют оценить тебя... Я не буду и одним из тех несчастных, которые как ивы гнутся под бременем многочисленных тонких ветвей, которые поймут тебя как нельзя лучше, но бросят, сами не зная зачем. Я докажу тебе и себе, что может непоколебимым держаться дерево и при тонких ветвях. Я буду полон уважения и внимания

к милой женщине. И если только не побоится она променять свое имя на мое простое и немецкое, я буду добрым мужем ей и рачительным отцом для ее дочери. Чтобы только я не был тревожим тобою, слышишь? Чтобы ты, как растение, вскормленное мною на окне, — цвела и дышала, благоухая, и чтоб я проходил мимо, погруженный в думы мои, не опасаясь, что ты потревожишь меня. Да! жена для того, кто хочет работать, должна невидимой душою витать вокруг. Чтобы в доме моем по воле был и досуг одиночества, и отдых свежей беседы!

Совсем иначе думала Додо́ после этого вечера; она была встревожена, и только воспоминание об одном разговоре, где Герсфельд выказывал свое мнение о браке, требуя от жены уступчивости, успокоивало ее на время. Следующего посещения его ждала она с волнением и любопытством; спрашивала себя, что он скажет, когда войдет в комнату, обнимет ли он ее, или с жаром возьмет за руку и посмотрит ей в глаза. Или не выйти ли ей к нему навстречу в сад и поздороваться с ним, как с своим человеком? Спрашивала она также — к лучшему ли, или к худшему эта перемена в их отношениях? Поведет ли она к браку, или к пресыщению и измене? Подозревать его в одном расчете казалось ей теперь труднее; ясно — он искал обладания *ею*, а не имением ее. Или это утонченная хитрость? Говоря тогда о браке, впрочем, он сказал: «Женщины уважают почти всегда один путь к счастию — путь страсти; есть и другие, но объясняться с ними очень трудно».

Она хотела сказать ему тогда: «Вы никогда не объяснялись с умной женщиной; объяснитесь со мной...», но удерживалась.

Герсфельд приехал, не обнял ее и даже в глаза упорно не глядел, а пожал ей руку и начал говорить и смеяться как веселый приятель. Такт этот удивительно понравился ей. И он с своей стороны был доволен, что ни о чем страстном помину не было. Обоим было легко, и легкость эта, это молчаливое соглашение, удовлетворявшее обоих,

длилось около двух недель. Однажды Герсфельд приехал мрачный.

— Мне пишут из деревни, что отец очень заболел. Надо ехать, — сказал он.

— Когда же вы поедете?

— Завтра; я проведу этот вечер у вас, если позволите.

— Он очень опасно болен?

— Кажется... да не об этом речь...

— О чем же?

— О том, что без вас будет гадко!

— Я бы желала побывать у вас в деревне, — сказала Додо́ мечтательно. — Посмотреть все, отца вашего видеть, сестер...

— Они давно замужем. И смотреть решительно не стоит ни на них, ни на деревню. Вам бы стало жалко, — больше ничего. Впрочем деревня довольно оригинальна и отец тоже. Они друг к другу идут... В усадьбе есть что-то особенно угрюмое, северное или скандинавское... не знаю, право, как и сказать. Около дома кроме елей нет деревьев; только ракитовая аллея к дороге. Ели везде... Сада вовсе нет; в полверсте большой еловый лес. Дом серый, с мезонином, с красной крышей; перед ним палисадник, точно в городе; белые столбики, какие-то цветы, которых вид, бывало, раздирает мне душу... Понимаете? Зачем цветы! У нас! Нейдет совсем. И тому подобное... Тетка Констанция, впрочем, летом носится иногда около них с лейкой... Ну, да от этого еще грустнее только станет. В доме стены белые и картинки... Европа, Азия, Америка... Видали вы эти картинки? Опрятно все, но так мертво и холодно, что лучше бы и не видать! А обед! Вообразите — какие-то поджаренные куски ситного хлеба с прошлогодними грибами... Чай всегда жидкий и магнезией почему-то отзывается...Люди все один другого грязнее. И со всем этим мне придется опять знакомиться теперь! И, может быть, надолго... После вас!

Они провели весь вечер вместе, но о браке не сказали друг другу ни слова.

Часу в одиннадцатом вечера Герсфельд уехал, а Наташа, которая с его помощью выхлопотала себе позволение в этот день лечь позднее всегдашнего, пришла побеседовать с матерью.

— Ты сегодня кутишь, Наташа, — сказала мать, сажая ее к себе на колени. — Это все Герсфельд балует тебя...

— А ты?

— И я балую. Ты любишь Герсфельда?

— Люблю, очень люблю!

— А лицом он тебе нравится?

— Нет, не очень. Слишком бледный, скелет такой! Совсем не пухлый; вот cousin Сережа Бобруйский — пухлый, красивый. Зачем ты за него замуж нейдешь?

— Не нравится.

— А Герсфельд нравится. Скажи, мама, ты бы пошла за Герсфельда?

Мать хотела посмотреть на нее строго, и сказала даже: «Полно глупости говорить». Но потом прибавила: «А что если бы я вышла за него... ты бы любила его?»

— Очень, даже очень! Потому что он всегда для меня что-нибудь делает и такие глупости со мной говорит. Ах! Так смешно! Я всегда зову его Николай, Николай! Слушай, мама, правда — выходи-ка за него... Мы все будем вместе жить.

Додо́ услала ее спать и не велела повторять этих шуток о Герсфельде.

VIII

Когда по отъезде Герсфельда, Додо́ осталась наедине сама с собою, то ею тотчас же овладели глубокий страх и отчаяние.

— К чему, — думала она, — были все эти высокие, очищающие прошедшее стремления, если они вели к скорому падению, к дешево проданной силе недоступности?

Не смешно ли было сравнивать свое чувство к покойному мужу с чувством чистого, светлого обожания, которым она начала было гордиться?

И насладилась ли она? О нет! Какое наслаждение, когда упреки в слабости носились над радостию ее! Недостача, недостача чего-то в сердце сокрушила радость, и блаженство не замкнулось даже в кратковременный полный круг... Она потеряет теперь его... Где ей падать! Разве она свежа, красива, неотразима телесной пышностью, чтобы рассчитывать на новую настойчивость страсти при каждом новом сближении? А прежний круг, светлый, подобный стоявшей тогда красной осенней погоде, был замкнут крепко и спокойно... Дня через два после его отъезда беспокойство ее, ее угрызения, ее отчаяние достигло такой немой силы, что она целый день не сходила с места, не говорила ни с кем, не читала, к обеду не сменила блузы на корсет и платье. Потом, истощив запас страдания, она отдыхала несколько дней, в проснувшейся надежде на его благоразумие и на то, что ее уступчивость не поведет к забвению или разрыву. Но малейший намек окружающей жизни, намек неуловимый, малейшее воспоминание о прошлых слабостях повергали ее снова в несказанную боязнь.

Размышляя об этом с утра до ночи, по утру проснувшись, за обедом и во время прогулки, она пришла, наконец, к робкой мысли о возможности поправить все внезапной строгостью. Да не будет сказано вновь ее совестью, что собственная слабость вечный губитель ее!

Но как же можно противиться, отдавшись? Кто это делал? Кажется никто. Ни от кого, ни о ком не слыхала она подобного рассказа. Видно, это не в порядке вещей. Даже не помнит она из книг ничего подобного... Отдалась — так отдалась без возврата. Наслаждайся и страдай как знаешь, без надежд на освобождение! Но что ж за беда, что она не помнит подобного случая? Ее случай будет первый. А сила? Где она? Не собственное влечение чувственной страсти повергнет ее снова в его власть, а его малейшее желание, его малейшая настойчивость.

Скоро выпал первый снег и некоторые из знакомых Додó приехали из деревни. Приехала и та эфирная подруга, которая была для нее когда-то так близка и так поразительна своею силою. Эфирная подруга утратила годами прозрачность кожи и воздушную гибкость стана, но все еще была стройна, величава и хороша. При виде грации ее приемов всякий легко мирился с легкой, ровной краснотою, заменившей на лице прежнюю восковую нежность.

Она тотчас же приехала к Додó и видимо от души была рада ее возвращению из-за границы. Додó также сильно обрадовалась ей по старой памяти. Подруга охотно осталась обедать у нее, и они провели весь вечер в разговорах о прошедшем, все более и более теряющем прежний смысл. Они говорили также о редеющем год от году круге, подчас и скучных, но привычных знакомых. Они и смеялись и грустили вместе.

Оставшись одна и ложась спать, Додó вдруг придумала обратиться за советом к этой подруге как-нибудь косвенно, под чужим именем и дала себе слово следовать ее совету, который, быть может, будет прост, но крепок и практичен, как все, что свершалось в душе этой энергической женщины.

Отправившись к ней на следующий вечер, Додó, после искусственно продленной беседы, сказала ей вдруг:

— Ах, знаешь, Лиза! я получила преинтересное письмо от одной знакомой из Парижа. Я не могу тебе сказать ее имени... мы познакомились с ней в Риме и жили всю зиму на одной квартире. Она еще очень молода и не живет с мужем. Ее отдали за него насильно и он очень противен. Она почти всегда за границей. Она прислала мне престранное письмо и просит моего совета... как ты думаешь, в чем?

— Я ничего не думаю. Почему же я знаю!

— Угадай...

— Что же это? Помириться с мужем, или нет?

— Ах нет! Видишь ли... За ней ухаживал один молодой человек... Я его видела; тогда еще он не имел на нее

никаких видов... Ну... она... позволила ему все... И теперь она в отчаянии, не знает, что делать... Он, судя по ее письму, довольно капризен. Она боится, чтобы он ее не бросил, и в минуту отчаяния написала мне. Что мне делать? Чтобы ты сделала на ее месте?

— Кто ей мешает прекратить все, если это ее мучит?

— Разве можно, Лиза? Разве это легко? Ты бы сделала так? Как же это сделать! Я не понимаю...

— Как же не понимаешь? Ты возьми в расчет, что есть женщины, которые даже мужьям перестают принадлежать, когда захотят.

— А если он от этого еще хуже ее оставит? Нет, это ужасное положение!

Они заговорили было о другом, но Додо́ сделалась так рассеяна, так грустна, что Лиза, которая, не будучи мыслящей женщиной, знала издавна все слабые струны откровенной приятельницы, — вдруг вгляделась в нее и сказала, улыбаясь:

— Додо́... Уж не ты ли сама та римская знакомая?

Додо́ вспыхнула, помолчала и несмелым голосом произнесла:

— Ну — я... Ну, что ж такое!...

— Зачем же ты скрываешь от меня? Разве ты не знаешь, что я не выдам никогда?

Додо́ подумала, заплакала и рассказала ей все. Лиза пожала плечами.

— Вот ты все слабая! Характер можно заставить себя иметь...

— Помилуй!... Разве можно! Что ты говоришь... Не мучь меня! Ты лучше посоветуй мне, что бы ты сделала на моем месте.

— Я? Я бы заставила его ревновать, если бы был случай. А всем прихотям его я не покорялась бы. Возьми на себя хоть раз в жизни! Когда он вернется, покажи ему так, как будто ничего не было... Имей хоть раз характер... И посмотри, какой он будет смирный. Все мужчины на один манер! Плачь, плачь, если тебе легче...

Додó прилегла на высокую грудь подруги и, еще немного поплакав, отдохнула и ободрилась.

— Послушай, ты и мужу не скажешь ничего?

— Разве ты меня не знаешь? — отвечала утешительница, взглянув на нее давно знакомым строгим взором, как бы негодуя даже за мысль о возможной нескромности.

Тогда они расстались, но этот разговор был не последний; видаясь с Лизой через день, через два и полюбивши ее вновь довольно сильно вследствие этой живой связи, Додó иногда утомляла ее подробными варьяциями на тему своих надежд, своей любви, и своей боязни. Лиза терпеливо слушала и поддерживала в ней решимость.

Пока Додó собиралась, то с ужасом, то с отвагой, взять Герсфельда хоть слегка в руки и хоть раз в жизни дать серьезный отпор, Герсфельд в деревне следил за постепенным истощением отца. Старик уже за два месяца до его приезда стал ходить влача ноги и, понявши сам, что пришла пора расплатиться за неумеренную жизнь, заставил сестру объявить об этом сыну и просить его прямо от отцовского имени приехать проститься. Чувствуя вину свою, ослабевший старик боялся и желал встречи с упорным сыном и дрожа заплакал, увидав из окошка телегу, которая привезла Николая так скоро после письма. Они оба не сказали друг другу о прошедшем, и Николай не мог не быть тронут радостной суетой когда-то грозного тирана. Около двух месяцев тянулось постепенное угасание в безжизненном доме; Герсфельд проводил время без дела, без книг, без музыки, потому что плохое фортепиано, на котором он прежде игрывал, давно было испорчено так, что прикоснуться нельзя было к нему. Бездействие его тем более было полно, что обе сестры его приехали из города отдать последний долг отцу и все мелкие, вещественные заботы о больном выпали естественно на их долю. Герсфельду приходилось только водить отца под руку из спальни в гостиную и из гостиной в спальню; но через две недели и это кончилось, потому что больной перестал вставать. Он не говорил почти ничего о делах, расспрашивал

очень много сына об его музыкальных планах, интересовался сюжетом оперы и, заставивши его рассказать себе историю Тараса Бульбы, нашел еще в себе достаточно огня для тени восторга.

Тетка Констанция расспрашивала тоже о музыке, о московских знакомых, сильно утомляя племянника постоянной, ровной радостью и однообразными восклицаниями.

На грязные поля перед окнами ложился непрочный еще снег и обед по-старому был дурен и нечист. Естественно Додо́ все время витала перед Герсфельдом среди мертвенности родимого угла, и он не замедлил написать ей по обещанию письмо.

Рассказавши кратко о домашних делах, он говорил ей так:

«К чему бы ни привели нас наши сношения, я никогда не сумею забыть, что вы первая заставили меня жить. Я боюсь доверяться прочности чего бы то ни было; но в прочности моего к вам уважения я уверен. Не думайте, чтобы по моему лексикону слово „уважение" означало то печальное чувство, которое часто предлагается в минуту равнодушия или даже отвращения взамен прежних чувств. Нет, мое уважение содержит в себе много чувств, известных под разными названиями. Сердце мое не умеет трепетать, пока критика разума не дала ему на то права. Только рассуждая — я могу полюбить».

— Он сказал *полюбить*, а не *любить*; еще и после последней жертвы — подумала Додо́, прочтя письмо с трепетной радостью. — Лиза права. Надо пробудить в нем страсть препятствиями!

Старик скончался и, умирая, просил сына не обидеть сестер.

— Я надеялся на тебя, Николай... Завещания нет.

Тело старика-лютеранина отвезли в приходскую церковь и похоронили. Вернувшись с похорон домой, его сын почувствовал себя вдруг властелином небольшого міра, который по его обстоятельствам был уже вовсе не так мал.

Занявшись на следующий день расчетами, Герсфельд увидал, что дела в прекрасном состоянии. Правда, крестьяне были постоянно угнетены и господином, и прикащиком, но далеко не бедствовали хозяйственно; поворотивши их даже на умеренный оброк, он мог иметь в год до полуторы тысячи рублей серебром. Были запасы хлеба, были ломбардные билеты в столе отца тысяч на семь.

Разочтя все, прогнавши прикащика, Герсфельд объявил тетке, что она полная хозяйка в доме и что, начиная с завтрашнего дня, пойдет иная экономия, что она будет пить отличный чай и провизия будет выписываться из города уже не та. Сверх того он предложил ей иногда посещать его в Москве, когда деревня ей наскучит. Растроганная Констанция рыдала, обнимая его, пошла к экономке и к горничной своей и передала им почти слово в слово, но с немецким произношением все то, что ей сказал племянник.

Потом наследник обратился не без отвращения к сестрам, уже давно следившим за каждым движением его, и разделил поровну между ними векселя на шесть тысяч. Одну тысячу он оставил себе, с наслаждением помышляя о том, как он ее истратит в Москве.

Покончив все, он простился с сестрами сухо, с теткой гораздо теплее и поехал в Москву. Хотя на дворе была ноябрьская распутица, однако пострадать пришлось ему до шоссе всего верст двадцать, а там он пересел в мальпост и, скрытый в карете от ветра и мокрой мятели, на свободе думал о Додо́.

Он очень был доволен тем, что новое независимое положение давало ему средства лучше оценить собственное чувство.

Ощущая заранее большую веселость при одной мысли о том, как он поедет к ней, как заворотит за частный дом с каланчою, как она встретит его и обрадуется, как Наташа закричит: «Николай, Николай!...» — взвесив и разобрав чувство, продолжавшее жить вопреки взвешиванию и разбору, — он увидал, что нужна она ему гораздо больше, чем ее средства. Умеренность его вещественных желаний

обогащала его чрезвычайно в его собственных глазах. Полторы тысячи в год! Без службы! С этим наконец он смело может ехать на несколько лет за границу! Прощай гнусное здание Палаты государственных имуществ! Теперь Тарас Бульба и Додо́ или Додо́ и Тарас Бульба!

Но как сделает он ей предложение? не будет ли естественно как нельзя более, если она предпочтет тайную любовь явной перемене имени? И если вдруг отказ! Вся внутренность его поворачивается при мысли об отказе. И еще бы отказ от какой-нибудь тупой или поверхностной, а то от женщины, которую он хочет иметь женой за ее личные достоинства! Ведь были же проблески светского кокетства. В течение этого месяца она переменилась, быть может, письмо ее было странно: не то недовольное, не то холодное. Посмотрим, что скажет свидание!

IX

Знакомые и родные стали посещать Додо́ в отсутствии Герсфельда, и она была довольна их посещениями, потому что все уже было обдумано и передумано насчет будущего поведения. Люди эти, несколько обновленные довольно долгою жизнью ее за границей, сокращали лихорадочное время ожидания и заставляли хотя несколько волей-неволей забывать страх предстоящего отпора. К ней ездила часто набожная, но все еще умная Катя, энергическая Лиза; ездил полный адъютант-меломан; один сенатор, добрый и вдовый петушок со звездою на фраке; один кавказский генерал, остроумный и любезный без сладости; бывал часто и обманчивый курляндский граф, продолжая походить на дряхлого roué, что, конечно, очень шло к гостиной. Кроме них нередко приезжали два молодых лейб-гусара, родные братья, гостившие в отпуску у родителей. Они были родственники Додо́ и превеселые оба. Додо́ за границей познакомилась с одной княгиней лет 32-х, еще красивой, хотя и начинавшей полнеть.

Эта женщина не имела права называться умной; она не продумывала ничего насквозь, но получила редкое у нас заботливое книжное воспитание, вкус ее был развит настолько, насколько позволяли способности; она пожила и хотела еще пожить, боялась обвинений в педантизме, и Додо́ не скучала с ней ни прежде, ни теперь, потому что довольно пестрый опыт и начитанность заменяли у нее живую силу мысли. Додо́, не всегда удовлетворенная ее воззрениями, не смела однако не считать ее гораздо выше себя. У этой княгини был брат, не князь, человек лет 28-ми, бледный, ловкий в танцах и смелый в разговоре; он написал две бездушные и водевильного содержания повести, но был настолько умен, что презирал их сам. Однажды в обществе заговорили о его сочинениях и показали ему книжку журнала, в которой напечатано было одно из них, но он, взяв эту книжку, так зло и решительно уничтожил кратким разбором свою авторскую репутацию, что возвысил себя в общем мнении вдруг на большую высоту. Додо́ он не нравился, и она ему тоже не слишком; но сестра подговаривала его ухаживать и посвататься так постоянно, что и он, не имея большого состояния, начал увлекаться этой мыслию. Додо́ после 5-6-ти посещений заметила его происки и подумала довольно ловко о том, что он может ей пригодиться для обуздания Герсфельда и для внушения ему ревности. Многие из этих лиц обедали часто у Додо́, заезжали к ней как придется по утрам и собирались раз в неделю вечером у нее. Она тоже ездила к княгине, к Лизе, Кате и к другим, где встречались новые лица. Раза два здоровье ее пострадало от выездов, но скоро все пришло в порядок и оставалась только после всех этих посещений внутренняя усталость, и жажда видеть Герсфельда с каждым днем становилась сильнее.

Степанов, давно вернувшийся и нередко сурово молчавший на ее оживленных сборищах, был в сущности приятнее для нее всех.

За несколько дней до приезда Герсфельда она отказалась от вечера у княгини и послала звать к себе Степанова;

пила с ним чай и говорила о его матери, о деревне и об их общем, своенравном друге.

Додо́ не сочла нужным признаться ему в своей любви, но объявила, что она узнала Герсфельда, благоговеет перед ним как перед артистом и любит его как человека искренней приязнию. Степанов принял все это за чистые деньги и, не подозревая ни мало, как далеко зашли они без него, немного огорчился тем, что слово «приязнь» казалось уничтожающим надежду на тот брак, на который он отчасти смотрел, как творец на свое произведение.

Наконец настал торжественный час свидания. Первая встреча была радостна с обеих сторон. Додо́ крепко сжала ему обе руки, а он, взяв одну из них, поцаловал горячо.

Усадив его около себя на диван, она требовала подробного рассказа о смерти отца, о деревенской скуке, о тетке Констанции. Когда он передал все кратко и нехотя, она сообщила ему о перемене в образе своей жизни, о вырастающем количестве знакомых и о том, что она не слишком скучала.

Герсфельду показалась странна последняя фраза; сличив ее мысленно с сухостью письма, полученного им в деревне, он был неприятно поражен. Однако находя ее в этот день очень авантажною, он молча взял ее за обе руки и потянул к себе.

— Что это? — сказала Додо́, краснея, и встала.

Герсфельд вместо ответа сильно стиснул ее руки, потому что уже начинал сердиться.

Выдернув руки, она сказала с некоторым величием, которое ему показалось не только не идущим к ней, но и отвратительным:

— К чему это? что за тирания! Разве я дала вам вечные права?

— По-вашему значит, не чувство, а обряд дает вечные права... Эта дряхлая пошлость в вас очень нова!

Тогда он встал бледный от гнева и, стиснув зубы, взял шляпу.

Додо́ испугалась.

— Постойте, — сказала она... Зачем мы будем портить наши сношения. Они были так чисты летом... Я была так спокойна...

— Не беспокойтесь, — отвечал он уже с непритворной холодностью, — я никогда не буду грустным селадоном и умолять не стану... я хочу, чтобы мной во всех отношениях дорожили еще больше, чем я дорожу... Прощайте.

— Вы сердитесь...

— Нимало! Прощайте.

Он пожал ей руку и уехал.

Она хотела было броситься за ним в залу, но вдруг мелькнули перед нею — угрожающая Лиза, уступки покойному мужу, еще многое... и она села.

Посидевши и подумав, она пошла к письменному столу и написала ему письмо.

«Не думайте, что я переменилась к вам или что я хочу с вами все прервать. Напротив — желание сохранить вас научило меня поступать иначе. Скажите, зачем нам было позволять себе то, что позволительно одной страсти, которой между нами не было. Отношения наши были так высоки, чисты, так хороши, когда вы ездили ко мне на дачу. Многое не было сказано (по крайней мере мною), но разве всегда нужно говорить! Вы скрытны от природы; я слишком откровенна и потому вы еще больше меня понимаете, какая прелесть может быть в недосказанности. Прошу вас, вернемся к прежнему! Скажите — кого привели к добру или к счастию подобные отношения вне брака? Если бы я видела в вас страсть, я бы не сказала ни слова... Но ведь ее в вас нет, а служить предметом холодного удовольствия я не хочу даже и для вас, несмотря на все уважение *в вашем смысле*, которое я к вам имею. Прощайте. Прошу, умоляю вас забыть этот несчастный случай, нарушивший простоту нашей прежней дружбы. Приезжайте завтра ко мне и постараемся быть по-старому».

Герсфельду было скучно одному дома и он поехал в театр... Возвратившись, он нашел это письмо, от которого на него повеяло знакомой простотою и знакомым умом. Но

он не мог понять внутреннего побуждения всех этих перемен и вместо того, чтобы напасть на истинный путь, столь лестный для него, он укрепился в подозрениях своих. Неопытность в делах с женщинами, гордость и недоверие к собственной привлекательности убедили его в том, что он опротивел ей и что она просто не хочет принадлежать ему ни в браке, ни без брака, а будет держать его при себе с спокойствием торжествующей светской женщины, на показ знакомым и для игры на рояле в присутствии презренных профанов! Он отвечал ей так:

«Я очень благодарен вам за уважение; оно не в моем смысле. Я буду ездить к вам, если я вам нужен или занимателен для ваших знакомых. Будьте уверены, что я нимало не обиделся и, чтоб доказать последнее, я постараюсь даже отодвинуть наши отношения еще дальше назад, чем вы предлагаете. Вы желаете, чтобы мы были как в августе, я готов быть как в июне!»

Пробежав эту записку, он подумал, что досада в ней слишком явна и потому, разорвавши ее, написал другую.

«Прекрасно! Так как страсти точно нет, то я очень рад той бледной и чистой дружбе, которую вы мне предлагаете; и хотя я слыхал, что прошедшее не повторяется, я употреблю все усилия, чтобы повторить его. Будете ли вы дома в среду? Я бы желал провести вечер с вами».

Лиза сидела у Додо́, когда принесли веселую записку Герсфельда.

— Смотри, — сказала Додо́ приятельнице, подавая ей записку, — он даже не сердится! Боже мой! что ты наделала! Боже мой! Все мои надежды, последние надежды пропадут... Я опять, опять буду одна... Ты видишь — он даже не обиделся! что это будет! Это ужасно!

Додо́ встала в сильнейшем волнении, подходила к Лизе, отходила от нее, пожимала плечами, сжимала одной рукой другую, и слезы ее готовы были политься.

— Я поеду к нему сейчас! — сказала она.

— Ах, Додо́! Будешь ли ты когда-нибудь благоразумна? Поверь мне — он обиделся... Ты не могла еще надоесть ему.

— Он [не] обиделся.

— Да где же?... Покажи записку... Где ж он [не] обиделся... Скажи... Ты слишком откровенна и думаешь, что все так... Я бы сама так написала...

— Так ты думаешь, что ничего? Скажи же, ради Бога!

— Прекрасно, по-моему. Он посватается, ты увидишь.

— Ах, нет, нет, ни за что! Ты не знаешь, Лиза, как я люблю его! что̀ моя любовь к мужу! Это отвращение, если сравнить с этим...

В этом духе, упрощая много утонченность своих мыслей и ощущений, говорила долго Додо́, но снова обнадеженная Лизой решилась ждать до завтрашнего вечера, т. е. до вечера середы, о котором он писал.

В этот вечер были у нее княгиня с братом, был старый граф и еще кой-кто. Герсфельд приехал, и она представила его всем. К счастию их обоих княгиня занялась тотчас же молодым артистом и заговорила его совсем. Додо́ между тем рассеянно отвечала на любезности ее брата, который уже совершенно выдохся. Додо́ показалось, что Герсфельд страдает. Она так ободрилась этим и так обрадовалась, что, воспользовавшись той минутой, когда княгиня дала ему вздохнуть, подошла к нему и спросила, указывая тихонько на брата княгини: «Не правда ли, как он хорош и как умен?» Герсфельд отвечал:

— Мне самому очень нравятся его манеры, они очень просты и естественны... Он, кажется, не глуп, судя по разговору. «Нет, он не ревнует!» — подумала Додо́ с отчаянием и насилу дождалась конца вечера.

Оставшись одна, она решилась снова изменить свое поведение и отдаться своей природе. Роль эта была свыше ее сил. Одна неделя этой борьбы до того утомила, измучила, изувечила ее, что на следующий день, не зная как быть, она послала звать к себе Степанова и чуть было не призналась ему во всем; однако удержа-

лась и спросила только, что делает последнее время Герсфельд.

— У меня бывает так много знакомых, что я не успеваю иногда сказать с ним слова.

— Герсфельд едет, — отвечал Степанов важно.

— Куда? — с ужасом спросила Додо́, привставши с дивана.

— В деревню свою, а потом за границу... я был у него вчера.

Действительно, Герсфельд ехал. Как скоро он увидел, что Додо́ кокетничает с братом княгини, он показался сам себе каким-то жалким немцем, неизвестным музыкантом, бессильным искателем невест, и негодованию его не было границ. Чем более закипало в нем желание овладеть снова ею, разогнать всю эту толпу, заслонившую от него милую женщину, увлажившую на время своею речью, участием, взглядом синих глаз его душу, готовую, как он думал, уже безвозвратно высохнуть; чем более, одним словом, пробуждалось в нем первоначальное подобие страсти, тем более презирал он себя за это пошлое увлечение препятствиями и тем строже и настойчивее поднимался внутренний страж его самолюбия!

Отпуск его еще продолжался и, так как он еще из деревни послал об отставке, то немедленно сделал первые распоряжения о заграничном паспорте и устроил очень быстро все, что было ему нужно, для украшения деревенского одиночества в ожидании отставки и паспорта. Он накупил нот и книг самых дельных по части истории, путешествий и философии; купил также обоев, купил ковры и материи на занавески, чтобы хоть как-нибудь украсить домашнюю пустоту и скуку. Рояль уже был в ящике, готовый к отъезду. Пусть он будет на месте раньше своего владельца, чтобы и дня не пришлось скучать в ожидании! Как он рад был этим тысяче рублям, которые дозволили ему скрутить все в несколько дней и хоть немного развлекали его, не привыкшего к деньгам, всеми этими мелочами, не давая времени оставаться наедине с бешенством, овладевавшим им.

Он не хотел проститься с нею и сильно боялся, чтобы Степанов не зашел к нему и не увидал бы рояль в ящике. К страшной досаде его Степанов зашел даже без него и спросил у слуги — зачем рояль в ящике. Слуга сказал, что рояль едет в деревню завтра, а за роялем и сам барин. Степанов дождался Герсфельда. Герсфельд сухо поздоровался с ним.

— Ты едешь? — спросил Степанов.

— Нечего делать!... Еду, — отвечал Герсфельд.

— Значит уж тò дело швах?

— Швах, — отвечал Герсфельд.

— Эка право! Да что ж ты прозевал?

— Прозевал!

— К ней не пойдешь?

— Не знаю...

Степанов понял, что ничего не добьешься, и ушел, ломая голову над тем, — какая бы причина... Ревность ли какая, ссора, или она ему разнравилась, или вовсе не нравилась, или она отказала ему? Он был чрезвычайно рад, что Додó прислала за ним, и надеялся узнать от нее что-нибудь толком.

Когда он поразил ее словами: «он едет!» и когда она приподнялась, опять села и разом сделала несколько трепетных вопросов, Степанов догадался, что без его ведома свершилось многое, но до какой степени они дошли — определить он, конечно, не мог.

— Когда он едет?

— Не знаю. Должно быть, послезавтра. Он, кажется, на вас сердит. Он сказал, не знаю... пойду ли я с ней проститься... Вы мне позволяете быть откровенным?

— Ах, ради Бога! Прошу вас! Ради Бога!

— Он хотел на вас жениться. Он говорил мне это перед моим отъездом. Я знаю, что вы оба старались от меня что-то скрыть, но я догадывался обо всем. Уже одно то, что он почти не говорил об вас после моего возвращения... Вы, верно, затронули как-нибудь его самолюбие. Он этого не простит никогда...

— Вы думаете? Что же делать? Послушайте, вы видите теперь все... Я невольно показала вам, что я его люблю. Рассказывать долго... Ведь вы меня не выдадите... Поезжайте к нему, уговорите его от себя остаться, приехать ко мне, скажите от себя... от себя, смотрите! Скажите, что я люблю его...

— Лучше бы вы, Авдотья Петровна, написали ему сами. Меня он не послушает... Клянусь Богом, — не послушает...

— Прошу вас! Попробуйте.

— Извольте... я попробую.

Степанов уже был в зале, когда Додо́ догнала его.

— А если все это кончится ничем, неужели вы захотите прибавить стыд к моему несчастию? Вы расскажете кому-нибудь?

— Авдотья Петровна! — сказал Степанов, вспыхнув. — Я разве что... что я! животное?! Ах, чорт возьми!

В пылу своего чувства Степанов обратился вдруг к образу и, перекрестившись, воскликнул:

— Вот вам что! Извольте... матерью и чем хотите, честью!

— Ну, поезжайте, поезжайте...

Убеждения Степанова не повели ни к чему.

— Послушай, она ведь без ума от тебя...

— Ну вот!

— Да поверь мне..

— Не верю, — отвечал Герсфельд, смеясь довольно натурально.

— Да она сама...

— Полно тебе во всех принимать участие; точно моя тетка Констанция! Та вечно во всем участвует. Вот, если ты хочешь доказать мне свою дружбу, поедем сейчас обедать к Шевалье; потом сыграем на бильярде немного где-нибудь, потом в театр. Сегодня на маленьком театре какой-то забавный французский вздор. Потом опять к Шевалье ужинать и простимся. Завтра после обеда отходит мой мальпост.

Степанов не умел противиться Герсфельду, когда тот был весел и любезен. Они пропали на весь день, и Додо́ не знала ничего о результате ходатайств Степанова.

— Вот еще одному доверилась! Боже мой! Когда ж ты наконец прекратишь мою несчастную жизнь!.. И все без пользы! что других спасает, то меня губит. Какая я несчастная, какая я низкая и противная!

Дочь ее пришла было с ней поболтать и пошалить, но Додо́ сказала ей: «Ангел мой! прошу тебя — ступай... оставь меня одну... прошу тебя, ангел мой!...»

Девочка несколько огорченная ушла, а Додо́ не обедала в этот день и, желая сократить время до возвращения Степанова с ответом, легла на диван и старалась напрасно заснуть. Тогда она встала и, подойдя к окну, увидала, что на улице весело блестят фонари, что сани, кареты и пешеходы мелькают туда и сюда; ей показалось невозможным сидеть дома... Она спросила у горничной салоп и шляпку. Горничная изумилась, зная, что лошадей не велено было закладывать, и спросила, кому из людей она прикажет себя проводить.

— Никого не нужно... я хочу одна... Пошли поскорее за извощиком... за каким-нибудь!

Извощика привели, и она, уже отъехав несколько от своего крыльца, на которое провожали ее люди, сказала ему, куда надо ехать.

Герсфельд только что воротился от Шевалье и, чрезвычайно грустный, курил, сидя на диване, в ожидании театра, когда она вдруг вошла.

— Это вы? — сказал он, с живостью подходя к ней.

— Я! Я! простите мне! я все это нарочно делала... Это все глупости... Это совсем не я! Я не такая...

— Сядьте, сядьте... здесь у печки. Вы озябли, — сказал Герсфельд, сажая ее заботливо в кресла и снимая с нее шляпку. — Ах, да, Степанов как бы не пришел! — прибавил он.

Он выбежал в прихожую и велел человеку отказывать всем, даже и Степанову, и запереть дверь.

Она сидела, как во сне... Смелый поступок ее, радость, которую он обнаружил, незнание, чем все это кончится... Как все стремилось, мелькало одно за другим в возбужденной душе!

— Простите мне, — начал он, вернувшись к ней, — простите... я не понял вас.

— Что же мне было делать, скажите? я боялась, что вы меня разлюбите. Я хотела выйти из своего характера...

— Напрасно, напрасно! Он милее других. По крайней мере для меня. Дайте мне вашу руку.

— Я приготовила было вам письмо, но мне вдруг захотелось к вам... Возьмите; прочтите его после... я не могу теперь так сказать...

Герсфельд взял письмо и, заметив в эту минуту, что она приехала без калош, испугался и, схватив ее ноги, стал их греть в своих руках.

Они не могли более объясняться на этот раз и говорили, смеясь как старые друзья, о ненужном теперь отъезде его, о том, как скучен брат княгини; Додо́ рассматривала его квартиру. Так прошло около часу; надо было расстаться.

— Вот что мы сделаем, — предложил Герсфельд, — я провожу вас домой, шагах в 50 от вашего дома выйду из саней, пройдусь два раза по улице и приду к вам; так что людям вашим и в голову не придет что мы приехали вместе.

— Пожалуй. Да к чему это? Завтра они все будут знать, что я была у вас. Разве ваш человек не знал меня?

— Это правда, — отвечал Герсфельд.

И они уехали вместе.

Через полчаса Степанов завернул к Герсфельду и узнал от его слуги, что барин уехал куда-то с графиней, которая сама здесь была.

— Эге! — сказал Степанов и поехал во французский театр один, где и хохотал до упада часа три, а потом отправился в переулок около Софийки, где жила знакомая ему цветочница.

Увидавши в зале маленькую Наташу, Герсфельд поцаловал ее и спросил у нее: «будет ли она любить его, если он женится на его матери?»

— Пожалуй, — отвечала Наташа, — правда это, мама, что он на тебе женится?

— Не знаю, — сказала Додо́, — это как он хочет.

— Я хочу, — возразил Герсфельд, — да вот не знаю, что скажет твоя мама.

— Мама, ты хочешь за него. — Скажи же!

— Если ему очень хочется, я согласна. Только ведь надо тебе будет у него руку цаловать, когда он будет твой отец.

Наташа взяла руку Герсфельда и, посмотревши на нее, сказала:

— Ничего! можно; — у него руки всегда чисты. А это правда мама, что ты за него пойдешь и белое платье наденешь?

— Надену.

— А он что наденет?

— Я надену белый галстух и фрак...

— Ах, мамка! Какие вы оба будете смешные! — заключила Наташа, с восторгом вешаясь на мать.

Их обвенчали, когда кончился пост.

На свадьбе была Катя, была и Лиза, до сих пор убежденная, что ее теория отпора составила счастие Додо́; был старый граф; Степанов служил шафером Герсфельду, а брат княгини, несколько изумленный, держал венец над невестой, которой щоки горели от волнения и которая еще раз напомнила всем в этот день, что любовь и блаженство даже не так красивых могут делать прекрасными.

Когда молодые остались вдвоем в гостиной, проводивши немногочисленных гостей, Герсфельд заметил, что жена его сильно утомлена. Движимый внезапным чувством нежности, он взял ее на руки и понес через темные комнаты в спальню. В этих темных комнатах, она решилась сказать ему слово, казавшееся лишним при огне; тем более, что она еще не говорила ему до тех пор «ты».

— Будем ли мы счастливы, как ты думаешь?

— Надо доказать, Дуня, — отвечал он, — что и мыслящие и болевшие душою люди могут жить, а не одни эти скучные, светлые и спокойные натуры. Надо надеяться, что во всяком случае мы не опошлимся. Только прошу тебя, Дуня, не стыдись вперед своей уступчивости и слабости... Быть может, я не всегда буду любезен. Я знаю, мой нрав не совсем приятен... но ты не стыдись уступчивости; она идет к твоей милой душе... вот точно так, как это белое платье к твоей смуглой коже.

Она не отвечала ему ни слова, но как она была рада, что он догадался назвать ее «Дунею», тем самым именем, которым звал ее когда-то незабвенный, благодушный отец.

1860 года.

ПОДЛИПКИ

(Записки Владиміра Ладнева)

РОМАН В ТРЕХ ЧАСТЯХ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Никогда, может быть, не собрался бы я исполнить обещанное — написать вам что-нибудь о моей прошлой жизни, о детстве моем и первых годах молодости...

Но сегодня, Бог знает почему, проснулся я рано... встал и подошел к окну...

Если бы вы знали, какая томящая тоска охватила мою душу! На дворе чуть брезжилось; окно мое было в сад, и за ночь выпал молодой снег, покрыл куртины и сырые сучья. Если вы никогда не видали первого снега в деревне, на липах, и яблонях *вашего* сада, то вы едва ли поймете то глубокое чувство одиночества, которое наполнило мою душу!

Долго глядел я в окно — вот все, что я могу еще сказать об этом утре; а потом взял перо и решился исполнить обещание...

С чего начать?

Вы знаете, я теперь в той самой деревне, о которой я вам говорил столько раз.

Никто не хвалил ее местоположения. Оно не живописно; но если б вы когда-нибудь зимою вздумали пронестись на тройке по нашим полям, то верно заметили бы частую рощу, подступившую вплоть к пустынной почтовой дороге;

может быть, если бы это было утром, увидали бы вы над голыми вершинами осин и берез струйки синеватого гостеприимного дыма... Попробуйте тогда завернуть в рощу; посмотрите по бокам дороги на этот лесной снег, никем не тронутый, кроме зайца; посмотрите на узоры, которые он начертил, на мелкий и аккуратный след ласочки, ходившей на добычу этой ночью...

Слышите, уж несется к вам по морозному воздуху, полному сверкающих пылинок, несется манящий к жилью дымный запах... Ближе, ближе... Вот забытый двор, по которому ходит только рыжий старик-ключник и то по одной и той же вековой тропинке. Вот розовый дом с дикими ставнями, осененный тремя елями, вечно зелеными и вечно мрачными великанами; а там, на той стороне клен, роскошь нашей растительности: теперь вы его не отличите от другого дерева, но летом он вешает крайний сук, обремененный листьями, на старую гонтовую крышу. Направо за ракитами небольшой пруд, летом покрытый густою плесенью, а теперь занесенный снегом почти наравне с краями.

Смотрите, как дым бодро и дружно подымается изо всех крестьянских труб... Звуков мало: лай собаки да скрип колеса на колодце под рукой девушки, разрумяненной зимним утром.

Не думайте, однако, что деревня эта всегда грустна, как в нынешнее утро. Нет, мало я знал деревень, в которых бы летнее солнце освещало такую уютную зеленую и мирную красоту!

Особливо при покойной тетушке, Марье Николаевне Солнцевой, было очень хорошо у нас в Подлипках.

Тетушка была богатая и бездетная вдова-генеральша; полгода жила она в деревне, полгода в Москве, где у нее был собственный дом.

Я приходился одним из прямых наследников ее с тех пор, как не стало у меня ни отца, ни матери; другие наследники были: сначала дядя, потом его сын, который служил уже в Петербурге, когда мне было всего 18 лет.

Я рос у тетушки с того дня, как отец мой поручил меня ей, уезжая на польскую войну. Он там был ранен и возвратясь недолго жил.

Тетушка была полна, ходила мало, да и то согнувшись, хотя сложения была далеко не слабого. Всегда была серьезна, но без малейшей суровости. Ни разу не случилось мне видеть у нее гневных глаз или сдвинутых бровей, но зато и улыбку хранила она для торжественных случаев.

Зимой, даже и в деревне, она носила шолковые темноватые капоты и большие чепцы с густой оборкой вокруг, а в жаркое время каждый день меняла белые блузы, под которыми так и гремели крахмальные юбки.

В хозяйство она много не входила; особливо в полевое (для этого у нее был прикащик из своих крепостных), но не терпела нечистоты в доме и саду и многим в жизни усадьбы своей интересовалась. В Петровки, например, когда наставала веселая пора сенокоса и барщина сбиралась в сад трусить под окнами сено, тетушка садилась к открытому окошку почти на целый день и наблюдала за работой и за нарядами баб, которые в наших краях на сенокос одеваются как на праздник.

— Ах, ты матушки! — восклицала она, обращаясь к своей компаньонке и нисколько не меняясь в лице при восклицании, — Ольга Ивановна, посмотри, ma chère... Какой Парашка надела платок! Это ей брат подарил... брат из Алтаева...

— Почему же вы думаете, что это брат? Может быть, муж? Это гораздо натуральнее, — возражает Ольга Ивановна и, достав лорнет, смотрит в сад. — Может быть, муж! — повторяет она, окидывая взорами Парашкина мужа. — Посмотрите, какое у него прекрасное лицо!

— Он такой грубый! — говорит тетушка. — Где ему, ma chère! Это брат; я знаю наверное, что брат ей купил... В запрошлое воскресенье Февроньюшка говорила мне, что видела самого Павла на торгу. Платок, говорит, купил парчевой, алый с золотом. Парашка, а Парашка! поди сюда!

Парашка подходит и кланяется.

— Здравствуй, мать моя; кто тебе платок дал? Ишь вырядилась как!

Парашка хохочет, закрывая рот рукой, на которой блестят серебряные и медные кольца.

Тетушка ждет; но Ольга Ивановна принимает суровый вид.

— Прасковья! ты глупа, — замечает она. — Хохот тут не у места. Ты должна отвечать барыне на вопрос. Ты не дитя!

Парашка смущена.

— Э! ma chère, pourquoi? — шепчет тетушка. — Парашка, да скажи же, матушка, кто тебе это дал?

— О-о! да брат же! — восклицает Парашка игриво, откидываясь назад и снова поднимая руку к лицу.

Парашка отпущена, и тетушка торжествует.

— Я говорила ведь, что брат! Февронья выдумывать не станет... С какой ей стати!

— Il est très riche! — прибавляет тетушка помолчав и совсем другим голосом.

Но больше всего на свете тетушка любила сказки. Каждое послеобеда ложилась она на диван и задремать иначе не могла, как под звуки какого-нибудь рассказа. На ночь делалось то же непременно.

Во время моего детства была у нее для этого Аленушка — сухорукая, сорокалетняя горничная, худая, бледная, с красным носом и очень строгой нравственности. Аленушка была очень добра ко мне, и я сам не раз наслаждался ее красноречием по зимним сумеркам, когда она грелась, сидя на лежанке в угловой комнате, в той самой любимой моей комнате, которую звали еще с дедовских пор диванной и где я теперь устроил себе кабинет. В самом деле, комната эта всегда весела: в полдень нет светлее ее во всем доме, потому что окна ее прямо на юг, а зимним вечером, бывало в старину, затапливалась в ней печка, наполнявшая ее таинственно колыхающимся сияньем. Сиянье боролось с мглой надворья, и все предметы

скоро получали смешанный, прыгающий, волшебно-одушевленный вид. Тогда Алена оставляла чулок, который она вязала очень искусно, не сгибая засохшей руки, надевала синюю кацавейку с беличьим мехом и садилась на лежанку, где и болтала ногами до тех пор, пока жар не сгонял ее долой. Тут-то я, бывало, прибегал к ней и требовал сумерничанья, то есть потрясающих душу рассказов.

Особенно помню я одну сказку про *Кривду и Правду*, которую рассказывала мне Аленушка, как Кривда жила и жила Правда. Правда была добрая женщина, а Кривда злая. Правда была бедна и, нуждаясь в хлебе, просила его у злой женщины. Та ее накормила, но за каждый ломоть выкалывала ей по глазу. Однако это не принесло никакой пользы завистнице, потому что один прекрасный царевич, гуляя с меньшими братьями ночью в лесу, нашел Правду на сосне (она слепа не знала, куда деться), приходил с той ночи сам мазать ей глаза три утра сряду росой, возвратил ей зрение и потом женился на ней.

Когда же Кривда вздумала тоже выколоть себе глаза и забраться на дерево, надеясь на меньших царевичей, то судьба наказала ее: царевичи посмеялись над нею, и она умерла с голоду в лесу, где тело ее растерзали волки.

Одно только обстоятельство в этой сказке затрудняло мое воображение.

— Аленушка! — спрашивал я, — и ей ужасно страшно было на сосне?

— Уж конечно, голубчик мой, страсти не обралась!..

— А как же, Аленушка, этот принц женился на ней? Она ведь была простая женщина, ты говоришь?

— Что ж, мой голубчик, что простая? Она была лицом красавица!..

— А ты зачем же говоришь, что она женщина и бедная? Я думал, что она такая, как странница Авдотья Васильевна, в чорном платочке с белыми пятнышками... Женщины всегда в платках ходят...

И долго преследовала меня мысль о старухе, сидящей на сосне. Подойдешь, бывало, к окну, поднимешь стору, чтобы взглянуть в сад — а тут как нарочно такая темнота и большие ели у входа близехонько от дома.

Тем более мне все это памятно, что тетушка очень часто спрашивала меня поутру, *что̀ я видел во сне*, и когда я отвечал, что̀ приходилось, тетушка обыкновенно говаривала:

— А я видела во сне, что мой нос сидит на сосне, а твой хохочет, туда же хочет...

С Аленушкой я расстался на одиннадцатом году, когда покойный дядя Петр Николаевич взял меня к себе. Он был тогда вице-губернатором в одном из восточных городов и хотел приготовить меня к университету под собственным надзором.

Возвратился я по семнадцатому году. Аленушка без меня умерла, а тетушка, всплакнув об ней, заменила ее молодым парикмахером, вернувшимся из ученья, парикмахером и по наружности — красивым брюнетом, с завитыми висками. Он всегда описывал похождения Ивана-царевича, который женился на лягушке, оттого что, выстрелив из лука, попал в болото, а оттуда вышла волшебница (или, по словам Платошки, волфа) в виде лягушки, со стрелой во рту.

Кроме того, тетушка без меня взяла компаньонку, Ольгу Ивановну Петрову, очень ученую девушку и пианистку. Но об ней подробно я скажу вам после. Все заведено у нас было по-старому: не красить яйца к Пасхе, не перечистить всю мебель, образа и весь дом в Чистый четверк было невозможно. В день святителя Мокия приходили священники служить молебен от града, и тетушка, в белой кофте, в белой мантилье с оборками, молилась горячо на водосвятии, и после шли мы и народ за нами в поле и у межевых столбиков закапывали стекляночки со святой водою в землю. Как блистали ризы священников тогда на дворе, у колодца, как сверкали образа и кички наших баб, которых я почти всех знал поименно! Как празднично раз-

дувались оборки тетушки, и мантилья ее тогда надувалась как парус, если набегал ветерок! Она кланялась в землю, когда диакон молил «о благорастворении воздуха и об изобилии плодов земных»...

И я думал тогда о благорастворении голубого воздуха и тоже кланялся в землю.

Я никогда не мог подъезжать к этой деревне без волнения, и теперь ничтò здесь не утратило для меня смысла; но сила ощущений моих ослабела от времени и повторений. Мухи по-прежнему спят зимой между двумя пыльными обломками стекла в окне маленькой комнаты около залы, в которой я прежде всегда ночевал. Печки, камин и душники все те же; все так же в одной комнате на антресолях клочками висят обои и видны обнаженные бревна стены с сучками и жилами. Была пора, когда я мог час и два сидеть в этой комнате и разговаривать с воображаемыми соседями, которых имения раскидывались кругом. Разные жолтые пятна дерева на ободранной стене были для меня и имения их, и планы имений, на которых кружки сучков обозначали дома.

Фамилию соседей производил я от формы пятна. Одно, например, напоминало мне чудовище, которое я видел в мифологической книжке, то самое, чтò испугало лошадей Ипполита; владетель пятна поэтому звался Зверев; другой был Колоколов, третий Сковородкин. Любимый же мой, не знаю почему, звался Ныков. Лицо его я никогда вообразить не мог, но беседовал с ним много. Тогда я был семейный человек: у меня было 40 детей; дочери: Орангутанушка, Заира, Фрезочка, которая утонула однажды в Ганге, Ольга, Надя и много других. Сыновья все были военные, один только был статский. Имя его было Дюсюк; я терпеть не мог его гражданской фигуры и куклу, соответственную этому представлению (она была в чорном фраке и привезена была самой тетушкой из Москвы), бросил в камин. Тетушка схватила ее щипцами и сказала: «за чтò ж ты это бедного Дюсюка швырнул?» До какой степени мне стало жаль Дюсюка, до какой степени жаль тетушки, обиженной в его лице, до какой

степени меня еще долго после этого грызло раскаяние — я передать не могу.

Куда ни обернусь я, везде дышит передо мной предание, или собственная память оживляет все. Заверну я за ворота и посмотрю налево, на пруд, покрытый снегом — там над сухой вершиной, в которую переходит пруд, стоит нагнутый столетний дуб, разодранный пополам. Одна половина его разодралась и упала в ров в то время, когда еще мне было семь лет, не от грозы и не от ветра, а в самый жаркий, тихий июльский полдень... Какой величественный гром огласил нашу тихую усадьбу... Как долго мы ходили смотреть на эту упавшую половину и думали, подбегая под дуб: что̀, если бы мы были здесь в то время, когда он упал? Вот на поле перед усадьбой высокий вяз. Говорят, что надо смотреть в полдень на тень его и рыть в том месте, где она кончается. Тут, говорят, зарыт огромный клад; но никто не трогал его.

В большом саду нашем, которым мы гордились перед всей окрестностью, много липовых и старых березовых аллей. В липовых хорошо, когда жарко, а в самой длинной из березовых аллей, когда осенью шумит ветер и гонится за мной, вдруг вырастая на верхушках, я слышу в этом шуме всякий раз много знакомого, много особенного, чего я не слышу в ветре других деревьев и чего не могу теперь выразить вам...

В саду есть также посредине круглой сажалки курган. С курганом этим связано кровавое предание. Владелец, у которого покойный тетушкин муж купил Подлипки, был суров и самовластен. Он заставил обратить болото в круглую сажалку и насыпать курган. Крестьянам показалось трудно, и некоторые убежали. Вскоре после этого он был задушен в постели.

Я долго не верил, что такое страшное дело могло случиться в наших Подлипках.

Курган теперь покрыт высокими деревьями клена; сажалка обросла по берегам лозником, а на вершине кургана стоит памятник из дикого камня с вазой наверху. На нем

написано: «Праху друзей», и около него девицы, жившие прежде в Подлипках, хоронили своих собак, котят и птиц.

Не сердитесь за эти описания, не думайте, что я хочу хвалить одиночество. Нет, мое временное одиночество случайно и незлобно. Все, что̀ двигалось и дышало здесь, плакало и веселилось — дорого мне, и о людях-то, о прежнем многолюдстве я хочу вам говорить гораздо больше, чем о самом себе.

Прощайте, до другого раза. Мне хочется рассказать вам историю моей первой любви. Страсть в ней длилась недолго, всего дней пять; но это было первое истинное чувство в моей жизни.

II

Лет десять назад я был студентом первого курса и сбирался к лету домой.

Приехали за мной свои лошади с тарантасом и пришло письмо от тетушки.

Оно было писано не ее рукой; почерк казался почти детским, но ошибок попадалось не слишком много.

После разных ласковых названий, после поручений, советов, просьб не задерживать лошадей, следовала приписка.

«Маленький секретарик мой тебе кланяется — Паша, отца Василия покойного дочь; ты ее верно помнишь. Она помнит тебя и говорит, что ты ее раз хотел было совсем притузить; такой всегда был турухтан-повеса, а я совсем стала слепа: все она мне пишет. Цалую тебя, душа моя. Да хранит тебя Мать Пресвятая Богородица. Тетка и друг твой

Марья Солнцева

P. S. Не забудь, ветрогон, хороших гвоздей купить».

Я очень был рад, что в Подлипках есть новая молодая девушка. Ей должно было быть 17-ть. В детстве она была

недурна, бледна, опрятна, ходила всегда коротко остриженная и носила сетку. Отца ее я также забыть не мог.

Он был у нас приходским священником и духовником всей нашей семьи. Я помню его высокий рост, худое, бледное, кроткое лицо, белокурые кудри и мелкие морщины на лбу — от привычки часто, задумываясь, поднимать брови.

Помню также, как приезжал он по великопостным вечерам служить у нас всенощную. Собиралась семья в длинную белую залу, освещенную только на одном конце церковными свечами, и что̀ за томительный восторг охватывал мою душу, когда высокий отец Василий, наполнив залу кадильным дымом, сквозь который из угла блистали наши образа, начинал звучным, густым, возрастающим голосом: «Се жених грядет во полунощи!» Тогда я, бывало, кланялся в землю, и мне, поверите ли, казалось, что в самом деле идет откуда-то таинственный Божественный жених среди ночи... Раскрытая дверь темного коридора, глубокое молчание всех других комнат... самый ландшафт в огне, освещенный месяцем, зимний сад, полосы тени от деревьев по снегу, пустынная, обнаженная аллея, пропадающая за недоступными сугробами, и таинственная мысль о безлюдности огромных полей...

Из родных кто̀ молится усердно на коленях, а кто̀, прислонясь к стене, вполголоса поет за священником; сзади люди громко кладут поклоны, вздыхая...

Еще помню отца Василия в минуту моих тогдашних исповедей, когда я, наклонившись под эпитрахиль его, от которой всегда так хорошо пахло ладаном, слушал, как он отпускал мои грехи и прибавлял иногда, погладив меня по голове широкой, но чистой рукой: «Иди! Бог с тобой... Душа-то, я знаю, у тебя добрая!»

Отец Василий тогда не был еще стар, лет 47 всего, а умер он, когда мне был 14-й год, около самых Петровок, не знаю от какой болезни.

Тетушка, Марья Николаевна Солнцева, которая уважала его глубоко, говорила мне, что за несколько часов до смерти он велел себя вынести на кровати в пчельник, который страстно любил.

Я сам помню, как он описывал немного книжным языком любимых животных своих, утверждая, между прочим, с улыбкой, что матка столько же похожа на девицу, сколько трутень на мужичка.

Рассказывали тоже у нас о женитьбе отца Василия. Обыкновенной рассказчицей была сама тетушка, которая всякий раз (хотя бы в 20-й!) почтительно наклоняла голову, как будто сам отец Василий стоял перед ней в ту минуту.

Еще семинаристом влюбился он в свою Анну Ефимовну. Дочь богатого городского протопопа и слышать не хотела о деревенской жизни, о платке вместо чепца. Она привыкла ходить в барские и чиновничьи дома, не работать и ни о чем не хлопотать; но скромный и красивый блондин играл хорошо на скрипке, был покорен и очень понравился ей, несмотря на длинный оливковый сюртук. Она соглашалась идти за него с тем только условием, что он наденет фрак гражданского чиновника.

Увлеченный любовью, молодой человек решился взять на себя грех обмана; он дал ей слово быть *светским*, женился — и через несколько месяцев после женитьбы посвятил себя духовному званию. Он тяжко заплатил всей жизнью за эту женитьбу и за первые сладкие минуты: Анна Ефимовна терзала и грызла его.

— Представь себе, дружок мой, — говорила еще не так давно покойная тетушка, — представь себе, как он хорошо чувствовал свой грех. Бывало, придет такой убитый, что Боже упаси; начнем дружески его уговаривать. Конечно, я догадывалась, что его эта негодная баба беспокоит. «Нет, говорит, Марья Николаевна, я согрешил перед Господом и благодарю небесную милость Его, что Он в этой жизни меня наказует, а не в той... В этом я Его милосердие вижу». Да ведь вы, Василий Иваныч, посвятились? скажешь; так нет, mon cher, ни за что! «Не должно было жениться мне на ней, обманывать; она не к такой жизни была воспитана». Видишь, какой был? Такую тонкость вдруг скажет, что и не найдешься отвечать ни за какие блага в міре. Я уже старалась всегда ей дарить и

ситцы, и материи, и домашнюю провизию, чтоб она не ершилась на него. Он-то сам такой труженик был; сначала и пахал сам, и косил, и все. После я уж, ты знаешь, освободила его от этого. Возможное ли дело — прямо с поля в церковь? С зари человек над сохой, едва руки успеет помыть: разве с такими мыслями он должен приступать! Бывало, сам каялся мне вначале, пока я не назначила ему всю провизию, что во время службы у него иной раз и то и се на уме, когда видит туча на небе заходит, или что еще. А эта такая скверная женщина! Колотовка такая!

Анна Ефимовна подлинно была настоящая колотовка. Не знаю, что нашел в ней отец Василий; быть может, вначале она была мила и привлекательна; теперь же просто ненавистна: круглое, красное лицо, наглые глаза, кружева на чепце развеваются, и, ко всему, несносная страсть к болтовне, кривому употреблению выражений, наворованных из дворянского словаря, и сплетни, сплетни без конца... И все пронзительным голосом. Иногда скажет бессмысленную фразу, а улыбка плутовская. Паша, еще шестилетний ребенок, приходит жаловаться, что младший брат отнял у нее сахар.

— Ах, мой друг! какая обязанность! — возражает мать кротким голосом, а сама под столом грубо толкает ребенка рукою в грудь.

А то вдруг остервенится...

В тот приезд мой к тетушке, которым я начинаю историю наших отношений с Пашей, тетушка имела неосторожность полушутя пожаловаться попадье на Пашу за то, что она мало стала читать с весны.

Анна Ефимовна как завизжит вдруг: «Ах ты, тварь негодная! Ах ты наказание Божие за грехи мои! Ты должна, тварь ты этакая, помнить, что их превосходительство, можно сказать, тебя балуют! Что ты такое? Сирота, голь, тварь и т. п.». Тетушка даже совсем растерялась: сидит и катает в комок носовой платок.

С 11-ти до 20-ти лет прошло столько времени, передумано было столько, что об отце Василии почти никогда и не

вспоминалось; но теперь, думая о Паше, я вспомнил и о нем с большим чувством. Вероятно, не для всех он был тем, чем был для меня. Другие его знали ближе, были старше меня, когда он был жив, могли подметить что-нибудь. Я даже нарочно выспрашивал, но ничего дурного про него не узнал. Он служил хорошо, к крестьянам был, говорят, добр, не бранил их, как другой сосед наш, отец Семен, не бил крестом по лицу, когда мужики прикладывались толпою (одно только я заметил еще ребенком: пока мы прикладывались, он держал крест обеими руками и наклонялся немного вперед, а когда начинали подходить крестьяне, он выпрямлялся и спокойно держал крест в одной руке). Никогда не слыхал я от него про крестьян того, что̀ говорит отец Афанасий, тоже соседний священник: «Мужик-бестия; с ним держи ухо востро!» Одним словом, до меня не дошло об нем ничего дурного.

Паша с малолетства считалась умницей в детском смысле. Тетушка несколько привязалась к ней с тех пор, как была без меня больна горячкой.

Удивительно, что в самом деле девятилетний ребенок так хорошо умел угодить ей всем: и лекарство вовремя подавала, и завязывала что нужно (только всего раз и толковали ей). Тетушка пришла наконец в память и стала скучать, лежа в постели; тогда Паша вздумала плясать перед нею и рассказывала сказки, когда сухорукая Аленушка была занята или отдыхала.

Когда же, во время моей жизни у дяди, скончалась Аленушка, и тетушке надоела лягушка со стрелой во рту, которую бросил Платошкин искатель приключений, Паша была приглашена на постоянное житье в дом, и ей назначено было особое жалованье из инбирного киевского варенья, постилы и смоквы, да сверх того по четыре платья в год — все за ежедневные рассказы или громкое чтение, когда Ольга Ивановна была нездорова или занята.

Паша читала порядочно и стала через год читать хорошо; читала старушке газеты, анекдоты Балакирева и путешествие ко святым местам.

Постилы и смоквы отпускала тетушка для Паши исправно, но инбирного варенья так она и не добилась.

Каждую субботу тетушка ходила, согнувшись, в конторку, приказывая Паше идти за собой. Паша так и думала, что вот-вот велит Марья Николаевна достать банку. Нет и нет! Заговорит сейчас о другом, велит влезть на лестницу, счесть, сколько сахарных голов на третьей полке, начнет рассматривать гнездо в уксусной бутыли, или пошлет за горничной, чтоб счистила с окна паутину, и долго бранит ее и обещает настукать дурацкий лоб за то, что забыла для этого прийти, когда раз навсегда приказано приходить в субботу. Девка заплачет и пойдет, а тетушка долго смотрит вслед и на другой же день подарит ей ситцу или шерстяной платок, прикажет только не модничать, а поступать по-старинному, т. е. носить его по будням наизнанку. Та благодарит, тетушка грозится в следующий раз непременно настукать лоб и, обратившись к кому-нибудь из нас, заметит серьезно: «C'est une très bonne fille!»

А у Паши все-таки нет инбирного варенья!

Паша поселилась в первый раз в Подлипках через полтора года после моего отъезда к дяде, а по возвращении моем оттуда, когда мне было уже 17 лет, я опять не застал ее. Родная тетка Паши, губернская чиновница, взяла 15-летнюю девушку к себе, в надежде выдать ее выгодно замуж как только созреет; но это не удалось, и Паша опять у нас.

Все это я, сбираясь домой, припоминал с удовольствием и уж спрашивал себя — понравлюсь ли я ей, или нет? Надеялся понравиться. Нравиться нужно всем женщинам. Что за жизнь без этого?!

III

В этот год Вознесенье пришлось поздно.

Сторона наша глухая и соседей у нас мало; однако прежде, когда дом был оживленнее, на Вознесенье у нас всегда бывали гости; в это же лето никто к нам не ездил, кроме отставного капитана Копьева и его дочери, Фев-

роньюшки. Да и они не ездили, а ходили, потому что Лобаново, в котором у них домик, крытый соломой, и четыре двора — всего полторы версты от Подлипок. Их никто у нас и не считал гостями. У капитана, кроме фуражки с красным околышем да седых усов, подбритых до половины, ничего нет воинственного. Трудно удержаться от улыбки, когда он вдруг, точно проснется, сделает страшные глаза и сейчас же опять успокоится, или когда он, рассказывая, уставится на вас и скажет: «Что вы смеетесь — ей-Богу право так!» Февроньюшка никогда не имела телесной молодости: всегда была желта, нос луковицей и на висках примазаны колечки; но молодость сердца она хранит до сих пор и готова всегда хохотать до слез от вздора; но теперь ее смех неприятно действует на меня; из людей, с которыми она в старину смеялась, стольких нет на свете, стольких судьба разбросала в разные стороны, стольких душевно разъединила — а она все та же!

Мы ездили в коляске шестериком к обедне в то село, где жили родные Паши, и привезли ее с собой.

После обеда крестили кукушку.

Вы едва ли знаете, что̀ значит крестить кукушку. У нас в Подлипках, в старину, каждый год крестили ее в день Вознесенья после обеда. Соберутся все дворовые и пойдут в рощу, к орешнику. Здесь тогда было много молодых березок (теперь они уже высоки), а в тени позднее, к середине лета, расцветает лиловый цвет кукушкиных слезок; около Вознесенья едва видны листья из земли, но после, возрастая, они покрываются чорными пятнами, заслужившими название слез.

Я не знаю, откуда взялся этот обычай. Мужчины остаются почти всегда около опушки; кто-нибудь из них готовит небольшой костер для яичницы, которую надо жарить, а девушки и женщины бегут в рощу искать корешок кукушки. Корешок этот беловатый: у него есть обыкновенно две длинные ножки и другие придатки покороче. Если в толпе женщин есть беременные, они загадывают на этом корешке, что̀ будет у них, мальчик или девочка.

Корешок с небольшими листьями найден, все бегут назад и, одевши корень в юбку из куска ситца или кисеи, вешают его под сводом двух молодых березок, согнутых и связанных между собою верхушками. На куклу надевают крест, а на березки накидывают большой платок, под которым должны цаловаться кум с кумой три раза.

Я рассказал, кто была Паша и почему ее присутствие в Подлипках занимало меня. Характер ее мне самому не совсем ясен. Кажется, в ней было много нежности и добродушной чувственности. Я помню, бывало, тетушка влачится чрез девичью или через угольную комнату, в которой Паша вышивала. Паша, если и не занята, то привстанет чуть-чуть, нéхотя, и сделает жалобное лицо. Это очень шло к ней. Ростом она была невелика, увальчива и бледна, но бледностью свежей, той бледностью, которая часто предшествует полному расцвету. Иногда, побегавши, поспавши, сконфузившись или просто пообедавши, она чуть-чуть зарумянивалась. Волоса у нее были светлые как лен или как волоса деревенских детей, улыбка мирная, взгляд жалобный, усталый.

Развернуться ей было негде, или, скорее, она была из тех созданий, которым суждено быть поэтическими только в пору расцветания, которым не дано никаких особых сил на украшение зрелых годов. Я знаю наверное, что она была нежна душою. Я не говорю о себе — что̀ за диво быть нежной к юноше, который понравился! Но с Февроньюшкой капитановой связывала ее тесная дружба; она часто уходила в Лобаново: не раз сиживала на коленях у Февроньюшки и ласкалась к ней, объясняя мне после, что Февроньюшка ее ужасно любит и ужасно за нее боится.

Впечатление, оставшееся мне от нее, так летуче и быстротечно, что я едва ли слажу с словами. Вот что разве для дополнения портрета...

Однажды, гораздо спустя, уезжал я часу в 8-м утра с деревенского свадебного бала, довольно веселого, как видите — он длился до полного восхода солнечного. Случилось это летом, и утро было росистое. Крестьяне уже ра-

ботали в полях там и сям; кучер мой остановился что-то поправить верстах в трех от места праздника, а я кстати вышел из тарантаса, чтоб надеть пальто вместо фрака и лечь спать поспокойнее. Незнакомый мне помещичий сад выходил редкой березовой аллеей, частоколом и канавой на пустынную дорогу. Взглянув нечаянно на глину канавы, я заметил стелющуюся ветку с белыми цветами, похожими формой на садовые belles de nuit. Машинально, лениво, сам не зная зачем, нагнулся я, сорвал цветок и понюхал. Белые цветки были чуть подернуты розовым внутри и пахли слегка горьким миндалем, разливая и кругом этот запах на несколько шагов... Я тотчас же вспомнил Пашу: она мелькнула тоже на заре моей молодости без резких следов, но подарила меня несколькими днями самой чистой, самой глубокой неги и тоски.

Я вместе с людьми пришел пешком в рощу крестить кукушку, а тетушка приехала в четырехколесном кабриолете.

Очень мне хотелось попасть в кумовья Паше, но я стыдился. Тетушка помогла мне. Она совсем не хотела, чтоб мне пришлось Бог знает кого держать за руку и Бог знает с кем цаловаться.

У нас был в комнате казачок, ровесник мне. И у него и всей семьи его была на руках такая толстая кожа, что ее отмыть совсем было невозможно. С детства и потом у него всегда трескалась эта кожа. Тетушка, когда еще мне было лет десять, смотрела раз, как люди водили хоровод. Я хотел участвовать, и она не запретила мне, только закричала девушкам: «Смотрите, чтоб Гаврюшка не брал его за руки!»

Подобное чувство, вероятно, заставило ее теперь скомандовать: «В первой паре Володя и Паша». Мы стали и крестили кукушку.

После этого пели песни, съели яичницу и вернулись домой.

За ужином Паша, потупив глаза, сидела около меня, и мне было и приятно и неловко.

IV

Недели две прошли после этого без всяких перемен. Первая радость остыла, и бездействие начало томить меня.

Что̀ же наконец, буду ли я любим, или нет? И когда я буду любим, и скоро ли, и кем?

Что делает Паша?

Паша вышивает одна в диванной. И вот я у пяльцев.

— Правда это, Паша, что ты скоро уедешь?

— Маменька хочет меня опять к тетеньке увезти.

— Зачем?

— Не знаю. Маменька скучает одна ездить.

— Это скверно. Пожалуй тебя отдадут там за какого-нибудь противного замуж. А я бы еще раз хотел бы тебя поцаловать, как тогда под платком. Я, кажется, влюбился в тебя...

Паша покраснела и молчала.

В эту минуту вошел мой камердинер Андрей, и я отскочил от пяльцев.

— Экие вы прыткие, погляжу я на вас! — заметил он, погладив усы. — А Ольги Ивановны здесь нет?

— Ты видишь, что нет.

Однако Ольга Ивановна пришла и вовсе помешала мне продолжать.

Дня два после того не было случая наедине поговорить с Пашей.

По утрам я иногда немного занимался. Я пробовал переводить кой-что прозой из Шиллера назло одному зрелому московскому знакомому, который уверял меня, что в 20 лет невозможно понять ни Шиллера, ни Гете.

Возвышая себя этими трудами перед строгими вопросами, которые задавало мне мое же самолюбие, я немного отводил душу, слишком полную нетерпения для однообразия окружающего ее быта. Человеку, понимающему Шиллера, казалось, можно было извинить многое.

Немецкая поэзия, к несчастию, действовала на меня в 20 лет точно так, как в 17 и ранее набожность, внушенная

теткой. Бывало, помолишься усердно, постоишь у ранней обедни, попостишься, положишь поутру несколько земных поклонов, сочтешь себя квитом с совестью и ободришься после этого до того, что нагрубишь кому-нибудь, или разругаешь слугу, или даже побьешь какого-нибудь мальчишку.

Тетушка с Ольгой Ивановной собиралась ехать в гости за 10 верст, а я переводил «Der Abend» из Шиллера. Тетушка уехала, и я уже кончил перевод.

Час, должно быть, был 9-й в исходе, когда я решился взбежать наверх, пользуясь тем, что люди ужинали. Сначала я в темноте не мог ничего разобрать. Паша перевесилась на окне, отворенном в сад, и была прикрыта занавеской. Когда я отыскал ее и молча обнял одною рукою, другою облокотясь около нее, она сказала: «А тетенька верно скоро уж будет?»

— Какой вздор! Она ночует там.

— Мне она ничего не сказала.

— Ночует.

Вроде этого был весь разговор. Еще помолчав, я поцаловал ее в лоб; но милая девушка сама протянула мне губы и, улыбнувшись чуть видной в темноте улыбкой, спросила:

— А что, если б Ольга Ивановна увидала? — И вслед за этим поцаловала меня так крепко, что я вышел из себя.

Я просил ее прийти на садовый балкон, когда все улягутся. Боясь ее обидеть, я прибавил, помнится, что ночь будет месячная, что мы только посидим, погуляем и поговорим.

Паша согласилась.

Вы, может быть, не поверите, что вечер был лунный, однако было так... Я встретился с нею еще раза два до ночи.

Я оставил ее в первый раз наверху и долго ходил по двору взад и вперед. О чем я тогда думал, не знаю, но, вспоминая свою беспокойную ходьбу, полагаю, что недоумение боролось во мне с надеждой. Однако она еще пре-

жде срока сошла на заднее крыльцо и, севши на ступеньки так, что розовый длинный фартук ее был виден издали, стала петь...

Я продолжал ходить и слушать, пока она не удалилась.

После, когда уже пробило половина 11-го в зале, я был готов сойти, потому что лег на постель в сапогах и халате.

Я вышел, перешагнул через Федьку, который ночевал в хорошие ночи на переднем крыльце, и пробрался в сад к балкону.

Паши не было, но над навесом балкона было открыто окно в спальне Ольги Ивановны, и я ждал недолго.

Паша сперва повисла на окне, посмеялась тихонько оттуда, сделала какие-то знаки и, скрывшись, скоро явилась из-под сирени сбоку.

— Откуда это ты?

— В лазейку пролезла, около заднего крыльца.

— А чрез калитку отчего не прошла?

— Как можно! У калитки Егор Иваныч спит — знаете, на чем он спит?

— На чем?

— На щиту на соломенном.

— Так что ж?

— Так это я говорю... Где ж мы сядем? На балконе я боюсь, — продолжала Паша, — пойдемте на траву за балкон.

На траве было очень сыро, и крапивы набилось много в углу, между балконом, концом стены и сиренью.

Мы хотели сидеть долго и спокойно. Паша вспомнила о щите, который лежит иногда для караульщиков на балконе.

Мы его взяли и, разостлав его, сели в сыром углу, на который из-за высоких груш светил полный месяц.

Мы много целовались и говорили о житейском.

Паша жаловалась на мать.

— Она всегда бранит меня. Господи Боже мой! И что это я сделала ей? Вот тятенька, когда еще был жив, так очень любил меня.

Мне не хотелось жалеть Пашу, потому что *хотелось не любить ее*, а повеселиться с ней. Я спешил переменить разговор, и время до часу ночи прошло в переливании из пустого в порожнее. Да мне все равно было, о чем ни говорить. Даже, чем дальше от нас предмет разговора, тем лучше, правдивее и свободнее.

Дело было не в том, чтоб говорить о любви, которой нет, о наших чувствах, для которых язык у нас был разный: дело было в том, чтоб сесть поближе друг к другу, чтоб завернуть ее в халат, чтобы она не озябла, гладить по ее чуть-чуть пушистой руке, по щекам, по волосам, причесанным за уши; надо было целовать друг друга в губы, долго, не переводя дыхания.

Я хвалил ее невинную прическу, ее глаза; она говорила, что этот чорный фланелевый халат с кистями идет ко мне, упрекала, зачем остриг волосы, и тому подобное.

Пора и спать, однако!

Повторения этой ночи не было.

Тетушка, во-первых, после уже не отлучалась никуда. Паша спала с Ольгой Ивановной; я было и предложил ей раз ночную прогулку, но она и слышать не хотела о такой смелости. Иногда пройдешь мимо нее, тронешь ее тихонько — она улыбнется и не скажет ни слова. Впоследствии я узнал, что чувством можно было довести ее до всего, но мне не говорилось тогда страстно.

В таких отношениях прошли еще недели две, и я, возбужденный препятствиями, стал думать не шутя о том, как бы обольстить ее.

Вы, конечно, не думаете, что сердце мое к двадцати годам было, как белый лист бумаги. Изо всех девушек, которые мне нравились в старину, Паша более всех неразлучна с Подлипками: здесь я встретил ее, здесь и расстался с ней.

Но я не могу сделать шага без оглядки. Я не могу продолжать о Паше, пока не скажу о неизвестной вам Софье Ржевской... О Софье Ржевской не могу говорить, не сказавши ни слова о домашних наших девицах. Самое

наслаждение тишиною Подлипок в лето моего сближения с Пашей не имело бы смысла, если б перед этим не было множества мелких бурь. Прощайте! Теперь ночью все страшно молчит в вымершем доме...

V

Я еще не в силах рассказывать вам все по порядку, а писать хочется; самые воспоминания мои идут не так, как дело шло в жизни, а следуют за моими настоящими размышлениями и путаются с ними. То помню я себя как бы в глубокой мгле... Ни дома, ни деревьев не вижу перед собою, а только перила балкона и на балконе трех девушек. Я же — должно быть, еще очень маленький — вхожу на этот балкон и пускаю изо рта пузыри. Лиц этих девушек я не помню в ту минуту, но пестрый ситец одной мне знаком — дикий, с красными узорами.

Девушки вскрикивают и приказывают мне оставить неопрятное занятие пузырями. И на все снова задергивается завеса... Потом улыбается мне свежий молодой родственник в коричневой венгерке — улыбается, а на него ласково прыгает борзая собака... Двор вокруг зеленеет, солнце блестит, собака весело лает; корыто с кормом около меня, и молодой родственник манит меня рукой: «Володя, Володя»... И снова тотчас за этим призывом закрылась жизнь, разверзшаяся на минуту перед непрочными детскими чувствами.

Молодой родственник, хотя ходил в коричневой венгерке тогда, но на самом деле был военный, офицер путей сообщения, и слыл за благонравнейшего человека в нашей семье; удивительно клеил он коробки, корзинки, рамки, прекрасно рисовал акварелью, еще лучше служил, а всего дороже было для меня то, что первые памятные дни мои украшены его снисходительной лаской. Еще будучи в Петербурге кадетом, хаживал он к нам по воскресеньям в отпуск (тетушка в старину способна была и в Петербурге

провести зиму!), и хотя для меня все еще было очень смутно кругом, но Сережа был ясен. Он любил сидеть за столиком у окна и рисовать по моей просьбе карандашом разные виды. То корабль плывет по океану; а я смотрю через борт вместе с тетушкой Марьей Николаевной — матросов мы не рисовали; а навстречу нам из Подлипок едет лодка, и в лодке Олинька, Верочка и Клашенька, наши барышни, сухорукая Аленушка, и ключник Егор Иванович гребет... Случалось, что на берегу моря мыла прачка белье, а по небу сверкал зигзаг молнии и мчались облака; другой раз изображался большой дом, корпус, жилище Сережи, и Сережа у окна; от Подлипок к нему шла длинная аллея, и по аллее ехали мы с тетушкой в коляске; а над зданием парил огромный орел, унося ягненка... Подобных рисунков было много; не знаю, куда они делись. Сережа, в знак дружбы ко мне, на всех свободных местах — например, на столбах ворот, на краях крыш, на притолках дверей, на борте корабля, на парусах и флагах — надписывал мелкими буквами: *Володя, Володя, Володя.*

Сообразив время, я вижу, что кадет предшествовал коричневой венгерке, а человек был все тот же. В свою очередь, коричневая венгерка была только временной оболочкой, и скоро настал веселый день, когда с утра съехались в Подлипки гости; с утра, надев замшевую перчатку на правую руку, завивался Сережа горячими щипцами в два кока перед маленьким зеркалом на антресолях; а я, не отходя от него, любовался на лицо его то так, то в зеркало. Небольшого роста был наш Сережа, но строен; почти брюнет, но бел. Лет десять спустя я нашел, что он всегда был похож на тех алебастровых девиц с розовыми щеками, которых продают в лавках; прибавьте только чуть пробившиеся темные усы, два кока, один небольшой, другой совершенно à la coque marine, да мундир с известными отличиями путейской формы — вот Сережа-жених. Но тогда он был мил для меня, и его радость меня радовала. Едва выпущенный из корпуса, приехал он к нам и гостил более

года. Он по-старому продолжал рисовать для меня все на свете. Воображение мое требовало пищи, и он насыщал его.

Воображение было у меня всегда необузданное. Мадам Бонне́, старая моя гувернантка, поддерживала его деятельность географическими занятиями, рассказами о путешествиях Кука и других, картинками детских музеев, где гигантские каракатицы низвергали корабли, львы боролись с колонистами, райские птицы распускали жолтые хвосты и т. п., более же всего «Вечерними беседами в хижине» Дюкре-Дюмениля. Все вырастало тогда вокруг меня: камин, топившийся в зале, был для меня горящим древним за́мком, зала — огромной пустынею, душники печей — отверстиями ада, а члены сборной семьи нашей и знакомые — мифологическими богами, с которыми я познакомился по одной французской книжке. Эта книжка принадлежала мадам Бонне́: я знал, что картинки в ней были плохи, грации были гораздо хуже наших деревенских девок, с которыми случалось мне кататься с горы на масляница, а Юпитер с бородой нисколько не величественнее Егора Ивановича. Текст был зато приятен: «qui etait Vulcain?» — следовал ответ...

Все читанное и слышанное старался я воплотить в окружающем меня. Таким образом Палемон, отец «Вечерних бесед», слился у меня в одно с старым лесником Пахомом, который издавна жил за садом в молодой роще, поднимавшейся на прежних порубках. Патриархального в нем было достаточно: седая борода, клюка, избушка крошечная, на крошечной лужайке в глуби орешника; одного я не понимал: ка̀к мог Палемон, или Пахом, при такой жизни драться на шпагах; а в книжке сказано, что он дрался, если я не ошибаюсь?..

Однажды переделывали залу; половицы были подняты, изображая для меня глубокие пропасти. Едва мужики уходили обедать, как я уже прокрадывался туда и, отстегнув с гвоздя угол старого плетеного ковра, которым была забита дверь из мрачного коридора в волшебную пустыню,

шел твердой ногою искать руду в неизвестных горах. Часто случалось, что я не признавал своих умерших родителей и уверял, что мать моя была американская царица, что мы ехали с ней в колеснице по берегу моря; лошади понесли — мы упали, меня унес орел, но потом уронил в море; здесь я, как Иона, был проглочен китом и, наконец, выброшенный им на берег Испании, попал, как воспитанник, в Подлипки.

Нужно было найти приложение и для мифологии. Кроме душников — отверстий ада, были у меня другие соображения: высокий толстый сосед Бек, приезжавший к нам на Святой и даривший мне всегда яйцо, раскрашенное разными ситцами, стал Юпитером; Юноной была сама тетушка; Сережа — то Марсом, то Аполлоном; мадам Бонне́ была Минервой, а бледная, стройная Олинька — Венерой.

Надо сказать, что последнюю считали у нас чем-то напоминающим резец Фидия. С течением времени, когда своенравные требования личного вкуса заговорили во мне сильнее, такие лица перестали нравиться мне; но в детстве я любил эту картинную девушку, высокую и тонкую, с природною восковой бледностью строгого лица, с томным и скромным взглядом, в бедном ситцевом платье, танцующую гавот перед заезжим танцмейстером.

Но надо поскорее покончить историю свадьбы Аполлона и Венеры.

Оба кока завиты, талия в рюмочку. Я сбегаю вниз. В угловой комнате, в той самой, где пылала по вечерам печка и звучала с лежанки чародейка Аленушка, вижу таинственно полурастворенную дверь, и эта щель обличает особый род приготовлений, не виданный мною никогда. Боже! что за прелесть! Балдахин не балдахин кисейный, оборки не оборки; розовый цвет белья... Стараюсь вспомнить, что̀ пришло мне в голову тогда, и не могу; кажется — я удивился: «зечем же это вместе? неужели не стыдно?»

Гостей было немного, и я не помню их лиц; но из смутного представления движущихся фигур мне ясно виден воздушный образ небогатой невесты в белом платье с чорной бархаткой на шее. Доримедонт с усами докладывает

что-то; все шумят. Тетушка три раза входит и уходит в разных чепцах и даже все боком, потому что коридорная дверь узка, а чепцы широки. Первый чепец огромен, и лиловые ленты стоят во все стороны. Вероятно, ей сказал кто-нибудь, что цвет слишком печален, только она в другой раз вошла с оранжевыми лентами, опять ушла и вернулась с белыми.

Все гудит в прихожей; белый призрак наклоняется ко мне и горячо целует меня; лицо мое омочено ее слезами. Все умолкает... Тетушка сидит одна у окошка на высоком вольтеровском кресле, играя табакеркой, и не отводит глаз от окна. У ног ее, на скамейке, Федотка-дурак в оливковом сюртуке и белом галстухе пилит что-то задумчиво на скрипке, а я, схватив обломок сабли, в исступлении ношусь и воюю по зале.

Еще виден мне, после, угол жолтой комнаты, ряд стульев, молодая в розовом капоте на одном из них и Сережа в вицмундире, целующий ее руку. Вечером Аленушка кладет меня в постель; я долго слышу звук органа и смутные возгласы родных, веселящихся в больших комнатах.

Удивительная была парочка! Они уехали скоро; но долго еще после этого хранились в душе моей их примерные личности. Жил я у дяди потом, возвращался к тетушке, рос, учился — но все в неприкосновенной чистоте сохранялось вокруг меня предание о достоинствах этой четы, выпущенной на жизненное поприще из благодетельных Подлипок. Вот их простая история, собранная из разных источников. Инженер наш приехал в отпуск, влюбился и посватался. Тетушка написала письмо к дяде; дядя написал к какому-то генералу; генерал достал место Сереже. Тетушка не ограничилась этим: она сшила Олиньке подвенечное платье из кисеи, купленной еще прежде у разнощика, подарила ей бархатку на шею; другие знакомые дали вуаль. Тетушка колебалась, говорят, несколько, сшить ли наволочки с оборками, или нет, и вообще приготовлять ли все, что следует, в том розовом виде, в каком предстала

мне таинственная спальня из полурастворенных дверей; но приезд дяди Петра Николаевича поправляет все дело. Приезд этот я помню. За несколько дней до описанных мною свадебных картин на дворе уже было темно; я, помолясь Богу, ложился спать под надзором Аленушки, как вдруг дверь растворилась и кто-то сказал: «Петр Николаич приехал!» Аленушка, стоявшая на коленях перед моею кроватью, вскочила. В других комнатах поднялась беготня. Мигом я одет и бегу в зал. По зале идет дядя в косматом чорном пальто, а тетушка ведет его под руку в гостиную; другие беспорядочно толпятся сзади и спереди, но кто и как — не помню.

Дядя — лицо немаловажное: он был у нас представителем всего того, что̀ могло пробуждать в Подлипках честолюбие; он был начало всякого блеска, золота, крестов, родни московской, вороных шестериков, запряженных в карету (не нашей чета!)... Взгляд открытый и строгий, легкая лысина на благородном лбу и завитки слегка седеющих темных волос; георгиевский крест всегда на модном статском платье, а в случае парада — мундир военный и целый ряд отличий на груди; белые большие руки и благоухание от волос, одежды, даже от гладко выбритой щеки, которую он мне и на этот раз, как всегда, нагнувшись подставил. На заднем плане его жизни виднелись толпы турок в чалмах и кривые сабли, рубящие головы наших солдат.

Эй, казак, не рвися к бою,
Делибаш на всем скаку
Срежет саблей кривою
С плеч удалую башку!..

Голова у него была разрублена в одном месте; левая рука прострелена; в груди две раны. Когда тетушка, всегда экономная, покупала у разнощиков стираксу для куренья и на коробке, чтобы указать на восточное происхождение аромата, было изображено и подписано: «Стражение между семью турками и двумя казаками», я вспоминал о грез-

ном и вместе милостивом родственнике. Впереди несчастный мусульманин, верхом, в зеленой чалме, хватался за бок, пронзенный пикой воинственного Дона; другой турок лежал ничком на земле; от третьего остались только куски: там рука, там голова, там нога в туфлях торчали из дыма, обвившего двух главных бойцов. Подальше за холмами рубился против четырех маленьких неприятелей маленький казак, а горизонт замыкался рядом елей, в которых воображение мое привыкло подозревать дядю с полком: он спешил выручить героев. Сама тетушка имела в спальне своей прекрасный абажур с раздирающими военными сценами — но здесь уже гибли бедные французы в медвежьих шапках и синих мундирах. Тетушка говорила, что брат сам прислал ей этот абажур из-за границы и, так как он тогда был ранен, то она не могла видеть перед собою кровавых рисунков, которым свет свечи по зимним деревенским вечерам придавал так много выражения.

— Такой сумасшедший! — говорила она, — выдумал, что̀ прислать! Как, бывало, ни погляжу, так дурнота и сделается!

Хотя я никогда не допускал, чтобы тетушка могла упасть навзничь в обморок, потому что она очень плотно стояла на толстых ногах и упорно сгибалась вперед на ходу, но впечатлению абажура сочувствовал.

«Поди-ка, попробуй, — думал я даже гораздо позже Сережиной свадьбы, — поди-ка! Ведь это здесь, в зале, легко рубиться или анбар брать приступом; а как настоящий турок? Вот человек-то дядя!»

Он недавно еще представлялся государю и разговаривал с ним. В Подлипках шептали, говоря о нем; ему отводилась лучшая комната. На столе камердинер раскладывал тысячи туалетных безделушек: серебряные коробочки, хрустальные и пестрые баночки, щотки в богатой оправе, перед которыми жалки и нечисты становились складное зеркальцо, роговой гребень и старая щотка бедного Сережи!

«Уж не он ли Марс-то?» — подумал я однажды.

И Сережа был раз навсегда разжалован в Аполлоны.

Так как Грецию я тогда знал по словам мадам Бонне́ и Гомера не читал еще, то и не знал, что у него Марс прост и Минерва его бьет... Минерва, ученая женщина — мадам Бонне́. При ее накладке, при лице ее, блестящем и сморщенном как те моченые яблоки, которые по вечерам подавал нам Доримедонт, — можно ли было поверить, что она бьет воинственного Петра Николаевича? Поди, сообрази все это!..

С приездом дяди дело свадебное приняло иной оборот, и при нем тетушка не смела отказаться от приличных издержек.

В каретном сарае, от которого теперь остались одни кирпичные столбы, была у нас простая крашеная бричка. Ее выкатили к пруду, и кучер мыл и сушил ее. Потом подвезли ее к крыльцу, и молодые влезли в нее с немногочисленными пожитками и горничной девочкой. Плакали ли они или радовались — не знаю, но, говорят, тетушка дала им двести рублей да дядя триста ассигнациями — вот и все!

Загремела бричка по двору, свистнул Агафошка: «ну, ворочайся!»; и мигом скрылись надолго-надолго за стрижеными акациями изгороди мои дорогие мифологические существа! Десять лет не видал я их потом — десять лет для меня, ребенка!

Они жили в трехстах верстах от нас и не приезжали ни разу. Олинька раза три в год писала тетушке, иногда вспоминая и меня. Тетушка сначала всякий раз сокрушалась о бедности их, сделала им широкое одеяло из разных ситцевых лоскутков, все шестиугольниками, раза три посылала им по сто рублей ассигнациями, а потом стала радоваться, что они поправились... да так поправились, что тетушке прислали, зная ее религиозность, из серебряной проволоки красивыми цветами выделанную лампаду к образам ее спальни. Тетушка заплакала и сказала мне:

— Вот видишь, Володя, что̀ значит, мой голубчик, воспитание хорошее. Посмотри, голубчик, какая лампадка — это он, конечно, трудами рук своих приобрел. Да!

— Что же они, ma tante, разбогатели?

— Он место имеет хорошее; к начальству был почтителен, искателен был, трудолюбив — я всегда старалась внушить ему набожность. Отец его был большой приятель моему покойнику, они вместе служили — они ведь троюродные братья были, на одной квартире жили и все делили между собой. Видишь, мой друг, все награждает Бог в правосудии Своем. Кто к Нему прибегнет, тому всегда хорошо. Я помню, раз, кадетом еще оскоромился он в Страстную — уж я ему голову-то мыла, мыла!.. Скромный, почтительный был мальчик! «Что, батюшка, стервятинки покушал?» А он: «ах, ma tante! я понимаю свой грех; поверьте, это в последний раз!» И сам плачет в три ручья. Вот ему Бог и послал. А кто не верует, тому одно наказанье и в этой жизни бывает и в той. Помнишь ты, у дяди Петра Николаича, в Троицком, на антресолях есть портрет — красивый такой мужчина, с большим жабо... такое лицо... (тетушка сделала такое лицо). Помнишь?

— Помню.

— Это был граф Кораваев. Что же ты думаешь? Этот человек имел все от Бога: и красоту, и богатство, и жена у него была красавица... Ведь нет, подгадил-таки, поехал в Париж, начитался Вольтера и вернулся таким безбожником, что ужас. Во́лос, бывало, дыбом становится, как он начнет говорить. Мой муж сам читал Вольтера: бывало, сидит вот в этих креслах и читает. Il aimait la lecture. У него были всегда прекрасные пеньковые трубки, и он курил на кресле и нарочно читал Вольтера — почитает, почитает и вдруг вскрикнет: «Ах, какая скотина!» Непоколебимой был веры человек!.. А тот ничего священного не знал: перед причастием кофе со сливками пил; в церковь и калачом не заманишь ни за что! Как же он кончил, ты думаешь? Жена у него умерла давно, он жил в Москве. Домина у него огромный был около Арбата. Только вот у него стали делаться какие-то припадки: вдруг упадет в обморок и трепещется весь, и пена у рта — просто ужас! Вот дворецкий, его фаворит, и вздумал одну странницу привести отчитывать его...

Она клала ладонку небольшую на грудь больным и молилась, и, говорят, всегда помогало. Сколько раз она приходила, не знаю; только, видишь, дворецкий, как он станет приходить в себя, сейчас и уведет странницу: боялся его. Стало ему лучше; вдруг он и увидал ее — не успела уйти. «Это что такое?» — закричал. «Вон, говорит, побродягу отсюда! я, говорит, покажу вам!..» и понес ахинею. Ну, что ж? Сделался с ним обморок раз, упал лицом вниз да об стол подбородком — язык прикусил. Люди все разбежались, кто за лекарем, а кто от страха. Мой покойник как нарочно входит к нему... Представь себе, мой друг, язык до того распух и вытянулся изо рта синий, что он так и задохся. Глаза налились, смотрят на мужа, а сказать ни слова не может. Тот бегом с лестницы и без содрогания вспомнить не мог... Вот тебе пример!..

Сережа озарился в моих глазах новым светом благонравия. Недоставало только видеть его блаженство в настоящем; но и на это представились случаи.

Однажды в Москве, семнадцати лет, я скучал один после обеда, как вдруг вошел в комнату военный деньщик, спросил, я ли Владимір Александрович Ладнев, и подал мне записку.

Вот она:

«Если вы не забыли ваших родных, бывших для вас когда-то Аполлоном и Венерой, то приходите к нам сегодня на стакан чая, в шесть часов вечера. Мы стоим в такой-то гостинице; в 17-ом номере. Жена моя ждет вас с нетерпением... Ваш Сергей Ковалев».

Бегу, бегу в 17-й номер — шестой час насилу пришел! Любопытство отнимает у меня ноги; я беру извощика и скачу.

Это свидание не показало мне ничего особенного. Мы обнялись, улыбались друг другу с Сергеем Павловичем; он говорил, что я вырос; я говорил, что он ничуть не постарел.

Олинька по-прежнему хороша отвлеченно, но уже совершенно не в моем вкусе. Прошло десять лет: ей было двадцать семь, ему двадцать девять — в самой поре!..

Шестилетняя дочка показалась мне слишком жирна и скучна; номер не совсем опрятен; открытые погребцы и ящики, разбросанное платье, посуда где попало... чай плохой, но прием радушный. Чтобы не отвечать сухостью на изъявления их родственных чувств, я принялся говорить о прошедшем детстве, о Подлипках, полагая, что это будет приятно им. Самовар шипел; дочка дремала на скверном диване; Сережа курил трубку и слушал, как я рассказываю. Олинька прервала меня вопросом:

— А что тетенька? все такая же скупая?

Я с изумлением взглянул на бледную нимфу. Где же эта глубокая, нравственно-религиозная связь между благодетельницей и восхваляемой ею четой? Разве может близкий нам человек быть скуп, зол и т. п.? Или, если так, так пусть он не будет близким отныне. Стоит ли говорить о нем? Вот благодарность!

— Чем же тетушка скупа? — спросил я.

— Ну уж так скупа, как нельзя хуже, — сказал Сережа, — хорошо она нас отпустила тогда! Я скажу при ней (*он указал на жену*), что не будь ее прекрасный характер, я бы с ума сошел. Ведь у нас ни ложки не было, ни чайника — ничего ровно. Я должен был ходить на службу на другой конец города по морозу, по слякоти, по дождю; возишься там целое утро, а придешь домой — перекусить нечего!..

Олинька тихо засмеялась, устремив на меня томные глаза.

— Я, знаешь, всегда старалась все ему в забавном виде представить... Зачем отчаяваться?.. Он, бывало, придет усталый, злой, а я и представлю ему какую-нибудь штуку, палочкой или щепочкой чай ему мешаю... Он рассмеется. Нет, любовь и хороший, веселый характер не заменишь ничем!

Сергей Павлович взял проснувшуюся дочь на колени и начал ласкать ее; потом присовокупил:

— Конечно, все надо судить по средствам. Тетушка, не забудь, имеет более 1000 душ и в то же время не

выезжала из этих Подлипок. Какие там расходы? Смешно! Ни тебя, ни других наследников она бы не ограбила, если бы помогла нам хорошенько. А тут ребенок родился — каково это!.. То-то... Все эти ханжи так... чорт бы их побрал!

Олинька захохотала.

— Полно, что ты бранишься! — сказала она. — Не все бывают щедры на свете; у всякого свой недостаток. Тетушка все-таки очень добра. Помнишь, она одеяло нам сшила, которым наша Авдотья одевается... Ты смотри, Володя, не скажи тетушке...

Я был смущен. Мне рисовалась бедная, душная квартира в губернском городе, усталый труженик, неопытный отец нового семейства... А там, у нас в Подлипках, большие, чистые и широкие комнаты, цветы, старинная, но прочная и удобная мебель, тетушка с наставлением на устах и спокойным взором, а пуще всего — ящики ее туалета, всегда запертые... Там-то хранились сокровища, достаточные для услаждения жизненной муки двух десятков семей...

О Боже! Как это ново все!..

Отчего эта похвальная жизнь Ковалевых так чужда мне теперь? Родного сердцу уже нет в них ничего!

Грустно покинул я 17-й номер.

Года через три судьба снова сблизила меня с Ковалевыми; но чем ближе подходили они ко мне в действительности, чем живее становились наши ежедневные встречи, тем более немело сердце... Еще год или два, и они для меня не существовали.

VI

Жить мне было хорошо у тетушки. Хотя права наследства после нее я делил с старшим братом моим, с дядей Петром Николаевичем и с его сыном, Петрушей, но я был Веньямином родства. Петрушу, двоюродного брата, Марья Николаевна видела редко; брат мой был уже велик,

двенадцатью годами старше меня, и учился в петербургском корпусе; он занимался порядочно, но часто огорчал тетку своими шалостями, и, сверх того, мать моя, вторая жена покойного отца, была любимой невесткой тетушки. Мать старшего брата была женщина легкомысленная и гордая и, по словам Марьи Николаевны, изменяла мужу.

— Слава Богу, — говорила мне тетушка, когда я уже был большой, — что она подобру-поздорову скоро убралась... Такая пустоголовая бабенка! Она бы мужу года в три шею свернула... Вообрази себе, мой друг, что̀ она сделала: вздумала раз с своим возлюбленным вечером в санях кататься! Уверила твоего отца, что у него жар, уложила в постель, напоила липовым цветом, навалила на него целую медвежью шубу — и была такова: «Не смей вставать без меня; если ты заболеешь, я не перенесу!»

Моя же мать была иного рода, и отец женился на ней, когда ему было уже под сорок лет.

— Он много страдал от раны около того времени, — сказывала Марья Николаевна. — Бывало, сидит в халате на беличьем меху. Куда уже тут с молодой женой! Раз вышла она в газовом платье, вся юбка вышита белым шолком, на голове брильянтовая нить, жемчуги на шее: на бал в Москве собралась. Она была прелесть как хороша! Что ты ее на этом портрете видишь, mon cher? Локоны одни белокурые чего стоили! Бывало в мазурке несется, головку набок, еще девушкой — просто загляденье! Ну, вбежала, платьем шумит, а брат и вздрогнул. «Что̀ ты, говорит, Саша, так шумишь? Если ты хочешь плясать и мужа бросаешь больного, по крайней мере не пугай его». Она сейчас глаза опустила. «Если тебе, говорит, неприятно, я платье сниму и с тобой останусь». Ну, смягчился, знаешь. «Ничего, ангел мой; это я так сказал. Поезжай, дружок, веселись, пока весело». Она чмок его, чмок меня — и помчалась. Брат вздохнул и рукой только показал ей вслед. А я ему говорю: «Помилуй, Александр Николаич, возьми ты ее года в расчет! Разве ты можешь в чем-нибудь ее винить?» — «Ни в чем, ни в чем, — говорит, — кротка, кротка как ангел!» А

сам закашлялся и слезы на глазах. Взял меня за руку... «Маша! Маша! — говорит — хотел бы я с вами еще пожить!» Да нет, через полгода скончался...

Мать моя тоже умерла на руках у тетушки, и всю дружбу свою к отцу и к ней, все свое врожденное чадолюбие, которому, по бездетности ее, не было прямого исхода, обратила она на меня. До десяти лет спал я в ее спальне; сама она заботилась о моей одежде, о моем ученье, насколько умела; учила сама меня читать «Отче наш», «Богородицу» и самую любимую мою молитву, в которой я как бы запросто и детски разговаривал с Богом: «Господи, дай мне счастья, здоровья, ум, память и доброе сердце! Избавь меня от всех болезней и спаси меня от всех бед!»

Володя был кумиром Марьи Николаевны. В большой спальне ее висели портреты всех родных. Акварели, большие портреты в рамах, силуэты: я же был изображен в нескольких видах. Над большим креслом ее парил крылатый херувим без тела: это был я, едва рожденный на свет. В другом месте я в локонах сидел на ковре, в третьем — скакал на деревянной лошадке...

И не она одна — все в доме, если не любили, так по крайней мере баловали меня. Старый буфетчик качал меня на ногах, приговаривая иногда: «чаю, чаю, величаю». Девушки звали меня ангелочком, кавалером и носили меня на руках. Одна из них, которой имя было Паша Потапыч (потому что отец ее был Потапыч), нередко забавляла меня по зимним сумеркам — пела, сидя со мной на плетеном ковре, или рассказывала мне что-нибудь, когда запас Аленушки истощался, или, бегая на четвереньках, представляла волка и так страшно скалила зубы в полумраке, что даже Аленушка, сидя на лежанке, боялась. Никто не смел сгрубить мне или непочтительно со мной обойтись. Когда одну зиму, помню я, выпал такой глубокий снег, что от строения до строения прокапывали ходы, я любил гулять с нянькой и мадам Бонне́ под сенью этих снежных стен; к нам тогда часто выходил ровесник мой, Федька, сын кучера, ставший потом комнатным казачком. Он был

резов и смел, и тащиться сзади за мной ему мало было охоты; но ни мадам Бонне́, ни Аленушка не позволяли ему ни за что забегать вперед, и он только наступал на меня и шептал мне в затылок тихонько: «рысью, барин, рысью!» И я бежал немного рысью. Не только тетушка баловала меня всевозможными подарками и ласками, не только люди, и особенно Аленушка, любили меня, но и мадам Бонне́ вовсе не была строга, несмотря на всю свою храбрость. В храбрости ее я был так уверен, что не боялся ходить с ней в густой орешник, где жил Пахом, или Полемон, в ветхой хижине, где жили Леон, Бенедикт и другие дети «Вечерних бесед». Однажды, когда пьяный кучер опрокинул нашу коляску в промоину, она ни мало не потерялась, схватила меня на руки и, передавая соскочившему слуге, закричала только: «дэти, поскорее дэти!» Эта храбрость мадам Бонне́ в таком опасном случае немного мирила меня с тем, что она Минерва! Минерва эта старалась всячески забавлять меня; часто садилась она к фортепьяно и пела мне премилый романс: молодой негр хочет жениться на белой девушке и говорит ей:

Restez ma toute aimable!
Tournez la tête à moi и т. д.

А потом, под конец:

Va, ma petite reine!
Ne pas toi mettre en peine.
L'ivoire avec l'ebène
Font de jolis bijoux!

Она умела также делать маленькие куклы, не больше полувершка: сами из тряпочек, а ноги из конского волоса. Оденет их по-русски — женщину в сарафан, а мужчину в кафтанчик, откроет фортепьяно, поставит их на внутреннюю доску и заиграет русскую плясовую. Тогда куклы начинают плясать сами собою на доске, а я, уже взволнованный родной музыкой, с жадностью слежу, как налетает мужичок на молодицу, или как она, подпершись руками,

нагоняет его, или как они, загнав друг друга в угол, толкутся там вместе. В эти минуты я любил мадам Бонне́ со всем жаром удовлетворенной созерцательности.

Кроме Олиньки-Венеры, у нас жили еще две девушки, родные сестры. Старшую звали Верочкой, младшую Клашей. Последняя была четырьмя годами старше меня, а Вера шестью. Вера была простая, веселая, полная, белая девушка, которая после, вышедши замуж, родила двенадцать детей. Но еще прежде обвенчались мы с ней в Подлипках в день моих именин 15 июля.

В этот день я всегда был осыпан подарками; во время утреннего чая я сидел в креслах, и вся дворня приходила целовать мою руку. День же нашей свадьбы с Верой был особенно весел и торжествен в тот год, когда мне минуло девять лет. Фаворитка моя, Олинька, уже уехала прошлой осенью, но две оставшиеся девушки смотрели на меня как на существо особое, царственно-избранное. «Царь мой, Бог мой!» — говаривали они, обнимая и целуя мои щоки и руки, особенно старшая; младшая, Клаша, полная, как сестра, но бледная и вялая, была вообще не предприимчива, и я любил ее немного более жолтой Февроши Копьевой, которую прогонял всегда, уверяя, что от нее пахнет рыбой. Вера с утра, в день моих именин, поставила в зале горку и прикрыла ее кисеей. Когда я вбежал, глаза мои прежде всего невольно обратились в ту сторону, где ждали меня сюрпризы. Еще за неделю до этого терзался я вопросами о том, кто что подарит мне. Поздоровавшись с тетушкой, с барышнями и с мадам Бонне́, я подошел к горке и поднял киссею. Чего там не было: и сабля железная с ножнами, и маленькая уточка из синего стекла, наполненная духами, с пробочкой в том месте, где бывает хвост; был и шкапчик вышиною не более $^1/_4$ аршина, а в нем стояли география, грамматика и арифметика, по которым я мог даже учить своих детей (так они были малы); была и табакерка с музыкой, и ружье, и шлем из картона. Было, наконец, небольшое сердце вместо альбома: оно развертывалось звездою, и листья его еще были

белые. Я пошел благодарить всех и всем подносил свой альбом, прося вписать что-нибудь. Тетушка написала: «Я тебя люблю; веди себя хорошо и учись, я тебя еще больше буду любить»; Вера написала розовыми чернилами:

Dors, dors, mon enfant,
Jusqu'a l'age de cent ans.

Клаша по совету сестры:

Je vous aime tendrement,
Aimez moi pareillement.

Сама она ничего не могла придумать. К обеду приехал помещик Бек и сын его, юнкер лет восемнадцати. Я им подал свое сердце. Сын написал:

В глуши богемских диких гор,
Куда и голос человека
Не проникал еще до века!

Отец же черкнул огромными буквами:

«Приношу вам чувствительнейшую благодарность!» После обеда я решился осуществить мои давнишние мысли о семейном быте: я предложил Вере обвенчаться со мной. Она согласилась, и мадам Бонне́, украсив ее голову страусовыми перьями, надела на нее вуаль; мне под куртку через жилет подвязали красный шолковый пояс, вместо генеральской ленты; Клаша нарядилась тоже, и на юнкера надели рисованные кресты и ленту. Нас поставили перед высокой рабочей корзинкой; старик Бек начал читать что-то громко из первой попавшейся книги и водил нас вокруг. После свадьбы начался бал. Так как мадам Бонне́ не умела играть танцев, то Бек предложил свои услуги:

— Дайте мне какую-нибудь книгу, — сказал он.

— Вот «Живописный Карамзин».

— Все равно, — сказал старик, — берите дам.

С этими словами он сел к столу, раскрыл книгу где попало и увидав, что на картине был представлен убийца Святополк, закричал:

— Начинайте! Вальс Святополка окаянного!

— Святопо-олк, Святопо-олк, Святополк-полк-полк.

Я носился в восторге то с Верой, то с Клашей, то с большой кулой.

— Мазурка Мономаха! — командовал Бек. — Мономах-мах-мах!...

Но бал кончился грустно. Музыка «Живописного Карамзина» не удовлетворяла барышень. Скоро они ушли наверх; Бек удалился к тетушке в гостиную, а я, в страшной досаде, ходил по зале и напрасно ждал дам. Наконец, услыхав, что они хохочут наверху, я взбежал туда и начал их бранить. Клаша, которая в этот день была оживленнее обыкновенного, стала передо мной на колени и хотела поцаловать меня; но я, не знаю почему, взбесившись, дал ей пощочину. Клаша ахнула, посмотрела на меня грустно и, отойдя в сторону, заплакала. Вера, погрозившись мне, бросилась утешать ее. Я глядел со стыдом ей вслед, глядел на ее бальный наряд и на руки, которыми она закрыла лицо. Мне стало невыносимо — я убежал в тетушкину спальню, где всегда горела лампада, и заплакал. Ни Вера, ни Клаша ни слова не сказали тетушке.

К счастью, я не был слишком зол: во все время моего детства я хладнокровно сделал только два дурные дела: вымазал лицо Аленушки мылом да, заспорив с Федькой о том, что я все смею сделать, толкнул его в сажалку!

Для игр дали мне сверстницу. Еще мне не было и восьми лет, когда привела с деревни крестьянка двух девочек. Обе девочки плакали и утирали слезы передниками: одна голубым, другая жолтым с красными цветами. Тетушка колебалась с полчаса и выбрала старшую.Тетушка любила, чтоб служанки ее были чисты и красивы, а старшая была красивее. Катюшке было 10 лет.

Я был, верно, тронут появлением нового ребенка в доме и в сумерки посоветовался с тетушкой насчет подарка Катюшке. У меня были две деревянные куклы величиною в $^1/_4$ аршина, которые стали немного рябоваты оттого, что я мыл их в корыте, в котором кормили собак у переднего

крыльца. Куклы эти были мне дочери и звались *Орангутанушка* и *Надя*: они гнулись по всем суставам. Так как в это время меня гораздо больше начинали занимать взятия приступом шалашей, анбаров, битвы на садовых мостиках и на необитаемом острове нашей круглой сажалки, чем куклы, то я и решился отдать обеих дочерей грустной девочке в затрапезном полосатом платье. Тетушка одобрила меня, и когда я, не без смущения, отнес голые куклы в девичью и отдал их Катюшке, все девушки похвалили меня и кукол, а Катюшка отвернулась к окну и угрюмо сказала: «это для Евгешки». Евгения была ее меньшая сестра, и Катю похвалили за доброту.

Кажется, ее никто не обижал; но дикая девочка с бегающими серыми глазами дня через два исчезла. Ее нашли в канаве, верстах в двух от деревни, пожурили ее, пожурили мать и оставили. Но она еще долго никак не могла привыкнуть к хоромной жизни. Тетушка велела сухорукой Аленушке взять ее себе в помощницы, и они вместе ходили за тетушкой. Аленушка уже не раз била ее здоровой рукой за неисправность и отважную небрежность, но она исправлялась туго. То на приказание шить отвечает потягиваясь «не хочется»; то пойдет стлать постель барыне и заснет на ней сама. Ищут, ищут, где Катька — нет Катьки! А Катька спит на барской постели ногами вверх на подушку, а головой к ногам. Отучили от кровати — она стала каждый вечер, убегавшись, засыпать на медведе, на которого ставила тетушка ноги, вставая с постели.

Я тоже повредил ей однажды. Играя с ней во что-то в зале, в сумерки, я стал уверять ее, что неприлично звать господ по имени и отчеству, что они могут счесть это за недостаток любви к ним, а что надо звать тетушку *Маша*, меня *Володя*, барышень, живущих у нас, тоже в этом роде, и она, послушавшись, в тот же вечер принесла одной из воспитанниц орехи кедровые от тетушки и сказала:

— Клашенька! вам прислала Машенька...

Меня хотели наказать без ужина, но простили, а Катя простояла на коленях около часа. Ее взяли осенью, а на

следующее лето она еще была так дика, что убежала на три дня, вот по какому случаю.

Однажды Вера, вставши поутру, не нашла кольца, которое ей было дорого, потому что в нем были замкнуты волосы ее матери. Взыскались, туда-сюда — нигде кольца не видать. Аленушка, которой Катя часто досаждала неисправностью, посоветовала обратить внимание на девчонку, и тетушка разрешила ей допросить ее кротко. Аленушка завела ее в чулан и начала стращать крапивой и розгами. Катя слушала, отнекивалась и наконец была оставлена. Девушки в девичьей продолжали стращать ее, боясь, вероятно, чтоб подозрение не пало на них. В сундуке ее ничего не нашли. Воспользовавшись минутой, когда на нее вовсе не обращали внимания, Катя вышла в сени и, бросившись в сад, пропала. Все были в смятении. Все бросились искать ее.

Настал темный вечер. В роще, которая сурово чернелась за лугом у сада, загорелись и замелькали фонари: люди были и пешие и верховые. А я, исполненный нетерпения и восторга, стоял у садовых ворот с двумя девицами, и все мы не сводили глаз с рощи. Поиски были напрасны в этот вечер. На другие сутки привел ее после обеда лесник из другой рощи, которая исполнена была, по моим тогдашним мыслям, величавой дикости. Большая промоина с боковыми отрогами змеилась по всему ее протяжению. Из этого вертепа привели Катю. Там провела она всю ночь. Мы сидели все на коврах в липовой аллее. Дядя, Петр Николаевич, гостил у нас. Он велел привязать девочку к дереву и стал было кричать на нее, а мы и люди образовали около него почтительный полукруг. Тетушка укрощала дядю и, казалось, была тронута испуганным видом одичалого ребенка. Катя не плакала; опустив голову, стояла она, и глаза ее прыгали; ноги были босы, в пыли и ободраны; руки тоже. Дядя, смягченный ее видом и сострадательными замечаниями тетки и девиц, ласково взял ее за подбородок и долго уговаривал ее признаться.

Катя сказала наконец: «Оно здесь в дупле».

— Так ты взяла? — спросила тетушка.

— Я.

— Куда же ты его дела? где дупло?

— Вот здесь... в том дупле.

Ее развязали, и дядя сам повел ее к дуплу.

В дупле кольца не было.

— Я его повесила на эту ветку. Оно не упало ли?

Все нагнулись и поискали, кольца не было. Тетушка, справедливо думая, что она слишком устала и напугана, велела отвести ее в девичью, обмыть, накормить и успокоить, а потом опять попробовать допросить.

Все было исполнено. Когда Аленушка стала снова склонять ее к признанию и вывела ее на заднее крыльцо, чтобы быть с ней наедине, Катя сказала ей, что прежде она все лгала, а что кольцо спрятано на острове. Алена пошла с ней туда; но едва только поравнялись они с круглой сажалкой, как девочка кинулась в сторону, вихрем понеслась к калитке, отворила ее, через луг, и в рощу!.. Алена давно лежала на куртине, зацепившись за кочку в ту минуту, когда хотела броситься за беглянкой.

Опять волнение. Но с фонарями не поехали, не знаю почему. Один мужик приходил сказать, что видел ее на большой дороге, а куда она шла, не знает. В этот же вечер, вскоре после того, как Катю отвязали от дерева, наши девицы уехали к соседке-вдове, за три версты, к той самой, у которой были накануне пропажи кольца. Соседка шутя сняла с руки Веры кольцо, и, болтая и прогуливаясь, все три забыли об этом и не вспомнили и по возвращении.

Все были поражены, когда во время ужина барышни воротились и объяснили загадку.

— Зачем же эта негодная звезда взяла на себя? — воскликнул дядя Петр Николаевич.

— Очень ее запугали, — возразила тетушка, — глупые девки сказали ей, что ее высекут, если она не признается. Снофиды этакие дурацкие!

На следующее утро часов в восемь отыскал ее лихой казачок наш в крестьянских конопляниках. Он уже гнался

за ней, когда она повернула в конопли. Он влез на овин, увидал ее, спрыгнул и схватил.

Ей не сделали ничего особенного, только остригли косу.

Года через полтора она стала очень опрятной девочкой, весьма заботливой, веселой и услужливой: тогда ей приказано было играть со мной. Особенно ясное впечатление оставили во мне наши игры в длинные зимние и осенние вечера в нашей длинной зале, где пол был так блестящ, а лампы в углах так весело сияли. Тут Катюша строила крепость из стульев по моему указанию; мы мирно и по очереди возили друг друга в тележке, играли в кухню и сражались с неверными. Руководствуясь одной картинкой, которая казалась мне очень изящна (она изображала девочку на столе и мальчика у стола), я сажал ее на стол в темной классной и сам, ставши у стола, целовал ее руки, говоря, что есть такая история. Никто не узнал нашей тайны.

Но больше всего утешала меня Катюша, когда я был слегка болен. Простудишься, положат тебя в спальне у тетушки на постель. Занавески на окнах спущены; в углу золотые образа; перед темными неземными лицами горит лампада; в комнате так много вещей, так тихо, тепло и волшебно. За стенами слышен орга́н, а Катюшка стоит на коленях у кровати моей и говорит мне сказки, или о деревне что-нибудь рассказывает, или задает загадки.

— А угадайте, душенька, что это такое: у нас, у вас поросеночек увяз?

Я молчу.

— Это значит мох. А это: гляжу я в окошко, идет маленький Антошка, — это что? Это дождик.

Зато же и заступался я за нее. Буйный Федька любил ее бить, как попало, где только встретит. Схватит, начнет ей руки назад ломать или просто повалит ее на землю и приговаривает:

— Постой, вот я тебя бахну! постой, вот я тебя тарарахну!

Беда была Федьке, если я заставал его в такую минуту! Так и кинусь сзади его душить, за волосы рву, за

что попало; раз укусил, раз поленом из каминной корзинки по спине ударил. И она между тем оправится, вскочит и на него. Тогда уж он бежит от нас.

VII

Сегодня воскресенье; около полудня я надел дубленку и пошел гулять. Время было тихое и не холодное. Все небо было сплошное серое, и мокрый, крупный снег падал тихо. Я вошел в рощу... Боже! какая тишина! Ни шелеста, ни голоса. Деревья покрыты снегом, и легкий снег не сыпется с них нигде; нигде не видно следов, не слышно жизни! Чем больше прислушивался я, не двигаясь сам, тем величественнее становилось молчание. Я вышел опять на дорогу. Приходской пятиглавой церкви нашей на полдневном горизонте за снегом не было видно, но слышался дальний и тихий благовест. Вдали по дороге между вешками тихо ехал мужичок в дровнях... никаких красок не было в этой широкой картине... Белые поля, белые березы, чорные сучья, темные острова далеких деревень... Только за мною на близких избах и овинах Подлипок солома была желта, да наши неувядаемые ели синелись из саду. Около этой рощи, 20 лет тому назад, в морозный полдень, неслись мы на четырех тройках с колоколами. Сани были полны молодых девушек и женщин; мужчины стояли сзади, лепились на облучках. С хохотом бросались молодые люди на встречных мужиков и опрокидывали их дровни в глубокий снег. Брат мой, гвардеец, был тогда в отпуску, и он-то придумал эту забаву. Бабы кричали, просили или смеялись; но один старый мужичок, одиноко влачившийся, как тот, которого я видел сегодня издали, упал ничком и потом, не сказав ни слова, встал, серьезно поглядел на нас, отряхнулся и продолжал свой путь. Как ни веселились в этот день и в следующие за ним дни, но грустный старик еще не раз лежал ничком передо мною!

Я сказал, что тогда был в отпуску мой покойный брат. Тогда я любил его. При нем я в Подлипках удалялся на второй план: при нем я уже был лицо будничное, шалун, который часто надоедал всем. С тех пор, как я стал себя помнить, брат уже был в корпусе, и мы раза два совершали с тетушкой уже очень давно полуволшебное путешествие в далекий Петербург. Из чорной ночи блестят до сих пор передо мной огни станций с какими-то новыми именами, к которым я тогда жадно прислушивался... Валдай, где приносили колокольчики и баранки; Клин, где вечером под стеклом блистало столько великолепных тульских вещей; Торжок с пестрыми туфлями, ермолками и сапогами; древний Новгород, где жил Рюрик; Померания, Подсолнечная... Какие имена! Фонари у дилижансов, мрачные лица закутанных высоких незнакомых пассажиров — все это нравилось мне, и все это соединялось с мыслью о добром брате, который нас ждет. Днем я помню огромные поля — пустые, болотные, туманные; огромные коряги и пни рядами стояли на них. Не чорные ли чудовища это ждут чего-то на этих полях? Не начнут ли они борьбу? Здесь я вижу их мельком, а в Подлипках осенью слышу их вой... Мы пронеслись мимо... В карете тепло, и в городе ждут нас великолепные дома с огромными окнами, ряды вечерних фонарей, веселая квартира и милый, хотя и мало знакомый брат... Он водил меня гулять, показывал мне картины и дорогие вещи в окнах на Невском; когда он, не боясь мороза, шел по улицам в солдатской шинели, и султан его так высоко качался на кивере; когда он выбегал к нам в приемную корпуса из толпы жужжащих под лампами товарищей или молодецки делал фронт офицерам, я с любящим, робким вниманием следил за каждым его движением, а он обращался тогда со мной осторожно, как с какой-нибудь хрупкой и ценной вещью; внимательно сажал меня к себе на колени, с любопытством рассматривал мои шолковые рубашки, гладил мои кудри большой солдатской рукой и с почти подобострастной веселостью выслушивал все мои рассуждения. Но вот прошло два-три года, и в одну зим-

нюю ночь приехал он в Подлипки гвардейским прапорщиком. Проснувшись утром, вскочил я с постели, наскоро одевшись, выбежал в залу и увидал его за чайным столом. Я был поражен его видом. Молодой, с чуть завитыми небольшими усами, русый, румяный, голубые глаза, так шутливо и лукаво добрый... Вот он сидит передо мной... На нем пестрый казакин с турецкими букетами и с синими бархатными отворотами, вышитая золотом и шелками чорная феска, немного набекрень. Одна рука, лихо изогнувшись, оперлась на ляжку, другая держит длинный чубук с янтарем. Все ожило, все зашевелилось в тихом доме. Вера одевалась по-праздничному с утра, люди охотнее плясали в нарядах на Святках, беспрестанно звучало фортепьяно. Сама тетушка иногда совсем опустит сонные глаза, губа отвиснет, сидит себе в креслах и постукивает табакеркой; но как только брат войдет, так она сейчас откашлянется громко и бодро, как будто ей легче жить станет. Подумаешь, она что-нибудь хочет сказать, но она только выпрямится и посмотрит на брата.

Закипело все! Соседние помещики, полковые, уездные чиновники десятками стали ездить к нам и жили по двое, по трое суток. На дворе мороз, а мы уже с утра летаем на тройках туда и сюда; крик, катанье на горе, веселье, смех, обеды при свечах, звон разбитых бокалов... Вот уже и в окнах темно, хоть глаз выколи, в крайней избе за ракитами догорает огонек, а здесь музыка... Огромный городничий, старик с седым хохлом, дремлет в углу, двигая чубук из одного угла рта в другой; я смотрю на него и не верю, что он бился как лев в 12-м году. Жена его, старуха, улыбаясь, танцует мазурку в белом платье с розовыми бантами; тот гремит каблуками и заставляет дам летать вокруг себя; другой крутит ус и, взявши под руку брата, шепчет ему: «Душа моя, высвиснем вместе!» К обеду идут попарно; тетушка ведет под руку даму в большом чепчике с пунцовыми бархатными лентами. Какой знатной, блестящей дамой казалась тогда эта спутница тетушки! Я долго не мог забыть ее лент; позднее я узнал, что она вовсе не знатна

и даже так дурна, что муж ее в день свадьбы долго ходил в халате по зале и говорил, ударяя себя по лбу рукой: «Боже, чем я Тебя прогневил? какой тяжкий грех совершил?»

Шумно проходят дни; их сменяют другие потише, погрустнее; но в однообразии теплеют чувства. Брат влюбляется в Верочку, Верочка в брата. На лестнице вечером, под конец Святок, вижу я однажды молодого турка в чалме из белой материи; он обнимает на площадке русскую девушку в голубом сарафане; она отвечает ему поцалуями, и долго стоят они неподвижно, обнявшись... Я смотрю сверху, притаив дыхание.

— Ангел мой! душка! — шепчет турок.

— Пусти меня, милый мой, пусти меня...

— Ангел мой, еще раз!

— Еще... вот еще... Вот еще... Ты сам ангел...

А я, легкомысленный профан, я кричу: «Сладкие губки, сладкие губки у Верочки!»

Меня умоляют молчать, дают мне все, что я хочу, конфект, шолковый платок, книжку с картинками. Я молчу дней пять; но вот в одно утро нападает на меня вольнодумство. Брат ходил с трубкой по зале, а Верочка в классной учила меня по-русски и священной истории; я был разговорчив и в книгу мало смотрел.

— А что, Верочка, Бог везде? — спросил я.

— Везде, везде, — отвечала она, грустно покачав головой и подняв глаза к небу.

— И даже в этой коробочке есть?

— Конечно, есть; полно глупости говорить, учись!

— И Он все, все решительно видит?

— Разумеется, все.

— А как брат тебя цаловал, Он это видел?

Вера покраснела.

— Как стыдно! — сказала она, — учись.

— А эту царапинку на руке у меня Он видит? Вот я болячку сковырну, Он и не будет видеть.

Вера с ужасом схватила меня за руку.

— Не трогай, — закричала она, — Бог тебя накажет, и рука отвалится.

Руку я оставил, но просил Веру представить зайчика. Зайчика мы часто представляли. Пока я учился или списывал что-нибудь, Вера иногда рисовала, и, если ей надоест моя грамматика, она возьмет, бывало, тарелку с красками, наведет ее на солнце, светлое пятно начнет мелькать по стенам. Я схвачу тряпку, скомкаю, намочу ее и начну пускать изо всех сил в зайчика; бью в стену и в мебель грязной тряпкой, даже себя в лицо, когда свет попадет на него. А Вера катается со смеху по дивану. Этого-то зайчика требовал я от нее. Но Вера не согласилась и, подозвав меня к карте, стала спрашивать у меня из географии.

— Где Гвадалквивир?

— Ты сама не знаешь; покажи, где Гвадалквивир?

— Вот он, — отвечала Вера и положила всю руку на Испанию.

— Положи еще другую руку; это и я умею!

— Боже мой, что с ним делать? — жалобно сказала Вера, вышла в залу и позвала на помощь брата. Он грозил пожаловаться тетушке, и, когда я отвечал ему: «не смеешь, а то я скажу про лестницу!», брат схватил меня за ухо.

На крик мой все сбежались: тетушка, Аленушка, Клаша, мадам Бонне́, и я все рассказал им... Вообразите вы себе теперь кучу удивленных лиц, аханья, объяснения и спор, слезы Веры, досаду брата и мой собственный стыд!

Еще проходят дни. Тетушка сидит у окна, брат стоит задумчиво у печки, изредка вынимает платок и утирает глаза. На дворе смеркается, и бубенчики гремят у крыльца. Вот еще раз простились; он ничего не сказал мне обидного или сурового, крепко поцаловал и вышел в прихожую. Вот он сел закутанный в повозку; чуть бряцая, съезжает тройка со двора — и брата уж нет.

— Какой он чувствительный! — говорит тетушка Алене. — Вчера ночью пришел ко мне, схватил себя за голову и говорит: «Ка̀к, говорит, я страдаю!»

— Добрая, добрая душа... — отвечает Аленушка.

— Да что ж делать? — продолжает тетушка. — Ведь никак нельзя!

— Нельзя, нельзя, — отвечает Аленушка.

Я желаю узнать, что «нельзя», но меня прогоняют; я ищу Веру. Забившись в темный угол, рыдает она на диване, и около нее плачет меньшая сестра. Я хочу обнять бедную Веру, но она отталкивает меня тихо рукою и говорит так кротко:

— Бог с тобой! Бог с тобой, Володя!.. Это ты все наделал...

Все темнее и темнее в окнах; уже и елей в виду не видать; Вера все плачет в углу.

— Кавалер-барин! — кричит мне Федотка-дурак, махая смычком.

— Сыграй мне барыню, Федотушка; а Федотушка!..

— Барыню? Вот она.

Слушаю барыню, а на сердце так и ноет, так и ноет... От музыки еще хуже. Скорее в постель, и слезы ручьем!

Опять бегут будни за буднями, такие беззаботные, тучные какие-то. Новая весна с первыми вербами, с перистым листом тысячелистника на влажной земле, с молодыми березками в Троицын день; лето с ягодами и грибами; новая осень с визгом невидимых чудовищ в опустошенных полях; зима, мороз и волки где-то вдали. А я расту. Вот уже мне 10 лет; я уже с разбором веду войну. Летом хожу издалека. Сперва я дикий, живу на кургане посреди сажалки и иду на войну; беру шалаш на огороде, беру два мостика через ров и мрачный яблочный сарай. Роздых; там опять за дело. Уже я близко подошел к столице, я вижу — крайнее окно розового дома выглядывает на меня из-за огромной груши. Почти жаль, надо продлить наслаждение. Сперва возьмем сушильню! Кровопролитие ужасно. Красным соком ягод покрыто мое лицо и руки. Пять раз был я отринут, раз или два падал с лестницы; рот у меня заболел от крика, стрельбы и команды... Но еще, еще усилие — и мы ворвались! Женщины, дети и старики молят меня о

пощаде... Пусть молят — я незаметно для самого себя просветился дорогой; я срываю ветвь и в венке, безоружный, выхожу на балкон сушильни говорить речь народу. Я не произношу ни одного звука; но поза, жест и взоры говорят как бы более слов. Весело, гордо и миролюбиво подняв голову, гляжу я на задний дворик, где растет крапива, клохчут индюшки. Глядишь, глядишь — гордость пройдет, голова опустится, сядешь тут же на балконе и задумаешься, что-то будет со мною? Исполнит ли Бог мои молитвы?

Годам к 11-ти я принужден был оставить Подлипки. Дядя Петр Николаевич однажды приехал к нам, и, дня через два после его приезда, меня призвали к тетушке в кабинет. Марья Николаевна плакала.

— Дружок мой, — сказала она, — дядя хочет заняться твоим воспитанием. Благодари его...

— Да, брат Владимир, — прибавил дядя, — пора шалдыбалды бросить! Поезжай-ко со мной...

Что̀ было дальше, не знаю. Знаю только, что память моя сохранила впечатление страха и радости. Тогда ли, в другой ли раз, стоял я у притолки зальных дверей и, быть может, не запомнил бы ничего о тогдашнем состоянии моего духа, если б Вера не сказала кому-то, указывая на меня:

— Посмотрите, какой он хладнокровный и не плачет, как следует мужчине.

Но во мне уже не дремало тщеславие. Я рисовал себе с блаженством, как я живу в губернском городе, как блистаю. Все это было смутно: только одна несбывшаяся картина будущего жива во мне до сих пор. Передо мной театр губернский. Что̀ дают — я не знаю. Да и на что мне это знать? Смешанная прелесть красок, музыка, толпа везде — и под ногами, и рядом, и наверху, как в том цирке, в который возила меня тетушка в Петербурге... В том волшебном цирке я видел Турньера и Нимфу на яркой зелени занавеса, и Пьерро, и Арлекина, и наездницу в голубом платье, которая сверху мне показалась так мила,

что я тут же, бросившись на шею тетушки, объявил ей о своем намерении жениться на этой красавице. Тетушка отвечала: «Ах, батюшки мои, да она урод. Помилуй! красная, толстая девка!» Неясное подобие такой картины носилось передо мной; но больше всего занимало меня то, как я буду одет. На мне будет коричневая куртка или чорная бархатная; волосы в кружок, но не по-русски, а так, как у пажей, молодых рыцарей и принцов, с которыми ознакомили меня la chatte blanche, le chat botté и т. п. Я видел даже, что я то лорнирую кого-то, то склоняюсь к кому-то в ложу и говорю игриво, и все смотрят на меня и снизу, и с боков, и сверху; все спрашивают: кто? кто этот charmant garçon? — Это племянник вице-губернатора. — Quel délicieux garçon, n'est-ce pas? — Oh oui, il est ravissant!

А после что? После я военный, я женат, я иду с женою под руку. О, конечно, я военный! Я не мог понять, как люди могут быть штатскими; штатского я воображал себе не иначе, как в виде уездных чиновников наших или в виде доктора, который ездил к нам иногда. Он был гораздо меньше дам, с которыми танцовал, и смотрел на них снизу томными голубыми глазами. И таких штатских, которые могли удовлетворить моему чувству прекрасного, я знал только двух: дядю Петра Николаевича и одного родственника его, г. Ржевского. Но они оба были отставные, и в осанке их, в молодцоватости, в усах я видел ту самую высокую печать, которую желал бы со временем носить на самом себе. То ли дело военный! На настоящую войну положим не нужно... зачем губить людей? И с кем сражаться? С французами? жалко: все эти Альфреды и Альфонсы такие славные молодые люди; я с ними по разным книгам даже короче знаком, чем с своими Николаями и Иванами; у них есть тоже матери, тетки, они будут плакать! Гораздо лучше в Петербурге маршировать по Марсову полю с саблей наголо, в белых панталонах с красными отворотами, или с гусарским полком нестись марш-маршем.

Решено: я военный и иду с женою под руку. Удалившись в свою комнату, я бросился на колени перед образом

и поклялся Богу быть безгрешным до женитьбы, не позволять себе никогда до брака тех ужасов, о которых случайно последним летом я слышал в роще от нашего отчаянного Федьки. «Какая страсть, какой грех!» — подумал я, приникнув лицом к дивану.

— Милый Бог! — воскликнул я наконец, — пожалей меня... Я клянусь никогда не грешить, пошли мне только счастья! Я ведь добр, очень добр... Дай мне, Боже, счастья: ни одного бедного без помощи я не оставлю!

Однако настал и час разлуки с Подлипками. Аленушка подошла обувать меня поутру и вдруг заплакала.

— Дай мне ручку: я поцалую, — сказала она мне. Я подал руку.

— Дай мне ножку, — сказала Аленушка. Я протянул ей еще необутую ногу: она ее со слезами поцаловала; потом сам я подал ей другую руку и другую ногу. С барышнями, с Пашей Потапович, с Катюшей я едва простился. Тетушка и мадам Бонне́ сильно плакали, когда нам подали карету; но я не пролил почти ни одной слезы.

И вот мы сели с дядей в дормёз; почтовый шестерик помчался, и скоро мне стало и жалко и жутко. Я молча прислонился к углу и вздыхал. Лошади скакали шибко по грязи; ямщики кричали. Дядя посмотрел на меня.

— Что же ты, Владимір, молчишь? Не грусти. Я тебе подарю верховую лошадь и полуфрак отличный сошью. Только учись. Неверных разбивать и брать крепости полно — учиться надо! Боишься ты меня, а?

Этот вопрос был сделан с таким веселым лицом, как будто дядя был рад, что я его боюсь.

— Да как вас не бояться! Все говорят, что вы строги.

— Кто же это все?

И дядя опять весело посмотрел на меня.

— Я не могу сказать вам этого. Нельзя все говорить.

— Отчего нельзя?

— Свет стоит на политике, — заметил я.

Дядя рассердился.

— Вот уж и сморозил чушь! Терпеть не могу, когда ты понесешь ерунду. Свет стоит на политике! Как противно! Уж лучше низвергай неверных, Иерусалим бери, а не говори глупых фраз, которых ты не понимаешь. От кого ты слышал эту глупость?

— Тетенька Марья Николавна так говорит! — отвечал я с достоинством.

Дядя улыбнулся, откинулся в угол и сказал:

— А! Ну, хорошо. Вперед не повторяй, чего не понимаешь, карандаш ты этакой!

Дня три мы не останавливались, скакали под дождем и по грязи и приехали вечером.

VIII

Я могу не иначе вспомнить Настасью Егоровну Ржевскую, как уходящею в коридор из залы в синем марселиновом платье с белыми клетками, с гордо закинутой назад головой.

Подумаешь, Настасья Егоровна была горда? О, нет! Я, будучи лет семи-восьми, даже спросил у кого-то: «Отчего это Настасья Егоровна, когда одета получше, так у нее и манеры другие станут?» — И мне ответили: «Оттого, мой друг, что Настасья Егоровна дома всегда ходит в капоте, а когда наденет корсет, так ей неловко!»

Удивительные отношения царствовали в доме Ржевских! Ржевский, Дмитрий Егорыч, был красавец собой. И теперь еще висит в их деревне, на задней стене гостиной, портрет его в лейб-гусарском мундире. Красный ментик остался недоконченным; но лицо так и дышит счастьем сознательной красоты и молодечества; легкий чорный ус чуть заметно, рыцарски закручен; карие глаза смотрят на вас улыбаясь и не без силы... А как он пел! Детская душа моя даже ныла, когда он пел: «Что̀ трава в степи перед осенью» или «Le vieux clocher de mon village, que j'ai quitté pour voyager».

Посмотрели бы вы на него в последнее время: толст, отек, сед и грязен. Ваточное пальто, покрытое муар-антиком коричневого цвета — и ни слова, ни слова!

Что̀ он был за человек, не знаю. Но жену его я в детстве долго не любил. Зато позднее я стал ценить ее очень высоко. В мифологии моей она долго была Мегерой, хотя и ласкала меня охотно. Женщина она была почти одних лет с мужем, белокурая и статная, с насмешливыми нежными чертами и надменным лицом; взбитые локоны и безукоризненно изящная, хотя и небогатая одежда. Люди в доме трепетали ее. У них была всего одна дочь, годом старше меня. Сонечка взяла силу выражения и мелкие черты у матери, а цвет волос и глаза у Дмитрия Егорыча.

Она была в институте, а я у дяди Петра Николаевича, когда произошел между родителями ее разрыв. Дмитрий Егорыч был удален во флигель... Ржевская вдруг зимой, в метель и мороз, приехала к дяде Петру Николаевичу, и тогда я узнал кой-что̀ об них. Но вы ничего не поймете, если я дам волю разброду мыслей и не расскажу основательно, какая связь была между Ржевскими и Петром Николаевичем.

Петруше было 15 лет, а мне 11, когда дядя взял меня к себе.

Марс изменил мне. Негодуя на раны, болевшие при переменах погоды, он отдал сына в «правоведение», готовил и меня, как братнина сына, туда же и в завещании, открытом по смерти его, умолял Петрушу не быть никогда военным. Осмотрительный Петруша охотно согласился быть покорным сыном.

После глубокого добродушия, милости, баловства Подлипок мне показалось тяжело у Петра Николаевича.

Взял меня дядя от тетушки и привез прямо за 400 верст в тот город, где служил вице-губернатором. Жену его, тетушку Александру Никитишну, я уже знал немного. Она раза два на короткое время приезжала в Подлипки, во время моего раннего детства. Приехали мы вечером, кажется, в

августе. Город был мало освещен, а дом вице-губернатора еще меньше.

Дядя тотчас же пошел куда-то за слугой, который светил ему, а я остался в большой темной зале, с одной восковой свечой на столе. Три люстры в белых чехлах... ночь кругом. На мрачных стенах мрачные, глубокие картины, с пятнами посветлее там и сям.

Дом был на набережной реки, и я, подойдя к окну, увидел не огни и строение, а небо, уже темное, и чорную тучу на краю. В звонком доме во все время хлопали двери. Наконец внесли лампу, а потом вошла тетка в малиновой бархатной кацавейке, обшитой горностаем. Тут в первый раз стало ясно мне, какое у нее лицо. Она была высока ростом и очень худа; румянец груб и багров. Взгляды я еще плохо тогда умел различать, но, кажется, ее взгляд был беспокоен. Она поцаловала меня и, взяв мою руку холодной и влажной рукой, повела через коридор к Петруше, который был не совсем здоров и лежал в постели.

Двоюродный брат принял меня не то чтобы сухо, а просто, как умел, вяло.

Я облокотился на стол и не сводил с него глаз. Он тоже смотрел на меня.

— Вот два козла! — сказала тетка, — полноте казокаться... Познакомьтесь. Я вас оставлю одних. — И ушла.

— Vous fréquentez beaucoup? — спросил Петруша грустно. Боже! какой срам! Чтò это значит «fréquentez?» В первый раз слышу это слово.

Я переспросил.

Опять: «Vous fréquentez beaucoup» (какова же была моя досада, когда на другой день, спросив перевода у тетки, я узнал, что сам Петруша сделал ошибку, забыл прибавить *кого!*)

Я онемел на секунду, вспомнил о том, что он из столицы, а после сказал робко: «Не понимаю!» — Петруша сказал: «Это значит *ездить в гости*».

— Да, — отвечал я, — я часто...

Потом Петруша показал мне два игрушечные графинчика, один с малагой, а другой с квасом, один синий, а другой малиновый, прибавив, что зеленое стекло дороже всех, потому что в него кладут золото, и незаметно перешли мы к чему-то другому; к чему — не помню... а помню только, что Петруша рассказывал, как раки едят рыб и хватают их за морду клешнями.

— Вот так и схватит! — сказал он, схватив себя за подбородок двумя пальцами.

И что̀ это? скажите. Интерес ли рассказа, или какое-нибудь периодическое возвышение впечатлительности в моей душе — только фигура его в эту минуту раз навсегда неизгладимо озарилась передо мною точно так же, как фигура Настасьи Егоровны, без корсета, но с гордостью ушедшей в коридор. Так и умру, не забыв его голубого шлафрока, кровати с занавесом и лица его, немного калмыцкого.

Вечер кончился грустно. Терентий, усатый дядька, которого Петр Николаевич еще в Подлипках приставил ко мне, на последних станциях был пьян и раздражил дядю.

Когда посередине темной и прохладной залы был накрыт стол на три прибора и я шел за супругами ужинать, я заметил, что дядя, ведя под руку жену, что-то шептал ей и пожимал плечами.

Из залы послали за Терентием. Тетка села к столу. Терентий явился, а дядя, вдруг сжав кулаки, подошел к нему и громовым голосом закричал: «Пить?! Бестия, каналья!.. Пить?! Срамиться с вами везде? А?»

Терентий молчал.

— Ах, ты, пьяница, вор!

— Помилуйте, ваше превосходительство, мы не воруем...

— Мы! мы! Кто мы? Ты пьяница, скот! — И дядя так сильно ударил высокого Терентия в лицо кулаком, что тот едва устоял на ногах.

Дядя хотел повторить, но тетка сказала: «Ну, что̀ это?..» И дядя, крикнув только «вон!», вернулся к столу.

Он, улыбаясь, сел около жены, которая печально пригорюнилась у прибора, поцаловал ее руку и, смеясь, пожаловался ей, что при ударе ушиб себе палец своим же алмазным перстнем.

После ужина бедный Терентий повел меня наверх со свечой по широкой и темной лестнице. Я увидел пустую горницу, с белыми стенами, простые ширмы и одинокую кровать свою, без коврика у ног, как бывало дома.

Мне стало очень грустно. Я протянул Терентию ногу, чтобы он снял сапог, и спросил его: «Ну, что̀, Терентий?»

Он молча кивнул головою и указал на окровавленную верхнюю губу, рассеченную алмазным перстнем.

Я содрогнулся, лег и взглянул с постели в близкое окно; длинная чорная туча над бледной закраиной далекой зари не уходила.

Вскоре и Терентий лег около меня на войлоке и загасил свечу; но долго слышал я, вздрагивая в первом забвении полусна, его вздохи и шопот молитв...

Тогда настали дни один однообразнее другого. Многое, между тем, поправилось в моем внешнем быту.

Петруше на другой день было лучше; он сам желал видеть меня в своей комнате, и меня перевели к нему; когда же брат уехал в Петербург с дворецким, назначенным ему в провожатые — я остался полным хозяином его удобной и веселой спальни.

У дяди я прожил подряд пять лет, от 11 до 16 лет.

Тетушка называла дом их склёпом — и не напрасно.

Скоро узнал я тайную отраву дядиных дней — узнал, что кольчуга воинственности и аристократизма, перед которыми я не мог не склоняться, была пронзена во многих местах. Шире и неисцелимее других была одна рана — душевная болезнь жены.

Вероятно, в долгих шептаниях и толках с глазу на глаз тетушки Марьи Николаевны с дядей и другими не раз изъявлено было опасение за меня: ка̀к я буду жить в доме умалишенной женщины? Отпуская меня, мягкая воспитательница моя обливалась слезами и после говорила мне,

что решилась отпустить, только понимая, как может быть полезен мне человек с таким весом, характером и такими связями, как Петр Николаевич.

Но и тетушка Александра Никитишна не была дурная женщина. Она любила меня. Но как неприятна была ее ласка! Как странно, что-то отталкивало меня от нее! В пять лет я не мог привыкнуть без отвращения целовать ее влажную руку.

Безумие ее было временное и для людей не вредное прямо; только оно было разорительно для дома. Руки ее сокрушали все в эти дни. Турецкая шаль в несколько сот рублей летела в камин; жемчуги бросались в окно прохожему. Она брала также ножницы и разрезала по целому бархат и сафьян диванов.

Иногда сидит со мной в гостиной и шьет молча; я что-нибудь делаю тоже; все тихо... Вдруг тетушка схватывает иглу и вкалывает ее себе в лоб... Если шьется или вышивается что-нибудь небольшое и нетяжелое, оно висит на игле, а Александра Никитишна хохочет.

Если ей старались помешать, она выходила из себя, бранила мужа и кричала раздирающим душу голосом.

Напрасны были строгие взгляды Петра Николаевича, напрасны его увещания — то кроткие: «Саша! Саша, мой друг! Успокойся!», то нетерпеливые: «Александра Никитишна! будет ли конец этому?» Напрасен даже крик его: «Тише! Тише! В спальню! На кровать!.. К себе! Тише!»

Впрочем, в обыкновенное время дядя был не только кроток с женою, но и любезен с нею.

Бывало, в эти дни мрака (а мрак длился шесть недель и два месяца!), ходит он задумчиво по длинной зале, заложив за спину белые руки с алмазным перстнем.

Не спасли его ни сан, ни шестерики рьяных коней, пленявших весь город, ни походка величавая, ни кресты и звезды, ни благоухание усов и завитки волос на благородном челе!...

Ходит, ходит, а я сижу и смотрю в окно, не смея вымолвить слова.

Я не знал, кого жалеть — тетку или дядю... и сначала от страха, а потом от отвращения к их мрачному образу жизни не жалел никого.

По многим источникам имел я случай убедиться гораздо позднее, что отношения дяди моего к госпоже Ржевской были когда-то глубже обыкновенной приязни. Раненый, богатый, красивый и молодой генерал задумал жениться и приехал в Москву искать невест. У г. Карецкого были три дочери: старшую звали Евгения, вторую Александра, третью, кажется, Анна. До третьей нет нам дела. Тетушка Марья Николаевна умела рассказывать об этой свадьбе довольно смешно.

— В Москве была тогда, mon cher, одна сваха из благородного звания. Мы ее звали дама-сваха. Какой был вид авантажный! Она состряпала все. Приезжает раз к брату — а тот в халате, только что умылся. Ты знаешь его щеголеватость — халат превосходный. Человек сказал было ей, что барина дома нет, а Петр Николаевич сам вышел в дверь и говорит, что для дам он всегда дома — принял ее в халате. Ну, подумай хорошенько, какая это дама? Карецкий, старик, имел низость доверить ей. Развратный старикашка! Зато Бог и наказал его: три года без задних ног валялся!

Дяде нравилась воздушная Евгения; она была гораздо умнее, танцовала лучше, умела лучше одеваться. Дама-сваха и развратный старикашка устроили за него Александру. Но дядя, видимо, продолжал глубоко уважать сестру жены. Я не хочу злословить, и все доказательства в пользу того, что дружба их была безукоризненна, что в этом деле они были высоки, несмотря на побочные дела — на рассеченную губу Терентия, на домашнюю суровость Ржевской, которая, быть может, тоже... Знаете — старшие наши умели искусно мирить в себе два разнородные міра...

Внезапный приезд Евгении Никитишны поразил всех. Не прошло и двух часов, как в кабинете дяди, где заперлись обе сестры и Петр Николаевич, раздались громкие рыдания, и тетку Александру Никитишну вынесли на руках муж и слуга. Она была в обмороке.

Встретив несущих в зале, я взглянул на сестру ее, которая шла сзади. У нее глаза тоже были красны, но я уловил на лице ее такое выражение презрения и гнева, что никогда его не позабуду.

Верстах в полутораста от наших Подлипок течет несудоходная река. Лесистые берега ее попеременно возвышаются то по ту, то по другую сторону, и перед одним из сосновых участков стоит боком к реке большой дикого цвета дом. С обеих сторон редея выбегают полукругом ели и сосны из сплошного леса, покрывавшего поле за домом.

Пониже, в беспорядке, широко расстилаются барские огороды, а еще ближе к реке смотрят снизу на барский дом избы дворовых семейных людей. И там живут! Там развешан невод, там к раките у избы прислонена рыбачья сетка на длинной палке; разноцветное белье сушится на плетне. Река течет, вдали ревет чужая мельница, а за рекою луг, где летом мальчики разводят на ночную огни. Ширина, зелень и сила везде! Здесь, по сю сторону, с левого бока, за покинутой и разрушенной псарней, поднялись четыре изящные ели, и новый сруб виден под сенью их. Там, по ту сторону, за лугом, небольшая дубовая роща, и сам луг иногда целыми полосами кажется розовым от густого клевера. Почтовые колокольчики звенят вдали невидимо; над балконом, обращенным к этой картине, носятся с пронзительным криком стрижи.

Евгения Никитишна шла замуж, говорят, по склонности; и хотя брак их состоялся так скоро после брака моего дяди, что ей, влюбленной в Петра Николаевича, конечно, не было возможности перенести вдруг все чувство на жениха. Но не нравиться как муж Дмитрий Егорыч, при своей красоте и тогдашней любезности, едва ли мог. И она скоро страстно привязалась к нему.

Тетушка Марья Николаевна умела и про молодость Ржевских рассказывать так же хорошо, как про безбожника Короваева и про отца Василия, и про даму-сваху. Она говорила, что, приехав к ним в первое время их супружес-

тва, она нашла их в цветнике, гуляющих вместе, и была поражена их блаженством и красотою обоих.

Я поздно узнал красоту лесистого берега, где протекли их медовые годы; но теперь уже дом, река, цветник и лес слились для меня в одно с Евгенией Никитишной в белом платье и в красной турецкой шали, в которых увидал я ее в первый раз, будучи ребенком.

О муже я уже сказал вам, как он был хорош.

Было одно таинственное место у них в деревне: на нем остались уже одни гряды когда-то росшей здесь клубники да кирпичи фундамента. На этом месте стояла прежде теплица; в теплице жил садовник Яков; Яков любил молодую прачку. Барин тоже обратил на нее внимание; но она не польстилась на барские слова. Ржевский решил сослать ее куда-то за дурное поведение, за связь с садовником. Но Евгения Никитишна узнала все.

Она давно уже замечала беспорядочное его управление. Недовольная продажей другого имения, она желала сохранить пристанище для себя и приданое для дочери. Имение, описанное мною, принадлежало ей, а его едва было не продали с аукциона. Тогда-то Ржевская приехала к дяде. Дядя заплатил долги Ржевских; он поехал с нею в ее деревню, и какие у них были толки с мужем, никто мне не передал. Евгения Никитишна с этого дня взяла все дела в свои руки, а за историю с прачкой перестала быть женой Дмитрия Егорыча и даже удалила его во флигель.

В течение пяти-шести лет обратился Ржевский в тучного ипохондрика. Дочери было 17 лет, когда ее взяли из института и когда я познакомился с ней. Но разговор об ней отложим.

IX

Несмотря на строгую скуку вице-губернаторского дома, я созрел в нем не только годами, но и опытом. В первые три-четыре года я много прочел и кое-как мирил в себе мечты с действительностью. Я мало помню живого

из этого спокойного и скучного времени. Не знаю даже, кàк назвать эту эпоху моей жизни, переходною или нет. Хотя я думаю, что всякая пора в жизни переходна, но вопрос здесь тот, на чем следует больше остановить ваше внимание — на том ли, что игры перестали забавлять меня, что мечты о военном блеске сглаживались тогда мало-помалу принужденным одиночеством, размышлением и чтением, которое начинало сильно занимать меня; на том ли, что светлые и холодные мечты детства незаметно уступали место теплоте и грусти, сознательным мыслям о женщинах, о возможности взаимной любви, о Павле и Виргинии... Или, вглядываясь, насколько можно, во внешний свой образ, видеть, как мало было во мне тогда яркого, как мало драмы проявлял я тогда волею и неволею... Личность моя этого возраста, когда я смотрю не нее теперь внимательно, ничем не бросается мне в глаза. Ряд бессвязных картин, не одушевленных ни чем-нибудь особенно горячим, но сложным и страдальческим, ни успокоительно-торжественным, которое не могло и существовать в эти неопределенные годы — вот что я помню. Огромная крепостная стена с башнями и брешами, неясное воспоминание о 12-м годе, бродящее по старому городу... большие лужи за стеной и цветы, которые я рву на берегах... садик за домом дяди; много часовен, ворот с образами и церквей; иногда (не раз я это помню) звонили к вечерне в этих церквах, а я сидел в саду и слушал звон, и помню, что мне было хорошо, что меня приятно томило...

Жил я очень одиноко. В доме было просторно и богато, но безжизненно. Здесь уже не ходила тетушка в белом капоте с оборками в день святителя Мокия молиться об отвращении града от полей; здесь некому было закапывать под межевые столбики стклянки с святой водой; здесь не крестили кукушку, не наряжались на Святках, забывали на Троицын день украшать углы березками. Но зато здесь я выучился впервые принуждать себя; дядя запретил раз навсегда Терентию обувать меня в постели, приказывал рано

будить, говорил по-своему о твердости и дворянской чести. Надобно заметить, что Марья Николаевна нарочно два раза приезжала к дяде в город, чтоб со мной повидаться. Всякий раз любовь моя ко всему, что̀ жило и дышало в ее деревне, пробуждалась с новою силой. Но, кажется, этой-то любви и боялся дядя. И Марья Николаевна сама не соглашалась брать меня к себе на лето. Дядя не хотел, чтоб мои уроки прерывались, и та теплота, которой обдавало мое воображение при одной мысли о каком-нибудь дереве Подлипок, о собаке какой-нибудь, не говоря уже о людях, была, конечно, ему не по вкусу. Желая сделать из меня *человека*, он опасался добродушного растления Подлипок. Он говорил даже прямо об этом: «Я знаю, тебе хочется к тетке; да я не пущу. Сестра слаба, а я твоего отца любил и не хочу, чтоб ты сделался Митрофаном. Я лучше сына отпущу туда: тот флегма, а для тебя нужна ежовая рукавица!»

Сестра слаба! Какая презрительная мина! И это говорил тот самый дядя, который в детстве, по собственному рассказу, рыдал однажды на улице оттого, что уронил и разбил хрустальную игрушку, купленную им на последние деньги для Маши, для единственной сестры! Как ни страшен был иногда дядя, но я слышал в нем родную кровь и видел общие точки привязанностей; я упивался его редкими, любопытными рассказами о турецкой войне, о польской революции, о том, ка̀к он был проколон пикою и ка̀к над головой его занесена была сабля, ка̀к целую ночь проспал в луже и ка̀к сам главнокомандующий на другое утро ободрял его и угощал водкой с кренделями. Однажды мы вместе с ним гуляли зимним вечером по общественному саду; дорожки были расчищены, деревья в инее, а небо все в звездах...

— Видишь, ка̀к много звезд, — сказал он, остановясь и поднимая лицо к небу. — Ка̀к они хороши, ка̀к они блестят! И это все міры. И там, быть может, такие же люди, как мы с тобой... веселятся, тоскуют, хлопочут, умирают...

Сказавши это, он вздохнул, и мы пошли дальше.

Он все-таки казался мне лучшим лицом в доме. Тетка продолжала быть совершенно чуждою той поэтической струне, которая мало-помалу начинала озаряться во мне сознанием. Ничего, кроме пустых анекдотов и сплетен, от нее не услышишь; как попало одетая, в большом платке, едва причесанная, бродит она из комнаты в комнату, смотрит по окнам или схватит иногда роман, пробежит страницу и бросит.

Француз Ревельé, которого мне наняли, был несносный старик угрюмого нрава. Он ходил в синем фраке с медными пуговицами и в красном фланелевом жилете, почти ни на что, кроме пива, не издерживал денег, сам штопал себе платье и целые дни проводил в своей комнате. Войдешь к нему, воздух тяжелый, сам он сидит, читает Лагарпа или играет на флейте. Спросишь у него, что̀ он больше любит, романтизм или классическую трагедию?

— Ah bah! j'aime tout ce qui est bon!

— Скучно мне, мсье Ревельé!

— Vous me sciez le dos avec votre «скучно»! Tracez vous un cerle et ne sortez pas de lá!

С Петрушей мы не ладили. Он приезжал каждое лето из Петербурга, и всякий раз я был рад его приезду, как разнообразию, но всякий раз выходили у нас ссоры. Все мне не нравилось в нем: его аккуратное прилежание, его неразговорчивость, его физическая лень и вялость. Про него говорили, что он в «правоведении» ведет себя безукоризненно, и все профессора довольны им. А я своих учителей часто выводил из терпения: бывали минуты, когда я решительно не мог ничего понять. Я несся куда-то, смотрел в окно; в голове спутывалось все, урок с мечтой о славе, о любви и о войне, я не знаю еще о чем. Я глядел туманно на учителя и отвечал не то. И, несмотря на успехи в науках, которыми скромно гордился Пьер, я чувствовал, что я лучше его, умнее... Мы ни в чем не сходились. Сначала я еще любил воевать в саду, строил небольшие укрепления из кирпичей и брал их с криком, разбил од-

нажды окно в хозяйской беседке и должен был, по приказанию дяди, купить стекла на свои карманные деньги. Пьеру такие забавы казались глупыми и скучными. Раз, вначале, он попробовал было взять саблю и пойти со мной; я был рад и предложил ему брать редут с правой стороны, пока я буду лезть слева. Он согласился, и мы разошлись. Вот я рвусь, бьюсь изо всех сил, машу саблею, стреляю из пушек, жалуюсь на боль, командую, борюсь и с громким «ура» взбегаю наверх! Петруши нет... Бегу через весь курган на правую сторону и вижу: мой правовед присел задумчиво на бревнышко и ковыряет землю саблею.

— Что ж ты? — кричу я.

— Да скучно! — отвечал он и побрел домой.

В одно лето я лучше выучился ездить верхом, чем он в три года. Я всегда готов был вскочить на седло, подходил ко всем лошадям, трогал, ласкал их, даже кляч не оставлял в покое. Петруша ездил неохотно и робко, хотя и имел большую претензию быть знатоком в лошадях; он часто ходил удить рыбу на реку, а я презирал это стариковское занятие. Раз пришел он в сад вместе с Платошкой, своим любимым казачком.

— Посмотри, Платоша, что̀ это за умора, — сказал он, — Володя с ума сходит... Эх ты воин! Ну куда тебе? В саду тебе только с деревьями и воевать.

— Уж не тебе бы, трусишке, говорить! — возразил я ему. — На старую водовозку боишься сесть! Ноги растаращишь — сидишь как баба...

Петруша покраснел.

— Ну что? — продолжал я, смягчившись немного в душе, но не желая явно уступить. — Что смотришь? На поцалуй мою ручку...

— Цалуй мою.

— Твоя жолтая, гадкая, а моя, посмотри, какая!

— Ишь вы какие нежные! — заметил Платошка с негодованием. — Из чего вы это взяли, чтоб Петр Петрович да вашу ручку стали цаловать!

— А чем он лучше меня?

— У них папаша генерал, и сами они...

— Молчи, мерзавец!

— Ругаться не извольте; я дяденьке скажу.

— Ах ты этакой! — закричал я и дал пощечину Платошке изо всех сил.

Платошка заплакал; я было хотел схватить его за волосы, но Петруша кинулся, повалил меня и стал драть за уши, приговаривая: «Ах, ты молокосос, мальчишка, драчун!» Я вырвался в бешенстве и, подняв с земли свою тупую саблю, ударил Петрушу по руке, что̀ было силы. Петруша закричал, Платошка закричал тоже, а я побежал домой как безумный. Я знал, что̀ меня ждет. Мне уже пришлось испытать гнев дяди, и вот по какому случаю. Один небогатый дворянин желал отдать куда-то сына, на казенный или дворянский счет, не помню. Однажды дядя позвал меня в кабинет и заставил меня вынимать из шляпы билетики. В комнате было несколько человек дворян и сам предводитель.

— Ну, это еще невинный ангел, — сказал бедный отец, — выньте мой билетик, красавчик мой!

Все окружили меня; я вынул билетик и прочел: «Золотников».

— Мой, мой! — закричал отец, расцаловал меня и обещал фунт конфект.

— Вздор! — сказал дядя, — он не возьмет.

Однако дня через три после этого я решился подойти к сыну Золотникова на гулянье и спросил у него, когда отец намерен прислать мне конфекты. На другой день дядя увидел с балкона слугу Золотниковых и спросил у меня: что̀ это такое он несет в бумаге, не знаю ли я?

Я покраснел и отвечал: «Не знаю, право... право, не знаю!»

— Поди, спроси у него, что̀ ему надо.

Я вернулся с конфектами и сказал, опять краснея:

— Это мне конфекты. Не знаю, зачем это он прислал!

— А записки нет?

— Есть.

Я подал записку, и дядя прочел:

«Милый мой, Владимір Александрович! Напрасно вы думаете, что я забыл о своем обещании. Разные дела отвлекли меня. Посылаю и т. д.»...

— Так ты напоминал? — спросил дядя, и глаза его заговорили.

Я молчал.

— А! взяточник и лгун! Хорош. Попрошайка и лгун! Да ты знаешь ли, что̀ такое мужчина, который лжет?.. Негодяй!

Дядя позвонил. Вошел человек. Я обомлел.

— Возьми эти конфекты, отдай их человеку Золотникова и скажи, что я... я, понимаешь? велел их отнести назад. Да приготовь мне в кабинете розги! Пойдем-ка.

Я упал на колени, просил, плакал... Нет, ничего не помогло. Пришла тетка и тоже стала просить; но дядя не отвечал ей ни слова, взял меня за руку и увел с собой. Там Ефим меня больно сек, а дядя сидел на диване и смотрел. Тетка после этого позвала меня к себе и дала мне гофмановых капель.

Испытавши все это, я понимал, чему я подвергаюсь, и решился на этот раз не быть робким и слабым. Петруша прибежал к Ревельé и показал ему свою руку, на которой вздулся красный рубец и в одном месте показалась кровь. Ревельé требовал, чтоб я просил прощенья, но я не мог видеть скромного генеральского сына без ненависти и отказал наотрез.

— A genoux, mauvais sujet! — кричал Ревельé, — a genoux! Pss, pss, silence! Est ce qu'on ne rosse pas ici, comme partout ailleurs par hasard?

— Еще бы не rosse! — возразил я, — в таком проклятом доме и хуже бывает!

Кончено все! Я обречен на казнь. Отчаяние овладело мною, отчаяние и отвага. Петра Николаевича не было в городе, но я знал, что недели через две он вернется, и рано или поздно я расплачусь за все. Александра Никитишна также узнала об этом; она прибежала ко мне в

бешенстве и начала было: «я тебя, да я тебя!» Но я презрительно молчал, и она успокоилась.

Прошло недели с полторы. Дядя не возвращался, а Петруша, казалось, забыл оскорбление; запустив руки в карман и посвистывая, шатался он по комнатам, или шел себе удить рыбу, так что мне иногда становилось его жалко. Тетка обращалась со мной по-прежнему. Она очень любила нарушать обыкновенный порядок дня — пить чай или кофе не вовремя, посылать за сыром ни с того, ни с сего, но не при муже.

Нередко приходила ко мне горничная, когда дядя был в гостях или в присутствии, и таинственно звала меня на теткину половину; иногда же и сама тетка говорила мне с глазу на глаз:

— А не выпить ли нам чайку, Володя? Как ты думаешь, дядя твой не узнает?

— Выпьемте; что ж!

— Ты, смотри, не проболтайся; он ведь, ты знаешь, месяц меня за это будет точить, скажет mauvais genre, беспорядок, харчевня...

Вот так-то случилось нам и теперь вдвоем с нею пить кофе; она объявила мне, что дядя будет завтра.

— Ты не рад, кажется?

— Чего же мне, ma tante, радоваться? — я отвечал ей. — Я знаю, что меня высекут.

— А ты зачем напроказил?

— А зачем они с Платошкой мою дворянскую честь унизили?

— Скажите, какой фарнос! Ну, пей, пей кофе. Я уже ничего не скажу и Пьер тоже. Если б я захотела, разве я не могла бы сама тебя наказать?

— Еще бы! конечно бы могли!

Она уговорила Петрушу оставить это дело так; «отец расстроится, будет шум, что̀ за охота». Петруша обещал молчать и смолчал. Долго меня смущала мысль о его великодушии.

Вся эта обстановка привела к тому, что я, подросши, всем сердцем стал понимать слово «сирота». Не раз пла-

кал я, один-одинешенек, жалуясь на то, что здесь меня никто не любит и что я всеми покинут. Я писал страстные письма в Подлипки, иногда клялся все сносить и ждал терпеливо той минуты, когда мне можно будет вернуться домой; иногда уверял, что я жду смерти и верно никогда не увижу ничего и никого домашнего. Я берег с благоговением не только образ в окладе, благословение Марьи Николаевны, но и закладку из бисерной канвы с вышитым souvenir, которую прислала мне Вера, и подарок Аленушки — маленькую чашку старинного фарфора, с белыми овечками на лугу и хижинами вдали, глядя на которую и вспоминая о бедной уже умершей тогда мадам Бонне́, я повторял стихи:

Dans ces prés fleuris
Qu'arrose la Seine,
Cherchez, qui mène
Mes chères brebis.
J'ai fait, pour vous rendre
Le destin plus doux...

На самую книжку, которую дала мне на память мадам Бонне́, стихотворения г-жи Дезульер, я долго смотрел как на заветный талисман и долго, даже гораздо позднее, находил в ней больше поэзии, чем в самых гениальных вещах. В Подлипках, казалось мне, никто не страдает — все цветет и зеленеет; лай собак, пение петухов, шум ветра многозначительнее, не такие, как в других местах; мужички все, встречаясь, улыбаются, собаки знают меня, и умирать там, должно быть, легче, чем где-нибудь в другом месте! Годам к 16-ти и сознание добра и религиозное чувство стали во мне сильнее. Не раз вечером нарочно уходил я из дома и клал по два, по три рубля в церковную кружку на углу; нищим стыдился подавать так, чтоб мне было нечувствительно: подавал серебро, а не медь, постился, вставал к ранней обедне, чувствовал себя крепче и светлее, когда ел просфоры; не уходил никогда прежде конца службы из церкви, вспоминая слова тетушки: «кто уходит рано

из церкви, тот, как Иуда, который ушел с тайной вечери до конца».

К грусти одиночества, к страху наказания за гробом, к надежде на помощь в жизни примешивались и другие чувства. С одной стороны, память о картинах детства жила неразрывно с молитвами и надеждами; в воображении я видел тетушкин кивот с лампадой... Как вспомнишь об нем, о ней самой, о ее спальне, о коврике, о беззаботном счастье, так и потянет душу и домой, и на небо! Когда случалось мне уйти прежде срока из церкви или рассыпать на пол крошки просфоры, я казался сам себе грубым оскорбителем чего-то невинного и снисходительного. Любил я также иногда читать священную историю. Когда, под конец ветхого завета, становилось, в последних главах книжки, как-то пусто и мирно, и строгие римляне были уже тут, чувство чуть слышного, едва заметного, сладкого ожидания шевелилось во мне. Заря лучшей жизни как будто ждала весь мір... И не было еще света, а было грустно и легко. Вот родилось бедное дитя в Вифлееме... Как хорошо в этих сухих пустынях, где растут только пальмы и люди ходят босые в легких одеждах! Вот уже и Петр плакал ночью, когда пел петух, и я плакал с ним; все стемнело — камни расселись, мертвые встали из гроба и пошли в город, раздралась завеса во храме... Передо мной картинка... Христос является на минуту двум ученикам, шедшим в Эммаус. Какой-нибудь бедный городок этот Эммаус; трое небольших людей спешат из какой-то долины; на них развевается платье; с боку скалы, а вдали куча мелких домов с плоскими крышами... Как опустело все! Точно после обеда, когда уже не жарко, войдешь в большой зеленый сад, которым никто не пользуется, и где только тени деревьев становятся все длиннее и длиннее... Как будто самый близкий человек уехал из дому и из сада этого, по которому он мог бы гулять, если бы хотел. И уже начинается что-то новое, чуть брезжится... А что? И тогда не умел я сказать, не умею и теперь.

Мелькнет такая мысль, явится чувство на миг — и опять влачатся простые дни: классы, прогулки с Ревельé, обед, за которым и дядя, и тетка, и я просидим почти все время молча. К несчастью, я не мог даже скрыть своей набожности, и слова Александры Никитишны: «что это Владимір наш в святость ударился?» способны были одни уже запятнать прелесть моих тайных ощущений.

В 17 лет наконец бежал я от дяди в Подлипки, и главной причиной моего побега было что-то вроде любви.

X

К этому времени я уже решился быть статским. Самый гражданский костюм стал мне нравиться. Я слил в одно смутное представление множество óбразов, особенно французских: Родольфа «Парижских тайн», каких-то умных и смелых людей, управляющих на Западе, в модных фраках с бакенбардами или бородами, с сияющим бельем, Байрона, Онегина, даже порочного, но непобедимого Сципиона из «Мартына-найденыша», артистов в острых шляпах, с длинными волосами, смелых студентов в широких клетчатых панталонах... Все это составило одну величественную, переливающуюся из образа в образ идею; все это шептало мне о чем-то высшем, чего я тогда назвать не умел и в чем позднее узнал гения свободной гражданственности, новой мысли и изящных нравов, гения, открывавшего себе дорогу в тщеславное и неопытное сердце одеждами, прическами и всеми соблазнительными внешними правами на общественный успех. Все это совершалось постепенно в течение четырех-пяти лет; все было неясно, отрывочно, не сознано...

Сначала, только что приехав, я любил брать у дяди большой портфёль с раскрашенными рисунками всех гвардейских мундиров, переводил их старательно на стекле, тушевал, разрисовывал и думал долго тогда: кто счастливее — гусар ли на серой лошади, в красном ментике и голубых брюках, или этот кавалергард в белом колете с

красным воротником, или конный гренадер, у которого развевается сзади пунцовый язык на мохнатом кивере, когда он несется во весь опор? Когда дядя, увидав эти рисунки, сказал мне, что «о мундире я мечтаю напрасно», я просто ужаснулся. Не зная, что̀ сделать, чтоб смягчить его и доказать, ка̀к он не понимает моего призвания, я силился заплакать. Но дядя снисходительно спросил, отчего мне так противна статская служба.

Я долго боялся сказать настоящую свою мысль, но наконец преодолел страх.

— На статских в свете, mon oncle, не смотрят, даже дамы и те...

Дядя засмеялся и перебил меня:

— Каков ловелас! в четырнадцать лет! Какой же ты свет-то видел? Ты видел свет плохой. Ныньче совсем не то... И если б мне пришлось начинать теперь...

Тут дядя как бы с грустью кивнул головой, потом дружески взял меня за ухо и прибавил:

— Ничего, не плачь. Что̀ за баба! Будешь образованный человек. А я тебе подарю тогда брильянтовые запонки на рубашку.

Запонки и ободрение дяди успокоили меня, и через сколько-то времени, не помню, уже окрепший карандаш мой чертил эскизы нового рода из головы. Вот дуэль. Молодой человек безбородый, кроткий, с длинными волосами падает на руки секунданта; он ранен в грудь шпагой соперника. Сопернику уже тридцать лет (я смотрел на этот возраст враждебно); у него густые бакенбарды и длинные усы. Женщина в шляпе стоит на коленях... Там плантации, лианы, пальмы и бананы. Молодая американка вышла замуж за прекрасного индийца; у нее уже дети. Там чорная маска; все юноши торжествуют. Романы в эскизах на полулистах длятся-длятся без конца; мне жаль покинуть моих героев. И они все французы, англичане, американцы, все во фраках, в жакетках, в пальто, с бичами; русская жизнь не представила мне тогда ничего приблизительного; мужчины, которые по четвергам собирались у дяди играть в карты, возмущали

меня своей прозаичностью, ухарством или тупостью. Насилу-насилу удалось мне встретить на одном вечере двух молодых людей в белых жилетах и таких фраках, какие мне были нужны. Я упивался своими героями, упивался и женщинами, упивался сам собою.

Однажды весной сидел я под цветущим кустом черемухи и с бешеным восторгом читал Гомера. Когда я дошел до того места, где Ахиллес, оставив у себя на ночь старика Фенокса, ложится спать с наложницей, а около Патрокла тоже возлегает девушка *тонкая станом*, я бросил книгу.

Для чего эта весна? Зачем эта черемуха в цвету, если нет настоящей жизни, нет подруги молодой, сверстницы Виргинии, или Manon Lescaut? Я и на то и на другое согласен. А лучше всего и то и другое вместе. Но не брак ли это? Да, если б жениться теперь втайне, встречаться здесь под черемухой, любить друг друга до исступленья, до бешенства, до боли... Потом говорить, читать... вместе. А то что̀ брак в тридцать или тридцать пять лет? Как это пошло, обыкновенно! И что̀ хорошего находят девушки в этих загрубелых лицах, в этих изношенных сердцах?..

Неизящное, простое не соблазняло меня. О, нет! такого я боялся, хотя уже давно в душе развязал клятву о безбрачии до брака. Была у дяди в доме высокая, белокурая девушка Лена (я после узнал, что тетка имела право не любить ее); эта Лена, не знаю почему, любила шутить со мной. Так как внизу было много пустых комнат, и она жила недалеко от меня, то нам случалось встречаться нередко. Она бросалась за мной, загоняла в угол, смеялась, целовала, щипала меня; она была сильнее меня, и я с трудом от нее отделывался. Я не решался ни ответить ей грубо, ни оттолкнуть ее сильно, потому что здесь дорожил всяким вниманием, всякой лаской, а она готова была всегда услужить мне с добродушием и веселостью. Но я смущался и избегал ее, потому что она напоминала мне — годами ли своими, разговором ли, или ростом и дородством — непостижимые по своей грубости грехи взрослых. Нет, не того мне хотелось. Я желал бы найти милую свер-

стницу, невинную, чистую, страстную, как я, стыдливую для всех, кроме меня; чтоб она, в локонах и фартучке, с книжкой в руке, гуляла где-нибудь в лесной стороне под липами, около старой колокольни, поросшей мохом.

Вполне такой я не нашел, но встретил Людмилу Салаеву, дочь одного советника, и убедился на время, что я не хуже Онегина, потому что она сделала первый шаг сама.

Советника дядя любил и звал его Фабием Кунктатором за то, что он очень долго обдумывал ходы в преферансе. Однажды он завез меня случайно к Салаевым, и тут я в первый раз увидал Людмилу. Она еще не носила длинных платьев и стриглась в кружок. Такая прическа доставляла ей случай очень кстати взмахивать головой, и при этом движении голубые, немного выпуклые глаза ее взглядывали искоса и вниз как нельзя лукавее. Она сама заговорила со мной в зале, села на стол, около которого я стоял, и спросила, люблю ли я театр. Я отвечал, что люблю, но бываю в нем редко.

— Как это можно редко бывать! Театр... это блаженство! Мстиславского трагика знаете?

Но тут гувернантка отозвала ее.

Немного погодя нас очень сблизил детский маскарад, который дал губернатор для меньшой своей дочери. Советник упросил дядю отпустить меня, и дядя не только отпустил, но даже дал денег на костюм. Я знал, что я буду в паре с Людмилой, и мне хотелось, чтоб нас одели Гамлетом и Офелией. Я предлагал надеть на Людмилу белое атласное платье со шлейфом, украсить ее голову венком из белых роз, а сам хотел быть весь в чорном бархате, в берете с длинным пером, с золотою цепью на шее. На такую одежду недоставало дядиных денег, и замужняя дочь советника, которая заведывала всем, сказала, что маленькая Людмила со шлейфом будет точно мартышка. Тогда решили ее одеть Розиной, а меня Фигаро; костюмы вышли очень хороши. Вязаные, красные с золотом колпаки, ее короткая юбка с чорными кружевами, мои атласные панталоны и бархатная куртка, перчатки, духи, платки

наши — все было великолепно. Когда мы вошли под руку в гостиную, где ждало нас семейство советника, все вскочили и начали хвалить нас. Отец обнял дочь и посадил с осторожностью, любуясь ею, к себе на колени, а замужняя сестра Людмилы начала целовать меня, называя персиком и настоящим южным смуглым красавцем.

— А он будет со временем иметь успех, — сказала она, обращаясь к отцу, — у него вся наружность как у героя романа. Посмотрите, папа́, какие у него чорные волосы и огромные чорные глаза!

— Еще бы! — отвечал отец, — держи ухо востро!

Каково мне было это слышать? Я не могу уже теперь ясно представить себе моего блаженства. Ожидание торжества, гордость, какие-то страстные движения к Розине, карета, в которую мы сели, ночь, мороз и освещенный дом губернатора, наше вступление в залу, хвалебные восклицания старших, кучи гимназистов, которые смотрели с почтением и вниманием на меня, когда я, заложив за жилет руку в палевой перчатке и напрягая икры, проходил мимо них... Вот как была полна жизнь в этот вечер!

Первую кадриль я танцовал с Розиной; вторую с меньшой дочерью губернатора, которая была слегка коса, но в высшей степени грациозна и миловидна; потом с старшей ее сестрой, мазурку опять с Розиной. В разговорах я был небрежен и оригинально-насмешлив, отчасти вспоминая манеру брата Николая.

— Посмотрите, — говорил я, — как этот путейский офицер похож на орангутанга.

— Quelle idée!

— А кто эта девица в платье небесного цвета? Какие у нее сонные глаза...

— Это моя кузина.

— Ah, pardon! Как эти гимназисты стучат сапогами! Я давича думал, что это лошади взошли.

Когда мы с Людмилой пошли польку и делали pas de majesté, все аплодировали нам. Такого упоенья я долго не испытывал после и едва ли испытаю еще раз в жизни.

Весь следующий день я еще не мог прийти в себя и написал Марье Николаевне огромное письмо с раскрашенными виньетками собственной работы; главные костюмы были тут, и сам Фигаро. Я называл себя царем бала, а Людмилу царицей. Тетушка, говорят, прослезилась над этим письмом; недавно, перебирая ее бумаги, я нашел этот грустный образчик тщеславного саморастления и разорвал его в клочки.

После этого вечера дядя стал позволять мне иногда по субботам ездить к Салаевым.

XI

Александра Никитишна, замечая иногда, что я грущу, говорила:

— Э, да сегодня суббота! Ну, постой, я пойду попрошу у дяди для тебя сани.

И всякий раз почти выпросит. Тогда-то торжество! Я обращаюсь в Онегина:

> Уж поздно. В сани он садится.
> Поди! поди! раздался крик.
> Морозной пылью серебрится
> Его бобровый воротник...

И воротник у меня даже был бобровый.

Где я найду такое гостеприимство? Любезности моей изумлялась вся семья. Там я становился до того разговорчив и развязен, что не уступал ни одному из взрослых молодых людей, служивших у нас в городе, в остроумии, насмешливости и говорил иногда такие французские фразы, что до сих пор, вспомнив об них, сгораю от стыда. Я даже помню некоторые из них, но не повторю их здесь ни за что.

Кроме пятнадцатилетней Людмилы, у советника было еще трое детей: сын моих лет — Митя, очень грубый повеса, и две дочери: одна замужняя, другая девушка лет

восемнадцати, довольно свежая и простенькая, по которой вздыхал высокий гимназист Юрьев.

Домом Салаевых управляла старшая, замужняя дочь, г-жа Дольская. Женщине этой было не более двадцати пяти лет; пять лет назад она пленила мужа своего, человека скромного, смирного и богатого, своим сценическим, истинно замечательным талантом. Все лучшие роли в благородных спектаклях исполняла она превосходно; роль Софьи Павловны, Кетли, молодой причудницы в пьесе «В людях ангел, не жена» всегда предлагались ей. Она самой бесцветной роли переводного водевиля умела придать жизнь и привлекательность. К тому времени, как я познакомился с нею, лицо ее уже поблекло; кожа на нем была красновата, под глазами были небольшие мешки, как у полнокровного отца, но сами глаза еще были хороши, и стан еще был гибок и строен. Держала она себя с ленивым достоинством, танцовала хорошо, умела из немногого создать красивый и своеобразный наряд, говорила об искусстве с живою, хотя и одностороннею ловкостью, потому что вкус ее воспитан был, конечно, только французскими пьесами. Девицей она была необыкновенно тонка, никогда не перетягивалась. Талья ее пережила свою славу, и муж ее хвалился, что он когда-то мог обхватывать ее обеими руками. Тот, кто полагает, что для семейного мира необходима строгая нравственность, очень удивился бы, узнав это семейство. Отец никогда не бранил дочерей, а гувернантку, смуглую и еще не старую девушку, ласкал как дочь и звал ее Настей. Настя только изредка и робко пыталась останавливать меньших дочерей. Дольский содержал все семейство и почти не жил дома.

В красиво убранной и веселой гостиной была в углу плюшевая беседка, и там на эсе с г-жею Дольской поочередно сиживали сам губернатор, молодой прокурор с энергическим подбородком, приезжие из Петербурга, военные, жандармский полковник, белокурый двадцатилетний красавец инженер и даже, как говорят, одно время сам Петр Николаевич. Тетка Александра Никитишна не раз, воз-

вращаясь откуда-нибудь, говорила при мне своим грубоватым языком:

— Эта противная Дольская опять губернатору вешается на шею. Давно ли, кажется, она с Федоровым возилась... какая дрянь!

— Такой умной, ловкой женщине все позволительно, — возражал ей иногда дядя.

— Не знаю, — ответит тетка и пойдет, бывало, наденет огромный платок и ходит «расхлебесьей», как выражалась про нее Марья Николаевна.

Я, разумеется, предпочитал г-жу Дольскую дешевым добродетелям Александры Никитишны. Часто, когда после обеда отец Салаев спал, садились мы с Юрьевым около наших девиц и дельно беседовали с ними.

— Мне ваше лицо с первого взгляда понравилось, — говорила мне моя подруга, — оно неправильно, но очень приятно. Я тотчас почувствовала к вам дружбу. Конечно, это не страсть. Я знаю, что̀ такое страсть... Вы видели актера Мстиславского в Гамлете? Как он дивно хорош!

— Да̀, он хорошо играет, — говорил я, жалея, зачем она ставит меня ниже этого взрослого Мстиславского.

— Хорошо? Только?.. Подите; я не хочу с вами говорить.

И Людмила вставала; потом тотчас же возвращалась снова и продолжала:

— Если вы не будете говорить, что он дивно играет, я с вами навсегда поссорюсь...

— Не сердитесь; я буду говорить, что он дивно играет, — отвечал я без особого страха, потому что любил больше картину моих сношений, чем самую Людмилу.

— Ну, смотрите же. Я вам скажу, ка̀к я его любила. Когда раз мы уезжали из театра, он стал подсаживать нас в карету и взял меня за руку повыше локтя... У меня были короткие рукава. Знаете, что я вся задрожала!

Я молчал обыкновенно, никак не понимая, что̀ она находила в этом 40-летнем великане, который ревел на губернской сцене...

Пока мы говорили с Людмилой, Юрьев и Маша сидели в углу и тоже шептались. Иногда по вечерам Дольская играла нам на фортепьяно, и мы танцовали. Я предпочитал всегда мою Людмилу, а Юрьев, почтительной рукой издалека обвивая полный стан Маши, опускал глаза и, улыбаясь, галопировал с другой стороны.

Высокий, бледный, уже давно бривший Юрьев казался платоническим мечтателем. Он судил о жизни по старым русским книжкам, и идеалом человека для него были Рославлев и Леонид г. Зотова. Когда взаимная помощь, которую и мы друг другу оказывали по сумеркам у Салаевых, сблизила нас, я узнал, что он боготворит *женщину*, но *женщин* боится.

— Они коварны, — говорил он и рассказывал мне об одном Владиміре и графине. Владимір любил графиню страстно и безумно. Графиня любила тоже Владиміра, но изменила ему. Владимір, затаив на время злобу, пришел ночью в *ее роскошный будуар* и раздавил над лицом ее стклянку с такой едкой жидкостью, что она уже никому не могла после этого нравиться. В другой раз он прочел мне свои стихи:

Когда блеснет востока луч
И, грустный путь мой озаряя,
Прогонит сонм зловещих туч,
К тебе тогда, о грудь младая!
Я припаду, желаний полн...
О, прочь сомнения, тревоги!
Средь холода житейских волн
Мы счастливы, как боги...
И что прелестнее отрады —
Душа с душой слиясь тонуть...
Прочь, света гнусные преграды,
Прочь, терние замкнувши путь!
Но жди еще в тоске бесплодной!
Минута счастья не близка,
И голос разума холодный
Грозит тебе издалека...

Я покровительственно хвалил стихи, и скромный гигант дал мне списать их; я тоже сочинил стихи для Людмилы на французском языке, и у меня остались в памяти только два стиха:

Ta taille légère
Comme une mince fougère...

Я пробовал читать их Юрьеву, но он сказал:

— Ничего нельзя понять; это не по-нашему, — потом, вздохнувши и взяв меня за руку, прибавил:

— Не женись, Володя, на француженке; у них все фальшивое — и душа и тело. Возьми лучше русскую, добрую. Господи, как подумаешь, какая это счастливая тебе достанется! А мы-то, мы-то...

— Отчего же, — возражал я, — и ты можешь нравиться женщинам. Надобно иметь только манеры. У тебя вовсе нет манер, но ты можешь их приобрести.

— Нет, уж без манер-то мы, благодаря Создателя, проживем!

Людмила не всегда кокетничала; иногда делала она за меня переводы или немецкие спряжения и приготовляла красивую тетрадку из голландской бумаги, сшивая ее голубым шолком, так что мне оставалось только переписать и подать учителю. Я мог бы долго так блаженствовать, если б не увлекся и не вздумал обманывать дяди. Иногда не в субботу и не в праздник приходил я к Ревельé и уверял его, что дядя меня отпустил к Салаевым. Ревельé говорил, что ему нет до этого дела, puisque votre oncle est assez fou, pour autoriser la debauche; однако это скоро дошло до дяди; меня кликнули к нему в ту минуту, как я только разоделся впрах и хотел идти.

Дядя осмотрел меня с ног до головы.

— Что̀ ты это думаешь, что ты, в самом деле, какой-нибудь денди? Ты этого, любезный мой, не воображай. Дурак дураком! Булавку еще вздумал в галстух втыкать! И где ты видел, чтоб порядочный человек стал носить бронзовые булавки? Пожалуйста, брат Владимір, оставь

подобный вздор. Посмотри на меня: я встаю в семь часов и не разгибаючи спины сижу над бумагами.

— Помилуй, Петр Николаич! — заметила тетка, — разве ты не знаешь, что он влюблен в Людмилу? Сама Дольская говорила мне об них...

— Что-о-о?

— Ах, ma tante, что̀ вы это? Какой я влюблен; неужели бы я лучше ничего не нашел!

Дядя презрительно засмеялся и встал.

— Каково? Браво! Да ты, я вижу, Дон Жуан! — кричал он, подступая ко мне, — а? говори, ты Дон Жуан?

Он смотрел мне прямо в глаза, точно смотрел на Терентия в день моего прибытия в его дом.

— Нет-с, я не Дон Жуан...

— Ну, как же нет! я теперь буду звать тебя Дон Жуан подлиповский, слышишь? А ходить туда и не смей. Ступай, денди, разденься. Булавки этой чтоб я не видал, Митрофан!

Целые полгода я не бывал у Салаевых.

XII

К весне тетушка Александра Никитишна занемогла смертельно. Сначала она не выходила из комнаты и кашляла, а потом перестала вставать с постели. Дядя все свободное время посвящал ей, читал громко, ухаживал за ней и на меня не обращал почти внимания. Однажды, в добрую минуту, великим постом, он уступил мне свой билет в концерт. В зале дворянского собрания было довольно много народа, а я давно не выезжал никуда; глаза у меня разбежались — я заслушался музыки и не заметил сначала, что в трех шагах от меня сидели Салаевы. Обернулся... Людмила! В розовом кисейном платье, подросшая и созревшая, она сверкала глазами. Она навела на меня лорнет и улыбнулась. Я робко подошел к ней и объяснил, что не мог бывать, потому что... потому что...

— Оставим это, — сказала Людмила, играя лорнетом, — когда вы к нам будете?

— Право, я не знаю.

Дня через два пришел ко мне Юрьев и принес записку; я прочел в ней следующее:

Я вас люблю; чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.

Я спросил у Юрьева, знает ли он содержание записки; он отвечал, что не знает, что, отдавая, она сказала ему: «Надеюсь на ваше благородство».

Я показал ему записку и не знал еще, радоваться ли мне или смеяться. Юрьев, кончив, грустно взглянул на меня и сказал, покачав головой:

— Зачем ты мне дал прочесть, Володя? Девочка любит тебя, а ты глумишься!

— Я ведь дал тебе только...

— Эх, Володя! Ветер, Володя!

Больше ничего не сказал Юрьев об этом. Я решился ходить к ней тайно от дяди. Весна приближалась, и я уже не раз и не два, а три и уже более раз в неделю спешил спуститься с горы, где, на углу небольшой площадки, стоял, почти на конце города, трехэтажный купеческий дом и где свет из окон бельэтажа уже издали обещал мне блаженство.

Юрьев, напротив того, около этого времени поссорился с Машей и, несмотря на то, что его в доме принимали очень хорошо, несмотря на то, что сам старик Салаев звал его всегда «муж разума и чести», стал ходить к ним гораздо реже.

— Отчего тебя не видать? — спросил я его однажды на улице.

— Все это дребедень. Я хочу написать стихи с припевом:

Дребедень, дребедень,
Твержу целый я день.

— Неужели ты мог так скоро разлюбить? Любовь такое отрадное чувство...

— Не знаю, — отвечал Юрьев.

— А платок?

— Какой платок?

— Помнишь, ты сам мне рассказывал, что раз в сумерки ты стал перед ней на одно колено, а она заплакала и уронила платок. В это время кто-то вошел, ты встал, поднял платок и подал ей.

— Ну-с, это я, должно быть, для форсу вам сказал. Поди-ка с вами! Ведь вы, шутка, вице-губернаторский племянник... Надо ж вам понравиться.

Причудливая Людмила теперь стала гораздо нежнее. Никто не препятствовал нам беседовать. Гувернантка Настя вздумает заметить ей иногда, зачем она слишком долго сидит со мной, но Людмила с полуулыбкой и косым взглядом посмотрит на нее и скажет:

— Что̀ с вами? вы злы сегодня? Оставьте нас. Так что ж вы говорили, pardon... Она не будет больше злиться, продолжайте.

— Я говорю, что в мои года мужчины больше всего заслуживают любви.

— Почему это? Вы так молоды. Какая у вас славная цепочка! Покажите.

— В эти года все чувства свежее и сильнее. Eugène Sue говорит...

— Разве вы недовольны? Чего ж вам еще? Ах, кстати, отдайте мне то... Вы знаете...

— Что такое?

— То, что̀ я вам писала.

— Право, со мной нет. Я принесу вам в ту субботу.

— Ка̀к! Вы осмелитесь мне принести? Вы расстанетесь с ним? Подите прочь — у вас нет сердца! Вы лед. Я не хочу с вами сидеть... Паша! сыграй нам Анну-польку... Митя! пойдем.

— А со мною?

Не хочу!

Иногда она бывала гораздо грустнее.

— Будешь ли ты верен? — спрашивала она шопотом, пожимая мне руку.

— Еще бы!

— Будь! Не забывай меня. Я без тебя жить не могу.

Согласитесь, что это было приятно. Но Митя отравлял все мои удовольствия. Я никогда в жизни не видал ничего отвратительнее его. Отец принужден был взять его из корпуса, потому что там беспрестанно наказывали за лень и шалости. Жирный, краснощокий, курносый, маленький, он совался везде в курточке и с отложным воротником, ездил везде в собранья, лез ко всем взрослым, вмешивался в разговоры. Дома затеивал шутки одну грубее другой; перепортить работу сестрам, нагрубить снисходительному отцу, зажарить живую кошку в печке, индюшке ни с того, ни с сего отрубить голову — вот его любимые дела. Бедной старой француженке, гостившей у них одно время, он насыпал на голову целую коробочку с такими насекомыми, которых я назвать не хочу. Мне он всегда старался досаждать, хотя и говорил, что очень меня любит, звал меня Володей и подольщался иногда ко мне с гадкою улыбкой. Входишь, бывало, в гостиную... так славно идешь... На столе лампа, ковер. Старик сидит на диване с трубкой, такой красный, седой, почтенный; Маша и Людмила работают около него или читают громко; Дольская с кем-нибудь на эсе... Идешь разодетый, причесанный, поклонишься — а он вдруг выскочит из угла и схватит за ногу, которую отставишь, чтоб шаркнуть. Раза два я чуть-чуть не упал. Иногда так ловко отстегнет штрипку, что я и не замечу, и хожу — а штрипка болтается. Были у меня на одной курточке рельефные бронзовые пуговицы с кабаньими, оленьими и собачьими головами; я их очень любил, а он измарал их мне потихоньку каким-то составом. Однако я был сильнее его, и он боялся меня, несмотря на всю свою наглость. Начнет рассказывать что-нибудь, непременно развратное, грязное, грубое: о том, как поступили офицеры или приказные с какой-нибудь несчастной женщиной, как

жена мужа надула и что̀ из этого вышло; показывает самые грязные картинки, которые называет почему-то соблазнительными... Меня никогда ничто подобное не могло соблазнить; я слишком высоко ставил чувственные наслаждения; я дорожил своею невинностью не для невинности, которую вовсе не ценил, а для того, чтоб быть достойным чего-нибудь изящного. И какие-нибудь пьяные стихи, особенно наши русские, какое-нибудь непристойное сочинение XVIII столетия, где мать, дочь и гувернантка предаются самой необузданной жизни — все это возмущало меня и все это нравилось Мите. Вероятно, он и сначала в душе не жаловал меня. Отец, сестры, зять, все ставили меня ему в пример, даже при мне беспрестанно говорили, что я умен, образован, так хорошо одет, так скромен и любезен... Он, вероятно, чувствовал ко мне то, что̀ я чувствовал к Петруше дома. Это была зависть и досада более буйной натуры против сверстника более приличного, сдержанного и благоразумного. Но Митя не старался с намерением вредить мне, пока не приехал из Москвы погостить на лето к Салаевым двоюродный брат их, Березин. Он был годом старше меня; бледное лицо его было довольно красиво, но постоянно выражало каприз и гордость. Родители его имели состояние и очень хорошо образовали его. Он слыл за дельного ученика; по-французски говорил не хуже меня, а по-немецки гораздо лучше, выписывал сам на карманные деньги русские журналы, много читал, а еще больше разрезывал листы и ставил книги на полку. Встретившись в первый раз, мы робко наблюдали друг друга и разговор начали так:

— Очень приятно познакомиться, — сказал я.

— Очень приятно.

— Вы в Москве живете?

— В Москве.

— Какие вести с Запада?

— Бюжо́ разбил мароканцев при Исле.

— А! Бюжо́! я очень рад.

— Вы что̀ теперь читаете?

— Les trois mousquetaires.

— Французская литература пуста! — воскликнул он. — Вот Шиллер, Гете, наш Гоголь...

— Кто это Гоголь?

— Как, вы не знаете Гоголя? неужели? Это великий поэт; это молодой человек, красавец собой, с чорными кудрями до сих пор. Ни одна женщина не может устоять против него, когда он посмотрит... вот так... Он теперь в самых близких сношениях с графиней Неверовской.

Как не взять поэта, против которого и графиня не имеет сил! Быть может, он научит меня, даст мне в руки неслыханное орудие! Березин дал мне Гоголя и указал на статьи Белинского. Благодаря ему, я вдруг погрузился в совершенно новый для меня поэтический мір, где о высоком говорилось таким своеобразным языком, где смех был неслыханного рода, но как-то непостижимо знако́м и близок самым недрам моей души. Белинского я каждое послеобеда с педантической честностью клал на вышитый пюпитр и читал его, местами наслаждаясь, местами только уважая себя за способность смотреть на такие строчки. Бывало, в голове потемнеет, а на душе легко и пройдешься раза три гордо по комнате или отворишь окно и показываешься прохожему: пусть; мол, знают, какой человек тут живет! В связи с этими драгоценными ощущениями во мне быстро вырастало расположение к начитанному сверстнику, и беседы с ним стали мне тем более дороги, что Юрьев, Бог знает почему, около этого времени стал отдаляться от меня. Ко мне он вовсе не ходил; у Салаевых был всего раз; когда я протянул ему руку, он осторожно дотронулся до нее концами пальцев, сжал губы, закрыл глаза, вежливо поклонился, пробыл несколько минут и ушел. Другой раз я встретил его на улице и остановил его; он улыбался и молчал.

— Ты не поверишь, ка̀к мне это больно, — сказал я ему. — Помнишь, как мы славно проводили время, гуляли по вечерам или у меня сидели на широком диване с сигарами! Приходи...

— Знаете ли, кого ныньче называют образованным человеком? — спросил он.

— Кого?

— Вот стихи:

Над всем смеяться кто умеет,
Кто по-французски говорит,
Карманы пухлые имеет,
И к тому же сибарит...

— Прощайте, успехи вас ждут везде!

Опять коснулся пальцев и с холодным спокойствием лица ушел в своей длинной шинели. Волей-неволей я должен был оставить его и спешил наполнить пустоту сердца дружбой с Березиным. Мы читали вместе Купера, разговаривали о лианах и бананах, о молодых негритянках, о том, что какая-нибудь пышная креолка лежит теперь в кисейном платье на пестром диване и обмахивается веером... А нас-то нет там, где мы должны были быть. Не всегда, однако ж, мы были согласны. Он слишком высоко ценил ловкость, смелость и успех; когда прочтет книгу, только и слышишь от него: «А каков молодец! как он ему закатил! как он ее надул!» А я всегда жалел тех, кому не везло. Любезничать с дамами он считал делом презренным и дружескую выпивку предпочитал самому нежному свиданию, а рассказы о буйных и грубых приключениях любил не меньше Мити. Несмотря на это, я беспрестанно приглашал его к себе и еще чаще прежнего стал ходить к Салаевым, чтоб встречать его. И при нем стыдился слишком долго сидеть с Людмилою. Но в его душе уже зрела ненависть. Не знаю, что̀ заставило его строить против меня ковы: предпочтение ли дам возбудило его зависть, желание ли куда-нибудь направить жажду таинственной, романтической деятельности, которая его пожирала, досада ли за то, что раз я поборол его при всех, а другой раз выиграл пари о том, кем написан «Цинна»: Корнелем или Расином... не знаю...

Вначале он писал ко мне такого рода немецкие записки, по два раза в день: «Душа моей души! Сердце моего

сердца! С тех пор, как я тебя узнал, я понял, что мне прежде недоставало друга. О, как я люблю тебя! Одно твое присутствие озаряет все. Приходи, приходи. Какие стихи я тебе прочту!»

Я отвечал в том же духе по-французски, потому что по-немецки хорошо не мог писать:

«Благодарю тебя, мой добрый и милый Евгений. В одинокой и печальной жизни, которую я принужден вести в суровом доме тирана, дружба твоя для меня неоцененна. В 6 часов мы будем вместе. О, не покидай меня! Ты знаешь, у меня только и есть на свете два существа, невыразимо любимые: Людмила и ты».

Перед отправкой я раз или два всегда перечитывал свои записки, заботясь о слоге.

Каково же мне было видеть после этого, что Березин подучает Митю повторять надо мной свои проказы, называет меня иногда дамским угодником и полушутя заступается за Митю, когда я на того рассержусь.

Людмила смотрит иногда на него пристально и качает го̀ловой.

— Что̀ вы? что̀ с вами? — говорит он, краснея.

— Молчите, молчите! — скажет Людмила.

А он покраснеет еще больше и отойдет.

Наконец все разразилось. Однажды я пил у Салаевых чай вместе с Юрьевым и другим, весноватым, курносым и уже большим гимназистом. Стол для чаю был уже накрыт, но в зале никого из старших не было, кроме беспечной гувернантки Насти. Я предложил Березину и Мите прыгать из окна в сад (с Юрьевым мы едва поздоровались).

Березин насмешливо посмотрел на меня, махнул рукой и сказал:

— Куда нам, батюшка! Вы люди светские, ловкие; а мы труженики, книгоеды!

При последнем слове он дружески обнял Митю и потряс его, как бы возбуждая к отпору.

— Ну, уж Митя, — отвечал я, — совсем не книгоед! Он, скорее, дармоед!

Юрьев и другой гимназист захохотали.

— Если я дармоед, так я удивляюсь, зачем вы к дармоеду ходите? — возразил Митя.

И глаза его заблистали.

— Я совсем не к вам хожу, — неосторожно ответил я.

— Другие тоже не нуждаются, и вы можете прекратить ваши посещения.

В это время подошла Настя.

— Что̀ вы говорите глупости! — сказала она Мите, — я скажу вашему папа́.

— Попробуй-ка! — возразил Митя, показывая ей кулак, — я всем расскажу про тебя такую штуку... помнишь, во вторник? Я тебя выучу у старика на коленях сидеть!

Настя покраснела, глаза ее помутились, и она быстро ушла. Я сел один к чайному столу в волнении и решился спросить у Дольской, следует ли мне обращать внимание на слова наглого ее брата; между тем враги мои беспрестанно входили и уходили, то спускались в сад, то шептались на балконе, и курносый гимназист был с ними. Юрьев тоже ушел из залы, но в их компании его не было видно. За чаем Людмила шепнула мне:

— Не ходи в сад, умоляю тебя, не ходи.

— Отчего?

— Прошу тебя, не ходи.

Однако я взял палку и пошел в сад. Едва я успел сделать два шага, как на меня из-за кустов полетели куски земли, щепки и даже обломки кирпича. Вслед за этим из-за куста выскочил Митя и схватил меня сзади. Я ударил его палкой, но он успел ее вырвать и сломал. Я кинулся на Березина и повалил его; но в эту минуту кто-то накинул мне на голову шинель, уронил меня наземь и изо всех сил ударил меня кулаком по спине. Я в бешенстве старался высвободиться и вдруг услыхал грозный голос Юрьева:

— Прочь, мужик!

И раздался громкий удар, за ним другой и третий; я высвободил голову и увидел, что весноватый гимназист

лежит на земле, а Юрьев с презрением толкает его в бок ногою.

— Своих-то, своих-то, свинья! — жалобно говорил гимназист.

Но Юрьев был бледен и спокоен; он взял меня за руку, привел в пустую залу и, не говоря ни слова, отыскал мою фуражку. Я протянул ему руку с чувством; но он строгими глазами посмотрел на меня, почтительно поклонился и указал на дверь. Я ушел.

Не стану описывать моих чувств, они понятны; но этим не ограничились преследования Березина.

XIII

Я, разумеется, решился не ходить к Салаевым; но в тот же вечер принесли мне записку от Людмилы. Человек сказал, что ее принес Юрьев, отдал и ушел. Вот что̀ писала Людмила:

«Милый, милый мой Вольдемар!

Не обращай внимания на козни этих злых людей. Я не виновата и жду тебя. Я все сказала сестре, и они не осмелятся более вредить тебе. О, когда я прижму тебя к моей груди! Когда в объятиях твоих я забуду весь мір, верный мой друг! Уже полночь. Свеча моя догорает, но я ложусь с упоительной, страстной мечтой о тебе. Прощай! Прилагаю записку от Березина, из которой ты увидишь, за что он ненавидит тебя. О, если бы я могла тебя прижать к своему пылающему сердцу!"

Я нашел, что записка эта очень подходит к тому идеалу, который я составил себе для любви; но письмо Березина к Людмиле поразило меня и неожиданностью и горестью:

«И вы могли полюбить этого пустого, светского болтуна! Вы не способны ценить любовь глубокой, поэтической

натуры! Но я отмщу; я неумолим. Характер мой похож на характер Люкреции Борджиа».

Я обождал несколько дней и пошел к Людмиле. С смущенным сердцем взялся я за ручку двери, отворил ее и спросил у слуги, дома ли господа.

— Дома, только вас не велено принимать.

Я посмотрел на него с удивлением и вышел. Оскорбление не мучило меня: помню, что я с спокойною решимостью шел домой, не чувствуя за собой никакой вины; об одном я молил Бога, чтоб не узнал никто о моем стыде, и пуще всего дядя.

Июнь был в исходе. Александра Никитишна немного поправилась, ходила по своей комнате и сидела иногда у открытого окна. Чтоб ей легче было сходить в сад, дядя перевел ее в нижний этаж. Прошло не более двух дней после того, как Салаевы отказали мне от дома; я занимался с Ревельé, как вдруг Александра Никитишна прислала за мной.

— Что это за письмо, — сказала она, — я почти ничего не разобрала... Какие-то козни, бульвар! Кто-то подкинул, должно быть, ошибкою сюда; Лена нашла его на окне.

Я взял письмо. Оно было очень нечетко написано; но в изломанном с намерением почерке я узнал руку Березина. Тетка, утомленная и равнодушная ко всему, прилегла на постель и спрятала лицо в подушку, а я подошел к окну и прочел:

«Все ваши козни открыты. Все поняли, что вы хотите воспользоваться доверием невинного ребенка-девушки, которая любит вас. Но как вы ни коварны и сколько ни умели вы скрывать ваши иезуитские планы под маской скромности и светского приличия, нашлись люди хитрее и умнее вас. Они вас разгадали, и война будет безжалостна и беспощадна! Не советую вам ходить около 9 часов по бульвару. Вас хотят изувечить. Вы встретите там трех людей: двое будут в синих чуйках, а один в сером пальто».

— Не говорите дяде, прошу вас, ради Бога! — воскликнул я, обратясь к тетке.

— Ступай, ступай, — сказала она тихим голосом и указала на дверь исхудалою рукой.

Долго ходил я по зале, перечитывая письмо. Который час? Еще 8... Нет! я буду там... Они не посмеют тронуть меня; они знают, что̀ будет им от дяди и от городского начальства! Но я пойду, не осрамлюсь, и пускай лучше буду избит, чем обвинен в трусости. Оружия нет со мной, трость даже сломана и осталась у Салаевых; но я возьму узловатую палку Ревельé, а в боковой карман положу большой циркуль вместо кинжала. Подойди тогда! В глаз, так в глаз, в щоку, так в щоку!

В половине девятого я уже был на бульваре. Сначала там не было никого; потом прошли двое рабочих; прошел пожилой офицер с маленькою девочкой; несколько пролеток проехало мимо, но моих синих чуек не было. До половины десятого ждал я их в торжественном волнении и наконец самодовольный вернулся домой. Но здесь уже ждал меня дядя; он встретил меня в зале, и глаза его были огромны.

— А! господин искатель приключений! Подите-ка сюда.

— Что вам угодно?

— Что? что? Ты думаешь, что я тебя взял для того, чтоб в мой дом подкидывали письма, чтоб имя Ладневых позорилось по городу... чтоб тебя выгоняли?

Он сжал кулаки и подступил.

— На Кавказ! хочешь на Кавказ солдатом?

Но и я уже был вне себя, не находя нигде ни опоры, ни отрады. Дрожащим голосом, но с внутренней решимостью я отвечал, что он не опекун мне, и на Кавказ солдатом никто меня не смеет сослать. Дядя поглядел на меня пристально; он вдруг охладел и утих.

— А! ты думаешь? Ну, хорошо...

Он позвал Ефима и велел запереть меня наверху в одной комнате, где, кроме дивана, двух стульев и столика, ничего не было.

— Постой, брат! тебе еще всего 17 лет, — сказал он. — Чтоб у него ни книги, ничего не было, ничего! Посидишь ты у меня на пище св. Антония.

Отвели меня в мой карцер; в нем я тяжко проспал ночь и провел мучительный день, который тянулся и тянулся без конца. Курить было нечего: кроме воды и хлеба мне ничего не давали.

Стало уже немного смеркаться, вдруг кто-то подкрался, просунул под дверь несколько папирос и шепнул:

— Барин, а барин, молодой пленник...

Я узнал голос Лены.

— Ах, Лена! — сказал я, — спасибо, что хотя ты не забыла меня!

— Дядя ваш уехал в гости. Не хотите ли погулять?

— Какое тут гулянье! Мне бы вот как нужно было сходить к одному человеку...

— Ключ мы сейчас достанем; я знаю, где он лежит...

— Ах, Лена! спасибо, Лена! А ну как тебе от него будет беда?

— Вот еще! Он прежде полуночи не вернется.

Она убежала и, немного погодя, вернулась с ключом. Я поцаловал ее от всей души и вышел на улицу. Целый день думал я о побеге в Подлипки, все в голове моей спуталось и притупилось, и только теперь, дохнувши вечерней свежестью, услышав со всех сторон стук и шум, почуяв везде пространство и свободу, овладел я сам собою. Надо было идти к Николаеву, молодому губернаторскому чиновнику, и просить у него денег взаймы; своих же не было ни гроша.

Николаев был для меня один из тех людей, которые только проходят по краю душевной жизни; связь между нами была чисто умственная, но, быть может, поэтому-то самому он долго стоял передо мною на безукоризненном пьедестале. Когда я лет четырнадцати начал присматриваться к встречным мужчинам и искать между ними русского джентельмена, долго пестрые жилеты на карточных вечерах у дяди, покрой фраков и дух разговоров не под-

ходили к тому, что̀ я встречал в «Парижских тайнах». Наконец увидел я Николаева и сказал: «Вот он». Не только профиль его был сух и благородно-строг, не только белье его было превосходно, но даже он иногда надевал, подобно Родольфу, изящный синий фрак с бронзовыми пуговицами. На столе его лежали немецкие и английские книги, и, глядя на них, я смирялся. Чего, казалось, нельзя было ожидать от такого человека? Он нашел философский камень жизни. Ка̀к хороши были его бичи, его летние фуражки! как он служил! как его уважал губернатор! как дядя его хвалил всегда при нас с Петрушей! Что̀ за лошадь играла под ним, когда он выезжал в кавалькаде с старшей дочерью губернатора! И с ней он был так прост, беспечен, как будто бы она была такой же человек, как и все. А я не мог ни вести ее под руку, ни ехать с нею рядом верхом без священного ужаса; когда она обращала ко мне свое продолговатое и цветущее лицо, поднимая длинные ресницы томных и темных глаз, я так и ждал чего-то баснословного в будущем... Точно неслыханную невесту доставит она мне, какую-нибудь милую Мери или бледную Тати, точно права мои после двух ее слов уже будут не те, и сам я стану лучше, умнее, и все женщины будут жалеть меня. А он, железный человек, на одной вечерней прогулке за городом уступил ее другому, едет со мной и говорит: «Вы верно слышали, что я женюсь на ней? Это неправда... На двоих у нас будет слишком мало! Я люблю в ней ее простоту». А сам сидит кое-как на седле и, холодно глядя вперед, слабою рукой болезненного кабинетного человека правит вороным конем, так что кирасир бы другой позавидовал! Всякому мужику на поклон он отвечает, снимая фуражку; ни к одной женщине, кроме губернаторской дочери, не подходит; не смотрит, кажется, никуда, а видит все. Он ходит согнувшись, а другой правовед, молодой прокурор, так сводит лопатки назад на ходу, что сюртук у него всегда продольно морщится. Что ж мне-то делать? Вперед или назад гнуть спину? Я делал иногда так, иногда этак, хотя

и то и другое мне было не по натуре, и спина моя, как я после узнал, была лучше, чем у обоих образцов. Одно нехорошо в Николаеве — слишком хвалит бездушную скромность Петруши и ставит его часто в пример.

Я застал его дома; он лежал на диване в удивительном халате из чорной шерстяной материи, который поразил меня скромной и строгой красотой. Дым гаванских сигар наполнял комнату, и в белой руке его был Бэкон.

— Вы читали Бэкона? — спросил он.

— Нет... где ж! — не читал...

— Читайте его. Андрюша! — прибавил он тихим голосом. Вбежал грум.

— Я хочу одеваться.

Грум стал готовить, а я решился приступить к делу.

— Арсений Николаевич, — сказал я содрогаясь, — я к вам с просьбой...

— Очень приятно.

— Уж не знаю, как вам сказать...

Николаев не отвечал, сел к своему серебряному зеркалу и начал пробирать пробор.

— Галстух! — сказал он чуть слышно Андрюше. Андрюша достал целую кучу шейных платков и подал ему один. Николаев помотал головой. Андрюша подал другой — опять то же.

— Не знаю, право, как уж мне вам сказать...

— Не хотите ли сигар? — спросил он холодно, — это трабукос.

— Мне нужны деньги...

— Что же галстух?

Наконец Андрюша нашел тот галстух, который ему был нужен.

Тогда он встал и сказал:

— Андрюша, я хочу ходить... Держи сзади халат, чтоб он не свалился с плеч. Грудь слаба — надо ходить... На что же вам деньги? Ваш дядюшка, вероятно, доставляет вам все необходимое.

— Я не могу просить у дяди денег.

— Верно на шашни! Напрасно, напрасно это! И почтенный дядюшка ваш недоволен вами.

Время шло; надо было спешить.

— Вышлите Андрюшу, — сказал я.

Андрюша вышел.

— Вы не скажете дяде?.. Прошу вас; если вы мне не поможете, я пропал.

Николаев остановился передо мной и взглянул на потолок.

— Накутили? — спросил он. — Я уже слышал, что вы все на мироносицкую площадку ходите. Напрасно, напрасно: там вас добру не научат.

— Вот вы все наставления читаете... А надо помочь... Я уж вам все скажу...

И я рассказал ему все, не убавляя и не прибавляя ни слова; объявил также, что намерен бежать.

— Вот видите, — заметил он, — что̀ значит разврат нравов!

— Какой разврат! что это? Мы любили друг друга, как Paul et Virginie.

Вот то-то и беда, если б вы меньше читали Кювье... Кювье, кажется, это написал?

— Ну, вот вы притворяетесь, будто не знаете! Какой Кювье! Это Бернарден де-Сен-Пьерр.

— Да. Вот если бы вы меньше читали этого Кювье, так не наделали бы столько беспокойства почтеннейшему вашему дядюшке.

— Мне очень нужно думать о его беспокойстве! Гнусный деспот!

— Будьте уклончивее, будьте уклончивее! Посмотрите на меня: я уклончив, и о нравственности моей никто дурно не скажет.

— Полноте, Арсений Николаевич! Вы нарочно взяли на себя эту роль. Я бы вам сказал, ка̀к я об вас думаю...

— Скажите; мне очень приятно (лицо его не изменилось ничуть).

— Имя ваше негромко, а вы и в Петербурге и здесь живете с знатными людьми. Чтоб отличить себя от других, вы и взяли на себя роль уклончивого оригинала и все этакое... А так как у вас много энергии...

— Да, энергии, это правда, у меня много. Вы правду сказали.

Я встал.

— Так вы не дадите мне денег?

— Не могу, никак не могу входить в такое дело. Я не могу идти против вашего дядюшки, которого очень уважаю.

Я протянул ему руку; он, дружески улыбаясь, пожал ее и заботливо прибавил:

— Петру Николаевичу передайте мое почтение и тетушке, пожалуйста. Заходите почаще...

— Как же заходить! Я уеду, убегу от дяди непременно.

— Напрасно! — продолжал он вежливо, провожая меня в прихожую. — Вы себя этим запутываете.

— Только прошу вас, не говорите дяде.

— Я никогда ничего не говорю. Только жаль, что этого Кювье так много читали. До свиданья... Заходите; мне очень приятно... Андрюша, сюртук мне тот, знаешь, и тильбюри!

Вот я опять на улице. Ничего не сладил и еще ухудшил свое положение. Кто его знает — вздумает и скажет дяде... Боже мой! Боже! научи меня! надоумь меня, к кому обратиться! Где найти опору? Тетушка, милая тетушка Марья Николаевна, где ты? У тебя легко жить, и никто там меня не обидит. Когда бы она знала, что ее Володя так грустит, так измучен... А в Подлипках теперь уж скоро ужинать сядут; окна отворены, в саду все благоухает, свежеет, шелестит замирая и темнеет... Что ж делать? Тут блеснула мысль обратиться к Юрьеву. Сегодня суббота: он, может быть, у всенощной, и мы поговорим свободно.

XIV

Юрьева я скоро нашел за колонной и, взяв его за локоть, прошептал: «Выйдем, ради Бога, поскорей! Со мной такие дела делаются, что это ужас; одна моя надежда на тебя». Он пошел за мной на церковный дворик и выслушал мой рассказ, смеясь и приговаривая изредка: «Каково! каково! Ну-ка! ну-ка!»

— Что ж? деньги нужны? — спросил он.

— Да. Мне очень совестно...

— Есть у меня пятнадцать рублей серебром да еще два двугривенных. Поезжай поэкономнее, так доедешь.

Он достал из бокового кармана старый голубой бисерный кошелек, которого вид меня глубоко тронул, и отсчитал деньги; оставил у себя рубль да на задаток ямщику еще взял рубль и сказал, что завтра к вечеру все будет готово. «Только смотри, не ударь в грязь лицом — не раздумай!» — прибавил он.

На другой день я утром выпросил у дяди прощенья, и меня выпустили; а в сумерки я сунул из окна Юрьеву свой чемоданчик; Юрьев положил его на извощика и уехал. Вслед за ним и я вышел в шинели на заднее крыльцо. Ефим увидал меня на дворе и ласково спросил:

— Куда вы это в такую теплынь в шинельке собрались?

— Сыро вечером, — отвечал я, почти бегом уходя к воротам, бросился на дрожки — и за Юрьевым.

Юрьев обделал все: дешево нанял долгих до нашего губернского города, условился, чтобы первые 60 верст ехать проселком (я все боялся погони и розысков). Нашлись и попутчики: хохлатый немец-аптекарь на всю дорогу и старая мещанка с сыном до первого уездного города. Все было готово; я протянул руки к моему избавителю.

— Прощай, прощай! Благодарю тебя, Андрюша! Я не забуду того... Я буду богат, и тогда приходи прямо ко мне за всем.

Юрьев прижал меня крепко, и слезы навернулись на его глазах.

— А ведь больно с этакой дрянью расставаться! — прошептал он.

Ехали мы проселком долго, рысцой и шагом; на станциях мужичок кормил; мы с немцем раскрыли свои чемоданы, показывали друг другу жилеты, шарфы, фраки, рассказывали друг другу анекдоты, пили молоко — я с чорным, а он с белым хлебом и сахаром, доказывали мещанке, что все христиане — христиане; она слушала, поводила глазами, кивала головой или отвечала: «так-с»... А я гремел против нетерпимости!

Денег бы достало до Подлипок, если б я был благоразумен. Но вот выехали на большой тракт; народу стало попадаться больше; часто нас обгоняли лихие тройки; попалось и два-три большие экипажа. Выглядывая из своей колымаги, я мучился завистью и стыдом. Мне казалось, что проезжие смотрят с сожалением и презрением на меня. Оставалось еще 60 верст до нашего губернского города... Нет, это невозможно; нет сил...

Приезжаем на станцию к ночи.

— Есть здесь вольные ямщики с тарантасами? Живо! Аптекарь уговаривал меня остаться; но с нами увязался, взамен старухи, из последнего города молодой лавочник; он взялся обработать все дело повыгоднее и поскорее, если я соглашусь довезти его. Дело слажено; но толстый хозяин приходит и спрашивает:

— А вы, баринушка, с стариком своим до губернии расплатились? Так полагается...

Эх, досада! останется всего два рубля, если отдать ему. Старик спит в другой избе, и мещанин выводит меня на крыльцо. Месяц светит; ночь свежа. Тарантас с лихой тройкой уж выехал из-под навеса.

— Садитесь, — шепчет мещанин. — Старый чорт дрыхнет.

— Не могу. Это вздор! — отвечал я и пошел в другую избу.

Я не знаю, какое дать имя моему чувству. Это была не простая ясная твердость: это была дрожащая, стыдливая, но непреклонная решимость. Я не знал, с чем я доеду до Подлипок, если отдам, но принес и отдал три рубля старику, которого ямщики давно уже разбудили.

Сели; ворота стали отворять; вдруг выскочил мужик наш и загородил дорогу.

— Стой! стой! — кричал он мещанину, — мошенник, за тобой полтора рубля...

— Пошел! — кричал мещанин.

Тарантас не трогался; собрались ямщики.

— Хам ты! собака!.. — говорил старик, — вот барин честный, смотри.

— Пошел! Врешь ты: я тебе все отдал...

— Выходи вон! — сказал я мещанину, — ямщик, трогай... выходи...

Мошенник вылез; мы тронулись, но едва только успели отъехать немного рысью от двора, как раздался топот и слова: «Стой! стой! Барин! барин!»

Мещанин догнал нас, вскочил на подножку и закричал: «Пошел!» Опять топот и опять крик: «Стой! стой! Полтинник... Стой!..»

Я принудил наконец своего спутника расчесться решительно, грозя выгнать его из тарантаса.

Одно дело кончено: поступлено честно; еду шибко, и встречные смотрят не с сожалением, а с завистью и почтением на меня. Как теперь добраться без беды до Подлипок? Ну! Бог поможет!.. Утром мы были уже в городе, и на постоялом дворе я узнал, что вице-губернатором здесь человек, давно знакомый с тетушкой. Что долго думать! Надел коричневый фрак à la Napoleon, галстух голубой с золотыми полосками, белый жилет и брюки дикие с широкими клетками; волосы à la polka — и готов.

— Ладнев, племянник Марьи Николаевны Солнцевой.

Вице-губернатор, полный, курчавый, добродушно-насмешливый человек со стеклышком в глазу. Он лорнирует меня снисходительно, жмет руку и ведет к жене. Та еще

добрее, еще приветливее. Оставшись с нею наедине, я прошу ее войти в мое положение, рассказываю ей с волнением, что я бежал от дяди, говорю о тетушке и Подлипках.

— Calmez vous, calmez vous, mon enfant! — говорит милая женщина и подает мне худую душистую руку, покрытую перстнями; я подношу ее к губам.

И я так понравился добрым супругам, что они не только снабдили меня деньгами, но даже на свой счет повезли вечером с собою в воксал. Там я танцовал со всеми лучшими дамами и девицами, был скромен, любезен, не острил, не ломался; словом, до ужина вел себя отлично, но только до ужина! Ужинали мы в особой комнате. Вице-губернатор, жена его, я, пожилой путейский полковник-немец, предводитель, белый, высокий, толстый мужчина с синим шарфом и брильянтовой булавкой; молодой белокурый адъютант и худощавый, длинный доктор, который сидел против меня, все время качался на стуле и, катая шарики, сардонически смотрел на меня. С самого начала ужина сосед мой, предводитель, начал подливать в мой стакан замороженное шампанское, и я скоро завладел вниманием общества. Хвалили одну девушку, из бывших в воксале; говорили, что у нее еврейско-библейский тип красоты.

— Да! — заметил я, отхлебывая понемногу шампанское, — я в этом роде воображал Иродиаду в «Juif errant».

— В чем? в чем? — спросил вице-губернатор, наводя на меня глаз со стеклышком. — В «Juif errant»... Каков! Вы знаете, господа, он убежал ведь от дяди. Расскажи пожалуйста, как это было...

Я поставил стакан и, откинувшись на спинку стула, начал:

— Да̀, я бежал. Но прежде всего надо сказать, что̀ за человек мой дядя. Это тиран. К другим он очень строг — к себе не слишком...

Все захохотали. Я продолжал рассказ.

— Да это сокровище! — воскликнул, прерывая меня, адъютант. — Нельзя ли что-нибудь из скандалёзной хроники того города?

— Зачем развращать мальчика! — заметила вице-губернаторша, — ободрять его на глупости?..

— Ему и ободрений не надо, — возразил муж.

Доктор, который до той минуты молчал, ударил по столу кулаком и сказал:

— Нет, видно, дядя его тиран плохой! Плохо он его в руках держал! Я бы его не так...

Он опять сжал кулак и стиснул зубы.

— Надо же оставлять молодым людям немного поэзии, — мягко и склонив голову набок, возразил путейский полковник.

— Да помилуйте, господа! Это какой-то нравственный урод! — закричал доктор.

— Ну, вот! Вы, Яков Иваныч, всегда trouble fête, — сказал вице-губернатор; — рассказывай, рассказывай что-нибудь про тамошнее общество.

Несмотря, однако, на то, что в голове моей сильно шумело, мне показалось, что жолтый доктор прав: я смутился, решительно отказался рассказывать — и меня забыли.

После ужина я в углу простился с вице-губернатором и его милой женой, получил от них деньги и, проспав до полудня, выехал под вечер из города очень грустный. Погода испортилась; шел частый, мелкий дождь; мне было стыдно, и после этого случая я стал лучше понимать, и в чтении и в словах других людей, что̀ значит чувство собственного достоинства и что̀ такое благородная скромность.

Однако и до родины недалеко. Вот уже и большое торговое село миновали, переехали речку; вот горка, с которой сейчас я увижу то̀, чего не видал шесть лет. Вот оно! вот они — мои милые, несравненные *мои*, *мои* Подлипки! Раскаяние, дядя, Людмила, строгий доктор, Березин — все мне нипочем; теперь я вскакиваю на облучок.

— Еще полтинник тебе на водку, пошел скорее! пошел, ради Бога!

Господи! как все мне здесь знакомо... Вот луг налево и три березки; как они выросли с тех пор! Здесь мы с мадам

Бонне встретили страшную, рыжую, быть может, бешеную собаку, и добрая старушка сказала: «Беги, беги, Володя!» Мне было тогда 6 лет всего! Но собака не обратила на нас внимания.

Вот дорога расходится надвое около небольшого курганчика; вот ракиты, избы, пруд, сам рыжий Егор Иваныч с тачкой; зеленый двор еще зеленее от дождя. Ямщик несется во весь опор... Я могу сказать: вот что я видел, вот кого я встретил, могу даже вспомнить некоторые слова; но то, что я *чувствовал*, изобразить я не в силах.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Тетушка обещала не отправлять меня к дяде, обещала написать ему как можно скорее письмо, и я заснул крепко; но было еще очень рано, когда я проснулся в приятной тревоге. Первым делом было обегать, осмотреть все знакомые углы. Много переменилось в Подлипках и к худшему, и к лучшему. И в саду, и в доме, и на дворе, и в людях, и во мне самом было много перемен. Сад стал гораздо гуще; маленькие елки на куртинах прежде чуть были видны от земли, а теперь они гораздо выше меня; пруд со стороны двора заслонился целым рядом серебристых тополей... Дом осел; все комнаты мне казались малы, окна кривы и обои сморщены и стары. Великолепная уго́льная комната была уже не пунцовая, а зеленая; узоры на обоях новые, без жизни и значения в моих глазах. Аленушки нет на свете; мадам Бонне́ умерла; Паши Потапыч нет в Подлипках — она замужем за крестьянином в другой деревне; Верочка давно уехала с мужем; Катюша созрела; Клаша давно невеста; Ольга Ивановна здесь; ее племянница, Даша, тоже у нас. Анбар снесли; два новые сруба за людской. Только и остались по-старому: раздранный пополам дуб над вершиной, величавые вязы, купающие нижние ветви в пруду. Егор Иваныч все рыжий с сизым носом и дровами, да сама тетушка, в большом чепце, то на кресле у окна спальни, то на кресле у окна в угольной, то на кресле у окна в зале. Недели через три пришел ответ от Петра Николаевича: он писал, что видеть меня у себя более не может и «даже рад, что судьба избавила его от такого негодяя и пустоголового малого... Теперь мне не до него. Жена приговорена докторами, и жить ей осталось не более

недели... Представь себе, Маша, что̀ я должен чувствовать?..»

С того дня дядя уже не имел влияния на мою жизнь; Александра Никитишна умерла, и сам он прожил после нее недолго. Изредка получали мы от него письма; под конец своей жизни он простил мне и вспоминал иногда обо мне в своих приписках.

Скоро стал я всматриваться в наших девиц. К Дарье Владиміровне уже я чувствовал некоторое недоброжелательство за то, что она племянница Ольги Ивановны. Эта тридцатишестилетняя брюнетка с мелкими и правильными чертами лица, томными глазами, величественною походкой и тяжелым разговором не нравилась мне еще во время своего приезда с тетушкой к Петру Николаевичу. Здесь же она казалась мне совершенно не на своем месте. Во-первых, она беспрестанно говорила о нравственности, о религиозных обязанностях, о порядке мертвым и сухим языком; говорила целые тирады из Расина, а я тогда, признавая его гением на словах, не мог дочесть до конца ни «Федры», ни «Гофолии». Вместо «Айвенго», Ольга Ивановна говорила «Ивангое»; возьмет Делиля, подтянет подбородок, поднимет руку и глухо начнет: «Oh! comme en voyageant dans le vaste empyrée l'imagination parle à l'ame inspirée!» Иногда, прохаживаясь вместе с Дашей по комнатам, вдруг скажет громко какую-нибудь фамилию: Roger de Rabutin, comte de Bussy. Всем она распоряжалась в доме и саду; с томною гордостью и молча смотрела на слуг и горничных, если пыль где-нибудь не была стерта; на садовника, если он не там посадил георгины, где она велела, не доделал, переделал... Медленно и систематически деятельная, точно нерусская, носилась она в чорных, синих и коричневых платьях и с локонами везде, где ее не спрашивали... и даже (о Боже!) однажды, вошедши случайно в девичью, я увидел, что она дала громкую пощочину Катюше, которой было тогда уже семнадцать лет и которая тотчас же заплакала.

Но ничто так не отвратило меня от нее, как ее поступок с Пашей Потапыч. У нас был один беглец, Ефим; без

меня он вернулся и просил прощения. Ефим был бледен, худ, одна рука была переломлена и плохо залечена. Тетушка сделала его лесником в той самой роще, в которой Палемон воспитывал Бенедикта и Леона и дрался на шпагах. Он скоро сблизился с Пашей. Рябины, худощавость и чорная борода не мешали ему нравиться, а Паша была чувствительна. Я помню, как она задумчиво вздыхала, когда я читал ей из «Живописного Карамзина» о борьбе Мстислава с Редедей: «Если ты меня победишь, возьми жену, детей и всю землю мою», — говорил бедный великан. Я грустил в душе, а Паша, громко вздыхая и качая головой, повторяла за мной: «Возьми жену и детей!» Иногда она пела про девушку, которую на охоте встретил барин и взял за себя, и всякий раз плакала. В Петербурге, когда мы с тетушкой ездили к брату, она водила меня в Летний сад, в церковь, смотрела со мной вместе по вечерам в окна на Невском; на свой собственный бедный пятачок покупала мне яблок или пряников на лотках. Ее молодое, курносое и доброе лицо не выходило у меня из памяти. Едва ли бы у тетушки достало духу так строго наказать ее, если б не Ольга Ивановна. Узнавши, что Паша в тягости, она с негодованием прибежала к тетушке и сказала ей, что надо примерно наказать такую бесстыдницу, которая забыла, что в доме есть молодые барышни, забыла всю доброту Ольги Ивановны, два ситцевые платья, которые она давала ей в год, и даже старый мериносовый салоп! Паша осмелилась отвечать, что служит она не ей, а Марье Николаевне.

Я воображаю, что̀ говорила Ольга Ивановна о развратe в доме и о слабости тетушки! И вот, Пашу отдали за мужика, который недавно овдовел, а Ефима сослали в арестантскую роту. Ольга Ивановна хотела даже настоять, чтоб Паша носила не кичку, а сборник: пусть все видят, что она наказана; но тетушка не согласилась на это и, говорят, даже заплакала, услыхав из спальни рыдания Паши. Каково же мне было слышать все это! Еще долго строгие и дельные характеры будут у нас неприятны и

неуважительны; а тогда-то каково было смотреть на все подобное и чуять неопытным умом, что одно спасение в снисходительной распущенности, даже в слабости!

Дарья Владиміровна была приятнее тетки. Она, бесспорно, была красива собой: высокая, гибкая, черноволосая, с римским носом и живыми карими глазами, во мнении многих она могла слыть за красавицу; но я ненавидел тогда все монументальное, высокое и величавое и любил только доброе, свежее и простое. А она проста не была. Походка ее была еще величественнее теткиной, потому что при росте ее и стройном стане ей было сподручнее и больше к лицу так ходить; но Клаша скоро сообщила мне тайком, что это вовсе не ее манера, а что она провела последнюю зиму в Петербурге у одной графини, которая так ходит и говорит даже всегда протяжно и слабым голосом, как Даша теперь, но что у Даши это скоро пройдет. Дарья Владиміровна была гораздо образованнее Клаши; воспитывалась она в очень светском доме; по-французски говорила изящно, хотя иногда слишком игриво и изысканно для русской; знала немецкий язык и немного английский; читала множество романов; танцовала как сильфида, склоняясь слегка к кавалеру; могучим контральто исполняла самые знаменитые итальянские арии. Цыганские романсы пела она по-цыгански, с теми же движениями, с теми же неправильностями выговора: вместо силы употребляла всегда раздражительность; не скажет просто: *мы две цыганки чернобровыя*, а всегда *черррнобррровыя*. Клаша удивлялась и завидовала ей.

— Посмотри, — говорила она мне, — какие у нее прекрасные руки.

— Что ж тут хорошего! Длинные, предлинные пальцы, большая, белая, мягкая рука... как мертвая! Твоя лучше, — отвечал я, поднося маленькую, сухую руку Клаши к своим губам.

— Как же! — возражала Клаша со злобой в глазах, — где нам с ней равняться! Она петербургская, а мы здешние. Она красавица, а я что?

— Красавица! — возражал я. — Терпеть не могу таких наглых глаз. Прыгают, прыгают, и руками жесты, и что̀ за позы!

До поз Дарья Владиміровна была большая охотница. Раскинется на диване, ноги подберет под себя или выставит слегка носок красивой ботинки, рука висит где-нибудь, а голова назад. Тетушка была не совсем довольна этой манерой и, заставая ее неожиданно в таком положении, любила сравнивать ее с Клашей.

— Я бы вас обеих в одной ступе столкла: тогда бы из вас, может быть, что̀-нибудь путное вышло. Ну, посмотрите: одна всегда толкачом сидит, как деревянная, а другая целый день кость-костью по софам валяется.

Клаша была совсем иного рода. В те года чувственное избирательное сродство было сильнее всего, а прежняя вялая, бледная и полная девочка сделалась к этому времени тоже довольно полной и довольно медленной, но цветущей блондинкой. Глаза ее были бездушны; но над ними чернелись брови такие тонкие, ровные, точно нарисованные, и белый лоб был без малейшей морщины. Двигалась она робко, часто озиралась при чужих, боялась хоть на минуту подняться над самыми вседневными разговорами, считала себя неуклюжим существом, приходила в отчаяние от полноты своего стана, вальсировала тяжело, сгорая от робости и самолюбия. При чужих и в гостях я не любил ее; но я любил ее дома, в простом холстинковом платье, с нашей домашней речью, в роще за грибами, в саду на клубнике, в моей комнате на диване. Тут мы беседовали, шутили, смеялись без конца. Она, точно так же, как и я, любила Подлипки, знала до совершенства каждый закоулок, понимала меня, когда я говорил, что в Подлипках и умирать должно быть легче, что здесь самая трава имеет больше смысла, чем в других местах; знала по имени каждого крестьянина, каждого ребенка в деревне; знала, кто злой и бьет жену, кто добр и не бьет, или бьет мало; любила ходить на свадьбы осенью и зимой, сидела там в почетном углу, и ее величали в песнях. С

одного взгляда понимали мы друг друга; тетушка кашлянет от радости или гордости, когда я войду, Ольга Ивановна сделает тонкое или благородное лицо — мы переглянемся только, и знаем каждый, о чем думает другой.

По возвращении моем от дяди, мы недолго церемонились с нею; через неделю стали на *ты*, играли в фофаны, дураки, зеваки, пьяницы, даже в носки. Я гонялся за ней по комнатам, ловил, бил картами по носу, а Дарья Владиміровна сказала мне, когда я хотел с ней сделать то же: «Нет-с! Уж меня оставьте. Une fois pour toutes je vous prie d'être poli. Я не охотница до грубых манер. Я к ним не привыкла».

От Клаши узнал я все, что̀ случилось без меня в Подлипках: узнал, ка̀к умирали мадам Бонне́ и Аленушка, ка̀к Степан женился на Наталье, ка̀к Наталья испугалась, что барыня будет гневаться, и убежала из Подлипок, ка̀к ее вернули, какой платок был у нее на голове в день свадьбы, какой сюртук на Степане — все, одним словом, все в самых живых и забавных чертах. И доброты я в ней видел много самой утонченной. Еще прежде, в один из своих приездов к дяде, тетушка Марья Николаевна жаловалась, что Клаша сбирала всех закинутых, больных и некрасивых щенят, вырастила полон двор Жучек, Арапок, Крикс, Розок, кормила их сама в корыте у крыльца и цаловала их всех в морды. Наконец принуждены были половину раздать, а половину перебить.

— Вздумала даже трехногого котенка воспитывать! Я его велела утопить. Такая гадость! — говорила тетушка.

Я был возмущен и, вспомнив об этом в Подлипках, спросил у Клаши, жалела ли она его.

— Еще бы! — отвечала очаровательная Клаша, — я ужасно плакала... Терпеть не могу этой злости. Как не хотят понять, что именно вот его-то и надо было взять, потому что у него только три ноги и его никто не любит...

Потом она вздохнула и прибавила: «Да! сиротам и некрасивым всегда плохо!»

II

Если б я мог всегда жалеть — жалеть не всех, не многих, а хотя бы одну и ту же!

— Что это вы, когда оденетесь, Даша, ходите как Настасья Егоровна Ржевская... голову назад? — говорит Клаша.

Даша вспыхивает, и дело доходит до Ольги Ивановны.

— Что это, mesdames, вы опять грызетесь?

— Клавдия Семеновна не дает проходу с своими глупыми замечаниями.

— Видно они не так глупы, — возражает Клаша, — когда вы обиделись.

— Молчите! у вас язык, как у змеи!

— Вы не можете запретить мне говорить...

Я одобряю Клашу взглядом. Ольга Ивановна обращается к племяннице:

— Я удивляюсь тебе. При твоем уме, при твоем серьезном воспитании, ты можешь доводить себя до этого! Это непростительная слабость. Ты должна презирать этот вздор и не забывать тон того общества, к которому ты привыкла с детства.

Дарья Владиміровна совсем забыла этот тон. Она даже кричит теперь, когда сердится, а в сентябре она говорила таким певучим и нежным голосом...

Дарья Владиміровна уничтожает полувзглядом; она продолжает гордо ходить по зале, и шолковое платье ее шумит. Клаша, лукаво улыбаясь, толкачиком сидит у окна; я рад, что наш деревенский принцип победил; но входит тетушка, и дело принимает новый оборот.

— Ты, мать моя, опять куралесишь? — говорит она Клаше. — Другая бы на твоем месте старалась лучше позаняться чем-нибудь хорошим от людей, которые больше свету видели... а ты только причудничаешь да жалишь всех. Не забудь, что ты сирота!

Клаша убегает в угольную; тетушка, которая была тогда еще бодра, следует за ней и флегматически точит ее еще с

полчаса. Кончается тем, что Клаша, рыдая и заткнув себе уши, начинает биться головой об стену. Тетушка в испуге уходит, а я обнимаю сироту и утешаю ее ласками, словами, насмешками над нашими противниками. Она смеется, пьет воду, которую я ей подаю, припадает ко мне на грудь и потихоньку продолжает рыдать. Потом утихает вовсе, улыбается, и мы целуемся. Какой свежий поцелуй! Как не заступиться!

Опять целый ряд живых, но бессвязных картин... В часы страстного уединения я любил воображать себе страну, где девушки просты и уступчивы, а мужчины невинны и молоды, как я. Не шутя забывался я иногда над мечтой о прелестном крае. Вот жертвенник; солнце заходит; пальмы и хлебные деревья осеняют чистые, прохладные хижины. Кругом океан; несколько простых земледельческих орудий... Десять молодых девушек в венках из листьев и цветов выходят из хижин и танцуют около алтаря. Никакие лишние украшения не скрывают их едва созревшего стана, простое ожерелье из береговых раковин на шеях и полосатая одежда около бедер... В числе их Клаша, Людмила и две губернаторские дочери, с которыми я когда-то танцовал. А мы, их верные и преданные супруги, идем с охоты домой. И на нас нет ничего лишнего. Мы молоды, красивы и сильны. Здесь нет безвкусия, нет идеалов, бледности, страданий, злобы, холодного разврата обыкновенных мужчин; нет Ольги Ивановны; но есть книги и музыка, и выбор здесь основан на наивном влечении. Хотя и жалко мне было Дарьи Владиміровны (все же она в Подлипках живет!), но я не мог ее допустить на этот остров, а бедного Юрьева допустил за голубой бисерный кошелек, сделанный, быть может, какой-нибудь непривлекательной, но любящей родственницей. Но мадрепоровые скалы, на которых должна расцвесть такая жизнь, еще не готовы; а страдания не ждут!

Не только пальм я не могу видеть, но не вижу давно груш и яблонь наших на близкой куртине, не слышу, как

шелестит наш серебристый тополь под моим окном... Вот уже неделя, как я не встаю... Бесконечные дни, душные ночи, жар, жажда... боль!.. С какой страстной благодарностью обращаю я взгляды на дружескую руку, которая подает мне пить, поправляет подушки, освежает пылающую голову!

— Подержите мне голову, — говорю я сквозь сон, — у вас такая белая, прекрасная рука... Мне легче так!..

Тетушка растерялась, и ходить за больными она не умеет; Клаша все говорит: «Пройдет! Это он *так* только!» Она ведь, как я, не верит величественному, не любит трагедии, улыбается при виде хлопот, деятельного добра, которое редко обходится без неловкого напряжения... Но ктò же это ухаживает за мной с педантическим рвением, ктò ловит взгляды мои, ктò сносит мои причуды? чей правильный профиль вижу я ночью при свете лампады на креслах в углу? Взгляну, заноет душа смутной благодарностью, и опять ночь и беспамятство... Долго не смыкала надо мной глаз Ольга Ивановна; только в последние дни сменяла ее племянница, и она не пренебрегала мною, холодные голые ноги мои грела в своих руках... Мучения мои невыносимы... Приходит священник... Я плачу и верю и не верю, что буду жив... Как, мне, мне умереть? Нет, это невозможно! Для чего же я жил?... Я плачу и говорю старику, который вздыхает, наклоняясь к моему изголовью: «Клянусь, ей-Богу, я зла никому не желал. Ах, помолитесь, помолитесь за меня! Я развратен и очень грешен... Боже! прости мне... Я ведь никому зла не желал...»

Тогда и Клаша входит робко.

— Что? как ему? Даша, дайте я посижу, а вы отдохните...

— Нет, нет, Даша, — говорю я, — не надо мне ее, не надо никого, кроме вас... Скажите ей, чтоб она ушла...

Однако время бежит своим чередом, и я уже на ногах, понемножку выхожу в сад, осмелился и в поля, но так ослабел, что встречный мужик подвез меня на телеге. А

там, глядишь, уж я и на лошади... Цвету опять, смотрю, как едет впереди Даша верхом и около нее молодой белокурый поляк с эспаньолкой, с нею ему веселее, чем с Клашей: Даша умеет говорить, Даша поет не одни пустые романсы, Даша молодецки ездит верхом, с Дашей он мог бы гордо гулять под руку по улицам...

Бедная Клаша едет сзади в коляске с старухой. Легким галопом я догоняю ездоков и прислушиваюсь.

— Чувство, — говорит он, играя концом мундштука и опуская глаза, — чувство может быть развито или приостановлено, как все другое, если хотите...

— Если хотите? — спрашивает Даша, оборачивается к нему и, гордо подняв голову, бросает на него насмешливый и томный взгляд.

— Конечно, — отвечает он, немного наклоняясь к ней: — о! конечно! все зависит от женщин... Qui est tu Leli? Ange ou démon? Вот в чем вопрос!

Еще гордый, но не гневный взгляд; удар хлыстом, и она понеслась. Мы за нею.

Бедная, бедная Клаша!

Я решился спросить у поляка откровенно, как он находит мою фаворитку.

— Она мне не родственница, и мне, право, все равно, — прибавил я.

— Что же... Если хотите, откровенно... Белый хлеб!

Поляк может нравиться. Он строен и худ, был разжалован за что-то и носил солдатскую шинель; он читал Занда и Бальзака. Глядя на него, я думаю о чем-то лихом и свободном. Косцюшко, Хлопицкий, Баторий пособили бы ему, если б он даже был и не строен, и не худощав, и не говорил бы ни слова из «Лелии». Но что сказать о нашем уездном судье? Видали ли вы подло-красивых деньщиков с сережкою в ушах и с нафабренными усами, небольших ростом? Вот вам судья. На дворе зима, ночь и мороз; уездный городок наш справляет Святки. Народ гуляет и поет на улицах; в светлых окнах мелькают тени; у предводителя маскарад. Тогда чувств не было никаких,

кроме снисходительности, веселости и тщеславия; я не удивлялся ничему, но зарубил себе кое-что на память. Особенно то, что судья был одет в длинную чорную мантию и на шляпе его колебались три огромные страусовые пера, и еще то, что дама его, испанка, в чорном вуале, была гораздо выше его. Она сидела задумчиво в углу целый час, а он, сняв маску, долго говорил с нею. Вечер пролетел; исчез огромный секретарь, одетый султаном, и его худая султанша, исправница; исчезли все тирольцы, кучера, цыганки и путеводительницы нашего польского день и ночь — одна в белой кисее с золотыми блестками, другая в чорной кисее с золотыми звездами... Пришла и настоящая ночь. День наступил пасмурный и снежный. В Подлипках как-то лучше! Мне хорошо, и Клаша улыбается. Забравшись наверх, играем мы с нею в носки, и хохочем, и возимся... В минуту отдыха и молчания мы слышим громкий разговор внизу... Идем к лестнице; Ольга Ивановна сердится. Она ходит по зале, заложив руки за спину; тетушки нет, а Даша стоит, опершись на экран, у камина, и лицо ее обезображено рыданиями.

— Стыдитесь, стыдитесь! — говорит Ольга Ивановна, — какая-нибудь секретарша смеет говорить про вас, смеет делать мне намеки. И что̀ вы нашли в этом судье? Жалкое вы существо!..

Даша, все еще рыдая, всходит на лестницу, и мы с Клашей молча даем ей дорогу... Бедная красавица!

Годам к восьмнадцати я успел, однако, составить себе план будущей жизни, и многое казалось в нем правдоподобным. Все прежнее мне не нравилось, представлялось чем-то суетным и беспорядочным. Я краснел, вспоминая о любезностях своих с дамами, о польках, об аплодисментах, о Фигаро и Розине; находил, что злобное презрение Березина и добродушное пренебрежение Юрьева были основательны, и идеал мой стал ясен, хотя и не слишком прост.

Стать добросовестным чиновником вроде Николаева (его сделали, я слышал, камер-юнкером), входить куда-

нибудь не шаркая, но серьезно и немного увальчиво, в виде молодого англичанина, скрывающего под суровой оболочкой пламенное сердце... Пусть будущий юноша вступает ко мне в комнату с таким же благоговением к незнакомому Бэкону или Юму, с каким входил я когда-то к Николаеву.

Судил я почти всех молодых людей строго.

— Помилуйте! Он ничего не знает, ничего не наблюдает, ничего не делает. У него нет никакой теории. Что̀ это за человек!

Я давал себе слово не следовать примеру брата Николая, который, как я слышал, готов волочиться за всякой и недавно писал к нам из Петербурга, что он два раза сидел под арестом за какие-то шалости в немецком клубе. Я буду не таков; для чего это молодечество, этот глупый романтизм? Надо быть положительным человеком. Пусть говорит обо мне и начальник, и товарищ с теми надеждами и тем уважением, с каким говорят о Николаеве. Я также тверд и пренебрегаю женщинами; но он болезнен, а я здоров, крепок, я невинен как Поль и буду после умеренно разгулен и добр, как Rogers-Bontemps. Умна и счастлива та девушка, которая проживет вместе со мною (камер-юнкером, читающим английских мыслителей) этот переход от первого к последнему. Я трудился, учился, читал и думал, что открыл еще никому не известный путь к счастью.

Веселая доброта, комфорт, постоянный труд и постоянное наслаждение без вреда другим — вот мои девизы... что-то вроде Беранже; но думать об этом духе, высокой стороне французского характера, выработанном из животворного единения христианства, чувственной философии и гражданского равенства, не значило, к несчастью, обладать этим духом... Самая внешняя сторона жизни, независимая от меня, не поддавалась подобному идеалу; я не видел около себя ни свободной Лизетты, ни сестры милосердия, увенчанной розами.

Большой тополь, который осенял верхние окна и балкон нашего небольшого, но красивого каменного флигеля,

сводил меня с ума. Он и зимою был живописен, когда весь покрывался инеем и на сучьях его дремали галки, стряхая с него серебряную пыль. Внутри верхний этаж недавно отделали заново; никто еще не нанял его, и я решился обратиться к Ольге Ивановне, просить ее помощи для переселения в живописное и уединенное жилище. Одинокая самобытность сглаживает что-то, думал я. Евгений Онегин жил один; все герои французских романов жили одни; конечно, Бенедикт у Занда жил на ферме дяди; но разве не мешали ему там? Жак? тот был женат, но это все не то: выбранное им самим семейство, в котором все смотрели на него как на первого, в котором самые страдания были высшего разбора и откуда только не *практический ум* вырвал его для неуместной смерти. Разве это то? Конечно, у нас в доме просторно, опрятно, даже богато; но у Дормедонта руки всегда так грязны, у него такое деньщицкое лицо с огромными усами; тетушка до сих пор не позаботилась ввести перчаток для обеда, и люди навертывают салфетки на пальцы. Ольга Ивановна, Даша... какая скучная патриархальность! Еще недавно меня выгнали из моей комнаты, потому что Вера (моя бывшая няня), остановилась у нас с шестью детьми. Какая она стала толстая, ходит без воротничка, в ситцевой блузе... Не так бы я жил отдельно.

— Не скрывайте, — сказал я Ольге Ивановне, — что вы имеете огромное влияние на тетушку. Вы не виноваты; она имеет большое уважение к вам. Другая бы употребила во зло ее доверие, а вы... Маленькие все эти ссоры!.. Стоит ли на них обращать внимания. Устройте-ка мне это дело!

Ольга Ивановна пожала мне руку и засмеялась.

— Vous êtes un bon garçon. Постараюсь и сделаю, что̀ могу.

Через неделю я перебрался во флигель, несмотря на то, что Дормедонт остался при мне и по-прежнему говорил: «Лучше дам голову срезать, чем сбрить усы». Блаженство мое дошло до такой силы, до какой не дохо-

дило оно никогда уже после и на лучших квартирах. Никакие поверхностные фантасмагории детства не могли сравниться с той глубокой теплотою, которою я тогда согревал и настоящее, и мрак будущего; я доходил до страдальческой, незнакомой до того времени неги. Помню, как не раз, устав от работы, ходил я быстрыми шагами по комнате, и все, что̀ попадалось мне на глаза, все волновало меня так сладко, так чудно, что подобных минут после я не помню. Все радовало меня в этот год: и то, что в камине совершается процесс горения, а не просто горят дрова, и то, что в Подлипках прозябают растения по всем правилам науки, выдыхая кислород и поглощая углекислоту — (точно в Америке какой-нибудь!), и то, что в Москве в морозный и солнечный день на соседней стене пробегает тень от дыма; и реформация, и походы Александра, и Белинский, над которым я уже тогда не дремал... Куда ни оглянусь, везде меня ждет счастье!.. Книг у меня много, одна лучше другой; не говоря уже о содержании, какие есть переплеты! Роскошные сафьянные и скромные с белыми, голубыми и красными буквами на дикой и гороховой бумаге... В Москве вечером мильон огней, и сколько милых девушек ожидают меня со всех сторон — и за зеркальными окнами, и за радужным стеклом лачужек, в которых есть своя красота.

Тогда и Клаша часто прибегала ко мне в салопе по сумеркам. Вечер месячный; мы сядем с ней на диван или у окна; на улице мелькают сани, скрипят кареты. Обниму ее одной рукой; она приляжет ко мне и поет:

С ним одной любви довольно,
Чтобы век счастливой быть!...

Или:

Что̀ затуманилась, зоренька ясная...

— Неужели, Клаша, все у нас с тобой так и кончится?

— Не знаю.

— А я знаю, что если так часто буду ходить к тебе сюда, я влюблюсь в тебя...

— Что ты!..

Мы обнимаемся.

— Ты знаешь ли, что мне даже иногда неприятно, если ты начнешь вспоминать о своей Людмиле...

— Милая! милая! — говорю я...

Она уходит, а я, как возрожденный, бегаю по комнатам, пою, танцую; но не ее минутная любовь мне дорога — мне дорого право надежды на многое в будущем, если в восьмнадцать лет я слышу такие речи.

III и IV

На эту же зиму приехал к нам брат из Петербурга. Он вышел в отставку, отпустил небольшую бороду, и статское платье шло к нему еще больше военного. Выражение лица его по-прежнему было привлекательно; он возмужал. На несколько времени он сделался для меня идеалом, противоположным Николаеву, полюсом его; они дополняли друг друга, оба годились бы в герои тех длинных романов, которые я рисовал у дяди на полулистах... Джентельмен и лев, блондин с короткими волосами, гладко выбритый и брюнет с бородой, делец и вивёр, англичанин и француз. Впрочем, француз Николай был плохой и раз, немного растерявшись, при одной княгине, сказал вместо «un chien enragé» — «un chien arrangé». Такие промахи случалось делать ему нередко, и я скоро стал чувствовать смутно, что он не имел бы большого успеха в том обществе, где мог иметь вес Николаев и где я надеялся со временем блистать. Особенно сильно, если и не ясно, почувствовал я это один раз, когда брат, рассматривая меня, сказал:

— Ты собой недурен; но ты никогда не будешь производить фурор между женщинами. Ходишь ты как-то согнув колени, неловок...

Так стало досадно! И я с удовольствием подумал, что есть большая разница (не только качественная, но и количественная) между Николаевым и подобными ему людьми, трудолюбивыми, увальчивыми и небрежными в обществе, и братом, у которого и фрак всегда разлатее, и волосы завиты, и лицо уж слишком триумфально. Через несколько лет я узнал, что я тогда был прав; нашлись люди, которые сказали мне:

«У вашего брата много молодцоватости не совсем хорошего тона, и потом, к чему он, как разоденется, так и шляпу уж не просто надевает, а локоть отведет, и все движения сделаются как будто риторические?»

Но все-таки Николай был поразительно красив; нельзя было не любоваться им, когда он входил, например, в собрание... Десятки взглядов обращались на него: рост, благородные черты лица, сила и легкость движений, фрак, сапоги — все было так хорошо, что почти все другие мужчины перед ним казались и хилы, и неловки, и дурно одеты. Зато же и нравился он женщинам! Его убили двадцати девяти лет, на Кавказе, после того как он, проигравшись, поступил опять на службу, и в эти девять-десять лет, от восьмнадцати до двадцати девяти, сколько приключений, успехов, романов! Были тут и молодые крестьянки, и девицы, и вдовы, и замужние женщины. Одна не хотела расстаться с ним, дней пять держала его на станции: сядет в возок — дурнота, надо еще подождать; другая, которой доктора запретили иметь детей, умерла в родах, скрыв от него свою тайну; богатые наследницы искали его руки. Но странно то, что все женщины бранили или ненавидели его потом, жаловались на него, презирали себя и его, и одна из них сказала своей приятельнице, за которой он тогда ухаживал: «Что тебе за охота!? J'ai eu aussi le malheur de m'encanailler jadis avec lui!». Конечно, я все это узнал после, не в этот раз, мало-помалу; тогда же я видел в нем только изящного и доброго человека. Жаль только, думал я, что он ездит по ночам в какие-то темные, грязные, страшные места и

смеется над постом и проч⟨ее⟩. Впрочем, это он, я думаю, не от души, а так перед другими показать... это все лучше.

Клаша была в восторге от него. Какие манеры! Как добр! Как танцует! Как одет! Как хорош! Брат обращался с нею снисходительно, весело и небрежно; скоро стал он ее называть просто «толстенькая».

— Эй вы, толстенькая! — кричал он иногда после обеда, развалившись на диване, — подите сюда! Рассказывайте мне сказку.

— Что я вам буду рассказывать? И с чего вы это взяли?

— Ну-ну, не сердитесь...

— Да я не сержусь. Я не знаю ничего.

— Садитесь около меня на кресло и дайте мне вашу руку... Рука недурна! Владимір, рука ведь недурна? А? Ты, я думаю, с ней коротко знаком... Расскажите, толстенькая, в кого вы были влюблены прошлого года?..

Она молчала; а я, лишь бы только угодить Николаю, забывал дружбу и рассказывал ему про нее, кàк она ревновала поляка к Даше, кàк она выписывала из книги стихи... Она рвалась бежать; брат держал ее за руки, а я представлял все в лицах.

Однажды я застал Клашу в слезах.

— Чтò с тобою? Чтò с тобою?

— Оставь меня...

— Скажи, прошу тебя.

— Ах, оставь!..

— Ты не имеешь ко мне доверия. Ты скрытна со мной... А мне можно все сказать.

— Тебе-то и нельзя. Ты будешь смеяться...

— Если ты влюблена, так я не стану смеяться... Если б имела привычку *фарсить*, я бы смеялся; но когда такие люди, как мы с тобой, которые не фарсят, влюбятся, тогда смеяться нельзя. Ты влюблена в Николая?

Клаша, не отводя рук с платком от лица, покраснела и кивнула головой...

— Так что ж за беда? — сказал я, — он может на тебе жениться...

— Никогда, никогда! — возразила Клаша. — Разве я пара ему?... Он такой distingué! А я и мазурки порядочно танцовать не умею...

Я утешал ее, как мог; пробовал даже очернить брата для ее пользы и для своей выгоды.

— Он ничего не делает, — начал я...

— Ничего не наблюдает, ничего не читает, — докончила Клаша. — Ах, если б ты знал, как эта ученость в тебе противна... философ!

Ревновать и сокрушаться Клаша имела полное право. Брат веселился и кутил в Москве, и Ольга Ивановна донесла тетушке, что он страшно ухаживает за одной француженкой, которая живет у г. Тренина, богатого и сильного человека. Г. Тренин почти не выпускает ее из дома; они видятся урывками в маскарадах, и, говорят, она хочет бежать с братом в Петербург от своего тирана. Слухи эти были основательны, и Amélie была даже у меня один раз во флигеле. Вот как это случилось.

Однажды вечером брат приехал очень задумчивый и долго говорил с тетушкой в ее кабинете. Я слышал, что тетушка плакала, брат говорил что-то громко, потом вышел оттуда с расстроенным лицом и, обратясь к Ольге Ивановне, которая вышивала в зале, сказал ей:

— Это все ваши кляузы и доносы.

Ольга Ивановна вспыхнула и хотела отвечать, но брат перебил ее.

— Наслаждайтесь, наслаждайтесь тем, что старуху тревожите... Мне-то все равно. Помните только, что и на моей улице будет праздник.

— Вы с ума сошли! — сказала Ольга Ивановна. — Я вас не понимаю...

— Хорошо-с! Владимір, пойдем со мною.

Во флигеле брат несколько времени ходил скоро и угрюмо по комнате. Я, наконец, решился сказать ему:

— Послушай, Николай! зачем ты тетеньку сердишь?.. Может быть, это в самом деле тебе будет вредно...

— Что̀? И ты веришь этой старой ханже?

— Как тебе не грех говорить так! Тетенька почти святая женщина...

Брат сперва захохотал, потом вдруг, насупив брови, подступил ко мне:

— Святая? святая? Это почему? Потому что она эпитрахили и воздухи золотом заказывает по бархату вышивать?.. А помочь племяннику не надо? На это нет денег? А? Что? на это нет денег?.. Ханжа, скряга старая!..

Я молчал, и хотя был сильно огорчен за бедную тетушку, но все-таки подумал: «Вот человек! Даже сердится-то красиво! как он согнется! как рукой махнет!..»

— Слушай, Владимір, — начал вдруг брат спокойнее. — Правду ты сказал тогда, что Клаша меня любит?

— Любит, любит... Она вчера плакала об этом...

Брат усмехнулся, сел к столу и начал писать записку, запечатал ее и просил меня отнести поскорее к Клаше.

Клаша с трепетом открыла ее. Лицо ее выразило волнение, глаза блистали, щоки загорелись.

— На̀, прочти, — сказала она.

«Выручите меня из беды (писал Николай). Я проигрался... Сделайте, что̀ можете, я вечно буду помнить вас. Умоляю вас, выручите меня!..»

Клаша, пока я читал записку, бросилась к своему туалету, достала оттуда сторублевую бумажку, потом жемчужное ожерелье с бирюзовым фермуаром, маленькие брильянтовые серьги и кольцо.

— Мало ведь? — сказала она. — Вот образа́! Я не знаю, как быть... Ведь это грех.

— Грех, — отвечал я.

— Что̀ ж делать?.. Ах, Боже мой!

Она села на диван и начала все это завертывать в бумагу. В эту минуту вошла Дарья Владиміровна. Мы оба покраснели.

— Это что значит? — воскликнула Дарья Владимировна с изумлением. — И образа́ сняли. Для чего это?

— Так; это мы смотрели, — сказала Клаша.

— А вам что за дело? — спросил я строго.

— Знаю, знаю я зачем! — отвечала она. — Ах, Claudine! Какие глупости! Надо знать, для кого делать. Неужели тебе не стыдно жертвовать благословением матери и всем, для какой-нибудь гадкой француженки?..

— Душенька! — сказала Клаша, — не говорите никому, умоляю вас.

— Да я тебе говорю, чтоб ты это оставила. Надо знать, сто́ит ли человек такой жертвы. Одна мысль, что это для этой отвратительной женщины!

— Вы ничего не понимаете после этого! — сказал я. — Чем эта француженка отвратительна? Вы, я думаю, читали «Лукрецию Флориани».

— Что за сравнение? Впрочем, и Лукреция ваша гадкая.

— Если б вы не жили у нас в доме, я доказал бы вам, кто хуже: вы или Лукреция Флориани!

Клаша умоляла меня глазами и жестами, но я топнул и прибавил с большой досадой:

— Подите, доносите. Вы всегда за старших!..

— Я одному удивляюсь, сказала Даша грустно, — ка̀к это я имею терпение жить в таком доме!

Она махнула слегка рукой и вышла. И поделом, — думал я; — можно ли препятствовать таким делам?

Когда я принес вещи брату, он точно воскрес: схватил их, бегло рассмотрел, надел шляпу, снял ее, бросился к одному шкапу, к другому; позвал человека, дружески взял его за плечо, отвел к углу и шепнул ему что-то... Человек вышел, сел в сани и уехал.

— Что̀, эта Амалия хороша? — спросил я, когда мы остались одни.

— Она не красавица, но так мила собой и так умна... Да вот, если хочешь, ты можешь увидать...

— Где?

— Здесь, сейчас... Она заедет сюда, если только умудрилась отпроситься к отцу часа на два сегодня... Вот ты увидишь, что̀ это за женщина! Как она поет из Беранже... И еще одну песню:

Chicandard et balochard!
Fuyez la boutique,
Ou s'fabrique la politique,
Par un tâs d'bavards!...

Да вот ты увидишь.

Вообразите себе мой восторг, мое нетерпение. Амалия приехала часа через полтора с нашим человеком на извощике, вбежала и бросилась на шею к брату. Я почтительно встал.

— А это что̀ за херувим? — спросила она (она чисто говорила по-русски).

— Это мой младший брат. Он заранее был уже от тебя в восторге.

Амалия поцаловала и меня и сказала:

— Ah! mon petit chou! если б я не обожала твоего брата, я бы тебя любила.

После этого я их о̀ставил одних...

Вечером перевез человек братнины вещи на другую квартиру, а на другой день уже многие в Москве знали об успехе его. Амели вернулась к себе. Г. Тренин, подозревая, что она заезжала к брату, запер ее, но Амели выставила сама потихоньку внутреннюю раму, выскочила из окна, села на извощика и уехала к брату. Через неделю Николай простился с нами и увез Амели. Клаша опять плакала; брат из Петербурга прислал ей письмо, в котором благодарил ее за все — и ей стало легче.

Долго не решалась она быть откровенной; наконец сказала:

— Как приятно жертвовать тому, кого любишь! Ты видел эту Амели; какая она — скажи.

— Она очень недурна. Небольшая брюнетка; лицо белое, нос немного en bec d'oiseau...

— Счастливая! — воскликнула Клаша. — Таким гадким всегда счастье. И как он может ее любить? Мне все женщины, для которых он делает что-нибудь, противны. Я целую неделю Катюшу видеть не могла, когда он ее в карету от дождя пустил, а сам сел на козлы...

— Он должен был это сделать...

— Вот еще! для всякой дряни...

При этих словах все сострадание мое к Клаше пропало. Катюша к этому времени уже была для меня не горничная, и не просто Катя, подруга детства, *а даровитая простолюдинка*, священный предмет.

V

На этот раз расскажу вам, мой друг, о том, как я познакомился с двоюродным братом моим, Модестом Ладневым. Я не раз и прежде слыхал о родном дяде, Иване Николаевиче, отверженце нашей родни. Говорили, что он женился на потаскушке, что она загубила его век, была ему неверна, родных всех ненавидела и, случайно упоминая об ней, называли ее *фигурой*.

— Ну, что ж, долго была там эта фигура?

Ольга Ивановна отзывалась о них всегда торжественно: «Это несчастное семейство!» или «я видела вчера на Никитской этого бедного Модеста Ладнева!» Тетушка Марья Николаевна, выговаривая мне однажды за то, что встретила меня в прихожей с Катюшей (она, улыбаясь, глядела мне в глаза, а я держал ее за руку), прибавила:

— Смотри, мой дружок, не шали! Вот дядя твой Иван Николаич очень был добрый, а век свой погубил через эти глупости. Ларису Онуфриевну помнишь? Вот ту самую даму, которая тебе игрушечную табакерку с пружиной подарила?

— Не помню.

— Эх, какой ты! Тебе уже тогда 7 лет было. Еще горбатый старик из табакерки выскакивал вдруг. Так эта тоже... Elle a été aussi son amante!..

Мать Модеста была дочь бедного чиновника из духовного звания. Вся семья ее пользовалась очень худой славой; одна из сестер Аннушки заставила своего мужа дать себе письменное обещание жениться, при двух свидетелях; другая разъезжала по разным городам с мужчинами. Дядя сумел, однако, ввести Аннушку в дом своей матери; бабушка ничего не знала; она слегла года на два в постель и не вставала уже с нее. Аннушку пускали за стол, но после жаркого ей приказано было выходить, «чтоб не зазналась»; пирожное относили к ней наверх.

О любви Ивана Николаевича к Аннушке старуха узнала незадолго до своей смерти, призвала сына, плакала и заклинала его не жениться... Иван Николаевич тоже плакал и обещал, но через месяц, не дождавшись даже смерти матери, женился. Старуха лишила его наследства. Начался раздел. Петр Николаевич и мой отец взяли по 400 душ, а тетушка Марья Николаевна получила 300. Братья из жалости решились отдать Ивану Николаевичу 100 душ в отдельной деревне. Он начал усовещевать их, требовать, чтобы они выделили ему все сполна. Отец мой отвечал, что мать не велела.

— Ты и возьми себе, — отвечал Иван Николаевич, — а после от себя... хоть деньгами... Тебе особенно, Петр Николаич, стыд... Ты холост и молод, а у меня положим двое детей умерли, да третий, Бог даст, будет жить!..

Петр Николаевич вспылил и сказал ему, что человек, опозоривший семью низким браком, должен за счастье считать, если братья и 100 душ уделят ему Христа-ради. Вышла ссора, и отцу моему много стоило труда удержать братьев даже от поединка. Иван Николаевич взял свою деревеньку и прекратил все сношения с братьями и сестрой.

Все это я узнал после знакомства с Модестом; тетушка всегда, вспоминая с состраданием о бедном брате, никогда не винила ни себя, ни богатых братьев.

Я знал, что Модест в Москве, что он студент, и часто думал, как бы сойтись с ним, как бы помирить его с тетушкой и уступить ему (со слезами на глазах) половину

своего наследства; спрашивал себя, умен ли, добр ли он, интересна ли его мать. Наконец один знакомый студент сказал мне, что Модест ему товарищ по курсу и что он нас сведет у себя, если я хочу. Я желал встретить бледного юношу, аристократически привлекательного, изящного даже посреди нужды, но встретил высокого, худого, весноватого, курчавого и толстогубого молодого человека, не совсем опрятного, с изменчивым взглядом и огромным чубуком в руке. Он холодно пожал мне руку и улыбнулся насмешливо. Когда хозяин дома зачем-то вышел, я взял Модеста за руку и предложил ему дружбу.

— Что нам за дело до наших отцов! — сказал я.

Модест откинулся назад, не выпуская моей руки, тускло и долго глядел на меня; губы его дрожали: потом вдруг он бросил трубку и обнял меня крепко, приговаривая: «Володя, милый Володя!»

Слово за слово, мы освоились друг с другом и, еще раз обняв меня в сенях, он сказал: «Приходи, если ты не презираешь скромной жизни».

Он жил с матерью на бедной квартире. Жолтый домишко с зелеными ставнями на одном из самых дальних и пустых бульваров, полинялая вывеска красильщика, навозный двор, девка нечисто одетая — вот что̀ встретило меня на их пороге. Имение их было недавно взято под опеку, и старуха приехала к сыну в Москву. Бедный Модест содержал ее почти одними уроками. Я приехал к ним вечером в ненастный мартовский день. Меня повели на антресоли по узенькой лестнице, и там увидел я и мать, и сына, и комнату их, довольно опрятную, но тесную и жарко натопленную... На столе, покрытом голубой бумажной скатертью, кипел самовар. Модест сидел с трубкой; старуха разливала. На ней не было чепца, и вообще она казалась растрепанною; но остатки красоты заметны были в смуглой коже, больших чорных глазах, в густой косе, еще мало поседевшей. Глядела она тоскливо, говорила жалобно, нараспев, стонала, хотя и не громко, но беспрестанно склоняла голову то набок, то на грудь.

Когда Модест, с чувством глядя на меня, представил меня ей, я поцаловал у ней руку, но не сказал ни слова. Пустословить не хотелось, а с грустного прямо начать было неловко. Анна Сергеевна покачала головой и спросила:

— Как это вы нас вспомнили, миленький мой?

— Я давно желал, тетушка...

— Полноте, милый аристократик, полноте! Что за охота богатым родственникам с бедными знаться... Что в нас? Угостить нечем, разговоров у нас нет...

— Что же это вы, маменька, — кротко перебил Модест, — таким приветствием его встречаете?.. Это не любезно.

— Ах, Модестушка! Ах, дитя! Разве можно от больной старухи любезности требовать?.. Видишь, как ты неопытен, мой милый друг, а тоже судишь!..

Модест пожал плечами. Я был смущен и старался завести разговор с ним, чтобы не слышать стонов матери; но все шло с трудом. Я боялся говорить так, как говорил обыкновенно, боялся оскорбить их чем-нибудь, обдумывал каждую фразу, тянул, останавливался, беспрестанно мысленно оглядываясь назад... Модест был угрюм, часто поправлял волосы, беспокойно взглядывал на мать. Когда старуха ушла, нам стало легче.

— Да, Володя, — начал он, вставая и прохаживаясь с трубкой взад и вперед. — Не легка жизнь нашему брату... Боже! буди милостив, Боже! буди милостив!

— Тебе очень трудно? — спросил я тихо.

— Нет, ничего, — отвечал он, тряхнув головой, — сила нужна, воля крепкая, железное сердце, а меня не обидел этим Бог. Без этого, брат Володя, я давно бы зачах. Ходи пешком за три версты на лекции да по урокам езди на ваньках по таким ухабам, что живот надорвешь... Дома больная старуха, плохой обед... Мысли своим чередом, страсти кипят вот здесь! (он ударил себя в грудь кулаком...) Иногда грудь так заболит, так заболит, что схватишься за притолку да изо всех сил к ней прижмешься... немного и отдохнешь!

Я облокотился на стол в волнении, снял локоть, опять облокотился, снял нагар со свечи (пусть видят, что я не презираю сальных свечей!). Модест продолжал ходить по комнате.

— Модест! — сказал я робко.

— Что, душа моя?

— Переезжай к нам с матерью... Я знаю тетушку Марью Николаевну. Она не откажет мне. Ты ей поговоришь что-нибудь о почтении к старшим: она растрогается...

Модест сжал мою руку.

— Нет, Володя, нельзя! Я не могу так легко мириться с людьми, которые отравили жизнь моим родителям... моей матери, лучше которой нет на свете. Володя, друг мой! Тетушка Марья Николаевна важная госпожа. Она стыдится нас. Мы позор ее родни. Она первая перестала переписываться с отцом моим после его женитьбы.

— Она добра. Позволь мне написать и просить у нее позволения.

— Пускай себе, пиши. Только я не повезу к ней свою старуху. Я знаю, ты благороден, Володя; но я чувствую такую ненависть при одном имени тех, которых преследования сократили жизнь моего отца и испортили здоровье бедной матери...

— Послушай, Модест, кто же их преследовал?

— А самолюбие, Володя? Ты еще не знаешь, что̀ такое amour propre rentré. Ты знаешь, на острове св. Елены, когда Наполеону сказал доктор, что у него рак, вошедший внутрь, так он отвечал: «Нет, это Ватерлоо, вошедшее внутрь». Многие имеют такое Ватерлоо. И она имела! Несчастная женщина! что̀ она сделала им! Вина ее была та, что она не говорила по-французски, что она была не дворянка, а обер-офицерская дочь. Отец доказал, что он благороден, женился на ней; но все-таки он был мужчина, обеспечен; он обольстил ее, увлек. А она виновата тем, что человек хотел загладить свою вину против нее. Да ведь это — чорт их побери, всех гордецов, собак безмозг-

лых — да ведь это свинство, наконец. Эх, я знаю... она была скрытна, скрытна, скрытна; и под простой оболочкой иногда живут сильные чувства. Обида глодала ее. А брось он ее, и если бы она потерялась, бедная, ее же бы в грязь втоптал всякий. Хоть при нем поела сладко, голубушка, поспала покойно. Да! а им всем, этим ханжам и скотам, подобно покойному дядюшке Петру Николаевичу, что̀ за дело? Так-то, батюшка мой! А тебе все-таки спасибо...

«Сколько прав на счастье!» — думал я, возвращаясь домой.

VI

Это новое знакомство внесло новый луч счастья в мою и без того полную жизнь. К новому жилищу моему, к морозным лунным вечерам, к тополю, к книгам, к Клаше и к Катюше, к антологическим стихам — прибавилась живая христианская черта. Конечно, я уже и прежде старался усовершенствовать свой дух; но все это было так легко, так мало пахло жертвой, так скоро забывалось, приедалось, как будто портилось на воздухе... В самом деле, что̀ стоило мне не драться с людьми, не бранить их? Были редкие минуты, в которые удержаться точно было трудно; но ведь я говорю, они были редки. Зол я не был от природы, и у нас в доме не́ с кого брать дурного примера. Тетушка никогда не дралась; разве, когда была больна и ей становилось скучно, она позовет девочку и скажет ей: «Поди сюда, Матрешка; дай-ка я тебя толкну пальцем в живот». Ольга Ивановна... Хотя я и принимался несколько раз ненавидеть ее за пощочину, которую она дала Катюше, но в другой раз она ни с чем подобным не попадалась мне... Прикащик, как я после узнал, бил мужиков в поле, но до меня это не доходило. Перейдя во флигель, я дал себе слово не толкать камердинера назад в живот кулаками, когда он подает мне сюртук, не бранить его, не кричать: «Эй, вы! Кто̀ там! Федька! Платошка!», не свистать. Но это было не столько из доброты, сколько из

желания быть порядочным человеком, годиться со временем в герои романа. Милостыня? Но разве она дорого обходится мне? Тетушка дает мне двадцать рублей карманных денег; и что̀ мне стоило уделить гривенник слепому старику, который стоял на коленях на бульваре и бил себя в грудь, выслать что-нибудь савояру, который так хорошо говорит «pour l'amour de Dieu», или помочь бедной женщине на Кузнецком Мосту (ее, должно быть, кто-нибудь научил вместо Христа-ради кричать: «Дайте мне денег — я голодна!»). Все это потрясало и радовало меня на минуту. «Нет, — говорил я, — сделай такое добро, чтобы чувствовать боль... Вот случай тебе: Модест... Сведи его с тетушкой и потеряешь часть наследства!»...

Он стал часто ходить ко мне, наговорил столько за один раз, что мне становилось и скучно, и стыдно за него. То он отдал последний грош товарищу. «Фамилия его была Дуров,— говорил Модест,— я его звал *Дурашка*, а он меня *Барашка*, потому что у меня курчавые волосы; мы с ним встретились недавно в магазине. Дурашка! Барашка! и ну, обниматься при всех, как безумные». То он любил свою деревню больше жизни...

— Под окном у нас, — говорил он с большой теплотою, — стоит огромная береза на курганчике... Отец-покойник любил это окно. Голубчик мой толст был очень в последнее время; все трубочку курит и глядит сюда... даже и зимой. Березу эту он в самый день моего рождения посадил... Мать была очень хороша собою. Бывало, утром, придет маменька в эту гостиную с венчиком, знаешь, из индеичьих перьев, сама пыль с этажерок сметет, станет обед заказывать при отце или работает. А он сидит и смотрит на нее. Захочет она уйти, он ее остановит: «Аннушка ты моя, куда ты? Посиди. Смерть люблю, как ты тут около меня шушлишься!»

Он показывал мне миньятюр Анны Сергеевны на слоновой кости, обделанный в золото, и клялся, что только самая крайняя нищета, голод доведет его до продажи этого медальона.

В старом шкафу у них стоял большой пестрый кофейник отличного старинного фарфора: я тотчас же узнал, что он из одного сервиза с нашими двумя старинными чашками, которые, как святыня, хранились у Марьи Николаевны за стеклом, и вы не поверите, что̀ расшевелил во мне этот прелестный кофейник!

Модест рассказывал мне нежно, что у него в деревне есть молодая крестница...

— Поверишь ли, Володя, она так хороша, так грациозна, так деликатно сложена, что ей приличнее было бы сидеть за роялем в шолковом платье, чем в паневе и босиком за сохой ходить.

Эта красавица вышла замуж, по словам Модеста, два года назад, за самого богатого парня из всего селения.

— Ребенок, совершенный ребенок! — заметил Модест; — вообрази себе, он еще растет и так меня любит, что весь вспыхнет, когда меня увидит, на лошади едет, обернется и долго смотрит мне вслед... «Батюшка, батюшка!» — прибавил он страстно совсем не таким голосом, каким говорят крестьяне.

Все эти рассказы: крестница, береза, медальон, дедовский кофейник, стенящая старуха, жолтый домик с грязным двором и бедный благородный студент, ныряющий на ваньке из ухаба в ухаб, из-за рубля серебром в час... Какова эта смесь? Какие картины сменяли одна другую! Сколько прав на счастье, сколько близкой возможности! Каких-нибудь три-четыре тысячи серебром, и имение спасено. Несколько раз я думал, не попросить ли тетушку, чтобы она отдала мне мое имение в руки, и дать ему тысяч пять? Но, во-первых, тетушка умоляла, заклинала меня не брать моих доходов до полного совершеннолетия; с другой стороны, надо же быть положительным человеком: никто так не поступает, так верно что̀-нибудь тут есть неладное, глупое или смешное, или неудобное? Лучше просто сблизить его с Марьей Николаевной и, вместо того, чтоб делиться после нее только с Петрушей и Николаем, поделиться и с ним. Она же и теперь может дать ему деньги.

VII

Новый мір мыслей, который открывался тогда передо мной, заставил меня презирать всякое безотчетное влечение; я старался не поддаваться ему в поступках и в выборе друзей, становился все больше привержен ко всему тому, что вязалось с подобными мыслями, что хоть несколько напоминало их. Сколько ни шептало мне чувство в пользу брата Николая, как ни было мне «по себе» при нем, я считал его ягодой не нашего поля и намерен был сблизиться с Модестом, который в первые два-три свидания разложил передо мной, как продавец, духовный товар свой. Товар этот как нельзя более подходил под мои потребности, и когда во мне в присутствии Модеста возмущалось чувство оскорбленной гармонии, поэзии такта, я пренебрегал этим внутренним голосом, считая его самой гнусной несправедливостью к человеку, который на скверных ваньках ездит во всякую погоду давать уроки, носит одежду студента, кормит мать и жалеет простой народ.

Тотчас по возвращении в Подлипки я расхвалил его тетушке, Ольге Ивановне и девицам и выпросил у Марьи Николаевны позволение написать к нему от ее имени пригласительное письмо. Я задавал себе вопрос: полюбит ли он Подлипки, поймет ли тетушку? Перед новым лицом и Даша, и Ольга Ивановна становились уже своими, и ими даже я не прочь был блеснуть перед двоюродным братом. Особенно Даша... Она могла бы быть так представительна, могла говорить такие известные французские фразы; над этими фразами мы могли смеяться с Клашей; но разве тот, кого я жду, не должен пленяться всем у меня? И он пленится, это верно! Тетушка согласилась без труда. Она не имела ничего личного против племянника. Враждебное чувство против отца и в старину, вероятно, не было сильно, а года и легкую память досады убили в ней. Модест приехал рано утром. Он не велел меня будить, а сам пошел гулять по саду. Я недаром надеялся на барышень; они показали себя в самом выгодном свете. Обе оделись к

лицу: Даша в белом кисейном платье с оборками, с пунцовой лентой на шее, а Клаша — в голубом с белыми горошками. Ее пышный стан, щоки, не уступавшие в нежности и яркости тем розам, которые были еще в полном цвету в наших клумбах, бледная свежесть брюнетки Даши, гостеприимство тетушки, наш вкусный чай и крепкий кофе, растворенные окна, шум аллей в саду, пение птиц — все это обворожило Модеста.

— Счастливец, Володя! — сказал он, обнимая меня, когда мы остались одни.

Встреча его с тетушкой была очень любопытна. Я ввел его в гостиную; он бросился к ней и начал целовать ее руки с жаром. И слезы даже показались на глазах. Тетушка засуетилась, совалась целовать его то в щоку, то в лоб...

— Здравствуй, здравствуй, дружок мой, — говорила она взволнованным голосом, — очень рада, что ты меня вспомнил. Здравствуй. Как ты на отца похож! Садись, садись... Я слышала, мой друг, о вашем несчастии. Что̀ же делать... Богу было так угодно!

— Сам бы я ничего, ma chère tante, но моя старушка...

— Конечно, мой дружок... Une mère!

За обедом Модест был очень разговорчив. Начал рассказывать, как он играл в благородном спектакле в губернском городе год тому назад, смеялся над некоторыми провинциалами, выставляя себя в виде ловкого и светского человека, так что на меня под конец обеда из-за скромного труженика выглянуло вовсе незнакомое лицо. На другой день он уже стал совсем как дома, декламировал стихи, особенно «Последнее новоселье», по-каратыгински гремел, шипел и стлался по комнате; делал также и комические штуки, представлял на тени не только обыкновенного зайчика, но и жующую старуху, и немца из платка с узлами. По утрам выходил уже не в студенческом сюртуке, а в коричневой жакетке, с носовым пестрым фуляром на шее и в широких клетчатых шароварах; умел с разбегу перебрасываться на руках через перила балкона и старался быть как можно ровнее с девицами; во время прогулок подавал

руку то одной, то другой, так что похвальная цель стала уже слишком заметна. Клаша просила меня брать всегда ее. «Он не в моем вкусе», — прибавила она.

Рассказывая что-нибудь, он часто приходил в сильный пафос, и всегда было ясно, что он насилует, подгоняет себя и не знает даже, как выпутаться из своего рассказа. Мне тогда становилось совестно и страшно. Клаша сознавалась мне в том же самом. Особенно, когда он рассказывал мне про дуэль, которую чуть-чуть было не имел в том губернском городе, где он украшал собою сцену год тому назад. Под конец рассказа он стал запинаться, краснеть, вскакивал, махал рукой и говорил Бог знает что̀. К счастию, дуэль кончилась примирением; противник извинился, и мы с Клашей переглянулись и вздохнули свободнее.

Ольга Ивановна на подобные оттенки не обращала внимания и хвалила его во всех отношениях:

— Он очень должен быть добр. У него много познаний. Он некрасив, но у него значительное лицо.

Даше тоже:

— Он очень интересен, — говорила она и уже начинала кокетничать с ним.

Модест сочувствовал всему в Подлипках. Плотно поужинав и выпив по рюмке хереса, уходили мы в нашу комнату и ложились с трубками в постель. Тогда он мне говорил:

— Здесь у вас во всем видно довольство. Видно, что люди не угнетены, а баловство не сделало их надменными.

Другой раз:

— Мать твоя очень хороша собой была. Я с удовольствием сравнивал вчера ее портрет с портретом моей. Между ними большой контраст. Одна белокурая, нежная, настоящий аристократический цветок, а другая смуглая брюнетка, с свежим румянцем — народная кровь! В одной все нерв, в другой — все кровь!

Или:

— Тетушка, однако, важный малый, патриарх такой милый, bon enfant в высшей степени! И, знаешь, у нее есть

поэзия. Я заметил это сейчас: все сидит у окна и созерцает; ничего не пропустит. Самый выбор горничных показывает, что у нее есть вкус. Какой ты, однако, счастливец, Володя! Я думаю, ты тут как сыр в масле катаешься. А? признайся.

— Ну уж, — воскликнул я — я так тебе завидовал. Здесь нет возможности позабавиться. Тетушке все доносят, и она за поведением смотрит строго. Как это глупо, не правда ли? Она как узнает про какую-нибудь из своих горничных, так сейчас предлагает человеку, который ее обольстил, в рекруты или жениться. Один такой осел пошел в рекруты прошлого года, не хотел жениться. Удивляюсь! Я бы сейчас на его месте... Она была очень недурна. Вот хотя бы взять пример из нашего сословия... Неужели бы ты не женился с удовольствием на девушке, которая пожертвовала для тебя всем? Чего еще хотеть?.. Как люди балуют себя, я не понимаю!

— Это благородный идеализм еще в тебе не остыл, Володя!

— Какой идеализм! Нет, я очень просто говорю, что жениться приятно на той, которую уже знаешь. Да и жалко ее. Девушки бедные всегда от мужчин страдают.

— Ах, Володя, Володя! ты уж слишком ценишь женщин. Они сами не знают, чего хотят. Я был знаком с женой одного молодого чиновника. Муж был гораздо красивее меня, однако я успел без труда. Она писала мне самые страстные письма. Я бы тебе их прочел, да они остались в Москве.

Девиц он определял так:

— Какие два характера! Я сейчас понял их. У меня взгляд так проницателен, что самому иногда больно. Клаша мягче сердцем; она способна сильно любить, кротко и в молчании: это Rose Bradwardine Вальтера Скотта; а та вся дышит силой и энергией. Какой рост, какой профиль, какой огонь в глазах! Вчера мы долго говорили с ней в саду. Я чувствую, что мы сойдемся... Она напоминает мне Сильвию в Жорже Занде.

— А ты любишь Занда? — поспешил спросить я с жаром.

— Нет, — отвечал он, — некоторых лиц нельзя не любить — вот, как Сильвия или Лелия; но вообще, что̀ за пошлая у нее борьба женщины против мужчин!

Эта фраза очень огорчила меня; но я скоро забыл ее, благодаря похвалам, которые он расточал моей обстановке; за похвалы окружающему, за умение поднять это окружающее, придать ему высший смысл, я готов был простить все пороки, всякую мелочность, всякое отсутствие правдивости и чувства меры.

Кроме всего сказанного, я не мог не полюбить Модеста и за то, что он обращался со мной как с ценной и крупной вещью, беспрестанно повторяя мне: «Твоя невинность и умная неопытность пленяют меня». Он прожил у нас две недели и чуть не со слезами уехал в Москву.

— Побыл бы и больше, да старуху жаль: она больна.

Тетушка была очень довольна им и советовала мне подражать ему.

VIII

О Софье Ржевской я часто мечтал, еще не видав ее. Воображал я ее себе девушкой сильной, недоступной, прекрасно воспитанной, может быть, умной. Иногда казалось мне, что Софья та самая подруга-сверстница, которая гуляет в локонах с книжкой, ожидая меня где-то далеко, в лесу, на берегу реки. Клаша и Даша познакомились с нею без меня у Колечицких, молодых супругов и родственников наших, которые любили жить весело в своей прекрасной деревне верст за 50 от нас. От Колечицких наши барышни с тетушкой ездили к самим Ржевским и прогостили там с неделю. Бесцветные похвалы, которые расточали Софье Даша и Клаша, не могли еще сами по себе сделать ей большую честь в моих глазах; напротив того, уже первая потребность отчуждения от своих для любви была знакома мне; уже мне нравилось

особенно *то, о чем* не могли знать и говорить *наши*, когда я услыхал от Клавдии Семеновны, вместе с похвалами, и живые описания из домашнего быта небогатых, но блестящих Ржевских. Клаша рассказывала мне о неприятных отношениях Софьи с матерью. Заметно было, однако, что она, признавая их неприятностями, придавала общему духу жизни, в которых они зарождались, привлекательное значение. Никакой насмешки, никакого юмора не было в ее словах. У Колечицких Ржевская бранила свою дочь за то, что она встает беспрестанно за другими девицами, когда те, от нечего делать, целой вереницей то уходят, то входят, из залы в сад, из сада в залу. Ржевская увезла дочь в самый разгар удовольствий, не позволила ей играть роль помещицы в «Барской спеси и Анютиных глазках», сказала, что пьеса эта грязна... Она была, значит, скучной помехой молодости; но кàк она умна и начитана! Кàк мил ее кабинет с резной дверью, за которой она собственным старанием разводила дорогие цветы!

— Даша, а кàк хорош рояль у Ржевских!

— Да... Помнишь, Клаша, вечером на балконе: темнота такая в саду и рояль?

— Мне нравится, Даша, походка Евгении Никитишны. Вот уж можно сказать *une grande dame*. Заметили вы ее руки? Кàк хороши! У Софьи хуже, больше...

— У Софьи руки отцовские.

— Как это вы помните его руки?.. Я его боюсь и не гляжу на него. Какая жена и какой муж!

— В молодости он был гораздо лучше ее. Разве ты не видала его портрета? Соня напоминает его иногда.

— Вот, Володя, тебе предмет — влюбись в Софью. Она получше твоей Людмилы.

«Когда бы увидеть ее!» — думал я.

Желание мое исполнилось вскоре. Недели через две после отъезда Модеста из под Подлипок Ржевские, мать, дочь и тетка, приехали к нам и провели у нас целые сутки.

Софьи не было в гостиной, когда я вошел: она ушла с барышнями на качели.

Тетушка сделала мне знак, чтобы я подошел к руке Евгении Никитишны, и меня немного обидело, что эта гордая дама поцаловала только воздух над головой моей. Боясь оскорбить неравенством Настасью Егоровну, я и к ее руке приложился — и она сделала то же, что Евгения Никитишна. Но к надменному лицу г-жи Ржевской это шло, а золовка ее показалась мне в эту минуту очень жалким существом: сухая, некрасивая, без чепца, веснушки... А туда же!

Поворачивая за деревья, за которыми стояли качели, я был немного взволнован.

Там за зеленью раздавался незнакомый женский голос.

Софья стояла на доске, схватясь руками за веревки, и я вдруг увидел в двух шагах перед собою ее цветущее лицо. Нет сомнения, это *она*! Она в локонах, в диком платье с белыми полосками; она покраснела, когда Даша (с той праздничной гордостью, с которой мы часто рекомендуем близких людей, вовсе не любя их) сказала:

— Вот наш Вольдемар!

На кого она похожа? Глаза темные, большие, как у отца на портрете, и губы такие же добродушные, как у него, а все остальное и все вместе как-то напоминает силу выражения и неправильные черты матери. Кудри темные, румянец мраморный; робка, говорит мало, а смеется мило. Что̀ бы ей сказать? На этот раз не сказал ничего; но, когда она перед отъездом похвалила наши розы, я нарвал их целую кучу, исколол все руки второпях и поднес ей букет с почтительным поклоном. Она благодарила, не поднимая глаз.

В конце сентября мы с тетушкой собрались отдать им визит. Что̀ за погода стояла тогда! Как хороша их деревня, я сказать не могу. Я уже описывал вам ее в главных чертах, а сколько живых подробностей я должен был опустить! Особенно помню я первый ясный и прохладный вечер; мы ходили гулять в лес и по берегу реки; Евгения

Никитишна осталась дома с ленивой тетушкой; я повел Софью под руку, а за нами шла Настасья Егоровна с одной соседкой, про которую я могу сказать только, что она была девица, немолода, носила большой зеленый платок, а косу обвивала вокруг головы, как в старину маленькие девочки. Настасья Егоровна не спускала глаз с племянницы и изредка кричала ей: «Софи, иди потише». О чем мы говорили, не помню; помню, что я трепетал от радости. На возвратном пути, в овраге, увидали мы растерзанный, стоптанный труп белой кошки.

— Несчастная! — сказала Софья. — Вы видели серого котенка в зале? Это ее котенок.

— Вы верно любите котят? — спросил я.

— Ненавижу, — отвечала она с гримасой, — я всех этих животных ненавижу: котят, маленьких собачонок, мышей... Так гадко... Я люблю только больших собак и лошадей. Этих котят maman велела взять; они были голодны и кричали в хворосте тут... Maman очень жалеет этих всех животных, а мне ничего; только пока крик слышу, жалко, а заниматься ими терпеть не могу.

Я вспоминаю, как я бранил Дашу одно время точно за такие вкусы, как я говорил, что она *фарсит*, как язвили мы ее с Клашей за это, а тут совсем не то... Мне казалось, что это так и должно быть, что даже стыдно любить каких-нибудь котят... То ли дело конь, большой пес?.. В них есть сила — и в Софье есть сила.

После этого мы поднялись на пригорок и увидели Дмитрия Егоровича. Он лежал на траве один-одинешенек. Заметив нас, толстяк засуетился, схватил свою трость и, поднявшись с трудом, медленно побрел к флигелю. Дочь следила за ним глазами. Он миновал дом, присел было на своем крыльце, но, увидав нас опять вблизи, опять заторопился, встал и, нагнувшись, ушел в свою низкую дверь. Софья, поблагодарив меня, тотчас же убежала к нему.

— Бедный Дмитрий Егорыч! — сказала тетка своей спутнице в зеленом платке, — как он, я думаю, счастлив теперь, что Соня пошла к нему. Он ее обожает...

Соседка глупо усмехнулась и заметила, что ведь и Софья Дмитриевна «очень жалеет папашу».

Тогда я не имел еще ни малейшего понятия о прачке, которую Дмитрий Егорович хотел когда-то засечь, нимало не думал о вредной расточительности его и знал только, что Евгения Никитишна — начало строгости, экономии в доме... Поэтому за ужином я ненавидел г-жу Ржевскую и не мог отвести глаз от бедной дочери и гонимого отца, который сидел все время молча, много ел и в промежутках между блюдами, облокачиваясь на стол, закрывал руками лицо. Я не жалел Софью; не знаю, как другие, а я никогда не умел сильно жалеть того, кто мне сильно нравился; но я уважал, уважал ее глубоко, когда она накладывала на тарелку отцу его любимые куски, шептала ему что-то на ухо, заставляя чудака улыбаться, или сама завязывала ему на шею салфетку.

«Мегера! Мегера!» — думал я, глядя на Евгению Никитишну, и с холодностью слушал ее умные рассказы о Петербурге, о графине N*, о князе C*, об итальянской опере, о m-me Allan и Virginie Bourbier.

Мы хотели ехать на следующее утро, но, проснувшись, увидали, что все небо обложило тучами и что дождь теперь нескоро перестанет идти.

Евгения Никитишна сказала тетушке:

— Куда вы спешите, Марья Николавна? Я, право, так рада вас видеть и вспомнить с вами старину! Прежде мы видались часто. Посмотрите, что̀ делается на дворе. Подождите, быть может, завтра будет лучше.

Тетушка взглянула на меня, я улыбнулся.

Евгения Никитишна обратилась к дочери:

— Это ваше дело, Софья Дмитриевна, занять молодого человека, — сказала она.

Софья покраснела и я тоже.

Дождливый день прошел с приятной медленностью. Да̀, я был рад, что время между завтраком и обедом тянулось долго. Софья принесла сама в гостиную целую кипу книг с политипажами и гравюрами, и мы часа два рассматрива-

ли их, сидя рядом на диване против дверей, чтоб старшие могли нас видеть. Изредка входила к нам Настасья Егоровна и, наклонясь над столом, спрашивала:

— Это кто, бишь? я забыла...

— Это Godefroi de Bouillon, — отвечала Софья.

— А! да! Godefroi de Bouillon! — восклицала Настасья Егоровна и гордо отходила.

Софья показывала мне иногда пальцем на картинки; руки ее (правду сказала Клаша) были немного велики; но какими почтительными и вместе страстными глазами я впивался в них! После прекрасного обеда Софья, Настасья Егоровна и я играли в домино. Потом Настасья Егоровна села за рояль и играла нам танцы, и мы танцовали, с позволения матери... Вечером в гостиной затопили камин, и Евгения Никитишна вызвалась прочитать нам что-нибудь громко (карт тетушка не любила, а сказки слушала охотно). Выбрали «Ундину» Жуковского, и г-жа Ржевская читала с чувством и с уменьем. Печальный муж ее слушал тоже, в темном углу за камином.

— Как это свежо! — сказала Ржевская, закрывая книгу. — Вы верите этому, Марья Николавна?

Тетушка не нашлась, развела руками, улыбнулась...

— Хотелось бы верить! — прибавила Ржевская, опустив глаза и рассматривая кольцо на своей прекрасной руке.

Она показалась мне очень молодой в эту минуту.

За ужином посмеялись и пошли спать. Я заснул в упоении. Нас хотели удержать еще на два дня, но тетушка справедливо думала, что дождя этого не переждешь.

— Что? не скучал? — спросила она дорогой.

— Какой скучать! Какая умная женщина Евгения Никитишна!

— Еще бы не умная! — воскликнула тетушка; потом прибавила, громко прищолкнув языком, — жаль только, нравна очень! Катюша мне вчера, как я спать ложилась, рассказала, от девок слышала... не только дочь или муж, золовка пикнуть не смеет; как та голос поднимет, эта уж и дрожжи пролила от страха!

Тогда, дорóгой, я узнал от тетушки всю историю Ржевских. Я не понимал, кàк могла женщина так круто поступить с красавцем-мужем, кàк у нее достало духу. Ума и силы сколько! Какова-то дочь?

Умна Софья показалась мне с тех пор, как девицы наши написали мне в Москву, что Ржевские еще раз в ноябре по первому пути были у нас, что Софья в восторге от меня, говорит: «какой милый!» и даже целовала при них мой дагерротип (не забудьте, что она не более года тому назад оставила институт). Я говорю, что с этой минуты она показалась мне умною девушкой; и говорю я это без всякой насмешки над самим собой. К этой поре я уже любил и уважал в себе давно не то, что̀ уважал и любил прежде, и мне все казалось, что она понимает это; казалось, что я бы ей не понравился, если б она не слыхала или не угадывала кой-чего; я думал: «до нее долетит благоухание *юноши-дельца*», так точно, как до меня долетал смутный дух ее домашних страданий!

IX

Я давно уже сказал вам, что Катюша выросла и похорошела. Свежее, не слишком белое лицо ее было продолговато, каштановые волоса густы и мягки, хотя и пахли немного ночником; руки невелики и всегда чисты; ростом она была невысока и смотрела весело и бегло. Она была стройна без корсета и могла бы выдержать сравнение с самой привлекательной субреткой, если бы в манерах ее было поменьше грубоватого простодушия. Она ходила иногда немного согнувшись, размахивала руками, была всегда занята и всегда добра; когда ей случалось смеяться при господах, она закрывала рот рукой, несмотря на то, что зубы у нее были гораздо лучше, чем у всех нас, и закрывать поэтому было нечего. Долго не решалась она заботиться о своей наружности, носила узкие, обтянутые рукава, как наши старые горничные, и стыдилась подра-

жать барыням в покрое платьев и прическе. Когда ей нужна была вода для чего-нибудь, она не посылала, как другие девушки, мужчин на колодезь и не спорила с ними, а шла сама, сильной рукой вертела колесо, доставала бадью и потом тащила огромный кувшин домой, перегнувшись на один бок, оттопырив свободную руку и раскрывши иной раз, в рассеянности, рот. Зато все люди любили и уважали ее, никто на нее не жаловался, никто не бранил ее, никто даже не звал Катькой; один называл ее кума, другой — сватьюшка, третий — душечка-Катюшечка, четвертый — Катя. Сто́ит зайти ей на минуту в людскую, уже сейчас зазвенит там балалайка, затянется песня, заиграет гармония, заходят половицы... Сама тетушка говорила:

— Терпеть на могу этих расфуфыренных модниц! Вертит, вертит хвостом, только ветер поднимает, а толку ни на грош! Вот Катюша — девка, как девка: и работящая, и безответная, и опрятная.

Я скоро стал обращать внимание на старую подругу моих игр: сначала возобновлял дружбу всякими шалостями, беготней по задним дворам, ловлей на чердаках, наконец, просто, борьбой, в которой я хотя и брал всегда верх, но не без труда, потому что она была смела, сильна и увертлива. Под влиянием детски грубых страстей я забывал иногда мужское самолюбие и говорил ей в деревне: «Знаешь, что... Пойди-ка со мной в сени; там огромная собака... я один с ней не слажу». Она поверит и пойдет, а собака выйду я сам и брошусь на нее. Иногда она была не прочь от проказ, но другой раз сурово отталкивала меня рукой в грудь и восклицала: «Ах, Господи! отстанете ли вы от меня? Я, право, тетеньке скажу». Я обижусь, уйду и после долго хожу по зале с гордым и холодным лицом.

Потом, около того времени, как я перешел во флигель, осененный серебристым тополем, и поклялся начать совсем новую жизнь, я и с ней переменил обращение: говорил с ней вежливо, дружески, разумно, покупал ей иногда дорогую французскую помаду, чтоб заглушить хоть немного

скверный запах ночника, привозил ей конфекты и фунтами, и по две, по три в кармане, откуда-нибудь из гостей, дарил платки, косынки, перчатки, чай, сахар... Она принимала все с благодарностью и, приподнимаясь на цыпочки, целовала меня в губы с почтительной осторожностью.

— Эх, Катя! — говорил я грустно, — не так ты меня целуешь!

— Как же еще вам? Вы скажите. Я буду знать вдругорядь.

— Зачем вдругорядь? Ты теперь поцалуй меня так, как ты бы Авдошку или Григорья поцаловала, если бы любила его...

— Уж не знаю, право! Постойте-ка, я для пробы, на первый раз, хоть так...

И, взяв меня одной рукой за шею, нагибала к себе и целовала крепче прежнего.

Сколько раз обманывала она меня! Захочется мне видеть ее у себя, я приду в сумерки в девичью и скажу как нельзя суше и величавее: «Девушки! мне надо вот эту тетрадку сшить: кто свободен?.. хоть ты, Катюша». Уйду опять во флигель, жду, жду — она нейдет. Заверну в людскую... так и есть: Катя уже носится с платком по избе; кум Григорий играет на балалайке; двое-трое людей молча любуется на нее, а у нее глаза так и сверкают. Вздохнешь и пойдешь домой, задумчиво засунув руки в карман, и думаешь:

— Что это женщины как странны! Чего они хотят? Как здесь во флигеле хорошо и удобно, все устроено как нарочно для самого обворожительного и скромного житья!.. И вдруг плясать в людской, где пахнет дегтем, щами и махоркой! Что за вкус!

Доримедонт, должно быть, заметил мою слабость к ней. Всякий раз, как только она приходила при нем за каким-нибудь делом во флигель, он кричал на нее самым зверским голосом: «Чего ходишь за пустяками? Нет того, чтобы вечерком завернуть, когда барин дома!..»

— Молчи ты, грач! настоящий грач, как есть!

— То-то грач. Помни ты мое слово: умрешь, черви источат и крысы съедят. Ступай-ка, ступай-ка... не то, вот я тебя щеткой отсюда пужну! При мне не показывайся на глаза; без меня ходи, говорят, слышишь?..

— Ах, ты грач! Прямой грач!..

— Чего смеешься? Прямой грач... Известно, не кривой: оба глаза целы. Ну, ступай, ступай, пока жива!..

Я всегда слышал из своей комнаты, как они спорили в прихожей, и помирал со смеха.

Наконец судьба доставила мне случай мимоходом оказать ей довольно важную услугу.

У нее не было ни отца, ни матери; но родной дядя ее, вольноотпущенный, держал, верстах в двадцати от нас, порядочный постоялый двор в большом торговом селе. С ним жила старуха-мать его, родная бабушка Катюши, и она очень любила сироту. Давно уже собиралась она откупить ее и, не имея денег, уговаривала сына внести за племянницу сто рублей серебром. Раза три приезжала старуха в Подлипки, но тетушка не решалась отпустить Катюшу.

— Успеешь еще, матушка, успеешь... Я только что привыкла к ней, да и отпустить... Посуди сама...

— Знаю, матушка, Марья Николавна, знаю. Да если ваша милость будет...

Толкуют-толкуют две старухи целый час, а Катя все крепостная.

Возвращаясь от Ржевских с тетушкой и Катей, мы заехали к дяде, покормить и напиться чаю. Надобно заметить, что тетушка была всю дорогу очень довольна Катей. Я, кажется, говорил уже, что за день до нашего отъезда красный сентябрь стал мрачным октябрем; небо обложило; шел мелкий, холодный дождь; дороги размокли и испортились. Мы ехали оттуда на вольных, в двуместной, очень высокой карете. Катюша сидела сзади в колясочке. Человеком с нами был красивый парикмахер Платошка; он забыл захватить с собою шинель, озяб, промок, раскис; на станциях бросался прежде всего на печку и, жалуясь на

ломоту в руках и ногах, не хотел ничего выносить из экипажа. Катюша все делала за него.

— Где наш дуралей? — спрашивала тетушка.

— Он на печке... очень нездоров, — отвечала добрая Катя.

— Кто же нам чай подаст?

— Я подам.

А у самой ноги и все платье внизу мокрые. На Трех Горах мы с ней вместе выходили, чтоб облегчить лошадей; лезли пешком, по грязной дороге в гору, и я, признаюсь, выходил только потому, что перед ней было совестно. На мне были калоши и большое ватное пальто, а она в легкой клетчатой кацавейке и козловых башмаках не только не отставала, но и перегоняла меня подчас.

— Возьми мое пальто, — говорил я.

— Вот еще что̀ выдумали! Сейчас я так и взяла ваше пальто. Я еще этакое страшилище долгополое и не захочу надеть. Не бойтесь, не растаю. Жива буду, и с вами еще дома покутим.

А сама хохочет. Лицо мокрое, свежее; глаза блестят так, как, бывало, во время пляски блестели. Сама тетушка ее звала сесть в карету на ларчик, у нас в ногах; но она отказалась.

Когда тетушка, напившись чаю, легла отдохнуть, я вышел в сени, в надежде встретить Катюшу. И точно, она вдруг выскочила из избы и сказала мне очень торопливо:

— Пойдите-ка сюда; бабушка что̀-то хочет вам сказать.

На бабушку эту я смотреть не любил. Она была очень мала ростом, ужасно суха и сморщена; по всему лицу и по рукам красные и синие жилки и шишки; глаза нечистые. Как увидит меня, та̀к сейчас и запищит самым жалобным, тоненьким голосом, охает, вздыхает, стонет.

— Батюшка, батюшка! Здравствуйте, батюшка... Какой большой вы стали, какой красавец!..

А сама и направо нагнет голову, и налево — все любуется.

— Не можете ли вы, батюшка, попросить вашу тетеньку... тетеньку вашу попросить, батюшка... Просьбицу нашу передать потрудитесь...

— Да что̀ такое?

— Катю, батюшка, внучку мою, Катю... откупить хотим.

Я пошел к тетушке, стал уговаривать ее, урезонивать, уверять, что Катя будет и после ей служить за умеренную плату. Два раза призывали Катюшу, два раза сама бабушка приходила и падала в ноги, утверждая, что Катя за малую цену рада будет хоть век служить, что «ей у вас хорошо, матушка, ей у вас очень хорошо!».

Наконец мне удалось тронуть тетушку. Я поцаловал ее руку и сказал: «Уж Бог с ней! Ведь старуха ее столько же любит, сколько вы меня... Старухе бедной немного жить осталось. Утешьте ее». Тетушка согласилась, взяла у старухи сто рублей и обещала, тотчас по возвращении домой, приготовить отпускную.

Когда совсем стемнело, и тетушка, загасив свечу, заснула в большой комнате на диване, я ушел за перегородку. Немного погодя дверь из сеней тихо скрипнула, и Катя вошла на цыпочках.

— Вы не спите? — спросила она.

— Нет. Какой тут сон!

— Что̀ ж так не спится? — спросила она, садясь на мою кровать и наклоняясь ко мне, — дайте-ка мне вашу ручку...

— Когда ты отвыкнешь от этих ручек и ножек? Так противно... У другого барина рука в поларшина, а ты все «ручка!».

— Я хотела поблагодарить вас, — отвечала она шопотом и наклоняясь к самому лицу моему.

— Так благодари по-человечески, а не этак.

Катя прилегла к моему плечу, чтобы заглушить смех.

— Что̀ это, какие вы ныньче сердитые стали! И приступу к вам нет! Страсть, да и только!.. Я знаю, за что̀ вы на меня сердитесь... Подождите — и на нашей улице будет праздник...

— Дà; а до тех пор и Авдошка, и Платошка, и все тут будут!..

— С чего же вы это взяли, чтобы я да на какую-нибудь дрянь да вас променяла? Я с вами... говорить если тàк... просто... с самого детства росла... И вот так же, как теперь, на кровати у вас ребенком сидела... Ах ты Господи! Помните, как я вам загадки-то задавала... Господи ты Боже мой! чего-чего только не было...

Она вздохнула и обняла меня.

— Я завсегда даже буду за вас Бога молить. Вот вам мое слово!.. И замуж не хочу! За какого-нибудь дьявола, прости Господи, пойдешь, еще бить меня будет... Ни за чтò! Ну-с, прощайте, покойной ночи, приятных снов вам желаю...

Я сладко уснул.

Тетушка, конечно, сдержала свое слово, через месяц Катя была свободна. Я добросовестно ждал, изредка упрекая ее за холодность. Но она всегда находила оправдания.

— Чтò вы? беды мне чтò ли желаете? Я от вас этого, признаюсь, даже не ожидала! Сказать, теперича, вам по правде: мы с вами вместе росли и всегда играли, и всю вашу доброту я помню... Дайте мне с деньгами справиться... Дядя даже бабушке все глаза мной колет...

X

Модест, конечно, рассказал тетушке о бедственном своем положении; не знаю, чтò отвечала ему тетушка, но он, уезжая, сказал мне:

— Добра старушка, да не совсем! Эх, брат, не дай Бог тебе иметь мой дар предчувствовать и угадывать людей! Прощай.

После его отъезда мы с Ольгой Ивановной часа два ходили по зале и придумывали, кàк бы помочь бедным родственникам.

— Марья Николаевна, — сказала солидная весталка, — не в силах внести за них в опекунский совет или заплатить другие долги. Вы судите об этих вещах слишком легко и поверхностно, Вольдемар. Добро должно иметь свои пределы, как и все другое на свете. Ковалевы, может быть, будут у нас жить в доме эту зиму; за брата вашего заплачено 3000, урожаи плохи. Вы знаете ли, сколько копён стало на десятине?

— Пожалуйста, об копнах не говорите!

— Хорошо вам пренебрегать этим!..

— Будемте говорить пожалуйста о деле, о Модесте...

— Что̀ же я могу сделать? Марья Николавна, может быть, найдет им уголок в своем доме, хоть внизу во флигеле. В таком случае вам придется перейти опять на ваше старое пепелище, в зеленую комнату, а верх отдадим Ковалевым...

Она поглядела на меня с твердым и внимательным добродушием. Меня подрал мороз по коже. Опять за старое! Эта жертва казалась мне свыше сил. Опять дитя, ученик! Опять все на глазах, опять домашние девицы, маленькие ссоры, невозможно принять к себе *кого-нибудь* тайком... (хоть бы Катюшу, которая, может быть, отойдет от нас к этому времени, или что̀-нибудь вроде Amelie). Что делать? Почти дрожащим голосом, решившись устрашить себя собственным самолюбием, — сказал я Ольге Ивановне: «Что̀ ж за беда? я готов на эту жертву» — сказал для того, чтобы уж после нельзя было отступиться. Но один Бог знает, ка̀к унизила бы меня в собственных глазах эта жизнь в тесной зеленой комнате, в двух шагах от тетушкиной спальни. Так и решили. Но сама судьба наградила меня за это доброе намерение: через две недели после нашего возвращения от Ржевских Модест прислал письмо.

«Finita la comedia! — писал он. — Старухи нет, и нет имения! Я застал ее больною; все мои старания, все усилия врачей не повели ни к чему. У нее была водяная в груди. Молюсь и благодарю Бога за то, что он дал мне возможность успокоить ее последние дни и похоронить ее с

честью. Ты понимаешь, Володя, кого я лишился в ней. Имение продано с публичного торга».

Модест ошибался, говоря, что я пойму его утрату. Я вздохнул свободнее и за себя и за него. Что̀ ж делать! С мыслью о матери я привык соединять чувство изящного, глядя на белокурую женщину в голубом газовом шарфе с букетом белых роз в руке, которая висела на стене тетушкиного кабинета. А его старушка, казалось мне, только мешала ему жить оханьем и растрепанными волосами. Ни китайский кофейник, ни рассказы сына, ни миньятюр на слоновой кости нимало не озаряли ее в моих глазах: все это только согревало какой-то темной душной теплотою.

В конце октября, когда я вернулся к моим учителям, Модест поселился у нас. Я с радостью уступил ему крайнюю комнату, и тетушка сама приходила во флигель, чтобы взглянуть, все ли там есть, что̀ ему нужно.

Модест схватил ее за руку, сделал такое лицо, какое бывает у человека, изо всех сил старающегося сдержать слезы, и сказал:

— Ma tante, ma tante! Я благодарю вас не за себя, а за бедного одинокого человека, которого вы утешаете.

Тетушка поцаловала его в лоб.

— Что̀ ж делать, мой дружок?.. Богу так было угодно. Никто, конечно, не заменит матери.

Потом, помолчав, тетушка покачала головой и прибавила:

— Oui, les soins d'une mère... Тебе рукомойник надобно поставить сюда.

В ноябре было ее рождение, и благодарный Модест в течение недели просиживал все вечера за клейкой рабочего ящика, особенно за крышкой, где под стеклом была поставлена хорошая гравюра, тщательно и не без вкуса раскрашенная самим Модестом. Не ней была изображена Мария Магдалина в пещере, полунагая, прикрытая голубой мантией; глаза ее были грустно опущены на человеческий череп.

— Какой он, в самом деле, скромный, искательный молодой человек! — сказала тетушка, показывая мне подарок.

Модест скоро сделался привычным лицом в нашем доме. Он долго еще был грустен; по лицу его, казалось, беспрестанно проносилась какая-то тень. Он мало говорил, большею частью ходил по зале, засунув одну руку за другую в рукава, изредка улыбался нам кротко и задумчиво, как опытный, добрый страдалец улыбается играм детей. С Клашей он не сошелся, но Дарье Владиміровне оказывал много внимания. Они тихо беседовали в небрежных позах на диване, а мы с Клашей не прочь были посмеяться над ними.

— Может, это грех, — говорила Клаша, — только мне все кажется, что он вовсе об матери не грустит...

— Знаешь ли, — отвечал я, — мне то же кажется!

Мы робко поглядывали друг на друга и смеялись.

— И зачем это он отвертывает под вицмундиром такие огромные воротнички? Лицо такое худое, некрасивое, щоки такие длинные! Так гадко! — прибавляла она с легкой гримасой презрения.

— Не понимаю, — говорил мне со своей стороны Модест, — что̀ ты нашел особенного в этой булке. Чорт знает, что̀ такое! Я ведь ее насквозь вижу. Хитрит и подтрунивает, а посмотрела бы на себя! Я встречал такие характеры и знаю им цену. Язвить очень легко...

Однажды, вспомнив старые распри, барышни заспорили. Даша ходила по комнате и была вне себя; Клаша сидела, бледнела и улыбалась. Спор шел о ревности.

— Я никогда не унижусь до того, чтобы показать свою ревность; я слишком гор-р-р-да! — воскликнула Даша.

— Вы, вы? А помните, как даже к женщине меня ревновали, помните?

— К женщине скорее! Мужчине всегда надо меньше показывать, чем чувствуешь. Бегать за мужчиной — это унижение!

— Ах, полноте, Даша! Терпеть не могу, как вы начнете брать на себя. Вы воображаете, что вы никогда не унижались! Вы очень часто унижались!

— Когда-с? Потрудитесь объяснить, когда. Вот вы так подобострастны всегда с знатью. Как скоро какой-нибудь человек из beau monde, так вы и растаете.

Клаша покраснела.

— Ну что ж? Признаюсь, к знати я всегда имею слабость и всегда буду иметь. Богатство, чины, красота — это все не так мне нравится как имя... и этакие манеры. Я про это и не говорю; я говорю про мужчин, которым вы всегда готовы покориться.

— Где вы видели этому пример? Что вы улыбаетесь?.. Ваша злость ничего не доказывает.

— Уж пожалуйста не требуйте примера! Вам будет неприятно: ведь я вас знаю...

Модест в эту минуту вскочил, грозно согнувшись подбежал к Клаше и, пронзив ее взглядом, закричал на весь дом:

— А я вас, сударыня, вижу насквозь!

Клаша немного испугалась, не скоро оправилась и отвечала:

— Что̀ это вы? Я разве с вами говорю?

— А я хочу с вами говорить, и вы будете меня слушать.

— А если я не хочу?

— А! Значит вы боитесь. Нет позвольте!

— Что̀ вам нужно?

— Я хочу доказать вам, что нрав ваш отвратителен. Вы обвиняете m-lle Dorothée, а сами ка̀к вы поступаете с ней? Когда вам нужно куда-нибудь ехать и у вас нет каких-нибудь туалетных финтифлюшек, вы сейчас подделываетесь к ней, начинаете с ней говорить дружески до тех пор, пока она вам нужна. А после огорчаете ее вашими несправедливыми насмешками. Вы даже, я знаю, вздумали надо мной смеятся... Но предупреждаю вас, что я вас отбрею так, как вы и не ожидаете.

Клаша в негодовании встала. Даша, отдыхая, опустилась в кресла. Модест величаво отступил к дверям.

— Пустите меня к двери; я хочу пройти, — сказала Клаша. — Конечно, я в чужом доме, вы можете меня обижать.

В эту минуту Ольга Ивановна быстрыми шагами вошла в гостинную, остановилась и всплеснула руками.

— Mesdames! Что̀ это? вы точно пуасардки. Fi, comme c'est vilain! Вы только подумайте, как бы это показалось тем мужчинам, которым вы желаете нравиться. Я жалею о ваших будущих мужьях!

Сказав это, пожилая девица красиво запахнулась в свою шолковую мантилью и вышла в зал. Модест грустно опустился в кресло около Даши. Клаша убежала к себе, а я пошел беседовать с Белинским, Бюффоном и другими учеными и мирными моими друзьями в мой несравненный поэтический флигель.

— Займусь часок-другой, — думал я, вздыхая, — а там, Бог даст, Катюша завернет. С ней что-то веселее!

Заступничество еще более скрепило дружбу Модеста и Даши. Они продолжали полулежать по разным углам и даже раза три уходили вдвоем на один пустынный бульвар, который был недалеко от нас. Тетушка начала беспокоиться и, предполагая, что они влюблены друг в друга, хотела запретить им эти прогулки, но Даша сказала ей:

— Я хожу для моциона и мне не с кем ходить...

— Ах, матушка! что̀ у тебя от него моциону, что ли, прибавится! — воскликнула тетушка и приказала брать с собой Платошку или Дормедонта; а если все мужчины заняты, так хоть девушку, которая должна, не показывая вида, что провожает их, сидеть где-нибудь на лавочке во время их прогулки. Не раз случалось, что маленькая Матрешка, в длинном ваточном шушуне, зябла на дальнем конце бульвара, пока они предавались мечтам.

XI

Но недолго продолжалась поэтическая дружба Модеста с Дашей. На Святках стал Модест уже не так задумчив. Он весело спорит, смеется иногда, напевает романсы. Он ходит и ездит к прежним знакомым своим, к Фредовским и Пепшиковским. Фредовские живут в Садовой, за красивым палисадником, и там есть дочка лет семнадцати, Нина, немного рыжеватая, но свежая и причесанная дома à la chinoise. Пепшиковские живут далеко, в Замоскворечьи, но у них танцуют под фортепьяно и за ужином всегда подают соус из тетеревей с вареным изюмом. Модест любит рассказывать про своих добрых знакомых, и за вечерним чаем в зале только и слышно: Нина Фредовская, Полина Пепшиковская.

— Как это ему не стыдно, — говорит Клаша, — беспрестанно повторять такие фамилии! При чужих я всегда боюсь за него, что он вдруг сейчас скажет.

В Нине он хвалит наивную откровенность и говорит с сожалением, что едва мог удержать страстного ребенка от переписки с собой; в Полине ему нравится способность к живописи и замечательная физическая сила: по его словам, она подняла раз в сенях такой ушат с водой, который иные мужчины насилу сдвигали с места. Он был два раза в театре и говорит, что глупо со стороны людей хорошей фамилии стыдиться звания артиста, человека, который в живых образах передает нам борьбу людских страстей. Шесть лет тому назад он видел Каратыгина в «Гамлете» и знает много сцен наизусть.

Все просят его декламировать. Он соглашается и предлагает Даше сесть посреди комнаты на стул. Она будет королева, он Гамлет. Даша не в духе с утра. (Я после узнал от Модеста, что она давно сбиралась опровергнуть на деле обвинение Клаши, твердо запрещала Модесту ходить к Фредовским и взяла с него честное слово, что он не *пойдет*. Но Модест сострил: он взял извощика и поехал к Нине).

— Терпеть не могу представлять из себя какие-нибудь штуки, — шепчет Даша томно, вяло встает и садится посреди комнаты.

Модест бежит в девичью, достает себе бархатную мантилью, отпарывает от чорной летней фуражки козырек и недевает ее вместо берета.

Тетушка выходит из гостиной и занимает место на угловом диване; Ольга Ивановна оставляет работу; мы с Клашей смотрим на дверь. Настает молчание.

— Что̀ же это? — восклицает вдруг Даша. — Я встану!

— Сидите, сидите!

Дверь из коридора отворяется, и Гамлет входит; мантилья на одном плече; берет немного надвинут на ухо. Взгляд его суров, руки скрещены на груди. Выставив подбородок, мерными, тяжелыми шагами и несколько боком подходит он к матери... останавливается, молчит, потом глухим басом:

— Что̀ вам угодно, мать моя, скажите?

Даша глядит на него; Модест торопливо шепчет: «Гамлет, ты оскорбил меня ужасно!».

— Ты оскорбил меня ужасно! — произносит Даша с живым упреком в глазах.

Но Модест не замечает этого взгляда: артист поглотил человека. Он наклоняется к ней, дрожит и бешено шепчет:

— Мать моя, отец мой вами оскорблен ужасно!!!

В эту минуту в дверях показывается куча горничных и сам Степан из буфета с полотенцем в руке.

— Ах, сколько народу! Я не могу! — С этими словами Даша вскакивает, Гамлет закрывает лицо руками и топает ногой.

— Сядьте, сядьте! — просим мы все. Он опять уходит, притворяет дверь и возвращается снова.

— Что̀ вам угодно, мать моя, скажите?

— Ты оскорбил меня... Ну как это там, все равно...

Модест вне себя.

— Что же это такое? так невозможно играть! Эх вы! У вас вовсе нет сценического таланта.

— Не всем же иметь ваши таланты, — отвечает Даша. — Актер! — произносит она потом вполголоса и гордо уходит.

Горничные расступаются перед ней; Гамлет в берете и мантилье с бессильным презрением глядит на опустелую дверь.

— Окрысилась! этакие характерцы нам Бог послал! — замечает тетушка, махнув рукой. — Пойти-ка свой камушек докончить.

На другой день между Модестом и Дашей было тайное объяснение, которое еще более рассорило их.

Пока двоюродный брат мой тратил свою энергию на распри с нашими домашними девицами, я по-старому втихомолку встречался с Катюшей, но она говорила все то же.

Я негодовал и жаловался тоскуя Модесту, что мне ни в чем нет успеха.

— Рано еще! Потерпи, Володя. Случая нет, уменья мало. Можно ли думать, чтоб такой молодой человек, как ты, прожил бы без успехов?

Лесть услаждала мою слабость, и я решился ждать. Но Модест не ждал, а действовал, не сообщая мне сначала ничего.

Однажды все были у обедни; я читал в зале у окна; Катюша отворила дверь из коридора и, показывая яблоко, которое ела, сказала:

— Видите, вы все говорите, что я вас любить не хочу, а я вот ем яблоко ваше. Вы его обгрызли и бросили в девичьей, а я его ем. Вы вашему братцу любезному скажите, чтобы он ко мне не приставал. Даром что чужой барин, а я все равно тетеньке скажу, как есть на него прямо. Этакой сумасшедший, на лестнице вдруг вчера схватил целовать!

— Ты была очень рада, я думаю? — сказал я с горечью.

— Вон радость-то нашли! Он нехорош! Губастый такой, долговязый; лицо весноватое! Ну-с, до свидания-с!

Прощенья просим! Не взыщите на нашей деревенской простоте-с!

Я говорил об этом Модесту, а он стал смеяться и признался, что хотел тоже испытать счастья, да видно она в самом деле строга и недоступна.

— А славная девушка! — прибавил он.

XII

Великий Пост. На улицах тает. Модест ходит на лекции и готовится к выпускному экзамену. С Дашей он уже не сидит ни в столовой под окном, ни в угольной комнатке, где по вечерам горит малиновый фонарь. Даша ходит по зале с видом человека, способного нести одиноко ношу самого страшного горя. Она курит, гордо поднимая голову, неприятно поджимая губы, чтоб не мочить папиросу, и бросает на всех нас искоса взгляды мимолетного презрения. Особенно вид ее величав и грустен и лицо ее бледно, когда она выходит к обеду в чорном пу-де-суа с ног до головы. Она сама даже говорит: «Я посвящаю себя навсегда чорному цвету!». Потом опускается в глубокое кресло, качается на нем и шепчет томно: «Мне кажется... у меня спинная кость attaquée».

— У княжны Тата, кажется, тоже болела спина? — спрашивает Клаша.

Дарья Владиміровна забывает боль в спине, вскакивает и, стиснув зубы, уходит из комнаты. Вечером я сижу у себя один во флигеле и читаю. Вдруг дверь в прихожую растворяется с шумом, портьера откинута, и передо мной высокая, бледная женщина в чорном платье! Она решилась вырвать из груди всякую нежность, любовь, жизнь, вырвать, кажется, самое сердце. Никто ей не нужен более! В руках ее два дагеротипа: на одном светло и смело смотрит Модест в расстегнутом вицмундире, на другом Клаша, пышно и не к лицу причесанная, в клетчатом платье. Даша не глядит на меня; она молча ставит портреты на мой стол

и быстро уходит, не сказав ни слова. Но слов и не нужно было: я понял ее!

Приходит Модест; увидев портреты, он хохочет, валяясь по дивану, и говорит: «Умру, умру!».

Я хотел было сказать: «как ты скверно хохочешь!», но вспомнив, что деревня его продана с публичного торга, что отец его был обижен Петром Николаевичем и моим отцом, что он некрасив и принужден ухаживать за Ниной Фредовской и Pauline Пепшиковской, промолчал.

И с Клашей прервала все и навсегда злопамятная брюнетка. Но в конце поста, проходя по коридору большого дома, я слышу в комнате Клаши громкое чтение. Прислушиваюсь...

Что̀-то из «Графини Монсоро».

Ольга Ивановна встречает меня в зале.

— Вы слышали? — спрашивает она.

— Что̀ такое?

— Это чтение. Каково? Есть ли в ней хоть на волос самолюбия, в этой племяннице, которую послал мне Бог? Клавдия Семеновна полюбезничала с ней, потому что ей занадобился чтец, и она теперь надсаживается там... Какое отвращение!

Теперь за Ольгой Ивановной очередь бросать презрительные взгляды на девиц; но на пятой неделе поста дела принимают иной оборот. Приезжает из Петербурга г. Теряев. Он бывший товарищ брата по полку, недавно вышел в отставку и жил в имении отца своего верст за 500 от нас. Теперь отец дал ему 200 душ в шести верстах от Подлипок; он провел зиму в Петербурге и привез письмо от брата. Тетушка плакала, читая это письмо; я застал ее еще в слезах; глаза ее были тусклы, нижняя губа опустилась, руки как-то беспомощно висели на ручках кресел. Ольга Ивановна стояла около письменного стола и считала новые радужные ассигнации, вынимала их из папки и разглаживала рукой... Я бросил взгляд на них и подумал: «Сколько? Одна сотня, другая, третья, десять, двадцать сотен. Что̀ же это такое?».

— Вот, дружок мой, полюбуйся на письмецо! — говорит тетушка:

«Ma très chère, ma adorable tante! (пишет Николай, тот самый Николай, который называл ее год тому назад несносной ханжой! Легкое, но неприятное чувство стыда мелькает у меня в душе. Не зная ему тогда имени, я однако не забываю его и продолжаю читать).

«К кому обратиться мне в несчастии, как не к вам? Скажу откровенно — я проигрался. Низкая женщина, которую я имел нечастие полюбить всеми силами моей души, бросила меня. Она блаженствует теперь, но не надолго. Я неумолим во мщении! Я отыщу ее на дне морском! Теперь ее нет в Петербурге: она за границей с старым своим волокитой, который известен здесь как дурак и отъявленный шут. О, ma tante! мне нечего говорить вам, как я несчастлив. Вы знаете сами, что я должен был продать свое рязанское имение, и этот новый долг сводит меня с ума. Летом я надеюсь отдохнуть в милых Подлипках».

— В милых Подлипках! Он не совсем еще растратил душу... — подумал я.

Деньги (4.000 р. сер.) отосланы на почту. Теряев ездит к нам часто и употребляет все усилия, чтоб утешить тетушку и примирить ее с братом. Тетушке не нравится его бледное, изношенное лицо, его густые бакенбарды, выдавшийся подбородок и плоский нос.

— Такая адамова голова! — говорит она с досадой, но слушает его рассказы про брата и верит его почтительной лести.

— Поверьте, Марья Николавна, он обожает вас! — уверяет Теряев.

— Добр-то он добр. У него всегда было золотое сердце, самое чувствительное сердце, — отвечает тетушка, задумчиво постукивая табакеркой.

Мне Теряев казался отвратительным. Если брат мой, почти красавец и цветущий мужчина, добродушный и любезный, мог наводить на меня ужас своими ночными поездками куда-то, небрежными отзывами о понедельничьи

и постах, своими бесстыдными песнями, то каково же было слышать то же самое от адамовой головы? Он был гораздо образованнее брата, отлично говорил по-французски, немного по-немецки и благоговел перед гнусным Штраусом. Я затыкал уши и просил его молчать, когда он приходил во флигель и начинал излагать передо мной и Модестом свою энциклопедию.

— Вы молоды, господа, признайтесь, что вы молоды! Вы еще белый блох, а не чорный, прыгать не умеете!

— Мы гордимся такой неопытностью! — возражал Модест, поднимая глаза к небу и улыбаясь искренно, вдохновенно.

Я жал ему руку.

Но не всем Теряев кажется адамовой головой. Ковалевы на эту зиму еще не переходили к нам: они живут на своей квартире и жить умеют не совсем дурно. Гостиная у них уютная, голубая; много недорогой мебели, на столах и стенах много гипсовых бюстов и небольших статуй на красивых подставках; есть и ковры, и рояль порядочный в столовой, и книги, а главное — много простоты и веселости. Сам Ковалев не веселит никого; он умеет только зарабатывать деньги и никому не мешать. Теперь он в статском платье, сбрил усы и стал еще моложавее, женоподобнее прежнего; но взгляд его так же сух и серьезен; он переменил службу и работает все утро до четырех часов. Бледная Олинька царствует дома. Она сзывает гостей, угощает их во всякое время чаем и кофе, у нее можно сидеть, танцовать и дурачиться до двух часов ночи. Она любезна со всеми, и ей можно привесть кого угодно — графа, военного, лекаря, инженера, актера, учителя — лишь бы он не был слишком скучен. Все у нее как дома, непрошенные садятся за рояль, поют, танцуют, любезничают; она на всех смотрит пристально и томно, беспрестанно курит и делает резкие, проницательные замечания: «Вы никогда ни на чем не остановитесь в жизни, я вижу это по глазам». — «Вы должны быть очень влюбчивы». — «Вы не пишите ли стихов?» и т. п.

Даша очень дружна с ней Великим Постом и часто, выпросив человека, проходит с ним мимо моего флигеля в новой шляпе, с муфтой, в шолковом салопе, распустив локоны; походка ее весело волниста и движения игривы, как походка и движения счастливой и блестящей женщины. Чорное пу-де-суа висит в ее спальне. Однажды она подходит ко мне и, приветливо улыбаясь, берет за руку.

— Не сходить ли нам к Ковалевым? Погода славная...

Приходим. Теряев уже там, и Даша садится за рояль. Поет один романс, поет другой и поет великолепно, помогая себе и глазами, и легкими движениями стана, то лежит грудью на пюпитре, как будто она близорука, то откидывается назад, призывая всех к жизни и наслаждению. «Лови, лови часы любви!..» И Теряев, следуя ее совету, уходит с ней в кабинет хозяина.

Теряев либерал; он говорил, что крестьян необходимо освободить, еще тогда, когда одним это казалось бредом, другим мечтой, несбыточной по самой высоте своей, идеалом вроде вечной, страстной любви, или бедного, но честного русского гражданина.

— Что̀ такое народ? Народ — машина, грубая масса, — сказал однажды Ковалев, презрительно махнув чубуком.

— Нет, народ не машина, — возразил Теряев. И, сказавши это, он так выразительно передернул бровями и мельком взглянул на моего прежнего Аполлона, что «адамова голова» озарилась вдруг передо мною минутным лучом самой высшей жизни.

— Нет, народ не машина, — повторил он еще теплее, — вы знаете, что̀ сказал Гизо: «Здравый смысл есть гений толпы!».

— Вот какие он вещи говорит! — подумал я.

Хотя я знал только, что Гизо — Гизо; но, вспомнив, что в «Иллюстрации» я видел рисунок медали, на которой были представлены головы и руки, простертые к маленькому человеку строгого вида на кафедре и во фраке, с надписью: «On peut epuiser ma force, mais on n'epuisera

jamais mon courage!..», вспомнив это, я извинил Даше ее легкомысленную ходьбу с локонами мимо моего флигеля. Они часто спорили при мне с Ковалевым. Ковалев не любил стихов; признавался, что не понимает ни Фета, ни Тютчева, ни антологических пьес Майкова и, подло сгорбившись, как и следовало человеку, непонимающему стихов, восклицал:

— Ох уж мне все эти *охи* да *ахи*! Пора бы бросить это да заниматься делом!

Ни слова не возражая на это, Теряев прочел наизусть «Тройку» Некрасова с таким искренним одушевлением два раза сряду, что у меня мороз пробегал по спине, когда он доходил до слов:

Не нагнать тебе бешеной тройки!
Кони сыты, и крепки, и бойки,
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой.

После этого Теряев стал для меня *своим* человеком. Былы минуты, в которые я даже не мог удержаться от улыбки легкой радости, когда он входил в комнату. Но в апреле, после святой, тетушка тронулась в путь с тремя девицами. Мы с Теряевым провожали их до первой станции на почтовой тройке в телеге. Он рассказывал мне о своей деревне, которая всего шесть верст от Подлипок, о том, как он умеет жить и как он будет угощать меня самым лучшим запрещенным плодом, и прибавил:

— У меня, батюшка, там такое древо познания добра и зла, что вы, отец, целый месяц облизываться будете. Superfine.

Древо познания добра и зла напомнило мне об *адамовой голове*, и я невольно улыбнулся. Он принял это за улыбку ликующего заранее воображения и, с жаром схватив меня за колено, продолжал:

— Да-с, упою вас самой квинтэссенцией! Я люблю вас. Если б не ваше бабье воспитание, так вы были бы отличный малый. Да я вас переделаю.

Я был уверен, что переделка не удастся, потому что под словами «*бабье воспитание*» он разумеет, вероятно, самые заветные мысли и чувства мои, которые я любил и лелеял, как самые нежные, изящные цветы моей жизни, и только по врожденной неосторожности и детской суетности выставлял напоказ, всегда с внутренним упреком и болью. Но слова «я вас люблю» действовали сильно. Соединив их с воспоминанием о Гизо и волосах, откинутых за пылающие уши, я готов был сам полюбить его. Случай спас меня. Навстречу ехал обоз.

— Сворачивай, сворачивай, чорт возьми!

Передний мужичок спит ничком на телеге. Еще мгновение — и кнут в руках Теряева. Ни одного не пропустил он так, задел хотя слегка или по крайней мере заставил откинуться в сторону. На возвратном пути я отвечал ему только *да* и *нет*; он поглядел на меня пристально и угадал в чем дело.

— А! вы не любите этого! — воскликнул он смеясь, — это правда; теперь оно скверно, но вот надо отпустить их всех и тогда можно будет тешиться. Это уже будет отношение одной свободной личности к другой...

XIII

Незадолго до моего отъезда в деревню, я ехал однажды в пролетке по Кузнецкому Мосту. Вдруг смотрю, идет высокий мужчина в чорном пальто и серой шляпе, под мышкою зонтик. Вглядываюсь: это мой спаситель — Юрьев!

— Стой! Стой!

Долго не забуду я выражение радости на его бледном лице.

Он сказал только: Володя! — и протянул мне руки.

Мы сели в пролетку и не расставались до полуночи. Все было перебрано, пересказано; был и смех, была и невеселая беседа. Юрьев жил в Хамовниках, в красном

домике с жолтыми украшениями, у разбогатевшего чиновника и занимался его детьми. Ему не хотелось поступить на казенный счет в университет, а на свой без работы он не мог. Я стал звать его в Подлипки, но он заметил, что подлипки не мои, «да и куда-де мужику в ваши антресоли забираться!»

— Почему же антресоли? — спросил я смеясь. — Полно, поедем!..

— Посмотрите, — отвечал он, — у нас и перчаток нет.

И сейчас сымпровизировал:

С голыми студент руками
И с небритой бородой
Принужден был жить трудами
У чиновника зимой...

Дальше помню только игру слов «аристократ» — и «ори-стократ». И, несмотря на все мои мольбы, он остался непреклонен.

В день отъезда он пришел провожать меня, был серьезен, говорил мне: «Вернись же, Володя, скорее! при тебе все теплее». Но в ту минуту, когда я занес ногу на подножку тарантаса (Модест уже сидел в нем), он спросил: — «Позвольте мне всегда звать вас „Дон-Табаго"?»

— Хорошо, зови, — отвечал я, не обижаясь слишком, но все-таки поморщился и прибавил: «Что за бессмыслица!».

— Он грубоват и, должно быть, эгоист, — заметил Модест, когда Юрьев скрылся из глаз.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

I

Давно уже Подлипки не были так оживлены, как в последнее лето перед моим студенчеством. Со всех сторон съехались гости. Модест кончил курс, и мы выехали с ним из Москвы в июне. Вслед за нами приехали брат и Ковалевы. Теряев был тоже в своем имении и начал ездить к нам беспрестанно.

Утром от 9 до 12 часов не снимали со стола скатерти, самовара, кофейников и чашек. Кто придет раньше, кто позднее. Позднее всех приходили брат и м-м Ковалева. Все шумели, спорили, смеялись, рассказывали. До трех часов рассыпались куда попало; всякий выбирал себе общество по вкусу; образовались небольшие кружки: после вечернего чая все ходили гулять пешком в поле или ездили верхом, в таратайке, в телеге, в беговых дрожках. Наши барышни, Ковалева и брат большею частию были вместе; сидели на антресоли у Клаши или шумели при тетушке в гостиной; Ковалев бродил по дому с трубкой, читал газеты тетушке и Ольге Ивановне или беседовал с капитаном, который в свободные минуты нередко приходил к нам, несмотря на жар, в форменном сюртуке без эполет и в высокой разлатой фуражке. Его Февроньюшка беспрестанно гостила у нас.

Мы с Модестом на этот раз поселились для простора в старом флигельке с изломанной печью и полинялыми обоями. Он стоял на заднем дворе, и перед окнами его был красивый широкий огород. Мы часто читали там с Модестом или разговаривали; уходили вдвоем в сад и в рощу.

Сначала не было заметно никакой враждебности между нами и остальным обществом.

Модест иногда, впрочем, скажет, уходя из гостиной, где все вместе рассказывали анекдот, смеялись и пели:

— Какая скука! Что за деревянное лицо у этого Ковалева! Сидит как кукла целый день с трубкой; а у жены такое выражение лица, что ее не следовало бы в порядочный дом пускать. Брат твой фат; он на весь мір смотрит как на орудие своих наслаждений. Аза в глаза не знает и кутит в Петербурге! Эта худая Дарья Владиміровна сидит в углу с своим чахлым Теряевым... Что̀ тут хорошего? Два скелета, две голодные кошки любезничают друг с другом! Одна только и есть порядочная душа, это Клавдия... Она по крайней мере не глупа.

Я не соглашался с ним и возражал ему искренно:

— К чему это разочарование? Я, признаюсь, не понимаю Байрона. Все это вздор!. Надо уметь быть счастливым. Надо быть твердым и положительным... пользоваться минутой. Все это *ходули и румяна*. Доброты и простоты нет — вот что! К чему Жак у Занда бросился в пропасть? Из-за какой-нибудь женщины? Разве нет других? Жак был очень умен в теории, но практически он был глуп.

Говоря так, я иногда стучал кулаком по столу и выходил из себя от досады на людей, не понимающих всю прелесть жизни.

— Ты судишь как богатый матушкин сынок. Тебе все улыбается, — отвечал Модест.

После этого мы становились на сутки, на двое суше друг с другом. Брат тоже делал иногда какие-нибудь замечания насчет Модеста, тоже за глаза.

— Что это у м-сье Модеста за привычка носить на шее носовые платки и при всех ходить в таких клетчатых шароварах, которые порядочный человек только по утрам под халат надевает?

Или:

— Давно что-то Модест Иваныч не рассказывал о Фредовских, Пепшиковских, Филипповских... Владімір, ты знаком с этими Филипповскими?..

— Филипповских нет вовсе...

— Ну, все равно... Как их там, его аристократия-то?

Но брат говорил все это без злобы; а у Модеста лицо искажалось от радости, когда он успевал что-нибудь подметить.

Один раз только вышла ссора посерьезнее. Мы все пошли гулять в поле и встретили крестьянина с возом сена. С нами были братнины борзые; за одним из возов бежала дворняжка среднего роста. Увидав борзых, она бросилась сперва под воз, потом выскочила оттуда и побежала полем к деревне. Борзые за нею. Барышни закричали: «Ах, Боже мой! разорвут!» Но брат захохотал и начал травить: «ату его! ату его!»

Борзые наскакали, собачка завизжала и покатилась, вырвалась; опять наскакали, опять покатили ее; опять она вырвалась...

— Эх! — сказал кто-то около меня тихо. Я обернулся. Хозяин собаки, снявши шапку, стоял около воза и жалобно смотрел туда. Выразить не могу, что я чувствовал в эту минуту. Даша и Клаша кричали: «Отбейте, отбейте ее! Они ее растерзают!»

Олинька, муж ее и Теряев смеялись над ними. Мы с Модестом бросились отбивать.

Собачке вырвали клок мяса из боку и искусали заднюю лапу: хромая и визжа, ушла она на деревню, а борзые вернулись к брату. В это время подошел к нему Модест.

— Это свинство! — сказал он, бледнея.

— Почему это, позвольте узнать? — спросил брат, вежливо склоняясь к нему.

— Потому что... Это понятно!.. Что тут (Модест задыхался от гнева) у мужика...

— А! — воскликнул брат, — понимаем! Это гуманность, — прибавил он немного в нос. — А? это гуманность! Так ли я произношу? Pardon!.. Я ведь человек не ученый...

Модест посмотрел на него с презрением и покачал головой.

— А если б хозяин этой собаки да вас бы кнутом хорошенько или лицо бы вам все разбил?

Глаза у брата помутились; он схватил Модеста за руку и прошептал:

— Как? мужик? Да я бы его туда запрятал, куда ворон костей не заносит! — Послушай ты, — продолжал он, обращаясь к мужику, который между тем побрел за своим возом, — ты как смеешь водить собак, когда господа ходят гулять?

Мужик поклонился.

— Я, батюшка, Николай Александрыч, не знал, что вы изволите гулять.

Брат остыл.

— Ступай, — сказал он, — вперед чтоб этого не было.

Мы ушли с Модестом домой. Остальные продолжали прогулку.

Но скоро новые впечатления заставили забыть историю бедной собачки.

II

Самой любимой partie de plaisir нашего общества были прогулки пешком в Лобаново, к Копьевым. Лобаново от нас всего полторы версты. Через деревню протекает ручей; есть березовая роща за овинами; много больших лугов; а домик капитана покрыт соломой и стоит за ракитами на склоне горы. У капитана есть небольшой сад. Теряев там часто гулял с Дашей по вечерам, уходил с нею в поле далеко. Клаша хохотала в углу с Февроньюшкой, а мы с Модестом слушали рассказы капитана о его походах, о том, как девки любили их в Украйне, как они раз с воем провожали полк, так что их палочьем солдаты вернули домой. Иногда все вместе играли в горелки, в четыре угла, пели хором, танцовали под капитанскую гитару.

Модест, впрочем, часто оставался дома или уходил прежде других домой. Ревность грызла меня иногда, но

Катюша была мила со мной, повторяла старые обещания, и я верил ей. Однажды молодежь наша ужасно расходилась в Лобанове. Олинька Ковалева отлично умела представлять и передразнивать. Она то рассказывала про одного барина, который был влюблен в нее и говорил ей басом: «я с этого дня с вами на другой ноге»; то представляла, как такая-то старая девушка танцует мазурку и хохочет в такт от радости. За ней поднялся Теряев; он тоже был мастер на эти дела; мы все просто задыхались и плакали от смеха. Модест долго был задумчив, но вдруг и он вздумал выйти на сцену, сел посреди комнаты и стал представлять какого-то учителя. Больно было смотреть на него, голос его дрожал, он забывал даже, что нужно говорить, тянул... все из учтивости улыбались. Наконец он вскочил со стула, захохотал один и, вскрикнув: «Преуморительная была фигура!», вышел вон и скрылся.

Немного выждав, я поспешил домой; я полагал, что он страшно страдает. Во флигеле его не было; я пошел в сад, но, увидав издали на сажалке розовое платье Катюши, забыл о нем и бросился к ней.

Катюша мыла какие-то воротнички, присевши на плотике, и пела вполголоса очень грустно: *Ты поди, моя коровушка, домой*. Я раздвинул лозник. Вообразите мое удивление, мою досаду: Модест лежал под кустом.

Он улыбнулся как счастливый соперник. Катюша обернулась, засмеялась тоже и сказала:

— Ну! все притащились!

— Ты будто и не рада? — неосторожно спросил Модест.

Катюша сурово посмотрела на него.

— Уж пожалуйста! Скучно слушать даже... Мало я вас отсюда гнала. Об одном вас прошу: отстаньте от меня. Вы все лезете ко мне, а не я к вам. Мне, может быть, целый день от одних людей покоя нет, все ко мне с вами пристают. Чорт знает, что̀ плетут... Рада! Есть чему радоваться, скажите пожалуйста! Какую радость нашел!

— Ну, матушка, понесла ахинею! — возразил Модест, с пренебрежением взглянул на нее и встал.

Мы вышли с ним из лозника.

— Груба! — сказал Модест, — не будет из нее толку!..

— Какого же ты хочешь от нее толку?..

— А ты?

— Я? Я бы желал только иметь ее любовницей...

— И ты находишь подобное желание нравственным?

— Года через два я буду в состоянии обеспечить ее...

— Нет! — продолжал Модест, и лицо его прояснилось, — я не так понимаю нравственность. Ах, если б я мог всех судить по своему благородству!..

— Для чего же ты уходишь рано из Лобанова или остаешься здесь, когда мы идем?

— Делай свое дело, — отвечал он, — а я свое. На чьей улице будет праздник, увидим после. Я не сержусь на тебя, и ты не сердись...

Такое условие было в моем вкусе, и мы остались друзьями.

Но мне противна была настойчивость: я находил ее унизительным делом; то по целым неделям не говорил с Катюшей, то, собираясь остаться вечером в Подлипках и мешать Модесту, не мог устоять против улыбки брата и его голоса, когда он говорил мне:

— Ну, ну, бери фуражку! Едем к Теряеву.

Или:

— Володя, что ж ты в Лобаново с нами?

А Модест шел своей дорогой, и хоть многие замечали, что у него есть что-то с Катюшей, хотя сама тетушка сделала ей выговор за то, что она мало принесла грибов из рощи, и прибавила даже: «не грибы на уме, мать моя, не грибы!», но скандала не было еще никакого.

III

Ковалев уехал в Москву, обещая вернуться в половине августа за женой. Без него еще стало заметнее, что брат ухаживает за Олинькой. Даже и я, неумевший тогда ничего подозревать, начал обращать на них внимание. Модест, который был и опытнее, и меньше занят собою, чем я, и тут пособил мне.

— Уехала кукла, — сказал он, — теперь лев наш потешится!

И точно. Николай ходил гораздо чаще прежнего с Олинькой по зале и по саду; в рощах они старались удаляться от других; вечером на балконе просиживали по целым часам вдвоем, и все остальные старались не мешать им, уходили с балкона, не вмешивались в их разговоры. С другой стороны, Теряев все настойчивее и настойчивее увивался за Дашей, привозил ей ноты, книги, ездил с ней верхом в наших маленьких кавалькадах. Они часто все четверо удалялись в комнату Ковалевой, и мы слышали там смех и пение хором страстных или грустных романсов: «Когда все пирует и блещет вокруг» или «Что затуманилась, зоренька ясная». Ольга Ивановна не следила за племянницей, она надеялась на Теряева и говорила о нем так:

— Мне кажется, что в этой голове сосредоточивается весь человек нашего времени!

Клаша иногда принимала участие в этих сборищах, иногда сидела у себя наверху с Февроньюшкой, вышивала с нею вместе в пяльцах бархатным швом великолепный дорожный мешок для брата и в часы отдыха ела с ней толокно и землянику со сливками. Мы с Модестом чаще бывали у нее, чем у Ковалевой.

— Знаешь, — сказал он мне однажды, — Николай Александрович сегодня ночью в халате пробрался через девичью к Ковалевым.

— Неужели?

— Спроси у Катюши. Половицы скрипят в коридоре. Она проснулась и смотрит: крадется в туфлях и в своем

львином халате. Надобно будет поздравить мосьё Ковалева с куафюрой! А что̀ бы брякнуть ему хоть письмецо: так мол и так?

— Не может быть. У нее ребенок спит в комнате; девочка уж велика...

— Э! пустое! Захотят, так девочка ничего не узнает. Уж не хватить ли письмом?

Лицо его опять исказилось.

— Нет, не делай этого. Ковалев хоть и маленький, а сердитый, ка̀к бы он не наделал чего-нибудь брату.

— Не беспокойся! Дуэли не будет: все фанфароны, подобные твоему брату, серковаты.

— Перестань, ты уж слишком на него нападаешь. Что ты завидуешь ему, что ли?

— Мне и даром это привидение не нужно, — гневно возразил Модест, взял арапник и ушел в поле.

В течение нескольких минут он был мне противен; но часа через два после этого я случайно увидал его через садовый забор на лугу около рощи; опершись на забор, я долго смотрел, ка̀к он уходил не торопясь по дороге в орешник. Он шел, повеся голову, так одиноко, невинно и безвредно, твиновое пальто его было так не ново и не модно, луг так зелен и свеж, что я помирился с ним.

Я рассказал Клаше про ночное приключение брата. Она ахнула, покраснела, но сказала, что не верит и что на сплетни этих горничных нельзя полагаться; но потом задумалась что-то и загрустила.

Между тем враждебность обозначалась все яснее и яснее. Брат называл нас с Модестом прямо в глаза министерством народного просвещения. Выйдем поутру к чаю, он раскланяется с нами, подаст нам обе руки разом и скажет:

— А! министерство народного просвещения!

Мне это не нравилось, но я улыбался, потому что не мог устоять против его улыбки, которую мне бы хотелось назвать цветущей улыбкой. Модест отвечал ему молчанием и презрением. Для ссор и разногласий было много случаев.

Во всем мы расходились. Вкус, мнения, понятия — все было разное. Поехали, положим, ко всенощной. Тетушка и Ольга Ивановна стали на обыкновенных местах своих в большой церкви. Наши девицы, м-м Ковалева и Теряев остались в заднем приделе нарочно, чтоб удобнее разговаривать. Сначала и мы с Модестом стояли около них; Теряев что-то шептал дамам, а те давились от смеха и закрывались платками. В приделе было мало народу, только изредка сильный взрыв смеха заставлял оборачиваться назад седого и сухого старика, который молился громко и усердно в темном углублении окна. Модест толкнул меня локтем и, показав на них глазами, покачал головой и сказал:

— Отойдем к окну, туда, к старику.

Я сначала не послушался, но когда брат, развалившись на кресле, за которым он нарочно посылал старика, вынул из кармана какую-то книгу и начал читать громко то место, где отец и мать героини занимаются наверху мозолями, я тоже отошел от них. Теряеву и брату и этого было мало; под конец всенощной они пошли в большую церковь, при всем народе серьезно и набожно становились на колени перед налоем, на котором лежал образ, крестились, падали ниц и прикладывались. Дамы едва-едва удерживались от смеха.

— Сто́ит все это рассказать тетушке! — заметил я Модесту.

— Бог с ними! — отвечал Модест, — старухе будет больно, а мерзавцев не исправишь.

Капитанова Февроньюшка была очень смешлива, робка и добродушна. Испугать ее можно было всем: прыгнул вдруг кто-нибудь около нее, стукнул, ахнул из угла, тронул ее сзади — довольно, Февроньюшка уже кричит благим матом. Стоит сделать гримасу перед ней или рассказать ей на ухо что-нибудь не совсем пристойное и забавное — Февроньюшка и пошла киснуть и кататься. Брат любил ее или, лучше сказать, любил забавляться ею. Он при всех целовал ее насильно, звал ее всячески: «Ховринь-

ка, Февра, Февруар, Януар!» Играл с ней в карты, в фофаны, в дураки, в зеваки; если она проигрывала, он надевал на нее колпак из сахарной бумаги или кричал ей прямо в лицо, как будто зевая: «зев-а-а-ка, зев-а-а-ка».

Раз в дождливый вечер вздумали мы вместе играть в зале в горелки, в жмурки, в четыре угла. Потом уже начали возиться и бегать как попало. Даже Модест разыгрался. Мы гонялись за дамами по всем комнатам; они прятались от нас в шкафы, за кровати. Тетушка и Ольга Ивановна сидели в зале, любуясь на нас. Февронья села на пол за спинку тетушкина кресла и прикрылась концом оконной занавески. Брат вытащил ее оттуда и закричал:

— А, Ховря, Ховря! вы смеете меня так мучить... Вот вам за это.

И он толкнул ее к Теряеву, Теряев к нему, он опять к Теряеву... Ховря сначала смеялась, потом просила перестать, потом вдруг присела на пол и заплакала. Брат поднял ее и хотел поцаловать, но она отклонилась и тихо сказала:

— Разве так шутят? Еще какие люди!

Закрылась платком и пошла к коридору. Даша подбежала к ней, обняла ее и увела наверх.

Брат долго смотрел ей вслед и воскликнул: «Вот тебе раз! Каков Февруар?» — и, равнодушно напевая что-то, стал ходить по зале.

— Напрасно, Коля, ты так неосторожен, — начала тетушка...

Но в эту минуту вышел из угла Модест и обратился к брату:

— А ведь вы, Николай Александрыч, не сделали бы этого с княжной Н. или с графиней В.?

— Что-с? — спросил брат, сбираясь, должно быть, с мыслями.

— Вы слышали, что̀ я сказал...

— Что̀-с? княжна? Я полагаю, что здесь дело зависит не от княжны, а от понятий, от manière d'être... Поверьте, она все это простит и очень будет довольна мной...

— А если б у нее был брат, который бы... — закричал Модест громовым голосом и сделал движение рукою...

— Ах, мать моя! — воскликнула тетушка, — как закричал!.. Что̀ с тобой?

Модест стоял бледный и зверски смотрел на брата. Брат был спокойнее; не вынимая рук из карманов, он отвечал:

— Тот, кто бы это сделал, не был бы жив.

И ушел в свою комнату.

После я узнал, что брат накануне предлагал Катюше деньги и золотую брошку; она отказалась от них и потом, когда проходила без нас с Модестом и без тетушки через залу, брат при Ковалевой и девицах сперва заставил ее поцаловать у себя руку, а потом подставил ей ногу так, что она растянулась как нельзя грубее и ушибла себе колено.

IV

Февронья так оскорбилась, что на другой день ушла рано утром домой. За чаем все стали делать выговоры брату.

— Во время шутки надо удерживать себя в границах, — заметила Ольга Ивановна.

— Она очень долго плакала, — прибавила Даша.

Клаша сказала, что не могла уговорить ее остаться; Модест молчал, а я советовал брату сходить в Лобаново извиниться.

Николай засмеялся и отвечал:

— Теперь жарко, а ужо пойдем все вместе.

Часов около восьми вечера привели Ховриньку из Лобанова; Николай шел с ней под руку впереди всех.

— Вот она сердитая Ховря! — воскликнул брат, вводя ее в гостиную к тетушке.

— Что это ты, мой дружок Ховря, вздумала капризничать? — спросила тетушка, когда та подошла к ее руке. — Ведь ты знаешь, здесь все тебя любят.

— Да они-то не всех одинаково любят, — заметил Теряев. — Они обуреваемы страстью к одному...

Все захохотали... Ховря тоже засмеялась и покраснела... Брат пристал к ней:

— Как? Как, Ховря? Вы влюблены?..

— Ей-Богу, ей-Богу — нет... ей-Богу нет! Это...

— Значит я лгу? — перебил Теряев, — а наволочка?

— Что, что? что такое наволочка? какая наволочка?

— Не говорите! Ей-Богу! Ах! Василий Петрович... как это можно... Это неправда...

— Позвольте, позвольте, — продолжал Теряев, — Февронья Максимовна сшила себе, Николай Александрыч, подушку из шолковой подкладки вашего старого халата, покрыла ее белой, самой белой наволочкой и ни за что на другой подушке заснуть не может.

Все опять хохочут.

— Ах, Ховря! Ах, Ховря!!

— Неправда, ей-Богу, неправда...

В это время Клаша с Ковалевой вошла в залу; я за ними; скоро и Даша с Модестом пришли туда же...

— Как я не люблю, когда так пристают! — сказала Клаша Ковалевой.

— Вот сострадательная душа! — воскликнула Ковалева, — Ховря очень рада; она готова все перенести, чтобы только бывать здесь. Ты, Клаша, уж слишком чувствительна. А еще соперница!

Клаша вспыхнула.

— Не знаю, кто больше соперница, вы или я!

— Это почему же?

Ковалева переменилась в лице.

— Полноте, полноте! — продолжала Клаша, — все понятно, все видно... очень видно (я дернул ее за рукав).

Но у нее уже сделались те злые глаза, которых я не любил; она начала потирать и пожимать одну руку другой (у нее это верный признак сильного волнения) и продолжала:

— Поверьте, я знаю и понимаю больше, чем вы думаете.

Ковалева устремила на нее неподвижный, наглый взор, скаредно вытянула вперед свое поблекшее и правильное

лицо и, помогая себе движениями рук, отвечала быстрым полушопотом:

— Что̀ вы? что̀ вы хотите этим сказать? Вы думаете испугать меня? Нет, вы меня не испугаете! Знаю, знаю я. Вы хотите уверить всех, что я влюблена в Николая Александрыча, что он за мной ухаживает. Так что же в этом? Здесь тайны нет никакой. Я вольна делать, что̀ хочу. Один муж может судить меня...

— Что вы раскричались! — возразила Клаша улыбаясь, — Вы сами все сказали теперь.

— Полноте, mesdames, — заметила Даша. — Что̀ за ссоры! Fi, comme c'est vulgaire!

— Я уж не знаю, что̀ там vulgaire, — грубо продолжала Ковалева, — а я не хочу, чтоб она говорила вздор. Ну, можно ли так глупо смешивать позволительное кокетство Бог знает с чем!

Она махнула рукой и ушла.

Модест все время ходил по зале и был, казалось, очень рад; он то жался к стене как человек, который боится, то подмигивал мне, то притравливал шопотом, то молча закидывался назад, схватившись за бока, как помирающий со смеха. Даша, напротив того, была очень недовольна.

— Все от зависти ты это, Клаша... — сказала она.

— Ах! пожалуйста, вы не мешайтесь! — возразила Клаша, — вы все за одно! Теряев и Николай Александрыч помогают друг другу.

— Интригантка! дрянь этакая!

С этим словом Даша ушла за Ковалевой... Меня занимала тогда эта распря; без всякой горечи смотрел я на них; но на другой день дело приняло серьезный оборот.

V

Сплетня дошла до тетушки. Мы с Модестом упросили Клашу еще раз побожиться, что она не выдаст Катюшу, и она сдержала свое слово при всех объяснениях, так что

ясно ничего не было высказано о ночной прогулке брата... Но объяснения следовали за объяснением... Сперва объяснялись en tête-à-tête брат в саду с Ковалевой; брат вернулся угрюмый, крутил усы и, встретив меня, спросил: «Где эта толстая сплетница?»

— Кто?

— Клавдия Семеновна.

— Клаша у себя наверху, — ответил я кротко, — не ходи к ней, Николай, пожалуйста... не брани ее. Она, право, тебя любит.

Я хотел взять его руку, но он отдернул ее и сказал:

— Нельзя ли без тандресс? Я до них не охотник. Ты об ней, впрочем, не беспокойся, я не стану вступать в объяснения с этакой горничной девкой!

Даша вызвала Ольгу Ивановну на балкон и шепталась с нею; обе шептались с тетушкой в спальне. Модест пропал куда-то; я сбирался тоже пошнырять где-нибудь по задам, в надежде встретить Катюшу у пруда или за людской и завести ее хоть на минуту во флигель. Вдруг слышу, меня ищут, зовут. Что̀ такое?

— Клавдия Семеновна просит вас к себе.

Прихожу. Клаша с письмом в руке сидит у окна; глаза ее красны.

— Прощай! — говорит она мне, протягивая руку.

— Что̀ с тобой?

— Вот письмо, — продолжает Клаша, — это к Марье Николавне... Читай...

«Я вижу, что я в вашем доме лишняя. Здесь никто меня не любит, все пренебрегают мною; может быть я сама этому виной... мой неприятный характер. Я никого не виню и благодарю вас тысячу раз за все то, что̀ вы для меня сделали... Вас, chère maman, я никогда не забуду; но позвольте мне ехать к сестре. Там мое настоящее место. Я буду там жить небогато, но что̀ ж делать! Всякому своя судьба...»

Тетушка согласилась, и все стихли.

Было ли мне жалко расставаться с Клашей? Сначала нет. Я любил еще ее по старой привычке; но она судила

иногда убийственно, и будь она еще во сто раз свежее, добрее к котятам и щенкам, я все бы не простил ей многого. Еще недавно унизилась она в моих глазах похвалами Теряеву.

— Он очень некрасив, но я понимаю, что в него можно влюбиться, — сказала она, и ничем я не мог выбить из нее этого мнения.

— Истаскан, бледен, худ, — говорил я...

Она отвечала, что румянец приличен только мальчишкам.

— Дурно одевается: панталоны натянуты на штрипках и морщат кругом...

— Женщины в такие тонкости вашего туалета не входят.

— Мужиков бил кнутом...

— Да разве больно? Это он шутя...

— Развратен.

— Все мужчины такие... И ты сам... сколько раз я тебя встречала с Катюшей!

Ну можно ли любить ее после этого? Поди объясни ей разницу между моими сношениями с чуть расцветшей, полудикой подругой детства и какими-нибудь происками бледного атеиста!

VI

За день или за два до отъезда Клаши все смягчилось, повеселело; за вечерним чаем, вернувшись с прогулки, все много смеялись и разговаривали. Я смотрел на самовар, на тени знакомой формы на стене, смотрел на выразительное лицо брата, на Олиньку и Клашу, и мне становилось вдруг так жалко, так обидно за Подлипки, что все их покидают... Клаша по-старинному взглянула на меня пристально и улыбнулась; я думал — она поняла меня, и вздохнул.

После чая Ольга Ивановна села за рояль, и начались танцы. Брат канканировал; он был моим визави, а дамой

моей была Клаша. Он, как ни в чем не бывало, брал ее за руки, за стан, кружился с ней, когда приходилось; мне казалось, что она была смущена. Когда кончились танцы, я вышел на балкон посмотреть на звездное небо и освежиться. Не успел я облокотиться на перила, как кто-то подошел и взял меня ласково и тихо обеими руками за голову. Я обернулся и увидал Клашу. Взгляд ее, обращенный к небу, казался выразительнее обыкновенного. Потом она прилегла к моему плечу; в первый раз позволила она себе такую сердечную ласку. Я обнял ее молча. В это минуту большой серебристый тополь, который стоит у нас в палисаднике перед балконом, зашевелился, зашумел вдруг как живой и смолк.

— Прощай, прощай, Подлипки! — сказала Клаша.

— Не уезжай. Полно... Разве тебе моей любви не довольно?..

— Твоя любовь — не любовь, а дружба... Прощай, прощай, Подлипки!..

Модест вышел на балкон.

— Уговори ее остаться, — сказал я ему.

Модест подошел медленно, нагнулся к Клаше, посмотрел ей в лицо и пожал ей руку.

— Ты судишь так потому, что слишком молод, — сказал он. — Ехать надо во что бы то ни стало. Знаешь ли ты, что̀ такое презрение к самому себе, к собственной слабости, Владимір?..

— Э! все это вздор! романтизм! Надо быть просто веселым...

— Легко сказать! Нет, душа, это не романтизм; узнаешь ты и сам когда-нибудь обо всем этом. Видишь, она молчит? Клавдия Семеновна! (Клаша закрылась платком). Видишь, она лучше твоего понимает жизнь. Плачьте, но помните, что Бог нам дал волю! — прибавил он и ушел.

Низенькая светло-лиловая комната на антресолях опустела... Кровать Клаши была без тюфяка; кисейные занавески сняты с окон; темная шифоньерка с медными кольцами и полосами пуста; только несколько обрывков кисеи и холстинок, старые башмаки и разбитая мыльница напо-

минали о Клаше. На стене осталась большая картина в старинной деревянной рамке — огромная бородатая голова Леонида Спартанского в каске, над которой чорным карандашом трудился когда-то брат, еще кадет.

Мы с Модестом только что проводили Клашу до первой станции. Мы ехали верхами около тарантаса; Клаша, спрятавшись в подушки, плакала. Старушка Аксинья провожала ее до города.

Последний раз привстав посмотрела Клаша с горы на сад и рощу: они слились уже в одну зеленую полосу.

Я стоял один в ее пустой комнате и глядел на Леонида, как вдруг вошла туда Ковалева.

— Я тебя везде ищу, — сказала она, — а ты здесь грустишь. Пойдем-ка в сад... У меня до тебя есть просьба...

Никто не мог быть мне так противен в эту минуту, как эта наглая, бледная львица. Чувство мое было поругано ее приходом. Нечего делать, однако, — подал ей руку, и мы пошли в сад.

— Попроси тетушку, — начала она, — чтоб она уговорила твоего брата уехать отсюда... Это для его пользы. Мне самой, согласись, неловко... Приедет мой муж... Приятельница твоя наплела...

— Разве он ревнив?..

— И да, и нет... мы давно предоставили друг другу полную свободу... Кто из нас первый был виноват — Бог знает... Я кокетничала, он кутил исподтишка. Мы живем дружно, ты знаешь; но он ненавидит сплетни и скандал. И кто это любит, посуди сам? На него находят минуты, он такой вспыльчивый, что я ни за что не поручусь...

Через неделю или две брат уехал, а Ковалев вернулся в половине августа.

VII

С Катюшей у нас во все это время было ни то, ни се... Однажды я зашел в чулан, где за перегородкой висели платья наших горничных и хранились их пожитки. Я

видел, что Катюша прошла туда. Она сидела на полу перед сундуком.

— Вот, — сказала она, — платочек, который вы мне третьего года подарили... Шутка сказать, сколько времени я вас вожу!..

— Да, пора бы образумиться, — отвечал я, — пойдем сегодня после ужина в сад...

Катюша задумалась; лицо ее стало грустно; она взяла меня за руку и молчала, опустив глаза... Я продолжал убеждать ее. Она все молчала, изредка вздыхая... Вдруг дверь скрипнула; мы обернулись — Модест стоял перед нами, Катюша встала и покраснела...

— Нет, — сказал Модест, — она не пойдет гулять с тобою.

— Отчего это?

Модест посмотрел на Катюшу и опять повторил: «нет, она не пойдет!» Катюша стояла у стены и, опустив глаза, перебирала руками фартук...

— Не правда ли, Катя, ты не пойдешь? — спросил он.

Они обменялись взглядами; она вздохнула...

— Пойдем отсюда, — сказал мне Модест, — зачем ей делать вред?.. Кто-нибудь увидит нас. И без того много болтовни и грязи...

Я не понимал, в чем дело, и прямо оттуда, сгоряча, пошел к тетушке просить денег.

— Двести рублей довольно, — думал я, — заплачу дяде за ее выкуп... Остальное на подарки. Устрою ее в Москве... — Слово за словом, дошло у нас с тетушкой до ссоры.

— На что̀ тебе такая куча денег?..

— Это мое дело, тетушка, на что̀...

— Погубишь, погубишь ты себя! Уж случится с тобой что-нибудь, как с дядей, с Модестовым отцом!.. Я вижу давно, что у тебя вкусы низкие... Все больше с простонародьем...

— Не всем иметь благородные вкусы: надо кому-нибудь и низкие иметь... Все мои знакомые, Синевский,

Яницкий, Киреев, сами получают доходы с своих имений. Я один только до тридцати лет буду в пеленках ходить! И не требую даже всего, а вот пустую сумму прошу — и ту затрудняетесь дать. Вы говорите всегда, что я не могу еще сам заниматься хозяйством... Хорошо... А вы сами знаете ли, что̀ делается в моей деревне? Вы верите прикащику и никогда туда не ездите.

Тетушка заплакала.

— Выйди отсюда, оставь меня, — сказала она кротко, — выйди, прошу тебя.

На дворе я встретил Модеста.

— Что̀ с тобой? — спросил он.

— Так, ничего; оставь меня.

— А я хотел поговорить с тобой.

— Нельзя ли после?

— Мне тяжело ждать... Это дело важное... Пойдем в сад.

В саду он долго сбирался с духом, наконец взял меня за руку и начал:

— Послушай, не оставить ли тебе Катюшу в покое? Ты напрасно себя тревожишь. Деньгами ты ее не купишь, Владимір: она выше этого, гораздо выше. А самого тебя... ты не обидься, смотри... Она еще вчера мне говорила, что считает тебя мальчишкой, что ты еще слишком молод.

— Не верится мне что-то, — возразил я с досадой, — на нее это непохоже. Она взята с деревни; я уверен, что свежесть и добродушие ей нравятся больше, чем все эти гнусности, которые выдумали барышни — опыт, сила, бледность, страданье... чтоб их чорт побрал!.. Давно ли она про тебя говорила, что ты губастый, весноватый, худой...

Модест сперва покраснел, потом долго шел молча, вздохнул и продолжал:

— Быть может, она обоих нас проводит. Ошибиться можно всегда, особенно тому, кто благороден... Однако странно!..

Помолчав еще, он вдруг обернулся ко мне с выражением торжества и веселья на лице и сказал:

— А что, если я тебе скажу, что все уже кончено? Если я тебе скажу, что она принадлежит уже мне... что̀ ты скажешь? Послушай, Володя (он взял мою руку), для тебя она была бы игрушкой, для меня она — святыня! Я никогда не говорил тебе так. Я знаю, что все это останется между нами. Я все скажу тебе... я хочу на ней жениться...

— После этого, — отвечал я грустно, — мне нѐчего тут мешаться... Я не буду вам мешать.

— Ты будешь так благороден, Володя? — воскликнул он.

— Еще бы! Это уж не то. Вот тебе мое честное слово, что я не буду подходить к ней, если ты этого не захочешь...

Оставшись один во флигеле, я долго думал об этой развязке. Я был сам не свой; потрясен, удивлен, огорчен и обрадован вместе...

Итак, уж эти умные глаза, эти губы, молодой стан, знакомые руки — все это не мое? Больно... Но как вспомнишь, что дикарка наша будет «дамой», что она наденет шолковое платье, что Ольга Ивановна принуждена будет говорить ей «вы», и «Катерина Осиповна», так станет легче... Вот какие вещи делаются у нас в Подлипках! Ольга Ивановна легка на помине: человек принес мне от нее запечатанную записку с деньгами:

«Тетушка ваша очень расстроена; она поручила мне писать вам, что двухсот рублей у нее в эту минуту нет, а посылает она 170. Завтра прикащик отдаст вам 30. Не ходите к ней: она нездорова и не желает вас видеть...»

На что̀ мне теперь эти деньги? Я бросил их на стол и думал, что Бог меня очень скоро наказал за бедную тетушку.

Я еще не успел прийти в себя и сновал из угла в угол по флигелю, когда сама Катюша отворила дверь и шопотом спросила: «одни?»

— Один, — отвечал я.

Катюша обняла меня и прослезилась.

— Я виновата перед вами, — сказала она, — знаю я сама... А я вас всегда больше чем его любила... Как это случилось — не знаю сама... Простите мне, что я вас обманывала... Духу не хватило вам сказать; как увижу вас, то есть просто так жалко станет... Господи!

— Что же, Катя? — отвечал я, — это к лучшему. Я бы никогда не женился на тебе, а он... Ты будешь Катерина Осиповна Ладнева...

— Как же! сейчас так я и поверила этому! Ну, да такая моя судьба... Узнает он, что я здесь была...

Она хотела бежать, но было уже поздно. Модест застал ее. Он не сказал ей ни слова, но едва только она затворила за собой дверь, он кинулся как безумный на кровать, потом вскочил, заплакал и, прижав платок к глазам, сказал: «Она тебя, тебя любит! Все пропало!»

Я уговаривал, упрашивал его, клялся ему, что не прикоснусь к ней, что она пришла сама, из сострадания ко мне.

Но долго еще ревность его не остывала; он бегал по комнате, божился, плакал, растерялся до того, что чуть-чуть было не уронил этажерку с книгами, опершись на нее с размаху локтями. Видно было, что он искренен, что не знает, куда деться. Я увел его в поле. День был тихий, осенний, везде блестела и неслась паутина; бедный Модест умилился и успокоился... Я вспомнил о тетушкиных деньгах и предложил ему 100 рублей.

— Спасибо, — сказал он. — Деньги нужны... Надо уговорить ее уехать отсюда. Я не могу еще выбить из нее привычек низкопоклонства, ей ничего самая грязная служба, а я подумать об этом не могу без ужаса. Впрочем, к концу сентября увезу ее непременно...

После этого Катюша не раз приходила к нам во флигель по сумеркам; Модест сам ставил самовар и поил ее чаем; он был очень внимателен к ней, даже нежен, и я старался избегать их общества, потому что он был неинтересен, а она холодно весела, и мне все казалось, что ей противно, что она его не любит.

Немного спустя вышла в доме история, которая принудила Катюшу оставить Подлипки. До тех пор она все не соглашалась уехать, боялась чего-то. Сама говорила мне: «Страшно что-то! Вы не поверите, ей-Богу!..»

VIII

Дня через три после этого в скотной ночью был пир. Тетушка, с тех пор, как к нам занесли падеж приятели скотника, запретила ему раз навсегда принимать гостей; но Филипп любил поиграть в карты и выпить, а жена у него была молодая и плясунья. Я еще спал, когда Модест на цыпочках и совсем одетый вошел в нашу общую комнату. Я открыл глаза.

— Ты проснулся?

— А что?

— Проснись, проснись. Ради Бога, слушай... Она поедет, теперь — я уверен — она поедет!.. Молодец Филипп! Молодчина! Я видел ее сейчас. Как она грустна, как мила!

Наконец-то я понял, в чем дело. Когда мы кончили чай, в столовую позвали всех девушек; тетушка села на кресле, у окна. Ковалев (он недавно вернулся), с чубуком в руке, расхаживал по зале. Прикащик докладывал, кто был на пиру и как. Девушки молчали; курносая Матрена, Маша, московская швея, с острой головой и большими коками, стояли рядом; из-за них, презрительно улыбаясь, выглядывала Мавруша, горничная Ковалевых, высокая, цветущая, толстая, черноглазая и разодетая в прах. Впереди всех вытягивала шею наша простуша Катюша. Модест отвернулся к садовому окну и барабанил по стеклу.

— Воля ваша, я в скотной не была, — сказала Маша.

— Как же ты отпираешься? — продолжал прикащик. — У тебя и подол весь загвоздан... Прасковья-стряпуха сама видела, как ты через забор лезла, чтоб мимо моих окон не идти... Вот что!..

Ковалев в эту минуту вдруг остановился перед Маврой и спросил: «А ты была? Смотри, не лгать, не лгать!» И грозно поднял руку.

— Была, была, — сказал прикащик, — в барской шали была... молчи уж!

Ковалев еще ближе подступил к Мавре.

— Говори, была?

Мавра презрительно улыбнулась.

— Отчего ж и нам иногда не погулять? Ведь господа гуляют... А барской шали я не брала.

Ковалев изо всех сил ударил ее по щеке. Мавра заплакала.

— Serge! — закричала жена.

Даша ахнула. Модест взглянул на меня и поднял глаза к небу. Сама тетушка покачала головой и обратилась к Катюше.

— И ты, мать моя, туда же?

— Куда люди, туда и я-с, — отвечала Катюша и поклонилась ей в ноги.

Модест взбесился и вышел вон.

Девушек отпустили.

— Все эти беспорядки от вашей слабости, тетушка, — заметил Ковалев.

Тетушка, грустно прищолкнув языком, отвечала:

— Мужчины нет в доме, нет мужчины — вот беда...

— А Володя? — спросил Ковалев улыбаясь.

— Э! батюшка...

Вечером мы с Катюшей в последний раз беседовали в Подлипках. Я уговаривал ее уехать с Модестом. Она была бледна, горько плакала, но говорила: «Здесь я привыкла; родные есть... будет ли лучше с ним?»

При всем моем желании быть благородным, я не умел тогда быть благородным по-своему, не имел находчивости для отдельных случаев и больше боялся прослыть за бесчестного человека, чем быть им в самом деле. Правду говорит Катюша, ехать страшно; но если я буду молчать, если не истощу всех доводов, чтоб заставить ее ехать, Модест вдруг взглянет на меня с сожалением, улыбнется и скажет: «Позавидовал, позавидовал, Володя!», — скажет тем убийст-

венным тоном, которым Юрьев сказал когда-то: «ветер, Володя, ветер!»

— Поезжай, поезжай, Катюша! Он тебя любит, он не оставит тебя... Охота тебе чорной работой эти милые руки портить... Поезжай, не бойся!

На другой день Модест пришел ко мне опять поутру и, ставши передо мной, сказал томно:

— Она решилась. Мы едем.

— Когда?

— Послезавтра. Сегодня она будет просить расчета. Я уеду завтра, вечером, и буду ждать ее в городе.

— Володя! — прибавил он, взяв меня за обе руки, — поедем с нами. Я надеюсь на тебя и на Юрьева. Вы будете у меня свидетелями... Где-нибудь в деревне, на Воробьевых Горах... Поедем; мы будем кататься в лодке, ездить за город... Как теперь хорошо в Москве! Все листья в садах падают, прохлада...

— Я очень рад, Модест, быть тебе полезным, — отвечал я со вздохом.

Мне тяжело было раз навсегда расстаться с мыслями о чепчиках, мантильях, кружевах, на которые я смотрел, бывало, проходя по Кузнецкому Мосту и думая о том, как бы я мог одеть в них перерожденную Катюшу.

Деньги были, и я пришел, на следующий вечер, прощаться с тетушкой.

Старуха огорчилась и просила меня остаться.

— Все тебя этот Модест смущает... Такой фальшивый!.. Проживи с нами еще... Или старуха тебе надоела?..

Стоит ли жалеть женщину, которая называет меня мокрой курицей, и за что же? за доброту к людям! Если б она еще тридцать раз больше любила меня, так все-таки этого я не простил бы ей.

Мы все уже сели за вечерний чай, когда Ольга Ивановна вошла и сказала:

— Вообразите, Катюша сейчас упала в ноги Марье Николавне и просила расчесть ее... Затвердила одно: разочтите да разочтите!

Все переглянулись. Но Модест довольно натурально спросил:

— Неужели? Что̀ это за фантазия?..

— Уж не похищение ли это, Володя? — спросила, смеясь, Ковалева.

— Да! пожалуй... От него все станется, — заметил бесстрашный Модест и поглядел мне прямо в лицо.

Настала свежая ночь, и мы выехали с Модестом, оба очень грустные. Модест не притворялся. В голосе его, на лице, озаренном месяцем, я читал смущение и полноту чувств человека, приступающего к решительному и благородному делу, от которого нет уже возврата к прежнему. Не жениться, мне казалось, он не мог после своих слез, своих слов и клятв. Не жалей он простой народ, будь он человеком вроде брата — обмануть Катюшу было бы в порядке вещей. Но он одинокий и мыслящий бедняк, он понимает, что̀ такое бесчестие.

Мы мчались с бубенчиками по тихому проселку, мимо сжатых полей ржи, мимо теплых деревень, уснувших над прудами, опускались в прохладные овраги, въезжали в рощи. Багровая луна долго стояла на краю неба; в полях пахло горелым. Модест первый прервал молчание.

— У нее очень сильный голос и верный слух, — начал он. Третьего дня, ты знаешь, я долго убеждал ее оставить Подлипки. После этого я ушел в сад и проходил мимо окна, у которого она плакала и пела. Сколько души! Я сделаю из нее актрису.

— Ты думаешь, у нее есть сценический талант?

— Есть, поверь мне, что есть, — задумчиво отвечал он и прибавил помолчав:

— Я и сам пойду в актеры. Что̀ мне имя!

— Что̀ имя!

Целый следующий день ждали мы Катюшу в городе. Наконец она приехала на телеге одиночкой, пересела в наш тарантас, и мы поскакали на почтовых.

Через сутки, рано утром, я проснулся перед въездом в Москву. Город блистал вдали, и трава по сторонам

шоссе была седая от холодной росы. Я поглядел на своих спутников. Модест, угрюмо насупившись, дремал, прислонясь к углу; а Катюша, в чепчике, румяная, раскрыв немного рот, сладко спала между нами на подушке. Я благословил их молча на новый и трудный путь и дал себе еще раз слово помогать им и дружбою, и деньгами, сколько можно, за то, что они у меня на глазах, в России, исполняли один из моих идеалов — идеал соединения образованного человека с простолюдинкой высокой души. Толстогубое, неприятное лицо Модеста немного портило мой идеал... Если бы он был посимпатичнее или покрасивее! Вот, если б я был на его месте! Тут я вспомнил ревность его ко мне и его слова: «Я буду отдалять ее от тебя, когда женюсь».

И вдруг передо мной явилась самая яркая картина, как будто не из будущего, а из прожитого. Сумерки. Его нет дома. Молодая женщина в диком шолковом платье сидит за роялем. На руках у нее кольца, браслеты, кружева. Я молчу и слушаю. Вдруг она наклоняется, берет мою руку, припадает к ней — и слезы текут у нее градом. Она любит меня, новая, неизвестная еще мне Катюша! А я?.. Об этом я не думал, и через час или полтора подъехали мы к гостинице.

В Подлипках поднялась без нас страшная суматоха, когда все узнали, что Катюша уехала с нами. Тетушка была в отчаянии и проклинала Модеста за то, что он помогает в подобных делах. Она даже решилась сесть в коляску и ездила сама на станцию, в город, узнавать всю правду.

— Погубит, погубит он его! — говорила она.

— Да не беспокойтесь, Марья Николавна, — сказал ей Теряев, — она уехала с Модестом, а Володя помощник... студент, защитник невинности.

Тетушка написала мне длинное наставление, просила не принимать распутника и прибавила, что Ольга Ивановна прозвала его Дон-Кишотом, а меня Санхо-Пансой.

Я разорвал это письмо с негодованием.

IX

Сначала все идет хорошо у Модеста с Катюшей. Она одета со вкусом, весела, пополнела, выучилась как раз играть кистью на блузе (она ли это?); нумер у них светлый, чистый; на дверях окно с красной шерстяной занавеской; стучусь в него...

— Кто там?

— Я, я.

— Ах! это он!..

С веселыми лицами они отворяют мне дверь. Где моя зависть? Я не грущу и вздыхаю у них не тяжко, а легко... Модест не тужит о будущем. Деньги есть. О чем мы только не говорим! Все их смешит, все занимает; они рассказывают мне о своих соседях по нумерам: как француз в зеленом халате жалобно просит самовар каждое утро у коридорного; как молодой немец щиплет свою жену; как армянский купец любит белокурую Шарлотту, которая живет против них. Приходит к ним часто старая чепечница Серафима Петровна, которая в свое время так пожила, что до сих пор забыть не может, и говорит мне: «Поверьте, Владимір Александрыч, незаконная любовь всегда слаще законной!» Мы ее зовем просто «Чепечница Петровна» и хохочем всегда, когда она тут. Модест провожает меня всегда с лестницы и говорит с чувством:

— Прощай, Володя... Заходи...

Прощай, Модест! (говорю я сам себе). Прощай, и верь, что я не обману тебя! Сколько раз случалось мне проводить с ней целые часы без него, отдыхать вместе с ней после обеда — она на кровати, я на диване — и никогда никакая непозволительная мысль не закрадывалась мне в душу... Братский поцалуй на прощанье, и только.

Он беспрестанно хвалит ее; самые шутки его стали веселее и проще, смех искреннее, голосистее... И какому вздору они смеются!.. Однажды подхожу к окну: там на штукатурке написано карандашом рукою Модеста:

«Что у меня за ножка, как купеческая дрожка!»

«В. Отчего ты болтаешь как сорока?»

«О. Оттого я сорока, что на лестницу летаю высоко!» (Их нумер в третьем этаже).

Это счастливый Модест записывает остроты Катюши. Мы гуляем вместе; ездим в Кунцево, в Нескучное, в Кусково; везде падают листья, и погода стоит ясная. Они жалеют меня, и Катюша нарочно приглашает потихоньку от армянина Шарлотту. Немка свежа, и глаза у нее совсем голубые; к тому же тень Лермонтова носится надо мной, когда я вспомню о чорных усах армянина (армянин, грузин, черкес — не все ли равно?). Он даже может убить меня... жутко немного, но все-таки хорошо. Я бы и не прочь полюбить ее, но как только она сожмет сердцем губы и скажет: Herr je! Herr je! — так меня холодом и обдаст. И я опять один.

Здесь в Москве недурно, но из Подлипок вести нехороши. Теряев уехал. Тетушка пишет мне:

«Бедная Ольга Ивановна много плачет. Она довери-лась этому негодяю. Даже глаза разболелись от слез. От Клаши весть пришла добрая: за нее сватается хороший человек, ты его видел — г. Щелин».

Как не видать г. Щелина! Он еще прежде, бывая у нас, засматривался на Клашу. Хороша весть! Быть невестой человека, у которого бакенбарды идут по середине щеки к носу, лицо жирное и белое, Станислав на шее, живот большой, руки сырые... Нет, не пойдет она за него, как̀ может она решиться пойти за него, когда она сама слышала, как̀ и что̀ он говорил! Значит, он говорил хорошо, если из всех слов его мы с нею запомнили только одно:

— Когда я был посылан на Кавказ для узнания порядка службы, граф Андрей Арсеньевич...

И ведь читала же она «Нос» и знает, что Ковалев был кавказский коллежский ассесор точно также, как и Щелин! Этого одного, кажется, довольно. Нет, это бредни: она не пойдет за него.

Я пишу ей лихорадочное письмо; но она отвечает мне кротко:

«Что ж делать, Володя? Я бедна; сестра моя тяготится мной; а он добр и души во мне не слышит».

У меня и письмо из рук выпало! Жалеть или презирать? Боже, как жизнь что-то становится темна и страшна!

X и XI

В эту зиму дом наш в первый раз опустел: не было ни Модеста, ни брата, ни Клаши, ни Катюши. Ольга Ивановна глядела сурово из-под зеленого зонтика. Даша похудела, много читала и мало говорила, часто брала простого ваньку и уезжала к Ковалевым, без локонов, без игривости... Придешь вечером в большой дом; только что отработал, расправил спину, душа полна, совесть спокойна... хорошо жить на свете! Кажется, и всем должно быть хорошо... Что-то наши? Весело ли им, как мне? Нет, им не весело (*они не умеют жить!*). Тетушка сидит в большом кресле, в простенке, перед столиком с двумя подсвечниками, и щолкает картами. Приостановится, побарабанит пальцами и запоет:

— Эх... двойка!... Где моя двойка... двойка, двойка... тузик, где ты, тузик?..

Ольга Ивановна около круглого стола тоже щолкает картами или вяжет, почти не глядя. Даша читает, вышивает или ходит по зале взад и вперед одна. Скучно! Разве кто-нибудь зайдет... да и кому зайти?.. Гости почти все бывали у нас по утрам с визитом или поздравлением, а вечером что им у нас делать? Москва велика, люди живут врозь; кому охота из Харитония в Огородниках к нам в Старую Конюшенную ехать?.. По утрам еще можно было встретить у нас кого угодно: и старого князя***, и пехотного офицера, маленького, скромного, который от робости попадал большим пальцем не в ту сторону, где его можно было запустить за борт, и только трогал им поочередно все

пуговицы, и гвардейцев, прежних братниных товарищей, и богатых родственниц с дочерьми и сыновьями, и толстую, красную жену мелкого помадного матера, которая, вышедши замуж, привезла к нам мужа и сказала: «вот мы хоть и плохи, а нас люди любят!» Приезжал и архимандрит; он останавливался в прихожей, вынимал стклянку с духами и наливал их себе на руки; монахини приносили просфоры; старичок Хорохоров, тетушкин chargé d'affaires, распространял иногда при всех свой любимый запах — смесь лимонной помады и вина.

Ходил еще к нам один молодой архитектор; печальным басом пел он у нас романсы, избоченясь у рояля, не только во фраке и рубашках, расшитых гладью, но даже в полубархатной жакетке, как дома. Он был очень смугл и красив, носил широкие, круглые бакенбарды, как те испанцы, которые сражаются с быками, и в мягкой медленной улыбке его, в задумчивых глазах, казалось, скрыта была какая-то тайна. Даша вела одно время с ним секретную переписку (в промежутках между поляком и Модестом), но потом бросила его и говорила, что он толст, груб и скучен, что он похож на самовар. И несмотря на лимонную помаду Хорохорова, на вышитые рубашки и плисовый сюртук архитектора, на жену помадного торговца, по большим праздникам на круглом столе нашем встречались, в груде визитных карточек, имена таких людей, о которых стоит только подумать, чтоб стало легче жить на свете! У одного балкон с золотыми перилами, слуги в штиблетах и ливрейных фраках стоят на драпированном подъезде; другому государь, месяц назад, рескрипт в газетах писал; иному уж восемьдесят лет, а он в голубой ленте, звездах, ездит на все акты и заседания каких-то ученых обществ (к которым я ни за что на свете не хотел бы принадлежать, но рад, что они существуют); у третьего обедал два раза d'Arlincourt; у четвертого племянница за немецким графом, в отечестве Шиллера и Гете, а двоюродный брат ездил в Индию, откуда один мысленный шаг до того необитаемого острова, где мужчины молоды и невинны, а девушки просты и

страстны. Но в будни и по вечерам у нас редко бывали гости.

Тетушка щолкает, щолкает картами, потом смешает их, постучит табакеркой и вдруг скажет: «Посмотрите! как эта тень от люстры похожа на черепаху!» Все давным-давно знают, что она похожа; я даже знаю, в который угол смотрит голова, а в который хвост, однако, все мы глядим на потолок и говорим: «Дà, это правда!»

Молчим минут с десять. Опять раздается голос тетушки:

— А холодно на дворе?

— Давича я смотрела, — отвечает Ольга Ивановна, — около одиннадцати градусов мороза.

— Одиннадцать градусов! Вот и зима прикатила опять.

Кому вздохнется, кто зевнет, и опять все молчим.

Даша все еще суха с теткой; тетка сурова с ней. «Подите, возьмите, прочтите мне это громко!» — «Хорошо, сейчас!» Больше ничего не услышишь от них. Мне так жаль иногда стареющую Дашу, что я даже избегаю ее. О чем бы она ни заговорила, мне слышится в словах ее отчаяние. «Мне двадцать семь лет! Я покинута. Меня никто не любит... Я старая девушка, бедна и презираю себя!»

Жестокая, грубая Клаша! И я бездушный человек! Зачем мы говорили ей, что она ходит как Настасья Егоровна Ржевская! Она вяжет мне одеяло теперь; я привожу ей билеты в стали и говорю: «Поедемте с Ковалевой в стали; давайте кутить!», а у самого сердце так и щемит, и улыбнуться даже больно.

Собственная моя личность в эту зиму бледнее прежнего. Я уже не помню тех научно-поэтических восторгов, которые заставляли меня бегать по флигелю в священном безумии; не помню той душевной неги при одной мысли о том, что *я* — *именно я*, а не кто другой, что *я* живу, дышу, ем и мыслю, буду любить и буду любим. Подобные чувства, конечно, были и теперь, но сознание привыкло, должно быть, к ним, не удивлялось им, и память о них ослабела. Я жил разнообразно; был уже студентом, сиба-

ритствовал, хохотал и мыслил с Юрьевым, жалел Дашу, презирал Клашу, посещал нумер Модеста и Катюши, ездил в театр, танцовал изредка, изумлялся, делал мелкие открытия — но почва подо всем этим была старая. Я донашивал прежнюю кожу положительно идеального эклектизма, не замечая, что к средине зимы она уже сквозила во многих местах. Я начинал чувствовать в себе что-то тоскующее, трепетное; но жолчного было еще мало. Юрьев нанес мне несколько легких ударов. Юрьев первый заговорил со мной языком, от которого пробудились все струны моей души. В оригинальной, беспорядочной шутке его не только не было натяжки, как у Модеста, но от нее становилось легче, даже тогда, когда он глумился или кощунствовал. А он это делал часто. Бедный Вольтер, которого оклеветала тетушка, показался мне, когда я познакомился с ним, безвредным ребенком, сухим и поверхностным перед моим домашним Мефистофелем. Куда девался тот скромный юноша-делец, прилежный, идеальный, тот «муж разума и чести», который говорил мне о женщинах с волнением, с задумчивым взором, который умоляет меня жениться на русской? Стоило только вспомнить всенощные в городе, где дядя был вице-губернатором, чтоб видеть, как он переменился. Я любил тогда ходить ко всенощной больше, чем к обедни. Темные своды, блеск старого иконостаса, лампады и густой голос Юрьева располагали меня к такой пламенной молитве, которой сладости и чистота не повторялись другой раз в моей жизни. Юрьев пел задумчиво и страстно, прислонясь головой к стене и скрестив на груди руки. Хор гимназистов был складен: у двух братьев, мальчиков одиннадцати или двенадцати лет, были небесно-кроткие голоса; слушая их из-за колонны в темном углу, я верил в ангелов уже не по привычке, а по внезапному сердечному вдохновению; скрывшись от народа, я становился на колени и не вставал долго, плакал и не стыдился простирать руки к небу, когда октава Юрьева и нежные голоса двух мальчиков согласно покрывали все остальные и пели об этом страшном «жи-

тейском море», которое волнуется и в которое я так бы хотел тогда безнаказанно погрузиться!.. Легче было жить тогда!

Отойдет служба; народ станет сходить с паперти, а я уже жду его на церковном дворике. Встречаемся: он рад и жмет мне руку. Мы оба улыбаемся.

— Ну, что?

— Ничего — хорошо.

— А ведь сладко, когда помолишься?

— Конечно, сладко!

И пойдем вместе или ко мне, в мою веселую комнату, или, если погода хороша, пойдем бродить по улицам, на бульвар; вздыхаем легко, задумчиво и бодро и, «предав себя весело Богу добрых людей», говорим о женщинах — он о своей Маше; я о Людмиле.

Теперь он уже не тот. Я скоро заметил, что склонность к осуждению и насмешке стали в нем сильнее, что ему во мне не нравилось многое. Меня это удивило. Я не умел распознать тогда ту летучую сумму приемов, которая зовется натурой человека; я не видел никакой разницы между ним и собою — видел только одно общее направление. Голова моя была так полна литературными мыслями о женщинах, любви, дружбе, Боге и природе, тонкой путаницей неопытного самолюбия, лекциями, мелкими и новыми встречами с теми людьми, которые играют в нашей жизни роль гостей, сенаторов, дам, воинов и народа, что для умения ясно узнавать цельных людей во мне не хватало места; я не успевал и не умел отчетливо следить за чужими движениями, тоном и взглядами; «серая теория», по выражению Мефистофеля, все более и более приобретала мое уважение, и «золотое дерево жизни» представлялось уже менее «зеленым», блекло нечувствительно с каждым месяцем. «Голос разума», которого когда-то боялся Юрьев в своих стихах, уж не издалека грозил мне! Занятый этими теоретическими вопросами, я забывал о Юрьеве, как о полном человеке, и видел в нем только струны ума, однозвучные с моими, хотя и признавал добросовест-

но (это я помню), что мои далеко не равносильны. Лет через пять, не прежде, я раз, проснувшись поутру на станции, догадался, что Владимір Ладнев для Юрьева был почти тем же, чем была Даша для *меня*: добра, безвредна, даже не лишена по временам нервной энергии, но не ловка духовно и часто напоминала играющего щенка, который смотрит не туда, куда надо смотреть, прыгает не туда, куда надо прыгать, поскачет, поскользнется, тут же задремлет на минуту и, проснувшись дрожит и пищит жалобно. Юрьев, быть может, не всегда был прав в сущности, но всегда был силен и ловок приемом...

— Куда нам за вами, *граф*! — сказал он мне однажды, — вы даже и в лошадях знаете толк... Вы любите лошадей, *граф*? Что ж вы молчите?

— Разве я могу тебе сказать правду? Я даже не могу объяснить тебе, отчего я не могу сказать этой правды.

— Говорите, говорите... Вот вам оба уха разом... Ни одна волна воздуха, можно сказать, не пропадет...

— Не могу! — отвечал я, задыхаясь.

— Ну, прошу тебя, скажи, чудак!..

Я начал медленно:

— Видишь ли! Я имею состояние, а ты беден... Наша фамилия...

Но Юрьев не дал мне кончить: он уже лежал на земле, закрыв глаза и без движения, как в глубоком обмороке. Все кончилось смехом, но я был прав. Лошади у меня бывали свои и хорошие; я знал их и любил иногда заниматься ими от всей души. У Юрьева лошадей не бывало, и он мне не верил. Вздумал он также звать меня *сила воли*, особенно, когда заставал за работой.

— Господи! — говорил он, — Господи ты, Боже мой! Что это за человек! На все руки! И лекции изучают, и на балы в какие места ездят, и частной благотворительностью отличаются. Нищим, как Чичиков, никогда не преминут... «Левая, говорит, рука чтоб не знала»... Оттого они левую руку в кармане всегда и держат. И пером иной раз могут владеть! Вы думаете, кто это Мильтона раскритиковал?..

Они! Правительство даже как в одном месте политично задел! «Мильтон, говорит, так и так...» Вот они! Вот они... (кричал он изо всех сил и, с беспокойством в лице, обращаясь вдруг к пустому углу, закрывался от меня рукой и шептал) Вы знаете, как *ихнее* имя? *Сила воли! Сила воли!*

Я просил перестать и часа на два становился печальнее; но по-прежнему всякая тоска, всякое страдание казались мне ошибкой, слабостью, неправильным состоянием души. В этих минутах сердечного дрожания (если можно так выразиться) я не умел еще видеть первые черты того, над чем я так смеялся, чего не понимал и что̀ считал постыдной маской, давно оставленной лучшими людьми — первые черты *разочарования*... Я и не подозревал, что во мне повторится то, что̀ давно съедало молодость многих, приготовляя их к лучшему и что я всякую радость года через полтора или два стану считать слабостью, неправильностью и самообольщением. Но пока еще я по-пержнему не понимал «Думы», относил ее к людям, подобным брату — и Печорин был мне противен.

XII

Сентябрь давно прошел, и Филипповки были уже близки, а Модест с Катюшей не были еще обвенчаны. Тетушка, несмотря на презрение свое к Модесту, поручила своему Хорохорову поискать для него место, но Модест отказался от ее помощи.

— Не надо! Гнусность! — воскликнул он сурово; потом прибавил: — Поедем-ка сегодня в купоны, «Горе от ума» смотреть, и Катюшу возьмем. Сперва у меня в нумере чаю напьемся. Помнишь, ка̀к она в Подлипках плясала и пела: «Ах, жизнь не мила, в трактире не была»... Поедем! а?

Мы напились чаю в нумере и поехали в театр все трое в наших парных санях. Тетушка не знала, для чего я взял ее сани, и я с удовольствием *осквернил их Катюшей*.

Когда она стала садиться в них, кучер, отстегивая полость, не обратил на нее внимание, но она сама сказала ему со смехом (без которого она даже и плакать не могла):

— Здравствуйте, Григорий Кондратьич... Вы никак загордели уж ноньче?

— Ах, ты Господи! Катерина Осиповна! Здравствуйте, кума, здравствуйте! Как поживаете? Ах ты Господи! Не узнал, не узнал!

— Садись, садись, — сказал Модест, — дорогой можно любезничать.

И точно, доро́гой, когда приходилось проезжать по площадкам и переулкам, в которых встречалось мало экипажей и пешеходов, кучер придерживал лошадей, беспрестанно оборачивался к ней и отвечал на все ее вопросы о Подлипках, о дворовых людях, о родных из других деревень. Она была вне себя от радости: то смеялась, то ахала, когда кучер говорил о чем-нибудь печальном: «старик Герасим на пчельнике у себя помер», или «в Петровском десять дворов сгорело...»

— Скажите, какая жалость! — говорила Катюша, покачивая головой.

— Ну, а скажите, пожалуйста, ка̀к теперь у вас... — начинала она вдруг совсем другим голосом и опять хохотала.

Мы с Модестом любовались на них.

В театре Катя сперва заметила про Щепкина:

— Ну, уж старик!.. пошел старое время хвалить!

Потом занялась Лизой и на возвратном пути не раз вскрикивала в санях: «Ну, как не полюбить буфетчика Петрушу! Та̀к она это говорила?»

Модест беспрестанно смотрел на нее во время представления, ловил игру впечатлений на ее лице и подмигивал мне на нее так кстати, что я опять увидал пред собою того искренно влюбленного и счастливого человека, которого знал месяца два-три назад.

Если б они всегда были так милы оба! Какой сладкой обязанностью счел бы я вести за них войну с тетушкой и Ольгой Ивановной!

Да! если б у Модеста с Катей все было хорошо! Но Бог с ними! Уже в январе призналась мне Катюша, что она беременна, и Боже! сколько теплоты проснулось во мне!

— Душа, душа моя Катя! — сказал я ей, обняв ее с самой чистой, священной нежностью брата.

— Ах, прощай, моя молодость! — прошептала она, припала ко мне и плакала.

Я смотрел на обезображенный стан ее и на красные пятна, которых я прежде не замечал на ее лице, и что со мной сталось в эту минуту, никакими понятными словами передать не могу!

Мало ли беременных на свете? Уже и от мужа Клаши пришло к тетушке письмо, в котором он говорит, что «мой ангел, Клаша, не совсем здорова, и сердце убеждает меня, что я отец!» Отец! Шелин — отец, и Клаша, надворная советница — мать; Модест, почти студент — отец, и Катюша, наша деревенская девственница, мать, мать тайная, мать-страдалица, в бедном нумере, посреди чужой и незнакомой толпы!

Я вернулся домой — и над судьбой ее задернулась тогда для меня непроницаемая завеса. Над Клашей тоже опустил я занавес, но совсем другого рода, и, когда тетушка сказала мне: «Что-то от друга твоего нет вестей. Здорова ли она?», я спросил:

— Кто этот друг?

— Клаша... Муж хотел еще написать что-нибудь повернее об ее положении.

— Стоит ли интересоваться этим! — воскликнул я.

Все это так, конечно: Катюша выше Клаши; но когда Модест пришел ко мне и повторил ту самую новость, которая так сильно поразила меня, лицо его было скучно, и я не решился спросить: «а что же свадьба?»

Я думал, ему будет больно от этого вопроса.

И ссоры у них начались. Модест вздумал вдруг ревновать ко мне. Однажды я долго стучался к ним в дверь — никто не отпирал, а коридорный сказал, что Катерина Осиповна дома.

Наконец показалась Катя. Она была невесела.

— Что̀ с тобою?

— Ах, уж что̀ толковать! Веселиться нѐчему... Не на веселье родилась... вот что...

Отчего ты меня так долго не пускала?

— Оттого, что ваш милый братец не велел без себя вам отворять дверь. Пусть при мне, говорит, ходит... Да не то, что к вам: с монахом вчера на паперти два слова сказала, так и то он такой крик поднял... И зачем это я послушалась вас?.. Все вы виноваты... Зачем я поехала с ним! На свою погибель... Молодость и здоровье с ним потеряю... Несчастная я, несчастная!..

Она долго плакала, и я с трудом на этот раз рассмешил ее.

Модест застал нас, но был очень весел и любезен со мной и ни малейшего признака ревности не показывал ни в этот раз, ни после.

Они то ссорились, то ласкали друг друга; ссоры огорчали, а ласки смущали меня; особенно мне было противно, когда она раз поцаловала у него руку и поцаловала без страсти, так, чуть-чуть прикоснулась: видно было, что потребности к этому у ней вовсе не было. Еще одним идеалом меньше!

— Да̀, брат, человеку не угодишь! — заметил Юрьев, когда я ему жаловался на них.

И мне вдруг казалось, что я виноват, что я многого требую, а что они счастливы, и ссоры у них, как перец и соль в кушанье, улучшают вкус.

XIII

Юрьев бывал у меня почти каждый день, обедал, уходил часа на три к своим воспитанникам и вечером приходил опять; ночевал, просиживал у меня до поздней ночи. Я забывал всякое горе, когда поднималась занавеска на моих дверях и он приветствовал меня всякий раз на новый лад.

— «Дон Табаго, а дон Табаго?! — Или: — Замечательная натура, как ваше здоровье?»

Как бы ни было мне грустно, но стоило только услыхать его голос и становилось весело. От улыбки я ни за что в свете не был в силах тогда удержаться!

Мало-помалу я утрачивал всякую способность мыслить самобытно; я только думал мимолетно, но доканчивал работу мысли он за меня; услыхав его приговор, я откладывал в сторону вопрос, как навсегда решенный. Запас живых и научных фактов рос в моей памяти с каждым днем; взгляды расширялись; благодаря ему я начинал понимать форму в искусстве; но сам я, как умственный производитель, как личность, живущая сама собой, падал все ниже и ниже. Взгляда его чорных глаз, улыбки, покачиванья головы было достаточно, чтобы заставить меня переменить намерение, оставить всякое начинание, утратить веру в собственное мнение. Я не испытывал еще ничего подобного; я думал теперь, что без него жизнь не жизнь, что никакое богатство, никакая любовь, никакая слава не будут полны, если вечером нельзя будет рассказать о своем счастье ему, услыхать его изящную похвалу, его неумолимую критику, умирать со смеха от его импровизаций в стихах и прозе. Его прикосновение никого не оскверняло в моих глазах. Смеяться над тетушкой я не позволил бы никому; другой бы не над тем смеялся, над чем можно, и не так, как надо; но на него я не сердился, когда он называл Марью Николаевну «рыдваном», или рассказывал мне, как она ездила с Ноем в ковчеге.

— Ты ступай, говорит, на Арарат! — «Нет, я на Гималай уж пойду!» На Арарат, закричит, да как топнет; ну, Ной и сробел. «На Арарат, говорит, так на Арарат!» Он уж ныл, ныл... С тех пор и стали его звать *Ной*...

Надо было видеть, как он это рассказывал! И всем он дал у нас в доме прозвания такие удачные, что я и объяснить не могу. Ольгу Ивановну он звал «набалдашник», и это очень к ней шло; Дашу — «стебель, колыхаемый ветром», но прибавлял, «что и стебель может быть благоуха-

нен и что им можно заметить славную страницу в жизни»; Модеста он видеть не мог спокойно и называл его то «жеребцом-водовозом» за худобу, то просто «весной» за веснушки. «Весна, весна идет!» — кричал он, увидав Модеста на улице. Однажды Модест сказал при нем, что Гоголь — русский Поль-де-Кок. Юрьев вскочил, сгорбился, схватился руками за живот и начал с ужасом, выпучив глаза, бросаться по всем углам комнаты, как будто не мог найти дверей. Надо было знать его страстную любовь к Гоголю, надо было видеть его фигуру и выражение тонкого, благовоспитанного презрения на лице Модеста, чтобы понять мое блаженство.

— Что̀ за шут гороховый! — прошептал Модест.

Только узнавши от меня, что Катюша уже мать, Юрьев стал мягче смотреть на Модеста и сказал тогда, задумчиво вздохнув: «Тоже человек ведь, поди!»

О чем мы только ни говорили с ним! Никогда у нас не умолкали чтение и беседа. Говорили о науке, о любви, о домашних делах; от него узнавал я такие вещи, о которых и в книгах тогда не читывал.

— А ка̀к ты думаешь, Володя, ведь обезьянка какая-нибудь славная сидит теперь на пальме около Бенареса какого-нибудь и думает! Ка̀к по-твоему, думает она, или нет?

— Еще бы! Разве у нее нет души...

Потом, помолчав, я прибавлял:

— А ведь это страшно, если вдуматься!

— Нет, именно, если вдуматься, так и страх пройдет. Впрочем, ты, Володя, живи верой: к тебе идет, идет к твоей комнате и ко всему твоему.

Но к чему вел такой совет? Прежде наука только согревала для меня мір: она беспрестанно напоминала мне то о чем-то творящем, добром, то о чувственном, страстном; я думал, что за доброту мою и за мое знание наградит меня Бог и в этой жизни и в той; а в его словах наука приобретала такое разлагающее, ядовитое свойство, что меня бросало иногда и в жар и в холод во время

наших ночных и послеобеденных бесед. То он уверял меня, что человек весь состоит из каких-то пузырьков, что на низшей степени нет никакой существенной разницы между человеком, растительной ячейкой и инфузорией; то рассказывал, что можно составить такую ванну, в которой разойдется весь человек, как сахар в воде (и сам хохочет!); то говорит, что *все условно*; зависть, корысть, тщеславие называет «общечеловеческими чувствами», уверяет, что у всякого человека есть все то, что̀ есть у других. И если бы еще он строил системы, ясные, увлекательные, а то сказал два-три слова и пошел — а тут обдумывай и терзайся!

Я все чаще и чаще начинал грустить и думал уже изредка о серьезной любви, об утешении, а не о забавах с женщиной.

Насчет этого он меня ободрял.

— Не бойся, — говорил он, — не та, так другая полюбит... С твоею развязностью, с твоим профилем и страстью на конце языка...

— Только на конце?

— Немного разве дальше... Да что̀ тебе за дело? Любили бы тебя!

XIV

Не удалось мне избежать переселения в нижний этаж флигеля, где не было ни чугунной решетки с бронзовыми звездами на балконе, ни камина, ни арки с полуколоннами, ни обоев. Ковалевы переехали, наконец, к нам. Я не буду рассказывать, как я был взбешен, как я долго не хотел даже отделывать нижних, мертвых для меня комнат, и на деньги, которыми старалась утешить меня тетушка, накупил множество подарков сестре моей перед Богом — Катюше. Радость ее и теплая благодарность Модеста немного развлекли меня; потом пришел Юрьев и сказал: «Дон Табаго! Я столько раз бывал турим в моей жизни из хороших мест, что ныньче понимаю вас! Вдругорядь буде-

те знать, что все непрочно... не скажу в свете, потому что в настоящем свете не бывал, а хоть бы и в том полумраке, в котором вы, Дон Табаго, играете такую значительную роль!..»

— Перестань! — отвечал я, — тетушка не понимает, как это для меня важно! Я работать здесь буду меньше и ей этого никогда не прощу!

— Владимір Ладнев! Владимір Ладнев! — возразил Юрьев кротко, — будь с доброй теткой не только *Ладнев*, но и *Покорский!* (У нас был знакомый студент Покорский, очень тихий, бедный и добрый человек).

Я смягчился, скоро привык к новому жилью и убрал получше нижний этаж. Через неделю, не больше, судьба наградила меня: Ржевские, мать и дочь, приехали в Москву.

Они остановились у одной богатой родственницы. Муж этой дамы был двоюродный брат самой Евгении Никитишны; он умер генералом лет за шесть до этого времени и оставил ей взрослого сына и трех дочерей, из которых старшей было 16 лет, а младшей 10. Тетушка делала г-же Карецкой два-три раза в год визиты, и Карецкая приезжала к нам изредка в большой карете четверней с форейтором. Она внушала мне небольшую робость и большое уважение. Ее томный вид, медленная, слабая походка, большие, чорные, задумчивые глаза, удивительный вкус и роскошь ее одежды и сан ее покойного мужа, который с обнаженной саблей скакал верхом через трупы (в пышной раме на красных обоях гостиной) — все это располагало меня к ней.

Говорили, что дела ее расстроены, что она не умеет хозяйничать, что она не в силах поддерживать огромный дом, который достался ей после отца, что она все деньги издерживает на сына, потому ли, что он любимец ее, или потому, что флигель-адъютант; говорили также, что на долю дочерей придется не более двадцати тысяч серебром. Иные смеялись над ней, звали ее старой мечтательницей и рассказывали, что она в Париже отыскала сестру милосер-

дия, soeur Marthe, ездила с ней к больным и варила с ней вместе *тизаны*. Но я, молча, сочувствовал ей и любил, небрежно взбивая волосы, взбегать по узорной чугунной лестнице в ее больших сенях... Две большие бронзовые нимфы на высоких пьедесталах, качнувшись вперед, встречали меня на верхней площадке и простирали ко мне руки с подсвечниками. По ту сторону бездны, над лестницей перед другой площадкой, стоял ряд белых колонн коринфского ордена, и за золоченым балюстрадом видна была таинственная дверь внутренних покоев. Дочери, все три белокурые и стройные, были робки и стыдливы; они редко ездили в гости, много учились и много занимались музыкой. Я желал со временем жениться на второй дочери, Лизе; она больше других нравилась мне лицом. Этим браком я мечтал завершить пир моей молодости. Тетушка случайно укрепила во мне эту мысль; прошедшим летом она сказала мне: «Вот бы тебе, Володя, со временем невеста. Мать тебя очень любит: такой, говорит, он славный!»

— Почтенная женщина! — подумал я, содрогаясь от радости, — какое у нее доброе лицо!..

Я даже спрашивал себя не раз, какой жилет я буду носить дома под толстым синим пальто, когда буду мужем этой хорошенькой Лизы, которая так наивно отставляет локти от стана, и, краснея, приседает в ответ на мой почтительный поклон?

Короткие посещения по праздникам не могли насытить меня, а бывать чаще меня не приглашали и незачем было приглашать.

Когда Ржевские приехали, мы стали чаще ездить к Карецким, и Софья с матерью бывали у нас по нескольку раз в неделю.

Софья выросла и немного похудела, но мраморный румянец все еще играл на ее щеках; она стала смелее прежнего, разговорчивее, танцовала так легко, что даже становилось иногда неловко: не знаешь, один ли танцуешь или с ней. Я долго раздумывал, как решить дело: объясниться ли ей

прямо в любви, или сойтись с ней просто дружески и просить ее помощи для влияния на Лизу, на будущую невесту. Случай заставил меня выбрать первое... Лизе было только четырнадцать лет, а мне ждать уж надоело. Однажды, все мы — тетушка, Ольга Ивановна, Даша и я были у Карецких. Даша пела песнь Орсино в маленькой гостиной около балкона над лестницей. По балкону ходили взад и вперед Ольга Ивановна с одним приятелем моим, Яницким (с которым я вас еще познакомлю), а мы с Софьей прохаживались по сю сторону бездны. Песнь Орсино, белое платье Софьи и великолепная тень на стене от сквозных узоров лестницы расположили меня к решительности.

— Вы верите, — спросил я, — что можно полюбить человека, почти не говоривши с ним?..

— Верю.

— Вы помните нашу встречу на качелях?..

— Помню.

Она опустила глаза и улыбнулась.

— Вам смешно, — продолжал я, — а я никогда этого не забуду. Не знаю, как для вас, а для меня эта встреча... Я ничего не требую взамен. Я прошу только одного: могу ли я говорить вперед так прямо, как я говорю вам теперь?

— Вы могли заметить сами, что я нахожу удовольствие с вами и еще, кроме того...

Она задумалась. Я встал и сказал ей:

— Я уйду. Нельзя так долго оставаться нам одним. Прошу вас, скажите мне что-нибудь...

— Вы еще очень молоды, — сказала она.

Я стал уверять ее, что она сама не имела случая убедиться, кто раньше созревает — девушка или юноша, и повторяет это за старшими, а старики судят по прежним молодым людям.

— Может быть, это правда, — отвечала она и, посмотревши на меня пристально, подала мне руку, которую я крепко пожал и поднес к губам...

Тайный союз был заключен, и через полчаса, проходя за шляпой через площадку, я увидал ее по ту сторону

лестницы. Она сидела на балюстраде, прислонясь головой к колонне, и казалась задумчивой. Увидев меня, она обернулась ко мне лицом, медленно и многозначительно покачала головой; потом встала и ушла во внутренние комнаты; но белого платья ее за золотым балконом я никогда не забуду!

Через несколько дней я опять увиделся с нею и успел оставить в руке ее записку. Я начинал так:

«Вам может показаться странным, что я без всякого такта напоминаю вам о вещи, о которой многие сочли бы нужным умолчать. Я говорю о *моем портрете* и о том, как вы были у нас в деревне. Вы были, конечно, институтка тогда, и я, поверьте, не хочу употреблять во зло вашу тогдашнюю наивность; но я бы хотел знать только, на что мне надеяться? Страсти я еще не слышу в себе, но думаю беспрестанно об вас. Скажите мне что-нибудь и не примите эту записку за дерзкую самоуверенность: это только искренность!»

Я показал записку Юрьеву; он похвалил ее, особенно за слова «страсти я еще не слышу в себе!».

— Ничего, ничего, — сказал он, — легко, душисто и гладко, как сама бумажка, на которой вы набросали, граф, эти плоды вашего воображения... Если она вас не полюбит, значит, у нее вкуса нет, и она глупа, Дон Табаго, поверьте!

Я хотел бы, чтоб он объяснил мне, как согласить такой лестный отзыв с его насмешками, но он взял шляпу, засмеялся и ушел, промолвив:

— Живите, живите!..

Я долго ждал ответа. Ответа не было. Я заезжал к Карецким, но Софьи не было дома. Наконец однажды, часов около двух перед обедом, на двор наш въехала карета с форейтором; мадам Карецкая вышла на тетушкино крыльцо, а за нею Софья в чорном атласном салопе и розовой шляпе. Она обернулась, поискала меня глазами по окнам флигеля и, увидав меня, мельком поклонилась и ушла за своей теткой. Я нарочно не шел в дом и, волнуясь,

думал: «что-то будет!» Через полчаса Карецкая уехала; я догадался, что Софья остается у нас обедать, и собрался идти в дом, как вдруг она сама в салопе и без шляпки перебежала через двор к Ковалевым. Я растворил свою дверь молча.

Она остановилась; лицо ее было весело.

— Вы здесь живете? — спросила она.

— Здесь...

— Дайте, я посмотрю в дверь. Как мило!

— Оно будет еще милее, если вы войдете туда хоть на секунду.

Она не отвечала, смотрела на меня, но не в глаза, а рассматривала, казалось, мое лицо, лоб, волосы, как рассматривают вещь.

— Нагнитесь, — сказала она и, взяв меня за шею той рукой, на которой не было муфты, поцаловала меня в лоб...

Я хотел схватить ее за руку, но она блеснула глазами, указывая наверх с веселым страхом в лице, и убежала на лестницу к Ковалевым.

После обеда, когда она уехала, я послал записку к Юрьеву и донес ему обо всем.

— Вперед, вперед! — воскликнул он, — наша взяла! Только смотри, не зевай. Она должна быть плутовка.

— Не проведет!

Вскоре после этого Евгения Никитишна уехала в Петербург. Прощаясь, она сказала тетушке: «Ma cousine Карецкая просила оставить Соню с ее дочерьми до весны. Не забывайте и вы ее, Марья Николавна! Я вам буду очень благодарна».

Без нее мне стало легче, сам не знаю отчего. Она всегда была любезна; лицо ее при встречах со мной казалось приветливым; она даже цаловала теперь не воздух над головой моей, как прежде, а самую щоку или волоса мои, когда я робкими губами прикасался к ее прекрасной руке, покрытой кольцами. «Cher Voldemar! — говорила она, — ваша походка, ваши манеры очень напоминают

мне покойного Петра Николаича. Дай Бог вам быть счастливее его». Кто знает? Быть может, она чувствовала ко мне живую симпатию; быть может, в самом деле она во взгляде, в голосе моем, в походке узнавала Петра Николаевича, не того, которого я знал, а другого Петра Николаевича, того, которого отдельные, мгновенные образы в ее памяти были светлы и согреты ее собственной молодостью, были так чисты, как те образы, в которых являлся мне добрый отец Василий. Я слышал, что ей трудно жить: дома муж — больной, неопрятный и убитый, хозяйство, умеренные средства при изящных вкусах и богатом родстве, дочь, поездки по делам в далекий Петербург. Она не боялась говорить о Петре Николаевиче при всех, как о лучшем друге своем, и однажды, когда у Карецких Даша запела не новую тройку, а самую старую: «Вот мчится...», мадам Карецкая вдруг подошла к роялю и сказала резко:

— Оставьте этот романс! Кто это выдумал его петь? Бедная кузина плачет.

— Дядя ваш любил этот романс, — прибавила она, обращаясь ко мне.

Но как бы то ни было, мне всегда казалось, что она вот-вот сейчас спросит: «А что ты делаешь с моей дочерью?» — и без нее стало лучше. Сама Софья повеселела без матери. Она находила множество средств бывать у нас: то англичанка завезет ее к нам обедать, то Ольга Ивановна съездит за ней, то она одна приедет в карете Карецких. Мне было раздолье! Я узнал после, что она к Ковалевым бегала тайком от матери, и теперь каждый раз просиживала у них целые часы вместе с Дашей. Проходя мимо моих дверей, они всякий раз или тронут замок, или позвонят, или стукнут. Я уж и знаю; посмотрелся в зеркало, оправился — и за ними.

Юрьеву она не слишком понравилась.

— Не по нас она что-то, — говорил он. — Я люблю больше что-нибудь тихое и кроткое, прозрачное, как хрусталь...

Софья находила, что у Юрьева умное лицо, и спросила раз:

— Вы очень с ним дружны?

— Очень...

— Очень, очень?..

— Очень, очень!

— Кого вы больше любите, его или меня?..

Я подумал и спросил:

— Правду говорить?

— Разумеется, правду...

— Правду?.. Его.. Разве молодая девушка может понимать то, что̀ он понимает?.. И разве на вас можно надеяться? Заболел, подурнел, поглупел, сделал ошибку — вы и разлюбите.

Пока я говорил, она, по-прежнему, рассматривала меня внимательно; глаза наши встретились; мы угрюмо помолчали оба; наконец она встала и, сказавши: «Хорошо, если так, я этого не забуду!», отошла от меня. Ссоры, однако, не вышло никакой.

По-прежнему она жала мне руку крепче, чем принято, и в темных углах позволяла мне покрывать ее самыми страстными поцалуями. К несчастию, вначале, не имея как-то раз под рукою Юрьева и не считая еще дела важным, я рассказывал Модесту о тайном пожатии рук; но о поцалуе в дверях не сказал ему ни слова. Для такого доверия он, по-моему, уже не годился; а об руке необходимо было сказать, чтоб он не считал меня за слишком жалкого человека.

XV

Иногда, блаженствуя и любуясь самим собой, я сравнивал себя с лиловым цветом, и вот почему. Не слишком далеко от нас, на углу тихого переулка, стоял за чугунной решеткой и палисадником небольшой дом, белый, каменный, одноэтажный, и в нем жил знакомец и ровесник мой — Яницкий, сначала с отцом и с матерью, а потом

один, когда ему минуло девятнадцать лет. Палисадник нравился мне даже зимою: растения, обернутые рогожей, чистый снег без следов на земле, на полукруглой террасе, на белых вазах балюстрада... По вечерам за готическими окнами спускались тяжелые занавесы; у террасы в углу росла молодая ель, такая густая и бархатистая издали, что я всегда вздыхал, проезжая мимо. Сам Яницкий был некрасив и болезнен, но строен и ловок; глядя на профиль его, несколько африканский, на доброе выражение его одушевленного лица, на его курчавую голову, я часто вспоминал то о Пушкине, то об Онегине. Долго даже не мог я решить, кто больше — Онегин, он или я. Кабинет и спальня его, казалось, были украшены женской рукой. Ни тени беспорядка, сора, ни одной грубой черты, ни одного тяжелого предмета! Дорогая мебель, ковры, французские книги в сафьяновых и бархатных переплетах с золотыми обрезами...

Фарфор и бронза на столе,
И чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале...

Стихи эти против воли шептались в его жилище.

Чудная жизнь! Обедает в пятом часу; заедешь к нему поутру, он играет на превосходном рояле; мать пройдет вдали по большим комнатам, вся в бархате и горностае... Зайдет отец: как вежлив! как сед! какой здоровый цвет лица! На чорном фраке кульмский крест и звезда; сапоги мягкие; улыбка еще мягче. Пожмет руку мне, поговорит с нами и уйдет.

С Яницким я не мыслил; но зато во мне пробуждались такие легкие надежды, такие воздушные думы!

О чем мы говорили с ним?

— Здравствуй!

— Здравствуй!

— Ты был вчера *там*? Видел *ту*?

— Приезжай ко мне обедать en tête-à-tête...

— Я покажу тебе статуетку, которую привезли мне из Парижа.

— Поедем! Пойдем...

Все факты да факты!.. Утомишься, наконец, и пойдешь к Юрьеву.

«Зачем, — думал я, — не найду я до сих пор ни одного человека, который был бы и Яницкий и Юрьев вместе? Где этот человек? Да не я ли уж этот избранник? Конечно, я не так умен, как Юрьев, и не так блестящ и не так грациозен духовно, как Яницкий... Что ж, тем лучше! Если они выше меня на двух концах, то я полнее их. Я как лиловый цвет — смесь розового с глубоко синим!»

Яницкий нередко бывал у Карецкой; я думал, что он имеет виды на одну из дочерей, и, охотно уступая ему старшую или младшую, когда она подрастет, не раз завидовал их доброй матери: «Какие у тебя будут зятья! Счастливая женщина!»

Однажды вечером я вздумал пойти пешком к Карецким. Юрьев провожал меня. Когда передо мной растворилась дубовая дверь огромного дома и оттуда блеснули лампы, узорная лестница и колонны, Юрьев сказал: «Прощай, Володя. Иди туда, где светло! да будь смелее... успех тебя ждет везде!»

Я с чувством благородной радости пожал его руку и вошел. Из дальних комнат слышна была музыка. Лиза сидела за роялем; Елена пела, стоя около нее; Софья ходила под руку с Дашей; около них был Яницкий.

Даша сказала, что от ее волос сыплются искры в темноте и предложила испытать это на деле. Англичанка позволила. Все были очень рады. Лиза побежала за гребнем, принесла его, и мы пошли в небольшую темную комнату, около парадной лестницы. Стали в кучку; Даша распустила прядь передних волос и начала чесать их гребнем. Искры посыпались — все были в восторге. «Что это значит? — спросила меньшая (Мария), — это не значит ли, что вы сердиты, Даша? Дайте, я попробую...» Я стоял рядом с Софьей; плечо ее, покрытое чем-то легким, было

около моего лица. Я осмотрелся: все заняты волосами Мари — нагнулся и поцаловал милое плечо. Плечо дрогнуло, но сама она не шевельнулась. У Мари не было искр. «Нет ли у Сони?» — сказал кто-то.

— У меня нет, — отвечала Софья. — И что̀ это за скука! Пойдемте отсюда.

Яницкий в следующей комнате остановил меня и, пристально посмотрев на меня, покачал головой.

— Зачем при всех! — сказал он, — это слишком смело.

Я покраснел и отвечал:

— Молчи, ради Бога! Я сам не рад жизни, что сделал эту глупость!

— Во мне ты можешь быть уверен, — продолжал добрый Онегин, — а другие? Впрочем, это твое дело...

Он начал тогда хвалить Дашу, говорил, что она напоминает ему Marie Stuart, и спросил, сколько ей лет.

— Мне двадцать; значит ей двадцать пять, двадцать шесть...

— Я думал, она еще старше. Но это ничего. Что̀ хорошего в этих ingénues! Не правда ли, они скучны? Опытная женщина гораздо лучше. Меня звали к этим Ковалевым. Что̀ это такое? Впрочем, извини: они, кажется, твои родные?

Я сказал ему прямо, как думал о Ковалевых.

— Это очень удобно, — сказал он, — не все же ездить в общество! Когда ты будешь у них?

— Я? Я могу у них бывать, когда хочу... Даша завтра будет там.

— Во всяком случае, — прибавил я, сжав его руку, — молчи, прошу тебя; а я постараюсь помочь тебе во всем... Мои комнаты, если нужно, и я сам.

Софьи не было, когда мы вернулись с ним в ту гостиную, где собрались все девицы. Она жаловалась на головную боль и ушла к себе.

С этого дня Яницкий стал ездить к Ковалевым. Он держал себя у них так же просто и развязно, как дома и

в том кругу, к которому с детства приучила его мать... Только одна разница: у Ковалевых он казался скромнее обыкновенного. С удивлением увидал я, что напрасно так жалел Дашу; я думал, что для нее все кончено, а вышло наоборот: лучшая пора жизни ее только что начиналась... И мне суждено было увидать ее любимой... Кем же?.. Яницким, кудрявым Онегиным; суждено было видеть ее в роскоши, видеть, как̀ потом она вырастала нравственно, по мере ее общественного падения, и как̀ последние дни ее были облагорожены материнским чувством. Но до того еще было далеко...

Пока мое дело шло хорошо. Софья недолго сердилась за мой неосторожный поцалуй. Вниманием, искренним раскаянием, лестью я успел загладить вину, и даже об старой угрозе «не забыть, что я Юрьева больше люблю», не было и слов.

Мы все четверо — Онегин, племянница Ольги Ивановны, другой Онегин и Софья, бывали часто у Ковалевых или ходили все четверо с Олинькой на тот пустынный бульвар, где еще не так давно зябла Матрешка, наблюдая за Модестом и Дашей. Олинька была занята в это время одним высоким блондином с рыжей бородой и не мешала нам. Мы с Дашей понимали друг друга с полувзгляда, не называя ничего словами. Яницкий, иногда, прощаясь, говорил мне:

— Bonne chance! Понимаешь?..

Все было хорошо; Модест все испортил!..

XVI

Я давно уже перестал говорить Модесту о Софье. Юрьев — другое дело: он мой духовный отец; в нем я не видал почти ничего мірского, не считал бесчестным обращаться к воплощенному разуму, советоваться с ним, говорить ему, что вчера я задал себе вопрос: «У кого больше чувственности — у женщины, которая знает, каким стра-

даниям она подвергается даже и тогда, когда ее ограждает закон, или у мужчины?» И это я подумал потому, что Софья, дочь строгой матери, отворила мою дверь и обняла меня... Юрьев мог слышать все, знать не только мои, но и чужие тайны; он ни кем не занимался, ни за кем не ухаживал, не имел ни семьи, ни привязанности; он был не человеком, а мой собственный дух, возвышенный в квадрат. Но Модеста я очень боялся с тех пор, как Софья доверилась мне.

— Что̀ твоя Софья? — спрашивал он, — все так же дает руку в темной комнате? Или еще больше?..

— Бог с ней, — отвечал я, — я об ней не думаю.

Модест улыбался и молчал. Он видал ее изредка у Ковалевых, но ни разу еще долго не разговаривал с нею; я тревожился, вспоминая о моей прежней откровенности, но он мало обращал на нее внимания, и я успокоивался.

Раз мы встретились с Софьей неожиданно на вечере. Она была весела, моими приглашениями не дорожила, потому что все кадрили ее были разобраны, едва отвечала мне, и когда я хотел отвести ее от форточки, под которой она села разгоревшись и едва дыша, она сказала мне сурово:

— Оставьте ваши заботы. Вы, вероятно, хотите показать всем, что между нами что̀-нибудь есть...

Я был неприятно удивлен и в негодовании уехал домой. На другой день перед обедом Софья перебежала через двор и взошла на мое крыльцо. Замо́к не шевелился на моей двери... Я прибежал наверх и, улучив минуту, сказал ей:

— Вы суровы? Вы сердитесь за мою вчерашнюю заботливость?

Мраморный румянец заиграл на щеках, и в тех самых глазах, которые недавно глядели на меня ласково, выразились надменность и гнев.

— Ваши поступки меня обидеть не могут... — сказала она.

— Вы хотите унизить меня... Но моя совесть не упрекает меня ни в чем, и я знаю, чего я сто́ю...

— Чего вы сто́ите — не знаю. Я знаю, что я сама ничего не сто́ю. Я была глупа, поверила вам. И кому вы сказали, кому!

— Кому? — спросил я с изумлением.

— Вашему cousin Модесту. Он, дня четыре тому назад, делал такие намеки... улыбался. Платье ему мое понравилось; он сказал: «оно к вам идет» и так противно спросил: «il vous l'a dit?»

— Клянусь вам Богом! Вот моя рука... Ему! Я ни слова. Вы не верите... Вы не верите... Хорошо! Так вам же будет хуже!..

Она молча обвела меня глазами с ног до головы. (Как нехороша показалась она мне в эту минуту!) Я чувствовал, ка̀к кровь у меня подступила к лицу, ка̀к злоба стеснила мне дыхание.

— Если бы вы знали, — возразил я ей, дрожа от бешенства, — ка̀к нейдут к вам эти гордые взгляды, вы бы сами отказались от них. Советую вам быть скромнее.

Она отошла от меня, а я велел запречь сани и послал за Юрьевым.

Он хохотал, когда я жаловался, хохотал добродушно; но я прочел в этом смехе презрение.

— Я ее так сильно начинал любить! — сказал я.

— Насчет этого, — заметил Юрьев, — мы еще подумаем, любил ли ты ее или нет?..

— Я чувствовал к ней большую нежность, я жалел ее уже давно... Мать ее строга, отец больной, она небогата.

Юрьев вздохнул и покачал головой.

— Умный человек, — продолжал я, — не может не быть любящ: он знает, что любовь лучшее украшение молодости!

— Это что-то слишком глубоко для меня, — отвечал Юрьев, — нет, ни ум, ни доброта, ни нежность не нужны для любви. Нужна любовь... Любовь может быть зла, груба... Она кусается иногда. Не поэзия любви нужна любящему — нужен сам человек, как воздух, как кусок

хлеба... Высокое, брат, часто близко к грубому и меряется им, граф!..

— Зачем же она обвинила меня даром? зачем не дослушала... Чтоб я Модесту... Сначала точно об руке, но после!..

— Ой ли, брат? уж не сказал ли ты ему всего... Ой, сказал! Ой, сказал!..

— Молчи! Молчи, или я...

В исступлении я показал ему руку. Он вынул свою из кармана.

— За чем же дело? я готов.

— Ступай вон... вот двери...

Юрьев, не торопясь, взял шляпу, сдул с нее пыль, надел перед зеркалом, отыскал трость в углу. Я чувствовал, однако, что он взволнован. Наконец он ушел; я проводил его глазами из окна. Губы его были сжаты, но он шел спокойно, только что-то бойчее обыкновенного глядел на прохожих.

Я не мог остаться дома и уехал в кондитерскую. Но и там преследовало меня презрение моих двух лучших друзей.

XVII

Омерзение, жестокое омерзение чувствовал я при одной мысли о духовной нищете моей! Эти два существа, которые только что начинали вырастать перед нищенской душою — они оба отвергли меня. На что мне флигель мой, шолковый халат нового покроя? На меня пахнуло мертвым холодом от этих немых стен, от всей семьи, от міра, от себя. Разве того, на кого, изнывая в бессилии, глядела теперь совесть моя, того хотел я ввести в эту обитель, по воле одинокую и по воле шумную? Нет, не презренного мальчишку и не вдруг одряхлевшего без зрелости человека... Мой Володя Ладнев был не таков! Он был скромно мыслящ, осторожен и тверд в делах, а на добро и защиту слабого отважен, как тигр... Конечно, он любил себя —

это ничего; но он мелок не был, он был спокойно горд, под наружной небрежностью скрывал пламенную душу и высокий ум; он разумел «ручья лепетанье, была ему звездная книга ясна», и хотя не было у него близко «морской волны», но он умел видеть тайную жизнь везде — и зеленая плесень пруда дышала перед ним. О, Володя мой, Володя мой! Милый Володя! Где ты? И вот, едва только открылась перед ним дверь жизни, едва пахнул на него свежий воздух любви, он разлетелся в прах, как старый труп, как одежда трупа, давно без движения лежащего в склепе! И как мог противопоставлять я себя тем легкомысленным людям, которых промахи без полной кротости и страдания без достоинства наводили улыбку на мое лицо? Непоследовательная Даша, Модест — актер перед самим собою, с которыми еще непостижимо для грубого рассудка связана была Настасья Егоровна Ржевская... Все люди громких слов и жалкого исполнения, люди эффекта и позорных слез, и опять эффекта и снова слез! Где вы, мои собраты? Зачем я покинул вас и задумал было идти одним шагом с теми, от которых веяло на меня осторожностью и силой? Разве товарищ я Юрьеву, «мужу разума и чести», у которого самая лень царственна? Товарищ ли я ему оттого, что страдательно быстрый ум мой удобен для стока его мыслей? Разве пара я энергической Софье? В ней связано живут и такт и решимость, доходя то до хитрости, то до благородной удали... Сама Ольга Ивановна! Пускай она скучна, пускай до сих пор говорит Ивангое, а не Айвенго (мелочь моя и в этой придирке видна!), но разве не подаст она руку совсем иному разряду личностей? Правда, ходит она, как племянница, с забавной гордостью, и псевдоклассик в душе, но во всем другом разве она Даша? Разве она не работала всю жизнь свою, разве она не постояла бы за себя, как делец, не поборолась бы хоть с самой Ржевской-матерью? А Даша? По крайней мере, она была обманута Теряевым, страдала от благородного доверия; ему стыдно, а не ей... Теперь она любима привлекательным Яницким, она украшена им. И он сам, Яниц-

кий?.. Золотообрезные книги, пустые разговоры, бальный идеал!.. А как он аккуратно ведет свои любовные дела! Никто над ним не смеется; и как честен и верен!.. Не только Софья не слыхала от него ни одного лишнего слова, мне он не делал намеков; кроме «bonne chance!» ничего не говорил, даже не произносил ее имени с лукавой улыбкой! Итак, из высокого эклектика, соединявшего в себе жар неопытности с мудрой теорией жизни, легкость с благоразумием, доброту с здравым эгоизмом, религию с наукой — что̀ вышло? Исчезло живое воплощение его — поэтический, воздушный Владимір Ладнев, и остался наместо его не труп, конечно (боль была страшно сильна), а так какая-то формула, понимающая все, но без всякой личности, без всякой самобытной, движущей силы инстинктов. Не Онегина уже я видел перед собою, не Ральфа, не Бенедикта, даже не ловкого Раймонда де-Серси, а Ноздрева, Ноздрева, трижды Ноздрева!.. Хоть и шевельнется иногда в душе мысль: а может быть, они оба, и Юрьев и Софья, неправы? Может быть, один просто глумился, а другая капризничала? Она не дала мне объясниться оскорбительным тоном, отбила охоту подробно оправдываться. Он оскорбил меня дьявольским смехом, не дождался доказательств, не поверил мне, и что̀ за манера: «ой, сказал! ой, сказал!»

Но можно ли доверять себе? Факты за меня; да это все вздор! Скажи я это Юрьеву, он засмеется и ответит: считать себя правее других — общечеловеческая штука! Этак, пожалуй, будешь чорт знать с кем наравне и никогда до нравственной высоты не дойдешь!

И кого бранить? Везде горе, слезы; на улицах грязь, и снег все тает и бежит, на дворах все гниет. Дома тетушка зевает так долго и крикливо; веки у Ольги Ивановны все еще красны; Даша печальна; Модест ищет места. Деньги у него все почти вышли; в плече ревматизм; сам еще больше прежнего исхудал... Я не могу бранить его за неудачную любезность с Софьей; он еще раз отказался от денег, которые я хотел выпросить для него у тетушки. Он при-

нужден целые дни ходить по Москве; он бегал даже, заплетая ноги, за маленьким сыном богатого блондина с рыжей бородой, который гуляет по бульварам с Олинькой Ковалевой. У этого блондина родной брат откупщиком и по откупу есть места; и Модест не только бегал за сыном его по гостиной у Ковалевых, он пищал, картавил, играя с ним, так что я принужден был встретить его взгляд строгим взглядом. Да то̀ ли еще делается! Он еще находит себе и обеды у знакомых, и ужины. А бедная Катюша? Она ест одно простое блюдо дома, и целый день одна. С тех пор, как Софья стала реже к нам ездить и не говорить со мной, с тех пор, как Юрьева я вовсе не вижу, я бегу из дома. Ссоры нельзя скрыть, а вопросы, шутки и сострадание ужасны! Куда бежать? Поеду в нумера, к бедной Кате, вспомнить с нею старину за стаканом чая. А чтобы ей было веселее, куплю ей шолковый платок и возьму фунт сахарного печенья на Кузнецком Мосту.

Стучусь в дверь нумера...

Катюша отворяет... Волосы ее мокры и распущены; она худа и бледна. Она даже не улыбается мне.

— Здравствуйте, — говорит она сурово, — а я только что из бани.

— Ты что-то переменилась, разве все кончено? — спрашиваю я.

— Давно уж! А вы не знали? Девочка...

Лицо ее на минуту просветлело, но потом она опять стала грустна и продолжала:

— Отнесли ее в воспитательный дом.

Она отходит к окну и, откинув назад голову, чешет сама свою длинную косу и красиво взмахивает ею.

— Однако есть еще охота нравиться, — замечаю я шутя... — Вот косой как!

Надо было видеть, как она рассердилась.

— Оставьте меня, пожалуйста, я ни в ком не нуждаюсь... Вам легко смотреть... Да знаете ли вы, что̀ он говорил? Он говорил, что никогда не позволит отдать ребенка в воспи́тательный дом, что он будет оборванный сам хо-

дить, а мне и ребенку хорошо будет. Вишь ведь какой чувствительный — скажите!.. А теперь скажи-ка ему... Как ведь закричит!.. «Ты меня не понимаешь!» Зачем же он такую необразованную брал?.. Я ведь к нему не просилась.

— Да я-то чем виноват?

— Ах, оставьте меня!.. Вы смеетесь, а я здоровье все свое потеряю с ним тут... Вот что!

Приходит Модест. Он очень весел, поет, заигрывает с Катюшей, но она не отвечает ему.

— Une petite coquetterie, fort gentille, — шепчет мне Модест. А мы вот скоро с Катериной Осиповной уедем, Владимір Александрыч... да̀-с, уедем! Не будет нас в Москве; не за кем вам будет ухаживать, Владимір Александрыч!.. И прекрасно! отбивать жен у своих друзей не годится!

Катя молчит.

— Ты скоро едешь? — спрашиваю я.

— Да̀, место есть... на днях все решится. А ты полюбуйся, душа, на характерец Катерины Осиповны... Вот так-то она меня каждый день угощает!

— Стыдились бы, стыдились бы говорить!.. — начала было Катюша; но, встретив его холодный, презрительный и даже угрожающий взгляд, отвернулась молча к окну.

XVIII

Я вытерпел около двух недель: не ехал ни к Юрьеву, ни к Софье, обедал каждый день то у Мореля, то у Шевалье, проиграл рублей сто на бильярде; пил шампанское с такими молодыми людьми, которых имена даже не всегда верно знал, — а все не было легче. Яницкий отказывался от всех этих пиров и партий: все сидел дома по вечерам. Один раз, впрочем, он позвал меня к себе обедать. Мы ели вдвоем: я был не разговорчив в этот день, он задумчив.

— Послушай, — сказал он наконец, — ты влюблен в Софию Ржевскую и поссорился с ней? Мне говорила Dorothée.

(Прежде он говорил *ваша Dorothée*, а теперь просто Dorothée).

Я, разумеется, не мог объяснить ему, что ссора с Юрьевым для меня ужаснее всех любовных ссор.

— Да; она мне нравится, и мы поссорились; а что? — спросил я.

— Если ты не хочешь быть откровенным, так я покажу тебе пример... Ты знаешь, что я хочу увезти Dorothée. Уж мы условились. Она сбирается.

— Как! Что ты? Когда?

Яницкий засмеялся и взял меня за руку.

— Когда она хочет... Сегодня, завтра... Я подорожную взял. Дорога теперь ужасная, но это не беда...

Я долго не мог прийти в себя от удивления, радости, жалости и уважения к Даше.

Хитрец дал мне распечатанную записку и позволил прочесть ее:

«У меня все готово. Если хотите, придите сегодня вечером с Вольдемаром ко мне».

Я после догадался, что он, открывши мне секрет, заставил ее быть решительнее. Я примчался домой и отдал записку.

Даша и улыбалась, и вздыхала, и глядела с таким наивным беспокойством, что я вдруг полюбил ее.

— Идем, — сказала она наконец.

Тут уж и я испугался за нее.

— Не остаться ли? — спросил я, — подумайте, Даша, что̀ вы делаете?

— Что̀ делать! Уж я думала, думала...

И сама торопится, надевает шляпку, руки дрожат; я беру узелок; она прячет шкатулку под салоп. Сделала шага два и села опять на диван.

— Ноги дрожат... — сказала она.

— Идти, так идти, а то будет поздно.

— Пойдемте.

Спустились с лестницы. На дворе подмерзло, и первые звезды уже блестят. В переулке тихо; извощиков нет.

Я смотрю на свою бледную, высокую спутницу и не верю глазам своим.

— Да как же это у вас так скоро?..

— Ах, — отвечает она улыбаясь, — какое скоро! Давно уже об этом речь... С того маскарада, в котором вы так долго меня искали...

— И вы не боитесь?

— Сама не знаю: и боюсь и не боюсь! Я его так люблю... Не правда ли, как он мил!

— Я уважаю вас, Даша!

Даша замолчала и до самого угла шла молча, с светлой гордостью в лице.

Остановились.

— Прощайте, Вольдемар! Простите мне, если я чем-нибудь...

— Вы... вы мне простите, — отвечал я, с жаром обнимая ее и поднося потом к губам ее душистую перчатку... — А как быть дома?..

— Никак... скажите, что ушла, что уж уехала с Яницким... и только... Что̀ мне за дело!.. Прощайте!

— Прощайте!

Она спустила вуаль, и я видел сам издали, как она вошла к Яницкому в ворота. Выждав еще минут с пять, я прошел мимо дома: сквозь сторы светился огонь в его кабинете; остальное все было темно.

Такой факт нельзя не передать Юрьеву! Ссора забыта, о достоинстве и помина нет; дело в том, чтобы узнать его мнение, а остальное все вздор, и мы с ним под дюжинные законы не подходим!

Он принял меня очень любезно, и о старом не было и помина.

— Я говорил тебе, что она молодец! — сказал он про Дашу. — И выбор ничего, даже хорош... А Ольга Ивановна что̀? Ее, бедную, жаль как-то стало...

На другой день я еще раз убедился, что Юрьев всегда прав: Ольгу Ивановну точно жаль. Я не стану описывать, что̀ делалось с нею и отчасти с тетушкой, когда они узнали об отъезде Даши; вспомню только, что̀ говорила мне Ольга Ивановна, стоя передо мной в своей спальне. Она говорила без жестов, без натяжки, тихо и самым искренним голосом:

— Вот до чего мы дожили, Вольдемар! Вот до чего я, бедная, дожила! Обмануть меня! Зачем? Что̀ я ей за злодейка была?.. Да если уже страсть ее увлекла, приди, признайся... Обмануть! И как бездушно! Третьего дня — смотрю: она свои вещицы фарфоровые в шкатулку укладывает. Я ей говорю: «Даша, что̀ ты это делаешь?» — «Я хочу подарить их». — Мне стало больно. Половину их я отдала ей, когда она еще ребенком была; старинные вещи... Ведь и мой отец, Вольдемар, имел состояние, и мы бы могли жить как другие, если бы не несчастная страсть его к картам... Да̀, о чем я говорила?..

— О фарфоровых вещах, — отвечал я. И мне вздохнулось.

— Да... мне очень стало больно смотреть на эти вещи... Как будто сердце мое чуяло! Бог же с ней, если так... Желаю ей счастья, а обо мне она не услышит больше! Я свое дело делала, и неблагодарность для меня гнуснее всего... Сколько занятий, сколько труда, сколько ходьбы было за ней, когда ее несчастная мать умерла!.. Да знаете ли вы, что если она жива, так она обязана этим мне... А потом сколько пренебрежения от богатых людей, от их лакеев я перетерпела, выводя ее в люди! А? Вы понимаете это... Ведь вы думаете, что я всегда была бездушная, старая девка? Нет, и я была молода, да знала стыд и в долге, в труде находила отраду... Да не сто́ит об ней и говорить!..

Глаза Ольги Ивановны после Теряева болели, а теперь стали еще хуже.

Тетушка на другой день призвала меня к себе после обеда. Она лежала на диване и, когда я вошел, развела только руками и сказала:

— Ну, домок мой стал — нечего сказать — домок! Притон разврата, а не дом! Ты-то, батюшка, как туда замешался? Везде твоя срезь... Расскажи, как все это было.

Я начал говорить, что знал о знакомстве Даши с Яницким, старался оставлять в стороне Ковалевых, потому что они были мне нужны для свиданий с Софьей, но тетушка поняла, что Даша видалась свободно с Яницким у них, и воскликнула:

— Ох, уж эта мне халдейка, Олинька!

Потом стала дремать, и я еще не кончил, как она уже заснула.

Одна новость сменяет другую. Модест решительно едет служить по откупам и Катюшу пока не берет с собою. Он устроил ее у Чепечницы Петровны и обещает выписать после к себе. Серафима Петровна живет в самом нижнем этаже деревянного домика, живет бедно и не очень чисто, почти под землею... У Модеста две жакетки, много цветных летних галстухов, два сюртука, бич, новая трость, зеленый халат с красной оторочкой и кистями. Ездит он на дорогих извощиках. Ни на лице, ни в словах его я не могу прочесть угрызений совести. Светел и тверд! Он случайно угощает меня чаем в трактире, сидит на диване так прямо, разливает чай так ловко и весело, синее трико на пальто его так толсто и дорого, что я решаюсь спросить у него: «значит, ты на ней не женишься?»

Он улыбается так, как будто давно ждал этого вопроса.

— Пусть меня осуждают, — говорил он, — я знаю, кто и как, и за что меня осудит. Наизусть знаю. Но у нее характер стал невыносим... Спроси у нее, пусть она по совести тебе скажет: обязан ли я на ней жениться... Она знает мой образ мыслей и свой характер.

Проводив его, я заехал к Катюше и спросил у ней, каково ей здесь?

— Да ничего. Мало только денег оставил. Мне-то Бог бы с ним. Да вот женщина эта очень зла, со свету сживет, если недостанет...

— Что̀ ты? Чепечница Петровна зла?

— А вы думаете что̀? Бедовая! Ее муж через ндрав ее даже бросил... Да где ему обо мне думать, когда он об родной дочери об своей, поверите ли, и не спросит! Видите ли, платья себе нашил? Вот она любовь-то его... Застрелиться хотел... Я даже, вам скажу, себя нисколько не жалею; меня Бог уж за одного за вас должен наказать, за то, как я вас обманывала... А только обидно видеть, что благородный человек, а носки цветные в магазине французском купил, да самому уж видно стыдно стало, спрятал их от меня потихоньку в чемодан.

Она встала и принесла из другой комнаты четыре пары носков.

— Вот это я вязала — так не взял. Не может толстых носить... Вдруг кожа нежная стала... Не возьмете ли вы?.. Возьмите-ка на здоровье, в память старой дружбы!..

XIX

Я не помню ясно нашей встречи с Софьей после ссоры и первых слов, которыми мы обменялись. Но недаром же у меня осталась память об упрямстве ее... Верно, мне было очень трудно возвратить ее к добрым отношениям.

Весна приближалась; пришла и Пасха; Евгения Никитишна воротилась из Петербурга; Даши не было; не для кого было и Софье ездить часто к нам в дом. Мать ее узнала, что она познакомилась без нее с Ковалевыми, и сказала ей, как я после узнал: «бывать у них можно, но чем реже, тем лучше, и долго не сидеть!» Раз, однако, после обеда, Ольга Ивановна заехала к Карецким и привезла оттуда Софью. У Ковалевых были гости. Все пошли в наш маленький садик, где зелень еще не распустилась, но было уже сухо и тепло.

Начали играть в горелки. Юрьева не было, и я был очень рад. Хотя я уже давно был развлечен работой к экзамену и мечтами о новых встречах летом, однако все-таки видел в

Софье что-то родственное и привычное и пригласил ее бегать со мною. Я долго не уступал ее никому, старался быть вежливым, предупредительным и скромным, чтобы обновить себя в ее глазах, и ей, кажется, это нравилось.

Я помню ее ласковые взгляды, дружескую улыбку и слова: «Я вас давно не видала!» Я веселился, играл от всей души. Гореть пришлось Ковалеву; мы с Софьей бежали. Ковалев, споткнувшись, стал на оба колена; Софья зацепилась за него и со всего размаха упала ничком. Я бросился к ней и поднял ее. Она смеялась, но была смущена, и шолковое платье ее разорвалось. С содроганием увидал я, что одна из ладоней ее сильно ссажена. Я хотел бежать за водой, но Ольга Ивановна увела ее в дом, обмыла ей платье и обвязала руку. Они вернулись, и мы продолжали играть. Вечер был прекрасный. Ковалевы предложили проводить Софью пешком, когда другие гости уедут. Пошли; Ковалев шел впереди с женою и Ольгой Ивановной, я за ними вел Софью под руку.

Я помню, что спросил у нее: «болит ли рука?», а она спросила: «вам жалко разве?»

— Нет, я рад, — отвечал я, — потому что теперь жалею вас... Я смелее на вас смотрю... Я бы желал, чтобы вы почаще были несчастливы, тогда я мог бы доказать вам чем-нибудь мою дружбу.

— Я тоже бы хотела доказать вам мою дружбу...

— Право?..

— Право. Научите, что̀ мне для вас сделать?..

Я подумал...

— Что̀ сделать?.. Знаете ли что̀? Вы можете сделать для меня много. Я буду с вами откровенен. Ваша кузина Лиза мне очень нравится... Я всегда был склонен к семейной жизни. Если бы года через три, когда я кончу курс, жениться на ней... Она, кажется, такая тихая, добрая, и за ней тысяч двадцать серебром дадут... Надо быть положительным...

Софья засмеялась.

— Она вам нравится? Что ж вы мне давно не сказали?.. Лиза очень добрая... Я бы очень желала для Лизы такого мужа, как вы... Все-таки вы, я думаю, лучше многих... Кто, кроме вас, скажет такие вещи! Какие вы смешные!..

Она с очаровательной веселостью заглянула мне в лицо.

— А меня уж совсем не надо? — и слегка так мило махнула рукой, что я пришел в восторг.

— Вас не надо? — отвечал я, прижимая к себе ту руку, которая лежала на моей... — Послушайте... Не будем гоняться за многим... Вы помогайте мне у Лизы, и не бойтесь, я буду ей верный и добрый муж... божусь вам! А пока отчего не пожить? Любви, разумеется, не надо... Но вы так умны, так милы, что с вами и без любви хорошо!

— Вот, если бы вы всегда были так откровенны! Как это к вам идет!.. Как же мы будем с вами теперь?.. Дружба это будет?..

— Зачем эти названия... Будем так себе... Будем рады, когда встретимся, не будем мешать друг другу; вот это иногда...

Я указал на губы.

— Нет, это уж не дружба...

— Это не простая дружба... Это amitiè poétisée... Умоляю вас...

— Редко, очень редко...

— А как?

— Раз в год.

— Нет... два раза в неделю.

— Раз в месяц... Ни за что чаще не хочу...

— Хорошо и это, — отвечал я, подавая ей руку.

Мы расстались весело, и я задыхался от умиления, радости, гордости, возвращаясь домой. Через неделю она уехала с матерью в деревню и, прощаясь, звала меня в августе к Колечицким.

— Я постараюсь быть там непременно, если меня пустят... Будем танцовать там и ездить верхом.

Я взял слово с нее, что в кавалькадах она будет моей дамой, и пригласил ее на мазурку.

Юрьев тоже скоро после этого уехал с своими хозяевами в деревню, а дня через два после него и тетушка с Ольгой Ивановной пустились в путь.

Мне оставалось кончить экзамен и ехать в Подлипки.

Хорошо было тогда!..

XX

Теперь я рассказал вам все, что̀ со мной было до встречи с Пашей. Вы понимаете, ка̀к мне было и грустно, и просторно в Подлипках; как я отдыхал с Пашей, после Софьи Ржевской и Юрьева... Когда Паша уехала, я не то чтобы забыл ее, а думал, что все уже кончено, и погрузился в чтение, прогулки, лень и с удовольствием собрался в конце июля к молодым супругам Колечицким, к которым звала меня Софья. У них и без нее было приятно. Дом у них двухэтажный, каменный, белый, старинный сад, пруды, много лошадей, лихая псарня. Приглашали они только молодежь. Хозяин дома — отставной конногвардеец, белокурый, красивый и насмешливый; жена собой похуже его, но стройна и мило капризна; лицо ее может очень нравиться. Одевается она отлично; очень радушна и любезна у себя в доме. Муж образованнее ее; с ним и поговорить не скучно, и сам он сказал один раз при мне:

— Главное, надо любить все... Я все страстно люблю... Читать мне предложат — я умру над книгой; охоту обожаю, верховую езду — тоже... Политика, хозяйство... Я все, все люблю!..

Лучше всего было то, что они ни не стесняли и друг другу не мешали, как Ковалевы, только в другой форме. Одно время они были моим идеалом, именно тогда, когда я с Клашей сиживал на диване и уговаривал ее идти за другого, а меня сделать счастливым.

Отпуская меня к Колечицким, тетушка приказала мне заехать в монастырь, который был верстах в пяти оттуда, и отслужить панихиду по родным: там были похоронены отец мой, дед, мать и дядя, муж Марьи Николаевны. Часов в одиннадцать утра я приехал к молодым супругам.

— Все господа у обедни, — сказал слуга.

Переодевшись, я вышел в пустую бильярдную, постоял на балконе, пересмотрел картины на стенах, потом начал от скуки толкать кием шары. Вдруг стеклянная дверь из сада за спиной отворилась со звоном... Софья стояла на пороге. Никогда, ни прежде, ни после, не была она так хороша! Она пополнела за лето; на лице легкий загар и румянец; темные волосы острижены в кружок и завиты; глаза расширились и заблистали, когда я, онемев от радости, обернулся к ней. Платье на ней легкое, пестрое (с удивительным вкусом пестрое!), везде оборки, кружева... Она сложила зонтик и улыбнулась, когда я бросился к ней.

— Как это вы здесь? — спросила она.

— И вы могли думать, что я не приеду, когда вы сами звали меня!

— Разве звала? Я не помню.

— А я не забыл, — отвечал я грустно.

Она села на диван и, встряхнув кудрями, сказала:

— Как я голодна, если б вы знали! Скоро ли это есть дадут? Обедня эта такая долгая; я насилу ушла.

В эту минуту все общество со смехом поднялось на крыльцо за стеклянной дверью. Первый вошел мсьё Сальвари, бледный и худой москвич, с густыми рыжими бакенбардами. Он вел под руку Колечицкую... Я встречал этого Сальвари в Москве, и мне всегда не нравились его ничтожные черты, немного кривой нос и все движенья, развязанные без простоты. Если он шел с тростью по улице, то непременно судорожно, сурово и наискось подавшись вперед; или зяб, когда не было холодно, поднимал воротник у пальто; в кругу мужчин клал ноги на стол или упирал их в окно; в мазурке, сидя около дамы, старался

поставить стул как-нибудь спинкой к ней, руки положить на спинку, а бороду на руки; станет у притолки, стеклышко в глаз, большие пальцы засунет под мышки, за жилет, ногу заплетет за ногу; противно «фредонирует», в танцах прижимает даму к себе донельзя, чуть не кладет ей лицо на голову, если она мала (сам он среднего роста), на плечо, если высока. Я видал его и пьяным в маскарадах, и знал, что он развратен, и не говорил с ним ни слова, ненавидел его.

Входя в бильярдную, Сальвари и хозяйка дома продолжали начатый спор...

— Не говорите мне о правильных чертах! — воскликнул Сальвари.

— Я бы желала быть красавицей! — отвечала Колечицкая.

— Вот для примера, — продолжал Сальвари, — вы и m-lle Sophie: и у вас, и у m-lle Sophie нет ни одной порядочной, строгой черты, а ensemble ваш может свести с ума. Не правда ли, m-lle Sophie?

Он подошел к Софье, а я к хозяйке дома.

За завтраком и за обедом он сидел около Софьи, болтал без умолку по-французски, наливал ей воду и не сводил с нее глаз.

После обеда шел небольшой дождь, и вздумали танцовать. Софья была приглашена на две кадрили; я взял ее на третью. Танцуя с Колечицкой, я старался не показывать вида, что грущу; но она все-таки заметила.

— Вы рассеянны, — сказала она. — Не влюблены ли вы?

— Нет, — отвечал я, — я даже не знаю, верить ли или нет в существование любви...

— Вы разочарованы? — спросила она с материнской улыбкой.

— О, нет... Я только *безочарован!*

И вздохнулось что-то.

Проклятый Сальвари танцовал с Софьей. Наконец очередь дошла и до меня.

— Я очень рада, что вы здесь, — сказала она, подала мне руку, когда можно было сделать это незаметно, и ушла на другую сторону.

Я дождался и, покружившись с ней, отвечал:

— На что я вам?

— Как на что? Я рада...

— Как другу?

Глаза ее лукаво улыбнулись.

— Как вы сами хотите...

— А этот господин?

— Какой господин?

— Этот бледный и кривоносый господин с отвратительным шиком?..

— Чем же он вам не нравится?.. Он очень умен и интересен. Я сейчас говорила ему, что я желала бы влюбиться, что так жить скучно. А он мне говорит: «влюбитесь в меня, я буду очень рад».

Я стиснул зубы и, помолчав, сказал:

— Значит, я напрасно приезжал?

Софья взглянула строго.

— Вы, кажется, обещали не иметь никаких претензий?

— Я не имею их... Но, впрочем, это в самом деле глупо с моей стороны! Извините... Скажите, будут здесь кавалькады?

— Верно будут... Я буду с вами ездить... Сдержу обещание, сдержи́те и вы...

Часов около девяти взошла полная луна и так ярко осветила все, что одна из дам предложила всем ехать верхом. Колечицкий стал отговаривать, уверял, что лошади будут пугаться и бить. Вообще мужчины неохотно поддавались на это, но воля женщин взяла верх. Колечицкая сказала мужу:

— У тебя много лошадей; выбери смирных для нас, а ces messieurs могут ехать на каких хотят.

Спрашивали, кто из женщин хочет непременно ехать... Хотели все. Сальвари обратился к Софье и спросил:

— Могу я ехать с вами?

Во мне все замерло.

— Я обещала m-r Ладневу, — отвечала она, — я с ним уж ездила прежде...

Сальвари шаркнул и, отступя, сделал мне рукой в сторону Софьи, как будто хотел сказать: честь и место! Я сухо поклонился. Такой отвратительный!

Шестнадцать лошадей стояли у крыльца. От радости я едва сошел с лестницы; луна светила еще ярче прежнего. Дорога была видна, как днем; каждая рытвина, каждая кочка отделялись на лугу перед домом.

Пустились в путь. Что за блаженство! Я выбрал нарочно лошадь побойчее; она три раза встала на дыбы около Софьи, когда я садился на нее.

«Постой же, — думал я, — теперь ты не будешь презирать меня! Не подумаешь, что у меня нет характера».

Сначала все шло прекрасно. Мы ехали с Софьей впереди; за нами Сальвари и Колечицкая; за ними остальные. Мы изредка перебрасывались словами и шутками с другими, но между собой почти не говорили. Софья немного боялась; она смотрела то на уши лошади, то на дорогу; я не хотел начать первый. Выехав за чудный еловый лесок, мы стали спускаться с горы. Дорога была вся в промоинах. Лошадь Софьи вдруг заупрямилась и повернула назад. Я хотел схватить ее повод, но мой вороной пятился в сторону и приподнялся слегка опять на дыбы. Наконец я справился с ним, бешено взял его в шенкеля, ударил и подскочил к Софье.

— Оставьте! оставьте! — закричала она, — ваша лошадь пугает мою... оставьте! Я уеду назад. M-r Salvary!

Больше всего боялся я срама. Когда тут доказывать ей, что я гораздо лучше знаком с эквитацией, чем мерзавец Salvary?.. Схватил за повод, рванул за собой; мой конь перескочил через рытвину, ее лошадь за ним... Софья вскрикнула.

— Нет, это ни на что не похоже! — сказала она, — такая страшная лошадь. Я уеду... M-r Salvary!

— Молчите, — возразил я, — молчите, не зовите этого... Мы спустимся! Sophie! Ради Бога!

— M-r Salvary!

— Боже! Какой пронзительный ваш голос! Не тяните поводьев. Да молчите же. Я позову вам его...

— Я боюсь остаться одна.

Но я не слушал ее, поскакал и встретил в роще Salvary, который уже сам спешил к ней на помощь (Колечицкая услала его от себя). Мы поменялись дамами. Печально и постыдно кончился для меня этот вечер. Я не мог владеть собою и ни слова не говорил с Колечицкой.

— Вы поссорились с Соней, я это вижу, — сказала она.

— Нимало! А вот что... Я завтра рано уеду...

Она упрашивала, умоляла меня, назвала mon charmant cousin, дразнила Софьей, но я решился ехать, и после шумного ужина, который для меня был и длинен и несносен, простился с доброй кузиной и ее мужем и ушел спать потихоньку, умоляя их не мешать моему отъезду...

XXI

На всех окнах были спущены маркизы и сторы, и все в доме еще спало, когда я сел в коляску.

— Домой! — сказал я кучеру.

Мы поравнялись с церковью; кучер снял шляпу и помолился, и я вспомнил о панихиде, которую мне велела тетушка отслужить мимоездом над могилою родителей.

— Нет, не домой, Григорий, а прежде в монастырь заезжай.

Я сказал вам уже, что монастырь этот в пяти верстах от имения Колечицких. Старая кирпичная ограда, церковь с большой и звонкой лестницей под сводами, березовая роща за стеной — все здесь было давно мне знакомо. Я послал за иеромонахом и бесчувственно оперся на решотку родительской могилы... Над отцом лежала плита, над ма-

терью стоял большой крест из чорного камня, и он обращен был ко мне не той стороной, где написано имя ее, год и звание, а той, где золотыми буквами вырезаны (по желанию самой покойницы) слова: «Господи! прости грехи молодости моей и незнания». Слова эти я давно знал, но они были до той минуты бездушны для меня.

Солнце начинало греть. Пришел отец Мельхиседек и начал... Он пел тихо, слабым, старым голосом; дьякон густо и грустно вторил ему; кадильный дым быстро исчезал в воздухе; стрижи визжали; кладбище зеленело... Я зарыдал, припав к решотке, плакал долго, до тех пор плакал, пока отец Мельхиседек не кончил.

Тогда я подал ему деньги и благодарил его; монах взглянул на меня печально и спросил: «Домой к тетушке отселе?»

— Домой, отец Мельхиседек...

— Почаить не зайдете ко мне?..

— Нет, уж надо домой...

— Ну, с Богом!

И старик благословил меня. Мы ехали тихо; лошади утомились от зноя.

Солнце было уже невысоко, когда мы стали подъезжать к Подлипкам.

— Что̀, если б Паша была здесь? — подумал я.

Слезы на могиле родных смягчили меня, и эта близость смерти снова пробуждала жажду наслаждений...

Вместе с тем я видел немой упрек на всех знакомых предметах, попадавшихся мне по мере приближения к усадьбе с северной стороны, где рощи долго скрывают ее от глаз. Дуб, наклоненный над вершиной, у пруда... второй раз скошенное сено лежало мирными рядами на зелени, как бы помолодевшей от покоса. Прачка Фекла, которая, нагнувшись над водою в том месте, где стояли опрокинутые наши вязы, била вальком... послеобеденная пустота двора... все молча взывало ко мне: «Зачем ты покинул нас для тщеславных забав? И за то, что ты предпочел жизнь чужую жизни всегда тебе родной и даже подвластной тебе во многом, за это Бог наказал тебя!..» Мы быстро въехали на двор. Ольга

Ивановна в белом капоте работала на балконе; около нее сидела Паша. Они обе встали и сошли с балкона ко мне навстречу. Улыбки на всех лицах! Здесь-то я царь!

Я поцаловался с Ольгой Ивановной, поздоровался с Пашей и бросился к тетке. За чаем заставили меня рассказывать все подробно; и я рассказывал, но умолчал о своем уроне. Немного погодя я проходил через коридор, встретил Пашу и погладил мимоходом ее по голове, а она схватила мою руку и крепко ее поцаловала...

И вот с этой минуты я влюбился в нее.

Мы разошлись, но я весь вечер был рассеян и отвечал тетушке невпопад.

Она даже бранила меня матерински за это и хотела «настукать лоб».

И как шли к Паше маленькие косы в этот вечер!.. Милая моя Паша! Я долго не мог заснуть!

На другой день утром я, заставши ее одну в диванной за пяльцами, умолял прийти ночью в аллею.

— Страшно! — отвечала она, — вы разве не слыхали, как сова всю ночь вчера кричала?.. У нее есть дитя в дупле, в яблоне направо.

Я обещался убить сову; зарядил ружье и, не найдя самой совы, вынул совенка, посадил его на ветку и безо всякой нужды расстрелял на 10 шагах.

Паша обещалась выйти в аллею. Я сгорал от нетерпения и, чтоб сократить время между чаем и ужином, поехал кататься верхом. Месяц светил ярко, и было очень свежо и грустно вокруг, когда я вернулся домой.

До ужина оставался еще час.

Тетушка, Ольга Ивановна, Паша и Февроньюшка сидели на балконе.

В саду раздирающим голосом кричала старая сова; я ушел к себе и, не умея писать стихов, выразил в прозе сам не знаю что!

Я недавно читал Шатобриана и помнил ночную песню молодого краснокожего, который говорит, что он оплодотворит чрево своей милой (je fertiliserai son sein).

Сова, месяц и сырость, Паша и ее мать, коварная Сонечка и ее мать... все это порхало около меня. Я сел и писал как бы от лица девушки к себе.

Листок этой рукописи цел до сих пор, и помарок в нем почти нет. Я никогда не мог решиться ни сжечь, ни разорвать его.

«Друг мой! зачем это бледное облако на краю неба?

Уже темно, и воздух в поле полон влажного холода.

Друг мой! душа моя ноет!

Я ушла далеко от своих, ушла из дому в поле, а душа все ноет!

Как назову я тебе, брат мой, как назову я чувство, от которого млею?

Я назвала бы его музыкой дальней смерти, милый мой; но рукам моим так холодно, в лицо из рощи прилетает такой оживленный воздух...

Что̀ делать, я не знаю слов!

Всю ночь вчера кричала сова в саду... Брат мой, зачем ты убил ее дитя!.. дитя еще невинно, милый брат... Помнишь, и твоя мать была сурова и нелюбима людьми, и отчего же ты так вздохнул, когда услыхал вчера вечером жалобный плач совы над яблоней, под которой лежало разбитое до крови, еще нехорошо оперившееся тело ребенка?

Я слышала, друг мой, как ты вздохнул; прости же мои слова, бедные слова одинокой сестры твоей...

Вот видишь свет сквозь поблекшие осенние кусты? Это дом мой, милый брат.

Пойдем ко мне... В поле холодно!..

Я согрею тебя у камина, и озябшие руки твои отойдут под дыханием моей любви...

Пойдем же, пойдем, милый избранник мой. Пойдем; душа моя ноет! Там мы долго будем одни в светлой комнате, а в поле так темно, и кругом везде сырость и ночь!»

XXII

Я лег в тревоге. Пока в доме все шевелилось, я был еще терпелив; но скоро в буфете перестал звонить Степан; из дальней девичьей тоже не слышалось шума; в окне Ольги Ивановны еще светился огонь. Наконец и он погас... Тогда я весь обратился в слух, дрожал, вскакивал... Вот вдали скрипнула дверь и замолкла, еще скрипнула и опять замолкла (я знал по звуку, какая это дверь). Я ожидал, что наконец эта дверь заскрипит вдруг и коротко, потому что Паше надоест нерешительность. Так и случилось через минуту. Если б она пошла тотчас же смело в девичью, то за этим знакомым мне скрипом щолкнул бы замок на коридорных дверях, потом в сенях завизжал бы блок; но видно, она пробиралась осторожно; между первым звуком и вторым прошло так много времени, что я стал думать: «верно это не она!» Один Бог знает, как я мучился, но на всякий случай был готов. Наконец стукнул замок, завизжала и хлопнула сенная дверь... Нет сомнения, это она! Она бросилась скорее мимо горничных, чтоб не успели ее рассмотреть, если которая и проснется. Я схватил фуражку, отворил окно, выскочил в сад и поспешил по темной аллее к огороду. За воротами на мостике показалась Паша; она была покрыта большим платком. Я дождался ее в аллее в темноте, и она бросилась ко мне на шею...

— Ах, мой миленький, это вы! как я дверей боялась, как они скрипят! это просто страсть!

Мы решились идти в поле, к холмам, где был кирпичный сарай. И недалеко, и пусто, и в сарай можно спрятаться — а в саду караульщики. Паша боялась и зябла, но была на все согласна. Как очаровательно казалось мне ее послушание, ее детская кротость, какое-то уважение ко мне, которое я замечал и в словах, и в робких взорах, обращенных ко мне! Как все это мне нравилось после кокетства и обманов Катюши, после причуд и безвкусия Клаши, после дерзостей Софьи! Когда мы шли с ней по

пустой дороге мимо болота и смотрели на огромные поля, покрытые туманом, бедный и бледный ребенок становился как бы священным для меня... Самая чувственность моя была проникнута такой искренней нежностью, таким умилением, что я вдруг захотел не расставаться с ней ни на миг, завернул ее в свою шинель, и мы скоро дошли до кирпичного сарая. Здесь, обнявшись крепко, сидели мы долго на пригорке и молчали. Я смотрел на это кроткое, отроческое лицо, на этот детский чепчик, на белокурые косички, которые выставлялись из-под него, смотрел на ее глаза, переходившие с тумана и полей на меня, а с меня опять на туман и поля, и все не мог произнести ни слова. Что̀ я скажу ей: «я люблю тебя!» Да̀, я точно люблю в эту минуту всей душою. А дальше, а жертвы? Я заранее отказался от них. О Паша, милая Паша! Ты не знаешь, с какими аккуратными расчетами начал ухаживать за тобой тот, с которым ты не боишься ходить в поле!

Однако я сжал ее руку и, вопреки себе, с усилием сказал:

— Так ты согласна, Паша, полюбить меня совсем?

— Как совсем? Да я просто удивляюсь, как это даже можно чужого мужчину так полюбить, как я вас люблю!

— Нет, Паша... ты не то... Совсем, совсем...

Я боялся произнести оскорбительное слово или позволить себе немую вольность.

Паша поняла, однако, и задумалась.

— Вот что, — начала она, помолчав, — а что будет? Страшно подумать, душенька! Маменька моя, вы знаете, какая строгая. Она меня не любит, я не знаю, за что. Вот теперь, как мы в город ездили, то и дело, то и дело твердит: «от тебя, от пакостницы, ничего путного не добьешься». Зачем вот не понравилась жениху?

— А ты бы пошла, если б понравилась?

— Конечно бы пошла. Как же не идти? Хоть он и гадкий, очень даже гадкий, а что ж делать — пошла бы! Заверните-ка меня получше, так холодно...

Вздохнув глубоко, Паша продолжала:

— Да. Я не знаю, за что маменька меня не любит. Вот тятенька покойный — тот меня любил. Бывало возьмет меня на колени, приласкает, и я его совсем не боялась. Раз маменька взяла и заперла меня в чулан, уж не помню за что. Господи! душенька, вот страх-то был! Темно; крысы визжат, дерутся... А я так и плачу, так и плачу. Только тятенька пришли из церкви, узнали и отперли мне. «Не плачь, говорит, Пашенька». Я и перестала плакать. И сам бледный тятенька! Очень он меня жалел... О чем вы задумались?

Что̀ мне было сказать ей? О чем я задумался! Я был в невыразимом смущении; я смотрел на туманные поля: это были те самые поля, по которым, за непроходимым зимним садом, *шел когда-то жених во полуночи*. Когда-то! Когда я верил всей душой, когда отец Василий пел у нас вечером в облаках дыма. И я оскверню шаткой страстью этот чистый образ, я обману его? Нет, я этого не сделаю! Я встал и сказал ей: «Пойдем домой». — «Пойдемте», — отвечала она вздохнувши. И мы пошли назад. Ей не хотелось еще скоро расстаться со мной; она проводила меня в аллею, и тут мы простились и обнялись в темноте. Сова, как и вчера, кричала жалобным, страшно жалобным голосом. Паша уходила, шумя сухими листьями. Я провожал ее глазами; она тоже остановилась на конце аллеи перед огородом, и на светлом месте между деревьями я еще раз рассмотрел ее клетчатый платок и детский ее чепчик.

— Прощайте, миленький, прощайте! — сказала она мне оттуда.

XXIII

Спать я не мог; зажег свечу и долго ходил по комнате, но все было душно; я вышел в залу и ходил по зале.

— Что̀ делать? Оставить ее? Но ка̀к оставить, когда она перед глазами? А охлажденье... А Модест с Катюшей?.. Обеспечить — разве все?.. А вся эта неловкость,

недоразумения, фальшивые слова разлюбившего?.. А ужас быть хоть наедине с самим собою, хоть раз в жизни похожим на Модеста? И что̀ скажет Юрьев?.. Он говорил, что именно тихую, робкую и физически холодную девушку грех обольстить, что она не найдет в страсти той отрады, которую находит пламенная женщина. Мне было страшно жаль ее, но самое сострадание только удвоивало желание обладать ею. Бедная моя Греция, где ты? Где же тот благословенный угол, где я могу найти любовницу без упреков и без разврата, бескорыстную и бесстрашную жрицу любви? Неужели жизнь моя должна идти так, как жизнь всех? Да это лучше б и не родиться! Да лучше страстный порок, чем гнусная посредственность! Страстный порок — так! Но если связь с этой бедной девушкой приведет меня к другого рода пошлой посредственности, к дряхлым колебаниям чувства, к стесняющему дыхание страху низости и страху жертвы? Если мне суждено будет вызвать в чьей-нибудь душе, в каком-нибудь, даже далеком отсутствующем, положим в душе Юрьева или Софьи... если мне суждено будет вызвать презрительное сожаление, не лучше ли отказаться от всего, от Греции, от самой жизни... Снесу ли я всю тяжесть ответа? Жениться после? Душно! Страшна худоба после родов, синие жилки на поблекших руках; но это все не так ужасно, как моя собственная слабость... Но если мне суждено, упившись разом и сладострастием и состраданием, насладившись ее отроческим телом и мягкой душою, если мне суждено слышать или только подозревать, что кто-нибудь осмелился сравнить меня с Модестом, если кто-нибудь скажет про меня: *да! он думал, что любит; он любил свое воображение, а не ее!..* О, Боже мой! не лучше ли стать схимником или монахом, но монахом твердым, светлым, знающим, чего хочет душа, свободным, прозрачным, как свежий осенний день?.. Не лучше ли это отваги с пятном на душе, той отваги, которой увлекся Модест, почуяв вокруг себя презрение самых близких людей? Эта светлая, одинокая жизнь не лучше ли и душного брака, где должны так

трагически мешаться и жалость, и скука, и бедные проблески последней пропадающей любви, и дети, и однообразие?.. Уж не лучше ли жениться, дать имя и бросить после? Тогда опять один и свободен! Но все порицают это... быть может, оно и в самом деле гадко. И неужели вся жизнь такова? Или это только моя? Но чья же лучше... чья? Куда не обернусь я, везде вижу слезы, и слезы пошло утертые, и опять слезы... Чью жизнь я предпочту моей? Тетушка не жила и не живет, приближаясь к могиле... Юрьева ждут только лишения и одиночество; недаром же говорит он, дьявольски весело смеясь, «терпи, казак, атаманом *не* будешь!» Яницким быть стыдно, потому что он не мыслит, мало знает; Клашей — стыдно, потому что она жена Щелина; Дашей — потому что слаба и неверна самой себе, как я; но я по крайней мере мыслю, а у ней и того нет! Софья? Вот это что? Да что! Приданого мало, мать строга, тетка глупа, отца жаль, грустит, может быть, что руки велики и не так хороши, как у других, платьев мало, грустит , что не встретила еще никого, кто бы поработил ее любовью... В этом кривоносом Сальвари она скоро разочаруется... И кàк бы это было хорошо! Она, быть может, к зиме поймет всю разницу между им и мною... Чему ж я рад?.. Вот мои права на Пашу!..

И как душно везде! Даже великие люди... кàк кончили они? Смертью и смертью... К чему же привела их жизнь?.. Как жива передо мною картинка, где Наполеон в круглой широкой шляпе и сюртуке стоит, заложив руки за спину!.. Перед ним какая-то дама и негр, обремененный ношей... Как ему скучно! И еще картинка: M-me Bertrand с высоким гребнем, рак внутри, раскрытый рот и смерть! Еще я виже Гете в старомодном сюртуке, старого Гете, женатого на кухарке... кàк душно в его комнате! Шиллер изнурен ночным трудом и умирает рано; Руссо муж Терезы, которая не понимает, кто ее муж... И это еще все великие люди! Не ужас ли это, не ужас ли со всех сторон?..

Я схватил наконец фуражку и бросился вон из дома; шел, шел, шел до речки по дороге к селу, походил в холод-

ном тумане по берегу и вернулся домой усталый и прозябший, но укрепясь дорогой в намерении сделать первый истинный опыт воли и отречься от Паши. Я скажу ей: уезжай отсюда!..

Все понемногу утихло в душе моей, и я заснул.

XXIV

На другой день поутру я написал записку самой Паше: «Если ты, Паша, себя жалеешь и меня любишь, отпросись ты к матери сегодня же, потом у родных просись к тетке в город и пробудь там до тех пор, пока я уеду в Москву. Если же моя просьба ничего для тебя не значит, так я скажу Ольге Ивановне, что мы с тобой гуляем по ночам, и попрошу отправить тебя, чтоб не вышло тебе вреда».

Паша тотчас же стала проситься домой, и велено было для нее приготовить тележку к вечеру.

После обеда, когда старухи наши легли отдыхать, я долго ходил один, убитый и бессильный, по зале. Дверь отворилась, и Паша вошла, взяла свою чашку из буфета, надувшись и молча прошла мимо меня два раза, и хоть бы оглянулась!..

Я было хотел идти за нею, но, вспомнив, что Юрьев назвал бы такое движение *общечеловеческим*, смутился и ушел в свою комнату. Не успел я сесть у стола и закрыть лицо, как дверь скрипнула, и Паша печальная, тихая вошла ко мне.

Не говоря ни слова, она припала ко мне на грудь, подала мне детскую вилочку из слоновой кости и зарыдала...

— Возьмите, возьмите, — говорила она, — возьмите на память, миленький мой, ангел мой, возьмите на память. Я не нашла ничего другого... Прощайте, прощайте, прощайте! — повторила она с необыкновенной силой и громким плачем, обливая мои руки слезами и целуя их...

И я целовал ее руки... И чего бы я не дал в эту минуту, чтоб она осталась еще хоть на одни сутки!

Через час какой-нибудь тележка загремела по мосту. И я опять не спал всю ночь.

Пашу не отвезли еще в город на другой день, не отвезли и на третий. Февроньюшка была у нас и сказала мне тихо, не называя ее по имени: «плачет очень!» Я ходил, как безумный, по дому, по саду; ни о ком и ни о чем, кроме ее, не мог думать, не спал ночей до рассвета, стонал один, хватал себя за голову. «Зачем, зачем я упустил ее? Вот она, кроткая, невинная!.. Что̀ бы было! что̀ бы могло быть!..» В саду иногда я брал толстый сук и бил им себя по ногам, по рукам, по спине до тех пор, пока кожа краснела; аппетит потерял; язык и глаза пожелтели.

На четвертый день я велел оседлать лошадь и поехал в то село, где жили родные Паши.

Как войти в дом? Невозможно! Мать, сестра! Все знают! Все увидят и догадаются. Объехал за овинами, чтоб кто-нибудь из церковников не увидал меня, постоял в роще поодаль; наконец решился и выехал на улицу.

— Поди сюда, — сказа я одной старушке. — Не знаешь ли ты, увезли Пашу-поповну в город?.. Меня барыня из Подлипок прислала...

— Сегодня утром увезли...

Я повернул лошадь и скакал, не переводя духа, до дома...

Но и дома было не лучше. Нет, бежать, бежать отсюда!..

Два дня еще колебался. Потом сказал тетушке робко (страшно было ее огорчать — все разъехались от нее):

— Я уеду.

— Что̀ ж, дружок, поезжай; развлекись, моя радость... отдохни...

Куда ехать? В Москву еще рано: Москва пуста. Юрьев в деревне; Катюша с месяц тому назад уехала к Модесту. К Яницкому? Недавно Даша звала меня в письме так радушно, говорила, что у них так хорошо, так много тени, цветов и книг; писала, что он день ото дня больше любит ее... Туда, туда, где живут не так, как все, в убежище

противозаконной любви! Правду говорила Чепечница Петровна: «незаконная любовь слаще законной!» Не нужно мне слуги: я хочу быть один! В 20 верстах от нас шоссе идет на Москву, а там опять шоссе почти вплоть до Яницкого. В мальпост, и туда!..

— Я еду к ней, — шепнул я Ольге Ивановне.

Ольга Ивановна отвернулась к окну и отвечала:

— Посмотрите, каково ей... И скажите ей, что напрасно она меня обманула; я и теперь готова ей помочь, если она будет в горе... Прощайте!..

Мальпост пришел на рассвете. Погода была ясная, и я взял наружное место. Громада покатилась под гору, промчалась по мягкому мосту, в гору... и городок наш скрылся. Солнце вставало; мы скакали шестериком во весь опор; кондуктор трубил. Рощи, зелень, деревни, обозы — встречались и пропадали...

Образ Паши бледнел все больше и больше, и спокойное сознание честного, удобного поступка начинало занимать его место.

«Что ж, — думал я, — если я не могу играть и блистать перед людьми, как лихой конь, потащу в гору воз, как деревенская лошадка! Юрьев сказал же мне однажды: „Надо много, много дарований иметь, чтоб частыми успехами не опротиветь людям". Впереди такая бездна дней! И не одни Подлипки, не одна Москва на свете!.. Прощай, прощай, Подлипки! прощай, милая Паша! благослови тебя Бог на спокойный и добрый путь, а я теперь залечу далеко от всех вас и забуду все старое!»

Вперед, вперед, молодая жизнь!

XXV

Шаг за шагом светлела моя мысль... Как легко казалось тогда справиться с будущим!.. За одну картину будущего можно было бы отдать совесть на вечный позор... как отдал ее Модест... Ведь и он не заслуживал одних только упре-

ков! Когда лет через пять после всего рассказанного случай опять свел меня с Катей, поблекшей, больной и павшей, и я узнал незадолго до этого с содроганием, что она умирает, с каким негодованием закипел я на Модеста!

— Зачем вы ездите всегда в карете? — спрашивает его одна дама.

— На воздухе так портится прическа... Я принужден завиваться, потому что у меня мало волос.

А я вдали вижу курган, покрытый кленом и рябиной, лозник на берегу круглой сажалки... Розовое ситцевое платье и синяя лента на шее, и цветущее лицо... Душа, быть может, полная простых надежд... Ему было отдано все. А он? Старая история — полная для меня всей новизны пережитого! Он гремит в карете, купленной на женины деньги; зеленые концы чорного галстуха вовсе нейдут к бледному, жиреющему лицу, сюртук от лучшего портного и скучная, как сказывают, *добрая* жена!

Это все издалека. Но вот я в давно знакомом переулке. Смеркалось, когда я вошел к ней... Перед этим узнал я, что она жива и поправилась. Поправилась, да... мне казалось даже, что она выросла!.. Хотя это уже не та Катя, что плясала по вечерам в людской, не та, что плакала по детям, отданным в воспитательный дом и умершим потом, не та, что бегала дикой девочкой по рощам и коноплям... Но все тот же очерк продолговатого лица, все та же болтливость и радость при встрече со мной.

Она вызвалась провожать меня.

— Откуда у тебя это такой салоп и шляпка славная?

— Сама купила. Модест Иваныч не забывает меня. Господи! Ведь прикатил, когда я заболела. Он был в Москве, узнал, что я больна, и сейчас ко мне. Я ему тут сгоряча, знаете, этак... Уж, конечно! у меня кровь даже горлом шла перед этим! Я ему, как есть, все начистую. Конечно, говорю, вы можете на меня сердиться, как вам угодно, а ведь вам не следует оставлять меня. Что вы со мной сделали? Разве я такая была? С тех пор аккуратно высылает деньги и пишет, что нужно...

— А с женою как они?

— Он говорит, что она ангел. А я слышала, что она на него прикрикивает. Что́ ж, мудрости большой тут нет: имение ее! Поверите ли, волокита такой же, как был... Уж он ведь и не так молод теперь... Толстый такой стал, здоровенный, а в деревне спуску никому не дает. А все-таки, если по-божески судить, он не мог на мне жениться... Я не верила этому... Пусть не забывает только, а то трудной службы я теперь нести не могу: грудь все болит... Ах, Господи, вспомнишь молодость-то! Помните, как я вас обманывала? Обещаю прийти во флигель, а сама в людскую, да под балалайку и пляшу! Вот бы, кажется, Бог знает что́ дала, чтоб в Подлипки в наши опять!..

Мы простились под фонарем, и хотя в поблекшем лице, в игривости, уже напоминающей изученность, не видится мне та простодушная, деятельная и грубоватая Катя, которая с такой силой вертела колесо на колодце тетушкина двора, чтоб не утруждать других людей, однако, благодаря щедротам Модеста, живет она спокойно пока, отдыхая от порочных необходимостей, ввергнувших ее в болезнь...

Жертва не возбудила вблизи глубокого сострадания, а он предстал в смягченном виде. И я не удивлюсь, если завтра же или через три года, пробудившись на минуту от духоты семейного эгоизма, стеснит он себя в чем-нибудь и обеспечит судьбу Катюши!

Я благодарен ему за пример: память об отце Василье одна не спасла бы Пашу...

Не поступок мой особенно дорог мне, но мне дорого то, что хоть одно лицо из первой молодости моей осталось в неподвижной чистоте; все обманули, все разочаровали меня хоть чем-нибудь — одна Паша навсегда осталась белокурым, кротким и невинным ребенком. Она недолго жила после встречи со мной.

Капитан немного постарел, хотя и повторяет двадцать раз совсем не смешно, что он *на точке замерзания*, и мало уже теперь меняется; он часто ходит по вечерам ко мне, пьет чай и курит трубку. Февроньюшка стала получ-

ше; лицо перестало предупреждать года, и виски примазаны все также колечком. Она замужем за одним управителем из дворян, говорят, смирным человеком, иногда гостит у отца и все хочет, чтоб он продал мне свой клочок и переселился к ней. Капитан вчера заходил ко мне и вспоминал о Паше.

— Важная девушка была! — сказал он, — простота была, ей-Богу! просто удивительная! Он ведь пил и теперь сильно пьет!

— Кто это пил?

— Муж-то ее. Он ведь, знаете, крестник мне... Тимофея Гаврилыча Ерохина сын. Знакомый человек был, в уездном суде служил. А мне к тому времени пришлось в городе быть... Я и крестил сынка-то! ей-Богу! Через это он и знакомство с Пашей свел. Да. Вот извольте... Как тетушка ваша померла... вас не было... ну, он ко мне и приезжай на Петровки. Я, признаться, думал Февру за него пристроить. Ну, где ж! Увидал ту... Она о ту пору гостила у нас. Такая, ей-Богу, задумчивая была; нет, нет, да и заплачет, а он и расходись вдруг: «Я, говорит, жизнь за нее отдам!..» Ей-Богу! Такой разгульный был человек. Сейчас гитару это и все, да и ну стонать: «С ней любви одной довольно!» И стонет, и стонет... А она пуще плачет. Мать лиха больно была, шельмовская попадья!.. «Эй, говорю, Митя, полно стонать... душу всю вытянуло». — «Эх, говорит, дай пожить». И моя тоже руку держит им. Что вы смеетесь? Не шутя. Вот и женился. Приехали мы к ним в город чрез годик, так осенью. Ничего. Худа только больно она стала. Я говорю: «Что это ты, Прасковья Васильевна, такая выдрочка стала?» А она засмеялась... — «Что это вы, Максим Григорьич, говорит: я не худа». Вечером уже пришел на втором взводе. Сапоги все и голенища в глине. «Ну, кричит, Паша! снимай с меня сапоги сейчас! Ты моя раба!» — и понес... «Полно, говорю, Дмитрий, видишь, человек больной, нежный... оставь ее». — «Нет, она, я знаю, пренебрегает мною!» А та, голубушка моя, ни словечка, агнец этакой! и ну тащить

сапоги. «Подожди, говорит, Митя; я сейчас за чистыми носками схожу; а ты на диван пока ноги поставь!» Хоть бы что! А он как закричит: «Не надо мне носков! кричит, не надо! Я, говорит, скот! Подобие скота! Скотина носков не носит!» Да как были ее руки в глине — ну их целовать... «Ты, говорит, моя жена! ангел небесный, а не раба!..» Такое свойство у него... ндравен уж очень, а ее любит. Вы думаете, это его Гаков, Семен Алексеич, споил? Ни! Боже мой! Не верю. Грусть, тоска одолела: после ее смерти спился; в родах умерла. Пятеро суток страдала. Февра моя у ней тогда была. Через Дмитрия и замуж она вышла, Февра-то. Он посватал Николая Филипповича. «Благодарю, говорит, вас, Февронья Максимовна!» Шут его знает! пропал малый, а веселый молодой парень! Право! В комиссии тоже его все любили, и начальство им было довольно. Приедет, бывало, еще женихом ко мне сюда. Увидит — мужики молотят у меня на гумнишке. Цеп — да и давай крестить!..

Я узнаю в рассказе капитана мою милую Пашу, и хотя муж ее, как видите, служил в комиссии и любим был начальством, но он для меня больше человек, чем многие честные и умные люди...

ИЗ РАННИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О[1] ТРЕХ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРАХ. —

1. Петр. — Это, сколько мне кажется, тип человека довольно многостороннего, умного, доброго, с зародышем многих высоких стремлений, не проявляющихся, впрочем, до[2] времени, от растягивающей многосторонности;[3] — он до призвания человек жизни простой, но честной, семейной и чистой, безо всякого, кажется, образования. — Но у него нет (все же по причине многосторонности) ярко выступающих односторонностей, дающих силу человеку и[4] заменяющих ему часто недостаток разумного направления[5] к сознанной цели. — Нет у него и громадной воли,[6] власти над своими порывами. — Он часто наивно проявляет свои слабости, не замечая сам, что они слабости. — Вспомнить стоит только его просьбу на Генисаретском озере, когда Иисус явился перед устрашенными учениками,[7] на волнующейся воде, прекрасный и спокойный в своей тихой и смиренной[8] силе, — и Петру захотелось

---

[1] *Было*: об

[2] *Было*: от

[3] *Было*: человек

[4] *Далее было*: тогда

[5] *Исправлен порядок слов; было*: направления разумного

[6] *Было*: и

[7] *Далее было начато*: прек⟨расный⟩

[8] *Написано поверх слова* тихой

изведать свое[9] могущество, и может быть, было при этом и бессознательное желание истязать[10] Христа. — Полный веры в своего Учителя, Апостол ступил смело на воды... Всем известно — какой был конец. — Сколько тут простодушного самолюбия, сколько любопытства, веры, сомнения, смелости, страха, словом, самых далеких друг от друга движений в богатой душе святого[11] рыбака. Петр[12] храбр в одном случае, робок и слаб в другом. Ему ничего не стоило отрубить ухо Малху в присутствии стражи, которая пришла взять любимого Учителя; — ему только хотелось поскорее чем-нибудь да отмстить за Него; и прекрасный порыв остался бесплодным. —[13] Он, несмотря на предостережения Христа, не мог не отречься от Него, в минуту отвсюду грозящей опасности; он отрекся, он был слаб и робок; — но, когда услышал в[14] третий[15] раз пение петуха, он вспомнил и Того, Кому он так изменил, вспомнил и свое ничтожество в этом проступке — и горько плакал. Трогательнее этого места я не помню ничего в Евангелии. Примеров[16] его многосторонности, его силы и слабости, довольно много.

2. Иоанн. — Иоанн натура поэтичная, полная обаятельного Германизма, непорочности[17] и тумана. — Он теоретик до времени и мечтатель. Воображение и чувство царят у него мирно над всем; — а мечтательность есть непременное следствие слияния этих двух начал. — Заметьте, как красноречиво молчит он и как мало действует во все продолжение Евангельского повествования. — Он молчит и созерцает. — Эта нежная, девственная, глубоко

---

[9] *Было*: свои силы и

[10] *Возможно, описка*

[11] *Вписано над строкой*

[12] *Зачеркнуто* и

[13] *Далее зачеркнуто*: Но,

[14] *Вставка*

[15] *Было*: третье

[16] *Было*: примеры

[17] *Вписано поверх слова* чистоты

прекрасная натура полна неизъяснимой привлекательности. — Она не говорит об себе, но[18] высказывается самим молчанием своим, — и мы ее любим. — Когда сильное воображенье соединяется с острым умом и они значительно преобладают над чувством, тогда образы,[19] дети воображенья, являются резкими, рельефными,[20] и воображенье получает какое-то отчетливое, скульптурное направление, плоды его сами бросаются[21] в глаза и скоро понимаются. — Когда же воображенье идет рука об руку с чувством в человеке, тогда образы туманны, неясны на вид; они даже кажутся с первого взгляда поверхностными, но это обман, в них лежит всегда далеко-обдуманная мысль, когда-то и где-то родившаяся, — все в таком человеке музыка и заоблачность. — Таков Иоанн. — Ему не надо даже воли; — его нежное настроение не допустит в нем никаких нечистых стремлений.

Вспомните, как рисуют его обыкновенно: волнистые белокурые волоса, светлый, тихий взгляд, обличающий созерцательную,[22] ровную нежную природу прекрасного юноши. — Иисус любил его больше всех учеников. Это понятно; — в нем даже больше сходство с Христом; — и недаром Спаситель поручил ему мать свою, когда умирал на кресте. — Иоанн не отрекся, Иоанн один был при кресте из всех Апостолов.

Но молчание Иоанна было не бесплодно, мечтания его узнали цель свою, и все богатство, скопленное им, весь запас его чувства,[23] вся необузданность воображенья, вылились, когда возмужал он, в жарких и загадочных страницах апокалипсиса. —

---

[18] *Далее зачеркнуто*: как-то молча
[19] *Зачеркнуто*: его
[20] *Было*: рельефны
[21] *Было*: идут
[22] *Было*: созерцание
[23] *Далее было*: воображения

3. Павел. — Вот еще резкий тип. — Это страсть и воля. — Когда он был язычником, он гнал Христиан. — Это зависело от убеждений, в которых был воспитан этот могучий муж. — Он гнал Христиан жестоко, непреклонно, страстно. — Но когда раздался с неба грустный голос: «Зачем ты гонишь меня», когда яркий блеск истины ослепил его, он склонился... как склоняется[24] всякая воля в благородной и сильной от природы, но ложной направлением, человеческой душе[25] перед праведным, незлобным и грустным укором. — Павел склонился и понял. — Этого было довольно. — Все духовное имущество этой пышной натуры[26] пошло на пользу христианского міра. — Все его гордое самолюбие, вся горячность чувства его, вся непреклонность его воли, вся образованность его светлого ума, прежде ослепленного страстями, вся устремленность к одной благой цели[27], и огненное красноречие, как поток лавы, вырвалось из этих столкнувшихся к одной точке элементов. — Могучий муж гремел против язычества, и целые тысячи склонялись перед его неумолимым словом, и самые враги его и враги его ученья молчали, полные удивленья.

Сошествие Св⟨ятого⟩ Духа, к⟨ото⟩рое я понимаю чем-то похожим на просвещение разума наукой и истинной верой, определило и цель Апостолам, и дало им средства идти к этой цели. — Петр, окончательно прозревший после тумана, в который повергли его последние обстоятельства земной жизни И⟨исуса⟩ Х⟨риста⟩, и возмужавший мыслью — оставляет свои простодушные, но слабые движения и, руководствуясь одной высокой стороной своей, идет свободно и верно, куда ему повелели[28] (так важно для человека проявление разума). — Иоанн также понял цель свою и начал действовать. — Павел тогда еще был язычн-

---

[24] склоняется *зачеркнуто, а затем вписано над строкой*

[25] *Далее до конца предложения — вписано над строкой*

[26] *Далее зачеркнуто*: у

[27] *Далее было*: из всех

[28] *Далее до конца предложения — вписано над строкой*

ником, но ему, просвещенному больше тех, нужно было только иное воззрение;[29] — Грустный голос запал ему в душу и перевернул его в противоположную прежнему сторону. —

На Павла мы смотрим, как смотрит женщина на сильного мужа[30], ему наше удивление. — На Иоанна можно смотреть, как иногда смотрит порочный мужчина на чистую душою девушку, на женщину-ангела; — ему — любовь. — Петру — чисто человеческое, братское сочувствие. — Все это независимо от Святости этих людей, которая все уравнивает и оставляет одно удивление. —

27 Марта. 1851. —
Москва

---

[29] *Вместо* иное воззрение — *было*: иная точка зрения
[30] *Было*: мужчину

САЛАМАНДРА. —

В водах моей сажалки бедной,
Где тесно осока растет —
Живет у меня саламандра
Давно одиноко живет.—

В полуденный час ежедневно
На сук выползает она
И греется страстно и долго
Веселости милой полна.—

Однажды пришел я на берег
Тогда я дитя еще был,
Но страсти недуг уже смутно
К томящим блаженствам манил.—

—«Скажи, отчего, Саламандра,
Огонь, говорят, тебе мил,
И правда ль, что ты не сгараешь
И кто этот вздор сочинил?»

Блеснула моя саламандра
Вертлявым и длинным хвостом,
Стрелой под осоку нырнула,
Дней пять не казалась потом. —

Еще раз я тихо подкрался,
На травку сырую припал
И снова спросить у веселой
Я тайным желаньем сгарал. —

Я ждал. — Уж вода помутилась,
Качнулся зеленый листок
И бодро на сук потонувший
Взобрался блестящий зверок.—

«Вот видишь, кругом тебя мокро,
Сама ты с головкой в воде,...
Ты в ней так спокойно играешь,
Не зная о близкой беде.»—

Я думал: «Огонь — это страсти,
Вода — это умный покой.—
Возму я на пробу бедняжку
И брошу в камин ее свой!»—

Тут быстро к воде я нагнулся
И шляпой ее зачерпнул,
И детски домой прибежавши,
Я наскоро щепки раздул. —

Богиню огня я тотчас же
На яркое пламя, смеясь
Бросаю и жду молчаливо,
Чтоб пламень жестокий угас.

И как же она изнывала
Как тяжко томилась[1] в огне!
Как страшно! — И в детское сердце
Закралася жалость ко мне. —

---

[1] *Было*: вертелась

Я бросил уж мертвую[2] в воду
И долго за трупом следил...
И слезы к глазам приступали...
Но я их в душе схоронил.—

Года, как и все, убежали;
Я помнил ее, но покой
Мне не дан был небом, а страсти
И страсти мне не дан был зной. —

К. Л-в. —

---

[2] *Было*: труп ея

ЕРМОЛОВУ. —
(Посвящение). —

Когда нибудь в минуту тяжкой скуки,
(Которую тебе не дай Бог испытать)
Начнешь ты сам себя со злобою пытать
И скажешь томно опуская руки: —
Что ж делать мне? За что теперь приняться? —
Без цели быть несносно — глупо и грешно!
Иные говорят, что в жизни все смешно,
Да врут они! Нельзя всему смеяться!
Что-ж делать мне? —
Не забывай тогда мого полезного совета:—
Надень свой шелковый, шикарный ты халат,
Бери чубук, глотай табачный аромат,
Забудь тоску и не ищи ответа.—
А лучше ляг на свой диван упругой,
Возми тетрадь мою и ну ее читать...
И я ручаюсь всем, что скоро будешь спать,
Как сам Зевес с прелестною супругой
Не засыпал!..

К. Л-в. —

Июль. Кудиново. —
1851. —

ВАРИАНТЫ
И РАЗНОЧТЕНИЯ

ВАРИАНТЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ

[ГЛАВА VI]

ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 5 об, 6 об.

В шесть часов у ворот коричневого домика стояла тройка. — На облучке красивой жолтой телеги сидел стройный молодой кучерок и изредка бодрил концом кнута коренную, к⟨ото⟩рая то и дело вздрагивала и подавалась вперед; пристяжные кокетливо беспокоились. — Синий кафтан кучера не скрывал жидких молодых членов его, и шляпа гречневик была так залихватс⟨ки⟩ насажена на чорные волоса, что едва едва держалась на них. —

Изящный кучер был сам Поль.

В телеге сидели двое; один тот[1] студент,[2] с угрюмым и огромным лицом; другой юнкер — белокурый и бесцветный.

Ваня бегом выбежал из калитки; поклонился сидящим в телеге и, узнав Поля, закричал:

— Ах! Это Вы! Ха-ха-ха!

— Садитесь, барин; отвечал Поль, насколько мог толстым голосом. —

Ваня весело влез. — Поль крикнул и телега понеслась по мостовой. — Всех избило, пока доехали до заставы. — Но скоро дохнула им свежесть поля в лицо. — [3]

— Эх вы други! кричал Поль махая кнутом. —

---

[1] *Далее было*: серьезный

[2] *Далее зачеркнуто*: не кончивший курса, к⟨ото⟩рого хвалил Поль

[3] *Далее зачеркнуто*: телега

— Не умеешь ты по ямщицки то кричать! восклиц⟨ал⟩ юнкер: — ветер дует преужасный, ах мой миленький-несчастный! Дай мне возжи. —

— Не дам. — Пошел!

— Дай мне возжи, говорят тебе!

— Не дам. —

Поль ударил юнкера кнутом. —

Юнкер отплатил ему кулаком в спину. —

Бог знает, чем кончился бы спор, если бы студент, до тех пор молчавший не крикнул Полю. —

— Помни, что у тебя дело есть поважнее этого! Баловень![4]

Все успокоились. — Телега быстро неслась по ровной луговой дороге; коренник-иноходец мерно и звонко стучал копытами; пристяжные вились как[5] птички, словно не чувствуя никакой тяжести. — Поль задумчиво подводил над ними кнутом. — Юнкер с студентом затянули русскую песню. — Цветков игриво блаженствовал. —

Наконец — вот и те липы Белополья, вот и сад. —

Поль дико гикнул и тройка прохватила вскачь дальше крыльца. — Кучера сбежались. —

— Ничего нет хорошего в твоем иноходце, Осип, сказал старшему кучеру юнкер. —

— Напрасно, позорите, барин — лошадка... [6]

— Да ты посмотри вон он бежит, с досадой перервал Поль. —

— Поневоле будешь[7] бежать, если б кнутом то и дело, то и дело!

— Ну уж вот вас так хоть кнутовищем, барин — так ведь не побежите. —

Все захохотали. — [8]

— Осел, мужик, сказал юнкер и пошел один к дому. —

Впрочем и другие скоро пришли туда. — Молодежь стала веселиться. — Сперва пошли на деревню и смотрели как пляшут бабы. — Я не стану описывать подробно как плясала мо-

---

[4] *Далее было начато и зачеркнуто*: Сна

[5] *Вписано над зачеркнутым*: словно

[6] *Далее зачеркнуто*: — Что лошадка! —

[7] *Слово* будешь *в рукописи ошибочно написано 2 раза.*

[8] *Далее зачеркнуто*: Юнкер

лодка Матрена со сватом и поводила платком над головой; как другая женщина постарше ее страстно шевелила все тело и топталась крепкими сапогами по влажной траве, как расстилался кучер в упоен⟨ии⟩ пляски. — Скажу только, что наш герой совсем ободрился и стал свободен часа через $1\,^1/_2$. — Сначала он боялся то знатности Поля, то[9] учености сумрачн⟨ого⟩ студента, то военности юнкера, позволявшего себе так смело критиковать иноходца. —

Потом вернувшись стали пить пунш. — Напились славно. — Юнкер без шинели[10] и галстуха плохо плясал[11] с бокалом в руке. — Поль лежал на диване и смотрел на других (он берегся). — Цветков смеялся и изредка вскрикивал; а студент неумолкая болтал. —

— Послушайте, сказал он Цветкову, как Вас зовут. — Вы куда думаете из гимназии?

— Я полагаю в военную! —

— А-га! Это хорошо! Нус, а имеешь ты состояньице?

— То есть нет. — Я нет... А маменька-покойница...

— Э-ге! Мне нет дела до вашей почтенной матушки, хотя я ее очень уважаю; а у тебя видно брат ничего... Ну — что ж... бедность — не порок! — Я вон ни гроша не имею...

Выпили еще. —

— Ну брат Цветков [— сказал] студент. — Обнимемся! Какое же ты брат чучело! А?

— Ваня зах⟨о⟩хотал. —

— Чего горло дерешь. — Хахаха! Рад... Ну хорошо. — Ты у Ангста живешь?

— У Ангста. Важный старик! Благороднейший человек. —

— Точно[12] Важный! Вот то-то кажется у тебя никакой образованности нет.

---

[9] *Далее зачеркнуто*: военности

[10] *Было*: мундира

[11] *Далее зачеркнуто начало слова*

[12] *Далее зачеркнуто*: славный

РАЗНОЧТЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ниже приводятся фрагменты текста настоящего издания, отличающиеся от соответствующих фрагментов корректурных листов *ОЗ* (далее — *кор. ОЗ*). Те части фрагментов, которые находились в тексте *кор. ОЗ* и были исключены в тексте *МВ*, подаются в угловых скобках; заменявшиеся части текста *кор. ОЗ* приводятся в подстрочных примечаниях после слова *было*; дополняющие части даются полужирным шрифтом. Имеющиеся в *кор. ОЗ* отчеркивания, обведения и подчеркивания в абсолютном большинстве случаев никак не отразились на тексте *МВ*.

С. 28

4 Ангст лукаво потряхивал[1] ногой
9 Признаюсь[2], это меня удивляет
16 из чего жить[3] хлопотал?..
24 а какое наслаждение[4]

С. 29

3 Оба молчали[5]
24 Дом в деревне маленький[6] у нее
25 сама, знаешь — этакое[7] что-то приятное

---

[1] *Было*: трес
[2] *Было*: Я признаюсь
[3] *Было*: из чего жил, хлопотал
[4] *Было*: наслажденье
[5] *Было*: Оба помолчали
[6] *Было*: миленкой. *Рукой Л. и заменена на* а *и вставлен* ь *после* н.
[7] *Вставлено рукой Л.* э

27 просто ангелы.[8]
34 с места долой.[9]

С. 30

6 Чикровский[10]
10 Взяток ⟨он⟩ не берет
11 к начальнику[11] ездит.
13 у начальника-то[12] принимают

С. 31

17 чтоб ⟨она⟩ вышла за Ангста.
29 и молча покачал ногою.[13]
34 но ⟨я⟩ желал бы знать

С. 32

8 почувствовав **сама** в эту минуту **какое-то теплое движение в душе**[14]

С. 33

5 верно, не захочет **сыграть свадьбу**.

С. 34

3 и имел уже[15] лет восемнадцать.
12 о том ⟨молодом⟩ пилигриме
13 чего так жадно[16], так непрестанно
17 А там содержатель **пансиона**
25 Дети не умеют склонять у него; а[17] в высших
26 я даже ничего не понял.[18]

---

[8] *Было*: серафимы
[9] *Было*: с места и долой
[10] *Было*: Чирковский
[11] *Было*: губернатору
[12] *Было*: у губернатора-то
[13] *Было*: молча немножко потряс ножкой
[14] *Рукой Л. вставлено* сама *и вписано на полях* какое-то теплое движение в душе *вместо густо зачеркнутых 14 знаков*
[15] *Было*: ужь
[16] *Было*: ждал
[17] *Было*: у него: *и исправлено рукой Л.*
[18] *Было*: *понимаю... густо зачеркнуто и заменено Л.*

С. 35

12 Так был казнен[19]

20 приближался ⟨торжественный⟩ акт

21 недели за две **о том** стал думать

22 на этом собрании. ⟨Ему показалось, что Гейневские Гренадеры будут не дурны и приличны...⟩

С. 36

4 совершенно не владея произношением.[20]

10 — Позвольте **мне-с**, **Федор Федорыч**, сказал он, конфузливо улыбаясь ⟨:Федор Федорыч, мне-с⟩ читать стихи

14 — Хорошо, Цветков[21].

29 вот так! Не понимаем, что вы и говорите-то в классе[22]

31 — Нет, Цветков[23], нет

32 Вот книжка[24], продолжал он, достав **ее** из шкапа ⟨книжку⟩

35 Это, Цветков, гренадеры[25]

С. 37

10 И лишь добрались до немецкой квартеры[26]

13 Цветков[27]

18 топал[28] он ногами

23 Во Францию шли гренадеры[29]

28 с возраставшею[30] энергией.

29 Ангст тихо вошел[31]

---

[19] *Было*: видимо *наказан густо зачеркнуто и заменено* Л.

[20] *Было*: не имея произношения.

[21] *Было*: Цветкофф

[22] *Было*: вот так не понимаем, что вы говорите в классе. *Исправления и вставки рукой* Л.

[23] *Было*: Цветкофф

[24] *Было*: Гейне

[25] *Было*: Цветкофф, Гренадеры

[26] *Было*: квартиры

[27] *Было*: Цветкофф

[28] *Было*: топотал

[29] *Было*: гренадиры

[30] *Было*: возрастающей

[31] *Было*: взошел

С. 38

5 Ваня гордо подал книгу[32]
11 произносил ужасно, ⟨и⟩ в азарте
15 Цветков[33]
30 попеняв ему **за то**, что **он** ленится[34]

С. 39

3 в день прощания[35]
13 небогатыми ⟨грустными от жизни в провинции⟩ лекарями.
21 Софьи Петровны Н***[36]

С. 40

13 отвечала Ангсту на его красноречивые[37] объяснения.
15 Дарья Николаевна[38]
22 Дарья Николаевна[39]
34 это создание будет моим![40]

С. 41

6 и дурацкою[41] материей, описанною[42] вторым.
15 Сам помещик был ⟨круглый и⟩ мягкий нравом человек, сохранивший ⟨в сорок пять лет⟩ от свежих годов своих
21 букет которой несколько повыдохся[43] от времени.
28 порядочный[44] капитал[45]

---

[32] *Было*: Гейне. *Слово подчеркнуто и на полях рукой Л. написано* книгу, *затем зачеркнутое*
[33] *Было*: Цветкофф
[34] *Вставки рукой Л.*
[35] *Было*: прощанья
[36] *Было*: Нечаевой
[37] *Было*: некрасноречивые
[38] *Было*: Николавна
[39] *Было*: Николавна
[40] *Было*: моею!
[41] *Было*: дурацкой
[42] *Было*: описанной
[43] *Было*: нисколько не выдохся
[44] *Было*: хорошенький
[45] *Было*: капиталец. *Последние буквы густо зачеркнуты и рукой Л. надписан ъ после л*

32 в отпечатке стройной грации ⟨лежавшей⟩ и на лице ⟨этом⟩, и на худеньком, высоком стане юноши, и наконец, в самом способе выражаться[46]

С. 42

2 весь разгар своей ⟨чувственной⟩ молодости
9 тон его страниц из которых[47], вопреки цели автора
14 Бесцеремонность[48] Польдекока также не ушла[49]
19 то холодною[50] точкой зрения
27 с своей ленивою[51] слабостью

С. 43

10 по Невскому и носить[52] на себе
32 о смерти Дашенькиного[53] отца
37 и завесть с Дашей ⟨и⟩[54] переписку

С. 44

10 Лилиенфельд, увидев[55] в Поле

С. 45

1 прежнею отцовскою[56] любовью
4 заехал знакомый старичок[57]
18 серою[58] шляпой.
35 Вильгельм узнал[59] об отъезде
36 чтоб совершить[60] вечернюю прогулку

---

[46] *Было*: в манере говорить, наконец
[47] *Было*: изкоторых *Рукой Л. на полях вынесено* изъ
[48] *Было*: «Sans-gène»
[49] *Было*: ушел
[50] *Было*: холодной
[51] *Было*: ленивой
[52] *Было*: нести
[53] *Было*: дашенькина. *Рукой Л. приписано над строкой* го
[54] и *густо зачеркнуто*
[55] *Было*: увидав
[56] *Было*: прежней отцовской
[57] *Было*: престарелый знакомец
[58] *Было*: серой
[59] *Было*: знал
[60] *Было*: свершить

С. 46

5 Пока ⟨упоенный первым свиданием⟩ Лилиенфельд забывал все

С. 47

29 бесчисленное количество папирос ⟨и трубок⟩.

34 и усладительную дремоту. ⟨Он велел затворить дверь своего кабинета и как-то особенно поэтично разлегся.⟩ Сигара его докурилась

С. 48

1 действовать[61] на его полузакрытые глаза

6 дело ⟨такое⟩ важное

12 моя душка?[62]

27 Нет, душенька[63] папà!

С. 49

23 из-за[64] какого-нибудь мерзавца!

33 папà, душка[65], папа

С. 50

3 добродушною[66] бранью

С. 52

13 — Чорт знает, папиросы забыл![67]

28 сбирался вас отыскивать[68]

С. 53

1 Мускулистая рука будущего воина[69]

---

[61] *Было*: влиять

[62] *зачеркнуто* к

[63] *Было*: душка. *Густо зачеркнуто и над словом рукой Л. написано* душенька

[64] за *вписано рукой Л.*

[65] к *зачеркнуто*

[66] *Было*: добродушной

[67] Чорт знает *подчеркнуто; напротив на полях рукой Л.* Какая досада, *густо зачеркнуто*

[68] *Было*: отъискать

[69] будущего воина *подчеркнуто; напротив на полях густо зачеркнуты* NB *и одно непрочитывающееся слово.*

ПОДЛИПКИ

При сопоставлении текста «Подлипок», напечатанного в СС, с журнальной редакцией романа видно, что правка была значительной в количественном отношении, но не затрагивала ни сюжет, ни композицию вещи, мало что меняла в изображении действующих лиц и обстановки. Вычеркивая, реже заменяя отдельные слова, выражения, пассажи, Леонтьев явно стремился сделать повествование в целом более ровным, сдержанным, лаконичным, избавляясь от некоторых развернутых описаний и характеристик, от дополняющих действие мелких эпизодов и диалогов; хотя нужно заметить, есть случаи развертывания и детализации характеристик лиц и поступков, но они немногочисленны. Заметна тенденция устранить или затушевать эротические и чувственные элементы в тексте.

Здесь мы приводим все те фрагменты журнальной редакции, которые были вычеркнуты или заменены Леонтьевым. На местоположение фрагмента указывают номера страницы и строки нашего издания.

Текст журнальной редакции: *ОЗ*. 1861. Т. CXXXVIII. С. 1—92; 19—374. Т. CXXXIX. С. 1—78. Глава III и IV второй части в *ОЗ* носила номер IV (III пропущено).

С. 347

13 и ⟨насел на⟩ сырые⟨, почерневшие снизу⟩ сучья
19 а ⟨там⟩
24 Оно не ⟨богато⟩
26 по нашим ⟨пустынным⟩ полям
27 к ⟨мало-проезжей большой⟩ дороге

С. 349

12 **крахмальные** юбки.
13 В хозяйство она ⟨входила не слишком глубоко⟩
15 и многим ⟨от души⟩ интересовалась.
32 такой ⟨грубиян⟩!

С. 350

4 закрывая ⟨глаза шершавой⟩ рукой

С. 351

8 рассказов. ⟨Не понимаю, откуда брался запас, которым она два раза в сутки угощала тетушку. Впрочем, и то сказать, тетушка не была взыскательна; лишь бы болтали что̀-нибудь над ухом, когда надо спать, да не упоминали бы ни чертей, ни господ — чертей, потому что страшно; господ, потому что непочтительно.⟩

11 а Кривда⟨, конечно,⟩ злая.

25 ⟨Одна только статья⟩ в этой сказке

С. 353

15 и жилами ⟨древесины⟩.

37 обиженной ⟨в лице подарка⟩

С. 354

11 ⟨скромную⟩ усадьбу...

36 по берегам ⟨вольным⟩ лозником

С. 355

5 случайно и ⟨нисколько⟩ незлобно.

15 я был студентом⟨-словесником⟩

31 **хороших** гвоздей купить.»

С. 356

16 откуда-то **таинственный Божественный** жених

19 ⟨редкий⟩, зимний сад

С. 357

35 воспитана. ⟨Если б это сделал мірянин — извинительно: он больше света видит, больше и соблазна!⟩

С. 358

13 была ⟨нежна и кокетлива⟩

С. 359

5 ничего **дурного про него** не узнал.

7 не ⟨махал⟩ крестом

С. 360

27 Надеялся ⟨, впрочем,⟩ понравиться. **Нравиться нужно всем женщинам. Что за жизнь без этого?!**

33 дом был ⟨полнее⟩

С. 361

28 после, ⟨выростая⟩
30 этот ⟨обряд⟩.

С. 362

16 полному ⟨расцветанию⟩.
19 взгляд ⟨самый⟩ жалобный
21 из тех ⟨творений⟩, которым суждено ⟨пленять⟩

С. 364

17 камердинер ⟨Доримедонт⟩

С. 365

2 ⟨двадцать пять⟩ земных поклонов
30 ⟨Паша⟩ немедля ⟨согласилась⟩.

С. 367

10 ⟨когда⟩ она озябла
11 причесанным ⟨по-ночному⟩ за уши

С. 369

7 Олинька, ⟨Дашенька⟩
9 на ⟨куске берега⟩ мыла прачка
17 на притолках, ⟨изображавших зверей⟩

С. 371

5 но ⟨там⟩ уронил
7 на ⟨русский⟩ берег
17 ⟨своеобычные⟩ требования ⟨чувственности⟩ заговорили ⟨впервые⟩ во мне, такие лица ⟨стали⟩ мне ⟨не по вкусу⟩
31 ⟨ширина и⟩ розовый цвет белья...

С. 373

14 могло ⟨шевелить⟩
17 (не нашей ⟨дребезжалке⟩ чета!)

С. 374

1 ⟨Спереди⟩ несчастный

С. 375

15 и ⟨двое суток⟩ мыл и сушил ее ⟨кучер⟩.
29 все ⟨восьмиугольниками⟩

С. 377

14 и без содрогания ⟨дома⟩ вспомнить не мог...

С. 379

22 жизнь **Ковалевых** так чужда ⟨моим желаниям?⟩ Родного ⟨мечтам⟩ нет **в них** ничего!

28 тем более ⟨немели сердце и мечта⟩...

С. 380

18 около ⟨этого⟩ времени, ⟨рассказывала⟩

20 на беличьем меху⟨, или с синим тазиком ходит. Кашель его ужасно бил⟩. Куда уже

С. 383

5 Старшую звали ⟨Верочка⟩, младшую ⟨Клаша⟩.

С. 385

15 дал ей пощочину ⟨и сбил с нее тюрбан⟩.

17 глядел ⟨на сбитый тюрбан,⟩ на ее бальный наряд

С. 386

16 ⟨вникнуть в дух⟩ хоромной жизни.

С. 387

34 смягченный ее ⟨наружностью⟩

С. 388

37 казачок наш ⟨Федька⟩

С. 389

17 когда я ⟨бывал⟩ слегка болен.

18 ⟨положут⟩ тебя

С. 390

3 от нас.

⟨Катюша выросла в Подлипках, и я уже с иным чувством после подходил к ней; но она досталась не мне и увядала постепенно на моих глазах.⟩

8 Боже! какая тишина ⟨наполнила мою душу⟩!

15 **дальний и тихий** благовест.

16 ⟨плелся⟩ мужичок

24 сзади, ⟨правили⟩, лепились.

С. 391

3 я уже был ⟨дитя⟩, лицо будничное

С. 392

4 с чуть ⟨завитым небольшим усом⟩

37 позднее, ⟨образумившись⟩, я

С. 393

8 вижу я ⟨раз⟩

9 из белой ⟨турецкой шали⟩

С. 396

7 крапива ⟨и⟩ клохчут индюшки.

С. 397

20 танцовал ⟨иногда⟩

С. 399

19 лет ⟨десяти⟩, даже спросил у ⟨невестки ее, m-me Ржевской, которая тут была⟩

21 станут?" — ⟨M-me Ржевская отвечала мне⟩

С. 400

4 Но жену его я **в детстве долго** не любил.

7 ласкала меня ⟨не раз⟩.

10 хотя **и** небогатая

32 мне ⟨и сразу и потом было⟩ тяжело

С. 401

11 Наконец, внесли лампу, а потом вошла тетка

13 ясно мне ⟨ее⟩ лицо.

С. 402

26 вдруг ⟨округлив локти и⟩ сжав кулаки

37 к столу, ⟨все еще округлял локти и выкатывал глаза не без удовольствия на воинственном и красивом лице⟩.

С. 403

8 дома.

⟨Душа моя заныла.⟩ Я протянул

22 перевели **к нему**; когда же ⟨выздоровевший⟩ брат уехал ⟨с вакации⟩ в Петербург с ⟨верным⟩ дворецким

29 воинственности и ⟨относительного⟩ аристократизма, перед ⟨которой⟩

С. 404

5 Но как ⟨не тепла⟩ была ее ласка! Как странно ⟨тянуло⟩ меня от нее!

25 конец этому?"〈, или сдержанные, исступленные:〉 «Тише!...
27 Впрочем, **в обыкновенное время** дядя

С. 405

2 от отвращения к их 〈дому〉 не жалел никого.
6 были 〈теплее〉 обыкновенной приязни.
29 на 〈зубы〉 Терентия

С. 406

8 〈дикий и не новый〉 дом
20 изящные 〈сосны〉
21 за лугом, 〈клок дубовой старой рощи〉
26 стрижи. 〈Сюда часто могла входить Софья Ржевская, в белом платье, и смотреть, быть может, на реку по целым часам.〉
28 **и хотя** брак их 〈настал〉 так скоро
29 Петра Николаевича, 〈нѐкогда было〉 перенести вдруг все чувство
32 едва ли мог. **И она скоро страстно привязалась к нему.**

С. 407

3 〈величие〉 лесистого берега
6 〈но〉 в 〈старинной〉 красной
13 обратил на нее 〈лейб-гусарский взгляд〉
14 слова. 〈Молодую прачку секли; она была в начале беременности от Якова и выкинула.〉
16 〈Жена Дмитрия Егорыча〉 узнала

С. 408

8 〈глубоко потрясать〉 меня
28 меня **приятно** томило...
35 березками. 〈Здесь трещали зубы Терентия, и беспорядок задних комнат Александры Никитишны оскорблял меня после опрятной и простой зажиточности Подлипок.〉 Но зато

С. 411

26 Ноги 〈растараща,〉 сидишь

С. 413

18 на диване и 〈командовал. Наконец перестали〉. Тетка

С. 414

37 Не раз ⟨плакивал⟩ я

С. 415

23 в ней больше ⟨свежести⟩

С. 416

4 примешивались и ⟨лучшие⟩ чувства.
15 **как-то** пусто и мирно
33 становятся **все длиннее и** длиннее...

С. 417

3 просидим ⟨иногда⟩ молча.

С. 418

6 я ⟨сперва заплакал, а потом упал в обморок на диван⟩.
15 видел? ⟨Уж не у брата ли в казармах? Это, брат,⟩ свет плохой.
37 по ⟨четверткáм⟩ собирались

С. 419

17 говорить, читать вместе.

С. 421

31 у нее ⟨жгучие⟩ глаза...

С. 423

15 отца, но ⟨глазами она еще умела действовать,⟩ и стан
32 ⟨за⟩ г-жею Дольской поочередно

С. 424

9 ходит ⟨расхлебясь⟩
11 ⟨ее⟩ дешевым добродетелям.
13 отец **Салаев** спал, ⟨а гувернантка отдыхала,⟩ садились мы
36 в этом **40-летнем великане**, который ревел на губернской сцене ⟨и был подслеповат на один глаз.⟩

С. 426

17 уж без ⟨этого-то⟩ мы

С. 427

1 встаю в ⟨шесть⟩ часов
9 Дядя ⟨злобно⟩ засмеялся

С. 430

9 там ⟨ему плохо было⟩ за лень
14 ⟨перепортит⟩ работу сестрам, ⟨нагрубит⟩
15 ⟨зажарит⟩ живую
16 ⟨отрубит⟩ голову
16 его ⟨любимое⟩ занятие.

С. 431

7 изящного. ⟨Дафниса и Хлою я читал с наслаждением, не умея еще понять отвратительной нежности этой книги; но⟩ какие-нибудь пьяные стихи
10 это ⟨не пленяло⟩ меня
17 против ⟨начала⟩
20 Он ⟨воспитывался в институте восточных языков и⟩ был

С. 432

15 таким ⟨простым, домашним⟩ языком
21 Бывало, ⟨одеревенеешь⟩

С. 433

10 с ⟨холодной настойчивостью⟩ лица
35 такого рода **немецкие** записки
36 «**Душа моей души! Сердце моего сердца!** С тех пор

С. 434

5 в том же духе **по-французски, потому что по-немецки хорошо не мог писать**
11 ⟨несказанно-⟩любимые
14 о слоге.
⟨«Несказанно-любимые» шептал я: какие звуки! точно в «Истории государства российского!»⟩

С. 436

7 руку **с чувством** ⟨и умолял его взором⟩; но он ⟨немыми⟩ глазами

С. 437

7 на него **с удивлением** и вышел.
23 ⟨Тут она закашлялась, а⟩ я взял ⟨из рук ее⟩ письмо.
25 утомленная ⟨кашлем⟩ и равнодушная

С. 439

1 тебе еще ⟨нет 16⟩ лет

20 — Вот еще! ⟨Как бы ему от меня беды не было. Пусть другие его боятся, а я не боюсь.⟩ Он ⟨сам мне сейчас сказал, что⟩ прежде полуночи

С. 440

5 **изящный** синий фрак с ⟨медными⟩ пуговицами.

С. 441

10 — Нет... где ж! не читал

С. 442

29 деспот! ⟨Сам за горничными ухаживает, я узнал сегодня.⟩

36 (лицо его не изменилось ⟨ни на волос⟩)

С. 443

18 Вы себя ⟨так⟩ запутываете.

С. 445

36 отвечал я и ⟨робко⟩ пошел

С. 446

25 **еду шибко**, ⟨и встречные⟩

С. 447

2 рассказываю ей **с волнением**, что я бежал от дяди, ⟨непритворно плачу, говоря⟩ о тетушке

32 очень строг — к себе ⟨нет; даже развратен!⟩

36 из скандалезной хроники ⟨дома?⟩

С. 448

15 рассказывай ⟨дальше... Ну, что же? Ты пришел с бульвара... Дальше?⟩

36 Господи! **как** Все мне здесь

С. 449

2 беги, Володя!»

⟨И я побежал один, низкий трус!..⟩ Вот дорога

6 пруд, **сам рыжий** Егор Иваныч с тачкой; зеленый двор еще зеленее от дождя; ⟨коленки ноют, под сердце подкатывается что-то...⟩

8 видел, **вот** кого я встретил

С. 451

[4] после нее ⟨не более года⟩.

[25] какую-нибудь ⟨энергическую⟩ фамилию: Roger de Rabutin, comte de Bussy⟨, или Kèronan de la Kergeradec!⟩

С. 453

[4] была⟨, конечно,⟩ приятнее

С. 454

[18] блондинкой. ⟨Я любил касаться ее щок, ее рук, забираться под кружева рукавов, обнимать и прижимать ее под предлогом игры.⟩ Глаза

С. 456

[7] вспыхивает, и ⟨загорается вражда⟩. Дело доходит

[22] этот тон, ⟨— замечаю я. —⟩ Она даже

[25] уничтожает ⟨меня⟩ полувзглядом

С. 457

[30] допустил ⟨по старой памяти за ум и⟩ за голубой

С. 458

[15] мои причуды ⟨и несправедливую брань?⟩ чей правильный

С. 459

[3] поляк с ⟨эспаньйолеткой⟩

[7] в коляске с ⟨старухами⟩.

С. 460

[9] исправница⟨, от которой всегда пахло мылом⟩; исчезли

С. 461

[24] учился ⟨и⟩ читал ⟨с горячностью⟩ и думал

С. 462

[24] блузе⟨. Дети загадили у меня стены, диваны, столы...⟩ Не так

С. 463

[13] ⟨...⟩ точно в Америке какой-нибудь⟨,⟩ и то

С. 464

1 — Не знаю.

⟨— Знаешь, что если б ты вышла замуж за богатого старика, за порядочного человека, за какого-нибудь сенатора или дипломата в белом галстухе со звездой, и меня бы любила... как бы это было славно!

— Благодарствуй...

— Прекрасная была бы эта любовь, продолжал я: — ничем не стесняешься, всегда дружны, веселы...

— А муж?...

— Поцалуй-ко меня... Что там муж!...

— А знаешь ли,⟩ что если

17 возмужал ⟨и не постарел⟩. На несколько

С. 471

26 держал ее за ⟨голую⟩ руку ⟨выше локтя⟩), прибавила

С. 472

29 Вышла ⟨странная⟩ ссора

С. 474

20 мысленно ⟨оглядывался⟩ назад...

С. 475

21 Володя; **но** я чувствую

С. 477

2 в герои романа. ⟨В то же самое время я давал себе зарок не кривляться, не выплясывать и не представлять пьяного в лакейской, при людях.⟩ Милостыня?

3 двадцать рублей ⟨в месяц⟩ карманных денег

С. 479

5 все больше ⟨и больше⟩ привержен

8 мне ⟨по-себе⟩

11 как ⟨самый наглый⟩ продавец

26 Она могла **бы** быть

С. 480

1 Даша ⟨была⟩ в белом кисейном платье с оборками, с пунцовой ⟨бархатной⟩ лентой на шее, а Клаша — в голубом с белыми ⟨горошинками⟩.

С. 483

[11] чувства меры. ⟨И я был прав отчасти: во мне самом тогда было так мало содержания, что я поневоле должен был украшать себя чужими силами и внешним изяществом.⟩

[17] — Побыл бы и ⟨дольше⟩

С. 484

[9] У Колечицких ⟨—⟩ Ржевская бранила **свою** дочь

С. 485

[34] описывал вам ее, ⟨да и то кой-как⟩, в главных чертах

С. 488

[10] какими ⟨страстными⟩, почтительными и вместе страстными

С. 489

[3] достало духу⟨; но все-таки главное пятно Евгении Никитишны смылось для меня почти вовсе, когда я узнал о несчастной прачке⟩. Ума

С. 492

[1] ⟨Попомни⟩ ты мое слово

С. 493

[12] большое ⟨ваточное⟩ пальто

[20] глаза ⟨блистают⟩ так, как, бывало, во время пляски ⟨блистали⟩.

С. 496

[20] все ⟨хозяйственное пищеварение дома⟩ на глазах

С. 497

[8] ⟨тётушкина⟩ кабинета

С. 498

[18] под ⟨вице-мундиром⟩

С. 499

[16] я ведь вас знаю...

С. 507

[24] ⟨все⟩ так же сух

[27] чаем и ⟨кофеем⟩

31 не был ⟨слишком стар и⟩ слишком скучен.
36 «Вы должны быть очень влюбчивы⟨?⟩»

С. 508

9 Теряев ⟨уж⟩ там
15 уходит с ней в ⟨пустой⟩ кабинет

С. 509

17 корнет молодой.
⟨Уши у него горели от восторга, и не раз он закидывал за них волоса во время чтения.⟩
После этого

С. 511

5 в ваши антрисоли ⟨забиваться⟩!»
8 Полно⟨;⟩ поедем!...
11 С голыми ⟨мужик⟩ руками
22 звать вас ⟨*табакеркой*⟩?
24 поморщился **и прибавил: «Что за бессмыслица!»**

С. 512

7 ездить к нам ⟨через день⟩.
25 и полинялыми⟨, сморщенными⟩ обоями.

С. 513

1 иногда ⟨еще⟩ скажет
22 ⟨по столу, бил себя в грудь⟩ и ⟨просто⟩ выходил из себя

С. 514

13 ату его! ⟨...⟩»
30 (Модест ⟨запыхался⟩)

С. 515

23 всего ⟨1¹/5⟩ версты.
27 уходил с нею ⟨за овин, на солому; брат делал то же с Ковалевой⟩. Клаша

С. 516

22 мыла ⟨какую-то мелочь⟩

С. 518

4 тогда **ничего** подозревать.
18 удалялись ⟨в спальни⟩ Ковалевой

С. 525

[3] с Ковалевой; ⟨она после этого стала еще бледнее и томнее обыкновенного;⟩ а брат вернулся угрюмый, крутил усы⟨, гладил бороду?⟩ и, встретив

С. 526

[20] между моими ⟨теплыми⟩ сношениями
[21] и какими-нибудь ⟨вялыми⟩ происками

С. 527

[1] как ни в чем не⟨бывал⟩
[9] такую ⟨мягкую, глубокую⟩ ласку

С. 528

[27] ненавидит сплетни и ⟨скандал⟩

С. 531

[18] эти умные глаза ⟨не будут покрываться влагой около моих?⟩ эти губы ⟨не будут целовать меня?⟩ молодой стан

С. 534

[25] — Э! батюшка⟨, нашел кого! Мокрая курица...

С этими словами тетушка встала и хотела, проходя мимо, поцаловать меня, но я отклонился, отвел руку, которую она протянула, чтобы взять меня за шею, и ушел к Модесту, во флигель.⟩

Вечером

С. 535

[32] не простил бы ей.

⟨— Надо ехать, сказал я хлодно: — велите приготовить мне лошадей до города.

Повернулся и вышел.⟩

Мы все

С. 536

[1] переглянулись. ⟨Я растерялся и покраснел;⟩ но Модест

С. 537

[37] Я ⟨швырнул⟩ это письмо ⟨в корзинку, под стол⟩.

С. 538

[10] ⟨Сияющие лица⟩ отворяют
[33] хвалит ее; ⟨самая шутка его стала весела и проста,⟩

С. 539

6 в ⟨Кунцово⟩

27 за него⟨! Как⟩ может

С. 541

11 ⟨Молодой архитектор, с которым мы познакомились проездом через Судогду,⟩ печальным басом

22 рубашки и ⟨плисовое пальто самовара⟩

С. 542

37 сибаритствовал ⟨во флигеле, проживал вчетверо больше прежнего денег⟩, хохотал

С. 545

14 вы молчите ⟨и смотрите, как Собакевич, на угол печки⟩?

С. 547

1 полость⟨, кажется⟩, не обратил

37 Ольгой Ивановной!

⟨Слово ведь не долго сказать.

— Что̀ вы судите? Что̀ вы, что̀ вы? Эта старинная добродетель — грошовый товар...

Или еще резче:

— Почтенные люди? Вы говорите почтенные люди... Да разве между пожилыми у нас есть почтенные люди?

— Володя, Володя! — грустно возражала тетушка: — развратил тебя этот мерзавец!

— Пускай себе! Наш разврат лучше вашей святости! Разве Юрьев покачает головой из угла, так замолчишь.⟩

Да̀!

С. 548

20 над судьбой ее⟨, над возможностями свежести для нее,⟩ задернулась

28 воскликнул я ⟨и вышел вон⟩.

33 ему будет ⟨так же⟩ больно от этого вопроса⟨, как больно мне, когда Юрьев зовет меня: «сила воли, сила воли!»⟩

И ссоры

С. 549

34 на новый лад.
〈— «Табакерке мое почтение!» — Здравствуй, табак!〉 «Дон Табаго, а дон Табаго?!»

С. 552

22 Любили бы тебя〈, а ты сам любить много не будешь; на это и не надейся, брат〉!
28 рассказывать 〈вам〉, как

С. 554

36 или с ней 〈— ничего не слыхать!〉 Я долго

С. 555

25 сказал ей:
— 〈Я не хочу — компрометировать вас.〉 Я уйду.

С. 557

24 плутовка, 〈а тебя провести легко〉.
— Не проведет!

С. 558

12 Петербург. 〈Ей становилось легче, быть может, когда она смотрела на меня!〉 Она

С. 561

24 с чувством 〈благодарной〉 радости
31 〈в〉 небольшую 〈швейную〉 комнату

С. 563

10 материнским чувством 〈и нуждою〉. Но

С. 568

14 инстинктов. 〈«Дрянь и тряпка» Гоголя, которая только о Гоголе, а не о Занде, смеет думать как о родном.〉 Не Онегина

С. 569

6 пищал, 〈визжал,〉 картавил
20 и бледна, 〈пятна на лице прошли, но есть морщины...〉 Она

С. 571

15 подорожную взял, 〈и карета готова...〉 Дорога

С. 581

12 — Этот ⟨бедный и⟩ кривоносый

С. 582

21 ⟨на уши своей⟩ лошади

С. 583

4 Какой пронзительный, ⟨противный⟩ ваш голос!

С. 584

10 Я зарыдал ⟨и⟩, припав

С. 585

16 не мог заснуть⟨, но заснул сладко⟩.

С. 589

17 чистый образ, я обману, ⟨обольщу⟩ его?

С. 590

17 жертвы? ⟨Я уже знаю первую, поразившую меня прошлой зимой незнакомую прежде робость.⟩ Если мне

С. 591

29 картинка: ⟨кровать, худоба, пустая комната,⟩ M-me Bertrand

С. 592

2 но ⟨укреплялся⟩ дорогой

С. 596

26 за пример: ⟨верно⟩ память

С. 598

7 Такое своевольство у него

19 мою **милую** Пашу

22 умные люди...

⟨Прощайте; я кончил; больше ничего не случалось со мной до 20 лет. А что̀ было дальше — это другое дело. С этой осени началась для меня совсем новая жизнь.⟩

КОММЕНТАРИИ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1852—1861 ГОДОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Автограф неизвестен.
Датируется 1852 годом (*СС*, IX, 122).
Впервые: *МВ*. 1854. № 6—10. С. 57—104. Подпись: ***.
В *СС* не вошло.
Печатается по первой публикации.

Именно об этой повести Леонтьев, видимо, писал И. С. Тургеневу (письмо не сохранилось) в начале 1852 года, рассчитывая на помощь последнего в ее публикации, поскольку 2 февраля 1852 г. Тургенев отвечал: «Кончайте повесть, о которой Вы говорите мне, или хотя 2 первые главы «Б⟨улавинского⟩ завода». ⟨...⟩ Присылайте ее поскорей — а уж я ее продам выгодно» (*Тургенев. Письма*. Т. 2. М., 1987. С. 119). Позже Леонтьев вспоминал, что «написал повесть в 52-м году скоро и с охотой» и что в том же году «Тургенев поправил в ней кое-что и опять повез в Петербург» (*СС*, IX, 122).

На самом деле все происходило иначе. На Святках в январе 1853 г. Леонтьев гостил у Тургенева в Спасском и тогда передал ему рукопись повести, первоначально называвшейся «Немцы». Об этом Тургенев писал П. В. Анненкову 10 января (*Тургенев. Письма*. Т. 2. С. 182), а на следующий день — А. А. Краевскому: «...у меня был на днях Леонтьев (автор известной Вам комедии) и оставил мне премилую вещь, которую, как только здесь перепишут, — Вы получите. Я ее не отправил к Вам в авторской рукописи, потому что ее бы сам черт не разобрал. Это довольно большая повесть, совершенно цензурная (одно заглавие, может быть, придется переменить — «Немцы»), и я надеюсь, что она произведет эффект» (Там же. С. 183—184). 28 января Тургенев извещает Краевского о посылке повести и присовокупляет свое мнение о

ней: «Я надеюсь, что, по прочтении этой вещи — Вы согласитесь со мною, что немногие так начинали: там, между прочим, есть одно лицо — Цветков, которое заслуживает названия типа — это много» (Там же. С. 194). В письме Анненкову 29 января он называет повесть «необыкновенно замечательной», просит Анненкова прочесть ее и написать свое мнение и высказывает пожелание, чтобы С. С. Дудышкин, который был тогда ближайшим помощником Краевского по изданию «Отечественных записок», «как можно тщательнее подержал корректуру — и вообще следил бы отеческим оком за этою вещью» (Там же. С. 195).

Однако все хлопоты оказались напрасны: петербургская цензура повесть не пропустила, в чем главную роль сыграли цензоры А. Л. Крылов и особенно А. И. Фрейганг, чьи пометы на корректурных листах Краевский потом показывал Леонтьеву (см. СС, IX, 129—131). 14 октября 1853 г. Леонтьев просит Краевского возвратить рукопись «Немцев» (ОР РНБ. Ф. 391. Ед. хр. 482. Л. 3), и Краевский 19 октября пишет: «„Немцев" отправил я к Вам сегодня по тяжелой почте. Нельзя ли их сделать цензурными?» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 153. Л. 1 об.). На что следует ответ: «Сделать же „Немцев" цензурными по-петербургски нет никакой возможности. — Я отдаю их в „Москвитянин"; надеюсь, — между прочим, и на то обещание, которое Вы мне дали в Москве: — отозваться в случае какой-нибудь придирки тем, что Вы не сообщили мне о запрещении моей повести, а просто возвратили мне ее, найдя ее неудобной» (ОР РНБ. Ф. 391. Ед. хр. 482. Л. 5).

Копию повести, предназначавшуюся для «Отечественных записок», Краевский возвратил Леонтьеву, о чем сообщал 9 декабря 1853 г. (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 153. Л. 3). Судьба же автографа остается неизвестной; Тургенев 9 октября 1853 г. писал Леонтьеву: «если хотите, я вышлю Вам рукопись „Немцев", которая находится у меня» (*Тургенев. Письма.* Т. 2. С. 258), но сделал ли он это — мы не знаем.

Дело решилось благодаря посредничеству Е. В. Салиас де Турнемир, которая, вспоминает Леонтьев, «жалела мою повесть; она взяла у меня рукопись и дала ее Каткову. Катков прочел ее и сказал ей так: „Большая зрелость таланта; странно даже, что у такого молодого человека это так не лично и даже равнодушно и несколько холодно. Я надеюсь ее напечатать..."» (СС, IX, 135). В результате повесть была опубликована в литературном отделе «Московских ведомостей» в начале 1854 г.

Сохранились шесть листов большого формата с корректурой неполного текста повести (почти вся вторая глава — первая по-

ловина пятой), находящиеся в ОР ГЛМ (Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1—6 об.). Правка, вероятно, принадлежит Леонтьеву; это отчеркивания на полях, подчеркивания слов и фраз, пометы NB на полях и немногочисленные вычеркивания, замены слов и вставки. На оборотах пятого и шестого листов — автограф Леонтьева, представляющий собой варианты к шестой главе. Судя по надписи, повторяющейся на сдвоенных листах сверху — «Немцы 16 марта 2 я корр.», перед нами текст, готовившийся к печати в «Отечественных записках».

При сравнении данных корректурных листов с публикацией в «Московских ведомостях» выявляется ряд разночтений, не связанных с наличной правкой Леонтьева. Изменения, обнаруживаемые в тексте публикации, могли быть сделаны как автором, так и цензором (например, замена слова «губернатор» словом «начальник») или редакцией.

Разночтения и варианты помещаются нами в соответствующих разделах тома.

Материалом для повести послужили «калужские воспоминания» — лица и события 1844—1849 годов, когда Леонтьев жил в Калуге и учился в гимназии. Подробно о прототипах повести и обстоятельствах того времени он рассказывает в «Моих делах с Тургеневым» (СС, IX, 121—122).

С. 19. *Ангст* — фамилия героя значима; Angst по-немецки — «страх».

С. 21. *Бледно-бланжевый* — бледно-телесного цвета.

С. 23. *...с различными козлами...* — с прыжками, скачка́ми.

С. 30. *...не в тот банчик — в штосик...* — Имеются в виду термины карточной игры: банк, штосс.

С. 33. *Ist er nicht ein flinker Bursch — he?* — А ведь он бойкий парень — а? (*нем.*)

С. 33. *Ja* — Да (*нем.*).

С. 34. *...горячие стихи Шиллера о том пилигриме...* — стихотворение И. К. Ф. Шиллера «Путешественник» (1803).

С. 35. *...об Эпаминонде...* — Эпаминонд (418—362 до н.э.) — древнегреческий полководец и политический деятель.

С. 36. *Die Grenadiere* — «Гренадеры», стихотворение Г. Гейне (1820) из «Книги песен»; немецкий текст здесь приводится не вполне точно; у Гейне: «Die waren in Rußland gefangen».

С. 37. *Кто-то перевел их по-русски...* — Имеется в виду перевод «Гренадеров» М. Н. Катковым, опубликованный в *ОЗ* (1840. Т. VIII) и в «Журнале для чтения воспитанниками воен-

ных учебных заведений» (1840. Т. XXVII). Первая строфа приводится здесь с некоторыми неточностями.

С. 40. *Вертер* — герой романа И. В. Гете «Страдания юного Вертера» (1774); для читателя 1830—1840-х годов входил в ряд характерных образов европейского романтизма; этот ряд здесь и приводит, не без иронии, Л.

С. 40. *Поферлакурить* — поухаживать (от фр. faire la cour)

С. 42. *Неумолкающий треск Дюма, Сю...* — Александр Дюма (Дюма-отец) (1802—1870) — французский писатель; Эжен Сю (1804—1857) — французский писатель, автор романов «Матильда», «Парижские тайны», «Странствующий жид» и др., где эффектные литературные приемы использовались для заострения социальной и моральной проблематики.

С. 42. *Бесцеремонность Польдекока...* — Поль Шарль де Кок (1793—1871) — французский писатель, автор мелодрам, комедий, романов, популярных в средних слоях общества.

С. 44. *Твиновое пальто* — пальто из полушерстяной или хлопчатобумажной ткани типа саржи.

С. 45. *Альмавива* — широкий мужской плащ.

С. 46. *...не имеющие авантажей...* — не имеющие преимуществ (от фр. avantage).

С. 48. *Finis, mon cher ami!..* — Перестань, мой друг!.. (*фр.*)

С. 48. *Finis, mon ange...* — Перестань, мой ангел... (*фр.*)

С. 50. *...проиграл несколько тысяч в палки.* — Палки — вид карточной игры; см.: *Попов Н. А.* Карточные игры в былое время (Из воспоминаний старожила) // *РО*. 1894. Декабрь. С. 915—960); *Полтавцев Ф. П.* Винт и другие коммерческие карточные игры... М., 1896. С. 172—176).

С. 50. *Брандер* — зд.: горячий, энергичный человек (от нем. Brander).

С. 50. *Дерптская отчаянность* — удальство дерптских студентов, во многом перенявших обычаи и нравы германских буршей.

С. 53. *en tête-à-tête* — наедине (*фр.*)

С. 54. *...из «Аскольдовой могилы»: «В старину живали деды...»* — ария Неизвестного из оперы А. Н. Верстовского «Аскольдова могила» (1835), либретто которой было написано М. Н. Загоскиным по мотивам его же одноименной повести.

С. 54. *...несмотря на слово «Аскольд» и на претензии самого Неизвестного.* — Аскольд — киевский князь, убитый ок. 882 г. новгородским князем Олегом; возле его могилы Неизвестный сообщает юному Всеславу, что он правнук Аскольда, и призывает вос-

стать против Святослава, чтобы восстановить в правах древний род Аскольда.

С. 55. *...в Троицын день...* — в праздник Святой Троицы (Пятидесятницу), празднуемый в восьмую неделю по Пасхе.

С. 56. *Шляпа-гречневик* — кучерская шляпа, по форме напоминающая хлебцы из гречневой муки, «столбцы».

С. 58. *grassaiement* — грассированием (*фр.*)

С. 59. *Жженка* — напиток из рома (коньяка) с сахаром, фруктами и пряностями, поджигаемый перед употреблением.

С. 59. *Клико* — сорт шампанского, названный по имени основательницы производящей его фирмы.

С. 61. *Finis donc, mon cher; — tu es fou!* — Прекрати же, дорогой мой — ты дурак! (*фр.*)

С. 66. *Das ist egoistisch!* — Это эгоистично! (*нем.*)

С. 67. *à la Napoleon* — как Наполеон (*фр.*)

НОЧЬ НА ПЧЕЛЬНИКЕ

Автограф неизвестен.

Датируется 1853—1854 гг. (по письмам А. А. Краевскому от 9 сент. 1853 и 25 августа 1854 г.).

Впервые: *МВ*. 1857. № 146. 5 дек. С. 651—653. Подпись: К. Л.

В СС не вошло.

Печатается по первой публикации.

Очерк, в котором отразились впечатления лета, проведенного Леонтьевым в Нижегородской губернии, предназначался для публикации в «Отечественных записках» или «Санкт-Петербургских ведомостях». Авторская датировка его совпадает с датой письма Леонтьева редактору «Отечественных записок» А. А. Краевскому (9 сентября 1853): «Посылаю Вам при этом письме небольшой очерк, который прошу поместить в Вашем журнале, или в петербургских ведомостях, как Вам заблагорассудится ⟨...⟩ Кажется, — цензуре нечего найти в этой вещице предосудительного» (ОР РНБ. Ф. 391. Ед. хр. 482. Л. 1). В следующем письме (14 октября) Леонтьев, напрасно ожидавший публикации своего произведения в октябрьском номере *ОЗ*, просит «уведомить» его о судьбе рукописи. «Я боюсь — не пропала ли моя рукопись на дороге? Потому что допустить запрещение цензурой было бы

совершенно не в порядке вещей! ⟨...⟩ При теперешнем сообщении между Москвой и Петербургом долго томиться неведением слишком обидно. И потому, если ровно через неделю я не получу от Вас никакого известия, то я заключу из этого молчания или, что многочисленность Ваших занятий не позволяет Вам скоро ответить мне, или, что повесть моя совсем не будет напечатана... Во всяком случае на той неделе, я отдам рукопись в Москвитянин ⟨...⟩ попробую поискать счастья здесь, — в Москве» (Л. 2—2 об.)

20 октября Краевский ответил письмом и выслал 50 рублей (эта сумма фигурировала позднее в денежных расчетах Леонтьева с издателем). В этом письме, датированном 19 октября, издатель «Отечественных записок» просил Леонтьева, чтобы он не делал «никакого распоряжения с „Ночью на пчельнике"», обещал непременно опубликовать произведение «в декабрьской книжке» и предупреждал о возможных затруднениях с цензурой из-за упоминания о рекрутчине (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 153. Л. 1). «Очень рад, что „Ночь на Пчельнике" понравилась Вам», — писал Леонтьев 1 ноября (ОР РНБ. Ф. 391. Ед. хр. 482. Л. 4).

9 декабря 1853 г. Краевский сообщил Леонтьеву о цензурном запрещении публикации. «Сбылось то, что̀ я предчувствовал: цензор испугался рекрута-наймиста и запретил «Ночь на пчельнике», говоря, что теперь страшное время для подобных вещей по случаю повсюдных рекрутских наборов и воинственного настроения в высших слоях. Может быть, он и прав с своей точки зрения, но тем не менее мне было это очень неприятно; я спорил с ним, но ничего не взял». Рукопись и корректура, «на которой еще виден карандаш цензора» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 153. Л. 3), были отправлены Леонтьеву.

В августе 1854 г. очерк был переработан «на⟨и⟩цензурнейшим образом» (выражение из письма Краевскому от 25 августа 1854 г.; л. 8), Леонтьев намеревался выслать рукопись сразу по приезде в Кудиново, где она была «забыта». Но и тогда публикация не осуществилась.

В сентябре 1854 г. очерк (в новой редакции), «вероятно, по недоразумению», был послан вместо Краевского Тургеневу. Перед отъездом из Петербурга 17 сентября он «снес» рукопись редактору, «которого, однако, не застал дома — и оставил ее с запиской» (*Тургенев. Письма.* Т. 2. С. 299). 10 октября Тургенев, описывая эпизод с передачей рукописи и высказывая свое мнение о произведении, ошибочно называет его «Лето» (перепутав с повестью

«Лето на хуторе»)[1]: «...Это вещь слишком легкая и малая, чтобы сказать о ней что-нибудь положительного — не дурно, но вы можете не то сделать. Какое-то самодовольство проглядывает в манере, которое не совсем приятно. Впрочем, повторяю, это эскиз, по которому ничего нельзя заключить» (*Тургенев. Письма.* Т. 2. С. 299—300). Ошибка была исправлена Тургеневым в следующем письме (11 февраля 1855 г.): «Я ошибся — сообщая Вам мою критику „Лето на хуторе" — я хотел сказать „Ночь на пчельнике". Вы уже знаете, что и этот очерк запретили» (Там же. Т. 3. С. 14).

Об этом втором запрете Леонтьеву несколько позже, 6 мая 1855 г., писал Краевский: «Рассказ ваш „Ночь на пчельнике" возвращен мне был, давно уже, из Ценз⟨урного⟩ Комитета с замечанием, что из него должно исключить: звание рекрута, сцену в конопляник, разбой и признание в обмане» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 153. Л. 6 об.).

Однако Леонтьев не оставлял надежды напечатать «Ночь на пчельнике»; ему удалось это сделать через два с половиной года. История передачи рукописи в редакцию «Московских ведомостей» в настоящее время не исследована.

С. 73. *...в день Казанской Божией Матери...* — 8 (21) июля.

С. 73. *Лукошник* — торговец, разносчик, коробейник.

С. 73. *...известного баснописца Лафонтена.* — Жан де Лафонтен (1621—1695) — французский писатель.

С. 74. *Затрапезный* — из «затрапезы», грубой дешевой ткани из разноцветных ниток (пестрядинной), названной так по фамилии Затрапезова, владельца выпускавшей эту ткань фабрики.

С. 75. *Нанковый* — из нанки (китайки), хлопчатобумажной ткани.

С. 75. *Сольный охотник* — зд. подставной рекрут; охотник — человек, идущий на что-либо добровольно, сольный — от слова «слать» — посланный (ср.: сольба — посольство).

С. 77. *Порядок* — зд.: ряд домов, одна сторона улицы.

С. 81. *Под силки* — под мышки.

С. 84. *...за домовитого...* — за домового.

---

[1] Эта ошибка была перенесена в «Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева», где сообщается о том, что в сентябре 1854 г. Тургенев получил от Леонтьева «рукопись его повести „Лето"» (Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева (1818—1858). СПб., 1995. С. 269).

ЛЕТО НА ХУТОРЕ

Автограф неизвестен.

Датируется 1852—1854 гг. (по воспоминаниям и письмам Леонтьева).

Впервые: *ОЗ*. 1855. Кн. 5. С. 3—70. Подпись: К. Л. Посвящено Д. Д. Высоцкой.

В *СС* не вошло.

Печатается по первой публикации.

Начало работы над повестью относится к зиме 1852—1853 гг. В начале января 1853 г. Леонтьев гостил у И. С. Тургенева в Спасском. После его отъезда Тургенев в письмах петербургским друзьям (П. В. Анненкову, И. И. Панаеву и Н. А. Некрасову) упоминал не только об оставленной ему рукописи «Немцев», но и о работе молодого писателя над повестью, предназначавшейся для «Современника» (*Тургенев. Письма*. Т. 2. С. 182, 202). «Я ее должен получить в течение нынешнего месяца — и к апрельской книжке надеюсь доставить ее вам» (письмо от 6 февраля. Там же. С. 202).

Работа над повестью оказалась не столь быстрой. 6 марта Тургенев советует Леонтьеву «по мере возможности ⟨...⟩ заняться „Летом на хуторе"» (Там же. С. 212). О том же напоминает он и 9 июня: «Кончите ваше „Лето", отделайте его с любовью, не спеша, и отдайте его в „Отечественные записки". Это будет очень хорошо и полезно, и — как начало — очень для Вас выгодно» (Там же. Т. 2. С. 239—240).

Между тем еще осенью повесть оставалась неоконченной. 1 ноября 1853 г. Леонтьев писал А. А. Краевскому: «Вы пишете еще, что ждете от меня чего-нибудь объемистого. Теперь, до Святок я не буду в состоянии написать ни строки ⟨...⟩ К 1-му же Январю мне самому хотелось бы доставить что-нибудь более дельное. Не хочу обещать ничего наверное; — вдохновение часто зависит от совершенно внешней обстановки; а по заказу я писать не хочу» (ОР РНБ. Ф. 391. Ед. хр. 482. Л. 5).

27 февраля 1854 г. Леонтьев приезжал к Краевскому с тремя главами повести и получил аванс (200 р.). Летом 1854 г. повесть («три главы из нее»; *СС*, IX, 127) была прочитана Тургеневым. 24 августа 1854 г. рукопись была послана в редакцию «Отечественных записок»; на следующий день Леонтьев сообщал Краевскому: «Вчера послал я Вам „Лето на Хуторе". Не знаю наверное, насколько Вы будете им довольны и как поступит с ним цензура,

но, кажется, что со стороны последней опасаться нечего. Самый план ее совершено безобиден» (ОР РНБ. Ф. 391. Ед. хр. 482. Л. 7). В случае невыполнения поставленных им финансовых условий, автор повести намеревался отдать ее в «Современник».

В письме от 10 сентября 1854 г. Краевский обещал постараться напечатать повесть до конца года, «если цензура не поставит каких-нибудь непреодолимых преград», но отказывался заплатить деньги вперед (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 153. Л. 5).

23—24 декабря 1854 г. Леонтьев писал матери: «...Я ничего не знаю о судьбах моего „Лета на хуторе"! ⟨...⟩ не понимаю, что могут найти в ней предосудительного, безнравственного или непристойного» (*СС*, IX, 58). В январе 1855 г. он все еще не получил ответа от Краевского и предполагал, что повесть запрещена (письмо матери от 10 января 1855; *СС*, IX, 164). В действительности к этому времени она еще не проходила цензуры, хотя публикация была намечена Краевским на март (см.: *Тургенев. Письма.* Т. 3. С. 14).

Последнее обстоятельство было объяснено издателем в письме от 6 мая 1855 г.: «Я не смел ранее представлять его [„Лето на хуторе" — *ред.*] в цензуру, потому что не совсем был уверен в его „проходимости"; теперь же цензура, благодаря А. С. Норову, сделалась несколько благоразумнее, и я осмелился пустить в ход „Лето". Конечно, некоторые резкие черты в нем сгладились, особенно там, где дело идет на „клубничку", или где мало-мальски трещит крепостное право: этого не очень-то будут дозволять и при тех преобразованиях, весьма значительных, которые готовятся по цензуре. Но несмотря на это, много прошло такого, что, месяца три назад, никак не появилось бы в печати. И на том спасибо» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 153. Л. 6—6 об.)

Уже в письме Краевскому от 12 декабря 1856 г. Леонтьев называет это произведение плохим (ОР РНБ. Ф. 391. Ед. хр. 482. Л. 14 об.). Позднее он также достаточно резко отзывался о повести (*СС*, IX, 127, 136) и включил ее в разряд произведений, которые он не хотел бы видеть переизданными. «...В ней все фальшиво сначала до конца, кроме некоторых сторон характера девушки Маши, списанной с одной горничной...» (*СС*, IX, 136).

Первый отклик на повесть «Лето на хуторе» появился в газете «Санкт-Петербургские ведомости», издаваемой Краевским. Сюжет повести определен здесь как «истинно поэтическое происшествие». «Нам всегда казалось ⟨...⟩ странным, — замечает рецензент, — уверение в необходимости примешивать горечь ко всему сладкому в жизни, и автор ⟨...⟩ повести держится, кажется,

того же мнения, потому что от его простого рассказа веет тихим, успокоительным чувством, почти идиллиею, насколько идиллия доступна нашему веку. По всему видно, что автор ее пишет еще недавно; но кто *так* начинает, от того литература вправе ожидать чего-нибудь весьма значительного. Есть некоторые обмолвки в языке; но все это с излишком выкупается свежестью и особенною грациею рассказа...» (*СПбВед.* 1855. № 106. 18 мая. С. 2).

Негативный отзыв о повести дан И. И. Панаевым в обзорной статье «Заметки и размышления Нового Поэта по поводу русской журналистики». «Повесть эта из простонародного быта. Героиня ее — красавица Маша, бывшая горничная ⟨...⟩ За Машей ухаживает помещик Непреклонный, и в нее страстно влюблен ⟨...⟩ учитель Иван Павлыч. Перейдя через ревность, сомнения, недоумения и другие ощущения Иван Павлыч женится наконец на Маше. Этим браком оканчивается повесть, занимающая более четырех печатных листов ⟨...⟩ В повести нет ни одного характера, верно и искусно очерченного ⟨...⟩ Автор, вероятно, что-то хотел сказать и своим Непреклонным и своим Иваном Павлычем и своей Машей, но это что-то осталось неуловимым для читателя. Прочитав повесть, скажешь: — все это, может быть, и могло случиться в действительности, но в действительности оно случилось бы не так, как рассказывается автором ⟨...⟩ Во всей этой повести есть что-то искусственное и фальшивое, лишающее читателя всякой возможности принять участие в ее героях ⟨...⟩ Но всего неприятнее подделки под простонародный язык ⟨...⟩ Заключительные слова повести так хитры и замысловаты, что до их смысла не скоро и доберешься ...» (*С.* 1855. Т. LI. Май—июнь. С. 266—268).

Свою оценку произведения Панаев повторил в письме Тургеневу от 1 июля 1855 г. («Твой хваленый студент с повестью „Лето на хуторе" — очень плох. Это, брат, решили мы единогласно. Ты очень слаб к начинающим» // *ЛН*. Т. 73. Кн. 2. Из парижского архива И. С. Тургенева. М., 1964. С. 113). 10 июля Тургенев ответил: «А насчет Леонтьева — точно — вы правы» (*Тургенев. Письма.* Т.3. С. 47). Обсуждение повести тургеневским кругом вызвало появление эпиграммы Тургенева на В. П. Боткина «К нему читатель не спешит...», написанной в Спасском в мае 1855 г. (в «Летописи жизни и творчества И. С. Тургенева» ошибочно отнесено к маю 1854 г.; не упомянут и реальный повод к появлению эпиграммы: резко негативная оценка, данная повести Леонтьева Боткиным, гостившим тогда в имении Тургенева).

Иронично отозвался о повести и обозреватель «Библиотеки для чтения»: «Если вы когда-нибудь живали в деревне, настоя-

щей, привольной деревне, вам наскучит бледный, неестественный экзотический хутор „Отечественных записок". Это какая-то фантастическая, но до крайности однообразная дача» (*БдЧ*. 1855. Т. CXXXII. Июль—август. Отд. VI. С. 12). Автор обозрения высмеивает погрешности в языке повести, подчеркивает неестественность всех ее персонажей, а также особое пристрастие начинающего писателя к «психологизму». «...Михайло Григорьев, — лицо весьма интересное и действительно существующее в нашем народном быту, но весьма странно и весьма неверно изображенное автором ⟨...⟩ Маша — величайший аналитик и говорит почти стихами, а не прозой ⟨...⟩ учитель-аналитик, не бывший даже в университете, но читающий Горация и Ювенала ⟨...⟩ лежа на траве под дубом ⟨...⟩ какой-то дэнди — кажется — литератор ⟨...⟩ Все эти лица — психологи pur sang, то и дело анализируют друг друга, не исключая жены скотника...» (Там же. С. 12—13).

С. 87. *...с... дикими... разводами...* — «дикого», т. е. серо-голубого или пепельного цвета.

С. 87. *...поярковую шляпу...* — из шерсти поярка, молодой овцы.

С. 87. *Карпетка* — носок.

С. 87. *Ловлас* (Ловелас) — ставшее нарицательным имя героя романа «Кларисса» английского писателя Сэмюэла Ричардсона (1689—1761).

С. 87. *Холстинка* — полосатая или клетчатая хлопчатобумажная ткань.

С. 89. *...красную депозитку...* — 10 рублей в депозитном билете; бумажные деньги в виде расписки от государственного казначейства за взнос монетой.

С. 90. *Каток* — зд.: портняжный стол.

С. 93. *Quelle charmante enfant!* — Какое прелестное дитя (*фр.*).

С. 94. *...после Святой...* — после пасхальной недели.

С. 97. *Охаверник* — в рязанских, московских и др. говорах — озорник, нахал и т. п.

С. 104. *...роль наблюдателя...* — имеется в виду «наблюдение» народных нравов.

С. 106. *Декохт* — искаженное «декокт», лекарственное питье.

С. 107. *...сцены из «Ермака», «Кавказского Пленника»...* — гравюры-иллюстрации к думе К. Ф. Рылеева «Смерть Ермака» (1821), ставшей народной песней, и поэме А. С. Пушкина (1820).

С. 112. *Надворье* — двор около дома.

С. 114. *Ферт* — франт, щеголь; зд.: кавалер.

С. 114. *Арапник* — длинная плеть или кнут для псовой охоты.

С. 115. *Фуляр* — платок из тонкой шелковой ткани (от фр. foulard).

С. 115. *Pardon!* — Простите! (*фр.*)

С. 115. *Вакант* — каникулы (от лат. vacans, пустующий, свободный).

С. 116. *Горлач* — кринка, узкогорлый кувшин для молока.

С. 118. *Mais ne jugez pas l'arbre d'après l'écorce!* — Но не судите о дереве по коре! (*фр.*)

С. 118. *mon cher m-r* — мой дорогой господин (*фр.*)

С. 118. *Протей* — в греческой мифологии сын Посейдона, способный принимать облик различных существ.

С. 125. *Твоя краса меня сгубила...* — неточная цитата из стихотворения Н. Анордиста (Николая Радостина) «Тройка» («Гремит звонок, и тройка мчится...», 1840), положенного на музыку А. Ф. Львовым, а позднее П. П. Булаховым. В песенниках печаталось, начиная с 1855 г. (часто начиналось со второй строфы — «Вот впереди село большое...»).

С. 125. *Разве я зверобой...* — возможно, шутка Василькова напоминает о популярном в те годы романе Д. Ф. Купера «Зверобой» (1841).

С. 126. *Межник* — межа, полоса между двумя полями.

С. 127. *...в крашенине...* — в одежде из крашеного, чаще всего синего, холста.

С. 134. *...«ради рома и арака»...* — «цензурный» вариант строки стихотворения Д. В. Давыдова «Бурцову. Призывание на пунш» (1804) «Ради Бога... и арака» (см.: *Давыдов Д. В.* Сочинения. СПб., 1848. С. 11). В таком же виде вошло в песенники. См., напр.: Русский песенник, или собрание лучших и любимых песен, романсов и водевильных куплетов известных писателей, изд. К. Авдеевой. Ч. 1. СПб., 1848. С. 198.

С. 146. *...неприличного мовежанра* — человека с дурными манерами (от фр. mauvais genre).

С. 146. *В понедельник я влюбился...* — известная с XVIII в. песня на стихи неизвестного автора «Журнал любви».

С. 163. *Вакационное время* — каникулы.

С. 163. *Агрикола, Урбан, Арета* — эти имена можно перевести как Селянин (от греч. ἀγροικος, деревенский), Горожанин (от лат. urbs, город) и Добродетельная (от греч. ἀρετή, добродетель, совершенство).

ТРУДНЫЕ ДНИ

Автограф неизвестен.

Датируется 1855—1857 гг. по письмам А. А. Краевскому и И. С. Тургеневу.

Впервые: *ОЗ*. 1858. Кн. 9. С. 105—158. Подпись: К. Н. Л-ъ.

В СС не вошло.

Печатается по первой публикации.

«Трудные дни» — вторая пьеса Леонтьева (комедия «Женитьба по любви» утрачена). В его несохранившемся письме Тургеневу начала 1855 г. сообщалось о работе над пьесой. 11 февраля Тургенев отвечал: «Драмы вашей буду ждать», а также обещал сделать для нее «все возможное» (*Тургенев. Письма*. Т. 3. С. 14). Еще одно упоминание об этом произведении встречается в письме Леонтьева Краевскому от 13 июля 1855 г.: «У меня с зимы еще лежит готовая драма в чемодане; да ее все оставлял вчерне, потому что не был ею доволен как-то» (ОР РНБ. Ф. 391. Ед. хр. 482. Л. 10). 6 марта 1856 г. Леонтьев писал матери: «...У меня есть 2 небольшие литературные работы; повесть ⟨...⟩ и драма, которой 2-ое действие совсем даже переписано и было приготовлено для отправки Краевскому, как залог для получения вперед денег...» (СС, IX, 180).[1]

В мае пьеса упоминается в письмах матери как еще не законченная (ОР ГЛМ. Ф 196. Ед.хр. 54. Л. 24, 27). В письме от 24 июня сообщаются новые подробности: «Я закончил все сцены комедии, осталось исправить лишь 2—3. С сегодняшнего дня отдам ее переписывать лучшему чем я сам каллиграфу» (Там же. Л. 27—28).[2]

К осени пьеса была готова, однако автор сразу задумался об ее исправлении. «Моя комедия закончена; — писал он матери 5 сентября, — я только жду своего приезда в Симферополь, чтобы отослать ее, но на некоторых условиях. Я хочу отдать ее в печать только после нового года, чтобы иметь время переделать еще кое-что» (Там же. Л. 33).

В сентябре 1856 г. комедия была послана Краевскому через В. Н. Леонтьева.

---

[1] В мае, однако, Леонтьев решает послать драму не Краевскому, а Каткову (ОР ГЛМ. Ф. 196. Ед. хр. 54. Л. 24).

[2] Перевод с франц. Е. Л. Яценко.

Первоначально пьеса была четырехактной; по мнению автора, ей недоставало «середины, постепенности в силе столкновений интересов, необходимой для полноты дела» (ОР РНБ. Ф 391. Ед. хр. 482. Л. 12); в связи с этим Леонтьев просил Краевского отложить публикацию до января 1857 г. «Мне кажется, — писал он 22 сентября из Симферополя, — что выгода в усовершенствовании пьесы должна быть для нас общая; — мне бы хотелось сделать ее более сценическою, а принадлежать она будет Вам во всяком случае...» (Там же). Ответ Краевского на это письмо не сохранился (о том, что он существовал, свидетельствует помета Краевского на письме), а возможно, не был получен адресатом. Следующее свое письмо (12 декабря) Леонтьев писал, не зная даже, находится ли его пьеса у Краевского. Между тем, в левом верхнем углу первой страницы этого письма есть зачеркнутая надпись последнего: «Трудные дни возвр⟨ащены⟩ 26 октября 1856» (Там же. Л. 13).

В декабре 1856 г., живя в имении И. Н. Шатилова, Леонтьев решил переделать комедию в пятиактную, написав центральный (сейчас 3-й) акт и изменив два последних. Для этого он просил Краевского вернуть рукопись (черновики были, по обыкновению, уничтожены им). «Если вещь пропала, будет неприятно, так как существуют только отрывки черновые, а она у меня вдруг созрела в большем виде, так что может даже и на сцену быть годна. — Если же по счастью, она передана Вам, то, пожалоста, не печатайте ее не только в январе, но и вовсе до тех пор пока я Вам не доставлю середнего действия, которого по-моему недостает» (Там же. Л. 13 об.). Намерение было исполнено, очевидно, в следующем году (на письме есть помета Краевского: «Отв⟨ет⟩ 13 янв⟨аря⟩ 1857» (Там же. Л. 13), однако при публикации была сохранена датировка первой редакции — 1856 г.

В 1858 г. И. А. Гончаров, бывший членом театрально-литературного комитета, предлагал поставить пьесу. Об этом рассказывал Леонтьеву Тургенев (письмо от 1 января 1859 г.): «...Что касается до Вашей комедии, то поставить ее на театре нет никакой надежды. Гончаров, которому она понравилась, рекомендовал ее еще в сентябре актерам — но она была отвергнута, как несценичная вещь, в чем, я полагаю, они были правы. Это тонкая и изящная повесть в драматической форме — а не комедия. Следовательно, на это надеяться нельзя» (*Тургенев. Письма.* Т. 4. С. 7).

У одного из учеников Леонтьева (А. А. Александрова) хранился оттиск комедии с пометами и правкой автора; в настоящее время местонахождение этого экземпляра неизвестно. В кандидат-

ском сочинении студента Московской Духовной Академии В. Боброва (1916) приведена помета на первой странице оттиска: „Писано в 58—57 году / в Москве и у Розенов / Отеч. Записки 1860?»[3] Здесь, как это часто бывало с Леонтьевым, даты создания и публикации произведения смещены на 2 года.

С. 167. *au fond* — в сущности (*фр.*)

С. 167. *protégé* — протеже (*фр.*)

С. 168. *Пу-де-суа* — pou-de-soie, pout-de-soie (*фр.*); платье из гладкого шелка без блеска; этимология этого слова не вполне ясна, подробнее см.: Grand dictionaire universel du XIX siècle / Par P. Larusse. T. 12. P. 1528.

С. 168. *Alexandrine!* — Александрин!

С. 169. *Infame!* — Бесчестная! (*фр.*)

С. 170. *Ma tante, ma tante!..* — Тетушка, тетушка!.. (*фр.*)

С. 170. *distingué* — изысканная (*фр.*)

С. 171. *Bourgogne* — бургундского вина (*фр.*)

С. 171. *mon ange* — мой ангел (*фр.*)

С. 171. *Madame...* — Судырыня... (*фр.*)

С. 172. *m-lle Olga* — мадемуазель Ольга

С. 172. *charmant garçon* — прелестный молодой человек (*фр.*)

С. 174. *Vieux mauvais sujet!* — Дрянной старикашка! (*фр.*)

С. 174. *Alexis!* — Алексис!

С. 174. *Panne* — сорт табака.

С. 175. *savoir-vivre* — уменья жить (*фр.*)

С. 175. *Вохлак* (вахлак) — грубый, неотесанный человек.

С. 175. *mouvais-genre* — дурной тон (*фр.*)

С. 176. *Проходец* — проныра, пройдоха.

С. 176. *c'est vous?* — это вы? (*фр.*)

С. 176. *c'est moi!* — это я! (*фр.*)

С. 178. *mesdames* — сударыни (фр.)

С. 179. *Пью за здравие Мери...* — романс на слова стихотворения А. С. Пушкина «Из Barry Cornwall» (1830).

С. 179. *«Там, где море вечно плещет».* — романс на слова стихотворения Пушкина «Талисман» (1827). Упоминание об этом романсе вводит тему измены; ср.: «Но когда коварны очи / Очаруют вдруг тебя, / Иль уста во мраке ночи / Поцелуют не

---

[3] *Добров В.* Религиозно-этические взгляды К. Н. Леонтьева. [Машинопись]. 1916. С. X. (Библиотека МДА). Указано Г. Б. Кремневым.

любя — / Милый друг! от преступленья, / От сердечных новых ран, / От измены, от забвенья / Сохранит мой талисман!».

С. 180. *ma chère amie* — дружок (*фр.*)

С. 180. *ma chère* — моя дорогая (*фр.*)

С. 181. *grande maman* — бабушка (*фр.*)

С. 182. *Serge* — Серж

С. 183. *merci* — спасибо (*фр.*)

С. 184. *chère enfant* — дорогое дитя (*фр.*)

С. 184. *mon petit frère* — братец (*фр.*)

С. 186. *...из правоведения...* — см. прим. на с. 670.

С. 187. *mèsalliance* — мезальянс, неравный брак (*фр.*)

С. 188. *Mille pardons!* — Тысяча извинений! (*фр.*)

С. 189. *...à la guêrre играть...* — в войну (*фр.*) играть.

С. 191. *Nadine* — Надин

С. 194. *comme-il-faut* — приличный (*фр.*)

С. 194. *M-lle* — Мадемуазель (*фр.*)

С. 197. *Гроссфатер* — старинный шуточный немецкий танец, исполнявшийся в конце праздников (от нем. Großfater, дедушка).

С. 197. *Attends, vieux roué!* — Погоди, старый плут! (*фр.*)

С. 199. *Woldemar* — Вольдемар

С. 208. *Chevalier de la triste figure* — рыцарь печального образа (*фр.*).

С. 209. *gris-de-fêr* — стального цвета (*фр.*)

С. 209. *Трансстеверинец* — буквально: житель окраины Рима, находящейся за Тибром.

С. 212. *Vôtre très-humble serviteur, mesdames* — Ваш покорный слуга, сударыни (фр.).

С. 212. *...наделала различные конфиденции...* — доверилась, открылась.

С. 212. *«avec plaisir»* — с удовольствием (*фр.*)

С. 214. *Кабаль* — заговор, сговор (от фр. cabale).

С. 214. *Monsieur!* — Сударь! (*фр.*)

С. 217. *Картель* — вызов на поединок (от фр. cartel).

С. 218. *Трико* — шерстяная ткань для верхней одежды.

С. 219. *châtain* — шатен (фр.)

С. 219. *à l'anglaise* — в английском стиле (фр.)

С. 220. *Pardon, pardon!* — Простите, простите! (фр.)

С. 223. *Бреттер* (бретер) — заядлый дуэлянт (от фр. bretteur).

СУТКИ В АУЛЕ БИЮК-ДОРТЭ

Автограф неизвестен.

Начато ок. 1856, завершено 15 января 1858 г.

Впервые: *ОЗ*. 1858. Кн. 7. С. 221—252. Подпись: К. Л-въ. В СС не вошло.

Печатается по первой публикации.

Вероятно, первым упоминанием об этом произведении можно считать фразу из письма Леонтьева А. А. Краевскому от 22 сентября 1856 г.: «...Я пошлю Вам небольшой очерк или отрывок из предполагаемого романа ⟨...⟩ Очерк готов, только не переписан...» (ОР РНБ. Ф. 391. Ед. хр. 482. Л. 12 об.). В другом письме (от 12 декабря того же года) упоминается и находящийся у Краевского отрывок из будущего романа «Подлипки» (две первые главы), но его Леонтьев едва ли мог назвать очерком, следовательно, осенью речь шла о другом тексте.

В письме матери от 6 марта 1856 г., как и в сентябрьском письме Краевскому, говорится о драме («Трудные дни») и беллетристическом произведении (в данном случае — повести), над которыми Леонтьев работал одновременно. Вначале он намеревался окончить и послать в «Отечественные записки» первую половину пьесы, но, узнав от матери, что ей «нужны деньги для уплаты 75 руб.», Леонтьев «предпочел посвятить еще неделю окончанию повести, так как тогда деньги будут верные» (*СС*, IX, 180). Сообщая матери в письме от 24 июня 1856 г. о том, что отдал переписчику свою комедию, Леонтьев добавил: «Сам я переписываю другой кусок, не драматический, впрочем, очень легко написанный, но который я мало ценю, так как он немного в юмористическом жанре» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Ед. хр. 54. Л. 28 об.).[1] Возможно, во всех этих письмах речь идет об одном и том же произведении — очерке «Сутки в ауле Биюк-Дортэ». Первоначально этот отрывок мог быть послан Каткову (в письмах к матери говорится о посланной ему осенью 1856 г. рукописи) и лишь после его отказа был продан Краевскому.

В очерке отразились крымские впечатления Леонтьева: воспоминания о службе в Керчь-Еникальском и Феодосийском военных госпиталях (1854—1855), о сдаче Керчи русскими войсками, рассказах о последних днях обороны Севастополя. Действие происходит в августе 1855 года.

---

[1] Перевод с франц. Е. Л. Яценко.

Финал произведения позволяет предположить, что оно могло быть частью большого замысла, связанного с Крымской войной, возможно, романа «Война и Юг» (см. о нем: «Сдача Керчи в 1855 году»; СС, IX, 214).

С. 228. *Десятина* — мера измерения площади; зд., вероятно, имеется в виду «казенная десятина» — 2400 кв. сажен.

С. 229. *Марушек* — жен (*татар.*).

С. 230. *Рославлев, Леонид* — герои популярных исторических романов Михаила Николаевича Загоскина (1789—1852) («Рославлев, или Русские в 1812 году», 1831) и Рафаила Михайловича Зотова (1795—1871) («Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона», 1832).

С. 231. *...погончики и петлички...* — возможно, скрытая цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»; ср.: «А форменные есть отлички: / В мундирах выпушки, погончики, петлички» (Д. III. Явл. 12).

С. 231. *belle de nuits* — цветы чудоцвета (ялапы), растения семейства вьюнковых (фр.)

С. 232. *...канаусовую рубашку...* — из канауса, шелковой ткани.

С. 232. *d'un bon gentilhomme* — порядочного человека (*фр.*)

С. 232. *...читает Апостол...* — т. е. Деяния и Послания свв. Апостолов, читаемые за Литургией (в том числе и мірянами).

С. 234. *...Руфью Вооза...* — моавитянка Руфь и второй ее муж Вооз — прабабка и прадед царя Давида; эпизод с собиранием колосьев см.: Руфь, 2: 1-23.

С. 234. *Les enfans et les pauvres sont mes amis!* — Дети и бедняки — мои друзья! (*фр.*).

С. 234. *Кичка* — нарядный головной убор замужних крестьянок.

С. 234. *Князь Меншиков поехал в Константинополь.* — Речь идет о чрезвычайной дипломатической миссии в феврале 1853 г., возглавляемой генералом-адъютантом князем Александром Сергеевичем Меншиковым (1787—1869).

С. 235. *Наполеон* — Наполеон III (Шарль Луи Наполеон Бонапарт) (1808—1873) — французский император (1852—1870).

С. 235. *Донцы* — донские казаки.

С. 235. *...Гоги и Магоги Апокалипсиса...* — народы и царства, которые во времена Антихриста восстанут против христиан.

С. 236. *Сент-Арно рискнул...* — Жак Ашиль Леруа де Сент-Арно (1796—1854) — маршал Франции, командовавший фран-

цузской восточной армией во время Восточной войны; речь идет о событиях 1854 г.: в апреле из Марселя была отправлена первая дивизия восточной армии, в июле начались боевые действия на Дунае.

С. 236. *Мне хочется сказать великому народу...* — цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Последнее новоселье» (1841).

С. 236. *...о тяжкой битве при Альме...* — сражение 7—8 сентября 1854 г., в котором русские потерпели поражение, потеряв убитыми ок. 5700 человек.

С. 239. *bon vivant* — человек, живущий в свое удовольствие (*фр.*)

С. 239. *mon cher* — мой дорогой (*фр.*)

С. 241. *Лубки* — кора, подложенная под тес кровли.

С. 242. *Brune ou blonde?* — брюнетка или блондинка? (*фр.*)

С. 243. *Донец-офицер* — офицер Донского полка (12 мая 1855 г. Л. был прикомандирован к 65 Донскому казачьему полку).

С. 243. *Хрулев* Степан Александрович (1807—1870), генерал; в декабре 1854 г. назначен состоять в распоряжении главнокомандующего сухопутными и морскими силами в Крыму; командир юго-восточного участка обороны Севастополя в 1855 г.

С. 245. *Как Гоголь-то устарел!* — Имеется в виду изображение чиновников в «Ревизоре» и «Мертвых душах».

С. 245. *Так тяжкий млат...* — цитата из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828).

С. 246. *sauve qui peut* — спасайся кто может (*фр.*)

С. 246. *chacun pour soi et Dieu pour tous* — каждый за себя и Бог за всех (*фр.*)

С. 246. «*Lelia*» — роман Ж. Санд «Лелия» (1833; 1839), запрещенный русской цензурой к распространению в России.

С. 246. «*Le Lys dans la Vallée*» — «Лилия в долине», роман О. де Бальзака (1835).

С. 246. *Théophile Lavallée* — Теофиль Лавалле (1804—1866), французский географ и историк, автор «Истории Франции» (1838—1841).

С. 246. *...«Жирондистов» Ламартина...* — «История жирондистов» (1847), книга Альфонса де Пре де Ламартина (1790—1869), французского писателя и политического деятеля. Жирондисты (от названия департамента Жиронда) — политическая партия, объединявшая «умеренных» участников Французской революции.

С. 247. *...allons, courage...* — ну, смелей (*фр.*); возможно, цитата из популярной песни времен Крымской войны на слова В. П. Алферьева («Вот в воинственном азарте...», 1854; музыка К. П. Вильбоа). Ср.: «Вдохновен его отвагой, / И француз за ним туда ж, / Машет дядюшкиной шпагой / И кричит: «Allons! courage!» (Песни русских поэтов (XVIII — первой половины XIX века). М., 1936. С. 540). Эти стихи «пелись и читались повсюду, потом забылись» (*Штакеншнейдер Е. А.* Дневник и записки (1854—1886). М.;Л., 1934. С. 33). См. также: *Венгеров С. А.* Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. I. СПб, 1889. С. 441—442.

С. 250. *un air piquant* — острый, резкий воздух (*фр.*)

С. 251. *Crematum* — обжигающее (*лат.*)

С. 251. *Cremati simplicis* — обжигающего простого (*лат.*); обыгрывание латинской фармацевтической формулы (имеется в виду медицинский спирт).

С. 251. *Гарниза* — служащий в гарнизоне.

С. 251. *Гидатиды* — пузырчатые глисты.

С. 251. *acephaloeystes* — безголовые (*греч.*)

С. 252. *Начет* — недостаток чего-либо, обнаруживающийся при проверке, ревизии.

С. 252. *Завалы* — засорение в сосудах, с опухолью и отвердением; напр., завал печени.

С. 253. *...из риторики: «бледнеет галл, дрожит сармат»...* — цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов» (1812), использованная как пример синекдохи в «Общей реторике» Н. Кошанского (9-е изд. СПб., 1844. С. 89).

С. 254. *Альгидный период* — период крайнего обезвоживания при холере.

С. 254. *La donna immobile* — «Женщина изменчива...» (*ит.*); начало арии Герцога из оперы Дж. Верди«Риголетто» (1851).

С. 255. *...об Излере* — Иван Иванович Излер (1811—1877) — содержатель увеселительного сада и ресторана «Минеральные воды» в Новой деревне в Петербурге.

С. 256. *Генерал Желтухин* — вероятно, Владимир Петрович Желтухин (1798—1878), генерал от инфантерии.

С. 257. *...был зачичкан...* — был хилым, худым; от «зачичкать» (курск.) — съежиться, похудеть.

С. 257. *...по четверкам* — по четвергам (четверткам); ср.: с. 239.

С. 258. *Зуав* — солдат или офицер французских колониальных войск, организованных в 1830-е гг. в Северной Африке из коренного населения и добровольцев французов.

С. 258. *Костюм пластуна* — казачья военная форма; пластун — пеший казак-застрельщик, подстерегающий противника и скрытно подползающий к нему.

С. 260. *Штафирка, чинищев* — пренебрежительные прозвища, даваемые штатским военными.

С. 261. *...на лезвее...* — устар. форма (от имен. пад. «лезвеё»); ср. у А. А. Блока в стихотворении «Русь»: «И девушка на злого друга / Ночами точит лезвее».

С. 261. *«На Тя, Господи, уповахом...»* — цитата из гимна св. Амвросия Медиоланского «Тебе Бога хвалим...».

С. 262. *«du choce des opinions jaillit la verité»* — из столкновений мнений рождается истина (*фр.*)

ВТОРОЙ БРАК

Автограф неизвестен.

Датируется: 1860 г. по авторской датировке в журнальной публикации.

Впервые: *БдЧ*. 1860. Кн. IV.С. 1—74. Подпись: К. Леонтьев.

В СС не вошло.

Печатается по первой публикации.

В письме к Л. от 16 февраля 1860 года И. С. Тургенев, признавая некоторые литературные достоинства повести, находит в ней в результате «что-то холодное, бескровное и бледное» и высказывает сомнение — «художник ли» ее автор (*Тургенев. Письма*. Т. 4. С. 162). Тем не менее, он передает повесть в «Библиотеку для чтения» (Там же. С. 177), и уже после публикации ее, 21 сентября 1860 г., уведомляет Л.: «Я позволил себе устранить несколько психологических изящных штучек из Вашей повести, напечатанной в „Библиотеке для чтения"; надеюсь, что Вы не попеняли на меня за это» (Там же. С. 243).

С. 269. *...за parler-français...* — зд.: за уменье говорить по-французски.

С. 272. *...не без дендизма...* — Здесь слово «дендизм» (англ. dandyism) употреблено как распространенное тогда обозначение щегольства; входя в русскую дворянскую культуру в начале XIX в., это понятие имело более сложное содержание, связанное с его английскими истоками. Начиная с пушкинской эпохи, пред-

ставление о денди подразумевало соединение старого аристократизма с новым индивидуализмом, что заостренно (и не без вызова) выражалось в общем стиле жизни и поведении личности. Реальным воплощением (и отчасти символом) дендизма стал Джордж Браммел (1788—1840), друг Байрона и принца Уэльского; литературным воплощением стало изображение Браммела в романе Э. Д. Булвер-Литтона «Пелэм, или Приключения джентльмена» (1828). В свете такого представления воспринимался современниками, в частности, П. Я. Чаадаев (см.: *Жихарев М. И.* Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. М., 1989; здесь же приводится характерное мнение графа Поццо ди Борго). Наконец, завершающие штрихи в традицию дендизма, уже в пору неизбежного его упадка, внес Ж. А. Барбе д'Оревильи (1808—1889) — и как общественный деятель, и как писатель (см.: *Barbey d'Aurevilly J.* Du dandysm et de George Brummell, 1845; Le chevalier des Touches, 1864 и др.). Леонтьев оказывается чрезвычайно близок к нему во многих политических, моральных, эстетических установках, и дендизм рано становится для него важной жизненной и творческой темой.

С. 273. *Vous êtes chose!* — Ну, вы и штучка! (*фр.*)

С. 275. *Chose* — штучка (*фр.*).

С. 276. *...с хозяйскими толпегами* — в Орловской губернии толпегой называли бестолкового, неотесанного человека.

С. 277. *...lass uns Tee geben! Geschwind!* — дай нам чаю! Побыстрее! (*нем.*).

С. 277. *Ловчак* — в Тульской и Нижегородской губерниях так называли ловкого, бойкого человека.

С. 278. *Schenken und logiren* — правильнее: logieren; угощайтесь и располагайтесь (*нем.*)

С. 283. *...праздник венков в Троицын день...* — согласно народному обычаю до Троицына дня сохраняли венки, сплетенные в Семик (четверг на седьмой неделе по Пасхе), с тем, чтобы гадать по ним и расплетать их на Троицу.

С. 286. *...«чудо, совершенное светом»...* — неточная цитата из VI главы повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба».

С. 287. *...на балы к тосканскому герцогу.* — Вероятно, имеется в виду великий герцог тосканский Леопольд II, Иоганн-Йозеф-Франц-Фердинанд-Карл (1797—1870).

С. 289. *Гайдн* — Франц Йозеф Гайдн (1732—1809) — австрийский композитор; с восьми лет пел в капелле собора св. Стефана в Вене; церковным органистом он не был.

С. 289. *Моцарт* — Вольфганг Амадей Моцарт (1756—1791) — австрийский композитор; первые его сочинения относятся к 1761 году.

С. 289. *Россини* — Джоаккино Россини (1792—1868) — итальянский композитор; очень рано выступал в качестве хорового дирижера и концертмейстера.

С. 289. *Чимароза* — Доменико Чимароза (1749—1801) — итальянский композитор; первую оперу «Причуды графа» сочинил в 1772 г., в двадцатитрехлетнем возрасте; лучшую свою оперу «Тайный брак» создал в 1792 г., когда ему было 43 года.

С. 289. *Посмотрел Вебера...* — Карл Мария фон Вебер (1786—1826) — немецкий композитор, дирижер, пианист; опера «Вольный стрелок» была поставлена в 1821 г., опера «Оберон» — в 1826 г.

С. 290. *Никогда не приходило ему ясно в голову — залог оригинальности.* — В этом суждении о герое уже проступает взгляд Л. на самого себя, на свое положение в литературно-общественной сфере.

С. 292. *Je dine aujourd'hui chez vous!* — Сегодня я обедаю у вас! (*фр.*)

С. 292. *Chère Marie* — Дорогая Мари (*фр.*)

С. 293. *roué* — плут, пройдоха (*фр.*)

С. 294. *polarité* — полярность (*фр.*)

С. 294. *Mais savez vous, qu'il a raison!* — А вы знаете, он рассудителен! (*фр.*)

С. 295. *Oui, monsieur!* — Да, сударь! (*фр.*)

С. 295. *cousin* — кузеном (*фр.*)

С. 300. *Мальпост* — почтовая карета.

С. 302. *Ch. de Bernard* — Шарль де Бернар (1804—1850) — французский писатель.

С. 303. *faire tapisserie* — оставаться лишь зрителем (на бале); буквально: заниматься обоями (*фр.*).

С. 304. *...прелестное стихотворение Гете...* — имеется в виду восьмая «Римская элегия» ("Wenn du mir sagst, du habest..."). «Ежели ты говоришь, что ребенком не нравилась людям...» (пер. С. Шервинского). См.: Гете. Избранная лирика. М.; Л.: Academia, 1933. С. 128.

С. 304. *Ведь полюбил у Стерна добрый Трим...* — Речь идет о герое романа английского писателя Лоренса Стерна (1714—1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760—1767).

С. 304. *...вроде Berquin!* — Арно Беркен (1747—1791) — французский писатель, автор книги «Друг детей» и др.

С. 305. *...любил той странною любовью Лермонтова...* — Подразумевается выражение из стихотворения Лермонтова «Родина» (1841): «Люблю отчизну я, но странною любовью!».

С. 307. *Vous êtes trés savant...* — Вы очень сведущи (*фр.*).

С. 309. *Vitelliùs* — Vitellius-Aulus Germanicus (Вителлий) (15—69) — римский император.

С. 309. *Marc Aurèle* — Marcus Aurelius Antoninus (Марк Аврелий Антонин) (121—180) — римский император-философ.

С. 309. *Philosophe* — философ (фр.).

С. 309. *Cela sera une nature saine!* — Это будет здоровая натура! (*фр.*)

С. 315. *Занд хотела разрушить семейство и общественный порядок!* — Имеется в виду распространенное и в значительной степени вульгаризированное представление о взглядах и деятельности французской писательницы Жорж Санд (Авроры Дюпен-Дюдеван, 1804—1876).

С. 322. *parties de plaisir* — прогулки (*фр.*)

С. 323. *bon enfant* — добрый малый (*фр.*)

ПОДЛИПКИ

Автограф неизвестен.

Датируется 1852 или 1853—1861 г. на основании указаний Л. (*СС*, IX, 127) и упоминаний Тургенева (*Тургенев. Письма*. Т. 4. С. 30, 177).

Впервые: *ОЗ*. 1861. Т. CXXXVIII. С. 1—92; 319—374. Т. CXXXIX. С. 1—78.

Подпись: К. Леонтьев.

Вошло в *СС* (Т. I. С. 1—262).

Переиздавалась: *Леонтьев К.* Египетский голубь. М., 1991.

Печатается по тексту *СС* с поправками по *ОЗ*.

Леонтьев вспоминал: «...в 52-м или 53-м году я написал отрывок «Зимнее утро в помещичьей опустелой усадьбе»; он со временем стал 1-ой главой моего большого романа «Подлипки» (*СС*, IX, 127). Атмосфера изображенной в романе усадьбы, некоторые лица «Подлипок» имеют несомненное сходство с тем, что застал Леонтьев в 1851—1852 годах в имении своего дяди В. П. Караба-

нова Спасском-Телепневе, находившемся в Смоленской губернии недалеко от Вязьмы. О жизни в этом имении Леонтьев рассказывает позже (СС, IX, 47—51) совершенно в той же тональности, в которой Ладнев вспоминает о жизни в Подлипках.

Писал Леонтьев «первое письмо „Подлипок" с восторгом, с жаром утром, и в тот же вечер прочел это описание зимы в деревне у мадам Тур. Выслушав, она воскликнула: „Quel magnifique tableau du genre! Самые лучшие из русских поэтов подписали бы под этим свое имя!"» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 28 об.).

6 мая 1855 г. А. А. Краевский писал Леонтьеву: «И. С. Тургенев сообщил мне, как я полагаю, начало повести „Подлипки" — вещь, очень мне нравящуюся. Что вы намерены делать с этими двумя письмами? Будет ли к ним продолжение и составится ли что-нибудь целое? Хорошо, если бы составилось? ⟨...⟩ Пожалуйста, улучайте для литературы время от Ваших треволнений по службе. Вы должны работать для литературы. Бога ради не покидайте ее» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 153. Л. 7).

Видимо, эти «два письма» вскоре были переданы Краевскому, но работу над романом Леонтьев пока не продолжал. 12 декабря 1856 года он писал Краевскому из Тамака: «В залог до февраля останутся у вас 2 первые действия, да 2 главы „Подлипок", которые я не продолжал как следует, вследствие новых соображений» (ОР РНБ. Ф. 391. Ед. хр. 482. Л. 14).

Пребывание Леонтьева с весны 1858 года в имении баронов Розенов в Арзамасском уезде Нижегородской губернии повлияло на ход работы над романом и дало для него много ярких впечатлений, как это явствует из писем к Леонтьеву баронессы М. Ф. Розен (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 214. Л. 4 об., 16). В «Хронологии моей жизни» Леонтьев отмечает под 1859 годом: «NB. Пишу в этом году и в следующем „Подлипки"» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1006. Л. 2).

Весной 1859 года роман был, вероятно, близок к завершению, поскольку Тургенев, явно откликаясь на какое-то сообщение Леонтьева, предлагает выслать «Подлипки» в Петербург (*Тургенев. Письма.* Т. 4. С. 30). Однако тогда он их не получил и в письме к Леонтьеву от 23 марта 1860 года просит привезти роман, но, как выясняется из тургеневского письма, в сентябре 1860 года Леонтьев еще продолжает работать над романом, который, между тем, был уже прочитан С. С. Дудышкину и им одобрен (Там же. С. 243). Благожелательное отношение не помешало последнему высказать и достаточно критичные суждения в письме к Леонтьеву от 20 октября 1859 года:

«Внимательно читал я ваши „Подлипки", очень внимательно. Понимаю главную идею, и нахожу ее прекрасною и вполне поэтическою. ⟨...⟩ Идея ясна, много штрихов верных, т. е. тонких и прекрасных, — но не все выработано, говорю откровенно. ⟨...⟩ Картины наших превращений, как картины воспоминаний прошлого, дороги нам теми резкими штрихами чувств и памяти воображения, которые мы уносим из детства и юности. Это я говорю, потому что мне кажется трудным для писателя, сделать подобный рассказ занимательным (для читателя обыкновенного). Он растеряется в сюжете и будет видеть одни мелочи. ⟨...⟩ Я полагаю, что для большинства публики вам нужно будет прибегнуть к какому-нибудь сюжету, постоянно развивающемуся (в смысле повестей и романов) помимо главного сюжета — показать, как люди растут и развиваются. ⟨...⟩

Многие страницы заставили меня сериозно задумываться и пахнули на меня свежестью детства, но зато главы V и VI показались мне длинны и не поэтичны, а между тем я чувствую, как трудно беспрестанно выводить новые лица и черты их физиономий поэтично, когда уже потрачено много поэзии воспоминаний на другие лица. Здесь и подробность рассказа не спасает эти характеры, а напротив делает их скучными» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 119. Л. 1—3).

Роман дорабатывался автором буквально до последних дней перед отсылкой рукописи в журнал. 24 июня 1861 года Дудышкин сообщает, что все еще не получил первых глав «Подлипок» и собирается отправить в набор имеющиеся у него главы, с беспокойством ожидая присылки остальных (Там же. Л. 6).

С. 348. *Гонтовая крыша* — деревянная крыша из подогнанных друг к другу коротких дощечек.

С. 349. *Петровки* — пост перед днем свв. апостолов Петра и Павла (29 июня ст. ст.), начинающийся после недели Всех святых.

С. 350. *ma chère, pourquoi?* — моя дорогая, зачем? (*фр.*)

С. 350. *Il est très riche!* — Он очень богат! (*фр.*)

С. 350. *Каждое послеобеда...* — распространенное тогда в дворянской бытовой речи, а впоследствии исчезнувшее выражение. Ср. в «Записках» В. И. Лыкошина: «...а каждое послеобеда в прогулках наших сходились мы с молодежью Грибоедовых...» (*Пиксанов Н. К.* Грибоедов и старое барство. М., 1926. С. 22).

С. 352. *Чистый четверг* — четверг на Страстной неделе, перед Пасхой.

С. 352. *В день святителя Мокия ~ служить молебен от града...* — 11 мая ст. ст. праздновался не только день священномученика Мокия Амфипольского, но и память «обновления (т. е. основания и освящения) Царяграда». Обычай служить в этот день молебны от града может быть объяснен тем, что в это время случались первые грозы и выпадение града, а также народной этимологией названия праздника. «...По звуковому сходству в представлении народном Царьград или город смешался с Царьградом или просто градом, физическим явлением, и таким образом праздник обновления Царяграда сделался праздником умилостивления царя (повелителя) града» ([Калинский И.П.] Церковно-народный месяцеслов на Руси. М., 1990. С. 129).

С. 353. *...«о благорастворении воздуха и об изобилии плодов земных»...* — одно из прошений великой ектении.

С. 353. *Душники* — то же, что отдушники, отверстия для пропуска воздуха в печи.

С. 353. *...чудовище... что̀ испугало лошадей Ипполита...* — Чтобы покарать Ипполита, сына афинского царя Тесея, Посейдон послал из моря ужасного быка; везшие Ипполита кони испугались его и сбросили юношу на землю.

С. 354. *Вершина* (верх) — овраг.

С. 354. *Сажалка* — небольшой пруд для разведения рыб.

С. 355. *Турухтан-повеса* — задира, забияка; от названия драчливой птицы турухтан (курухтан; tringa pugnax). Ср. с басней Д. В. Давыдова «Орлица, турухтан и тетерев».

С. 356. *...носила сетку.* — т. е. сетку, поддерживающую прическу.

С. 356. *...по великопостным вечерам...* — Речь идет о первых трех днях Страстной седмицы, т. к. далее упомянут тропарь утрени этих дней «Се Жених грядет...».

С. 358. *Колотовка* — злая, вздорная женщина.

С. 359. *Анекдоты Балакирева* — многократно издававшаяся книга «Полное собрание анекдотов Балакирева», куда вошли истории и остроты, связанные с именем Ивана Алексеевича Балакирева (1699—1763), доверенного слуги Петра I и Екатерины I, затем — официального шута императрицы Анны. В действительности анекдоты эти имели самое разное происхождение и большей частью были заимствованы из немецкого сборника, переведенного в 1780 г.

С. 359. *...путешествие ко святым местам.* — Возможно, имеются в виду книги А. Н. Муравьева «Путешествие ко Святым местам в 1830 г.» (1832) и «Путешествие по Святым местам русским» (1836).

С. 360. *«C'est une très bonne fille!»* — Это очень славная девушка! (*фр.*)

С. 360. *Вознесенье* — Вознесение Господне, один из двунадесятых праздников Православной Церкви, празднуется на 40 день после Пасхи.

С. 361. *...крестили кукушку.* — Описание этого обряда см.: *Елеонская Е. Н.* Крещение и похороны кукушки в Тульской и Калужской губернии // Этнографическое обозрение. 1912. №1—2.

С. 363. *belles de nuit* — чудоцветы (*фр.*); см. прим. на С. 658.

С. 365. *...переводил «Der Abend» из Шиллера.* — «Вечер», стихотворение И. К. Ф. Шиллера (1795).

С. 367. *Софье Ржевской* — здесь и в других случаях Леонтьев использует реальные родовые дворянские фамилии — вероятно, для придания большей достоверности стилизованному под воспоминания рассказу.

С. 368. *Венгерка* — куртка с высокой талией, шнурами по швам и поперечными шнурами для застегивания.

С. 369. *à la coque marine* — наподобие морского кока (*фр.*).

С. 370. *...о путешествиях Кука...* — Джеймс Кук (1728—1779), английский мореплаватель.

С. 370. *...«Вечерними беседами в хижине» Дюкре-Дюмениля.* — Франсуа Гийом Дюкре-Дюмениль (1761—1819) — французский писатель, автор нравоучительных романов. Здесь говорится о романе «Вечерние беседы в хижине, или Наставления престарелого отца», героя его в русском переводе звали Палемон.

С. 370. *«qui etait Vulcain?»* — кто был Вулкан? (*фр.*)

С. 371. *...как Иона, был проглочен китом...* — Библейский пророк Иона был выброшен в море, проглочен китом и через три дня извержен на сушу.

С. 371. *...напоминающим резец Фидия.* — Т. е. похожим на статуи древнегреческого скульптора Фидия (V в. до н.э.).

С. 373. *«Эй, казак, не рвися к бою...»* — строфа из стихотворения А. С. Пушкина «Делибаш» (1829).

С. 373. *Стиракс* — благовонная смола, добываемая из южных растений.

С. 374. *...воинственного Дона...* — т. е. донского казака.

С. 376. *Il aimait la lecture.* — Он любил чтение (*фр.*).

С. 378. *Погребец* — дорожный ларец для столового или чайного прибора.

С. 379. *...был Веньямином родства.* — Т. е. будучи младшим в семье, пользовался общей любовью. Вениамин — младший сын библейского патриарха Иакова.

С. 381. *...парил крылатый херувим...* — автобиографическая деталь: в кабинете матери Л. висел его детский портрет в виде херувима (СС, IX, 39).

С. 382. *Restez ma tout aimable!..* — Оставайтесь моей любезнейшей! / Кружите мне голову (*фр.*).

С. 382. *Va, ma petit reine! ~ Font de jolis bijoux!* — Полно, моя маленькая королева! / Пусть это тебя не огорчает. / Слоновая кость с эбеновым деревом / Составляют прелестные украшения (*фр.*)

С. 383. *15 июля.* — День св. равноапостольного князя Владимира.

С. 384. *Dors, dors, mon enfant...* — Спи, спи, мое дитя, / До ста лет (*фр.*).

С. 384. *Je vous aime tendrement...* — Я люблю вас нежно / Любите меня также (*фр.*).

С. 384. *В глуши богемских диких гор ~ до века!* — неточное воспроизведение первых строк думы К. Ф. Рылеева «Святополк» (1821).

С. 384. *...«Живописный Карамзин»* — «Живописный Карамзин, или Русская история в картинках» — популярное иллюстрированное издание, выходившее в 1836—1844 гг.

С. 384. *...убийца Святополк...* — Святополк Окаянный (ок. 980—1019), князь туровский и киевский; захватил великокняжеский престол, убив своих братьев Бориса и Глеба.

С. 388. *...негодная звезда...* — Слово «звезда» употреблялось кудиновскими крестьянами как название пригожей девушки. Об этом пишет в своих воспоминаниях М. В. Леонтьева: «Ее по-деревенски звали «звизда», т. е. считалась она чуть ли не красавицей» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1048. Л. 15).

С. 388. *Снофиды* — Снофидой в Ярославской губернии называли апатичного, сонного человека. Зд.: бестолковые, несуразные женщины.

С. 392. *Казакин* — короткий кафтан со сборками сзади, застегивающийся на крючки.

С. 396. *...видел Турньера...* — имеется в виду труппа конных акробатов Луи и Фердинанда Турниеров, гастролировавшая в Петербурге в Новом театре (на Фонтанке у Симеоновского моста) с ноября 1837 до марта 1838 г.

С. 397. *...la chatte blanche, le chat botté...* — «Белая кошка», волшебная сказка французской писательницы XVII в. М. К. д'Олнуа; «Кот в сапогах», сказка Ш. Перро.

С. 397. *Quel délicieux garçon, n'est ce pas?* — Что за восхитительный молодой человек, не так ли? (*фр.*)

С. 397. *Oh oui, il est ravissant!* — О да, он очарователен! (*фр.*)

С. 398. *Дормёз* — дорожная карета, в которой можно лежать в полный рост.

С. 399. *Марселиновое платье* — из марселина, двойной шелковой или хлопчатобумажной ткани.

С. 399. *«Что̀ трава в степи перед осенью»* — неточная цитата из «Песни» А. В. Кольцова («Ты не пой, соловей...», 1832); ср.: «Что трава на степи / Перед осенью».

С. 399. *«Le vieux clocher de mon village...»* — «Старая колокольня моей деревни, которую покидал я, отправляясь в путь» (*фр.*).

С. 400. *Муар-антик* — наиболее ценная разновидность муаровой ткани с крупными разводами.

С. 400. *...отдал сына в «правоведение»...* — Имеется в виду элитарное закрытое учебное заведение, дававшее высшее юридическое образование, — Императорское Училище правоведения, учрежденное в Петербурге в 1835 г. Обучение в нем до 1856 г. продолжалось 7 лет.

С. 401. *Казокаться* — ломаться, жеманиться.

С. 401. *Vous fréquentez beaucoup?* — Вы много бываете? (*фр.*)

С. 401. *fréquentez* — бываете, посещаете (*фр.*)

С. 408. *...о Павле и Виргинии...* — Речь идет о героях романа французского писателя Жака Анри Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814) «Поль и Виргиния» (1787).

С. 409. *...о турецкой войне, о польской революции...* — Имеются в виду русско-турецкая война 1828—1829 гг. и польское восстание 1830—1831 гг.

С. 410. *...читает Лагарпа...* — Жан Франсуа де Лагарп (1739—1803) — французский драматург и теоретик литературы.

С. 410. *Ah bah! j'aime tout ce qui est bon!* — Ах вот что! Я люблю все, что хорошо! (*фр.*)

С. 410. *Vous me sciez le dos ~ ne sortez pas de là!* — Вы мне до смерти надоели с вашим «скучно»! Очертите себе круг и придерживайтесь его! (*фр.*)

С. 413. *Гофмановы капли* — успокоительное средство.

С. 413. *A genoux, mauvais sujet! ~ par hasard!* — На колени, негодяй! на колени! Молчать! Неужели тебя не высекут здесь, как сделали бы во всяком другом месте? (*фр.*)

С. 413. *rosse* — высекут (*фр.*)

С. 414. *mauvais genre* — дурной тон (*фр.*)

С. 414. *Фарнос* — гордец.

С. 415. *souvenir* — сувенир (*фр.*).

С. 415. *Dans ces prés fleuris ~ Le destin plus doux...* — На цветущих лугах, / Орошаемых Сеной, / Угадайте, кто приводит к вам / Своих милых овечек. / Это я привожу их, / Чтобы усладить вашу участь (*фр.*).

С. 415. *...стихотворения г-жи Дезульер...* — Антуанетта дю Лижье де Ла Гард Дезульер (1637—1694) — французская писательница, автор идиллий. Приведенные выше строки взяты из ее «Аллегорических стихов к моим детям».

С. 415. *Просфора* (просвира) — специально выпеченный хлебец, употребляемый в православном богослужении.

С. 417. *«Парижские тайны»*, *«Мартын-найденыш»* («Мартин, или Найденный») — романы французского писателя Эжена Сю.

С. 417. *Колет* — короткая куртка, часть мундира некоторых конных полков.

С. 418. *mon oncle* — дядюшка (*фр.*)

С. 419 *...дошел до того места ~ девушка тонкая станом...* — Имеется в виду отрывок из «Иллиады» (IX, 656—668). Фенокс (Феникс) — воспитатель Ахиллеса.

С. 419. *Manon Lescaut* — Манон Леско, героиня романа «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731) французского писателя аббата Прево (Антуана Франсуа Прево, 1697—1763).

С. 420. *Фабий Кунктатор* — Фабий Максим Квинт (ум. в 203 г. до н. э.), римский полководец и государственный деятель, прозванный Кунктатором (Медлителем) за то, что намереваясь постепенно истощать силы Ганнибала, уклонялся от решительного сражения с ним.

С. 420. *...ее одеть Розиной, а меня Фигаро...* — Розина и Фигаро — персонажи комедии французского драматурга Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732—1799) «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» (1775).

С. 421. *Quelle idée!* — Что за мысль! (*фр.*)

С. 421. *pas de majesté* — па-де-мажесте (*фр.*), фигура танца

С. 422. *Уж поздно. В сани он садится...* — неточная цитата из «Евгения Онегина» (гл. 1, строфа XVI).

С. 423. *Софья Павловна* — персонаж комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

С. 423. *Кетли* — персонаж оперы-водевиля Д. Т. Ленского (1805—1860) «Кетли, или Возвращение в Швейцарию», представляющей собой переделку французской пьесы.

С. 423. *Молодая причудница* — Надежда Васильевна Славянская, героиня водевиля Д. Т. Ленского «В людях ангел, не жена, дома с мужем -сатана!» (1841).

С. 423. *...на эсе...* — на скамейке в форме латинской буквы S.

С. 425. *Рославлев и Леонид* — см. прим. на с. 658.

С. 426. *Ta taille légère...* — Твой стан легок, / Как тонкий папоротник (*фр.*).

С. 426. *puisque votre oncle est assez fou, pour autoriser la debauche* — так как ваш дядя совершенно безрассуден, раз позволяет распутство (*фр.*)

С. 428. *Я вас люблю; чего же боле?..* — неточная цитата из «Евгения Онегина» (гл. 3, «Письмо Татьяны...»).

С. 429. *Eugène Sue* — Эжен Сю. См. прим. на с. 644.

С. 430. *Штрипка* — пришиваемая к низу брюк тесьма.

С. 431. *Бюжо́ разбил марокканцев...* — Тома Робер Бюжо (1784—1849), герцог Ислийский — маршал Франции, герой наполеоновских войн; одержал победу над марокканцами при реке Ислии в 1844 г.

С. 432. *Les trois mousquetaires* — «Три мушкетера», роман А. Дюма (1844).

С. 433. *...кем написан «Цинна»...* — «Цинна, или Милосердие Августа» (1643) — трагедия французского драматурга Пьера Корнеля (1606—1684).

С. 433. *Расин* Жан (1639—1699) — французский поэт и драматург.

С. 437. *Люкреция Борджиа* (1480—1519) — представительница знаменитого рода, вовлеченная в политические замыслы своего брата Чезаре Борджиа и отца, папы Александра VI. Г. Доницетти сделал ее героиней одноименной оперы, а В. Гюго — драмы с тем же названием.

С. 439. *...на пище св. Антония.* — Зд.: поголодаешь. Св. Антоний Великий (ок. 250—356) — раннехристианский аскет.

С. 440. *Родольф* — герой романа Э. Сю «Парижские тайны».

С. 440. *...милую Мери...* — возможно, аллюзия на стихотворение А. С. Пушкина «Из Barry Cornwall» (1830).

С. 441. *Бэкон* Фрэнсис (1591—1626) — английский философ.

С. 442. *Paul et Virginie* — Поль и Виргиния; см. прим. на с. 670

С. 442. *...читали Кювье!* — Жорж-Леопольд-Кретьен-Фредерик-Дагобер Кювье (1769—1832) — французский естествоиспытатель.

С. 443. *Тильбюри* — легкий двухколесный экипаж.

С. 444. *...нанял долгих...* — Долгие — лошади, которых не меняли в пути. Езда на долгих была самой дешевой и медленной.

С. 445. *Вольные ямщики* — ямщики «вольной почты», нанимаемые по договорной цене.

С. 446. *...фрак à la Napoleon...* — фрак с фалдами особого покроя.

С. 446. *à la polka...* — по-польски

С. 447. *Calmez vous, calmez vous, mon enfant!* — Успокойтесь, успокойтесь, мое дитя! (*фр.*)

С. 447. *«Juif errant»* — «Странствующий жид» (1844—1845), в рус. переводе «Агасфер», роман Э. Сю. *Иродиада* — персонаж этого романа.

С. 448. *trouble fête* — окажетесь помехой веселью (*фр.*)

С. 451. *...ни «Федры», ни «Гофолии».* — «Федра» (1677), «Гофолия» (1690) — трагедии Ж. Расина.

С. 451. *«Айвенго»* — роман В. Скотта (1820).

С. 451. *...возьмет Делиля...* — Жак Делиль (1738—1813) — французский поэт.

С. 451. *«Oh! comme en voyageant...»* — О! как, странствуя в беспредельном эмпирее, воображение говорит душе вдохновенной! (*фр.*); цитата из поэмы Ж. Делиля «Воображение» (1806).

С. 451. *Roger de Rabutin, comte de Bussy* — Роже де Рабютен, граф де Бюсси (1618—1693), французский писатель.

С. 452. *Палемон воспитывал Бенедикта и Леона...* — Речь идет о героях романа Ф. Г. Дюкре-Дюмениля «Вечерние беседы в хижине».

С. 452. *...о борьбе Мстислава с Редедей...* — Этот эпизод рассказан в первой части книги «Живописный Карамзин...» (1836).

С. 452. *...пела про девушку, которую на охоте встретил барин...* — Имеется в виду песня «Вечор поздно из лесочка...», приписываемая П. И. Жемчуговой (Шереметевой, 1768—1803); в песенниках печаталась с 1818 г.

С. 452. *Мериносовый салоп* — меринос — порода тонкорунных овец; салоп — теплая верхняя женская одежда.

С. 452. *...носила не кичку, а сборник...* — Кичка — нарядный головной убор у замужних крестьянок; сборник — кокошник со сборками, его носили и незамужние женщины.

С. 453. *...мы две цыганки чернобровыя...* — строка из цыганского романса; точнее: «Мы две девицы чернобровые, мы две цыганки черноокие...». См.: Молчановский русский и цыганский песенник на 1859 год. СПб., 1859. С. 104—105.

С. 454. *Толкач* — большой деревянный пест.

С. 455. *Une fois pour toutes je vous prie d'être poli.* — Раз и навсегда прошу вас быть вежливым (*фр.*).

С. 457. *Мадрепоровые скалы* — коралловые рифы; здесь подразумеваются экзотические острова южных морей.

С. 459. *Qui est-tu Leli? Ange ou démon?* — Кто ты, Лелия? Ангел или демон? (*фр.*). Цитата из романа Ж. Санд «Лелия».

С. 459. *Косцюшко* — Тадеуш Костюшко (1746—1817) — польский военный и политический деятель, руководитель национального восстания в 1794 г.

С. 459. *Хлопицкий* — Григорий-Иосиф Хлопицкий (1771—1854) — польский военный деятель, участвовал в кампаниях 1792 и 1794 гг., а также в восстании 1830 г.

С. 459. *Баторий* — Стефан Баторий (1533—1586) — польский король (с 1576 г.) и полководец.

С. 460. *Польский* — полонез, старинный польский танец-шествие, открывавший бал.

С. 461. *Юм* — Дэвид Юм (1711—1776) — английский философ, историк, экономист.

С. 461. *Rogers-Bontemps* — Роже-Бонтан (Роже Весельчак), персонаж (и от него возникшее прозвище) французского поэта XV—XVI вв. Роже де Коллери; тип жизнерадостного беззаботного выходца из Бургундии. Новую популярность этот образ получил в песнях П. Ж. Беранже.

С. 461. *Лизетта* — образ беспечной, своенравной подруги поэта, появляющийся во многих песнях Беранже и восходящий к французской поэзии XVII века.

С. 461. *...сестры милосердия, увенчанной розами.* — возможно, аллюзия на стихотворение Беранже «Сестры милосердия» (1821).

С. 462. *Бенедикт* — герой романа Ж. Санд «Валентина» (1832).

С. 462. *Жак* — герой одноименного романа Ж. Санд (1834).

С. 462. *Vous êtes un bon garçon.* — Вы славный мальчик (*фр.*).

С. 463. *С ним одной любви довольно...* — строки из народного варианта песни «Вечерком красна девица...» на стихи Н. М. Ибрагимова (1778—1818). У Ибрагимова: «Нас одних для нас довольно: / Все любовь нам заменит» (Песни русских поэтов: В 2 т. Т. 1. Л., 1988. С. 274). Использованный Л. вариант см., напр.: Собрание лучших песен, баллад и романсов: В 2 ч. Ч. 1. М., 1859. С. 101.

С. 463. *Что затуманилась, зоренька ясная...* — Правильнее: «Что отуманилась...» — песня разбойников из романтической поэмы Александра Фомича Вельтмана (1800—1870) «Муромские леса» (1831), ставшая народной песней.

С. 464. *Вивёр* — человек, живущий в свое удовольствие.

С. 464. *«un chien enragé»* — *«un chien arrangé»* — «бешеная собака» — «приведенная в порядок собака» (*фр.*)

С. 465. *J'ai eu aussi le malheur ~ avec lui!* — Я тоже имела несчастье однажды связаться с ним! (*фр.*)

С. 467. *distingué* — изысканный (*фр.*)

С. 467. *Amélie* — Амели

С. 468. *Эпитрахиль* (епитрахиль) — часть облачения священника.

С. 468. *Воздухи* — покровы на сосуды со Святыми Дарами.

С. 469. *Claudin* — Клодин

С. 469. *«Лукреция Флориани»* — роман Ж. Санд (1836).

С. 470. *Chicandard et balochard!..* — Шикарный франт и беспечный гуляка! / Прочь от этой лавочки, / Где кучкой болтунов / Делается политика (*фр.*).

С. 470. *Ah! mon petit chou!* — Ах! душенька! (*фр.*)

С. 470. *en bec d'oiseau* — напоминает птичий клюв (*фр.*)

С. 471. *Elle a été aussi son amante!* — Она тоже была его любовницей! (*фр.*)

С. 475. *amour propre rentré* — подавленное самолюбие (*фр.*)

С. 477. *Савояр* — уличный музыкант; от названия французской провинции Савойя.

С. 477. *«pour l'amour de Dieu»* — из любви к Богу (*фр.*)

С. 477. *Шушлиться* — эд.: возиться.

С. 480. *ma chère tante* — дорогая тетушка (*фр.*)

С. 480. *Une mère!* — Мать! (*фр.*)

С. 480. *«Последнее новоселье»* — стихотворение М. Ю. Лермонтова (1841).

С. 480. *...по-каратыгински гремел...* — т. е. декламировал в манере русского актера Петра Андреевича Каратыгина (1805—1879).

С. 481. *bon enfant* — добрый малый (*фр.*)

С. 482. *Rose Bradwardine* — Роза Брэдуордин, героиня романа В. Скотта «Уэверли, или Шестьдесят лет назад» (1814).

С. 482. *Сильвия* — героиня романа Ж. Санд «Жак».

С. 483. *...у Колечицких...* — возможно, Леонтьев знал московское семейство Петра и Анастасии Колечицких и здесь (как и в случае с Ржевскими) ввел в повествование реалию русского дворянского быта.

С. 484. *«Барская спесь и Анютины глазки»* — водевиль Д. Т. Ленского (1842), представляющий собой переделку французской комедии.

С. 484. *une grande dame* — знатная дама (*фр.*)

С. 487. *...о m-me Allan и Virginie Bourbier* — о госпоже Аллан и Виржинии Бурбье; Луиза Розалия Аллан-Депрео (1809—1856); Виржиния Бурбье († 1857) — актрисы французской труппы, игравшие в Михайловском театре в Петербурге.

С. 488. *Godefroi de Bouillon* — Годфруа де Буйон (1058—1100) — герой и один из предводителей первого крестового похода.

С. 488. *...«Ундину» Жуковского...* — В 1831—1833 гг. В. А. Жуковский переложил стихами повесть немецкого писателя Ф. де Ла Мотт Фуке (1777—1843) «Ундина», написанную в 1811 г. В стилизованной под средневековое сказание повести говорится о любви русалки и рыцаря.

С. 489. *Субретка* — зд.: тип женщины, напоминающий распространенный комедийный персонаж — веселую, плутоватую горничную.

С. 496. *Finita la comedia!* — Кончена комедия! (*ит.*)

С. 497. *Oui, les soins d'une mére...* — Да, материнские заботы... (*фр.*)

С. 497. *...Мария Магдалина в пещере...* — Описание напоминает гравюру Ивана Архиповича Берсенева (1762—1789) «Мария Магдалина» (1785) с картины нидерландского художника Адриана ван дер Верфа (1659—1722) «Мария Магдалина в пустыне» (1720). См.: *Ровинский Д. А.* Одиннадцать гравюр работы И. А. Берсенева с заметкой о его жизни. СПб., 1886.

С. 499. *beau monde* — высшего света (*фр.*)

С. 499. *m-lle Dorothée* — мадемуазель Доротею

С. 500. *Пуасардки* — торговки (от фр. poissarde).

С. 500. *Fi, comme c'est vilain!* — Фи, как это гадко! (*фр.*)

С. 500. *Бюффон* Жорж Луи Леклерк (1707—1788) — французский естествоиспытатель.

С. 501. *à la chinoise* — на китайский манер (*фр.*)

С. 504. *пу-де-суа* — см. прим. на с. 655.

С. 504. *attaquée* — заболела (*фр.*)

С. 505. *Pauline* — Полиной

С. 505. *«Графиня Монсоро»* — роман А. Дюма (1846).

С. 506. *Ma très chère, ma adorable tante!* — Моя дражайшая, моя восхитительная тетушка! (*фр.*)

С. 506. *Адамова голова* — череп.

С. 506. *Понедельничье* — держанье поста, кроме среды и пятницы, еще и по понедельникам.

С. 507. *...благоговел перед гнусным Штраусом.* — Давид Фридрих Штраус (1808—1874) — немецкий философ, автор книги «Жизнь Иисуса, критически переработанная», отрицавший историческую достоверность Евангелия.

С. 508. *«Лови, лови часы любви!..»* — цитата из стихотворения Николая Михайловича Коншина (1793—1859) «Век юный, прелестный...» (1826), положенного на музыку А. Л. Гурилевым.

С. 508. *Гизо* — Франсуа Пьер Гийом Гизо (1787—1874) — французский историк и государственный деятель.

С. 508. *...в «Иллюстрации» я видел рисунок медали...* — Имеется в виду рисунок медали, помещенный во французской еженедельной газете «Illustration» (издавалась с 1843 г.). На ней изображен возвышающийся на кафедре человек и вокруг него ряды сидящих в зале. Надпись сверху: «On peut epuiser ma force, on n'epuisera pas mon courage» Судя по дате на другой стороне медали (26 января 1844), это отклик на известные дебаты, имевшие место в Палате депутатов.

С. 508. *«On peut epuiser ma forse, mais on n'epuisera jamais mon courage!..»* — Можно истощить мои силы, но никогда не истощится мужество! (*фр.*)

С. 509. *...антологических пьес Майкова...* — Имеются в виду стихотворения А. Н. Майкова (1821--1897) «В антологическом роде».

С. 509. *...«Тройку» Некрасова...* — стихотворение «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...», 1846).

С. 509. *Superfine* — высшего сорта (*фр.*).

С. 511. *С голыми студент руками ~ У помещика зимой....* — один из возможных источников «импровизации» Юрьева — ода Г. Р. Державина «На рождение в Севере порфирородного отрока» (1779). Ср.: «С белыми Борей власами / И с седою бородой, / Потрясая небесами, / Облака сжимал рукой...»

С. 515. *partie de plaisir* — прогулкой (*фр.*)

С. 518. *«Когда все пирует и блещет вокруг»* — романс на стихи В. И. Туманского (1829). См.: Русский песенник, или собрание лучших и любимейших песен, романсов и водевильных куплетов известных писателей, изданный К. Авдеевой. Ч. 1. СПб., 1848. С. 149—150.

С. 519. *...поздравить... с куафюрой!* — Куафюра — прическа; эд. подразумеваются «рога», которые наставила мужу изменившая ему жена.

С. 521. *manière d'être* — образа жизни (*фр.*)

С. 524. *Fi, comme c'est vulgaire* — Фи, как это вульгарно (*фр.*).

С. 525. *en tête-à-tête* — наедине (*фр.*)

С. 525. *...без тандресс...* — без нежностей (от *фр.* tendresse).

С. 525. *chère maman* — дорогая матушка (*фр.*)

С. 528. *Леонид Спартанский* (508/507—480 до н. э.) — царь Спарты; возглавлял греческое войско в битве против персидского царя Ксеркса и погиб в сражении у Фермопил.

С. 534. *Serge!* — Серж!

С. 539. *Herr je! Herr je!* — Боже мой! Боже мой! (*нем.*).

С. 539. *Станислав на шее* — орден св. Станислава второй степени, носимый на шее, в отличие от того же ордена первой степени, носимого на ленте через плечо.

С. 539. *...кавказский коллежский асессор...* — Чин коллежского асессора (8 класса), дававший по указу 1809 г. право личного дворянства, при службе на Кавказе мог быть получен гораздо быстрее, чем в иных областях России.

С. 541. *chargé d'affaires* — поверенный в делах (*фр.*)

С. 541. *d'Arlincourt* — Шарль Арленкур (1789—1856), французский писатель; состоял на службе при дворе Наполеона I и Бурбонов.

С. 542. *Стали* — кресла (в театре).

С. 543. *...пели об этом страшном «житейском море»...* — ирмос 6 песни канона 6 гласа воскресной утрени «Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею...».

С. 544. *«предав себя весело Богу добрых людей»...* — цитата из стихотворения П. Ж. Беранже «Бог простых людей» (1817).

С. 544. *...«серая теория», по выражению Мефистофеля...* — В сцене «Кабинет Фауста» Мефистофель говорит студенту: «Всякая теория сера, дорогой друг...»

С. 545. *...Мильтона раскритиковал?* — Джон Мильтон (1608—1674) — английский поэт.

С. 546. *«Дума»* — стихотворение М. Ю. Лермонтова (1838).

С. 546. *Филипповки* — Филиппов пост, Рождественский пост, заговенье на который приходится на день св. ап. Филиппа, 14 ноября ст. ст.

С. 546. *Купоны* — зд.: ложа в театре.

С. 547. *...про Щепкина...* — Михаил Семенович Щепкин (1788—1863) — знаменитый актер, игравший в Малом театре.

С. 550. *Рыдван* — большая карета.

С. 551. *Поль-де-Кок* — см. прим. на с. 644.

С. 554. *soeur Marthe* — сестру Марту (*фр.*)

С. 554. *Тизаны* — целебные отвары из трав.

С. 555. *Песнь Орсино* — ария Маффио Орсино (Орсини) из оперы Г. Доницетти «Лукреция Борджиа».

С. 557. *Ma cousin* — моя кузина (*фр.*).

С. 557. *Cher Voldemar!* — Дорогой Вольдемар! (*фр.*)

С. 558. *...запела не новую тройку, а самую старую...* — Имеется в виду песня на слова Ф. Н. Глинки «Вот мчится тройка удалая...» (первоначально составлявшие часть его стихотворения «Сон русского на чужбине», 1825). «Новая» тройка — ставшая популярной в 1850-е гг. песня на слова стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка».

С. 560. *«Фарфор и бронза на столе...»* — цитата из «Евгения Онегина» (гл. 1, строфа XXIV).

С. 560. *Кульмский крест* — железный крест, пожалованный прусским королем участникам сражений близ чешского села Кульм в августе 1813 г.

С. 562. *Marie Stuart* — Марию Стюарт; Мария Стюарт (1542—1587), шотландская королева.

С. 562. *ingénues* — простушках (*фр.*)

С. 563. *Bonne chance!* — Желаю успеха! (*фр.*)

С. 565. *cousin* — кузену (*фр.*)

С. 565. *Il vous l'a dit?* — Он вам это сказал? (*фр.*)

С. 567. *...он разумел «ручья лепетанье, была ему звездная книга ясна...»* — цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гете» (1832).

С. 568. *Ральф* — герой романа Ж. Санд «Индиана» (1832).

С. 568. *Раймонд де-Серси* — (Раймон де Рамьер) — герой романа Ж. Санд «Индиана».

С. 570. *Une petite coquetterie, fort gentille* — Маленькое кокетство, чрезвычайно мило (*фр.*).

С. 577. *amitiè poétisée* — опоэтизированная дружба (*фр.*)

С. 580. *Фредонировать* — напевать вполголоса.

С. 580. *m-lle Sophie* — мадемуазель Софи

С. 580. *ensemble* — ансамбль (*фр.*)

С. 581. *ces messieurs* — эти господа (*фр.*)

С. 582. *...взял его в шенкеля...* — послал лошадь вперед, управляя шенкелями, т. е. прилегающими к корпусу лошади сторонами ног.

С. 582. *Эквитация* — верховая езда.

С. 583. *mon charmant cousin* — мой очаровательный кузен (*фр.*)

С. 584. *«Господи! прости грехи молодости моей и незнания»* — Пс. 24: 7.

С. 585. *...читал Шатобриана...* — Франсуа Рене де Шатобриан (1768—1848) — французский писатель. Здесь имеется в виду эпизод из его повести «Атала».

С. 585. *je fertiliserai son sein* — я оплодотворю ее лоно (*фр.*)

С. 591. *M-me Bertrand* — мадам Бертран; вероятно, жена Анри Бертрана (1773—1844), военного деятеля и приближенного лица Наполеона Бонапарта; А. Бертран вместе с семьей последовал за императором в ссылку на о. Св. Елены.

ВАРИАНТЫ И РАЗНОЧТЕНИЯ

ПОДЛИПКИ

С. 628. *...Дафниса и Хлою я читал...* — роман Лонга «Дафнис и Хлоя» (к. II в.).

С. 628. *...в институте восточных языков...* — Имеется в виду Лазаревский институт восточных языков, основанный в Москве в 1815 г.

С. 629. *...в «Истории государства российского!»*. — Подразумевается книга Н. М. Карамзина, слог которой считался образцовым.

С. 630. *Kèronan de la Kergeradec* — Керонан де ла Кергерадек

С. 637. *«Дрянь и тряпка» Гоголя...* — цитата из «Выбранных мест из переписки с друзьями» (письмо XXIV).

ИЗ РАННИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Первые литературные опыты Леонтьева относятся к началу 1850-х годов. Среди них несколько стихотворных произведений: отрывок из «поэмы», стихотворения «Ермолову», «Саламандра»; не исключено, что были и другие. Начало этой поэмы, «писанной плохими гекзаметрами» зимой 1850—1851 гг., было послано И. С. Тургеневу, который отвечал большим письмом от 12 июня 1851 года, содержащим отрывки из «поэмы» и их подробный разбор (*Тургенев. Письма.* Т. 2. С. 97. С. 97—103). «Поэму» Леонтьев не окончил; как объяснял он позже, «второй раз стихи, даже и посредственные, мне уже никогда не давались» (СС, IX, 120); написанный текст не сохранился и не публиковался. Под конец жизни Леонтьев резко отрицательно отзывался о своих ранних поэтических сочинениях (см. письмо к Иосифу Фуделю от 28 февраля 1890 г.). Автографы двух из них сохранились и публикуются в данном томе.

Комедия «Женитьба по любви», написанная в 1851 году, до нас не дошла. Содержание ее и обстоятельства создания Леонтьев подробно излагает в воспоминаниях (СС, IX, 69-82). Тургенев послал комедию Краевскому 27 июля 1851 года; вскоре ее прочел С. С. Дудышкин и сообщил свой одобрительный отзыв Тургеневу в письме от 13 сентября 1851 года (РО ИРЛИ. № 5805). Этот отзыв стал известен Леонтьеву. Мнение Тургенева о «Женитьбе...» было следующим: «Это сюжет, не говорю — сценический — но антидраматический; интерес в нем даже не психологический — патологический. Но со всем тем это вещь замечательная и оригинальная» (*Тургенев. Письма.* Т. 2. С. 103).

Если понимать «патологический интерес» как склонность выходить при изображении человека за пределы обыденной, «здоровой» психологической сферы в область обостренных, подчас утонченных

до некоторой болезненности состояний души, то суждение Тургенева нужно признать верным в отношении приемов Леонтьева-беллетриста.

3 декабря 1851 года Тургенев извещает автора о запрещении комедии цензурой (*Тургенев. Письма.* Т. 2. С. 109). Он ожидал возвращения рукописи Краевским, но вряд ли это произошло, так что судьба ее остается неизвестной, хотя о комедии еще несколько раз упоминается в переписке.

Утраченным оказался и роман «Булавинский завод», начатый в то же время, но вскоре заброшенный. Леонтьев передает его содержание и приводит отзывы Тургенева о нем в тех же воспоминаниях (СС, IX, 79—82, 119—120, 124).

Набросок «Несколько слов о трех евангельских характерах» скорее всего компеляция из нескольких источников; она не лишена некоторых субъективно-личных красок, но стилистически очень отличается от того, что писал в ту пору Леонтьев.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТРЕХ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРАХ

Автограф: РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 2. Ед. хр. 12. Л. 30 об.-31. Входит в состав «Альбома» К. Н. Леонтьева (1846—1860).

Датируется 27 марта 1851 г. по автографу.

Не издавалось.

Печатается по автографу.

С. 601. *...до призвания...* — Имеется в виду призвание братьев Симона и Андрея к апостольскому служению; Мф. 4: 18—20; Мк. 1: 16—18.

С. 601. *...просьбу на Генисаретском озере...* — Речь идет о просьбе св. апостола Петра разрешить ему прийти к Господу по воде (Мф. 14: 28).

С. 602. *...отрубить ухо Малху...* — Ин. 18: 10; Мф. 26: 51; Мк. 14: 47; Лк. 22: 50.

С. 602. *...несмотря на предостережения ~ и горько плакал.* — см. Мф. 26: 33—35, 69—75; Мк. 14: 66—72; Лк. 22: 31—34, 54—62; Ин. 13: 36—38; 18: 15—18, 25—27.

С. 603. *Иисус любил его больше всех учеников* — см. Ин. 13: 23; 19: 26; 21: 7.

С. 603. *...поручил ему мать свою...* — Ин. 19: 26—27.

С. 604. *Когда он был язычником...* — ошибка Л.; св. апостол Павел до своего обращения был иудеем, «по учению фарисей» (Флп. 3: 5; Деян. 23: 6).

С. 604. *...когда раздался с неба грустный голос ~ ослепил его...* — Деян. 9: 3—9.

С. 604. *Сошествие Св⟨ятого⟩ Духа...* — Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков в 50-й день после Воскресения Христова (Деян. 2: 1—4), ставший днем основания христианской Церкви.

САЛАМАНДРА

Автограф: РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 2. Ед. хр. 12. Л. 25. Входит в состав «Альбома» К. Н. Леонтьева (1846—1860). Подпись: К. Л-въ.

Датируется 1851 г. по положению на листе с текстом «Ермолову» и датой «Июль. 1851».

Не публиковалось.

Печатается по автографу.

Каждая строка зачеркнута карандашом и затем несколько раз простым и красным карандашом перечеркнуто все стихотворение: Слева на полях пометы Л. карандашом: «не хорошо. —»(напротив 5-й строфы), «плохо» (напротив 6-й), между левым и правым столбцами: «не хорошо».

ЕРМОЛОВУ

Автограф: РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 2. Ед. хр. 12. Л. 25. Входит в состав «Альбома» Леонтьева. Датируется июлем 1851 г. по автографу. Подпись: К. Л-въ.

Датируется: июль, 1851 г. по автографу.

Не издавалось.

Печатается по автографу.

Зачеркнута карандашом каждая строка кроме заглавия, подписи и даты.

Обращено к приятелю Л. Николаю Петровичу Ермолову (1832—?), знакомство с которым произошло, вероятно, в Москве в конце 1840-х — в начале 1850-х годов. Ему (наряду с

А. Георгиевским) Л. читал свою комедию «Женитьба по любви», один из персонажей которой, Яницкий, был «списан» с Ермолова (СС, IX, 75),[1] который, как замечает Л. здесь же, «и теперь живет и стареет в своем Нижегородском имении». Надо полагать, именно этот Ермолов — арзамасский помещик, живший в своем имении Бритово, опубликовавший в 1880-е годы рял статей в журнале «Природа и охота» и писавший «старинному другу» Л. 25 июня 1866 года из Нижегородской губернии (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 123). О нем же, видимо, идет речь в письмах к матери от 1-го и 15 мая 1857 года, в которых Л. упоминает о потерянных «по милости Ермолова» рукописях каких-то произведений (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1015. Л. 65, 68).

---

[1] Ту же фамилию носит один из героев романа «Подлипки».

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Л — К. Н. Леонтьев

АРХИВОХРАНИЛИЩА

ОР ГЛМ — отдел рукописных фондов Государственного литературного музея (Москва)

ОР РНБ — отдел рукописей Российской национальной библиотеки (СПб)

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)

РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (СПб)

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

БдЧ — "Библиотека для чтения"

КЛЭ — Краткая литературная энциклопедия

ЛН — Литературное наследство

МВ — "Московские ведомости"

ОЗ — "Отечественные записки"

РО — "Русское обозрение"

С — "Современник"

СПбВед — "Санкт-Петербургские ведомости"

СС — Леонтьев К. Н. Собр. соч.: В 9 т. СПб.; М., 1912—1913.

Тургенев. Письма — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и пис.: В 30 т. Письма: В 18 т. Т. 2—4. Л., 1987.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 5

Произведения 1852—1861 годов 17

Благодарность 19
Ночь на пчельнике 72
Лето на хуторе 86
Трудные дни 165
Сутки в ауле Биюк-Дортэ 228
Второй брак 265
Подлипки 347

Из ранних произведений 599

Несколько слов о трех Евангельских характерах . . . 601
Саламандра 606
Ермолову 609

Варианты и разночтения 611

Комментарии 639

Список условных сокращений 686